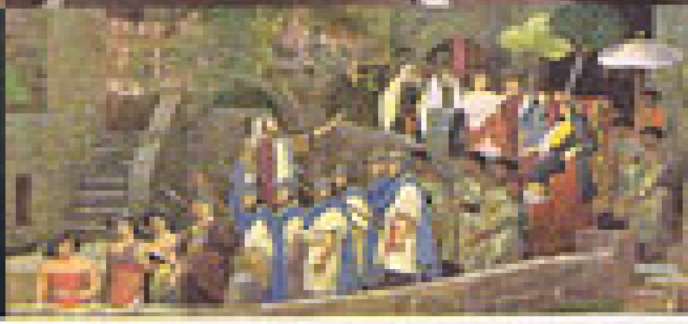
К. Р.



Элла Матонина
Эдуард Говорушко

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

- Элла Матонина, Эдуард Говорушко К. Р
- ЧАСТЬ I
- ЕСТЬ ТАЙНОЕ В ЭТОЙ РАЗВЯЗКЕ…
- «СТЕЗЯ ТВОЯ В ВОДАХ…»
- МЕЧТА О РОМАНЕ С ВЕЧНОСТЬЮ
- ВЕЧЕРА С ДОСТОЕВСКИМ И ЧАЙКОВСКИМ
- ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПЕТЕРГОФСКАЯ ПОГОДА
- СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

- «ПИАНИНО КУПЛЕНО»
- ПОЭТ
- ЧАСТЬ II
- ОБАЯНИЕ ИЗМАЙЛОВСКОЙ ЖИЗНИ
- РОЖДЕНИЕ СЫНА
- «КОРОЛЬ БАВАРСКИЙ УТОНУЛ…»
- БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ
- «ОСТАВАЙТЕСЬ ВСЕГДА СОБОЙ»
- НА НУЖНОМ ПОСТУ И В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

- ЧАСТЬ III
- УРОК СПРАВЕДЛИВОСТИ: ГАВРИЛУШКА, РАМБАХ, ЦЕСАРЕВИЧ

ПОТЕРИ И ОБРЕТЕНИЯ

ЭЛИТАРНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

ПЕРЕКРЕСТОК

ЗАВЕЩАНИЕ ГОНЧАРОВА И ОРЕАНДА БЕЗ ОТЦА

ВЫСОКИЕ НАШИ ОТНОШЕНИЯ

ЦАРСТВЕННЫЙ ПРЕОБРАЖЕНЕЦ

- ЧАЙКОВСКИЙ УПОРСТВУЕТ И ВОРЧИТ
- ПОЖАР
- КОРОНАЦИЯ

«ИМЯ ПУШКИНСКОГО ДОМА…»

«ГАМЛЕТ»

НОВЫЙ ВЕК

«ОТЕЦ ВСЕХ КАДЕТ»

ЭЛЛА И К. Р
ИОАНН, ГАВРИИЛ, ТАТЬЯНА, КОНСТАНТИН, ОЛЕГ, ИГОРЬ, ГЕОРГИЙ, ВЕРА
ОПАСНАЯ УВЕРЕННОСТЬ ГОСУДАРЯ
ЧАСТЬ IV
ПРАЗДНИКИ

БУДЕТ ЛИ БАЛ?

СМЕРТЬ МАТЕРИ И ГЕНЕРАЛА КЕППЕНА

ЧАСТЬ V
АФРИКАНСКОЕ СОЛНЦЕ

ОДИН ДЕНЬ В ОСТАШЕВЕ В 1913 ГОДУ

ПЕРЕД СУДОМ МОЛВЫ

- СЫНОВЬЯ УШЛИ НА ВОЙНУ
- ОЛЕГ
- СТЫДНО ПОКАЗАТЬСЯ НА ЛЮДИ…
- ЧАСТЬ VI
ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ
- ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА РОМАНОВА
- КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ
- Иллюстрации

Элла Матонина, Эдуард Говорушко
К. Р

Посвящается Владимиру Путину
и всем строителям, реставраторам, художникам, давшим новую жизнь
Константиновскому дворцу в Стрельне

Энтузиазм благодетелен только тогда, когда он есть пламенная любовь к общему благу…
соединенная с твердостью положительных правил нравственности…

В. А. Жуковский

ЧАСТЬ I

ЕСТЬ ТАЙНОЕ В ЭТОЙ РАЗВЯЗКЕ…

Зимой в Осташеве гостили кавалергард князь Костя Багратион и кавалер-паж Анька Гернгрос. Дни стояли яркие, но к четырем часам солнце уже было на закате, и с реки, по льду которой носилась веселая молодая компания, было видно, как отливали золотом окна усадебного дома.

После чая, в сумерках, отец Татьяны Великий князь Константин Константинович Романов позвал дочь прокатиться в одиночных санях в соседнее Колышкино. Месяц чисто светил с неба, сани отбрасывали голубоватую тень на снег. За кучера был брат Татьяны лейб-гусар Игорь, отчаянный лошадник. Остальная молодежь осталась устраивать в саду на поляне фейерверк. Великий князь заметил, что Татьяне поездка была не по душе. Она оглядывалась на оставшихся в саду братьев и гостей, а красивый кавалергард Багратион ей кричал: «Татьяна Константиновна, возвращайтесь скорее!»

Потом на подъезде Гавриил, Татьяна, Костя, Олег и Игорь, отец и мать – Великий князь Константин Константинович и Великая княгиня Елизавета Маврикиевна – провожали гостей. Багратиона и Гернгроса пригласили в Осташево на лето.

В августе сыновья, и особенно Олег, ходили за отцом следом и просили привезти из Петербурга их друзей. Константин Константинович имел дела в столице. Он обещал повидать молодых людей и доставить их в Осташево, где в небе играли подкрашенные акварелью облака, а на земле перед домом горел «мавританский» ковер цветов.

В столице до него дошли слухи, что его дочь Татьяна увлечена молодым Багратионом и что юноша после лагерей никуда не уезжает на отдых, а ждет приглашения в Осташево.

Слухи подтвердил управляющий двором Александры Иосифовны, матери Великого князя, – Павел Егорович Кеппен.

Раздосадованный, что всё пропустил мимо глаз и ушей, августейший родитель поспешил из Петербурга в усадьбу. Жену он волновать не стал. Уединился с любимой сестрой, «Королевой эллинов», умницей Ольгой. Сестра посоветовала ни о чем не выспрашивать Татьяну, а в разговоре общего родительского свойства напомнить ей, что она царского рода, правнучка Императора Николая I и что ей нельзя увлекаться юношами, за которых по своему высокому положению выйти замуж не может.

Татьяна выслушала отца привычно вежливо и спокойно.

Но назавтра роскошный летний день был полностью испорчен. Константин Константинович не расположен был даже

делать заметки в дневнике о чудной поездке верхом и трудиться над октавами своей элегии «Осташево».

После обеда жена передала ему длинный разговор с Татьяной, которая созналась в своей любви к Косте Багратиону. К ужасу Константина Константиновича, дело дошло до поцелуев. К тому же очень неприглядную роль в этой истории сыграл, подумать только, родной брат Татьяны – Олег! Он рассказал Багратиону о чувствах сестры и даже взялся передавать их письма друг другу. Константин Константинович тут же пошел к сыну, с силой открыв дверь в его комнату. Олег обернулся от письменного стола и радостно вспыхнул: «Пап?, послушайте!»

Уж ночь надвинулась. Усадьба засыпает…
Мы все вокруг стола в столовой собрались.
Смыкаются глаза, но лень нам разойтись,
А сонный пес в углу старательно зевает.
В окно открытое повеяла из сада
Ночная, нежная, к нам в комнату прохлада…
Колода новых карт лежит передо мною.
Шипит таинственно горячий самовар,
И вверх седой, прозрачною волною
Ползет и вьется теплый пар.
Баюкает меня рой малых впечатлений,
И сон навеяла тень сонной старины,
И вспомнился мне пушкинский Евгений
В усадьбе Лариных средь той же тишины.
Такой же точно дом, такие же каморки,
Портреты на стенах, шкапы во всех углах,
Диваны, зеркала, фарфор, игрушки, горки
И мухи сонные на белых потолках…

Великий князь втайне больше других детей любил Олега. Считал его самым даровитым и верил, что в нем развивается поэт, писатель, философ. Сам известный в России стихотворец, он с обостренным чувством относился к литературным опытам сына. Но сейчас… Отцу было больно за лукавую, скверную роль, сыгранную Олегом в этой истории. Он долго и возмущенно объяснял сыну его вину, говоря о женской чести, обязанностях брата перед сестрой, обмане родителей. Олег слушал, но, кажется, не осознавал своей вины. Нагло смотрел в глаза и молчал. Константин Константинович отчаянно крикнул ему, что если Татьяна выйдет за Багратиона и будет носить его имя, то им не на что будет жить: в силу неравнородности брака Татьяна лишится своего содержания из царских уделов…

Татьяна не выходила из комнаты уже несколько дней. Ее мучили любовь и стыд. Отец зашел на минуту, чтобы известить

дочь о своей воле:

– Ранее года никакого решения принято не будет, если идти на такие жертвы, то, по крайней мере, надо быть уверенным, что чувство – истинное и глубокое, – сказал он.

– Можно мне написать последнее письмо? Он должен знать, почему я прекращаю с ним отношения, – тихо проговорила дочь.

«Душа, робея, торопилась жить, / Чтоб близость неминуемой разлуки / Хоть на одно мгновенье отдалить», – некстати вспомнил Константин Константинович строчку своих стихов.

– Можно, напиши.

Молча постоял у широкого окна, глядя на знаменитый «мавританский» ковер цветов, расстилавшийся до самых прудов, на открытые поля, перемежавшиеся с влажными рощами, и добавил:

– Я разрешаю и Багратиону написать тебе в последний раз.

Письмо Татьянино читать не стал. Но адрес в Петербург, в канцелярию Кавалергардского полка подписал сам.

Последнее письмо Багратиона было адресовано Олегу. Брат не отнес его сестре, а передал матери. В конверте оказалась записка для Татьяны. Ее никто не читал. Во время обеда, за которым царила напряженная тишина и никого не радовало мороженое в виде белых медведей на серебряных подносах, Татьяна сказала, что Багратион, как только они вернутся в Петербург, будет просить разрешения на брак. Вечером в дневнике Константин Константинович записал: «Несмотря на тяжелое томление духа, катался более двух часов на байдарке. В уме исправлял готовую элегию „Осташево“. Строфу: „Домой! Где мир царит невозмутимый / Где тишина и отдых, и уют…“, несмотря „на тяжелое томление духа“, не выправил. Оставил».

С Осташевым простились в сентябре. Павловск встретил почти летней листвой – в ней было меньше охры, чем в Подмосковье. Особенно густо зеленела липовая аллея. Чтобы встретиться с Багратионом, Великий князь выехал в Петербург. Кавалергарда он вызвал в Мраморный дворец. Принял в своей приемной и говорил ему «вы». Предложил возвратить все письма Татьяны и Олега и покинуть на год столицу.

Багратион сознался в своей вине и легкомыслии. Но в паузах монолога Великого князя повторял, что чувство его глубоко и не изменится.

«Это мы еще увидим!» – пригрозил Константин Константинович в тот же вечер в своем дневнике влюбленному.

Когда он вернулся в Павловск, в салоне у жены сидел сербский король Петр. Король хотел переговорить с ним с глазу на глаз. Они уединились, и король сообщил о желании своего

наследника, королевича Александра, жениться на Татьяне. Великий князь был застигнут врасплох. Не мог же он объяснить Его Величеству, что дочь влюбилась в человека не равного с ней происхождения, и подумал, что шаткость в его нынешних семейных делах соседствует с шатким положением сербской династии на престоле. Многовато всего. Королю же сказал, что всё зависит от согласия Татьяны.

«Придется обо всем говорить с Государем, если Ники [1] еще не донесли о случившемся в семье Константиновичей», – горестно думал Великий князь у себя в кабинете, открывая ключом нижний шкаф письменного стола. Там была спрятана запертая шкатулка, где хранились в кожаных переплетах с металлическими замками его дневники. Он хотел передать впечатление о красивом бале у Раевской, урожденной княжны Гагариной, но вспомнил, как одна из ее дочерей, встречая гостей, уселась на лестничные перила и скользила по ним. «Вот образчик развязности нынешних барышень», – сокрушенно записал он, сократив описание бальных красот.

Видимо, опять думал о дочери.

К царю идти не пришлось. Высокий гость в один из осенних дней сам посетил Мраморный дворец. Плохие слухи не успели дойти до Его Величества. Как сербский король просил беседы с глазу на глаз, так и Константин Константинович попросил поговорить с ним один на один. Царь слушал внимательно и сочувственно. Потом перевел разговор на необходимость разрешить Великим князьям и князьям императорской крови вступать в морганатические браки. Но на брак Татьяны с Багратионом ни разрешения не дал, ни запрещения не высказал. Пообещал поговорить с матерью Императрицей. И еще посоветовал все-таки терпеливо выждать год.

Вскоре Их Величества пригласили Елизавету Маврикиевну на чай в Царское Село. И тут оказалось, что Императрица Александра Федоровна довольно снисходительно смотрит на случившееся и брак Татьяны с Багратионом не склонна считать морганатическим, ведь Багратион, подобно Орлеанам, – потомок когда-то царствующей династии.

Но уже было поздно. Уже были сказаны роковые слова: «через год»…

Юный потомок Царского Дома Багратидов из старейшей его линии Мухранских – были еще Багратионы Кахетинские, Имеретинские, Давыдовы, Карталинские – покинул Петербург и уехал в Тифлис, ожидая там прикомандирования в Тегеран к казачьей части, бывшей в конвое у шаха Персидского.

Татьяна была в отчаянии. Мела уже снегом зима. Ее морозное

сверкание напоминало о череде грядущих новогодних праздников. Но они ничего не обещали ее сердцу. Однажды Елизавета Маврикиевна уговорила дочь покататься с молодыми людьми на санках в Павловском парке. Первые санки привязали к розвальням, и санный поезд с веселым скрипом и шипением полозьев катился среди высоких сугробов. Порозовевшая, закутанная в белый мех, Татьяна поддалась общему веселью, когда неожиданно почувствовала удар и боль. Это ее сани столкнулись с санями барона Буксгевдена, приятеля братьев. Татьяну отнесли в комнаты. От боли в спине она не могла ходить.

Татьяна долго лежала в Пилястровой зале и вспоминала, как совсем недавно с родителями в Константиновском дворце отбирала мебель для устройства красивых и уютных уголков этой залы. Казалось, такой счастливой…

Болезнь и тоска по Багратиону совершенно обессилили ее. Татьяну выносили на балкон подышать воздухом и погреться на солнышке. Внизу нарядно лежал в парче и стеклярусе Павловский парк с тихими аллеями. Но Татьяна очень скоро просилась в дом. В зале на стене висел образ Божьей Матери-в профиль, под синим покрывалом. Еще со времени императрицы Марии Федоровны, супруги Павла I, которая копировала икону, все знали, что молитвы, творимые перед этим образом, бывают услышаны и исполнены. Молясь каждый день, она просила Богородицу вернуть ей Багратиона.

«Матушка очень грустила о Татьяне и не знала, что придумать, чтобы ей доставить удовольствие», – писал брат Татьяны, Великий князь Гавриил, вспоминая всю эту любовную историю. Как-то Великая княгиня послала свою камер-фрау Шадевиц в книжный магазин: «Купите княжне книгу о Грузии». Но камер-фрау только и принесла тоненькую брошюрку профессора Марра «Царица Тамара, или Время расцвета Грузии. XII век». Больше ничего в книжной лавке не оказалось.

Татьяне было дорого все, что связано с родиной Багратиона, она читала профессорский труд как молитвенник. Держала книгу под подушкой, брала с собой на балкон. Рассматривала тонкое лицо грузинской царицы, почти физически ощущая ее душу, и еще острее становилась ее любовь к грузинскому князю.

Она безоговорочно доверилась взгляду автора на личность царицы Тамары, который отметал все фривольные легенды о ней, подчеркивая, что Грузия добилась при ее царствовании таких успехов, которых не было ни до, ни после: распространилось христианство, был создан Церковный собор, устранивший государственные непорядки. Дочь Георгия III и красавицы Бурдухан, царица Тамара оставила по себе прекрасную память в

народе, который прославлял ее кротость, миролюбие, мудрость, религиозность и дивную красоту. Она и сама любила красоту, потому и покровительствовала литературе и искусствам, возвышавшим ее государство, строила храмы, одаривала их утварью, книгами, заботилась о бедных, сиротах, вдовах, занималась целительством.

Татьяна, как и все дети в семье Великого князя Константина Константиновича, была очень религиозной. В раннем отрочестве она даже мечтала о монашестве. Ежедневно обращаясь к поучению оптинских старцев, спрашивала себя: искренне ли она молилась, сокрушалась ли сердцем, смирялась ли в мыслях, простила ли виноватого перед ней, воздержалась ли от гнева, от плохого слова? Обещала себе быть на следующий день внимательнее в благом и осторожнее в злом. Как пишет ее брат, Татьяна полюбила святую и блаженную царицу Тамару, стала молиться ей, любившей и защищавшей Грузию, за ее прямого потомка князя Багратиона.

Вскоре Государь, как всегда неуверенный и сомневающийся в себе, пожелал увидеть Елизавету Маврикиевну и смущенно, но обаятельно *[charmeur*– говорили о нем) сказал: «Я три месяца мучился и не мог решиться спросить Мама, а без ее санкции я не хотел предпринимать чего-либо. Наконец, я ей сказал про Татьяну и Багратиона, о предполагаемых семейных советах для изменения решения этого вопроса… Я боялся, что она скажет, а она ответила – тут Государь изобразил Императрицу Марию Федоровну, ее низкий, почти мужской голос: „Давно пора переменить“. И зачем я три месяца мучился?» – пожал плечами государь.

Государь разрешил Багратиону вернуться и прибыть в Крым. В Ореанде, [2] в церкви, построенной дедом Татьяны, отслужили молебен по случаю помолвки молодых. Случилось это 1 мая 1911 года, в День святой царицы Тамары. По ее милости и помощи. Но об этом знала одна Татьяна.

Свадьбу играли в неспешную раннюю осень в Павловском дворце. Считалась она полувысочайшей, так что дамы были не в русских платьях, а в городских. Татьяну это не волновало. Она ничуть не тщеславилась, когда прибыла вся царская семья во главе с Их Величеством. Все проследовали в бывший кабинет Императора Павла I, откуда началось их шествие по всем великолепным залам Павловского дворца в церковь. Это было похоже на царский выход.

Татьяна ревниво следила за отношением гостей к своему жениху. Из-под ресниц наблюдала за Царем, который беседовал с приглашенными. Вот он подошел к старой княгине Багратион-

Мухранской, сидевшей на диване у окна. Костя Багратион приходился ей племянником. Грузинская княгиня жила в Тифлисе, была очень богата, горда, строга и всеми уважаема. Царь что-то ей сказал, и она не изменила позы. Все общество замерло: Самодержец Российский стоял, а дама продолжала сидеть. Чуть нагнувшись к ней, Николай II был обворожительно любезен, в чем сказывались его и сила, и величие.

Татьяна облегченно вздохнула и наконец ощутила, как она хороша в белом платье с серебром и шлейфом, с бриллиантовой диадемой в волосах, в Екатерининской ленте со сверкающей звездой, как добры к ней братья – Гавриил, Костя, Олег, Игорь, ее шаферы, как красив в Греческой зале обеденный стол с любимым блюдом отца – трюфелями в шампанском. Позже, уже в эмиграции, в Париже, Великий князь Гавриил вспоминал: «Редко приходилось, даже в те счастливые времена, быть в такой обстановке. Такого красивого дворца, каким был Павловский, я никогда не видел».

А тогда Татьяна выскользнула в свои девичьи комнаты подле залы с пилястрами, нашла книжечку о царице Тамаре и поцеловала ее образ, изображенный на третьей странице.

В этих комнатах молодые и разместились. Татьяна родила сына и дочь. Дочь назвали Натальей. Сына хотела назвать Константином в честь любимого мужа. Но Великий князь Константин Константинович воспротивился. «Ты, Костя, не сердись, – сказал он зятю, – но никто никогда в этом не разберется. Прадед, дед, отец, сын – и все Константины. Да еще у Татьяны братец с тем же именем. Выбери сам имя, родное тебе, грузинское». Багратион думал, колебался, остановился на двух – Вахтанг и Теймураз. «Теймураз», – повторяли на разные лады домашние, и всем нравилось. А когда дядя Татьяны Великий князь Дмитрий запросил Синод, есть ли такой святой, и ему ответили, что в грузинских святцах есть преподобный Теймураз и празднуется его день на апостола Фому, общему удовольствию не было конца.

* * *

Великий князь Константин Константинович держал в руках телеграмму из действующей армии без обозначения места и дня: «После вчерашнего кавалерийского боя Их Высочества живы. Потери такие: конной гвардии убиты Суворовцев, два Курганникова, Зиновьев, два Каткова, Князев и Бобриков, ранены Бенкендорф, Гартман, Бобриков, Дубенский и Торнау. В

Кавалергардском убиты – Карцев, Кильдишев, Сергей Воеводский. Уланы убиты: Каульбарс, Гурский, Трубецкой и Скалон. Конногренадеры – убит Лопухин…»

– Какой Лопухин? Отец или сын? – растерянно спросил сам себя Константин Константинович. Вечером он записал в дневнике: «Сердце сжимается»…

Шла война 1914 года. Пятеро его сыновей и зять Константин Багратион ушли на фронт. «Мы все пять братьев идем на войну со своими полками. Мне это страшно нравится, так как это показывает, что в трудную минуту Царская Семья держит себя на высоте положения. Мы, Константиновичи, все впятером – на войне», – писал князь Олег, юный восторженный поэт, когда-то передававший в Осташево письма от влюбленного Багратиона Татьяне.

Олег был убит в одной из первых атак. Константина Константиновича мучила тоска, он часто плакал о сыне, боялся за остальных сыновей. Немного отвлек его приезд из армии Кости Багратиона. Они с Татьяной в своих комнатах устроили вечер для раненых офицеров Эриванского полка. Тогда же Багратион сказал жене, что решил перейти в пехоту: там из-за страшных потерь недоставало офицеров. Татьяне казалось, что положение мужа станет опаснее, но она промолчала. Костя, замечательный офицер, имевший наградное Георгиевское оружие, долг ставил превыше всего.

Багратион уехал на фронт и был убит. Сообщил о его гибели генерал Брусилов. В тот же вечер отслужили панихиду в церкви Павловского дворца. Приехали Император с Императрицей. Татьяна неподвижно сидела в Пилястровой зале. Молча, в страшном спокойствии, отложила черную траурную одежду в сторону. Надела все белое, что пронзительно подчеркивало ее несчастье и горестную застылость.

Хоронила она мужа на Кавказе, в старинном грузинском соборе в Мцхете.

… Погибли сын Олег, Костя Багратион. Четыре сына в неизвестности на фронтах, погибшие товарищи и сама Россия в этой непонятной для Великого князя Константина Константиновича войне… «На нем лица не было», – вспоминали близкие.

Наступил 1917 год. Татьяна вместе с малолетними детьми сопровождала брата отца – Великого князя Дмитрия Константиновича – в Вологодскую ссылку. Когда Великого князя перевезли в Петроград и посадили в Дом предварительного заключения, она не вернулась в Мраморный дворец, поселилась с детьми на частной квартире.

Дмитрия Константиновича расстреляли в Петропавловской крепости, его адъютанту полковнику Короченцову удалось вывезти Татьяну через Киев, Одессу, Румынию в Швейцарию. В немногих вещах была спрятана книжечка Марра о царице Тамаре. Быть может, не столько по любви, сколько из благодарности Татьяна стала женой Короченцова. Но через три месяца после всего пережитого Короченцов умер.

Татьяне нужно было самостоятельно решать судьбу детей. Желая дать им русское воспитание, она отвезла их в Сербию, в город Белая Церковь, где сын поступил в Крымский кадетский корпус, а дочь – в Мариинский Донской институт.

Она ждала, когда дети повзрослеют и придет ее час.

Час пришел: в Женеве блаженнейший митрополит Анастасий постриг ее в монахини. Имя он ей дал особенное, звук которого остро отозвался в ее сердце, – Тамара.

* * *

...

«И мерещилось многие дни что-то тайное в этой развязке»…

* * *

В своем служении Богу и людям, вдали от России, от всех близких, кто был еще жив, Татьяна в своих молитвах поминала братьев, сестер и родителей. Чаще всего вспоминался отец. Высокий, стройный, тонкое лицо, светлые глаза, чистый лоб, холеные руки с длинными пальцами в перстнях. Красивый человек.

Она доставала из маленькой старинной шкатулки две фотографии. На одной в ряд, взяв друг друга под руки, стояли по росту отец, мать, пять братьев в бескозырках и матросках и она в шляпке с белыми перчатками в руках. Был август 1909 года, фотограф снимал всех в осеннем парке Павловска. На другой фотографии – совсем юный отец на учебном судне «Громобой». Серьезный и романтичный. Девятнадцатый век, год, наверное, семьдесят второй. Она всматривалась в лицо отца. «Родного православного народа он заслужить хотел доверье и любовь», –

перефразировала она его стихи. Странный Великий князь… Вспомнит ли Россия его имя?

«СТЕЗЯ ТВОЯ В ВОДАХ…»

Великий князь Константин Романов стоял на палубе у правого шкапичного орудия. Смотрел на черную водную бездну, дышавшую силой, натужно и печально вздыхавшую, словно она рвалась, но не могла коснуться волной нежно полыхающих звезд и тихой луны, сбросившей серебро кисеи на воду.

Он видел эту бездну с 11 лет, когда начал совершать кадетские плавания в отряде судов Морского училища. «Путь твой в море и стезя твоя в водах великих и слезы твои неведомы», – каждый раз повторял он эти слова, вступая на палубу «Громобоя», «Пересвета», «Гиляка», «Жемчуга». Впервые он задохнется от настоящего мужского труда и позже скажет поэту Фету, что труднее всего служить во флоте.

Он будет бороться со страхом, глядя на масляные черные водяные горы. Среди черных волн он был бесконечно одинок и мал со своей великой тоской.

Но вместе с тем здесь, на корабле, едва коснешься руки товарища, когда тянешь канат, или драишь палубу, или берешь за столом кусок хлеба, – и уловит твоя душа теплую, сердечную волну дружества. Ты уже не одинок, ты всеми любим и сам всех любишь. И вечером горячо благодаришь Бога за сделанную работу, выпавшие тебе удачи, за морскую синеву, жаркий свет солнца. Многие из тех давних дней остались в памяти надолго. Например, дивный Фалль под Ревелем на берегу Балтийского моря. Корвет «Варяг», клипер «Жемчуг» бросают якорь перед Фаллем, на берег высаживается человек 70 – кадеты, офицеры, впереди – адмирал. Вокруг сосновый бор, его смолистый запах, тени темных елок, мшистые пни. Земля! Хозяева Фалля – имение основал граф Аристарх Христофорович Бенкендорф, шеф жандармов и любимец Императора Николая I, – встречают гостей. В доме готовят угощение. Кадетам, под каштанами, офицерам – в доме, а адмирала ведут к хозяйке за стол. В благодарность за гостеприимство кадеты приглашают хозяев Фалля в гости на корабли. Князь Сергей Волконский, чье детство проходило в Фалле, вспоминал, как однажды, будучи на корабле в гостях у кадетов, проснулся утром от дивного хорового пения команды. Звучало «Отче наш».

А Великий князь Константин запомнил в Фалле совсем другое. Странное длинное фортепиано, Бог знает каких времен, с несуразным, стеклянным звуком, и они с князем Сергеем Волконским, который был чуть младше его самого, исполняют, вернее, стучат на нем какую-то симфонию. И еще: с северной

стороны дома он видел на лужайке рощу. Каждое дерево в ограде. И надпись: кто посадил и когда. Самое первое дерево посадил дед Константина – Император Николай I.

Время будет бежать быстро, быстрее, чем течь жизнь. Это только кажется, что время и жизнь человека бегут в одной упряжке.

Останется позади первое заграничное плавание на фрегате «Светлана». Перед лицом буйного, разноликого мира родится совсем особое чувство – безграничной свободы. Появится гордость за Россию, и он, Великий князь, будет не однажды, как член Императорской фамилии, ее представлять. Он станет гордиться «Светланой», этим военным трехмачтовым кораблем, который строил его отец, морской министр России. «Светлана» будет носить шестидесятифунтовую артиллерию и ходить по 12 узлов. Таким фрегатом любой флот любой европейской державы мог бы гордиться.

На «Светлане» в составе русской эскадры Константин побывает в Америке и увидит иные чудеса, нежели в старой Европе. Но странно: он будет не столько в плену живописных чужеземных впечатлений, сколько в плену оставленного в России.

«Я перечитываю „Войну и мир“, – пишет он другу детства и юности, брату своему, Великому князю Сергею. – Боже мой! Сколько я нашел там новых прелестей! Сегодня читал возвращение Николая Ростова домой, когда на него накидываются и целуют, обнимают. Ах, зачем я не брат или сестра Николая, чтобы хорошенько расцеловать этого чудесного гусара! Зачем я не такой, как он! Какой он честный, добрый, славный, прямой».

«Желания в юности, – сказал Константину однажды отец, – исключительны и типичны одновременно. Но что это капитал – безусловно!»

Фрегат «Светлана» вернулся из заграничного плавания 19 июля 1877 года. Весь его личный состав направлялся на войну с Турцией. Мичману Великому князю Константину было 19 лет.

Лето в Павловске блистало. Великая княгиня Александра Иосифовна сидела на балконе среди роз, посаженных в вазоны. Она всегда любила русское лето. Казалось бы, в Германии все то же: птицы, вода под теплым солнцем. Но там – это только гобелен, взятый в тесную раму, здесь – зеленые шелка, брошенные щедро господом Богом на землю. Нескончаемые дары…

Она вздохнула и вернулась к мысли, которая ее тяготила. Муж поставил ее в известность, что сын Костя отправляется на Дунай. На фронт просился и Митя, младший сын, которому было

только 17. Похоронив, как всегда, в душе истину, она изобразила на лице радость, величие и достоинство и сказала мужу, уверенному в своем главном предназначении – управлении морским ведомством Империи (только как о будущих моряках, он думал и о своих сыновьях), что для отечества всё отдаст до последней капли крови. Мите пообещала: «Я напишу отцу письмо с такими основательными доводами и такой убедительной просьбой, что папа тебе не откажет. Но ты, Митя, и от себя ему напиши».

Александра Иосифовна содрогалась от слова «война», но письмо мужу с просьбой отправить на Дунай и младшего сына написала. Константин Николаевич, как отец и генерал-адмирал, морской министр России, ждал от сыновей патриотических порывов и мужества. Однако прочитав письма, на следующее же утро зашел в гостиную жены, где она, спавшая дурно всю ночь, сидела со своими мальчиками, поблагодарил Митю «за благородные чувства и порывы», высказанные в его вчерашнем письме, но сказал:

– Согласия на твой отъезд, Митя, дать не могу. Молод еще, слишком молод, чтобы думать о войне. Учиться надо. России скоро будут нужны минные офицеры. Подумай… А то ты все с лошадьми возишься. Времена меняются.

Митя был огорчен, зато старший Костя – почти счастлив. Что скрывать, он не хотел, чтобы брат был с ним на фрегате «Светлана». Даже мысль об этом была ему неприятна. В дневнике своем он нервно записал: «Я хотел быть один со своими, и чтобы люди не моей Светлановской жизни мне не мешали. С Митей, конечно, поедет И. А., которого я ужасно люблю, но который мне очень будет мешать на Дунае, сам этого не зная. Его присутствие, когда я меж своими, меня крайне стесняет, мне неловко, я боюсь каждого своего не только слова, но и движения, чтоб не увидеть на его лице неудовольствия».

И. А. – это лейтенант Илья Александрович Зеленый, воспитатель братьев. Косте в ту пору не приходило в голову, что Илья Александрович со временем превратится в его старшего друга, советника, человека незаменимого, почти родного. Ну а сейчас юный Великий князь Константин Романов понимал, что мысли его одолевают скверные. Он даже пытался их заглушить и молился «наоборот» – об отцовском разрешении для брата Дмитрия. Но как только отец сказал «нет», он самоуверенно сообщил дневнику: «Я почти был уверен в таком ответе».

Сумятица чувств вызвала и сумятицу действий. Александра Иосифовна хотела, чтобы сын говел перед походом. Но отец, одобрив идею, сказал, что она неудобоисполнима – слишком

много дел в настоящее время. Сам он уезжал в Кронштадт и потребовал от Константина быть в Исаакиевском соборе на благодарственном молебне по случаю взятия Тырнова. Константин, примеряя «большие» сапоги и шитый мундир с палашами (следовало быть в парадной форме), потом отдавая свою голову во власть мастера парикмахерских дел Баранова, думал о том, что душа его жаждет молитв. Хорошо бы, пройдя по темным залам, подняться на хоры церкви, встать на колени, облокотиться на перила, закрыть глаза и молиться. Он стал дорожить такими мгновениями, так как ушли в прошлое времена, когда молилось легко и казалось, что Бог и ангелы слушают и не гнушаются его молитвами. Теперь же ему бывало труднее сосредоточить свои мысли и молитвенно настроить ум.

Так оно всё и случилось, когда утром он пошел с батюшкой Арсением в церковь. Перед Царскими вратами поставили аналой с крестом и Евангелием. Он начал исповедоваться. Пытался сосредоточиться, но мысль о поездке в Петербург нарушала равновесие души и мыслей. Да еще галстук вылезал из-под воротника мундира…

Вечером он пожалуется своему дневнику: «Моя исповедь никогда прежде так долго не продолжалась, и батюшка так много и хорошо говорил. Но не было у меня моей прежней детской радости покоя, которые обнимали все мое существо в прежние чистые годы после исповеди… Вот до какого я дошел бесчувствия. Единственное, что было хорошего, это сознание своей недостойности. Правда, когда мы с мамой подходили к чаше, мне сделалось очень хорошо и я, как всегда в эти минуты, потерял всякое понимание. А причастившись, я опять попал в омут глупых житейских забот… Я жевал просвирку и не умел благодарить Бога».

Но как бы то ни было, время отъезда на Дунай неумолимо приближалось, и он счел необходимым написать четко и крупно: «Прощай, дорогой, верный, заслуженный дневник».

Раздался тихий стук в дверь и голос Александры Иосифовны:

– Костя, ты занят?

– Нет, нет. – Он быстро сунул тетрадь в кожаном коричнево-вишневом переплете в ящик.

Александра Иосифовна принесла ворох телеграмм с пожеланиями и поздравлениями. Одна из них была от Александра II. Государь писал Константину: «Я радуюсь увидеть тебя на берегах Дуная».

– Прекрасно, прекрасно, – взволнованно говорила Великая княгиня, обнимая сына.

Потом – последняя прогулка, они катались по Павловску.

Парк был не очень красивым в холодную осенне-зимнюю пору, но настолько просторным и светлым, что даже серое небо этого простора и света не могло убавить.
Великий князь сидел рядом с матерью. Оба молчали, хотя Константину казалось, что было слышно, как он мысленно повторял: «Прощай, милый Павловск! Может быть, в последний раз».

Он вернется в Павловск почти героем. За заслуги в Русско-турецкой войне Великий князь Константин Константинович будет награжден орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия 4-й степени, медалью «За войну 1877–1878 гг.», Русским крестом за переход через Дунай, болгарскими и сербскими орденами. Отец сыном гордился и рассказывал в обществе, как Костя участвовал в рекогносцировках, как подготавливал уничтожение турецкого моста, строившегося у Силистрии, как с отрядом юнкеров спустил брандер на турецкий пароход под огнем батарей и стрелков всей силистрийской оборонительной линии. Дамам генерал-адмирал объяснял, что «брандер» – это такое судно, нагруженное горючим материалом, которое поджигают и направляют на неприятельский корабль.

– Что делать, – вздыхал он, – после крымской заварушки военного флота в Черном море нам не видать [3] – потеряли мы право такое. Вот и приходится обходиться атаками мелких катеров, вооруженных шестовыми минами или самодвижущимися торпедами. И это против крепких военных турецких кораблей и речных мониторов, хорошо вооруженных, а иногда бронированных.

И он пускался объяснять, что такое «монитор». Но почти всегда находился в обществе какой-нибудь «старый морской волк», который уводил генерал-адмирала к рассказу о первом в истории морских войн успешном применении торпедного оружия, что произошло в эту же Русско-турецкую кампанию. И задействован в этой истории был пароход, носящий имя самого генерал-адмирала, то есть отца Кости. Командовал этим пароходом лейтенант Степан Осипович Макаров, в будущем знаменитый адмирал. Так вот, 14 января 1878 года два минных катера «Чесма» и «Синап», спущенные с парохода «Великий князь Константин», потопили на батумском рейде своими торпедами турецкий военный трехмачтовый корабль «Интибах». О событии говорили во всех портах мира. Сын ловил себя на том, что и сам был готов слушать не один раз рассказ отца. Тем более что последний был вдохновенным рассказчиком.

– Ваше Императорское Высочество, вы можете соперничать с Карамзиным! – позволял себе вольность кто-нибудь из близких

друзей.

А сын, слушая рассказы отца и читая в «Русском вестнике» «Записки из войны 77–78 гг.» какого-то полкового священника, неожиданно поймал себя на желании писать. Ну, например, рассказать о силистрийском деле на Дунае.

«Не знаю, правда, с чего начать и в какой форме описывать…» – мучился он. И ничего не написал. Его творческий дебют будет совсем другим.

Чаепитие на берегу пруда, под лиственным шатром деревьев было последним. Все прощались друг с другом и объяснялись в любви милому Крыму и гостеприимной Ореанде. Сияющий май 1879 года обещал такое же лето, но дела звали на Север. В Петербург уезжали Государь и Государыня. Уезжала Александра Иосифовна с сыном Митей. Ей предстояло расставание и с дочерью Олей, Королевой эллинов, которая отплывала в свою Грецию, и с двумя Константинами – мужем Константином Николаевичем и сыном Константином Константиновичем. Сын будет сопровождать отца – морского министра России – в плавании по Черному морю и присутствовать при испытании круглых броненосцев «Поповок».

Создателем круглых броненосцев был вице-адмирал Андрей Александрович Попов, заметная фигура в истории России, а в те времена патриотического подъема, времена государственников друг и соратник морского министра. Другим он не станет, когда время для наших героев пойдет вспять.

Проводы без слез – не проводы. После слез и прощаний на берегу в Севастополе остались с отцом Константин и Оля. Они посетили знаменитое военное севастопольское кладбище, после чего Константин вместе с отцом отправился в плавание по Черному морю. Тогда же на броненосце «Вице-адмирал Попов» он записывал в дневнике:

…

« Севастополь.

Мы в Севастополе с благоговением входили в пирамиду церкви. Над входом – мозаичный образ Христа. Я смотрел на эти величественные и тихие, кроткие черты – и казалось, что хорошо, должно быть, лежать покойником под землей и отдыхать от трудов,

забот и ран, когда их сторожит такой Сторож. Каждая икона в Церкви напоминает о времени, когда мертвые оставят свои могилы. Мы пошли по кладбищу, читая направо и налево на могильных камнях имена убитых, умерших от ран и страшные слова «братская могила». Солнце заходило, кладбищенский сад смотрел уютно и привольно, в теплом воздухе хорошо пахло цветами. Вспоминаются слова: «Подожди немного – отдохнешь и ты…»

Мы обедали на «Поповке». С ужасом я ждал минуты последних поцелуев Оли – новые слезы. Хотелось бы сразу оборвать и разойтись в разные стороны. Привезли мы Олю на пароход «Константин»… Отъезжая на катере, я кричал Оле: «До свидания, Христос с тобою». Я слышал ее последние слова: «Благодарствуй».

Я водворился на «Поповке». На нем мы будем плавать с Пап? по Черному морю… «Поповка» внутри делает впечатление страшной адской машины. Посреди, между двух дымовых труб и толстых вентиляторов, открывается широкая бездна башни. По желанию оттуда поднимаются, подобно кровожадным крокодилам, два 12-дюймовых (40 тонн) орудия и получают какой угодно угол возвышения. Вдруг вся эта пропасть начинает быстро вращаться, и это движение не мешает пушкам точно так же подниматься. И вдруг, среди темноты, засветился электрический фонарь Яблочкова – и сразу все предметы вокруг ярко и блестя освещаются.

26. Май. Черное море. «Вице-адмирал Попов».

«Поповкой» командует Балк. Общество, собирающееся у Пап?, мне не особенно симпатично, за некоторыми исключениями. Нет никого, с кем бы я мог поговорить, не только отвести душу…

Стараюсь обращать внимание на морские предметы. Не могу не сознаться, что вопросы государственные гораздо более меня занимают, чем частные морские предметы. Будь моя воля, я бы служил в гражданской службе. Но теперь моя обязанность быть моряком… Завтра утром может быть Батум…

Май. 29. Батум.

Перед нами открывался гористый берег, у подошвы горы расположен небольшой невзрачный городок с несколькими мечетями. На краю косы, закрывающей батумскую бухту, лежит турецкое укрепление, посреди которого шест, чтоб подымать маячный огонь. Вход в бухту открытый и широкий, сама она не велика и не может вместить большой флот. Но частных судов приходит много, пароходы турецкие, английские, французские, австрийские держат сообщение с Трапезундом, а русские с Поти.

Город населен турками, греками, армянами. В горах и отчасти в городе живут кабулетцы, аджары, лады и гурийцы.

Пап? здесь встретили: Князь Святополк Мирский, заступающий временно должность Наместника; военный губернатор, генерал-майор Комаров и корпусный командир генерал Своев. Все они завтракали у

нас на «Поповке», и еще турок – Мустафа-паша. В 3 часа мы все съехали с Пап? на берег.

У пристани был выстроен почетный караул Владикавказского полка с множеством георгиевских кавалеров. Нас посадили в коляски, кто сел верхом. Осмотрели турецкое прибрежное укрепление. Пап? посетил лагерные стоянки военных частей и госпиталь. Потом повезли в горы. У крутого моста Пап?, я и Мирский тоже сели на лошадей и поехали в горы.

С высоты открывался прекрасный вид на море и на окрестные горы. Сам город лежит в низменной, прибрежной и болотистой равнине, горы начинаются, немного отступив от берега. Горы здесь не очень высоки, но чрезвычайно живописны и покрыты свежей зеленью. Небо было покрыто облаками, и они закрывали снежные вершины внутреннего хребта.

Около 7 ч. мы вернулись на «Поповку».

Май. 31. Симоново-Канонитский монастырь.

Снялись с якоря в 1 ч. пополуночи. В 4 ч. были в Псерети, съехали на берег. Возвышалась недалеко от берега каменная церковь, окруженная древними развалившимися стенами генуэзской крепости. Доносился благовест, на пристани встретили нас монахи в облачениях, с крестом и святой водою. Повели нас в церковь, отслужили краткий молебен.

Все мы потом пошли за гору смотреть древний храм. По дороге настоятель говорил нам, каким образом очутился здесь монастырь. В

древности пришли в Абхазию проповедовать христианство Андрей Первозванный и Симон-Зилот, называемый также Канонитом, ибо Христос был на его свадьбе в Канне Галилейской. По преданию Апостол Симон основал здесь церковь на берегу реки… и тут умер и был погребен. В нынешнем столетии с Афонского монастыря пришло сюда, в Псерети, несколько монахов. Они основали церковь и школу для маленьких абхазцев. В последнюю войну все это было разрушено. Но, по заключении мира, монахи вернулись, в 3 месяца сами выстроили каменную церковь, где мы и были, и снова заведут школу.

Слышен был шум реки, нам ее не было видно за густою растительностью; кругом возвышались горы, сплошь покрытые лесом. Вот увидели мы огромный, развесистый орешник, за ним открылся сложенный из тесаного камня, полуразвалившийся и покрытый плющом и вьющимися растениями древний храм византийской постройки; тут по преданию и погребен Апостол Симон. Над куполом входной части церкви растет огромная смоковница – ствол ее внутри, между стен здания. Мы вошли в церковь. Купол обвалился, порос репейником, и красиво по стенам вьется плющ… К моему восторгу, удивлению, по стенам видны остатки древних красок; на западной стене против алтаря и над дверью видны остатки стенной живописи образа Успенской Божьей Матери…

Июнь. 1. Новороссийск.

Утром стали на якорь в

Новороссийской бухте. Кругом зеленые горы однообразного, наводящего уныние вида. Пристань страдает от жестокого «бора», особенно зимой. В 48 году на этом рейде во время шторма от «бора» погибла шхуна «Струя», пошедшая ко дну под напором ледяной коры. Очень неважное место для якорной стоянки.

Погода чудная, очень тепло. Мне так хорошо было на душе при мысли завтра быть в Орианде. Я так люблю вид Ялты и Ялтинского рейда, запах лавров, крутые скалы Ай-Петри. Когда грустно, мне приятно вспоминать все это, особенно склон горы к морю за Ялтой, – так становится хорошо на сердце.

Новороссийск делает впечатление скучнейшего, пустейшего города. Грязная церковь, несчастный общественный сад, невзрачные улицы, гадкие мостовые, казармы, госпиталь, греки и кое-какие русские. Я с Обезьяниновым поехал в гору, с сопровождавшим полковником Никифараки. Он, кажется, очень дельный, умелый и хороший человек. Ему, наверно, сильно достанется от инженеров: Пап? заметил, что собор в очень непристойном виде, и спросил, в чьем он ведении; полковник отвечал, что в инженерном. Пап? сильно распушил инженерное ведомство при инженерном офицере, поручив ему передать начальству, Обезьянинов обещал мне предупредить всех в Тифлисе, что инженеры действительно виноваты и что Никифараки их не выдавал, а Пап? сам заметил грязную обстановку церкви.

Последний день здесь. Когда-то я

милый Крым снова увижу. Дай, Господи, мне быть тогда по крайней мере не хуже, чем я теперь.

7. Июнь. Николаев.

В 11 утра были в Буге у Спасской пристани. Большая встреча, адмиралы в мундирах, цветы, ворота, надпись «добро пожаловать» и т. д. – все как следует… Отправился с Корнаковским странствовать по городу. Были в ремесленном училище; в приюте для стариков, старух и детей, устроенном обществом; девичьем пансионе и Константиновской школе грамотности.

Потом я поехал на кладбище: мне хотелось побыть на могилах моей первой учительницы Елизаветы Ивановны Ильиной и моего милого Гавришева, умершего от слома раненой ноги в лазарете Мама. Я помолился на его могиле, просил его умолить Бога послать Мама здоровья и счастья. И мне казалось, что душа Владимира ближе ко мне. Дома узнал, что отъезд наш отсюда отложен до завтра. Не могу выразить, как это меня расстроило: я так надеялся покончить с утомительными и скучными осмотрами всяких заведений и мастерских. Я взял на себя, помолился Богу, чтобы спокойно перенести неприятность. Я молился и Гавришеву. И молитва мне замечательно помогла и подкрепила меня. Я скоро стал видеть и находить некоторое удовольствие в блуждании по адмиралтейству за Пап?, посреди огромной свиты. Пап? несколько раз очень посердился над дурными и небрежными отделками некоторых предметов николаевского

порта.

9. Июнь. На берегу Буга.

Погода все время стоит чудная, очень знойная. Ездил с Н. И. Казнаковым на ракетный завод, где при мне спустили спасательную ракету, и в болгарский пансион.

Искупался в Буге. Были с Пап? в женском пансионе Памферовой, в Александровской гимназии и осмотрели прекрасный, еще не оконченный морской госпиталь.

В 4 ч. 45 мин. уехали из Николаева. Мама по телефону просила насадить жасмин и резеду на могилу Гавришева. Я поручил это Казнакову, он обещал исполнить. Мама просила посадить именно эти цветы, потому что старушка воспитательница покойного видела во сне, будто он упрекал ее за то, что она не носит ему на могилу резеду и жасмин, его любимые цветы».

* * *

Плавание по Черному морю закончилось докладом Великого князя Константина Николаевича Царю. Костя в Царское Село поехал с отцом. Государь вспоминал Плевну, вслух размышлял, правильно ли сделала Россия, вмешавшись в Балканскую войну.

– Для нас это не просто славяно-патриотическое дело. Спокойствие на Балканах, на многонациональном Кавказе – залог спокойствия в восточно-христианском мире, – снял сомнения Государя Константин Николаевич, человек умный, волевой и самоуверенный.

Потом он стал рассказывать о «Поповках», повторяя: «Нам нужен флот, нам нужен Севастополь, Черное море, Крым».

Константин с интересом смотрел на двух родных братьев. Ни один не пошел в отца, Императора Николая I. «Но оба красивы, особенно Пап?», – думал Костя, отмечая, что Государь, правда, выше ростом. Царственные братья и в манере двигаться, говорить, смотреть не походили друг на друга. У Александра II реакция на

все была замедленной, в глаза собеседнику не смотрел, с ответом на вопросы не спешил. Константин – острый на язык, с мгновенной реакцией на чужую мысль и новое дело, с твердым прямым взглядом, от которого его собеседники нередко терялись, а то и забывали мысль.

Братья говорили о настроениях в обществе, о «тяжелых временах» в стране. Константин подумал, что эту тему обсуждают все и везде. Только что они с отцом побывали в Харькове у временного генерал-губернатора Лорис-Меликова. Губернатор жаловался на агрессивность революционных обществ в городе. Но было ясно, что Лорис-Меликов категорически против крутых, ни к чему не ведущих неосторожных мер. Молодому Великому князю понравилась его политика. Быть может, причиной тому было жуткое впечатление, оставшееся от прочтения дела государственного преступника Соловьева, совершившего в Петербурге покушение на Александра II и казненного 27 мая 1879 года.

Тогда Костя не спал всю ночь, пытаясь разобраться в психологии Соловьева. Ему было жаль его. Но от напряжения и волнения только разболелась голова, которая у него болела слишком часто и без всяких причин. Вспомнилось, как в Царском Селе он встретил Государя и Государыню в коляске: на козлах – казак, а впереди, с боков и сзади – казаки верхом. И ему было больно видеть, как Царь пленником ездит в своей стране. Так, может быть, нельзя жалеть таких, как Соловьев?

Генерал Киреев, будучи в гостях у Павла Егоровича Кеппена, управляющего двором матери, читал как-то свою записку «Избавимся ли мы от нигилизма?», которую хотел подать Государю. В записке перечислялись причины, породившие в России нигилизм, и меры, способные уберечь молодежь от этого зла. Константин сделал в своем дневнике грустный вывод: «Мне кажется, Киреев пропускает выгодный случай промолчать… Я убежден, что его советы не только ни на что не повлияют, но даже будут пропущены мимо ушей, это еще лучшее из зол; он может и поплатиться за свои слова. Но я Киреева уважаю именно за то, что он всегда поступает по совести, а не как ему выгодно».

Рационально и не без скепсиса. И это в 21 год, когда юношей еще одолевают «благие порывы» и «розовые очки» бывают впору.

* * *

Об очередном плавании, теперь вокруг света, ходила упорная молва, но всё что-то мешало или задерживало. То отец вдруг

решил послать сына не на фрегате «Светлана», а на корвете «Баян», который только вернулся из дальнего плавания. То Александр II проводил смотр крейсерам «Европа», «Азия» и «Африка», клиперам «Разбойник», «Наездник», «Всадник» и «Гайдамак» и корвету «Баян». Царя сопровождали Царевич и отец, Константин был в свите. Государь посетил корабли, посмотрел артиллерийское учение, церемониальный марш, отметил хорошее умение ставить паруса.

«Кукольная комедия», – заметил в дневнике, хоронящемся в письменном столе под тремя замками, молодой скептик, которому не хотелось снова оказаться в замкнутом пространстве «морской безбрежности», но не хотелось и оставаться в Петербурге среди подневольных обязанностей царской службы и светской суеты.

В то первое его заграничное плавание, в девять утра 29 июля 1875 года «Светлана» снялась с якоря и вышла в море. Великий князь, прислушиваясь к советам офицеров, занимался уборкой якоря. В 12 дня его ждала первая вахта на ходу фрегата. Он чувствовал, что плохо разбирается в парусной работе, и очень боялся самостоятельной парусной вахты. Ему казалось, что он никогда не сможет стать порядочным моряком. Таким, как отец или командир «Светланы», капитан 2-го ранга Павел Павлович Новосильский. Командир часто гневался на неумение и нерадение новичков, но так учил и помогал в морском деле, которое знал до мелочей и любил, что никаких других чувств, кроме благодарности, не вызывал. Тем более обид.

Константин старался вникать во все тонкости морской службы. Напряжение его не покидало, болела непрестанно голова. Но он упрямо стоял на вахте, командовал батареей и даже изучал книгу о новейших судах германского флота.

И все же хотелось домой, в Павловск, на балкон с вьющимися растениями, в голове вместо сведений о германских судах почему-то бродили стихотворные строки, и чаще всего – из лермонтовского «Демона». Когда Константин во время аврала находился на баке за старшего, то редко азартно втягивался в общую работу, чаще на него находила апатия, возня людей раздражала, а то, бывало, уходил в себя так, что ничего вокруг не видел и не слышал. Товарищи по кораблю давно поняли, что служба на флоте тягостна Великому князю. Нет у него к ней влечения и дара. Правда, отмечали его честное желание больше знать о деле и постигнуть его.

Корабль – малое пространство. Все и всё на виду. Константин тяжело переживал несуразицы корабельного житья-бытья. В его дневнике появилась грустная история с фрегатским монахом:

«Я еще ничего не говорил о нашем фрегатском монахе; сегодня из-за него на фрегате произошли некоторые неприятности, чем я и воспользуюсь, чтобы описать личность священника. Отец Илья-второй поступил на фрегат на время этого плавания из Новогородского Сковородского монастыря; наружность его очень мало привлекательна; он пожилой человек с редкими, с проседью волосами, лоб у него морщинистый и совершенно покатый кверху – признак неразвитости. Действительно, отец Илья чрезвычайно, до тупости неразвит и совершенно необразован; говорит он плохо, заикаясь и запинаясь даже при богослужении и произнося букву „в“ по-малороссийски на „у“. Как человек темный, он, конечно, не против крепких напитков. У нас в кают-компании общество разделено на две половины; на одном конце стола золотые – флотские, на другом – серебряные, т. е. механики и штурман. Сегодня за ужином один из штурманов подпоил отца, так что тот совершенно вышел из границ приличия, особенно как духовная особа. Тут пошли одни смеяться над священником, подбивать его говорить проповедь, другие, отчасти и я, возмущались этим. Впрочем, признаюсь, я не устоял и слушал „слово“ отца Ильи „о душе“. Разумеется, „слово“ это было посмешище, и, наконец, общими силами уговорили попа лечь спать у себя в каюте.

Затем старший офицер стал протестовать, находя, что крайне

неприлично напаивать священника, что это оказывать неуважение кают-компании и непочтительность к духовному сану; провинившемуся молодому штурману крепко досталось, его осадили, и он замолчал».

* * *

В это плавание Его Императорскому Высочеству Великому князю Константину Константиновичу Романову предстояло от имени Императорского Дома России посетить Короля и Королеву Датского королевства. И опять у него болела голова, и пугал Копенгаген со всеми празднествами. А с головной болью всегда приходила тоска. И снова он думал о том, как хорошо было бы не служить на флоте. Но он отгонял эту мысль и говорил себе: «Море – мой дом. Надо покориться судьбе. И Пап? этого хочет».

Король и Королева встретили его тепло, мило, радушно. Ему было легко с ними. В это время там гостили Цесаревич (будущий Александр III) и его молодая жена Дагмара, «душка» Цесаревна (будущая Императрица Мария Федоровна). Видно было, что это счастливая семья. Константин как-то сразу подружился с Дагмарой, а она с ним. И надолго.

Как человек тонко все чувствующий, он понимал, что Александр и Дагмара отдыхают в Копенгагене от своего нравственно неловкого положения в Петербурге – от всех этих разговоров о связи Государя с юной Екатериной Долгорукой.

На «Светлане» Константин отметил свое двадцатидвухлетие. Его радушно и тепло поздравляли в кают-компании. Он же молился и просил Бога помочь ему быть честным человеком в очередном году его жизни. А между тем считал дни, числа, вахты до возвращения домой. Наконец, в последний раз спустили флаг. Он – дома: «Когда я подходил ко дворцу в Стрельне и не знал наверно, там ли Мама и Митя, и успокоился, когда увидел свет в окнах, – как билось сердце. Одно из лучших чувств в жизни – ожидание и радость, когда входишь в родную дверь. Приближаясь к дому, мне всякий камушек, каждый самый незначительный предмет напоминал что-нибудь из прошедшего. С каким наслаждением я вбежал по лестнице и увидел первое знакомое лицо».

Но уже в марте 1880 года в приказе по гвардейскому экипажу

офицеры были снова расписаны по судам.

Морской министр в этот раз решил послать сына в кругосветное плавание на два года на фрегате «Герцог Эдинбургский».

Опять это море! Константина, всегда послушного сына, радовало хотя бы то, что два, а может, и три года – как придется – он будет в кругу знакомых, милых ему людей. И князь Щербаков, и князь Барятинский, и граф Толстой, и князь Корсаков, и другие офицеры были дружны между собой. И Константину хотелось оправдать их доверие, чтобы не выйти за пределы этого дружества. Однако отплытие задерживалось.

– Такое впечатление, что вашему «Герцогу» некуда спешить, – язвительно замечала мать.

– Морские сборы – дело долгое, – отвечал сын и смеялся, зная, что она, жена моряка, как никто другой это понимает. – Зато завтра в Манеже мы с Митей участвуем в конногвардейском параде.

– Но ты же ротный командир в гвардейском экипаже! И на тебе…

Однако преодолеть желание пощеголять в красивом белом мундире, который очень шел ему, Константин не мог. Все говорили, что в этом костюме да еще с каской на голове он очень похож на своего деда императора Николая I. А был ли кто-то в Императорской семье красивее деда?! Так что Константин поехал. И парад прошел безукоризненно, и Государь был заметно доволен, и дамы не отводили от молодого Константина глаз.

Между тем в обществе шли разговоры о войне с Китаем. В восточные воды готовилась эскадра. Говорили, что и «Герцога», который строился на Балтийском заводе, отправят на восток. Теперь Константин боялся, что корабль не будет готов к осени, и придется остаться в Петербурге, и время будет просыпаться сквозь пальцы, как песок. Великий князь помчался на Балтийский завод увидеть собственными глазами, в каком состоянии «Герцог». Фрегат стоял на Неве у самого завода, директором которого был бывший моряк Г. Казн. Встретил Великого князя его бывший ротный командир Кузьмич. Втроем – Кази, Кузьмич и Константин – лазали по всем закоулкам корабля больше часа. Стук, шум, суета – на «Герцоге» шли окончательные работы.

В эти же дни Царь пожаловал Константину знак минного офицера за то, что тот прослушал курс лекций Владимира Павловича Верховенского. «Не считаю себя нисколько достойным звания минного офицера: прослушать курс лекций далеко не значит усвоить их. Знак этот доставит гораздо больше удовольствия Пап?, чем мне самому», – записал Константин в

дневнике, коря себя за неблагодарность, но любуясь своей честностью.

Ему казалось, что эдаким манером его привязывают к нелюбимому морскому делу. Впрочем, прошел слух, что «Герцог» опять задерживается с выходом в море…

МЕЧТА О РОМАНЕ С ВЕЧНОСТЬЮ

Времени между походами в море оставалось достаточно, чтобы спросить себя: «Чем я его заполню?» Конечно, можно по утрам совершать прогулки в парке, в поле, вдоль живописного берега Славянки. Константин объяснялся в любви этим местам: «Я с детства люблю поле, засеянное рожью и овсом, где тут и там синеют васильки; люблю быструю речку с небольшими порогами и крутыми берегами. С самых ранних лет в моей памяти врезался обширный вид на Царскую Славянку, на извилины речки и на большую кирху под соломенной крышей вдали. В этом поле дышится свободнее…» Вечерами можно любоваться светлой июньской ночью и дворцом с висящей над ним луной, а зимой кататься в Яхт-клубе на буере. И хотя ему не по вкусу холод, мороз и лед, но кататься под парусами по замершей реке – дело морское. Можно ходить в кладовые, рассматривать старину и вдыхать ее пыль. И вдруг найти среди хлама портреты Петра Великого, Короля Англии Карла I и всем этим украсить свою комнату. И потом приезжим гостям показывать Павловский дворец, рассказывая о залах, о живописи, о фарфоре, о бронзах, о шпалерах и о старинной мебели, показать и свою не без вкуса устроенную комнату. Можно купить себе пару серых лошадей, искать особой красоты запонки и золотой портсигар в подарок брату Мите в день его совершеннолетия, скучать на обеде у Александра II – «разговор прескучный для нашего поколения: о прежних командирах гвардейских полков, о начальниках частей при маневрах этих полков, что ж царские обеды не славились ни весельем, или чем-либо любопытным».

Константин вообще скучал везде, где не было напряжения мысли. От общего светского разговора «ни о чем» у него начинала болеть голова. Но он мог часами гулять рука об руку со своим самым близким другом – сестрой Олей, петь ей своим скверным голосом новый романс собственного сочинения, часами бродить с ней по залам Академии художеств, спорить о картине Жерома «Дуэль». Но, сам не зная почему, всегда говорил своей милой Оле «нет», когда она звала его в Царское Село в гости, где будет, по его словам, «чесун ни о чем». Он предпочитал одинокую прогулку в Павловске, где перед ним лежала Красная долина с вечерним хором множества птиц. Он останавливался и слушал их. И вдруг – придворная коляска. В ней Цесаревна, Великий князь Сергей, сестра Оля. Он прыгает в канаву, ломая кусты, пытаясь спрятаться. Но его замечают, окликают, везут все-таки в Царское пить чай, где присутствует и Государь.

В таких случаях Константин едва высиживал «приличное» время и удирал к умнице Павлу Егоровичу Кеппену, управляющему двора его матери. Говорил с ним до утра.

– Я в море на голодной пайке. Вы понимаете, Петр Егорыч? – сетовал Константин.

– Понимаю. Но в голодный паек не верю – в плавании вы читали Достоевского.

– Кузен Сергей прислал роман «Бесы». Мы тогда, обогнув Европу, прибыли в Америку, пришвартовались в порту Норфолка. Поездом я поехал посмотреть Нью-Йорк и Вашингтон. Как-то необъяснимо роман совпал с чертовщиной Нью-Йорка… Вообще, Достоевский меня потряс – такие у него есть христианские места!..

– Вот видите! Море дает возможности. А в остальном – вы предназначены отцом для флота, обязаны быть в свите Государя, на парадах, бывать во дворце, вести светскую жизнь и служебную. Вы – человек военный, как положено Великому князю. Понимаю, для вас вчерашний день не лучше и не хуже завтрашнего: дождь, сыро, холодно, а вам надо для роты делать заказы, потом – на Балтийский завод, на спуск корабля в присутствии всего морского начальства, потом опять на корабль – пробовать на фрегате машину на якорях. Да еще Его Высочество Константин Николаевич взял вас на завод смотреть ремонт «Опричника»…

– Но где взять время на душу свою? Я будто высох весь…

– Сумейте найти. Вы военный человек. Военным был и Сумароков, основавший при кадетском корпусе Императорский театр; и гусар Лермонтов, даже «Лев», наш гениальный Толстой, воевал в Севастополе. И Пушкин хотел в гусары… А Денис Давыдов, а преображенец Мусоргский, моряк Римский-Корсаков?…

– Они – воплощенным Словом или Музыкой явились на свет. Как говорит Достоевский, чтобы «осознать и сказать». А вот я – воплощенное тщеславие. В Стрельне, на Императорской мызе, мальчишкой бегал по парку под темным небом в неисчислимых звездах и, задрав голову к ним, кричал: «Желаю быть великим, люблю России честь! Исполню ли, Бог весть?» Стыдно, неловко вспоминать.

– Что же тут стыдного? Вы ведь пишете стихи…

– Не стоит об этом. А вот звезды, это тайное молчаливое лицо мироздания – мое наваждение. Иногда стою ночью на вахте, подниму глаза к звездам, к этой огненной книге, а в голове стихи Фета:

На стоге сена ночью южной

Лицом ко тверди я лежал,
А хор светил, живой и дружный,
Кругом раскинувшись, дрожал.
Земля, как смутный сон, немая,
Безвестно уносилась прочь,
И я, как первый житель рая,
Один в лицо увидел ночь…

Подумайте, Павел Егорович: «Один в лицо увидел ночь…» Какая мощь! И это у лирика Фета.

– Чувствую, что когда-нибудь вы напишете свои «Звезды»… – Кеппен встал, подошел к книжным полкам и достал книгу: – Это «Вертер» Гёте. Правда, на русском языке. Думаю, если понравится, прочитаете и в оригинале. Тут есть момент, имеющий касательство к нашему разговору. Вертер перед смертью прощается с «Большой Медведицей». Но почему так дорога Вертеру «Большая Медведица»? Он понял, что звездное чудо не выше его человеческого сознания и души. Это и роднит человека с бесконечностью бытия. Счастьем осознавать это мы обязаны своему человеческому лику. – Кеппен помолчал. – Нет, Константин Константинович, мне лучше Федора Михайловича не сказать. Ясно, что нельзя попусту растратить жизнь.

Они прощались под старым, широколистым дубом. И одновременно подняли головы к темному небу – там текла звездная река бесстрастного времени.

– Ваше Императорское Высочество, – тихо сказал Кеппен, – сознайтесь… Вы мечтаете о романе с вечностью?…

Отец, читавший очень много и имевший память поистине изумительную, дал Константину «Размышления» Марка Аврелия.

– Римский Император писал книгу как обращение к самому себе. В походной палатке, среди неустанных забот об армейских нуждах.

– Но он, наверное, не исключал и постороннего читателя? По воле Провидения записи могли попасть на глаза кому угодно.

– И попали. Провидение распорядилось наилучшим образом. Мы до сих пор читаем эту суровую, но светлую книгу. Отдай должное автору и ты, Костя.

Не всё легло на душу молодому князю. Но одно суждение философа запомнилось: «Для природы вся мировая сущность подобна воску. Вот она слепила из нее лошадку; еломав ее, она воспользовалась ее материей, чтобы вылепить деревцо, затем человека, затем еще что-нибудь. И всё это существует самое краткое время».

Быть может, тогда Константин впервые задумался о бренности

тела, неустойчивости души и сомнительности славы. Виденные на Дунае бои обострили эти мысли. Он еще не был поглощен поисками высших истин, но его характер, склонный к самоуглублению, требовал самовыявления. Чем оно направлялось – желанием славы, честолюбием – он пока не знал. Всеми силами души он старался ухватиться за всякую новую возвышенную мысль, искал руководящее начало в жизни, сообразное с его душой, восторженной и серьезной…

ВЕЧЕРА С ДОСТОЕВСКИМ И ЧАЙКОВСКИМ

Преданный и умный кузен Сергей прислал ему на корабль роман «Бесы». У Сергея же на обеде Константин увидел и Достоевского. Худенький, болезненный на вид, с длинной редкой бородой. На бледном лице грустное и задумчивое выражение. Он говорил об искусстве. О том, что у искусства одна цель с целями человека, что оно с человеком связано нераздельно. Но стеснять свободу развития разных искусств нельзя, нельзя сбивать творчество с толку, предписывать ему разные законы… Чем свободнее будет искусство развиваться, тем нормальнее разовьется…

Говорил Достоевский так же хорошо, как писал. Но Константин так напряженно слушал, что, как это бывает с людьми тонкой, нервной организации, не все слышал. С Достоевским они увиделись через год, в марте 1879-го, на таком же обеде опять же у Сергея. Константин решился пригласить писателя и к себе. О приглашении напомнил еще и письменно 15 марта: «Вы встретите знакомых Вам людей, которым, как и мне, доставите большое удовольствие своим присутствием». Но писатель прийти отказался.

Достоевскому нравился скромный, расположенный к людям молодой человек. Но он был Его Императорским Высочеством, Великим князем. Таким особам не отказывают. И Достоевский вынужден был написать в ответ пространную записку:

…

«Ваше Императорское Высочество,

Я в высшей степени несчастен, будучи поставлен в совершенную невозможность исполнить желание Ваше и воспользоваться столь лестным для меня предложением Вашим.

Завтра, в пятницу, 16 марта, в 8 часов вечера, как нарочно, назначено чтение в пользу Литературного фонда.

Билеты были разобраны публикою все еще прежде объявления в газетах, и если б я не мог явиться читать объявленное в программе чтение учредителями фонда, то они из-за моего отказа принуждены бы были воротить публике деньги.

Повторяю Вам, Ваше Высочество, что чувствую себя совершенно несчастным. Я со счастьем думал и припоминал все это время о Вашем приглашении прибыть к Вам, высказанное мне у его Императорского Высочества Сергея Александровича, и вот досадный случай приготовил еще такое горе! Простите и не осудите меня. Примите благосклонно выражение горячих чувств моих, а я остаюсь вечно и беспредельно преданный Вашему Императорскому Высочеству покорный и всегдашний слуга Ваш Федор Достоевский.

15 марта/79».

Константин повторил приглашение, проявив обычный свой такт:

...

«Многоуважаемый Федор Михайлович, буду очень рад Вас увидеть завтра 22-го в 9-30 вечера. Прошу Вас не стесняться отказом, если Вам этот день сколько-нибудь неудобен».

Достоевский ответил:

...

«Ваше Императорское Высочество, завтра в 9-30 буду

иметь счастье явиться на зов Вашего Высочества.

С чувством беспредельной преданности всегда пребуду Вашего Высочества вернейшим слугою.

Федор Достоевский.

21 марта/79. Среда».

Как-то Александра Иосифовна постучала в комнату сына. Никто не ответил, но из-за двери доносились какие-то шорохи. Она вошла и увидела что-то невообразимое. Пол был весь усыпан бумагами, книги, вынутые из шкафов, валялись на ковре. На письменном столе, где всегда царил дорогой и близкий ее сердцу немецкий порядок – «сын весь в меня», – был хаос. «О, Боже!» – возмутилась Великая княгиня.

Сын сидел на полу и изучал бумаги.

– Костя, что случилось?

– Я потерял записку Федора Михайловича…

– Достоевского? Ну что ж тут особенного?

Сын выразительно посмотрел на мать красивыми романовскими глазами:

– Я не смею даже букву, им написанную, терять, а это целая записка… И это Достоевский!

Александра Иосифовна вздохнула и тоже взялась за поиски.

Записку они нашли. Константин был счастлив, как это бывало только в детстве. А Александра Иосифовна была счастлива редким мгновением близости матери и взрослого сына.

– Костя, пригласи Федора Михайловича. Мне есть за что его поблагодарить, – с улыбкой сказала она, направляясь к выходу, величественная и красивая, всегда помнящая о своем сходстве с Марией Стюарт.

С Достоевским Константин увиделся только после своего очередного плавания, в марте 1880 года, а 22-го пригласил к себе. Зашел разговор о романе «Бедные люди».

– Давнее дело, – улыбнулся Достоевский. – Сороковые годы. Помню, что меня и критики, и публика упрекали за слог, мол, нельзя так говорить. Но им было и невдогад, что говорит мой герой Девушкин, а не я. Девушкин и говорить иначе не может. А роман находили растянутым…

– Там слова лишнего нет, – заметил Константин.

– Да? И я так всегда думал. Вам понравился роман?

– Он меня однажды спас. Скажу вам искренне – не хочу служить на флоте. Делаю это по настоянию отца. И поэтому у меня ничего хорошего с морской службой не получается.

Однажды совсем упал духом. А ваш роман, эти люди в нем… Прочитал. И вдруг перестал бояться будущего, почувствовал себя сильным, и на вахту не лень было идти, и молилось хорошо.

Константин постеснялся рассказать более подробно о своем состоянии во время чтения «Бедных людей». Они остались в дневнике. Он дочитывал роман, сидя в кают-компании. Перевернул последнюю страницу и стало бесконечно грустно. Сердце сжималось от боли за людей, выведенных на страницах книги. Хотелось их найти, помочь им. Сдерживая слезы, он выскочил из кают-компании, прибежал в свою каюту, упал на колени у постели и разрыдался. Долго не мог успокоиться, вспомнились и собственные беды… В ту минуту он был не баловнем судьбы по рождению, не избранным и высокородным, а простым несчастным человеком. Братом бедных людей из романа Достоевского.

Плакал он долго и горько. Но все душевные невзгоды, вся боль за себя вытекли с этими слезами. И ему показалось, что он стал чище. И сильнее, чтобы помогать другим удержаться на краю бездны.

«Это был искренний и добрый молодой человек, поразивший моего мужа пламенным отношением ко всему прекрасному», – вспоминала жена Федора Михайловича, отмечая их дружбу и частые беседы с глазу на глаз в Мраморном дворце и в Павловске, несмотря на разницу лет.

В Павловске, Стрельне, в Мраморном дворце говорили и спорили о «Братьях Карамазовых». Кто-то утверждал, что прямых, четких, чуть ли не по пунктам, возражений на атеистическую проповедь Ивана Карамазова у писателя нет. Кто-то соглашался, что христианство – это единственное убежище Русской земли ото всех ее зол… Спорили о современном анархизме, о социализме, который якобы вышел из отрицания смысла исторической действительности, об образе старца Зосимы – почему он все-таки не идеален у Достоевского и зачем у чистого Алеши что-то пошловатое просматривается в биографии… И, уж конечно, не хотелось никому верить, что был генерал, затравивший ребенка собаками.

– Не выдумал, – сказал Федор Михайлович, глядя на страдальческую гримасу Константина. – Прочитал этот живой факт, Ваше Императорское Высочество, в «Архиве», да и перепечатано было происшествие многими газетами этой зимой.

Как-то вечером в Стрельне после игры в винт решено было читать вслух разговор двух братьев Карамазовых.

«Все, – записал в тот же вечер Константин, – слушали напряженно развитие мысли и коллизии человеческих

противоречий, об истязании детей, о финале бытия и невозможности гармонии. Спор поднялся ожесточенный, ум за разум стал заходить, кричали на всю комнату и ничего, конечно, не разбирали. Что за громадная сила мышления у Достоевского! Она на такие мысли наводит, что жутко становится и волосы дыбом поднимаются. Да! Ни одна страна не произвела такого писателя, перед ним всё остальное бледнеет».

На дворе стоял май 1880 года. До настоящего тепла было далеко, но холод почти распрощался с Петербургом. Самая смелая травка уже лезла на свет в солнечных местах. Константин вышел из коляски и пошел пешком, бездумно повторяя слова какой-то песенки: «У пенька на солнцепеке расцветает первоцвет, но у желтого цветочка на печаль ответов нет. Все вопросы и ответы лишь у строгого Христа. Мне же дар небесный мая: цветик, солнце и весна». От мая он ждал много хорошего. Во-первых, должна приехать сестра Оля, Королева эллинов, с тремя сыновьями. Оля, самое любимое и близкое существо, при которой он мог и думать вслух. Во-вторых, предстояло свидание с Еленой Шереметевой. Он решил сочинить романс и посвятить ей. Там будут такие слова: «Не верь мне, друг, когда я говорю, что разлюбил тебя; в отливе волн не верь измене моря, оно к земле воротится любя!» В-третьих, предстоял вечер с Федором Михайловичем Достоевским. И на все эти радостные события найдется время, потому что «Герцог Эдинбургский», строящийся на Балтийском заводе, поспевал лишь к поздней осени.

Вечер с Достоевским был назначен на 8 мая. Цесаревна Дагмара просила Константина познакомить ее с Федором Михайловичем. Она слушала его чтение в каком-то благотворительном концерте и поняла, что должна заняться самовоспитанием.

В том году было много публичных чтений. Читал Тургенев, седой красавец, которого боготворили за роскошь русского языка. Читал Достоевский. На его чтения ломились, хотя внешне он не был так эффектен, как Тургенев, но читал мастерски. Казалось, однотонно, но эта однотонность окрашивалась ударными моментами, к которым он подходил, как великий актер, исподволь. Те, кто слушал его, вспоминали, что личность Достоевского производила на слушателей огромное впечатление. Он был живой частью каждого с его испытаниями, надеждами, упованиями, и писателя приветствовали с тем забвением меры, которое охватывает людей, когда все их существо потрясено.

Общество собралось избранное. Цесаревна Дагмара взяла на себя роль хозяйки и разливала чай.

Федор Михайлович читал отрывок из «Карамазовых».

Закончил в полной ошеломленной тишине. Константину хотелось, чтобы он прочитал еще исповедь старца Зосимы, так хотелось услышать акценты, которые Достоевский сам расставит в этой исповеди, но не решался попросить. Федор Михайлович посмотрел на Константина, улыбнулся:

– Что-то вас волнует, Ваше Императорское Высочество?

– Да! Исповедь старца Зосимы… Пожалуйста…

Достоевский читал тихо, почти без эмоций. Закончив, сказал: «Ну, вот…»

– По-моему, это одно из величайших произведений. – Константин не назвал исповедь «отрывком» из романа, а назвал «произведением».

– Это не проповедь и не исповедь. Всего лишь повесть героя о собственной жизни, – отвечал Достоевский. – Мне хотелось сделать хорошее дело – воочию, реально, не отвлеченно представить чистого, почти идеального христианина. Молил Бога, чтоб удалось.

Когда Федор Михайлович читал, каждый из сидящих в теплой, уютной гостиной дворца понимал, что ни гостиная, ни дворец не спасут человека и только ему самому решать, что для него земля – ад или рай.

Потом слушали «Мальчик у Христа на елке» – о страданиях замерзающего зимой на улице нищего мальчика, перенесенного в своих предсмертных грезах на небо, к Христу.

У Цесаревны стояли слезы в глазах, Елена Шереметева плакала.

Константин записывал в дневнике: «Я люблю Достоевского за его детское и чистое сердце, за глубокую веру!»

И он совсем не мог понять, зачем, зачем этот тонкой души человек вдруг пошел смотреть на смертную казнь.

* * *

… Глава Верховной распорядительной комиссии по охране государственного порядка граф Лорис-Меликов [4] 20 февраля 1880 года в два часа дня возвращался домой, когда прозвучали выстрелы, но пули застряли в шубе графа. Одним прыжком отнюдь не молодой Меликов бросился на террориста, сбил с ног. Жандармы сделали всё остальное. День спустя, после быстрого суда, покушавшийся, некто Млодецкий, был повешен на Семеновском плацу в присутствии громадной толпы народа.

Впервые за последние десятилетия в Санкт-Петербурге казнь совершалась публично: расстрелы и повешения обыкновенно

происходили тайно, без свидетелей, на рассвете в одном из бастионов крепости. Тысячи людей устремились на место казни. И зрелище это им наглядно показало необходимость противопоставлять фанатизму революционеров всемогущество власти. Осужденного провезли по улицам города на телеге, со связанными за спиной руками; на его груди висела табличка: «Государственный преступник». Осужденный бросал высокомерно-насмешливые взгляды на тех, кто пришел смотреть на его смерть. Время от времени он даже выкрикивал грубые и угрожающие слова. На эшафоте он проявил еще большую дерзость, оттолкнув священника, подносившего к его губам распятие. Наконец, палач набросил на его голову белый саван, обхватив шею веревкой, и выбил из-под ног скамейку.

«Достоевский ходил смотреть на казнь Млодецкого, это мне не понравилось, мне было бы отвратительно сделаться свидетелем такого бесчеловечного дела!» – растерянно, даже с какой-то обидой упрекал Константин писателя. Он считал, что с моральной точки зрения для всякого культурного человека недопустимо присутствовать на такого рода зрелищах из чистого любопытства.

Конечно, Достоевский был в толпе не в роли зеваки. И он потом это объяснил. Но молодому Константину Романову нужно было собственное убедительное объяснение, которое он нашел. Писатель ведь сам в 1849 году пережил ожидание смерти, когда был приговорен к расстрелу по делу петрашевцев, в числе других смертников возведен на эшафот, первых трех уже привязали к столбам, солдаты вскинули ружья, и только тогда было объявлено, что смертная казнь заменена каторгой. Возможно, Достоевский хотел проверить, прав ли в своем утверждении, что самые разнообразные мотивы могут привести чистейших сердцем и простодушнейших людей к совершению чудовищного злодейства. Писатель хотел понять, кем был этот Млодецкий – прирожденным мерзавцем или его ранило время сомнений, отрицаний, скептицизма, шатания в убеждениях, время «больной» России…

– И это не у нас одних, а на всем свете так бывает во времена смутные, переходные, – говорил Достоевский, объясняя себя в «истории с казнью».

Константин понял, что «частных» вопросов для писателя, как и для его героев, нет. Все проблемы их бытия – общечеловеческие.

Если бы Великий князь Константин Романов, подобно Марку Аврелию, составил список людей, которым он обязан умением сообразовывать в единое целое свои стремления и представления о жизни духа, разума и сердца, первым в этом списке он назвал

бы Достоевского.

Время летело быстро. Однажды устроилась поездка в Гатчину, где на всем лежала печать одиночества, исторической старины и таинственности. Константин чувствовал этот особый дух древности, совершенно не характерный для других загородных петербургских дворцов. Молодой романтик так и писал: «Из каждого угла старых дворцовых покоев как будто слышатся затаенные вздохи, глухие слезы, и смех, и смех, и веселье старых добрых годов». Он ходил по комнатам дворца, на него смотрели портреты, а «солнце, просвечивая сквозь желтые стекла, волшебным золотым цветом озаряло бронзы и китайские фарфоры». Но художественные впечатления сменили жутковатые видения: когда он стоял у кровати Павла I, его поразило белье в рыжих пятнах, напоминающих кровь. Постель привезли из Петербурга в Гатчину, и всё как бы воссоединилось здесь: постель и Библия в красном бархатном переплете с золотыми крестами, проповеднические книги и книги мистического содержания, масонские адреса, рисунки странных флагов – странная жизнь царя, ключ к которой, что ни воображай, потерян.

Он выскочил на воздух. Его позвали смотреть в загонах волков и лисиц, потом борзых и гончих.

– Царская охота! Пойдемте, Константин Константинович, – предложил Илья Александрович Зеленый.

– Я ее уже видел.

– Не понял, Ваше Высочество. Где?

– Только что, во дворце…

Весь день потом он был подавлен. Вдруг подумал, что хорошо бы написать что-то о русской истории. Опять вспомнил Дунай, войну – тоже ведь история, и он ее участник. Но не написал.

Всё разрядила поездка с кузеном Сергеем, другом любезным, в Сергиевскую пустынь близ Стрельны. Константин был простужен, кашлял и потому о поездке не сказал ни матери, ни отцу, иначе бы его не отпустили. Великий князь Константин Николаевич был не в меру строгим отцом, а Александра Иосифовна следовала указаниям мужа.

Константин, совсем не ранняя пташка, любил поспать, но тут в девять утра уже отправился к Сергею. Тот заказал четверку. И по апрельской, совершенно высохшей дороге – снег стаял, чуть-чуть лежал на обочине – они помчались свежим утром вдоль Невы, гревшей свою иссиня-чешуйчатую спину на солнце. Как им было свободно, легко и отрадно! Сергей показал на ивы, явно проснувшиеся от зимы.

– «То было раннею весной, трава едва всходила…» – пытался петь совершенно не умевший этого делать Константин.

В монастыре они отстояли обедню. В церкви отпевали какого-то Плещеева, однофамильца поэта, негромко, скорбно и торжественно.

Когда возвращались, проезжали Стрельну, Константиновский дворец. Константина узнавали, кланялись – здесь он родился. У него было тепло на сердце, верилось во всечеловеческую любовь… И еще в любовь особую, которая вспоминалась вместе с последней осенью в Стрельне. Аллеи, шорох светлой от позолоты листвы и Елена…

* * *

Накануне Пасхи, в Страстную субботу, Константин взял извозчика и отправился в свою роту. По дороге спросил извозчика, как он будет встречать Светлый праздник. Тот вздохнул и сказал, что всю ночь придется зарабатывать, чтобы расплатиться за жилье, так что в церковь ему не успеть. Константин дал ему 5 рублей, чтобы мужик мог пойти к заутрене, да и долг отдать. Тот заулыбался, посветлел лицом.

В полночь начался большой царский выход в церковь. Торжественно шло пасхальное богослужение. Было легко и светло на душе, забылись все огорчения. А когда началось христосование, этот славный обычай, выражающий общее примирение, Константин вспомнил вдруг, что его бедная заболевшая Мама осталась одна в домашней церкви, и заторопился к ней, чтобы поздравить ее и поцеловать.

У Мама он застал Ивана Сергеевича Тургенева, который рассказывал гостям о новой, еще не оконченной, картине Куинджи. Художник слова, он умел рассказывать как никто. Современники отмечали его блестящее остроумие, меткие характеристики лиц, юмор, оригинальность суждений. Его называли «сиреной» за умение завораживать словом. Так же описал он и картину Куинджи «Ночь на Днепре».

Константину не терпелось сравнить описание с изображением. Он уговорил своего бывшего воспитателя, ставшего другом, – Илью Николаевича Зеленого немедленно съездить к художнику. Было холодно, Васильевский остров продувался со всех сторон, волна в Неве была высокой – весна еще не установилась. Наконец, на Малом проспекте, пролазив с час по разным закоулкам, они нашли шестнадцатый дом и мастерскую Куинджи, которая ютилась под самой крышей, преобразованная из фотографического ателье. На колокольчик вышел сам Куинджи: невысокий, полнотелый, белокурые волосы,

голубые глаза. Он не знал стоящих перед ним людей и крайне удивился, услышав, что морской офицер интересуется живописью. Но картину показал.

...

«Я как бы замер на месте. Я видел перед собой изображение широкой реки; полный месяц освещает ее на далекое расстояние, верст на тридцать. Я испытывал такое ощущение, выходя на возвышенный холм, откуда вдали видна величественная река, освещенная луной. Захватывает дух, не можешь оторваться от ослепляющей, волшебной картины, душа тоскует. На картине Куинджи все это выражено, при виде ее чувствуешь то же, что перед настоящей рекой, блещущей ярким светом посреди ночной темноты.

Я сказал Куинджи, что покупаю его дивное произведение, я глубоко полюбил эту картину и мог бы многим для нее пожертвовать.

Весь день потом, когда я закрывал глаза, мне виделась эта картина».

Константин купил картину. И поняв, что не сможет с ней расстаться, решил взять ее с собой в дальнее плавание.

Куинджи, узнав об этом, рассвирепел, решил судиться с Великим князем – он боялся, что картина от влаги потускнеет, пропадет. Но Константин взял ее с собой. И всё обошлось. Быть может, душа картины чувствовала любовь человека к себе. «Я бы многим для тебя пожертвовал», – сказал картине этот человек.

Картина Куинджи изменила отношение Константина к живописи, к которой он был неравнодушен. Сам он рисовать только пытался и стеснялся высказывать свое мнение о картинах. Одно время думал, что художник пишет какой-то сюжет, чтобы изгнать его из своего сознания, потом наоборот – задержать в сознании. Он и сам решил задержать в памяти Мама себя,

молодого, и, как говорят, красивого, то есть подарить ей свой портрет. Он ездил на сеансы к художнику Маковскому, в мастерской которого было много красивых вещей, пейзажей, портретов, древностей. Позировал Константин, сидя на стуле, в простом сюртуке, облокотившись на руку. Сеансы бывали утомительными, длились часа два, и Константину казалось, что рисование – это своего рода заклинание духов. На выставках он искал что-то такое, чего не находил, и думал, что в живописи все же мало таких поэтов, как Куинджи, больше прозаиков, повествователей, очень хороших, но прозаиков.

* * *

Между тем Великий князь Константин Николаевич несколько раздраженно наблюдал за увлечениями сына. Можно было подумать, что весь мир для последнего сосредоточился в слове, живописи и музыке, а интерес к главному делу жизни – морской службе – едва теплится. Конечно, Костя мог бы ему сказать: «У вас, Пап?, были такие же интересы. Кто зачитывался Гёте, Шиллером, Гюго… и даже изданиями Герцена? Кто посещал театры и концерты, играл на скрипке и виолончели?» Сам играл, да еще его, сына своего, посадил в оркестр, выступавший под управлением знаменитого Штрауса.

Отец мог бы ответить, да и отвечал: «Все так. Мадам Сталь как-то сказала, что в России любой дворянин занимается литературой. То же самое можно сказать о музыке. Тем более в Императорской семье. Великосветский Петербург весь поет и играет. Но это не должно мешать главному делу жизни, а только одушевлять. Будущее моего сына продумано до мелочей. Флот. Только флот!»

Александра Иосифовна, казалось, испытывала удовольствие от фырчания этого «паровика», как называла мужа. Она славилась своим юмором. Но непонятно, с юмором или всерьез она сказала:

– Флот, говорите? Ну так флаг вам в руки. – Шея красавца мужа побагровела, и Великая княгиня, сменив тон, мягко добавила: – Ну что особенного в том, что Юлия Федоровна Абаза пригласила Костю на музыкальное утро…

– Кто пел? – не удержался на высоте обсуждаемой проблемы Великий князь.

– Елена Мекленбургская.

Салон Юлии Федоровны Абаза был музыкальным центром Петербурга, а его хозяйка – явлением удивительным. Ее девичья фамилия была Штуббе. Она приехала из Германии как лектриса

[5] Великой княгини Елены Павловны, [6] в которой, как говорили, было «что-то подымающее». Константин Николаевич при жизни Елены Павловны, хозяйки Михайловского дворца, был частым гостем ее салона, где собирались блистательные люди его времени: поэты, композиторы, политические деятели, сторонники освобождения крестьян. Немка Штуббе обращала на себя внимание красотой и своим удивительным голосом. Вышла замуж она за Александра Агеевича Абаза, служившего тогда при дворе Елены Павловны, а в 1880 году дослужившегося до поста министра финансов. Юлия Федоровна задумала с Антоном Рубинштейном основать консерваторию и Русское музыкальное общество. К тому времени она приобрела славу музыкального авторитета. Была очень строга в своих оценках и бранила музыкальных барышень за лень, называя их генеральскими «дочами». За долгие годы жизни в России она не научилась русскому языку, но говорила на нем смело и смешно.

Константин Николаевич внутренне улыбнулся и, честно сказать, позавидовал сыну: играл Рубинштейн своего «Демона», о котором говорили, что эту оперу трудно поставить в театре и даже музыка что-то теряет на сцене. Великому князю хотелось бы это самому проверить. Пожалел, что давно не слышал игры гениального музыканта: у Юлии Федоровны он свой человек, дружба их давняя и трогательная. И он у нее играет много и охотно. Его туше, его нарастания – от легкого касания до удара, грохота. Да… И принцесса Елена была. Константин Николаевич не очень любил ее пение. Не трогал ее голос. Но какой она живой, деятельный человек, знающий все сложности и трудности в деле искусства. А вот Панаева… Александра Валерьяновна, [7] конечно, должна была петь в «Демоне» Тамару. Это не женщина, это видение – с прекрасным голосом и дивной красотой. А главное, в ее исполнении есть священный огонь. Многим запомнился этот огонь, когда она пела:

Солнце выдь! Я тоже выйду.
Солнце глянь! Я тоже гляну.
От тебя цветы повянут,
От меня сердца посохнут!

Апухтин посвящал ей стихи. Чайковский сочинял для нее музыку. Она первая исполняла его вещи. Крамской написал портрет Панаевой с нотами в руках, на обложке – имя Чайковского…

Но как объяснить композиторские чудачества Константина?

– Нашел кому голову морочить… Чайковскому показывать свои опусы! – вдруг закричал отец.

– По-моему, наш сын вполне выполняет свои обязанности. – Голос Александры Иосифовны потерял всякую задушевность.

Она ясно понимала смысл происходящего: муж ревнует, да, ревнует сына к свободе, к его самостоятельности, которую он, деспотичный отец, уважать еще не научился. Но горе свое отцовское, кажется, чувствует. Вот и ищет, что можно противопоставить внутренней силе и сложившемуся характеру взрослого сына.

Александра Иосифовна вздохнула и сказала:

– Мне было бы тяжело знать, что вечера и ночи Костя проводит на недостроенном корабле, даже если он и «Герцог»…

Они опять поссорились.

А между тем в жизни их сына вскоре произошло событие исключительное. Как сказал поэт: «Кроме тяги земной существует еще и тяга небесная». Соединившись, они одарили Великого князя Константина Романова встречей с Чайковским. Но ни Великий князь, ни его близкие еще не знали, что теперь ему будет позволено о себе сказать державинским: «Я есмь – я был – я буду вновь».

Константин провел чудесный вечер у Веры Васильевны Бутаковой. Она обещала познакомить его с Чайковским – лучшим композитором, и пригласила Великого князя. Были еще брат Чайковского Анатолий, поэт Апухтин и Щербатов.

Вечером того же дня, 19 марта 1880 года, Константин записал в дневнике: «Чайковский на вид лет 35, хотя лицо его и седеющие волосы дают ему более пожилую наружность. Он небольшого роста, довольно худой, с короткой бородой и кроткими умными глазами. Его движения, манера говорить и вся внешность изобличают крайне благовоспитанного, образованного и милого человека. Он воспитывался в училище правоведения, был очень несчастен в семейной жизни и теперь исключительно занимается музыкой.

Апухтин известен непомерной толщиной и прекрасными поэтическими произведениями, которые он ни за что не соглашается печатать: он помнит и говорит их наизусть.

Вера Васильевна упросила его прочесть нам что-нибудь; он сказал «Венецию», мало известное свое стихотворение. Оно так хорошо, что по мере того, как он его говорил, боишься, что оно скоро кончится. Хотелось бы еще и еще слушать.

Меня заставили играть; мне хотелось сыграть романс Чайковского, но я боялся. Брат его пел, и я аккомпанировал ему: «Слеза дрожит», потом играл «Нет, только тот, кто знал».

Чайковского попросили сыграть что-нибудь из его новой, еще ненапечатанной оперы «Жанна д\'Арк», и он сел за фортепьяно и

сыграл хор-молитву. Мы все были в упоении от чудной музыки – это тот момент, когда народ признал в Иоанне пророческий дар и она обращается к толпе, призывая ее вознести молитву к Господу Богу. Форма сочинения напоминает молитву 1-го действия Лоэнгрина: голоса постепенно возвышаются, все усиливаясь, и, наконец, вместе с оркестром достигают фортиссимо высшей ноты…

После ужина Апухтин прочел еще несколько стихов своего сочинения. Мы разошлись в 2 часа – Чайковский мне сделал самое приятное впечатление». Он решил пригласить композитора в гости в Мраморный дворец или Павловск. Быть может, Чайковский посмотрит его романсы? Но эта захватившая его мысль куда-то улетучилась и в памяти всплыла «Венеция» Апухтина:

В объятьях заколдованного сна,
В минувшем блеске ты окаменела:
Твой дож пропал, твой Марк давно без дела,
Твой лев не страшен, площадь не нужна.
В твоих дворцах пустынных дышит тленье…
Везде покой, могила, разрушенье…
Могила! Да! Но отчего ж порой
Так хороша, пленительна могила?
Зачем она увядшей красотой
Забытых слов так много воскресила,
Душе, напомнив, что в ней прежде жило?
Ужель обманчив так ее покой?
Ужели сердцу суждено стремиться,
Пока оно не перестанет биться?…

Константин не запомнил всего стихотворения, оно было длинным, а он не обладал знаменитой памятью Апухтина: раз прочесть стих для поэта значило уже выучить его наизусть. Запомнилась ему манера апухтинского чтения – негромкая, рассчитанная на небольшую аудиторию, но с тончайшими

оттенками, с музыкальной интонацией. Говорили, что поэт равнодушно, почти презрительно относился ко всему чужеземному, но Италия оставила в нем светлые воспоминания. Имея средства и время, он все-таки никогда туда не вернулся. Вот только в стихах…

Константин не мог понять, почему, будучи литературной знаменитостью, чьи стихи в списках расходятся в огромном количестве, Апухтин категорически отказывается издавать их. Потом он будет спрашивать об этом кузена Сергея, Мама, поклонницу Апухтина, литераторов.

– Алексей Николаевич не находит сочувствия к своей поэзии в нынешних модных литературных заправилах, – сказала Александра Иосифовна.

– У него вкус устарел, – едко, но не без сочувствия к Апухтину, сказал Сергей, – его кумиры – Пушкин, Баратынский, Тютчев.

Литераторы улыбались:

– Не печатается! Но и обезьяна однажды падает с дерева…

– Я бы на месте Апухтина назло всем упал, – проворчал Константин.

И откровенно радовался, когда в 1880 году вышло собрание стихотворений поэта и тут же разошлось…

…

«Пишу поздно ночью под впечатлением прелестно проведенного вечера; у меня был П. И. Чайковский, Щербатов и Нилов; разговор главным образом шел о музыке, об опере. Мы вздумали предложить Чайковскому уйти с нами на „Герцоге“ вокруг света; он очень сдается на наше предложение. Но является крупное препятствие – согласится ли начальство. Было бы хорошо, если бы судьба устроила это дело.

Товарищи нашли у меня на фортепьяно когда-то написанный мной романс на слова А. К. Толстого: «Когда кругом безмолвен лес дремучий»; заставили меня играть

его; он написан начерно, без слов, я еле-еле разбирал его, а Петр Ильич и подавно. Последняя высокая фраза «и хочется сжать твою родную руку», с которой я носился, как с писаной торбой, им понравилась, и они долго еще ее напевали.

Мы, т. е. я, простился с Чайковским с видным обоюдным радушием, как будто мы давно знакомы и даже дружны. Его близорукие глаза светились добрым, ласковым светом, в них проглядывает ум. Хотя нас было всего четверо, мы незаметно просидели до 2-х часов, разговор не прекращался».

Константин был счастлив дружеством близких душ. А если уж кто коснулся великой души – коснулся вечности.

Достоевский, Чайковский… – ему будет о ком вспоминать и думать в пустынном море…

ЛЕЙБ-ГВАРДИИ ПЕТЕРГОФСКАЯ ПОГОДА

Константин приехал в Павловск, когда тепло здесь еще не спешило уходить, ласкаясь к подступавшей осени, которая хитро перекрашивала в яркие краски зеленые пастели тихого северного лета. Как говорил его дед, Император Николай I, – стояла лейб-гвардии петергофская погода. Он не пошел в комнаты, свернул в аллею и в задумчивости, трогая рукой стволы деревьев, шел к далекому просвету. Сердце сладко щемило. Скольких влюбленных за всю историю Павловска видела эта аллея? С каких высот смотрят они теперь на жизнь Константина? Будет ли счастливо жить его семья в этом чудном Павловском дворце, на этих землях вблизи Царского Села, подаренных когда-то Екатериной Великой сыну Павлу и его молодой жене Марии Федоровне? Не случится ли чего? Он суеверно отмахнулся от вопроса: ведь даже трагический Павел был счастлив в Павловске.

Ему казалось, что он видит, как совершает раннюю утреннюю прогулку верхом Павел I, слышит игру на клавикордах его жены Марии Федоровны… Гуляющих в аллеях дам с кружевными зонтиками. Мужчин, отдавших дань моде своего времени: парики, туфли на красных каблуках, екатерининские камзолы, военные вицмундиры, европейские фраки с длинными панталонами, онегинские галстуки… Гремит музыка в Греческом зале, в Белой столовой, Розовом павильоне. В лодках плывут музыканты мимо Храма Дружбы, а из крепости палят пушки…

Павел, прекрасно танцевавший, сам открывал балы и начинал танцы, но запретил вальс, оберегая нравы своих подданных, обнимающихся в вальсе. Константин засмеялся – ах, времена! Вот уже сам Иоганн Штраус играет в Павловске, а вальс танцуют, по словам Тургенева, и царские резиденции, и казармы, большие и малые города, шелковые туфельки и деревянные башмаки, бесплотные красавицы и плотные крестьянки. Когда Штраус приезжал в Павловск, Константин еще не родился, а сегодня он живет в мире вальса. И пусть только после придворного полонеза – этого священнодействия, когда в первой паре идет Император с дамой, а перед ним обер-гофмаршал, окруженный церемониймейстерами, прокладывает путь танцующему царю, – вторым звучит вальс, но начинает его всегда лучший танцор, офицер гвардии. Константин вспомнил рассказ Мама, как на один из балов собралось почти 40 тысяч человек приглашенных и его дед, император Николай I, в этой давке говорил лишь одну фразу:

«Господа, пожалуйста» – и все расступались перед ним.

Константин не открывал балы, но танцевал на них с той, к которой его так влекло и которую он видел сегодня в Петербурге на Морской.

Елена Шереметева ехала в коляске одна. И была очень хороша. И снова чувство любви захватило душу и сердце. Он думал о новых романсах для нее, где каждое слово будет любовным признанием. Но почему, когда недавно был у нее в Царском на даче Крейлице и они оба не могли скрыть радости от этой встречи, он не ревновал ее, хотя основания были? Рассеянно попивая чай, он думал о себе как о человеке неверном, привыкшем ко всяким разочарованиям. Или любовь была не настоящей? Но почему тогда тоска в душе и жизнь кажется разбитой и несчастной без нее? И откуда это желание, неистовое желание, идти сейчас с ней рядом, говорить, целовать руку?… Он желал быть ее мужем. Но жениться он обязан на принцессе, и от этого тоже нет в душе большого отчаяния. Что же это за любовь, которая не понята, не разгадана им самим?

Он почувствовал себя очень одиноким. У него есть светские знакомые, но друзей по возрасту и интересам почти нет. Сергею сейчас не до него – он озабочен романом отца с Долгорукой и болезнью матери, ведь Царь и Царица на виду всей России.

А у Константина была страстная потребность в дружбе, желание броситься навстречу тому, кто сделает дружественный знак. Конечно, смолоду легко принять резкость за меткость, сомнение за насмешку, самолюбие за ум, раздражительность за оригинальность. Не потому ли Пушкин советовал осторожно относиться к новым знакомым.

Восьмого октября 1879 года Константин заметил в дневнике: «Читал в Полном собрании письма А. С. Пушкина. Понравилось мне одно письмо, написанное в 22-м году к брату… Брат Пушкина выходил из училища и готовился вступать в свет… Пушкин предостерегает младшего брата от увлечений и очарований, советует иметь возможно худое мнение о новых знакомых: оно само собою уничтожится при более тесном сближении; таким образом, не будешь встречать печальных разочарований, так больно действующих на молодую доверчивую душу и уничтожающих прелесть и привлекательность жизни…» Нравились ему эти слова Пушкина, но где-то в подсознании казалось, что это слишком прагматично. А ему хотелось без всякого логического узора в дружестве с близкой душой вечерами расшевеливать душу заоблачными разговорами и благодарить Бога за дружбу как за благо. Он стыдился признаться даже самому себе, что хочет любить друзей, верить в дружбу

восторженно, как ребенок.

Этот 1880 год вообще был трудным для Константина. Не случайно в этом году появилась такая запись в его дневнике:

...

«… Я желал бы принять мученическую смерть. Но далеко мне до этого, не такую я жизнь веду, во мне не довольно „целомудренны мечты“, как сказал Языков. Большею частью у меня есть стремление или к самому крайнему благочестию или к необузданному разврату: редко я остаюсь в состоянии, среднем между этими крайностями. Я злюсь, это признак бесхарактерности, тем более что я никогда или почти никогда не привожу в действие свои влечения, а перевариваю их в мыслях. Я слишком много думаю, обыкновенно совершенно непроизвольно. Впечатления долго у меня не остаются, а беспрестанно сменяют друг друга. То я сочиняю стихи, то пишу музыку, то готовлюсь в государственные люди. Я думаю, в конце концов, из меня выйдет Райский в „Обрыве“ Гончарова. Я всего более этого боюсь. Как мне досадно, что на вид я всем нравлюсь, что меня находят премилым молодым человеком с дарованиями и многообещающим, а я – как грибы крашеные, внутри которых гниль и всякая нечистота. Впрочем, я верую в милость Божию, я не теряю надежды сделаться порядочным человеком…» (13 июля).

* * *

Собрав все нужные вещи в Павловске, Константин поехал в Петербург. Дел было много, как перед всяким отъездом, отплытием, походом. И все же в двух вещах он отказать себе не мог: побывать в Обществе поощрения художников, где была выставлена купленная им у Куинджи картина «Ночь на Днепре» (мысль взять ее с собой в море не покинула его), и упорядочить свои записи в дневнике.

К дневнику Константин относился как к живому человеку. Дневник заменял ему самого близкого друга, но уж слишком молчаливого: ни слова в ответ. И все же его тянуло по окончании дня раскрыть коричневую тетрадь и записать свои мысли, впечатления, события. Когда-то он наивно думал, занося всё в дневник, что день ушел, а с ним всё плохое и никогда это плохое больше не повторится. Теперь он знает, что повторяется, хотя и просил в дневнике: «Дай, Господи, мне быть не хуже, чем я теперь».

Он был благодарен дневнику за свободный полет души, за возможность откровений. Ну кому он еще скажет, что, сидя в благотворительном концерте, где исполнялись произведения любимого Петра Ильича Чайковского, он, Великий князь, будет конфузиться своего красного мундира… Или что ему часто бывает жалко себя, а когда он в дальнем плавании, ему хочется домой, в Павловск. Короче говоря, дневник – это уединенная комната его сознания, где смягчается острое чувство душевного одиночества.

С другой стороны, его дневник – свидетель истории. «Возможно, – думал Константин, – мой дневник лет через 60–70 появится в печати, и мне хочется, чтобы его читали и перечитывали. Слог, правдивость, искренность очень важны для будущих чтецов!»

В этот раз он хотел сохранить и передать все детали происшедшего, потому что видел в этой правдивости справедливость.

Двадцать второго мая 1880 года умерла Императрица Мария Александровна, жена Александра II. Гордая, молча страдающая, она долго болела, оскорбленная связью мужа с княжной Екатериной Долгорукой, от которой Император имел четверых детей (один ребенок умер во младенчестве). [8] О любовнице, связь с которой началась еще в 1866 году, говорили все, о Марии Александровне верноподданные молчали. Константин оставит для истории описание смертного часа Царицы. «Кто будет читать, – думал Константин, – узнает, как провожают в последний путь Императрицу-повелительницу всея Руси. Узнают не из официальных бумаг». И он записал всё подробно:

«Съездил в роту. Вернулся домой около полудня, заметил суету и испуг на всех лицах. Мой человек сказал мне, что сегодня утром скончалась Императрица. Это известие поразило меня, как громом. Бросился обшивать крепом погоны, аксельбанты. Я полетел во дворец, на лестнице встретил Пап?: он от Государя из Царского через посланного казака узнал о кончине Тети. Государь получил известие рано утром и в 10 часов уже приехал в Петербург.

Вчера вечером еще Императрице нисколько не было хуже. В 3 ч. утра она еще звала Макушину и кашляла. Затем Макушина долго не слышала обычного звонка, пошла в спальню. Императрица спала спокойно, положив руки под голову. Макушина пощупала пульс, он не бился, руки похолодели, а тело теплое. Она послала за д-ром Альшевским. Он решил, что все кончено. От всех скрывали смерть, дали знать только Царю в Царское Село.

Около 9 [ч.] Гаврилов, камердинер Императрицы, пошел разбудить Сергея. Ничего не подозревая, он просыпается, видит Гаврилова, который говорит: «Императрица», – и крестится. Сергей опрометью побежал к матери. Мари, собираясь идти к кофе Императрицы, узнала о смерти случайно от обер-гофмаршала Грота. Императрицу оставили в том положении, как оно было, до приезда Государя. Тогда ее обмыли, одели, сложили руки на груди и положили на той же постели. В 1 ч. была

назначена панихида. Ошеломленная семья вся собралась тут.

Я видел Сергея раньше панихиды, пока никого не было. Мне больно на него смотреть. Я много плакал. А у нее такое тихое, кроткое выражение, несмотря на то, что лицо немного скривилось. Мне казалось, что можно было прочесть едва заметную укоризну в выражении ее лица. Мною овладело одно чувство: желание быть полезным Сергею.

Уже давно боялись минуты, когда Императрицы не станет: не говоря уже о том, что кончина ее – величайшее горе не только для семьи, но и для России это незаменимая потеря. Незаметным образом Императрица была как бы последним пунктом нравственного порядка и приличия, с ее кончиной преграда рушится, и легко может статься, что мы будем переживать тяжелые минуты, придется не раз краснеть за свое время.

Остается надеяться на Бога: все к лучшему. Он не попустит полного разрушения».

Двадцать третьего мая Константин продолжил записи:

...

«В 1 ч. п. п. д. панихида в спальне Императрицы. После вскрытия лицо ее приняло еще более спокойное, задумчивое выражение. Чем вчера. Вся постель была покрыта легким тюлем, по которому лежали разбросанные белые розы: это напоминало нарядное бальное платье.

По вскрытии оказалось, что

доктор Боткин был совершенно прав: одного легкого не существовало, в другом нашли две значительные каверны, в сердце не оказалось органического недостатка, желудок в окончательно расстроенном состоянии.

Я оставался у Сергея после панихиды, он почти не бывает у себя, все остается при теле покойной матери.

По духовному завещанию ее выставят не в залах, а в большой дворцовой церкви, похоронят не в серебряном парчовом платье, а в белом атласном саване и без короны на голове.

Она завещала Ильинское (подмосковное имение) Сергею. Государь назначил его исполнителем духовного завещания, ему придется ехать в Ильинское, мне бы хотелось ему сопутствовать».

…

24 мая.

«Тяжелый день для бедного Сергея. Императрицу переложили в гроб. Она лежала на кровати, усыпанной ландышами. Государь и сыновья подняли ее с постели и положили в гроб, покрыв императорской порфирой.

Тут начался выход через Белую залу, 1-ю запасную половину, в Александровскую залу, в большую церковь. Там панихида.

В Петербурге с утра большое движение. В 12 ч. началось перенесение тела покойной Императрицы из большого Собора

Зимнего дворца в Петропавловскую крепость.

После короткой литии Государь и его дети приложились к телу, затем они и мы, прочие Великие Князья и иностранные принцы, подняли гроб и понесли по большим залам к главной лестнице на посольский подъезд. Внизу, в большом дворе, ожидали лица, участвующие в погребальном шествии. Дождь, ливший все утро, прошел, только что печальная колесница показалась из ворот, облака очистились и засияло солнце. На площади и на всей дворцовой набережной стояли шпалерами гвардейские полки. Шествие было особенно длинно и торжественно. Царь, наследный принц Германский, австрийский великий герцог Вильгельм и прочие принцы ехали верхами, мы все шли пешком за гробом.

Мне было больно и тяжело за Сергея, он никогда, или очень трудно плачет, перенося свое горе молча, не высказываясь. Сегодняшний день должен раздирать его душу.

Дул очень сильный ветер. Наши яхты были вызваны из Петергофа и стояли вдоль Невы от Зимнего дворца до Троицкого моста с приспущенными флагами, гюйсами и штандартами Императрицы. Все это должно было напоминать Сергею веселые дни, когда мы с ним любовались на эти яхты и веселились в кругу моих товарищей.

Через минуту воздух огласился выстрелом с Петропавловской крепости. Вода в Неве сильно поднялась от свежего западного ветра, разводные части Троицкого моста, по которому проходило

погребальное шествие, встали горбом; было трудно опускать огромную колесницу по крутому скату. Все обошлось благополучно.

Петропавловский собор приветствовал заунывным колокольным звоном приближающееся печальное шествие. Я нахожу что-то трогательное в мысли, что мы все найдем тихое, постоянное пристанище в этой церкви.

Царь и мы все снесли гроб в собор и поставили его на огромном катафалке, обтянутом красным сукном с золотом. С потолка Собора висел высокий серебряный подбитый горностаем покров в виде купола, прихваченный у средних четырех столбов.

Мне нравится величественная, торжественная, даже несколько праздничная обстановка, окружающая грустные человеческие останки. Как хорошо действует на душу песнь «Христос воскресе из мертвых» на погребальных службах между Пасхой и Вознесением.

За вечерней панихидой мне почему-то стало очень грустно, и я прослезился, подходя к телу бедной Императрицы. Она очень изменилась лицом; оно совершенно закрыто тюлем, его почти не видно».

27 мая. «Сегодня приехал Сандро Болгарский… Утром и вечером были на панихидах в крепости. Приехали Вальдемар Датский и Герман Саксен-Веймарский…»

28 мая.

«Сегодня хоронили Императрицу Марию Александровну.

В этот же самый день, пятнадцать лет тому назад,

хоронили Цесаревича Николая Александровича (старшего сына Александра II. – Э. М., Э. Г.).

Я приехал в крепость к началу обедни. Служил митрополит Исидор. Завтра Вознесение, сегодня последняя пасхальная служба, в последний раз пели «Христос воскресе». Бедный Сергей был бледнее своего белого кирасирского мундира, у меня сердце болит, глядя на него.

Во время обедни Государь находился не внутри церкви, а в комнате у входа. Он вошел в собор под конец литургии.

Из огромного дежурства многим делалось дурно от долгого стояния. Фрейлине Тютчевой пришлось оставить свое место у гроба, одному офицеру сделалось дурно, нескольких человек Николаевского Кавалерийского училища увели.

Началось отпевание. Ужасные минуты, чувствуешь, что вот-вот настанет конец и ничего больше не останется на этой земле от жизни хорошего человека.

Наступили минуты прощания. Дети окружили гроб, с тоской в последний раз вглядываясь в любимые черты. Уже близко держат крышку гроба, снимают покров, цветы. Такое невыразимое мучение. Многие из нас положили образки и крестики в гроб. Вот его закрыли, понесли к могиле, опускают. Раздалась пушечная и ружейная пальба. Посыпался песок в могилу, цветы и последние слезы. У Сергея их не было, он стоял бледный, с истерзанным лицом.
И всё кончено».

30 мая. «… Потом были у Сергея. Оля очень грустна. Она

плакала, видя печальное настроение Сергея. Он читал нам письмо покойной Тети (Императрицы. – Э. М., Э. Г.), где она дает советы Сергею и Павлу и просит их за себя молиться, особенно после своей смерти, и во время свершения таинства на литургии. Вот отчего Сергей молился на коленях, когда пели «Тебе поем»…»

Константина потревожил посыльный. Он доложил, что Великий князь Константин Николаевич прибыл в Петербург и требует быть на «Герцоге Эдинбургском». Корабль готовился к плаванию.

СЕМЕЙНАЯ ДРАМА

Кругосветное плавание продолжалось два года с лишним. Мир, открывшийся глазам, был неописуемо красив. Конечно, он не был идеален, но Константин прежде всего видел красоту – так он был устроен. Его глаза, чувства, духовный слух, интеллект были отзывчивы и податливы гармонии цвета, линий, звуков. Его охватывала тоска из-за невозможности «одновременно соприсутствовать всему, везде и невозможности достичь полноты переживания».

Константин увидел Алжир, Неаполь, Венецию, Татой – резиденцию своей сестры, Королевы эллинов; совершил поездку по Святой земле, побывал в Иерусалиме.

Но когда тяжелая волна ходила под днищем корабля и он, свободный от вахты, лежал в своей каюте, ему виделся Павловск во всем блеске северного лета: сирень в полном цвету; дубы и липы в свежей зелени. Птицы поют. Пахнет так чудно. И везде тайны прелестного нежного лета – у Розового павильона, на Английской и Константиновской дорожках, на тропках вокруг пруда, где стоят нависшие над водой его любимые березы.

И он снова думал о том, что только там, в России, будет новая истинная его жизнь. Константин писал отцу 13 октября 1881 года:

...

«Я пламенно рвусь в Тихий океан, считая кругосветное плавание полезным и необходимым. По возвращении я мечтаю всеми силами души и тела служить на пользу Родины, продолжать начатое тобою дело освобождения и просвещения и посвятить всю жизнь на труд по улучшению быта нашего православного народа и духовенства… Я старался насильно привязать себя к морю, заставить себя полюбить флот – но, к великому моему разочарованию, не успевал в этом. Вот уже 3 года, что я стал осмысленней смотреть на жизнь и на

вещи, три года я думал и раздумывал и пришел к убеждению, что все мои чувства и стремления идут вразрез с положением моряка. В последних моих плаваниях я, скрепя сердце, старался честно исполнять свой долг и, кажется, ни разу не изменил ему. Вместе с тем, думая, что если придется всю жизнь служить немилому предмету, к которому не имею влечения, – жизнь моя будет мука и страдание. Разумеется, пока я свято буду продолжать служить во флоте, во что бы то ни стало хочу совершить кругосветное плавание, считая, что только морская служба может служить мне подготовкой к другого рода деятельности, может выработать во мне знание жизни и людей и дать мне некоторую опытность…»

В следующем году 20 января Константин снова пишет отцу, превозмогая себя: «Если судьбе будет угодно задержать меня в морской службе – конечно, я покорюсь. Но тяжело будет всю жизнь уложить на нелюбимое дело».

Судьбе было угодно уложить молодого моряка в постель с тяжелейшей пневмонией. Доктор, медицинское светило, советовал сменить род деятельности.

Константина списали с корабля. Он сухо и отчужденно сообщил отцу 22 февраля 1882 года: «Какого рода я буду впоследствии нести службу – не знаю, хотел бы по Министерству народного просвещения».

В январе 1882 года Константин вернулся на родину и нашел много перемен. Не стало Достоевского. Позже Анна Григорьевна Достоевская говорила, что ни одно из тысяч сочувственных писем по поводу смерти Федора Михайловича не поразило ее и не растрогало так, как письмо Константина Константиновича, посланное из Неаполя, с фрегата «Герцог Эдинбургский»…

Убит был царь. Константин последний раз видел Александра II в день его именин. Тогда в Петербург он с Цесаревичем сначала добирался на яхте «Александрия», потом Саша и Дагмара ехали четверкой цугом с форейтором и нарядным казаком. Народ приветствовал Наследника криками «ура». Служба в Александро-

Невской лавре была чинная, торжественная. Константин был в упоении. Он стоял у раки Александра Невского – святого, которому поклонялся. Он считал, что это одна из редких святынь, освящающая православное сердце в почти иностранном Петербурге.

И вот царя Александра II нет. Закончилось правление, которое называли «диктатурой сердца». В столице рассказывали, как рано утром по Невскому проспекту от Зимнего дворца неслась тройка с фельдъегерем и собакой, а через полчаса появлялась карета, окруженная конвоем. Это ехал Император с собакой на обычную прогулку в сад Аничкова дворца. Для него больше не было в Петербурге безопасных мест. Монарх, освободивший от крепостного рабства миллионы людей, не мог утром спокойно подышать воздухом. Пришло время агрессии и насилия. И у этого времени были свои трибуны и певцы. «Теперь поэзия служит мелкому эгоизму; она покинула свой идеальный мир и, вмешавшись в толпу, потворствует ее страстям, льстит ее деспотическому буйству и променяла таинственное святилище храма (к которому доступ бывает отворен одним только посвященным) на шумную торговую площадь, поет возмутительные песни толпящимся на ней партиям», – писал Василий Андреевич Жуковский в конце сороковых годов, а в 1866-м взбодренные «бесовскими» тамтамами «альтруисты»-террористы поставили Каракозова у решетки Летнего сада с целью убить Царя-Освободителя. Тогда все обошлось, но это было только началом террора революционно настроенной молодежи.

Через 12 лет, в 1878 году, Вера Засулич тяжело ранила петербургского градоначальника Ф. Ф. Трепова. В том же году в Петербурге народником Кравчинским был заколот кинжалом на Михайловской площади начальник тайной полиции генерал Николай Мезенцов. 9 февраля 1879 года харьковский губернатор князь Дмитрий Кропоткин был убит Гольденбергом, подбежавшим к его карете и выстрелившим через окно в упор, а в появившейся вскоре листовке уведомлялось, что князь убит по приговору «Народной воли». В марте того же года пришла очередь жандармского полковника Кнопа – рядом с его трупом в доме лежал приговор исполнительного комитета «Народной воли». 23 марта в Москве был убит агент тайной полиции Рейнштейн. В тот же день в Петербурге было совершено покушение на преемника Мезенцова генерала Дрентельна. В апреле в Киеве застрелили губернатора, 10 апреля в Архангельске был заколот кинжалом полицмейстер, а 14 апреля Соловьев, примыкавший к «Земле и воле», пять раз стрелял из револьвера в Императора, оставшегося по счастливой случайности живым.

Террор набирал силу и размах. 26 августа 1879 года исполнительный комитет приговорил Александра II к смерти. Через полгода, 17 февраля 1880 года, чудовищный взрыв потряс здание Зимнего дворца, когда Императорская фамилия должна была войти в столовую. Император опять чудом остался жив благодаря тому, что один из его гостей, Князь Болгарский, опоздал. Но было убито и ранено 40 солдат Финляндского полка. Воскресным днем, 1 марта 1881 года, когда царская карета в сопровождении шести конных казаков проезжала по набережной Екатерининского канала, в нее была брошена бомба, убившая нескольких казаков и мальчика-прохожего. Александр II, оставшийся невредимым, бросился к убитым, и в этот момент народоволец Гриневицкий метнул вторую бомбу. Смертельно раненный Император умер в тот же день в своем дворце, не приходя в сознание…

Константину вспомнилось давнее, еще до убийства царя, событие. Из Стрельны приехала взволнованная Мама, но ничего не объяснила. И только Павел Егорович, управляющий ее двора, рассказал ему, что на въезде в Царскосельский сад они встретили коляску, в ней были Император с Долгорукой и детьми. Царь был сконфужен. А Мама, пришедшая в себя, сказала: «Сердце обливается кровью, что делает наш Всероссийский самодержец! И это после чудесного избавления от покушения на него».

В последний раз чудесного избавления не случилось…

Потерял опору бытия и отец Константина, истинный двигатель Александровых реформ, теперь ненужный новому времени и новой власти. Константину сказали, что пропадает отец у бывшей балерины Анны Кузнецовой, с которой, оказывается, имел давнюю связь и общих детей. У него, значит, своя Долгорукая… Неужели в мире нет ни верности, ни благодарности, ни любви? Как не поверить юродивому у церкви, который однажды крикнул Константину: «Не доверяй своему телу, пока оно не ляжет в гроб!»

Перед плаванием на «Герцоге» Константин поделился с сестрой Олей своими мечтами о тихой семейной жизни, фантазировал, какой у него будет дом – обязательно в чисто русском вкусе, похожий на терем. Он надеялся, вернувшись из плавания, жениться. Шли они тогда по Родительскому кладбищу. Было тихо, тепло, всюду цвел бело-розовый душистый горошек…

Ну вот, он вернулся. Вокруг почти кладбище…

* * *

В речном яхт-клубе, в отличие от Императорского, давно превратившегося в элитный туристический, кипела жизнь, не только в ресторане, но и на пирсе, в недавно открытых судостроительных мастерских, а Нева в районе Крестовского острова действительно была забита множеством шлюпок и яхт, среди которых преобладали шверботы. В мастерской Константину, уже почти восемь лет являющемуся почетным членом Санкт-Петербургского речного яхт-клуба, представили конструктора Родионова. Господин Родионов показал ему чертежи новой яхты водоизмещением в две тонны и рассказал, что попытается сделать ее одной из самых быстроходных в своем классе. Однако знаменитого Макарова, одного из одареннейших русских яхтсменов, близкого родственника прославленного адмирала, Великому князю увидеть не удалось – тот был на воде, демонстрировал покупателю ходовые качества одной из своих яхт. Тем не менее Константин был доволен посещением Крестовского, он убедился, что интерес к парусному спорту в России не погас, и намерен был доложить об этом правлению Императорского клуба.

В довершение экскурсии Великий князь решил закусить в ресторане, заказав стерляжью уху, судака по-польски и белого французского вина. И вдруг осознал, что яхты не отвлекают его от грустных мыслей, как рассчитывал. На душе по-прежнему было неспокойно от какой-то не вполне понятной тревоги. Связана ли она с тем, что пришлось обмануть надежды отца и уйти из флота, или с предстоящей деятельностью на новом для него поприще, или с тем, что обязательная для него светская жизнь отнимает время у поэзии, или с неожиданным замужеством Елены Шереметевой, или еще с чем-то другим, – оставалось лишь гадать. Но вот в церкви эта неясная тревога покидала его, на душе становилось покойно и чисто. Ах, как хорошо было бы посвятить всего себя служению Господу…

В ресторане то и дело слышалась польская речь, выходит, правду говорили, что среди членов клуба много поляков. Вдруг до его ушей долетело родное имя. Он невольно прислушался к разговору.

«Бедный Пап?, опять о нем, – невольно подумал Константин, – в Париже ему и в голову не приходит, что здесь все еще ломаются копья вокруг его дел и имени!»

В отличие от многих молодых людей, до которых лишь на похоронах доходит, кем был для друзей, общества и государства человек, называемый ими всю жизнь «папой», Константин Константинович к этому времени почти всё знал о значении и роли отца в родном Отечестве.

* * *

Его отец, Константин Николаевич, родился 9 сентября 1827 года в Павловске и был младше своего брата, будущего Императора Александра II, на девять лет. Но было одно обстоятельство, позволявшее позже несправедливо подозревать младшего брата Константина в притязаниях на трон: он был порфирородным, иначе говоря, сыном Императора Николая I, а когда родился Александр, Николай еще не был даже объявлен Наследником. [9]

С детства «скучный Костя, который всегда с книжками» (суждение при дворе), рос дерзким и необузданным мальчишкой, зачастую пренебрегавшим многими правилами хорошего тона и принятыми в тогдашнем обществе нормами поведения. Был упрям, горяч и несдержан, необуздан в своем стремлении добиться желаемого, за что получил прозвище «паровик» и заимел недругов. Вместе с тем он отличался живым умом и трудолюбием, а с возрастом довольно успешно стал учиться властвовать собой.

Сохранилась записка педагога Н. Н. Ермолинского, касающаяся принципов и целей воспитания Великих князей: «Нельзя забывать, что их величества переступают порог юности с особыми правами и при наличности особо благоприятных условий существования. Со дня совершеннолетия, имея почти все русские знаки отличия и с этих же пор вполне обеспеченные материально, они не только могут, но, по словам императора Николая I, обязаны оправдать в глазах Монарха и народа свои исключительные права и привилегии. Ведь они стоят так высоко, так на виду, что вся Россия знает их жизнь, повторяет их слова, даже часто следует их примеру. Они, при наличии материальной обеспеченности и всех знаков отличия, полученных еще в юности, могут явиться перед Государем „без лести преданными“. Они, так высоко стоящие над толпою, обязаны явить собой пример людей, окупивших громадные, дарованные им права еще большими великими делами. Общество ждет от них этого и надеется».

Великий князь Константин Николаевич получил прекрасное воспитание и обучался делу под руководством самых авторитетных педагогов и специалистов в отечестве. Для этого у Николая I, нежнейшего родителя, разумеется, хватало и разумения, и возможностей. Так как он предполагал готовить сына к морскому делу, в главные воспитатели ему в 1832 году он пригласил самого заслуженного моряка – выдающегося мореплавателя, географа, исследователя Арктики – Федора Петровича Литке, которому впоследствии был присвоен графский

титул и поручено руководить Академией наук.

Николай I позаботился и о том, чтобы уже с восьмилетнего возраста его сын принимал участие в морских походах. Для начала – по Финскому заливу, а затем и по Балтийскому, Баренцеву, Северному морям. На фрегате «Паллада» будущий морской министр провел два первых похода, познав таким образом все радости и тягости морской службы и полюбив ее. В 20 лет он получает чин капитана 1-го ранга, становится командиром того же фрегата «Паллада».

Надо полагать, что Федор Литке был не только хорошим наставником по морскому делу, но и хорошим воспитателем. На всю жизнь министр Морского ведомства и переустроитель русского флота Константин Николаевич Романов сохранил к нему не только признательность, но и нежную дружбу, часто следовал его советам. Не раз он признавался, что ценил и любил своего наставника: «Ему обязан всем тем, кем сейчас являюсь. Он меня поставил на ноги».

К воспитанию сыновей Николай I привлек и поэта Василия Андреевича Жуковского, человека морально безупречного, свободолюбивого и свободного от предрассудков, но набожного и преданного монархии. Василий Андреевич освободил своих крепостных, выступал против всякой тирании. Он же в качестве учителей для своих титулованных учеников Александра и Константина выбирал умы независимые. Среди них были историк К. И. Арсеньев, лишенный профессорского звания за неблагонадежность; М. М. Сперанский, проведший годы в сибирской ссылке при Александре I. Впоследствии, совершенствуя знания русской истории, Константин Николаевич часто общался с первейшими тогда исследователями и знатоками ее – М. П. Погодиным и С. М. Соловьевым.

«Общее является суммой индивидуальных благ; а цель никогда не оправдывает средства, – учил своих воспитанников Жуковский. – Добиваться цели нужно поступательным путем, а не насилием, ибо всякая революция есть шаг из понедельника в среду».

Василий Андреевич тесно сблизился и подружился со своим воспитанником и переписку, возникшую в «учебных целях», вел с ним до самой своей смерти.

В становлении личности Константина Николаевича было три основополагающих момента. Первый он указывает сам: «Я с молодых лет питал уважение к наукам и верил в необходимость поступательного движения на пути просвещения». Второй – люди, в кругу которых он общался и которых избирал себе в друзья и соратники; как правило, это были интеллектуалы и прогрессисты.

Третий – привитое с детства понятие «доброй нравственности». Николай I приказал барону М. А. Корфу (сокурсник Пушкина), который преподавал юному Константину законоведение, «не останавливаться на отвлеченных предметах, ибо **лучшая теория права – добрая нравственность,** а она должна быть в сердце независимой от этих отвлеченностей и иметь своим основанием религию».

Николай I, сам человек очень религиозный, настаивал на том, чтобы его сыновьям в качестве фундаментальной основы морали внушались религиозные принципы. Священник, наставлявший Александра и Константина, побуждал обоих задумываться, для какой цели создал Бог каждого человека, зачем нужно изучать свой характер и давать себе ясный отчет в своих поступках и впечатлениях. Он учил также спрашивать себя, приносит ли пользу другим твоя жизнь.

Константин-младший не мог точно знать, задавался ли этим вопросом его отец, но вся отцовская деятельность и количество «отвлеченностей», в которых он достигал высокого профессионализма, является свидетельством тому. Для него же самого привычка спрашивать с себя стала совершенно естественной, и совсем не исключено, что она – не только результат религиозного воспитания его самого, но перешла к нему в наследство от отца и деда.

Вопреки всем канонам, существующим тогда для Царской семьи Романовых, Константин Николаевич мечтал получить, кроме военного, и высшее университетское образование. Но на пути встали запреты, условности, традиции, и «скучный книжный Костя» не получил разрешения на поступление в университет. Но именно «отвлеченности» стали его университетами.

Он не только столь хорошо играл на виолончели и фортепиано, что осмеливался музицировать с великим Вержбиловичем, знаменитой Епанчиной, консерваторским оркестром, но также знал историю и теорию музыки, серьезно увлекался литературой. Он отдал должное шахматам, интеллектуальной игре, входившей тогда в моду на Западе. В Николаеве, где Великий князь жил во время Крымской войны, он регулярно посещал шахматный кружок, а впоследствии стал почетным председателем Петербургского шахматного клуба. Ряд сыгранных им партий был даже опубликован в 1869 году.

В 1848 году в возрасте двадцати одного года Константин Николаевич Романов содействовал появлению литературного журнала «Морской сборник», который выпускался до 1917 года. При этом он добился того, чтобы журнал не подлежал общей цензуре. В этом журнале печатались И. А. Гончаров, А. Н.

Островский, Д. В. Григорович, А. Ф. Писемский, К. М. Станюкович. Неподконтрольность цензуре и опекунство Великого князя сделали возможным публикацию здесь материалов педагогической дискуссии, подготовившей школьную реформу в России, проведенную впоследствии министром народного просвещения А. В. Головниным. Здесь же печатались неординарные статьи хирурга Н. И. Пирогова и, самое важное, правдивые статьи о Севастопольской кампании в Крымскую войну (1853–1856). «Летописью Севастопольской обороны» называл эти статьи Н. Г. Чернышевский.

В 21 год Константин Николаевич был произведен в контр-адмиралы. В 22 года, во время Венгерского похода в 1849 году, он участвовал в сражениях под Дебреценом и Вайценом, отвечая за переправу через реку Тиссу. От главнокомандующего армией князя И. Ф. Паскевича получил орден Георгия 4-й степени. Из действующей армии он писал отцу Николаю I столь обстоятельные письма, что Император именно на их основе строил свои представления об этой кампании.

Фрейлина Анна Федоровна Тютчева, дочь известного поэта, описала Константина Николаевича, когда ему было 25–26 лет: «… Молодые великие князья очень приветливы и добры, даже слишком просты и недостаточно выдерживают свою роль полубогов. Великий князь Константин самый величественный из них, но он, как и прочие, очень прост в обращении; тем не менее, в его взгляде, в его осанке чувствуется владыка… У Великого князя довольно дерзкая и бесцеремонная манера рассматривать людей в монокль, пронизывая вас жестким, но умным взглядом. Один из всей царской семьи он невысокого роста, у него красивые „романовские“ черты лица, а профиль немного напоминает Наполеона в молодости. Он отличается живостью, много говорит и с большой легкостью и изяществом выражается на нескольких языках. Чисто и грамотно на русском, что давало повод слыть ему свирепым славянином, говорящим только по-русски и пренебрегающим всеми формами европейской цивилизации. На самом деле он был европейски просвещен, видел Россию управляемой собственными силами, но в кругу мировой цивилизации. Говорят, что он очень образован, очень любознателен, очень деятелен; от него ждут с надеждой славы будущего царствования. Утверждают, что его отец не очень его любит из-за некоторых честолюбивых поползновений, которые внушают ему недоверие к своему второму сыну».

Константин Николаевич по характеру был человеком смелым и решительным, склонным к рискованным поступкам. Будучи командором Императорского яхт-клуба, он заказал в Англии яхту,

имевшую необычно «круглый» корпус. Чтобы испытать ее в деле, Великий князь, пренебрегая советами бывалых яхтсменов, вывел судно в море в очень сильный шторм. И яхта, и ее штурман с честью выдержали испытание. А 17 июня 1854 года, во время испытаний новой лодки американской конструкции, плоскодонной с небольшим водоизмещением, вся ее команда оказалась в воде, а лодка затонула. Многие погибли, других выловили спасатели, а Великий князь, будучи физически сильным и умелым пловцом, спасся сам, как он говорил, самым чудесным образом. С тех пор ежегодно вся семья праздновала эту дату как день спасения Константина Николаевича «от утопления».

Константин Николаевич оставался самостоятельно-энергичен и в других своих «отвлеченностях». Узнав, что после смерти Н. В. Гоголя при издании его собрания сочинений цензурное ведомство наложило запрет на печатание «Мертвых душ» и «Исповеди», он обратился к шефу жандармов графу А. Ф. Орлову и убедил последнего отменить распоряжение. Когда же цензура пошла по другому пути и решила подкорректировать готовившиеся к печати тексты Гоголя, Великий князь написал начальнику Третьего отделения Дубельту и добился того, что сочинения писателя вышли в неискаженном виде.

Хочется подчеркнуть: шел 1852 год. Великому князю – 25 лет, царствует его отец, Николай I, человек в полном смысле слова самодержавный, не поощряющий «индивидуальной свободы и свободного индивидуализма». Сын его по взглядам не принадлежал ни к западникам, ни к славянофилам, он не был догматиком, но имел широкий спектр понятий и воззрений.

Благодаря его хлопотам были опубликованы религиозные сочинения основателя славянофильского движения А. С. Хомякова, а также разрешено издание газеты этого направления «День». [10]

Император решил направить реформаторские устремления своего страстного, умного и дерзкого сына в одну сферу – морской флот России. Трудное поприще, ибо русский флот в ту пору катастрофически отставал в техническом и кадровом отношениях от флотов крупных европейских держав. Требовалась кардинальная перестройка, которую мог возглавить авторитетный профессионал. Поначалу Николай I поручил сыну возглавить комитет по составлению Морского устава. Помощником его стал чиновник особых поручений Министерства внутренних дел Александр Васильевич Головнин, сын известного мореплавателя В. М. Головнина.

С этого времени началось не только их долголетнее сотрудничество. Современники соглашались, что без Головнина

Великий князь не стал бы тем, кем стал, но вкладывали в это разный смысл. Одни считали, что он не стал бы столь последовательным реформатором-либералом, многое сделавшим для России; другие – не навредил бы столько России своими непродуманными реформами.

Без сомнения, Головнин помог Великому князю технически подготовить и обосновать введение нового Морского устава и реформировать Морское ведомство. Особая роль Константина Николаевича в морской реформе состояла в его способности определить ее стратегию, сообразуясь не с бюрократическими интересами, а с реальными потребностями страны и современными достижениями науки, российской и западной практики. Его возможности расширились после назначения управляющим Морским министерством (на правах министра), которым он стал в 1853 году в чине генерал-адмирала.

Новый управляющий начал реформирование Морского ведомства с привлечения на службу предприимчивых и образованных людей. Особо почитались понятия чести и преданность делу. В его ведомстве, в отличие от других, где царило слепое подчинение высочайшим указам, тяжелая работа, полная разочарований и неудач, все же была творчеством и вдохновением. Он умел рассеять сомнения, понять оттенки разномыслия, объяснить суть. Будучи профессионалом флотского дела, Константин Николаевич издает циркуляр, осуждавший «всеобщую официальную ложь», требовавший не похвалы, а истины, и «в особенности глубокого и откровенного изложения недостатков», призывавший к отказу от канцелярской парадности и бумажной отчетности, в которой прятали истинное положение дел.

Так, в трагическую Крымскую кампанию 1853–1856 годов он выступил против панегириков в адрес родного флота и его августейшего начальника, то есть в свой собственный. Последовал по его инициативе циркуляр о прекращении славословий даже в пору победы Нахимова в Синопской бухте. Он знал как никто другой истинное положение России в «большой войне», развязанной в 1854 году Англией и Францией путем ввода в Черное море объединенного флота. Ради расчленения России Европа начала военные действия на Дунае, в Закавказье, на Балтийском и Белом морях, на побережье Камчатки.

Словом, Константин Николаевич медленному течению жизни предпочитал действия. Вместе с Великой княгиней Еленой Павловной, поддерживавшей его во всех начинаниях, он организовал первые госпитали в районе театра военных действий. Так были заложены основы российского Красного Креста.

Великий князь отдает свои 200 тысяч рублей на сооружение шестидесяти канонерских лодок, в то время как правительство отказывается выделить эту сумму на сооружение кораблей нового поколения. «Все, что я имею, принадлежит России» – эти слова навсегда связаны с именем Константина Николаевича.

Однако Крымская война стала трагическим итогом царствования Николая I. «Вся фантасмагория его величественного царствования рассеялась как дым. Остался чужой флот в Черном море, бомбардировки Одессы, армия без вооружения, флот, разграбленный лихоимством, унижение России», – писал современник.

В своих нововведениях Константин Николаевич опирался на передовой офицерский состав флотов. Проект Морского устава впервые в стране разрабатывался гласно и публично. Черновой его вариант рассылался «по всему морскому миру», офицерам Балтийского и Черноморского флотов. От них требовалось подать свои отзывы и замечания, которые обязательно учитывались при доработке. При этом привлекался законодательный опыт морских стран Европы. Головнин позже отмечал, что Великий князь «приказывал составить подробные обозрения всех прежних узаконений» для сравнения с «постановлениями иностранными».

Николай I неожиданно умер 18 февраля 1855 года, в самый разгар кошмарной для России Крымской войны. Появились даже слухи, что Император, не выдержав трагических потрясений, покончил жизнь самоубийством. На самом деле, как утверждают историки, он подхватил воспаление легких и после двухнедельной болезни скончался. Главный его завет преемнику содержался всего в двух словах: «Служи России». Символичной была одна из последних фраз, обращенных к Наследнику престола: «Держи всё, держи всё». Это был основной принцип властвования самого Николая I, который руководил, «сам держа всё», стараясь вникнуть и повлиять на каждую мелочь в каждом уезде. Он искренне считал, что только так и можно руководить такой страной, как Россия, тем самым лишив подданных инициативы.

Власть перешла к его старшему сыну Александру. Но еще раньше братья пообещали друг другу «идти рука в руку заодно и не позволять, чтобы их разрознивали», потому младший Константин, энергичный, с широкой эрудицией, соединенной с трудолюбием, встал рядом с Императором Александром II, человеком, как говорили, вялым и нерешительным во всех делах.

И началось… «Реформатор и либерал» – эти слова преследовали Великого князя с разной долей злобы, ревности и восхищения. Однако Константин Николаевич упорствовал в своем

стремлении к переменам, не признавая критики, пусть даже разумной, но страдающей отсутствием инициативы, положительного жизненного творчества, не признавая деятелей, не способных произвести что-либо реальное. Он выступил против того, что К. П. Победоносцев, один из ярых его противников, называл «натуральной силой инерции».

Многие, критикуя братьев-реформаторов, утверждали, что убийство Александра II стало результатом его ультралиберальных реформ, так как именно эти скороспелые изменения и привели к росту свободомыслия. В этом конечно же была доля истины.

Однажды Великий князь Константин-младший задумался над вопросом, отказался бы Александр II вкупе с его (Константина) отцом от либеральных перемен, если бы они заранее знали, чем все кончится? Что первый станет жертвой бомбиста, а второй после гибели венценосного брата будет сразу же отлучен от всех государственных должностей, принужденный наблюдать, как рушатся все его мечты и планы видеть Отечество цивилизованным, а подданных царя – свободными в своих действиях во благо государства. И, хорошо зная отца и дядю, сам же ответил на вопрос решительным «нет». Можно у каждого найти различные недостатки, но уж в трусости никого из них обвинить нельзя.

Деятельность морского министра, фигуры по обычному представлению «бумажной», многим казалась странной. Он углубился в то, о чем не принято было даже помышлять: до 1855 года Морское ведомство оставалось своеобразным «помещиком» со своими крепостными крестьянами, жившими на Охте и под Николаевом. Из 125 тысяч нижних чинов, причисленных к Морскому ведомству, 100 тысяч служили «комфорту высших чинов», выполняли разные обязанности вплоть до роли денщиков. Были даже целые «конюшенные роты» Морского министерства.

При Константине Николаевиче охтинские крестьяне были освобождены от крепостной зависимости, а общее число нижних чинов он сократил до 27 тысяч, из них 94 процента составили прямую боевую силу флота и лишь остальные исполняли косвенную службу, с которой не справлялись вольнонаемные. Береговая команда уменьшилась в шесть раз, а количество офицеров стало соответствовать прямым потребностям флота. Что касается чиновников, этой страшной силы, которую не берет ни чума, ни война, их в Морском ведомстве сократили в два раза.

Раньше других Великий князь Константин Николаевич запретил в своем ведомстве телесные наказания.

После поражения в Крымской войне, когда России по позорному и унизительному Парижскому трактату было

запрещено держать флот в Черном море, морской министр совершил длительную зарубежную поездку для ознакомления с флотами Англии и Франции. «Я теперь, – писал он, – не что иное, как генерал-адмирал без флота, который видел своими глазами гигантские флоты и морские способы вчерашних врагов наших». И он дал себе слово в кратчайшие сроки сделать всё возможное для создания мощного броненосного флота в России.

Вернувшись на родину, он стал создавать условия для беспрерывного плавания русских военных судов в дальних морях и океанах. В 1856 году балтийская эскадра из пяти судов идет в Средиземноморье, через год уже две эскадры вошли в Черное море, одна совершила плавание к устью Амура, на следующий год совершила кругосветное плавание эскадра из трех корветов и трех клиперов. В 1863 году эскаддра адмирала Лесовского посетила ряд портов Северной Америки, поддержав тем самым боевой дух Соединенных Штатов, которых блокировала Англия. [11]

Уже с 1864 года в состав эскадры винтовых судов Балтийского флота входят и бронированные суда. Вот уж поистине вслед за своим сподвижником, блистательным дипломатом, князем Александром Михайловичем Горчаковым, Великий князь Константин Николаевич Романов с полным правом применительно к своему делу мог повторить: «Говорят, что Россия сердится, нет, Россия не сердится – Россия сосредотачивается». Она сосредоточилась так, что по государевой воле в кратчайший срок после отмены Парижского трактата был готов к жизни на новейшей технической основе Черноморский флот, краса и гордость державы. Из парусного флот стал паровым, а затем броненосным, одним из лучших в мире.

Горя тем, что Некрасов называл «святым беспокойством», реформатор не ограничивался руководством из Петербурга. Поставив своей целью обновить флот, сделать его паровым и современным, он разъезжал по стране, создавал и обновлял оружейные заводы, верфи, корабли. Константин, его сын, которого отец готовил к службе во флоте и мечтал именно ему впоследствии передать свое министерство, как никто другой знал эту сторону деятельности отца. Тот считал необходимым брать сына в такие поездки, а то и дома посвящать его во все детали своей деятельности.

Отец Константина полагал очень важным для дела лично присутствовать и участвовать на спусках и испытаниях кораблей, как бы опасно это ни было. Порой в течение одного дня он успевал побывать и на испытаниях, и на пороховом и пильном заводах, в адмиралтейских мастерских, обсудить качество

приобретенных за границей «винтов и машин» и лично проконтролировать, как ведется их установка на судах. «В восемь утра отправился в Кронштадт, – пишет он в дневнике 22 марта 1860 года. – Приехавши, отправился прямо на Пороховой завод. Котлы „Гремящего“ шибко подвигаются вперед. В кузнице видел сварку второй пушки, а в токарной – сверление первой. Обошел все мастерские завода, везде большая деятельность…»

Однако не всё задуманное в интересах Морского министерства удалось осуществить. Большую неудачу потерпела его кадровая политика. Великому князю не хватало поддержки для изменения порядка выдвижения людей по личным качествам, «не стесняясь чинами». Неудачу кадровой политики его сподвижники объясняли тем, что противники реформ решили здесь остановить Константина Николаевича, справедливо осознав, что уничтожение чинов – мера слишком демократическая, направленная на введение равенства между людьми. А это уже куда более серьезное дело, чем техническое перевооружение флота.

Император Александр II помнил свое решение «идти рука об руку» с младшим братом и в повседневной деятельности во всем доверял ему. Уже в 1857 году Константин Николаевич стал членом Секретного (затем Главного) комитета по крестьянскому делу (с 1860 года – председателем); членом Финансового и Сибирского комитетов; с 1861 по 1864 год – наместником в Царстве Польском; с 1865 по 1881 год– председателем Государственного совета.

Именно Великий князь и его единомышленники, которых скоро прозвали «константиновцы», а ими, помимо А. В. Головнина, возглавившего с 1861 года Министерство просвещения, были министр финансов М. Х. Рейтерн, военный министр Д. А. Милютин, генерал от инфантерии граф Я. И. Ростовцев, Великая княгиня Елена Павловна и другие, готовили отмену крепостного права в России. Константин Николаевич настаивал на освобождении крестьян с передачей им земли в собственность, но с сохранением общинной основы там, где были для этого местные условия.

Жаркие дебаты на заседаниях Комитета продолжались до января 1861 года, при этом сторонники и противники реформ не стеснялись в словах, если не хватало аргументов. Император, присутствовавший на этих заседаниях, чаще всего молчал, допуская полную свободу прений. Конечно, он не мог не понимать, что тем самым делал более весомой позицию брата. А Константин Николаевич выступал за введение института мировых съездов, [12] способных отстаивать интересы крестьян против

«преобладающего влияния дворянства, их корыстолюбия». В качестве председателя он умело ограничивал задор тех, кто стремился убедить Царя в необходимости уменьшения наделов крестьянам и в увеличении их повинностей. И все же, несмотря на все его старания, Государственный совет большинством голосов отверг проект Крестьянской реформы. Великий князь и его сторонники остались в меньшинстве. Но тут уже личную смелость и прозорливость проявил Император. Он утвердил мнение меньшинства, которое назвали «великокняжеским».

Девятнадцатого февраля 1861 года два брата Романовых стояли рядом у стола. Александр, помолившись в уединении, подписал Манифест об отмене крепостного права, Константин присыпал песком его подпись. Метафору тут можно выбрать любую: присыпал, чтобы похоронить рабство, или присыпал, чтобы скорее высохли чернила, открыв великую суть самого важного события за все время правления династии Романовых.

Противники Великого князя сознательно путали либерализм с радикализмом. На Константина Николаевича обрушились потоки клеветы и сплетен, его обвиняли даже в оппозиционности к Александру II. Обвинения такого рода конечно же стали известны Императору, но он не придавал им значения, оказывая младшему брату все то же доверие.

После Манифеста 1861 года одной из первых реакций на новые общественные свободы явились волнения в Польше, входившей в состав Российской империи. Великий князь Константин Николаевич был назначен наместником в Царство Польское, пожелав ехать туда вместо назначенного сначала младшего брата Михаила Николаевича. Не исключено, что это совпало и с желанием Царя. Во-первых, отъезд Константина Николаевича из Петербурга мог утихомирить страсти вокруг его роли в подготовке и проведении крестьянской реформы, а во-вторых, широко известный в России своими либеральными взглядами, он был более уместен в Варшаве с миссией «примирительной политики».

Скажем сразу, что Константину Николаевичу не удалось справиться со своей задачей в Царстве Польском и он чуть не заплатил жизнью за стремление успокоить поляков. 21 июня 1862 года, на следующий же день после приезда с семьей в Варшаву, на него было совершено покушение поляком Ярошинским. Вот как Великий князь описал это в дневнике: «… выходит из толпы человек, я думал, проситель. Но он приложил мне к груди револьвер и в упор выстрелил. Его тотчас схватили. Оказалось, пуля пробила пальто, сюртук, галстук, рубашку, ранила меня под ключицей, ушибла кость, но не сломала ее, а тут же остановилась,

перепутавшись в снурке от лорнетки с канителью от эполет. Один Бог спас. Я тут же помолился… Общее остервенение и ужас».

Веря в поступательное разрешение всякого конфликта, Великий князь обратился к населению с мирным призывом: «Поляки, вверьтесь мне, как я вверился вам!» – просил не идти за «партией преступлений», ведущей к кровопролитию. Он обещал провести политическую амнистию, ввести польский язык в официальное делопроизводство, открыть польские учебные заведения, способствовать деятельности Государственного совета Царства Польского, восстановить автономию в делах внутреннего управления. И многое из обещанного начал осуществлять. Но этого оказалось недостаточно – Польша продолжала бунтовать, требуя независимости и возвращения ей всех земель от Западной Двины до Днепра. От военной помощи в подавлении беспорядков Великий князь отказался.

В России наместника стали критиковать как справа, так и слева. Некоторые газеты договаривались даже до того, что Великий князь хочет воцариться в Польше, отделив ее от России. Министр внутренних дел П. А. Валуев писал: «Великий князь явно в руках предателей или под влиянием страха за свою особу…» Герцен же на страницах своего «Колокола» издевательски вопрошал: «Ну, Константин Николаевич, как вы сладите со своей совестью?»

В конце концов, под давлением этих нападок и чувствуя тщетность либеральных попыток утихомирить Польшу, Александр II издал рескрипт об увольнении брата с поста наместника. Польское восстание будет подавлено летом 1864 года генералом Ф. Ф. Бергом.

Великий князь отвергал все обвинения: «Я свято исполнил данную мне программу. К глубокому сожалению, она не привела к доброму результату». В октябре 1863 года он покинул Варшаву и, вынужденный на некоторое время отойти от дел, уехал за границу.

Тем не менее Александр II по-прежнему доверял брату, и с 1 января 1865 года Великий князь Константин Николаевич был назначен председателем Государственного совета. Удалившись в свое крымское имение Ореанда, Великий князь составляет записку о создании совещательного правительственного органа, состоящего из народных делегатов с мест. Государственному совету, по идее Константина Николаевича, отводилась роль «верхней палаты».

Он верил в то, что только сотрудничество с общественными силами выведет Россию из тупика, поставит на путь цивилизованного развития. После согласования с министром

внутренних дел П. А. Валуевым, инициатором «Конституционного проекта», записка была представлена царю в конце 1866 года.

Время шло, а проект Великого князя лежал без движения. Да и отношения со старшим братом складывались так, что Константин Николаевич уже не считал возможным лично поинтересоваться судьбой своего проекта и в итоге решил со своей «конституционной» идеей подождать до лучших времен.

Ему показалось, что такое время подошло, когда Александр II назначил министром внутренних дел либерально настроенного графа М. Т. Лорис-Меликова. Великий князь связался с графом, и тот сообщил, что для начала намерен предложить Императору частично применить в системе управления страной принцип народного представительства. [13]

Эта скромная реформа была трудным шагом вперед. «Благодаря ей в устаревшие государственные институты проникал основной принцип свободного режима демократических государств, принцип народного представительства. Впервые русский народ получал право приобщиться к законодательной работе. Государственный совет даже в своем новом составе не сможет, конечно, претендовать на роль парламента, но он будет, по крайней мере, зародышем и как бы предтечей», – писал об этой идее молодой французский дипломат Морис Палеолог.

Лорис-Меликову и Константину Николаевичу в начале 1881 года удалось убедить в необходимости этого шага не только Императора, но и Цесаревича, вокруг которого в Аничковом дворце сгруппировались противники любого либерализма во главе с обер-прокурором Священного синода К. П. Победоносцевым. В субботу 28 февраля Александр II принял Лорис-Меликова, который предложил Императору на подпись подготовленный комиссией Манифест о введении народных представителей в состав Государственного совета. Была достигнута договоренность, что в понедельник утром он появится в газетах. Под Манифестом стояли три подписи: Александра II, Александра-Цесаревича, Константина, генерал-адмирала. А во второй половине дня в воскресенье 1 марта Александр II был убит народовольцами. Его сын Александр, решивший поначалу соблюдать волю отца и печатать Манифест, в ночь на понедельник под влиянием Победоносцева и других сторонников жесткой власти отменил это решение. Победоносцев же, доказывая Александру III гибельность новых идей, призвал его «гнать от себя людей, подобных Великому князю Константину».

Об отставке отца со всех постов, происшедшей в середине июля 1881 года, Константину-младшему сообщил капитан фрегата «Герцог Эдинбургский», когда тот находился у берегов

Греции. Константин Константинович очень переживал за отца, ибо знал, что служба Государю и Отечеству для него равносильна жизни.

Освободившись с вахты, Великий князь отпросился на берег, в Афины. Ему хотелось как можно скорее увидеться и поговорить об отце и о себе с сестрой Ольгой. Ни с кем, разве что еще с двоюродным братом Сергеем Александровичем, он не мог быть так откровенен, как с ней, и благодарил Бога за то, что рожден ее братом.

Проезжая в открытом экипаже по знойным пыльным улицам, где бродили козы, а на обочинах золотились мандарины, он направлялся в Татой, летнюю королевскую резиденцию сестры под Афинами, и думал о том, что отставка, быть может, сделает отца спокойнее, добрее, избавит от вечной желчности и деспотизма.

Ольга знала об отставке отца.

– Я в большом смущении, – сказал Константин. – Воротясь, я был решительно намерен объявить Пап?, что ухожу с флота. Но понимаю, что теперь мое решение будет не только жестоким, но и скандальным. Что делать?

– Сходи в церковь, помолись, попроси у Господа совета. Он тебя не оставит.

Константин принял эти слова как благословение. Он конечно же любил отца, но скорее умственной, чем душевной любовью, и винил себя в этом, но и смягчиться не мог.

Мать рассказывала, что даже своим рождением в Стрельне он обязан именно отцу. То лето 1858 года, несмотря на беременность, ей хотелось провести в шумном Павловске, с его театром и концертами в здании вокзала. Мечтала приглашать гостей, музицировать и веселиться, что, по уверению доктора Гауровица, развивало бы и ребенка. Однако Константин Николаевич выбрал дворец в Стрельне.

Еще до рождения сын был предопределен отцом к службе во флоте, потому и обязан был родиться именно в Стрельне, на берегу залива, чтобы как можно раньше увидеть безбрежную морскую даль. Таковой была железная воля отца во всем и всегда.

* * *

Константин Николаевич Романов, второй сын Императора Николая I, женился по любви. Познакомившись со своей будущей женой, принцессой Саксен-Альтенбургской, которая, приняв православие, станет Александрой Иосифовной, а для членов

Императорской фамилии просто «Санни», двадцатилетний юноша поставил своим августейшим родителям ультиматум: «Она или никто». Великого князя немецкая принцесса покорила не только яркой красотой, но также веселостью, искренностью и непосредственностью нрава. Кроме того, она неплохо музицировала и даже сочиняла музыку, что не могло не импонировать Константину Николаевичу, человеку музыкально одаренному и образованному. Видимо, не случайно, когда было образовано Императорское русское музыкальное общество, Александре Иосифовне была пожалована должность его председателя. [14]

В Павловске, где любила жить Александра Иосифовна и куда, как правило, возвращался после дальних походов и командировок Константин Николаевич, супруги во многом способствовали организации концертов в здании вокзала. Если вначале слух публики услаждали далеко не первоклассные небольшие оркестры – военный, тирольский, цыганский, то уже к середине пятидесятых годов они уступили место концертным ансамблям с высоким уровнем исполнительского мастерства. В числе дирижеров были музыканты с европейскими именами и известные композиторы.

На протяжении шестнадцати лет, с перерывами, выступал в Павловске замечательный австрийский композитор, «король вальса» – Иоганн Штраус, которого впервые пригласила в Россию Александра Иосифовна. Исполнялись не только произведения самого Штрауса, в бытность свою в Павловске композитор немало сделал для пропаганды русской музыки, включая в программы концертов произведения М. И. Глинки, А. Н. Серова. Именно Иоганн Штраус дирижировал в Павловске первым публичным исполнением сочинений П. И. Чайковского. В 1865 году оркестр сыграл «Танцы сенных девушек» тогда еще малоизвестного сочинителя.

Многие объясняли частые приезды Иоганна Штрауса в Павловск романом, возникшим между композитором и Александрой Иосифовной, а один из ее отъездов в Германию также связывали с ее влюбленностью в австрийского композитора. Константин Николаевич знал об этом и ревновал.

«Великая княгиня изумительно красива и похожа на портреты Марии Стюарт, – вспоминала ее современница. – Она это знает и для усиления сходства носит туалеты, напоминающие костюмы Марии Стюарт. Великая княгиня не умна, еще менее образованна и воспитанна, но в ее манере и в ее тоне есть веселое молодое изящество и добрая распущенность (*un laisserallerboninfant*– балованного ребенка), составляющие ее прелесть и заставляющие

снисходительно относиться к недостатку в ней более глубоких качеств. Ее муж в нее очень влюблен, а Государь к ней весьма расположен. Она занимает в семье положение *enfantgatee,* и принято считать забавными выходками и милыми шалостями бестактности и неумение держать себя, в которых она часто бывает повинна. Портит ее голос, гортанный, хриплый».

Впрочем, это лишь одно из мнений, высказанное женщиной о другой женщине. Вряд ли дама с такой характеристикой завоевала бы тот огромный авторитет при дворе, каким пользовалась Александра Иосифовна. Когда после смерти жены, Императрицы Марии Александровны, Александр II, не выждав и года, а сразу после сороковин, 6 июля 1880 года, заключил морганатический брак с княгиней Екатериной Долгорукой, Александра Иосифовна заявила, что отказывается с ней знакомиться, а потому и зиму проведет в Стрельне, где жила обычно летом. Император воспринял это как вызов и желание повредить его репутации в глазах родственников и придворных. Через брата Константина он приказал его жене переехать в Мраморный дворец, а через некоторое время приехал туда сам и представил Екатерину Долгорукую, ставшую после замужества Светлейшей княгиней Юрьевской. Он хотел, чтобы Александра Иосифовна своим авторитетом благословила ненавистный ей брак.

Благоволил Александре Иосифовне и Император Александр III, который иногда со всей семьей приезжал к ней в Стрельну. Об одном из таких визитов вспоминал ее внук, Великий князь Гавриил Константинович. Он же, кстати, свидетельствовал, что бабушка была не только умной, но и остроумной женщиной, а это качество ума приобретается не с возрастом, оно врожденное.

Александра Иосифовна, посвящая сына в коллизии, связанные с отставкой мужа, заметила: – Видишь ли, я давно знала, что все так и закончится. Отец очень рьяно взялся за освобождение крестьян и этим нажил себе множество врагов. Я это видела еще двадцать лет назад и советовала сосредоточиться на морском поприще, не лезть не в свое дело. И казалось, он согласился. Вместе с ним мы должны были отправиться на долгий срок на эскадру, находившуюся у берегов Сирии. И тогда Константин Николаевич не имел бы никакого отношения к Манифесту об освобождении крестьян, к другим либеральным проектам. И не исключено, что сейчас был бы таким же приближенным у нынешнего Государя, каким был у его отца.

* * *

Брату, Императору Александру II, на третий день после рождения сына Константин-старший сообщал из Стрельны: «Пишу Тебе несколько слов, любезнейший Саша, чтобы уведомить Тебя, что у нас все, благодаря Бога, идет удовлетворительно. Сегодня идет третий день. У жинки начинает показываться молоко, груди наливаются и сильно вспухают, и оттого она начинает довольно сильно страдать, но лихорадки, слава Богу, нет ни малейшей. К сожалению, только ее старые бессонницы еще продолжаются, маленький Костя тоже хорош и весь день лежит у своей матери на постели…»

Уже при рождении Костя умудрился обмануть ожидания отца. Константин Николаевич мечтал услышать первый крик своего ребенка, но Александра Иосифовна долго не могла разродиться, и он, чтобы сократить ожидание, вышел прогуляться к заливу, а заодно определить, где и как можно было бы устроить пристань у дворца, которую планировал еще Петр I. Доктору же наказал сообщить через камердинера, когда начнутся предродовые схватки.

Великий князь шел вдоль большого канала, единственного из всех, выполненных в виде морского символа – трезубца, который мог вывести его к заливу. Шел не спеша, любуясь дворцовыми постройками – на них еще не померкли краски после последней реставрации и перестройки, вызванных очередным пожаром. Радовали глаз и великолепные липы, яркие клумбы и затейливые фонтаны в огромном саду, спланированном и устроенном по приказу Петра Великого. Вспомнив о великом предке, Константин Николаевич подумал, что заслужил бы его похвалу за то, что уже более десятка лет неустанно занимается переустройством флота, стремясь сделать его не менее могущественным, нежели английский и французский.

До залива, однако, он не дошел. Камердинер догнал его буквально за десяток метров до цели, остановив ликующим криком: «Сын, сын! Поздравляю, Ваше Высочество!» Роды, как оказалось, начались сразу же, как только Константин Николаевич покинул дворец. Доктор в суете забыл про свое обещание.

Когда счастливый отец, обычно мало склонный к проявлению нежности при свидетелях, вбежал, наконец, в спальню Александры Иосифовны, то расчувствовался, поцеловал уже умиротворенную и довольную красавицу-жену и даже попросил подержать младенца, но через минуту со страхом и опаской передал драгоценный сверток матери.

– Смотрите, не подпускайте к нему Николу, боюсь, как бы он не навредил Костюшке, – предупредил он, имея в виду своего первенца Николая, которому недавно пошел девятый год.

Родитель как в воду глядел. Когда привели старших, чтобы показать им родившегося братика, Николка, наклонившись якобы его поцеловать, исподтишка попытался ущипнуть новорожденного…

* * *

Стрельна, Константиновский дворец с первых же дней осенили своей красотой младенца. Впервые открыв для себя чарующую игру света и тени, сановный ребенок мог созерцать яркую лепнину и орнаментальную роспись потолков, красивые мраморные камины и живописные портреты предков на стенах, огромные зеркала, отражавшие пышность и изысканность интерьеров – все усилия самых известных художников прежних эпох. И в Мраморном дворце в Петербурге, и в Павловском – везде, где росли и воспитывались Великие князья, звучала музыка. Музицировала и мать Александра Иосифовна, и отец Константин Николаевич, который играл на виолончели.

Ребенок, появившийся на свет и воспитанный в таком тесном соседстве с музами, конечно же не мог не вырасти талантливым.

В формулярном списке о службе Константина-младшего первая запись гласит: «Воспитывался под наблюдением Высочайших родителей дома». «Дома» – означало во дворце или во дворцах, потому что Константиновичам принадлежала не только Стрельна, [15] но и Мраморный дворец в Петербурге, Большой дворец в Павловске, более скромные резиденции в Ореанде и подмосковное Осташево.

В соответствии с актом о правах и обязанностях лиц, принадлежащих к Императорской фамилии, уже сама принадлежность к царскому роду воспринималась как государственная должность. Не случайно сразу после рождения Константин «высочайшим приказом был назначен шефом 15-го Гренадерского Тифлисского имени Его Высочества полка и состоял в Л. – Гв. в Конном полку в 3-й Гвардейской и Гренадерской бригаде, Гвардейской пешей кавалерии». А при крещении 26 сентября 1858 года на него были «возложены знаки орденов св. Андрея Первозванного, св. Благоверного Великого князя Александра Невского, Белого орла и св. Анны 1-й степени».

Словом, уже с рождения Великому князю Константину Константиновичу был уготован высокий государственный пост. Под этим углом зрения должен был строиться и весь воспитательный процесс лица Императорской семьи. Планировать его жизнь и «присматривать» за ним, как говорится,

было кому.

Для сына существовало как бы два отца. Одним он гордился, его глазами привык видеть всё за домашними пределами. В такие моменты чувствовал какую-то особенную слитность с ним и даже желание продолжить его дело, как это было во время плавания на «Поповке» по Черному морю. Отеческая опека почти примирила его на время с перспективой службы по военно-морскому ведомству.

Тот отец, которого он знал дома, к которому стремился всем своим детским существом, почему-то сторонился этой его мальчишеской привязанности, не позволял себя полюбить самозабвенно и преданно. Отчего так происходило? Не оттого ли, что отец, с юности отягощенный ответственностью и заботой о государственном переустройстве, в сыновьях видел лишь нужный ему материал и опасался, что, позволив детям переступить воображаемую черту, отделявшую их от него, утратит способность подчинять их своей воле?

Уже с двенадцати-тринадцати лет Костя стал замечать, как нарастает отчуждение между отцом и матерью. Когда они вместе приглашали к себе детей, он всегда неохотно следовал этому призыву, в то время как с удовольствием проводил время отдельно с Мама и отдельно с Пап?. И удивительно, чем большим было отчуждение между отцом и матерью, тем больше ощущалось отчуждение между отцом и детьми.

«Как я ни люблю Павловск, как ни привязан к отцу – все же там чувствую стеснение и как-то неловко. Я с Пап? почти никогда не бываю совершенно покоен: он так порабощен своими привычками и требует подражания им, что чувствуешь себя как в деспотическом государстве», – запишет в дневнике двадцатидвухлетний Константин Константинович.

Запишет и даст себе слово, что в его семье, если она когда-нибудь образуется, все будет иначе. Он постарается, чтобы его детей всегда тянуло к родителям, чтобы они предпочитали их обществу нянь и наставников.

В душе Кости долго не заживала рана, нанесенная отцом в самое для него больное место. Узнав о поэтических склонностях сына, Пап? с присущей ему быстротой реакции вынес жесткий и обидный приговор: «Mon fils – mort plus tot que poete» («Мой сын – лучше мертвый, чем поэт»). Так когда-то ему сказал его отец – Николай I.

Дело было как раз в том, что отец со всей серьезностью отнесся к выбору сына. Он да и другие члены Царской фамилии способствовали увлечению детей музыкой, театром, поэзией, пока это носило характер любительства и не мешало серьезным

занятиям и освоению военных профессий, к которым по рождению были предназначены великокняжеские отпрыски.
Однако Константин-младший никогда и не помышлял сделаться поэтом и только поэтом. Он уже с юных пор ощущал, как нелегкую, но священную ношу и честь, свой долг перед Отечеством, правящей династией, к которой принадлежал волею судьбы.

Константин Николаевич, пока был влюблен, относился к жене предупредительно и бережно. Влюбленность продолжалась довольно долго, споры и размолвки не помешали супругам родить шестерых детей. Он очень любил своих отпрысков маленькими, не стесняясь проявлений этой любви. Часто разъезжая по государственным делам, в письмах домой всегда спрашивал: как там поживают мои «гуси»? В своем дневнике, который, кстати, все Великие князья обязаны были вести, записывал: «… получил от нее (жены. – *Э. М., Э. Г.)* две телеграфические депеши ради сегодняшнего дня рождения прелестного Костюшки, которому сегодня минуло ровно год». И через год, 10 августа 1860-го: «Нашему ангелу Костюхе минуло сегодня 2 года, и его в первый раз одели в русскую рубашку, в которой он был ужасно мил, и здешняя артиллерия подарила ему артиллерийскую фуражку…»

Любовь, однако, все чаще уступала место раздражению. С молодостью от жены ушло и обаяние «доброй распущенности», милой бестактности, мужу она стала казаться заурядной и духовно ограниченной. К тому ж, если верить князю С. Урусову, автору книги «Господа Романовы и тайны русского двора», Александра Иосифовна слишком нежничала со своей фрейлиной Анненковой. Об этом говорили при дворе. И Константин Николаевич вынужден был отправить жену за границу, но и там шли разговоры о странных склонностях Великой княгини. Для сокрытия одного из такого рода скандалов она даже прибегла к подкупу матерей двух девушек.

До крайности занятый государственными делами Великий князь не мог уделять много внимания детям, считая, что может положиться на приставленных к ним нянек и наставников, а также, естественно, на жену. Особенно много хлопот доставлял родителям старший сын, упрямый и своевольный Николай. Александра Иосифовна, пригласив для него в воспитатели строгого немца, почти во всем доверилась ему.

Старший сын одним из первых увидел и опознал разлад среди родителей. По свидетельствам домашнего доктора, Николай довольно болезненно переносил ссоры отца с матерью, крушение семьи, чувствуя себя одиноким и бесприютным, часто

взрывался, а потом горько и безутешно плакал. Немцу так и не удалось сломить его своенравный характер.
Достигнув восемнадцати лет, Николай своеобразным способом отпраздновал избавление от опеки ненавистного немца. Устроив костер на каменном полу в одной из комнат Мраморного дворца, он сжег все, что могло напомнить ему о воспитателе.

В Николе некоторые унаследованные свойства отцовского характера приобрели крайнее выражение. Если Константина Николаевича в молодости можно было назвать рисковым, то Николай был попросту безудержным. Самолюбие и тщеславие сделали его фанатиком взятых на себя обязательств, он во что бы то ни стало стремился во всем быть первым. Ему, как и многим среди Романовых, было присуще острое чувство недовольства собой. Накануне двадцатилетия, а это возраст совершеннолетия в то время, он написал, что его волнует. И это – не вступление в имущественные права (как старший сын в семье, Николай должен был унаследовать права на все земли и дворцы Константиновичей), а дурные черты своего характера и дурные поступки. «Пусть явятся мои хорошие качества, а дурные пусть умирают» – таково было его сокровенное желание.

Первым его самостоятельным шагом стало поступление в Академию Генерального штаба. Программа Академии была обширной, а учебный ритм, по воспоминаниям выпускников той поры, – очень напряженным. Николай занимался так много и старательно, что «потерял» зрение и потом всю жизнь мучился головными болями.

Если Константин Николаевич был сановно красив, хотя и не высок ростом, то его старшего сына называли самым красивым из Великих князей. Высокий, великолепно сложенный, первый танцор и дамский угодник, он царил на балах, если там появлялся. Но появлялся редко из-за своего пристрастия к учебе, которое вызывало насмешки у его сверстников, представителей «золотой молодежи», а у дам – разочарование.
После того как Николай блестяще закончил высшее учебное заведение, он как бы отпустил свой безудержный нрав на волю. Его страстью стали женщины, которыми он быстро увлекался и с кем легко расставался. Молодой циник однажды заявил: «Купить можно любую женщину, разница лишь в том, заплатить ей пять рублей или пять тысяч».

В 21 год, будучи уже командиром эскадрона лейб-гвардии Конного полка, Николай знакомится и всерьез увлекается американкой Фанни Лир, красивой актрисой и куртизанкой. Американка, его ровесница, польщенная таким знакомством, довольно быстро убедила себя, что образ августейшего денди –

лишь маска, за которой скрывается одинокий, полный различных комплексов, предоставленный самому себе юноша. Ответив на его чувства, Фанни стала опекать возлюбленного, приучила заезжать к ней на обед во время службы и по-свойски ругала за распущенность, попойки и карточную игру.

Николай настолько привязался к американке, что тайно привез ее в Мраморный дворец и поселил на своей половине, имевшей отдельный вход. Связь Великого князя становится известной не только отцу с матерью, но и всей Императорской фамилии, а это скандал. Ведь он – член Императорской фамилии, а она сбежала из семьи, успела побывать замужем, зарабатывала пением в парижских кабачках и флиртовала в поисках щедрых кавалеров.

Константин Николаевич признался Императору, что потерял все рычаги влияния на сына, и Александр II решил удалить племянника из Петербурга, отправив его на войну усмирять Хиву. Из многотрудного похода через пустыню Кызылкум молодой полковник вернулся героем и был награжден орденом Святого Владимира. Но надежды семьи не оправдались: из Средней Азии он регулярно писал возлюбленной и возвратился к ней. Роман продолжился уже на более высокой ноте: Николай Константинович, влюбившийся в Среднюю Азию, в ее мавзолеи и минареты, мечтал свозить туда и Фанни.

* * *

Не суждено ему было показать своей американке Среднюю Азию. Обстоятельства сложились так, что в один момент рухнуло всё: его военная карьера как флигель-адъютанта Государя, надежды на блестящее великокняжеское будущее, любовь к Фанни… Начался новый виток семейного скандала.

Константин Николаевич, узнав, что злополучный роман сына с американской танцовщицей продолжается, всерьез озаботился тем, чтобы женить Николу на женщине своего круга. Неизвестно, чем закончилось бы это предприятие, но все изменил один день. 14 апреля 1874 года в Мраморном дворце обнаружили пропажу крупных бриллиантов из оклада семейной иконы.

Отец вызвал полицию, и пропажа вскоре была найдена в ломбарде. Домашнее расследование выявило, что заложил драгоценности адъютант старшего сына Е. Варнаховский. Тот, однако, утверждал, что сам ничего не крал, а лишь выполнил поручение. Александр II повелел подключить к расследованию жандармов. Великий князь Константин Николаевич был

принужден услышать убийственное заключение: бриллианты украл сын! Арестованного Николу привезли в Мраморный дворец, где в течение трех часов в присутствии несчастного отца пытались добиться признания. Позже Константин Николаевич записал в дневнике: «Никакого раскаяния, никакого сознания… Ничего не помогло!» Коса нашла на камень.

Бедный Никола просил о свидании с матерью в надежде смягчить ее сердце. Александра Иосифовна от встречи отказалась. Хотя признания добиться не удалось, великокняжеское семейство было убеждено в виновности сына. Объяснение проступка лежало на поверхности: Николе потребовались деньги для его американской любовницы.

Участь августейшего вора решалась на «конференции» Царской фамилии. Самого строгого наказания требовала Императрица Мария Александровна, слывшая при дворе блюстительницей нравственности. Чтобы сохранить честь Царской семьи, решено было объявить героя Хивинского похода психически «болезненным», из бумаг, касающихся Императорского Дома, навсегда убрать его имя, а право наследования передать младшему брату Константину Константиновичу. И последнее: Никола высылался из Петербурга навечно и впредь обязан был жить под арестом там, где предписано.

На него надели смирительную рубашку и поместили под стражу, пока не отправили из Петербурга. Семь лет он колесил по России, поменяв около десяти мест жительства – Крым, Владимирская губерния, Умань в 250 верстах от Киева, местечко Тиврово близ Винницы, Оренбург и прочие, наконец в 1881 году он поселился в Ташкенте. Фанни Лир также была выслана из России навсегда. Никогда больше герои этого криминального романа так и не увиделись.

Однако и в этой ситуации женщины любили Николая. Достаточно сказать, что, даже находясь под арестом, он прожил десять счастливых дней с Александрой Абаза, светской дамой, умудрившейся подкупить охрану и пробраться в дом, где Никола содержался. В Оренбурге он тайно обвенчался с дочерью полицмейстера Надеждой Дрейер, а в Ташкенте выкупил у казака Часовитинового шестнадцатилетнюю дочь и прижил с ней нескольких детей. Позже, когда Николаю было уже за пятьдесят, увлекшись, он тайно венчался с юной гимназисткой Варварой Хмельницкой.

Константин сочувствовал старшему брату. Когда в оренбургской ссылке несчастный Николай тайно женился на Надежде Дрейер, может быть, надеясь наконец обрести семейный

покой и утешение, делалось все возможное, чтобы аннулировать этот брак, который и был в конце концов расторгнут специальным указом Синода. Всей семье полицмейстера было предложено покинуть Оренбург… Когда Николу «разженили», всем стало ясно, что палку перегнули. Константин Константинович записывал в дневнике: «Скоро ли кончится мучительное положение, из которого бедному Николе не дают никакого выхода? Самого кроткого человека можно было таким образом из терпения вывести, у Николая есть еще довольно силы выносить свое заключение и нравственную тюрьму».

Впрочем, после целого года сомнений и колебаний Александр II смягчился, узаконил брак племянника и отправил его в 1881 году в Ташкент, учтя, очевидно, тяготение Николая к Туркестанскому краю.

Небезынтересны воспоминания протопресвитера русской армии и флота о. Георгия Шавельского о ташкентской жизни Николая:

…

«… Говоря о Туркестане, нельзя не упомянуть об одном весьма оригинальном, но, несомненно, благодетельном культрегере этого края, Великом князе Николае Константиновиче. Сосланный императором Александром II за какую-то не соответствующую его званию проделку в Туркестан, он поселился в Ташкенте и там проводил жизнь, давшую обильный материал для всевозможных разговоров. Великий князь жил уединенно, замкнувшись в своем огороженном стеной дворце, а от времени до времени удивлял своими эксцентричностями. Прибыв однажды к настоятелю Ташкентского военного собора, протоиерею Константину Богородицкому, он в категорической форме потребовал, чтобы его немедленно обвенчали с 17-летней

гимназисткой. Богородицкий отказался исполнить просьбу, ибо Великий князь состоял в браке. Великий князь ушел от него, возмущенный „оказанной ему несправедливостью“. 23 апреля 1914 года ген. – губернатор А. В. Самсонов рассказывал мне, что незадолго перед тем Великий князь Николай Константинович вызвал 500 человек, чтобы перемостить одну из главных ташкентских улиц, почему-то ему не понравившуюся. Чтобы предотвратить нашествие, генерал Самсонов должен был лично убедить Великого князя, что этот ремонт надо отложить на некоторое время.

И однако этот Великий князь оказался несомненным благодетелем Туркестана, когда не пожалел больших средств, чтобы оросить так называемую Голодную степь, ранее бывшую бесплодной пустыней, а потом ставшую одним из благословенных уголков богатейшего Туркестана.

В апреле 1914 года, будучи в Ташкенте, я сделал визит Великому князю, на который он ответил немедленной присылкой своей карточки. Проезжая затем через цветущую Голодную степь, я отправил ему телеграмму с выражением своего восторга перед совершенным им великим делом. Вернувшись затем в Ташкент, я нашел целую папку присланных мне великим князем прекрасных акварелей, представляющих Голодную степь в ее прежнем виде и преображенную его заботами.

Поездку по Туркестану я представляю теперь как какой-то волшебный сон, где мне рисовалось

величественнейшее будущее этого края, неотделимое от величия всей России…»

Константин Константинович тоже как-то посетил Николая в ссылке и при первом общении нашел брата вполне нормальным, однако в дальнейшем, как признавался, все же заметил некоторые признаки умственного расстройства.

Константин Николаевич до конца своих дней так и не изменил отношения к старшему сыну. В своих мемуарах, перевод которых был опубликован в России в 1917 году, Фанни Лир недоумевает по поводу странной позиции родителей возлюбленного. «Случись такая пропажа в семье обыкновенных людей, – пишет она, – ее попросту скрыли бы; здесь же, напротив, подняли на ноги полицию…»

* * *

По-разному сложилась жизнь братьев и сестер нашего героя.

Младшего брата Дмитрия, как и Константина, готовили к военно-морской службе, но к морю он оказался еще более не приспособлен, чем старший брат Николай, – его немилосердно укачивало. Дмитрий получил прекрасное образование, хорошо разбирался в литературе, играл в домашних спектаклях, отличаясь незаурядными актерскими способностями. С детства страстно любил лошадей и мечтал о кавалерии, куда в конечном итоге и попал, став командиром лейб-гвардии Конногренадерского полка, а в 1914 году – генералом от кавалерии. Всю свою жизнь он посвятил лошадям, имел собственный конезавод под Полтавой, где разводил прекрасных рысаков для русской армии. К слову сказать, войну с Германией он предсказал за 15 лет, но не участвовал в ней, так как был очень близорук. Будучи убежденным женоненавистником, остался холостяком.

Младший сын Константина Николаевича – Вячеслав родился,

когда Великий князь был наместником Царства Польского. Музыкально одаренный, проявить свои способности он не успел – не дожив до семнадцати лет, умер от туберкулеза. О талантливом юноше очень сожалел Петр Ильич Чайковский.

Дочь Вера рано вышла замуж за Вильгельма – Евгения, герцога Вюртембергского. Через три года муж скончался. Умер ее первый сын.

Дочери-двойняшки Эльза и Ольга вышли замуж за братьев Альбрехта и Максимилиана, немецких князей Шаумбург-Липпе. Их потомки до сих пор живут в Германии и других странах.

Дочь Ольга, в шестнадцать лет вышедшая замуж за греческого короля Георга I, родного брата Императрицы Дагмары, жены Александра III, легко вписалась в греческий королевский двор, так как отличалась кротостью и добротой. «Королева эллинов» – так ее называли в России. Король Георг I в разгар войны Балканских стран с Турцией был убит террористом, и королем Греции стал старший сын Ольги и Георга I – Константин I. Отец любил Ольгу и часто вздыхал: «Вот мой истинный наследник. Жаль, парнем не родилась».

* * *

Сделаем еще одно отступление, чтобы ясна была мозаика отношений в семье нашего героя. В середине 1860-х годов его отец Константин Николаевич встретил новую любовь. Фавориткой Великого князя стала балерина Анна Васильевна Кузнецова, побочная дочь знаменитого трагика Каратыгина. Любовная история была известна всему Петербургу.

Роман Константина Николаевича с Анной Кузнецовой плавно перетекал в почти семейное русло. Редкой красоты и изящества женщина, она оставляет театр и всю себя посвящает немолодому, женатому, имеющему восьмерых детей, много работающему, непростому по характеру и, в сущности, одинокому человеку. В их отношениях было много нежности и романтики, совместных прогулок, музицирования, чтения любимых книг. Константин Николаевич сумел передать возлюбленной свою любовь к поэзии Жуковского, вместе они часто читали его «Ундину».

Великий князь окружил отеческой заботой не только своих незаконнорожденных детей от этой связи, но и их мать. Он построил для Анны Кузнецовой небольшой особняк на Английском проспекте, летом снимал для нее дачу в модном тогда среди придворной знати Павловске. Константин Николаевич и тайно, и явно подолгу жил в доме «нелегальной

жены» на Английском проспекте. И есть этому подтверждение.

По странному сочетанию обстоятельств в этом особняке позже поселилась другая балерина, любовница другого Романова, или, вернее, других Романовых, [16] – Матильда Кшесинская. Она же оставила описание этого семейного гнездышка: «Я нашла маленький, прелестный особняк, принадлежащий Римскому-Корсакову. Построен он был Великим князем Константином Николаевичем для балерины Кузнецовой, с которой он жил. Говорили, что Великий князь боялся покушений, и потому в его кабинете первого этажа были железные ставни, а в стену был вделан несгораемый шкаф для драгоценностей и бумаг. Дом был двухэтажный, хорошо обставленный, и был у него хороший большой подвал. За домом был небольшой сад, обнесенный высоким каменным забором. В глубине были хозяйственные постройки, конюшня, сарай. А позади построек снова был сад, который упирался в стену парка Великого князя Алексея Александровича. При переезде в дом я переделала только спальню на первом этаже, при которой была прелестная уборная. В остальном я оставила дом без изменения».

То ли покушений боялся Великий князь, то ли каких-то других обстоятельств, угрожающих ему, но только в 1880 году посчитал нужным оставить косвенное признание своих незаконнорожденных детей в письме своему секретарю и близкому человеку, осведомленному обо всех его жизненных перипетиях:

...

«Любезный Константин Петрович! Тебе известно, что я имею на своем попечении трех малолетних детей, подкинутых ко мне и принятых мною. Марина подкинута 8-го декабря 1875 года и крещена 30-го декабря того же года Священником Собора Николы Морского отцом Александром и записана в метрической книге под № 210-м, и Ты был ее восприемником. Анна подкинута 16 марта 1878 года и крещена тем же Священником 30-го числа того же марта и записана в метрической книге под № 53-м.

Восприемником ее был Ф. В. Сарычев. Наконец, Измаил подкинут 1-го августа 1879 года и крещен 14-го того же августа отцом Василием, Павловским придворным Священником, и записан в метрической книге под № 41-м. Он тоже твой крестник.

Ныне – ввиду известных Тебе обстоятельств – прошу Тебя этих трех моих воспитанников принять на Твое попечение, считать их Твоими воспитанниками и озаботиться об устройстве их дальнейшей судьбы, принимая те меры, которые признаешь для них полезными.

Я вперед уверен, что Ты приложишь к этому всю Твою любовь и старание,

Константин.22 декабря 1880 года. Петербург».

Анна Кузнецова родила Великому князю пятерых детей. Но трое мальчиков прожили недолго – Сергей родился и умер в 1873 году, младший Лев родился позже выше приведенного письма – в 1883 году и умер через два года. В том же 1885 году скончался и Измаил. Девочки оказались счастливее – Марина прожила 65 лет, Анна – 42 года.

И хотя Император Александр III резко отрицательно относился к поведению «дяди Коко», как он его называл, все же в 1883 году он признал его внебрачных детей и пожаловал всем отчество «Константиновичи», фамилию «Князевы» и личное дворянство, а в 1892 году – даже потомственное. Не исключено, что на это решение повлияло и то, что Великий князь не стеснялся своей второй семьи, а к внебрачным детям относился подчеркнуто по-отцовски.

Анна Васильевна вместе с дочерьми и Великим князем часто проводила лето в его имении в Ореанде, где имела возможность почувствовать себя законной женой. Встречая знакомых, Константин Николаевич именно так представлял свою молодую спутницу:

– В Петербурге у меня казенная жена, а здесь – законная!

* * *

В 1883 году Константин Николаевич принимал участие в коронации Императора Александра III в Москве в качестве близкого родственника, члена Царской фамилии, но уже не государственного деятеля. Вместе с ним были Александра Иосифовна и их дети, а из Москвы, где он пробыл с 14 по 26 мая, он каждый день шлет пространные письма Анне Васильевне Кузнецовой и их детям. Послания пятидесятипятилетнего мужчины к любимой и любящей, только этим и выдающейся женщине, интересны не только как свидетельства частной жизни Великого князя. Они – сколок времени, сколок российской истории, свидетели бесценных примет прошлой жизни. Познакомила нас с письмами праправнучка Великого князя молодая красивая женщина Татьяна Юрьевна Карнакова.

...

«14 мая 1883. Москва.

Сегодня весь почти день шел дождь, и я боюсь, что и завтра будет то же самое, что будет очень неприятно для наших дам (коронация назначена на 15 мая. – Э. М., Э. Г.). Я себя спрашиваю, как они в Русских вырезных платьях с длинными шлейфами пойдут под открытым небом в Собор и как будут шлепать в тонких башмаках по мокрому красному сукну, которым весь путь будет устлан?

Весь день мы оставались дома, и у нас происходили разные приемы, в том числе Французский и Голландский Послы. За завтраком был у нас Николай Черногорский, за обедом Александр Гессенский. Обедали мы только в 1/2 9-го, потому что в 7 ч. должны были быть у всенощной в Спасе за золотой решеткой, которая служила ради исповеди и завтрашнего Причастия Их Величеств.

Вечером получил Высочайшие приказы на завтрашний день и

прочитал, к моему, не скрою, немалому удивлению, что отныне будет во Флоте два Генерал-Адмирала, Константин Николаевич и Алексей Александрович! [17] Думаю, что не я один этому удивлюсь. Но при этом приходится вспомнить поговорку «век живи, век учись», и потому теперь ничему удивляться нельзя и не должно. Мои два милых гуся Костя и Митя получили оба Владимирские кресты 4-й степени. Попов получил бриллиантовые знаки Александра Невского. Он верхом ездил в Четверг впереди одного из отрядов, которые с Герольдами ездили по городу для объявления о дне коронации. Я думаю, что и то, и другое его тоже порядочно удивило: попасть в Кавалерийские Генералы и получить бриллианты в то время, когда яхту «Ливадию» разжаловали в пароход «Опыт». – Повторяю, что теперь ничему не приходится удивляться.

Ну, прощай, моя сладчайшая душка. Сердечно обнимаю Тебя и деток. Храни Господь Вас всех. – Боюсь усталости завтрашнего дня. Во дворец приказано собраться в 8 1/4 утра. – Бог с Тобой.

15 мая 1883. Москва.

Вот коронация благополучно совершилась вполне соответственно тому, что было напечатано в церемониале. Надо сознаться, что это чудная церемония, делающая глубокое впечатление. Несколько есть в ней моментов, которые так хватают за душу, что вряд ли остается один сухой глаз в Церкви. Такова та молитва, которую Митрополит читает, держа обе руки на преклоненной главе Государя,

когда он сам на себя накладывает корону, когда он коронует Императрицу, стоящую перед ним на коленях, когда Государь стоит один на коленях и читает громко молитву, а все кругом стоят, и, наконец, когда он один стоит, а все остальные на коленах, и Митрополит тоже на коленах читает молитву. Все эти моменты удивительно умилительны. Но надо сказать, что в то же время этот весь день страшно утомителен. Во дворец мы отправились в 8 ч., а воротились после 4 ч., так что были более или менее на ногах в полной парадной форме в течение восьми часов кряду. В церемонии участвовало так много народу, что различные передвижения требовали очень много времени. Собрались мы в 8 ч., а пошли в Собор только в 9. Государь после нас пришел в Собор только в 3/4 10. Корону он на себя возложил в 10 ч. 20 минут, а из Собора воротились в 1 ч.! Вот уже 5 часов стояли на ногах. Затем нас накормили завтраком, после которого мы все оставались в сборе, пока пошла церемония к обеду в Грановитой палате, во время которого мы оставались наверху в Тайнике, из которого окно в палату.

… Погода была очень неверная, нехолодная, но то ясно светило солнце, то лили ливни. В Собор мы прошли посуху, но возвращались хотя тоже при солнце и без дождя, но по сукну, совершенно смоченному ливнями, которые несколько раз шли во время службы в Соборе. Дамы наши в тонких шелковых башмаках все более или менее промочили ноги, и Великая княгиня вечером уже была

совсем без голоса, и у нее уже горло болело, и она сильно кашляла. Опасаюсь, чтоб она серьезно не расхворалась. – Вечером в 10 ч. я с Олей отправился в коляске посмотреть на иллюминацию. Думали сделать маленький круг через оба моста, чтоб видеть Кремль с того берега и вернуться через Красную площадь. Это можно сделать в четверть часа, а это потребовало час времени, такая всюду страшная толпа и давка, так подчас просто страшно бывало. С такими массами народа, с такой толпой никакая полиция справиться не в состоянии. Проехали мы только благодаря тому, что нас узнали, и конные жандармы ехали впереди и прочищали для нас дорогу. Особенно трудно и иногда просто страшно было на мостах и в Кремлевских воротах (в Никольских). Но толпа эта была какая-то особенно добродушная, веселая, приветливая, чересчур даже приветливая, оглушала страшной «урой», и нигде я не видел ни пьяных, ни малейшего безобразия, а только полную веселость и радость и ликование. Электрическое освещение Ивана Великого представляло эффект просто волшебный и никогда еще не бывалый. 3500 мелких лампочек Эдисона рисовали все архитектурные линии, и главы, и кресты! Простые иллюминации горели плохо, потому что и вечером почти все время шел дождь. – Вот одну тяжелую неделю мы выдержали, а впереди еще две недели, еще более тяжелых, потому что чуть ли не каждый день будут или балы, или большие обеды. Дай Бог сил. Обнимаю вас всех сердечно.

Твой К.

16 мая 1883. Москва.

Вчера письмо от Тебя получил и сегодня тоже, и с удовольствием вижу, что погода у вас наступила хорошая с 14-го числа, так что детки с утра были в садике, и что все они здоровы. Желаю, чтоб погода хорошая продолжалась и чтоб ничего вам не помешало сегодня перебраться на милую дачу, где деткам будет так вольготно. Ведь нашего милого садика мы не видели два года; как я думаю, он разросся и поднялся. И как меня туда к вам тянет на мирное житье, на покой после здешних усталостей…

Был день поздравлений, которые происходили в Андреевской зале. Государь и Императрица стояли перед троном, и все поздравляющие к ним поочередно подходили. Главные поздравляющие были сегодня представители дворянств и земств всех губерний, и массы городов, не только губернских, но и многих других, и разных казачьих войск, и инородцев. Все они подносили хлеб-соль на великолепных блюдах, которых набралось несколько сот, и одно блюдо богаче другого. Это выходит целая выставка ювелирного искусства в России, и самая богатая фантазия не могла бы себе ничего великолепнее выдумать. Зрелище депутатов инородцев было весьма любопытно. Тут были самые оригинальные фигуры, которые видны только на этнографических рисунках. Дунганы, Таранчи, Буряты, Калмыки, Киргизы, Туркмены, Сарты, Текинцы etc. etc. Самые интересные были независимые Туркмены из Мерва, которые просили позволения

приехать поклониться Белому Царю. Как на это должны злиться Англичане, которые хотели бы сделать из Мервских Туркмен наших непримиримых врагов; а вместо того они увидят их в Москве, поклоняющихся Царю. Вообще сегодняшнее зрелище дает понятие о громадности, о величии России. – Кроме этого было поздравление и всех дипломатов, и всего духовенства нашего и чужих исповеданий, и Государственного Совета, в числе которого и мы подходили. Зато мы простояли на ногах от 3/4 11-го до 1/2 3 и были все время не евши, натощак. Тогда только позавтракали внизу у Императрицы и воротились после 3 ч. Ужасно утомленные. До обеда пришлось отлеживаться и отдыхать. В 91/4 пришлось быть опять во дворце, для куртага, это бал, во время которого дамы все в русских платьях, и потому не танцуют, а только ходят Польским. Все чудные залы дворца были битком набиты, и потому стояла невыносимая жара, и мы все потели невыносимо. В 11 часов только мы вернулись домой… Скучно, что ничем серьезно заняться нельзя. Я даже за вчерашний и сегодняшний день журнала записать не успел. – Ну, прощай, голубушка, Бог с тобой и с детками. Сердечно вас всех обнимаю.

17 мая 1883. Москва.

Сегодня я тоже получил письмо от Тебя от 15-го числа, самого дня коронации. От души спасибо Тебе, милая голубушка моя, за частое и исправное Твое писание, которым Ты мне всегда доставляешь такое удовольствие. Надеюсь, что вам

удалось в Понедельник перебраться на дачу и что поэтому я письма завтра иметь не буду ‹…›. Как я вам завидую, что вы теперь там на покое, да в хорошем воздухе, среди молодой свежей зелени! Как бы мне хотелось застать еще в Павловске цвет сирени. Здесь хотя она уже цветет, но, живучи в городе, я ей, разумеется, жуировать не могу. ‹…› Сегодняшний день был почти совершенным повторением вчерашнего, и я точно так же утомлен… Было продолжение поздравлений Их Величеств. На этот раз подходили вся Свита, весь Генералитет, военная администрация, все находящиеся здесь офицеры как Гвардии, так Гренадерского корпуса, Армии, военно-учебных заведений и флота. Потом шел весь двор и все гражданские и судебные администрации. Это составляло массу народа, несколько тысяч человек, которые Императору кланялись, а Императрице целовали руку. Но это было прескучно и неинтересно. Затем подходили волостные старшины со всех Губерний России и Царства Польского. Продолжалось это, как вчера, с 11 утра до 1/2 3-го, и было одинаково утомительно. – Позавтракавши у Императрицы, вернулись домой к 4 и остальное время отдыхали. После такой усталости ни на что другое и не чувствуешь себя способным. – В 1/2 7-го был во дворце обед в обыкновенной форме для всей Семьи и всех приехавших Принцев, что составило более 50 человек и было новой добавкой к утомлению, а в

10 ч. пришлось ехать на огромный бал у Генерал-губернатора князя Долгорукова. На него было приглашено вдвое больше народа, чем могло там поместиться. Поэтому можешь себе представить, какова была давка и жара. Мы оставались там недолго, только до полуночи, и мне было нескучно, потому что в этом обществе была масса премиленьких девиц, и некоторые из них совершенные красавицы. Все это мне было ново и незнакомо и составляло вторые и третие генерации тех, которых я знавал в моей молодости. Разъезд был очень труден по узости Тверской и по массе экипажей. Вышли мы из танцевальной залы в полночь, а воротились домой только в 1 ч., а теперь уже 3/4 2-го, и Ты можешь себе вообразить, как я устал. Ну, прощай, Бог с Тобой и с детками. Обнимаю вас всех от всей души. Твой К.

18 мая 1883. Москва.

Сегодня письма от Тебя, голубушки, не получал, то есть знак, что в Понедельник 16-го числа действительно происходила ваша переборка на дачу. Дай Бог, в добрый час… Как были детки? Думаю, что не только Мариночка, но и Нюта должны были все хорошо узнать, но Маля вряд ли в состоянии что-либо помнить, для него, вероятно, все совершенно ново и удивляло его. Огорожена ли терраса цветами или слишком еще холодно и она пока стоит голая? Какое впечатление сделал самой Тебе наш дом? Не глядит ли постаревшим и подряхлевшим? Как выглядит сад? Заметно ли разросся? Как поживают

лиственницы и штамповые кратегуцы у крылечек? Как дубовая роща, не много ли их снова посохло? Как большой дуб у скамейки, который хворал, как наша красавица большая липа на лужке, как тополи перед спальней, как яблони, как ели? Ужасно Тебе завидую, что Ты все это увидала одна, без меня, и страшно меня туда к Тебе тянет. – Отелилась ли, наконец, ваша корова? Здравствует ли на ферме Твоя корова, которую Ты выбрала себе еще теленком? Как здоровье деток на новоселье и Левушки, и как Ты сама себя чувствуешь на даче, как спишь? Вот сколько вопросов я тебе надавал, так, чтоб подробно на них ответить…

Сегодняшний день начался, как и предыдущий, т. е. до 11 ч. оставался дома, а тогда в полном опять параде отправились снова во дворец на продолжение поздравлений. Сегодня была очередь дам. В голове пошли все Великие княжны, потом все придворные дамы, Штатс-дамы и Фрейлины, а потом все городские дамы, приезд ко двору имеющие, как Петербургские, так и Московские. Всего их было более 400, но эта церемония была не более 3/4 часа, и было очень забавно и не утомительно. Странно, что на двух балах мне показалось много красавиц, сегодня же их показалось очень немного, хотя были те же самые. Вероятно, это произошло оттого, что тогда мы их видели при вечернем освещении, теперь же при дневном, отчего они глядели в большинстве бледными, бесцветными, желтыми, не выспавшимися после вчерашнего бала

у Долгорукова. Все они были ужасно embarrases, [18] и оттого происходило много смешных сцен. Так, каждая держит за шлейф предыдущую, чтобы его расправить и бросить на пол шагов за 20 до Императрицы; но многие так были embarrases, что они забывали шлейф бросить и так и подходили к Императрице, держа предыдущую за хвост. Другие забывали снять правую перчатку и вспоминали про это, только уже подходя к Императрице, и тогда начинали и снимать и сдирать ее, что многим так-таки и не удавалось. Иные были так растерявшись, что вовсе забывали подходить к руке Императрицы и целовать ее, а просто присядут, поклонятся и уйдут. Одним словом, все это было забавно и продолжалось недолго. Нас накормили завтраком и отпустили по домам. Вечером был парадный спектакль, который удался отлично. Новый одноактный балет «День и ночь» очень хорош, интересен, красив и чрезвычайно понравился. Верушок была очень мила Чухонкой с длинным париком белокурым. Ну прощай. Храни Господь вас всех. Твой К.

19 мая 1883. Москва.

Сегодня я письма от моей голубушки не получал. Не могу хорошенько сообразить, отчего это произошло. Помешало ли что Тебе писать во Вторник, или Павловские письма будут сюда приходить сутками позже…

До вечера сегодня день был спокойный, ничего не происходило, и мы могли делать что хотели. Одни ездили на Воробьевы горы любоваться видом на Москву, другие

ездили в Петровский дворец на конюшни любоваться золотыми экипажами, которые были употреблены во время выезда. Я же до 3 ч. оставался дома и занимался сам по себе, и принимал разных лиц, в том числе здешнего городского Голову Чичерина, которой умный и дельный человек, с которым приятно говорить. Надо мне будет словесно Тебе кое-что из этого разговора рассказать… – В 3 ч. ездил в новый Собор Спаса (храм Христа Спасителя. – Э. М., Э. Г.), освящение которого будет происходить в Четверг 26-го числа, и осмотрел его подробно. Он положительно восхитителен и без всякого сравнения превосходит Исаакиевский Собор и пропорциональностью своею, и светом, и богатством материалов. Все иностранцы им поражены, и во всей Европе нет здания, которое могло бы с ним равняться! Чудо чудес. – Заезжал потом в магазин Хлебникова, у которого прекрасные бриллиантовые вещи, и я купил по браслету для моих дочерей на память о Москве. Он тоже работал многие из блюд, поднесенных Государю с хлебом-солью, и работу его я решительно предпочитаю работе Овчинникова. – В 1/2 7-го был большой обед в Грановитой Палате для высшего духовенства и главных чинов двора. Он был менее утомителен, чем обыкновенные большие обеды, потому что мы вошли в Палату, когда все гости были уже размещены по местам, а по окончании обеда тотчас ушли без всяких разговоров и стоянок. Вечером в 1/2 11 был большой бал в зале Дворянского собрания, на котором,

однако, Государь остался очень недолго и уехал в 1/2 12-го, и мы тотчас вслед за ним. Опять меня тут поразила масса хорошеньких дам и девиц. Кажется, решительно их красота зависит от вечернего освещения. Но жара была невыносимая, и я, стоя просто на месте, потел, как бывало в Орианде во время крокета, и то и делал, что вытирал платком текущий с лица пот! Каково же было танцующим?!! Про вчерашний парадный спектакль я ничего не успел Тебе написать. Роль Антониды играла красавица, моя крестница Кочетова, и пела превосходно. Перед началом спектакля я ходил на сцену, чтобы посетить ее в ее уборной. Оказалось же, что у нее уборной никакой не было, потому что все были заняты под новый балет, в котором участвовали обе труппы: и наша, и Московская, что составило такую массу народа, что ни одной свободной уборной для нее не оказалось. Она, бедная, должна была дома у себя и одеться, и гримироваться. И после окончания оперы, вся в поту, должна была в костюме ехать домой. Можешь себе представить, как это приятно. Корякин в роли Сусанина был очень хорош, а Орлов Сабининым очень плох, и голос стал какой-то глухой, сдавленный, с трудом выходящий из горла, и пел преплохо. – Балет один из лучших, которые я видывал, и постановка его и труппа несказанно красивы. Не знаю, возможно ли будет его у нас давать, потому что здесь он потребовал соединения обеих трупп. – Теперь уже 1/2 2-го, потому прощай. Храни Господь вас всех, и

обнимаю Тебя, голубушку, и деток от души. Твой К.

21 мая 1883. Москва. Сегодня, в день моих именин, я получил от Тебя подарок в виде двух писем сряду, от 18-го и от 19-го числа, что доказывает, что и с дачи письма могут доходить сюда в такой же срок, как из Петербурга, когда почта в хорошем расположении духа! ‹…› Во вчерашнее мое письмо я вложил газетную статью, которую я нарочно для Тебя вырезал из С.–Петербургских ведомостей. Мне хотелось, чтоб и Ты прочла, так как у вас эта газета не получается. Меня удивил, собственно, не рассказ, потому что я знаю, какие чувства ко мне питают в Кронштадте, но то, как подобная статья в теперешнее время могла быть пропущена, как она могла появиться в печати. – Я вчера так был страшно уставши, что сегодня не мог встать ранее 1/4 10-го. Брат Миша с детьми пришел меня поздравить, пока я обувался; брат Николай с детьми, пока я умывался, а Алексей, пока я вытирался. Все они заходили так рано, потому что в 10 ч. они должны были быть за городом, в Петровском дворце, где происходил Церковный парад нескольким Полкам, которые сегодня тоже именинники; и потом была прибивка новых знамен, которые будут пожалованы Преображенскому и Семеновскому полкам в Понедельник, когда будет праздноваться их двухсотлетие. От всего этого я вчера отпросился, потому что иначе не мог бы быть у обедни. С 10 ч. моя маленькая гостиная стала наполняться. Тут собрались наличные моряки,

Финляндские Офицеры и многие члены Государственного Совета. Этих я принял у себя в кабинете, а к остальным вышел в гостиную, и весь этот прием взял почти час времени. В 11 ч. я отправился слушать обедню с молебном в маленьвсую Кремлевскую Церковь Константина и Елены, которой никогда еще не видал. Она недалеко от Спасских ворот, находится на косогоре Кремлевского холма по направлению к Москве-реке. Ее почти ниоткуда не видно. Со стороны города ее закрывают Кремлевские стены, а из Кремля видны только ее зеленые две главы, потому что сама она скрыта косогором. Она премиленькая, с очень красивым и богатым иконостасом. Служба шла превосходно, и пел отлично один из Московских вольных хоров, каковых здесь много. Дома мы второпях позавтракали и в 1/4 2-го отправились в Петровский дворец на народный праздник, который происходил на Ходынском поле. Такого собрания народа, какое было сегодня, я никогда не видывал. Было несколько сот тысяч человек, говорят, что было роздано народу 450 т. порций угощения, и этого не хватило. Надо отдать справедливость Московской толпе, что она удивительно какая благодушная и благонравная и умеет себя добронравно вести, без шума, без драки, без малейшей истории или неприятности. Это было заметно и во время трех ночей иллюминации и сегодня, и это особенно поразило всех иностранцев. – А в Петербурге толпа, видно, сильно скандальничала. – В 1/4 4 ч. мы были дома, а в 4 ч. Государь с

Императрицей очень любезно к нам заезжали, чтоб поздравить и осмотреть наше миленькое помещение. Вечером я в первый раз в жизни ездил на минутку в сад Эрмитаж, который мне очень понравился, но сегодня было там мало народу. – Весь день было, по обыкновению, наводнение поздравительных депеш, и что за тоска на них отвечать. – Скучно здесь и ужасно тянет к Тебе и деткам. Всех обнимаю. Твой К.

22 мая 1883. Москва. … Их Величества ради годовщины кончины Императрицы [19] ездили сегодня в Троице-Сергиевскую Лавру, выехали в 9 ч., а воротились в 6 ч. Эта поездка для Семьи не была обязательна. Одни поехали, другие нет. Вл. кн. Оля и Вера [20] присоединились к этой поездке, а брат Николай, я, Миша и многие другие остались дома. Мы, оставшиеся, все вместе слушали заупокойную обедню в одной из дворцовых Церквей «Рождества Богородицы». Одной простой обедни уже было достаточно, чтоб меня совершенно утомить. Весь день я ничего не делал, был только в 3 ч. в доме у Сер. Мих. Третьякова, чтоб посмотреть снова его превосходную коллекцию картин, да сделал визиты Надиньке Бартеневой и Каншиной… А между тем предстоят еще несколько очень тяжелых дней. Завтра Преображенский Праздник в Селе Преображенском, до которого из Кремля верст 12, так что придется ехать раньше 10 ч. утра. Затем угощение войск от города в Сокольниках, откуда не вернемся ранее 3 или 4 часов, а вечером большой бал при дворе с ужином,

который, вероятно, продлится часов до 2 ночи!!! В Четверг освящение Храма Спасителя, прием придется стоять на ногах, по крайней мере, часа три, коли не более. Все это ужасно, и я не знаю, откуда возьму сил, чтобы все это выдержать. – Про отправление наше домой еще ничего окончательно не решено, надеемся, однако, что, возможно, будем ехать в Воскресенье 29-го числа вечером, так чтоб быть в Колпине в Понедельник около полудни и ехать оттуда прямо в Павловск. Поэтому я прошу Тебя продолжать еще мне писать до Четверга 26-го числа. Если почтовые чиновники соблаговолят, то я это письмо получу в Субботу, а не то в Воскресенье. От Пятницы же письмо рискует уже меня здесь не застать. Итак, да будет последнее твое послание от Четверга, 26-го числа Вознесения, Праздника Федоровского Посада и дня освящения нового Спаса. Мы собираемся в Воскресенье 29-го числа сделать с Олей и Верой поездку в Воскресенский Монастырь, иначе говоря, в Новый Иерусалим, до которого из Москвы 40 верст. Выехавши утром, мы к обеду поспеем назад, а вечером поздно надеемся отправиться по железнице в обратный путь. Сказать не могу, как страшно меня тянет домой к Тебе, моей голубушке, к милым деткам, к Мариночке, которая меня так любит и так ласкова со мною, к мирной тихой привольной дачной жизни. Но я чувствую, что для восстановления утраченных сил мне будут необходимы морские купанья. Поэтому Ориандa в Сентябре более чем желательна! Ну, теперь прощай, Ангел мой. Да хранит Господь Тебя и

деток, и сердечно всех вас обнимаю. Твой К.

23 мая 1883. Москва.

Сегодня получил Твое письмо от 20-го, видно, почтовые чиновники были не в духе. Спасибо большое Тебе за ответы Твои на мои вопросы о состоянии дачи. Твое описание дачи еще более возбудило во мне желание ее поскорее увидать, и ужасно тянет меня к Тебе. Исправна ли сетка, ограждающая пруд? С такими резвыми детьми и часто непослушными, как Нюта и Маля, она более необходима, чем когда-либо.

‹…› Ах, когда-то настанет счастливая минута, когда я вас всех опять увижу, обниму, расцелую. Дожидаюсь этого с страшным нетерпением! – Сегодня праздновалось 200-летие учреждения потешных, праотцов Преображенского и Семеновского полков, и через них всей нашей регулярной армии. Выехали мы из дома в полной форме в 3/4 10-го, а воротились только в 1/2 4-го! Вот какие дни приходится здесь проводить! Ведь хоть кого это утомит. До бывшего Села Преображенского от Кремля верст 8, коли не больше. Полки были выстроены на широкой улице против небольшой Церкви Петра и Павла, которая, говорят, и при Петре уже существовала, но, вероятно, была перестроена, потому что глядит новою. Тут на открытом воздухе происходил молебен, во время которого были освящены вновь пожалованные знамена. Они совершенно нового или, лучше сказать, старинного образца. На

древках вместо обычных золотых орлов находится на шаре осьмиконечный крест… Флаги у Преображенцев красные, у Семеновцев синие. На них написаны, с лицевой стороны, на первых образ Преображения Господня, на вторых Введение в Храм Богородицы, а на задней стороне Государственный Герб и Шифр Государя. По краям флагов богатый, шитый золотом узор. Надо сознаться, что они очень красивы, но говорят, что они очень тяжелы. Потом полки прошли церемониальным маршем, и все было весьма торжественно. Оттуда мы поехали за городом, проселками, в село Измайлово, старую вотчину бояр Романовых, где теперь Инвалидный дом, в котором мы плотно позавтракали. Потом через село Семеновское проехали опять в город и в парк Сокольники, где город угощал войско. Кругом вновь выстроенного великолепного павильона, где в центральной ротонде было собрано все Московское дамское общество и играла музыка, – были расставлены в саду столы, за которыми усадили 12 000 солдат, которые были богато накормлены городом. Государь побывал и в павильоне, и обошел столы, и везде гудело страшнейшее «ура». Все это удалось отлично…

… Ну, теперь прощай. Господь с Тобой и детками. Обнимаю вас всех от души. Твой К.

24 мая 1883. Москва.

Видно, почтовые чиновники были в духе, ибо полученное сегодня Твое письмо было от 22-го числа, т. е. пришло в настоящий срок. Как приятно читать, что у вас хорошая

погода, и потому вполне жуируете дачной жизнью, и детки часто могут забавляться как на сетке, так и в Розовом павильоне. Но видно, что придется Тебе их туда отпускать или с Мутер или с одной Элизой, а Тебе самой лучше там с ними не показываться, чтоб не возбуждать внимания, что Тебе, разумеется, неприятно. Когда же детки там одни, то никто на них особенного внимания не обращает, разве только своею красотой и миловидностью. Просто гулять по парку, я думаю, можно безопасно и с ними, но там, где толпа, лучше, чтоб они были без Тебя…

Сегодня день, который по расписанию должен был быть спокойный, вышел опять бестолковым. Пришлось ехать в 1/2 11-го утра без Государя в слободу Семеновскую, где Семеновский полк задал праздник в свою очередь. Началось с молебна на открытом воздухе, во время которого шел довольно крупный дождик. Потом был обед для нижних чинов, а для нас большой обеденный завтрак под палаткой. Тут были все великие князья, а из дам Мария Пав. и Евгения Макс. [21] В конце завтрака пошли бесчисленные тосты с «ура». На воздухе перед палаткой попеременно играли три хора музыки, да пели хор цыган и Русский хор песельников. Коли хочешь, все это было мило. ‹…› В 1/2 7-го пришлось снова одеваться в полную форму и идти к большому обеду, на сей раз для всего дипломатического корпуса ординарного и экстраординарного, для Государственного Совета и всей свиты. После обеда происходили в гостиной разговоры, и потому мы

воротились только после 1/2 9-го. А в 11 ч. вечера большой званый ужин от Преображенского Полка, куда отправляются все Великие князья и Великие княгини. Но я Великую княгиню туда не пустил, за что она на меня дулась, но, в самом деле, очень довольна, что избегает лишнего утомления. И я тоже решил не ехать, потому что решительно сил и мочи нет. На меня за это, пожалуй, будут в претензии, но мне теперь это все равно. – Ужасно тянет домой на покой. Желал бы ехать домой в ночь с Воскресенья на Понедельник, чтоб 30-го числа днем быть в Павловске, но не знаю, удастся ли, потому что в эту ночь отправится и Государь, и не знаю, согласятся ли путейские отправить меня в ту же ночь после него. Вл. Кн. [22] с дочерьми хотят остаться еще здесь 30-го и 31-го числа. Ну, прощай, сладчайшая голубушка. Храни Господь Тебя и деток. Обнимаю вас всех от души. Твой К.

25 мая 1883. Москва. Получил сегодня Твое письмо от понедельника, где Ты говоришь про начало занятий с Мариночкой на даче. Ну не прелестный ли ребенок наша Мариночка, что она сама просила, чтоб уроки ее продолжались и на даче, что соскучилась, проведя целую неделю без занятий, и обрадовалась теперь их возобновлению! Ведь это просто неслыханная черта характера в семилетнем ребенке! Как ее за это не полюбить, не погладить по головке, не расцеловать ее! Но уж не слишком ли долго продолжался на первый раз урок, от завтрака и почти до 4 часов? Не выходит ли это перелом? – Как я рад, что у вас

продолжалась все это время хорошая погода. У нас она недурна, но все более сырая, иногда даже с небольшим дождиком, и только средней теплоты, градусов в 12 или 13. Сегодня день был и солнечный и теплый, но барометр тоже пошел вниз, и я боюсь за завтрашний день, за освящение Храма Спасителя, чтоб не было дождя. Церемония будет, вероятно, очень утомительная, и приказано быть в Собор в 1/4 10-го, так что в 9 придется выехать, и вряд ли ранее 1 часа пополдни вернемся. Но зато это и последняя церемония такого рода. Сегодня (Среда) ничего не было, в Пятницу день тоже будет свободный, и вечером только будет последний большой обед во дворце, а в Субботу будет большой смотр всех здешних войск, что не про меня писано. В Воскресенье вечером назначен отъезд обоих моих братьев, и железнодорожное начальство уже отвечало мне, что оно согласно к их поезду прицепить отдельный вагон собственно для меня. Таким образом, имею теперь полную надежду в Понедельник обнять Тебя и деток… Сегодняшним спокойным днем мы воспользовались, чтоб принимать разных лиц, в том числе Папского Нунция Монсиниора Ванутелли, которому я говорил про доброе впечатление, произведенное на меня в Декабре моими разговорами с Папой. Ему самому поручено здесь высказываться в том же добром смысле и направлении. Был тоже у меня Италианский Посол Нигра, собственно, чтоб видеть моего Andrea del Sarto, он тоже им восхищен. От 3 часов до l/2 7-го я

подробно осматривал две картинные галереи, другого Третьякова, исключительно Русскую, и Боткина, у которого более иностранных картин. Я в совершенном восхищении от обеих, но особенно от первой, – Русской. Это неимоверная сокровищница! Между прочим, там главные и лучшие картины Верещагина, как Туркестанские, так и Индийские. – Странное дело, я тут более трех часов был на ногах и, разумеется, устал, но не утомился, и только потому, что оно меня интересовало, – что я это делал не по казенной надобности, а по собственной охоте. Ну, прощай, мой Ангел, не могу сказать, как я счастлив надежде скорого свиданья с Тобой, моим сокровищем, и с милейшими детками, которых я так люблю. Храни вас всех Господь. Обнимаю вас мысленно от души. Страстно Тебя любящий Твой К.

26 мая 1883. Москва.

… Сегодня состоялось, наконец, освящение нового Храма Спаса, в память 1812 года. Церемония была в высшей степени торжественна и великолепна. Описание ее Ты, наверное, найдешь во всех газетах, и я его повторять здесь не буду. Но оно было до невозможности утомительно и так тяжело, что даже хорошенько помолиться было невозможно. Выехали мы в 1/2 10-го, а воротились в 3/4 2-го, и все это время, т. е. четыре с половиною часа, стояли на ногах. Ведь на это никаких сил не хватит! Самое освящение престола мы смотрели [от] алтаря, и мне пришлось такое хорошее место, что я отлично видел все подробности этой интересной

церемонии. Крестный ход кругом Собора был тоже чрезвычайно торжествен, и замечательный эффект производили все Хоругви, со всей Москвы стоявшие кругом Собора. Освящение продолжалось до 12 часов, и тогда только началась обедня, которая тоже продолжалась полтора часа. Тут уж мне мочи не было; во время Херувимской я почувствовал, что ко мне подступает обморок и стал выступать на лбу холодный пот. Я принужден был выйти вон, иначе я бы упал, и меня пришлось бы выносить на руках, что было бы еще больший скандал. В галерее я посидел на свежем воздухе и выпил воды и воротился в церковь, когда пропели «Верую». Остаток обедни выстоял благополучно. Воротившись домой, я так обессилел, что часа два лежал и дремал. Слава Богу, что это последняя из больших церемоний. Завтра вечером только еще большой обед, а в Субботу парад войскам, и в тот же вечер Государь отправляется в Петербург вместо Воскресенья вечером, как сперва предполагалось. В Петербурге теперь никакого торжества не будет, Государь прямо проедет на Английскую набережную на пароходы и отправляется в Петергоф. Парадный въезд в Петербург состоится только в Августе по окончании лагеря, а теперь нет даже и достаточно войск налицо для подобной оказии. Я надеюсь, что и мне возможно будет ехать в Субботу же ночью, после Государя. Кеппен старается теперь мне это устроить, и, таким образом, надеюсь быть у Тебя 29-го в Воскресенье вместо 30-го в

Понедельник. – Перед обедом я немного покатался по улицам. Погода во время церемонии выстояла очень хорошо, даже было солнце при начале и во время крестного хода. Но потом нахмурилось, и не раз днем шел мелкий дождь. Вечером я ездил в Большой театр, где смотрел второй и третий акт «Корсара» с jardin anime. Очень приятно было в антракте видеться со всем балетным миром и поболтать. Видел Любушку Радину (известная танцовщица. – Э. М., Э. Г.), которая как будто вовсе не меняется и не стареется. Тоже болтал и с Машей Николаевой и с Верушком, дорогая была особенно beaute, и такая миленькая и аппетитная. Все они здесь ужасно скучают и радуются, что и их повезут домой в Субботу же. Много в балете для меня совершенно новых фигур, и некоторые из них прехорошенькие, как то Потайкова и в особенности Аистова. Мари Петипа похудела и замечательно похорошела. Между воспитанницами познакомился с Лизой Кусковой, но она красавицей не будет. Ну прощай, моя сладчайшая, моя красавица из красавиц. Храни Господь Тебя и деток. [23] До скорого, надеюсь, свидания. Обнимаю всех от души. Твой К.»

* * *

Письма Константина Николаевича из Москвы, если использовать современный лексикон, это репортаж непосредственного участника важнейшего государственного события. Не будем забывать, однако, что его автор – опальный политик, и хотя Великий князь – приверженец монархии,

представитель Правящего Дома, присутствует он в общем-то на чужом для него празднике. Коронуя Александра III, победу праздновали идеологические враги Великого князя, противники его либеральных идей. Конечно же письма любимой женщине не та трибуна, с которой можно выразить свое разочарование и печаль, навеянные переменами нового Царя, новыми, возмущающими Великого князя назначениями. Но и в них прорывается горечь: «… Прочитал к моему, не скрою, немалому удивлению, что отныне будет во флоте два Генерал-Адмирала, Константин Николаевич и Алексей Александрович…» Мы знаем, что Константин Николаевич был самолюбив и амбициозен и поэтому тяжело переживал свою вынужденную отставку. Но шел уже 1883 год, и время как-то уже примирило его с ней. Однако был он страстным патриотом своей страны и видел, что новые назначения оправдывают самые худшие его ожидания. Он хорошо знал нового генерал-адмирала, Великого князя Алексея Александровича, а потому был уверен, что последний продолжать работу по созданию боеспособного современного флота не сможет. Вот как впоследствии оценил деятельность Алексея Александровича на посту главы морского флота знаменитый ученый-кораблестроитель А. Н. Крылов: «За 23 года его управления флотом бюджет вырос в среднем чуть ли не в пять раз; было построено множество броненосцев и броненосных судов, но это „множество“ являлось только собранием отдельных судов, а не флотом… В смысле создания флота деятельность генерал-адмирала Алексея была характерным образцом бесплановой растраты государственных средств, подчеркивая полную непригодность самой организации и систему управления флотом и Морским ведомством». После Русско-японской войны 1904–1905 годов, где русский флот потерпел тяжелое поражение, генерал-адмирал Алексей Александрович Романов вынужден был уйти в отставку с оскорбительной кличкой «князь Цусимский».

Чтобы понять истинное настроение Великого князя на коронации, необходимо обратиться к его переписке с соратниками и единомышленниками. Еще совсем недавно в письме из Парижа, куда уехал Константин Николаевич после отставки, он признавался А. В. Головнину, [24] что переживает приступы душевного смятения, «и горя, и гнева, и скорби, и озлобления, и ожесточения» от сознания своего вынужденного ухода от государственных дел. Конечно же коронация не могла не обострить этих переживаний.

«… Теперь ничему удивляться нельзя и не должно», – пишет он Кузнецовой, однако, получая сообщения о новых назначениях, не только удивляется, но и возмущается.

«Из огня да в полымя, из царства лжи – в царство тьмы, в чистую катковщину!.. Страшнее насмешки над Россией трудно себе вообразить!» – так он отреагировал в письме Головнину на назначение графа Д. А. Толстого министром внутренних дел. Он не сомневается в том, что новый министр будет «… давить, уничтожать всякое свободное слово, всякую свободную мысль», а «давление слова и мысли никогда, нигде к добру не приводили, что мы знаем не только по истории, но и по собственному опыту». Как и в том, что сейчас «само правительство воспитывает народ для революции и приготовляет, пропагандирует ее почище всяких нигилистов».

В то же время в Москве Константина Николаевича не могли не тронуть верноподданнические чувства, которые были проявлены во время коронации нового Императора простыми русскими людьми и «инородцами», его охватывает гордость за Россию, за ее многонациональную культуру: «Вообще сегодняшнее зрелище дает понятие о громадности, о величии России…»

Поставив крест на своей политической и государственной карьере, Константин Николаевич не мог не надеяться на то, что сыновья Константин и Дмитрий продолжат его дело. И утешал себя тем, что его опала не повлияла на отношение к ним нового Императора: «… Мои два милых гуся Костя и Митя получили оба Владимирские кресты 4-й степени…»

* * *

Что знали «гуси», например, тринадцатилетний Костя и двенадцатилетний Митя, о происходящем в семье? Почти ничего – в дворянских, тем более в великокняжеских семьях не принято было устраивать разборки между мужем и женой при детях. А вот взаимного раздражения не скроешь. Так или иначе оно проявляется в гнетущем молчании за обедом, в нежелании матери и отца встречаться взглядами, в односложных ответах на формальные в общем-то вопросы, в поспешном удалении в кабинет или в розовую гостиную после ужина или в торопливом уходе по делам после завтрака. Уже одного этого было достаточно, чтобы в душе ребенка поселилась тревога.

Однажды, спустя годы, Константин случайно услышал, как мать, видимо, заканчивая разговор о брате Николае, в сердцах выговаривала отцу:

– Вы и впрямь от Николая ожидали чего-то другого? Яблоко ведь от яблони недалеко падает…

– О, так мы далеко зайдем… – в каком-то непривычном смущении проговорил отец, но, увидев сына в дверях, с какой-то безнадежностью удалился.

Константину хотелось расплакаться, так жалко было их обоих. Теперь он вполне понимал, какая драма скрывалась за фразой матери. И как несуразно была разрушена жизнь отца: разлад с женой, позор старшего сына, не оправдавшиеся надежды на Дмитрия, проблемы дочерей. И главное – отстранение от любимого дела, изгнание в никуда. И вот он, Константин, единственная надежда отца, должен тоже ранить его своим отказом от морского поприща. Он поехал к Александру Васильевичу Головнину за советом: как найти общий язык с отцом?

Сашу Головнина Константин знал с самого раннего детства. Тогда Мама его часто поправляла: «Не Саша, а – дядя Саша». На что по-доброму улыбающийся маленький человечек говорил ей:

– Не браните его, милая Александра Иосифовна, – мне нравится такое панибратство. Ведь мы друзья, не правда ли, Великий князь?

При этом он брал его на руки и пытался поцеловать. Головнина почему-то умилял высокий титул в применении к трехлетнему Косте. Сам Александр Васильевич был не только низкоросл, но горбат и некрасив лицом. Однажды, когда он вышел из столовой вместе с Пап?, решившим его проводить на станцию в Павловске, брат Кости Николка вдруг стал его передразнивать.

Мама выбранила Николку, а потом сказала им:

– Грешно смеяться над природными недостатками. Александр Васильевич нисколько не виноват в том, что таким родился, но в том, что он умен и образован, его заслуга.

И рассказала о тяжелом детстве Александра Васильевича, родившегося с повреждением спины, из-за чего до пяти лет он не мог ходить, говорить и постоянно болел. Только чтение отвлекало его от боли.

Позже Пап? приводил старшим детям в пример Александра Васильевича как человека, с детства стремящегося к знаниям и только личными заслугами добившегося высоких званий и чинов. Тогда Костя узнал, что отец Головнина, известный мореплаватель Василий Михайлович, рано умер и Саша с четырьмя сестрами жил в бедности. В 13 лет его определили за казенный счет в Петербургскую гимназию, но вскоре за отличные успехи и примерное поведение он был переведен в Царскосельский лицей и по его окончании получил большую золотую медаль и самый высокий для выпускника чин титулярного советника. Пап? высоко

ценил Александра Васильевича и часто советовался с ним.
А вот мать, как понял повзрослевший Константин Константинович, его не жаловала и в душе, может быть, ненавидела. Однажды Александра Иосифовна даже назвала Александра Васильевича «злым гением мужа».

* * *

Назвав Александра Васильевича «злым гением мужа», Александра Иосифовна в каком-то смысле оказалась права. Именно Головнин, сподвижник и вдохновитель всех либеральных идей и проектов отца, был выбран Государем Александром III в посредники для устранения Константина Николаевича от дел. Поскольку по придворному статусу Великие князья не могут быть уволены, Александр III поручил Головнину убедить Константина Николаевича самому подать прошение об отставке. Головнин не смог отказаться от этого неприятного поручения и невольно оказался вестником беды.

Константин Николаевич понимал, что с гибелью Александра II пришел конец и всем его реформаторским начинаниям, но вряд ли мог предположить, что официально сообщит ему об этом его ближайший соратник и преданный друг.

Двадцать восьмого мая 1881 года в Ореанду, где отдыхал Великий князь, пришло письмо от Головнина: «Государь изволил сказать мне, что нынешние совершенно новые обстоятельства требуют новых государственных деятелей, что вследствие этого состоялись по высшему управлению новые назначения и что Его Величество желает, чтобы вы облегчили ему распоряжения, выразив готовность вашу оставить управление Флотом и Морским ведомством и председательствование в Государственном Совете…»

Трудно сказать, почему Император выбрал для этой роли Александра Васильевича Головнина, но тот с честью справился со своей задачей. В результате переписки с опальным сановником и частых аудиенций у Императора, которого Головнин информировал о настроениях Великого князя, а Великого князя, в свою очередь, о намерениях Александра III, ему удалось добиться если не примирения дяди и племянника, то, по крайней мере, отставки более-менее почетной.

На предложение Царя Великий князь ответил сразу же после получения письма, 28 мая 1881 года. Он пишет Головнину:

…

«… Если Его Величество находит, что ввиду теперешних новых обстоятельств нужны и новые государственные деятели, то я вполне преклоняюсь перед его волей, нисколько не намерен ей препятствовать и поэтому желаю и прошу его ни в чем не стесняться в распоряжениях его об увольнениях меня от каких ему угодно должностей.

Занимал я их по избранию и доверию двух незабвенных Государей: моего отца и моего брата. Морским ведомством я управлял 29 лет, в Государственном совете председательствовал 16 с половиной лет. Крестьянское дело вел 20 лет, с самого дня объявления Манифеста. Если ввиду теперешних новых обстоятельств эта долговременная, 37-летняя служба, в которой я, по совести, кое-какую пользу принес, оказывается более ненужной, то, повторяю, прошу его не стесняться и уволить меня от тех должностей, какие ему угодно. И вдали от деятельной службы и от столицы в моей груди, пока я жив, будет продолжать биться то же сердце, горячо преданное Матушке-России, ее Государю и ее Флоту, с которым я сроднился и сросся в течение 50 лет. Моя политическая жизнь этим кончается, но я унощу с собою спокойное сознание свято исполненного долга, хотя с сожалением, что не успел принести всей той пользы, которую надеялся и желал».

Конечно же Великий князь адресовал свою обиду не Головнину, которому и без того известны его успехи на всех занимаемых должностях, а своему державному племяннику,

может быть, и потомкам. Головнин прочитал письмо Царю и сумел убедить его, что чувства Константина Николаевича в данных обстоятельствах совершенно оправданны, а главное, что письмо позволяет в высочайшем указе сказать: «согласно желанию». Александр III остался доволен и даже пообещал собственноручно написать дяде. Головнин также убедил Царя не приурочивать отставку к 50-летнему юбилею Великого князя в звании генерал-адмирала и разрешить тому «жить где угодно, как в России, так и за границей».

С другой стороны, умница Головнин сделал всё возможное, чтобы примирить Великого князя с отставкой. Передавая разговор с Александром III, Головнин, в свое время смещенный с поста министра народного просвещения, говорил Константину Николаевичу: «… по собственному опыту знаю, как тяжело министру на первых порах после оставления должности находиться в Петербурге и видеть, как ломается все, что он сделал, критикуется то, что сделано, что время успокаивает и дает равнодушие. Поэтому лучше приобрести несколько равнодушия и тогда приехать. Если бы я мог вернуть прошедшее, то поступил бы таким образом и сохранил бы тем самым много здоровья и спокойствия…»

Трудная дипломатическая миссия Головнина продолжалась полтора месяца. Только 13 июля 1881 года был опубликован именной высочайший указ Государственному совету. «Снисходя к просьбе Его Императорского Высочества Государя Великого князя Константина Николаевича, всемилостивейше увольняет Его Высочество от должностей Председателя Государственного Совета, председательствующего в главном комитете об устройстве сельского состояния, и Председателя особого Присутствия о воинской повинности с оставлением в званиях генерал-адмирала и генерал-адъютанта, а также в прочих должностях и званиях».

А вслед за этим был опубликован высочайший рескрипт обо всех заслугах Великого князя. На его подлиннике Император собственноручно написал: «Искренне любящий Вас Александр». В Кронштадте и Ялте состоялось празднование юбилея генерал-адмиральства Великого князя Константина Николаевича. Но долго еще Константин Николаевич с горечью говорил: «Лучше бы дали закончить начатое…»

* * *

Константин Константинович ехал в Царское Село к

Александру Васильевичу Головнину, куда соратник и друг отца переселялся из Петербурга ранней весной и жил в собственном доме. Идея поездки принадлежала Александре Иосифовне, она была осведомлена о посредничестве Головнина между царем и мужем в организации отставки последнего. Дело закончилось хорошо, и Александра Иосифовна посоветовала сыну поговорить с Головниным о настроениях отца, о том, когда и в какой форме лучше преподнести ему решение навсегда расстаться с морской службой.

– Если эта проблема тебя все еще волнует, – сказала Мама с понимающей улыбкой.

Ступив из вагона на перрон, Константин Константинович тут же увидел Головнина. Маленький человечек в легком коротком пальто и цилиндре спешил ему навстречу, прихрамывая на правую ногу, и приветливо улыбался. Когда они сблизились, Великий князь протянул ему руку. Головнин пожал ее с поклоном:

– Здравствуйте, Ваше Императорское Высочество! Представьте, как я рад вас увидеть, а еще больше польщен вашим желанием навестить здесь старого отшельника! Давно меня не посещали такие высокие гости!

Он глядел на князя снизу вверх, и цилиндр от этого съехал на затылок. В глазах – еле заметное лукавство, и было не совсем понятно, что Головнин имеет в виду – его великокняжеский титул или рост? Константину Константиновичу захотелось поставить разговор на простую ногу. Бережно пожав сухую руку, он сказал, по-детски коверкая слова и смущаясь этой, уже недетской бесцеремонностью:

– Здравствуйте, Саша!

Головнин снял злополучную шляпу, отступил на шаг и вдруг голосом Мама произнес:

– Не Саша, а дядя Саша!

Оба рассмеялись и пошли рядом вдоль поезда, невольно привлекая к себе внимание. Константину Константиновичу вдруг пришла в голову забавная мысль: вряд ли когда-либо еще он почувствует себя столь же «высочеством», как сейчас.

– Извините, дорогой Константин Константинович, чуть было не запамятовал: примите мои искреннейшие поздравления в связи с вашим новым званием почетного члена православного Палестинского общества, основанного, насколько мне известно, вашим отцом. Мне как никому приятна такая преемственность!

– Спасибо, Александр Васильевич! Но моей личной заслуги тут нет, это наследственные великокняжеские обязанности. К тому же я приехал с вами поговорить еще об одной

преемственности, от которой и не знаю как отказаться.

– Догадываюсь, догадываюсь о волнующем вас обстоятельстве и радуюсь, что с такой щепетильностью относитесь к переживаниям глубокоуважаемого мною Константина Николаевича, вашего отца! Надеюсь, все с Божьей помощью уладится наилучшим образом.

У выхода из вокзала ждала пролетка, но Головнин неожиданно предложил пройтись через парк:

– Здесь близко, да и погода располагает к прогулке. А на мою хромоту не обращайте внимания – подагра, знаете ли, управы на нее нет, но я все равно решил не поддаваться.

Головнин жил в небольшом, недавно отстроенном двухэтажном кирпичном доме с небольшим садом и флигелем, на углу Песчаной и Гороховой. Хозяйство вела экономка, дородная и добродушная мещанка, еще молодящаяся, но смотревшая на Головнина и его гостя материнскими глазами.

Усадив гостя на диван, а сам устроившись в глубоком кресле, Головнин обвел рукой кабинет, уставленный книгами и папками с документами, без папок они, растасованные веером, были разложены на письменном и шахматном столах, даже на стульях, рядом с подшивками старых газет.

– Вот так и живу, копаюсь в своем и государственном прошлом, пишу, размышляю, что и как было, пытаюсь предугадать, чем всё обернется. Ведь между прошлым, настоящим и будущим есть совершенно четкая причинно-следственная зависимость, которую и пытаюсь разглядеть путем сопоставления!

Он неожиданно вскочил, подбежал к письменному столу, открыл дверку левой тумбы и одну за другой вытащил две высокие стопки папок, перехваченных марлевым жгутом.

– Вот тут – бесценные документы и копии, собираемые и сортируемые мною почти сорок лет. Они касаются заслуг перед Отечеством Великого князя Константина Николаевича. В этой – о возрождении флота Российского, здесь – об освобождении крестьян от крепостной зависимости и о проведении земельной реформы. Есть еще одна папка, но пока незаполненная. В ней – записи бесед с Великим князем, заметки о благоприятных изменениях в других государственных сферах и учреждениях, которых касался его высокий ум… Константин Константинович был ошеломлен пиететом, с которым Александр Васильевич говорил о его отце, что свидетельствовало, нет, не о преклонении, а о какой-то невероятной, неистовой преданности Константину Николаевичу. О, как бы он сам хотел иметь когда-либо такого соратника!

– Россия как самодержавное государство будет процветать до

тех пор, пока Государь будет собирать у трона прогрессивных и преданных Отечеству людей, не боящихся назревших перемен, поддерживать их. Покойный ваш дядюшка, император Александр II, царство ему небесное, верил Великому князю настолько, что прозорливо и смело утвердил проект реформы 1861 года, несмотря на то, что в Государственном совете за него проголосовало меньшинство. И вошел в историю как Царь-освободитель!

Старик вдруг отодвинул папки в сторону, положив одну на другую:

– Извините, увлекся, Константин Константинович! Совсем не собирался знакомить вас со своим домашним архивом. Поговорить с вами я хотел о Великом князе Константине Николаевиче не как о бывшем управляющим Флотом и Морским ведомством и бывшем председателе Государственного совета, а как о вашем отце… Если вы, конечно, склонны к такому разговору…

– Отчего же… Я, собственно, тоже хотел с вами посоветоваться по делу, очень беспокоящему меня. Вы знаете, как Пап? желал, чтобы кто-то из нас перенял его любовь к морю… Мои морские плавания вселили в Пап? надежду, однако у меня есть причина отказаться от морской службы, которую Пап?, уверен, не сочтет уважительной. А между тем я твердо решил поступить именно так, потому что вполне уверился, что психологически не совместим с морем, дальними походами и морскими бдениями на суше. Армия по мне куда больше. Но Пап? столько перенес, что я в затруднении окончательно сказать ему об этом…

– Значит, вы уверены, что отец вас не любит, а следовательно, не поймет. – Головнин взглядом остановил попытавшегося было возразить Константина Константиновича. – Вот об этом я и хотел поговорить, если позволите, Ваше Императорское Высочество, воспользовавшись преимуществом своего возраста, нежностью, которую питал и питаю к вашему отцу и вам, а также вашим довольно неожиданным желанием встретиться.

– Видите ли, Александр Васильевич, я никогда не задавался вопросом, любит ли Пап? меня, моих братьев и сестер, – после короткого молчания заговорил князь. – Благодаря Мама, отцовская любовь с тех пор, как я себя помню, была, что называется, вынесена за скобки наших, порой довольно сложных, отношений. Она как бы сама собой разумелась. Именно из любви к нам Пап? требовал повиновения, запрещал высказывать мнение, противоречащее собственному, и даже наказывал из любви. А что не проявлял особой нежности, так этому было объяснение:

постоянно занят важными государственными делами…

Головнин внимательно слушал, и Константин Константинович чувствовал, что не удивит его тем, что скажет сейчас.

– И вот теперь, признаюсь, мне не так важно, любит ли Пап? меня и как он распределяет свои чувства между нами и внебрачными детьми, куда важнее для меня то, что я его люблю!

– Ну и слава Богу! Тогда вы обязательно поймете друг друга, потому что ваш батюшка безмерно любит вас, поверьте мне! Потеряв душевную связь с детьми в нежном возрасте, он так и не нашел сил и возможности объясниться с вами, когда вы стали взрослыми! И это он называет трагедией своей души…

Головнин встал и горестно развел руками:

– Я бы хотел обнять вас, Константин Константинович, но, увы, не дотянусь! Разрешите мне просто пожать вашу руку!

Они обменялись крепким рукопожатием. Великий князь был осторожен, чтобы не причинить боли маленькой руке Головнина. Прощаясь, старик торжественно произнес:

– Насколько мне известно, Ваше Императорское Высочество, скоро вы сможете провести довольно много времени в обществе вашего отца. Он намеревается посетить Венецию и рассчитывает на то, что вы станете его чичероне. Он так и сказал: «Костя у меня в душе поэт и художник…»

«ПИАНИНО КУПЛЕНО»

Вернувшись от Александра Васильевича Головнина, Константин встретился с Государем.

Разговор с Сашей, теперь царем Александром **III,** шел в маленьком кабинете в Гатчине. Они вспомнили поездку в Копенгаген, куда Саша, тогда Цесаревич, должен был прибыть на яхте «Царевна», а прибыл на частном пароходе.

И от волнения совсем не понял речь датского короля и сконфузился…

Александр всегда легко краснел и стеснялся. Этот великан и силач, который мог легко согнуть серебряный рубль, не любил многолюдства, визитов, августейших родственных посиделок. Казалось бы, когда человеку насладиться танцами, нарядами, вихрем веселья на балах, как не в молодости. Но и в молодости он не любил развлечений. И в преддверии их начинал вздыхать. Но куда денешься – двор Наследника после Императорского был вторым в строгой придворной иерархии. И в Аничковом дворце все должно было быть на высочайшем уровне.

Цесаревна Дагмара радовалась веселью. Миниатюрная, легкая, обаятельная, украшенная драгоценностями, она сама была украшением празднеств. Константин не сводил с нее глаз. Глубокая симпатия связывала их души. Однажды она подарила ему анютины глазки, он привез цветы с бала, засушил и спрятал на вечное хранение в свой дневник (и до сих пор, спустя более 125 лет, они там лежат).

Константин смотрел на Александра, который еще больше погрузнел, густые брови прикрывали его красивые глаза. Комната, в которой они говорили, была слишком мала для царя и как-то неудобна. Когда Александру это говорили, он усмехался: «Ничего, здесь хватит места для самого занятого человека России». Этот человек после погребения отца дал понять своим Манифестом, [25] что теперь многое подлежит изменению: методы управления, взгляды, сами сановники, дипломаты, чиновная челядь.

Константин подумал об отце: новый Царь не отнес его к «людям дела» и предложил по собственному желанию покинуть государственную службу.

Великий князь, прибыв из дальнего плавания, успел многого наслушаться не только об убитом Александре II, но и о новом царе в аристократических салонах Петербурга. Передавали, что профессор Московского университета Чивилев, воспитатель Александра III, ужаснулся, узнав, что тот должен стать царем. «Не

могу примириться с мыслью, что он будет править Россией», – говорил Чивилев коллеге-профессору, считая ум своего воспитанника весьма заурядным. Шутили, что плоть уж чересчур в новом царе преобладает над духом. И все вокруг твердили, что Государя надо воспитывать и развивать в нем политический дух.

Удавалось это Константину Петровичу Победоносцеву, который когда-то преподавал Александру законоведение, а когда он стал Наследником (после безвременной смерти старшего брата Николая), руководил его общим образованием. Рассказывали, что на заседании Совета министров 8 марта, где после гибели Александра II решалась судьба «конституции» Лорис-Меликова, Победоносцев осмелился назвать реформы покойного Императора «преступною ошибкою», а по поводу предлагаемого собрания представителей от земств и городов вскричал: «Конец России! Нам предлагают говорильню… Все болтают, и никто не работает… Нам предлагают устроить всероссийскую верховную говорильню!»

В ответ на страхи, что в России будет «пожар», Победоносцев говорил странные вещи: мол, никакая страна в мире не в состоянии избежать коренного переворота, вероятно, это ожидает и Россию. Но, дескать, ничего! Революционный ураган очистит атмосферу.

– Хорошее утешение! – качали головами в салонах. И удивлялись: революцию можно, оказывается, вносить в планы правительства…

Слышал Константин и иные суждения: что никакой «черной реакции» не наступило, что биографии новых министров поучительны – министр путей сообщения, хоть и князь, но работал на рудниках Пенсильвании; министр финансов – ученый-механик, профессор, оригинальными теориями улучшает экономику страны и приводит финансы в порядок, что сказывается на развитии промышленности; военный министр – заслуженный герой Русско-турецкой кампании; скромный чиновник Управления юго-западных железных дорог вообще сделал головокружительную карьеру – стал товарищем министра, Царь прозрел в нем талант. Это был Сергей Юльевич Витте.

Шли толки, что безынициативного Николая Карловича Гирса Александр III сделал министром иностранных дел только потому, что сам хочет быть этим министром. А Гирс – лицо вежливое, тонко воспитанное – изобразит Западу желания русского Царя в лучшем виде.

А желания были просты: Царь не хотел, чтобы на Западе Россию делали орудием своих целей. И всегда давал понять, что ему для своей страны нужен мир, ибо от него зависит

благосостояние 130 миллионов его подданных.

Александр III пришел не мальчиком на престол, – напоминали его сторонники, – он видел: как только Россия принимала участие в разногласиях зарубежных коалиций, она всегда проигрывала, ею пользовались. Потому и говорил: у России только два союзника – ее Армия и Флот.

Константин слушал все эти пересуды, предсказания, речи справа и слева и будто не слышал. Он так давно знал Сашу, его благородство, честность и здравый ум. А уж если говорить о политическом воспитании, то тут нужен воспитатель особенный – с таким же, как у Саши, священным огнем любви к России.

Он с горечью подумал об отце и вздохнул. Некстати припомнилась строка несложившегося стихотворения, которое он хотел посвятить восшествию Александра III на престол. Не сложилось, потому что он, суеверный, обнаружил, что Саша – тринадцатый Император и что сын его, Наследник Николай, родился в день памяти Иова Многострадального, 6 мая… Константин еще не знал, что и царствовать будет Александр III 13 лет.

Они сидели в креслах друг против друга. Константин говорил просто и искренне о желании уединения, о душевном беспокойстве, о своих религиозных чувствах, о бессмысленности светских обязанностей.

– Я хочу уйти в монастырь. Прошу разрешения…

Александр встал, заслонив широкой фигурой низкое окно. Константин был уверен, что он даст согласие: отца его уволил со всех должностей, зачем же насильно удерживать сына?

– Ты, Костя, даже со своей фантазией не нафантазируешь, как мне бывает муторно и гадко. Иногда я – как волк затравленный. Даже стыдно: в руках такая сила, а душа – как щенок. Нет. И еще раз нет. Если все мы уйдем в монастырь, кто будет служить России?

Царь, возможно, нашел лучшие слова, когда темперамент и дух Константина плутали в совершенно полярных сферах. И все-таки Константин вместе с Петром Егоровичем Кеппеном поехал в Оптину пустынь для беседы со старцем Амвросием.

Вернулся он более спокойным – не так скорбело сердце, не таким унылым был дух. Как говорила сестра Оля, «лицо можно обратить к жизни».

А жизнь потребовала срочной поездки на родину матери в Альтенбург, близ Лейпцига, столицу Саксен-Альтенбургского княжества. Умерла от воспаления легких троюродная сестра Константина – четырнадцатилетняя Маргарита, и ему предстояло представлять семью на похоронах. Траурные хлопоты, слезы,

черные платья и черные перья на шляпах, соболезнования, разговоры шепотом и таинственные распоряжения – всё это не помешало старшей сестре покойной, восемнадцатилетней Елизавете Августе Марии Агнессе из германского владетельного дома, влюбиться в него, высокого, стройного, в морском мундире, который очень ему шел.

Ни танцев, ни музыки, обычно облегчающих «узнавание» и начало романа, разумеется, и быть не могло. Но они оказались рядом за столом. Константин долго рассматривал на тонкой руке Елизаветы серебряный браслет с прозрачным бесцветным камнем.

– Вам нравится форма этого браслета? – спросил он ее.

– Нравится, – едва улыбнулась она пухлыми губами.

Ему захотелось их поцеловать. Вся она была тонкая, светлая, воздушная, светлые локоны и этот детский пухлый рот… Пожалуй, он увлекся…

– Когда у меня будет невеста, я ей подарю такой же, – сказал он.

– Да? – спросила она, мгновенно погрустнев. И, чтобы скрыть эту грусть, деловито, по-немецки сняла браслет с руки и протянула Константину:

– Посмотрите, чтобы запомнить, как он устроен…

Но он уже запомнил ее, Елизавету, и все оставшееся время в Альтенбурге не отходил от нее.

Герцог Мориц Саксен-Альтенбургский и его жена Августа заволновались. Их хрупкая нежная девочка не сможет жить в России: снега, морозы, дикие пространства, там убивают монархов, стреляют, взрывают, кого-то вешают. Ужас! Они только что похоронили младшую дочь Маргариту… А что если старшая Елизавета сгинет в снегах России? Нет и нет.

Когда-то Царь Александр III, обвенчавшись с датской принцессой Дагмарой, записал в дневнике: «… Необыкновенное чувство… думать, что, наконец, я женат и самый главный шаг в жизни сделан».

Кажется, и мечтания Константина о семейной жизни сбывались. Александре Иосифовне понравилось, что сын нашел невесту на ее родине, в Альтенбурге, хотя у нее самой планы были другие. Отец многозначительно сказал: «Пожалуй, пора. Но будущая жена должна знать, чья она жена, – моряка. А это означает расставания. Дай ей об этом депешу».

До депеши было далеко. Переговоры шли длительно и трудно. Держались они в секрете. Родители невесты не давали согласия на брак. Но послушную тихую дочь было не узнать. Она говорила о страстной любви и что пороха и революции в России не боится.

Герцог Мориц и герцогиня Августа признали свое поражение. «Пианино куплено» – такая странная телеграмма пришла в Россию. Это принцесса Елизавета подала условный знак: Великому князю можно ехать в Альтенбург с официальным предложением.

Сидя в своей комнате с дрожащим сердцем, Елизавета слышала каждый шаг жениха и стук палаша по ступеням, когда он в вицмундире Конного полка поднимался по лестнице замка, направляясь к ее родителям.

Весной, 15 апреля 1884 года в дворцовой церкви Зимнего дворца Его Императорское Высочество Великий князь Константин Константинович Романов венчался с принцессой Елизаветой. Венчал их духовник Царя, протопресвитер Янышев. Царский манифест гласил:

...

«Возвещая о сем радостном для сердца нашего событии и повелевая супругу Великого Князя Константина Константиновича именовать княгинею Елизаветой Маврикиевной с титулом Императорского Высочества, мы вполне убеждены, что верные подданные наши соединят теплые мольбы их с нашими к всемогущему и всемилосердному Богу о даровании постоянного, незыблемого благоденствия любезным сердцу нашему новобрачным».

Пожалуй, не было мемуариста, не сказавшего слов о семейном счастье Константина Романова. Оба были красивы, приветливы, добры. Свой дом называли уютным гнездышком, а себя – любящими супругами. Писатель Иван Александрович Гончаров так благодарил молодую августейшую пару за день, проведенный у них в гостях:

...

«Я робко приближался к Вашему

порогу, не имея никакого представления в уме о новой для меня личности – Великой княгине, но Вы и ее приветливый прием рассеяли мою робость, а грациозное председательство Ее Высочества за трапезой, очаровательная любезность и внимание, тонкая, изящная обстановка вместе с блеском красоты и юности Новобрачной Четы – все это окружало меня атмосферою такой нежной, благоухающей поэзии, что я тихо, незаметно для Вас, наслаждался про себя прелестною картинкою Вашего молодого семейного счастья! Сам Гименей, казалось мне, нет, не Гименей, а православный Ангел Хранитель невидимо присутствует на страже Вашего юного, брачного гнезда!

У меня в ушах и сердце так приятно звучат последние слова Ее Высочества: «Vener nous voir souvent» («Приходите к нам чаще». – Э. М., Э. Г.)… – Нет, этого нельзя! Я не баловень судьбы – и никогда не отделаюсь от страха – abuser (стать обузой. – Э. М., Э. Г.). Но изредка, изредка, осенью, зимой, повторение такого дня мне будет «богатым подарком».

Заметим, что Иван Александрович был человек непростого характера, большой индивидуалист и холостяк, так и не заведший семьи. И вместе с тем живой классик с острым взглядом.

Кто-то скажет, что это был светский прием. Но и в быту молодой пары не меньше «благоухающей поэзии», замеченной Гончаровым. Они открывали себя друг другу, радуясь этим открытиям. Вот он рассматривает ее рождественские подарки и счастлив, что она очень старалась: достала для него спичечницу из песчаника и нефритовую пепельницу, оправленные серебряными змеями работы вошедшего в моду ювелира

Фаберже.

А утром, 4 сентября, в день ее именин, он аккуратно расставил свои подарки ей: брошку в виде черепахи с большим рубином, вставленным в испещренную золотом спинку, флакон из сердолика, стойку для пера из золота и, наконец, сапфиры Императора Николая I. Он часто смотрел, как жена собирается на бал, и особенно любил один ее наряд: белое платье с лиловыми орхидеями и вереском, в жемчугах и алмазах. Это платье Елизавете подарила его мать Александра Иосифовна. Когда молодая невестка его надевала, обязательно приходила посмотреть на нее. И Константин вместе с Мама наперебой восхищались красотой своей Лизы, которая не имела права выглядеть хуже других Великих княгинь.

Однако оттенки любви многообразны и продиктованы не только восторгом, счастьем, упоением, но и долгом, жалостью, раздражением, ревностью, надеждой… «Я боюсь касаться подробно оттенков моей супружеской жизни. Эти постоянно гнетущие меня размышления перерабатываются у меня в голове и не попадают на бумагу. Все, что касается жены, все, что мне в ней не нравится, что в настоящее время составляет мое главное и постоянное мучение, – все глохнет в моей душе». Когда Константин мучился над листом бумаги, страшась изложить в дневнике, что его беспокоит, это не значит, что он ее не любил. Он пытался разобраться и сожалел, что не умеет умно, искренно, сосредоточившись в чувствах и мыслях (как это делал в своих, поразивших Константина, дневниках медик Пирогов), назвать причину своей сумятицы. Да, его жена отказалась принять веру мужа. Но можно ли иметь право на тайну ее души? У него ведь тоже есть свои тайны. Свои интимные переживания, грехи природной двойственности, в которых он исповедуется священнику.

Стремясь понять любимую женщину, он просил понять и его, просил об этом в стихах своих:

В душе загадочной моей есть тайны,
Которых не поведать языком,
И постигаются случайно
Они лишь сердцем, не умом.

ПОЭТ

«В душе загадочной моей есть тайны…» – признается Константин молодой жене. Но признается, не гордясь этими тайнами, а надеясь на снисходительность к ним. Одна из его тайн Елизавете была известна: ее муж – поэт. Да, Великий князь, Его Императорское Высочество, кадровый военный, не смеющий нарушать династический запрет на занятия поэзией (музыкой, живописью, театром), – поэт.

И это было прекрасно, считала Елизавета. Еще более загадочным становился образ любимого русского князя, писавшего ей и для нее:

Взошла луна… Полуночь просияла,
И средь немой, волшебной тишины
Песнь соловья так сладко зазвучала,
С лазоревой пролившись тишины.
Ты полюбила, – я любим тобою,
Возможно мне, о друг, тебя любить!..
И ныне песнью я зальюсь такою,
Какую ты могла лишь вдохновить. —

читала она, и сердце ее трепетало от его признаний. А он снова и снова бросал к ее ногам поэтические цветы:

… И пронеслися мимолетные виденья,
И целый день с томлением, с тоской
Я темной ночи жду, – жду грезы усыпленья,
Чтоб хоть во сне увидеться с тобой!
(«Взошла луна…», 8 сентября 1883)

Но она не знала, что его поэтический порыв – не мимолетное волшебство любовных впечатлений, а – дар, страсть,

колоссальный духовный труд. Не знала еще, что ей придется, встречаясь с ним, идущим с блокнотом в руках в аллеях Павловского или Стрельнинского парка, сворачивать в другую аллею, чтобы не спугнуть свою соперницу – его музу. Не знала, что он, несмотря на все условности и запреты, поклялся служить Отечеству именно словом и что его роман с музой был серьезен и благороден.

Еще до того, как встретить ее, Константин написал:

Я баловень судьбы… Уж с колыбели
Богатство, почести, высокий сан
К возвышенной меня манили цели, —
Рождением к величью я призван. —
Но что мне роскошь, злато, власть и сила?
Не та же беспристрастная могила
Поглотит весь мишурный этот блеск,
И все, что здесь лишь внешностью нам льстило,
Исчезнет, как волны мгновенный всплеск.
Есть дар иной, божественный, бесценный.
Он в жизни для меня всего святей,
И не одно сокровище вселенной
Не заменит его в душе моей:
То песнь моя!.. – пускай прольются звуки
Моих стихов в сердца толпы людской,
Пусть скорбного врачуют муки
И радуют счастливого душой!
Когда же звуки песни вдохновенной
Достигнут человеческих сердец,
Тогда я смело славы заслужённой
Приму неувядаемый венец.

Но пусть не тем, что знатного я рода,
Что царская во мне струится кровь,
Родного православного народа
Я заслужу доверье и любовь, —
Но тем, что песни русские родные
Я буду петь немолчно до конца
И что во славу матушки России
Священный подвиг совершу певца.
(4 апреля 1883)

Первое стихотворение «Задремали волны…» он написал в Крыму, в родительском имении Ореанда. Был май 1879 года, он сопровождал отца на испытаниях броненосцев в Черном море и побывал в белом доме с колоннами, увитыми виноградом. Среди скал над морем расположился сад: мирт, лавр, кипарис, «объятый вечнозеленой думой», кусты роз, прохладный под портиком фонтан. Здесь он «вкусил впервые высшее из благ, поэзии святое вдохновенье». Восемь строк, он их включил в свои сборники, не исправив ошибку, деликатно замеченную поэтом Я. Полонским.

Начинающий поэт рисовал лирическую картину: «Задремали волны, ясен неба свод; светит месяц полный над *лазурью вод».* «Лазурь вод», конечно, не может вязаться ни с ночью, ни с полным месяцем, – говорил Полонский и, чтобы смягчить замечание, приводил в пример Лермонтова, у которого такая же ошибка: – «Русалка плыла по реке *голубой,* озаряема полной луной»… Какая уж там лазурь или голубая река ночью?!

Но уроки поэтического мастерства еще впереди, а пока интересна другая деталь: откуда у этого «баловня судьбы», знатного двадцатилетнего юноши, в первом же стихотворном наброске появляются слова «горе», «муки», да и последующие его стихи не лишены тех моментов человеческой жизни, которые мы определяем словами «горькая доля», «печаль», «огорчения», «юдоль земная», «беда». Не о себе он печалился – о других. «В нем была органическая человечность, врожденная гуманность, потому что она не могла быть следствием личного опыта, слишком малого у столь молодого человека», – говорили знавшие его.

Но настоящую тягу к сочинительству он почувствует в последнем заграничном плавании. Стоянки были долгие, и он, лейтенант фрегата «Герцог Эдинбургский», смог быть гостем своей любимой сестры Ольги Константиновны, Королевы эллинов. Стояло жаркое, с синевой в дрожащем воздухе лето,

сменившееся тихой, теплой, разноцветной осенью. Над Татоем – 20 верст от Афин, – где стоял дом сестры-королевы, полыхали причудливые закаты. Пламенела вершина Пентлика. Память с услужливостью подсказывала, что Татой – это древняя, овеянная мифами Дакелия. И все эти красоты и историко-романтические мысли пробудили в лейтенанте желание писать стихи. Делал он это робко, неуверенно, но сочинил «целую гору» строф.

Читал он их только сестре Оле. Она была единственной наперсницей его поэтических устремлений. Да еще королевская поросль – племянники и племянницы. А он, который выше всех титулов ставил звание Поэта, даже думать не смел носить это желанное звание и попасть в круг настоящих признанных поэтических имен.

Читал он Ольге стихи каждый день, с выражением и без него, тихо и громко. Она, видя пламень в его глазах, по доброте сердечной хвалила всё.

Но из всего, написанного тогда, остались жить лишь два стихотворения. Остальное, по счастью, не увидело света. «И надеюсь, никогда не увидит», – говорил он.

Остались «Письмо Великому князю Сергею Александровичу» и «Псалмопевец Давид». Первое, обращенное к другу детства и юности, написано в духе посланий пушкинской поры. Но получилось несколько ходульно, пафосно, скучно, где-то с морализаторством классной дамы. Эти общие места спасает интонация сострадания и искреннего дружества. В них Сергей Александрович нуждался: умерла мать, убит отец, Император Александр П. Биографическое поднималось до мировоззренческих обобщений. Злободневное соединялось с интимным.

Второе стихотворение навеяно посещением Святой земли. Свое настроение Константину хотелось выразить в «звуках арфы золотой», в «святом песнопенье», посвященном псалмопевцу Давиду, скорбевшему душой. Уже это стихотворение, первым попавшее в печать, говорило о том, что появился поэт, для которого, как и для Пушкина, поэзия есть выражение религиозного восприятия мира.

… Не от себя пою я:
Те песни мне внушает Бог,
Не петь их – не могу я!..
(Сентябрь, 1881)

«Псалмопевец Давид» был напечатан с подписью «К. Р.» на первой странице августовской книжки «Вестника Европы» за 1882 год.

Никто почти не знал тогда, кто скрывается за этими «милыми двумя буквами», как называл эту скромную подпись один из выдающихся поэтов того времени Аполлон Майков.

Но когда в том же «Вестнике Европы» в конце того же года появилось пять стихотворений под общим названием «Венеция», криптоним «К. Р.» запомнился, хотя и оставался для многих загадочным: кто он, этот «К. Р.»?

Стихи о Венеции, месте в Европе знаменитом, К. Р. писал в Германии, в Гмундене, Штутгарте, но и в России – в Стрельне, в Красном Селе под Петербургом. Европейская культура как целое больше ощущалась издали, на берегах Невы, чем на берегах Темзы, Сены, Рейна, потому что «динамично и уверенно шла ей навстречу русская культура». Цикл «Венеция» был написан русским европейцем и пристрастным «делателем» петербургско-российской культуры. Недаром К. Р. к стихотворному циклу «Венеция» добавит позже, в 1885 году, еще одно – стихотворение «На площади Святого Марка…», где будет точный адрес поэтических начал автора: «И лики строгие угодников святых / Со злата греческой мусии / Глядели на меня… И о родных / Иконах матушки России / Невольно вспомнил я тогда; / Моя душа крылатою мечтою / Перенеслась на родину, туда, / На север, где теперь, согретая весною, / Душистая черемуха цветет, / Благоухают пышные сирени, / И песни соловей поет… / В уме столпилось столько впечатлений!.. / И вздохом я вздохнул таким, / Каким вздохнуть один лишь Русский может, / Когда его тоска по Родине изгложет / Недугом тягостным своим».

Год – 1881-й – первый год очень плодотворного отрезка времени в девять лет. В России родился новый поэт.

Когда речь идет о поэзии, цифрам вроде бы места нет. И все же отметим, что в 1883 году Константин Романов напишет 20 стихотворений, среди них прекрасный цикл «Жениху и невесте», посвященный его друзьям А. Ал. Ильину и его жене, урожденной В. Н. Философовой. И опять они будут написаны в Греции, в гостях у сестры Ольги.

Многие и сейчас не знают, что слова знаменитых романсов «Я вам не нравлюсь», «Я сначала тебя не любила», «Первое свидание» принадлежат Его Императорскому Высочеству Великому князю Константину Романову. В приюте муз, в Павловске, появится стихотворение «Уж гасли в комнатах огни…», в котором нет ни одного лишнего слова, как в математических формулах нет лишних знаков. Ему тоже предстоит стать любимым романсом известных вокалистов и слушателей с изысканным вкусом. Никогда так часто не посещало его вдохновение – он сочинял даже осенью, когда у него «затишье на сердце… тускнеет,

меркнет мысль, безмолвствуют уста, круг впечатлений, чувств так узок и так тесен, – в душе холодная такая пустота».

Все, что он создал в 1885 году, полно упоенности жизнью – это 24 стихотворения. Он, кажется, уверен в себе и потому пробует силы в драме, в стихе-размышлении, стихе-балладе, в элегии, в «посланиях на случай».

В этом году К. Р. напишет два шедевра – «Умер, бедняга…» и «Растворил я окно…» Даже если бы августейший поэт ничего больше не создал, его имя как автора этих шедевров навсегда осталось бы в русской поэзии.

Один из шедевров – «Умер, бедняга…» [26] (странный князь называл его попросту «длинным солдатским стихотворением») – сочинялся им в палатке для дежурных офицеров. Палатка была оббита досками. И на этих досках дежурные офицеры обычно писали карандашами и чернилами все, что взбредет в голову. Офицер Кавелин увековечил свой стих с одной более-менее удачной рифмой: «деревня – кочевья». В. Ю. фон Дрентельн упражнялся в гекзаметре, сочиняя что-то комическое. А командир роты, Его Высочество Константин Романов, на одной из досок написал первые строки самого популярного своего произведения «Умер, бедняга…». До сих пор в размеренных октавах он воспевал природу, сады, усадьбы, и вдруг создал народную, с романтическим налетом песню, которую запела вся Россия. Автор музыки – неизвестен.

Однажды, будучи в Москве, Константин Константинович поехал на Воробьевы горы, где никогда не бывал. Там, на высоте, расположился ресторан Крынкина: большой открытый балкон, восхитительный вид на изгибающуюся Москву-реку и всю Белокаменную. Великий князь сел за столик, заказал чай – и вдруг хор в русских боярских костюмах запел:

Умер, бедняга! В больнице военной
Долго родимый лежал:
Эту солдатскую жизнь постепенно
Тяжкий недуг доконал…
Рано его от семьи оторвали:
Горько заплакала мать,
Всю глубину материнской печали
Трудно пером описать!
С невыразимой тоскою во взоре
Мужа жена обняла;
Полную чашу великого горя
Рано она испила.
И протянул к нему с плачем ручонки
Мальчик-малютка грудной…

… Из виду скрылись родные избенки,
Край он покинул родной.
В гвардию был он назначен, в пехоту,
В полк наш по долгом пути;
Сдали его в Государеву роту
Царскую службу нести…

Великий князь и не знал, что его «длинное солдатское стихотворение» поется народом. Он попросил подойти дирижера, который был и руководителем хора. Звали его Григорий Николаевич. Этот Григорий Николаевич узнал в лицо Его Императорское Высочество, знал он и то, что «Беднягу» написал Великий князь.

– А чья музыка? – спросил поэт.
– А что музыка?… Народ сам запел, – ответил дирижер.

* * *

Минуло пять лет со дня его свадьбы с принцессой Елизаветой Саксен-Альтенбургской. Константин Константинович привез жену к ее родным в Альтенбург погостить, а сам должен был возвращаться в Россию. Прощаясь с Альтенбургом, он задержался в комнате, где всегда, приезжая, жил. Тот же вид из высокого окна, тот же письменный стол, за которым он написал стихи, заслужившие ему известность: «Распустилась черемуха в нашем саду…», «Колокола», а также стихотворение «Растворил я окно…», которое останется шедевром во все времена.

Растворил я окно, – стало грустно невмочь, —
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей;
Об отчизне я вспомнил далекой,
Где родной соловей песнь родную поет
И, не зная земных огорчений,
Заливается целую ночь напролет

Над душистою веткой сирени.
(13 мая 1885)

Пока же поэт стоит на пороге комнаты, в которой создал свой шедевр. Весна, тепло, и солнце светит так ярко. Все так же, как тогда, но ему кажется, что ничего больше он написать не сможет.

«Я уже не юноша, а должен бы считать себя мужчиной. Жизнь моя и деятельность вполне определились. Для других я военный, ротный командир, в близком будущем полковник, а так лет через 5–6 – командир полка… Для себя же я поэт. Вот мое истинное призвание. Невольно задаю я себе вопрос; что же выражают мои стихи, какую мысль? И я принужден сам себе ответить, что в них гораздо больше чувства, чем мысли. Ничего нового я в них не высказал, глубоких мыслей в них не найти, и вряд ли скажу я когда-нибудь что-либо более значительное. Сам я себя считаю даровитым и многого жду от себя, но кажется, это только самолюбие и я сойду в могилу заурядным стихотворцем. Ради своего рождения и положения я пользуюсь известностью, вниманием, даже расположением к моей Музе. Но великие поэты редко бывают ценимы современниками. Я не великий поэт и никогда великим не буду, как мне этого ни хочется», – записал он 10 августа 1888 года.

* * *

Константин сидел в своем походном кабинете на мызе Смерди, в лагере. Стояло раннее утро. На письменном столе обычный порядок. Здесь вещи, которые он всегда возит с собой. Слева четыре книги: Лермонтов, Пушкин, Новый Завет и сборник «Жемчужины русской поэзии». Чернильница из серебра, свечи, барометр-анероид, часы, два портрета жены, тетради для дневника и записывания стихов.

По листу бумаги бегал солнечный зайчик – за окном ветер качал ветви кустов. Минусами и крестами были отмечены стихи, которые он забраковал и отобрал для своей первой книги. И хотя книга была уже сдана в набор, его мучили неуверенность в отобранном, смущение перед теми, кто станет ее читать…

Из государственной типографии наконец пришли два сигнальных экземпляра, а вскоре и весь тираж – «вся тысяча».

Жизнь приобрела краски. Зрели планы, манили и увлекали вдаль, но вдруг одолевали сомнения: ведь стихи пишут тысячи людей и многие не замечают, что поют с чужого голоса, а если и пишут виртуозно, то ни о чем. Возможно, и он один из них –

дилетант, имеющий совсем другие занятия – морскую службу, заграничные плавания, заботу о солдатах, светские обязанности, государственные дела, а Муза случайно забрела к нему на огонек.

В продажу стихи не поступили. Великий князь не имел на это права. Он посмотрел на внушительную стопку и обрадовался, что книга выглядит скромно: «Стихотворения К. Р.». СПб., 1886. Ничего лишнего. Даже названия увлекательного или благородно-романтического не придумал.

Но что же дальше? Он раздарит томики друзьям, знакомым, родственникам. И, пожалуй, никто не скажет правды: одни – его жалея, другие – мало понимая в поэзии и в сочинительстве, третьи – привыкнув к искательству в верноподданных отношениях; кто-то втайне посплетничает и посмеется. Кто серьезно отнесется к его дару, ведь он – Великий князь и не имеет права быть прежде всего Поэтом?!

Хорошо бы сойтись с молодыми литераторами – спорить, хулиганить с рифмами и размерами, пробовать «на зуб» новшества европейской поэзии, ездить по России, вслушиваясь в песни, сказки, поверья, запоминая слова, которые мало-помалу исчезают. Но он всего этого не мог себе позволить. Кроме того, неуверенность, непонятная робость, которая, пожалуй, паче гордости, самолюбие застегнули его на все пуговицы.

Он был одинок.

И вдруг понял, что говорить о поэзии и о себе в поэзии он мог бы только с теми поэтами и литераторами, кого слушал бы без ущерба для своего самолюбия, кто своим заслуженным авторитетом определил бы серьезность его занятий литературой. Ему нужны были учителя и честные рецензенты, без искательства перед Его Императорским Высочеством.

Выбор был сделан интуитивно, но безошибочно. Он пошлет свою первую поэтическую книгу Ивану Александровичу Гончарову – живому классику, Афанасию Афанасьевичу Фету – своему самому любимому поэту после Пушкина и Лермонтова, известному критику Николаю Николаевичу Страхову, а также Якову Петровичу Полонскому и Аполлону Николаевичу Майкову – поэтам пушкинской школы, классицистам, и историку русской литературы Леониду Николаевичу Майкову. И станет ждать суда, решительного и безбоязненного: поэт ли Константин Романов? Или его опусы – лишь нервов раздраженье?

Ожидание требовало ангельского терпения…

ЧАСТЬ II

ОБАЯНИЕ ИЗМАЙЛОВСКОЙ ЖИЗНИ

Но ответы известных литераторов получит уже не морской офицер, писавший стихи в дальних плаваниях, а измайловец – командир Государевой роты Измайловского полка. Летом 1884 года Великий князь запишет: «Красное Село. Лагерь. Мой барак. Мне 26 год. Я женат и несу службу, которая мне по сердцу».

Служба так была ему по сердцу, что он даже захотел иметь сапоги, построенные, как тогда говорили, ротным сапожником. Отдал ему старые голенища, заказал головки, примерил – и был рад отменной работе ротного фельдфебеля.

С морем он распрощался по многим причинам, где не последней, видимо, было здоровье.

«Земля все же надежнее и терпимее к человеку», – говорил ему Павел Егорович Кеппен и не осуждал Константина за измену флоту. Для отца же это была трагедия. Такие повороты в судьбе любимого сына он не находил *petites meser de la vie humaine* – мелкими неприятностями. «Предательство, проступок», – считал он. Был подавлен и суров. Состоялся последний разговор с сыном. Константин выбрал Павловский полк. Но отец здесь был непримирим. Потребовал поступления в Измайловский, потому что сам в нем состоял со дня рождения.

А Константин уже любил свою новую службу. Как-то вечером, часов в пять, он поехал к месту своей службы в Красносельский лагерь. К обязанностям командира роты он должен был приступить на следующий день, а пока был свободен. Шел по зеленой траве, в лицо бил звонкий летний ветер, рядом бежал пес Зайчик, вынюхивая что-то в земле. Простор, теплая упругая земля под ногами. Изумительно свежим и нежным было любимое им северное лето России.

Он остановился, глядя далеко вперед. Искал глазами место расположения своего Измайловского полка. Разве увидишь! Большой лагерь тянулся на три версты вдоль оврага.

На правом фланге, в тени березовых рощ, виднелись гиганты-преображенцы и черноусые красавцы-семеновцы. Далее белело шоссе на Царское Село. А за семеновцами располагались лагеря Измайловского полка – блондины и Егерского – брюнеты.

Красносельский лагерь… Сколько мифов, легенд, нареканий и восторгов связано с ним. И великая история оставила свой след на этой земле. При Петре I у Дудеровской мызы шли не маневренные бои, а свирепые, кровопролитные: нижегородские драгуны атаковали шведов. На отвоеванной земле русский Царь посадил вековые дубы и липы и выстроил дворец. Время

сохранило и красоту этих мест, и мощь военной силы. Красносельское большое учебное военное поле не раз приветствовало своих Государей и Государынь громогласным «ура», не раз показывало свое воинское умение иностранным гостям русских Императоров.

В Красносельском лагере стояли батареи 1-й гвардейской Артиллерийской бригады, полки лейб-гвардии Московский, лейб-гвардии Гренадерский, лейб-гвардии Павловский и лейб-гвардии Финляндский, а также 2-й гвардейской Артиллерийской бригады финский стрелковый батальон, строевая рота Пажеского Его Величества корпуса, здесь же были лагеря военных училищ… Константин, глядя на ровное и гладкое, как пол, большое учебное поле, знал, что это впечатление обманчиво. В своих «складках» поле могло скрыть целый полк.

Константин был лириком, эпос ему не давался. По этой причине приведем здесь эпические зарисовки бывшего юнкера Петра Краснова из 1-го Военного Павловского училища:

…

«Вправо у Красного села, из длинной взводной колонны, алея шапками и пиками, развернулись четыре эскадрона Лейб-гвардии Казачьего Его Величества полка, так величественно и гордо затрубили трубачи „поход“, сверкнули выхваченные из ножен шашки, пики склонились к долу, все шире и машистее становится рысь, и вот сорвались, понеслись карьером… Кто устоит перед этим напором, мощным скоком коней, перед молчащим грозным строем?!. Вот он (история!) какой был, наш казачий Лейпциг! Вот она, масса, помноженная на квадрат скорости, – сила!

А вот, заглушая пение, гремит навстречу пехотный оркестр, гулко бьет турецкий барабан, громко поют трубы и валторны – Лейб-гвардии Финляндский полк, рота за ротой,

всеми шестнадцатью ротами вытягивается на поля. Загорелые, черноусые молодцы идут широким машистым шагом.

Темные фуражки с темным околышем лихо сдвинуты набекрень, реют зеленые флажки жалонеров, за каждой ротой идут фельдфебеля с рукавами, расшитыми золотыми и серебряными шевронами. На груди Георгиевские кресты за Горный Дубняк, за Плевну, за переход через Балканы – они знают то, чего мы еще не знаем. И за каждой ротой с деловым видом идет собака. Эти солдатские Шарики, Барбосы, Кабыздохи удивляли всех своею верностью роте и исполнительностью выхода на ученья».

Великий князь не мог прочитать эти строки – юнкер был молод и их еще не написал. Но Георгием за храбрость при деле под Силистрией Константин Романов тоже мог гордиться. Завтра он выйдет на учения со своей ротой на знаменитое Красносельское военное поле.

Только Зайчик не удостоится чести бежать за ротой: изнежена очень собака.

На улицу Моховую, дом 3, что в Петербурге, пришло письмо. Адресовано оно было Ивану Александровичу Гончарову, известному писателю. Великий князь Константин Романов, его поклонник и начинающий поэт, прислал ему письмо вполне прозаического свойства.

...

«Пишу из лагеря при селе Красном, полк перебрался сюда… Опять пошли беседы с фельдфебелем о цене на сено для артельной лошадки, о больных, о провинившихся, об отличившихся на стрельбе, о капусте, о грибах. Опять

ежеминутно является ко мне ротный писарь с рапортами, бумагами, списками и сведениями. Опять является артельщик с вечным нерешительным требованием: „денег позвольте“. Но эти мелкие подробности имеют большую прелесть: тут в лагере отдыхаешь душой, даже пройдя верст 20 на ученье; тут спится спокойно, и даже самая жесткая говядина грызется легко и со вкусом. Тут фельдфебель не задумывается о кознях князя Бисмарка, писарь не заботится о судьбах вероломной Болгарии, [27] и артельщик не разбирает, друг или враг нашему отечеству издатель «Московских ведомостей». Тут я не слышу о заблуждениях правительства, и никто не надоедает рассуждениями о неправильности нашей финансовой системы. Здесь, в лагере, каждый делает свое дело, хотя маленькое и, может быть, незначащее, но все-таки дело, и старается потверже идти в ногу заодно с другими. Может быть, мне на это скажут, что нельзя жить такою ничтожною жизнью и не парить в более возвышенных сферах, но я нахожу свое положение весьма приятно и ничего другого не желаю»

(24 июня 1887).

Писал Константин своему учителю о походной жизни и в стихах:

Снова дежурю я в этой палатке;
Ходит, как в прежние дни, часовой
Взад и вперед по песчаной площадке…
Стелется зелень лугов предо мной.

Здесь далеки мы от шумного света,
Здесь мы не ведаем пошлых забот:
Жизнь наша делом вседневным согрета,
Каждый здесь царскую службу несет.
Вот отчего мне так милы и любы
Эти стоянки под Красным Селом,
Говор солдатский, веселый и грубый,
Шепот кудрявых березок кругом,
… В лагерной жизни труда и порядка
Я молодею и крепну душой!
(«Снова дежурю я в этой палатке…», 3 июня 1888)

* * *

К тому времени, когда юнкер Петр Краснов поступил в Павловское военное училище, а Константин Романов командовал Государевой ротой в Измайловском полку, прошло десять лет после Русско-турецкой войны 1877–1878 годов. Правил Александр III, названный Царем-Миротворцем. Он хотел для России 100 лет нерушимого мира, а потому говорил: «У России нет друзей. Нашей огромности боятся… У России только два союзника: ее Армия и ее Флот». Только сильные Армия и Флот могли обеспечить мир, а они требовали серьезных реформ. Военным министром был Петр Семенович Ванновский, боевой генерал, герой Русско-турецкой войны. Опытом и тактикой этой последней войны и продолжала жить российская армия. Да еще в чрезвычайно экономном, даже бедном режиме. «Береги сухарь на 2 дня, патрон – на всю кампанию», «30 патронов должно хватить на все сражение», «Пуля – дура, штык – молодец», «Бить надо сжатым кулаком, а не растопыренными пальцами» – так учили, так муштровали. Ставка делалась на пехоту. Конечно, она оставалась «царицей полей». Метко стреляла, действовала штыком и лопатой – опять же опыт Балканской войны. Шла в

атаку со знаменами, музыкой и барабанным боем, широким шагом, и… добывала победу большой кровью.

В военных училищах, где учились молодые люди возраста юнкера Петра Краснова, штудировали военный опыт давно минувших дней: победы Македонского, Юлия Цезаря, Фридриха, Наполеона. Серьезнее подходили к войнам Петра Великого, особенно к победе под Полтавой, и основательно изучали тактику Кутузова. Отдельно русской военной истории как предмета не было. Откровением для учащихся было чтение боевых эпизодов в романе Л. Толстого «Война и мир» – книгу обычно приносил кто-нибудь из молодых преподавателей и сам читал ее вслух.

Конечно, в оружейных мастерских Сестрорецка разрабатывалось новое вооружение, например скорострельная магазинная винтовка, в училищах изучались образцы винчестера, маузера, но знали и любили все берданку. В свое «доизмайловское» время Константин Романов волновался, что плохо знает парусное дело, а в то время выходили книги о новейших судах германского флота, которому предсказывали значительную будущность, и он их читал. Как человек военный, он прочитал и шеститомный труд крупного российского банкира и железнодорожного магната И. С. Блиоха «Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношении», опубликованный в 1898–1899 годах. Проанализировав прогресс военной техники, автор доказывал пагубность войн для экономики и обосновывал необходимость мирного разрешения международных конфликтов, отдавая предпочтение «финансовой дипломатии» вместо трат на новое вооружение и оборону. Эти благозвучные для слуха идеи находили сторонников и среди высшего чиновничества. Сам Константин Константинович не хотел даже ходить на летное поле, смотреть на упражнения первых русских летунов. «Не интересно», – говорил он, видя в этом только цирковое искусство.

Всё это пацифистское благодушие разбилось о страшный опыт Русско-японской войны, когда по сомкнутым русским цепям били невидимые японские батареи, русские гибли, японцы оставались живыми. В Первую мировую пехота отравлялась газами, а над ней носились летуны – шпионы и бомбометатели… Это был не веселый цирк.

А пока на Красносельском поле учили по-старому: удача солдата в ногах и штыке. И многие офицеры испытывали гордость, видя мощь и силу русской рати, экономно одетой Александром III в серые шинели и черные круглые барашковые шапки (и сам Император, молодой, могучий по стати и силе, был одет в серую с фалдами шинель и круглую шапку). Мощь этой

рати заключалась в слаженности, четкости, в огромной внутренней устремленности и вере. «Северная мощь Русской сермяжной рати» – так красиво выразился бывший павлон Петр Краснов, вспоминая те времена.

Великий князь, приняв свою новую должность, специально побывал в 9-й роте Измайловского полка, чтобы ощутить истинный солдатский дух: «Все ее люди один к одному, молодцеватые, лихие, веселые. Несмотря на все пристрастие к своим людям, я не могу не признаться, что в 9-й роте солдаты еще более ловки, вежливы, сметливы. Отчего это происходит – никак не придумаю. Мне говорят: такой уже дух. – Но как бы завести такой дух у себя?…»

Он не хотел, да и не сумел бы по складу своего характера, завести такой дух в своей Государевой роте принуждением, жестокими мерами. Он любил солдата. И это было новое и серьезное понимание своей службы.

РОЖДЕНИЕ СЫНА

Он думал о молодцеватой 9-й роте, когда холодным майским вечером ехал в лагерь, смотрел на пустынные поля, уходящие в безоблачное небо. Холодное солнце, спрятавшись за горизонт, оставило на равнине малиновый отсвет… Константин любил эту красносельскую картину и чувствовал, что соскучился по лагерной жизни. В одиннадцатом часу он был в лагере и сразу же пошел в роту на линейку.

В шесть утра он поднял солдат. Батальон отправлялся на тактические учения в деревню Салози, на участок № 2. Шли они туда целый час.

– Знакомые места, – пробасил жалонер Добровольский.

– Запомнились! – обрадовался Константин Константинович.

Действительно, в этих мокрых ярко-зеленых местах они были в прошлом году. Жалонером тогда был ефрейтор Голега, который нарвал ротному командиру букет ландышей. И у командира сложились смешные строки: «Луг за рощею тенистой, / Где на участке ротный жалонер / Нарвал мне ландышей букет душистый, / Пока мы брали приступом забор».

«Милая Салози», – подумал Константин и спросил Добровольского:

– Голега – твой родственник?

– Да, родня немного. Сестра Голеги замужем за моим братом.

Константин выделял Добровольского. Не потому, что у того отец – городской голова в Звенигороде, и не потому, что он исправный солдат, толковый и смышленый, а потому что был психологической загадкой для ротного командира. Не понимал ротный командир, когда Добровольский весел, когда скучает, когда обижен, рассержен или рад похвале старшего. На лице всегда равнодушное, бесстрастное выражение.

«Сфинкс, – раздражался Константин. – Мне хочется доверия, чтобы мое безграничное доверие и уважение к солдату находило отклик и у него. Я все-таки разгадаю его…» Но тут же возражал себе: «А зачем тебе это? Эгоистическое, между прочим, желание». И мысленно оправдывал свое недовольство Добровольским: «В деле, которое исполняем, все должно быть как на ладони. Иначе кого возьмешь в разведку? Вот Савченко, например…»

Ротный горнист Савченко, Добровольский и Константин втроем ходили по участку, изучая его. Савченко был из Воронежской губернии, родители его рано умерли, парень скитался по белу свету, зарабатывал себе, как мог, хлеб. Горя и зла узнал достаточно – ему бы и сторониться людей, прятать свою

душу. Но нет – он прост и открыт. Никому и ничему не чужак. И в деле знаешь, что ждать от такого солдата.

По программе роте предстояли наступление на высоту и атака против неприятеля, занимавшего эту высоту. Но дело было не в высоте, а в усилении цепи, в наступлении, атаке и отражении неприятельской конницы. Не все получалось у новобранцев. Тут бы прикрикнуть, выругаться, но Константин не мог – ему было жаль солдатиков. В результате учения закончили позже всех. Возвращаясь в лагерь, не уложились в положенное время: из Салозей шли больше часа. Глядя на ландыши, белыми каплями светившиеся в прохладной траве, Константин достал карандашик и блокнот:

Вчера мы ландышей нарвали,
Их много на поле цвело;
Лучи заката догорали,
И было так тепло, тепло!
Обыкновенная картина:
Кой-где березовый лесок,
Необозримая равнина,
Болота, глина и песок.
Пускай все это и уныло,
И некрасиво, и бедно;
Пусть хорошо все это было
Знакомо нам давным-давно, —
Налюбоваться не могли мы
На эти ровные поля…
О север, север мой родимый,
О север, родина моя!
(«Вчера мы ландышей нарвали…», 1885)

Север и показал характер незамедлительно. Над Красным Селом висели тучи, и дождь падал с неба прозрачными водяными столбами. Когда пришли в лагерь, Константин поспешил на поезд в Петербург. Поехал в парадной форме и сразу же с вокзала пошел в Семеновский госпиталь. Нашел часовню. Рядовой его роты Саша Соловьев лежал в гробу с открытым лицом. Оно совсем не изменилось с того дня, когда Константин навещал Соловьева в госпитале, успокаивал, просил съесть фрукты, которые принес…

Священник начал отпевание. Слова были простые, но торжественные, уносящие думы к вечности. Молодые солдаты, приехавшие с Дрентельном раньше Великого князя, перестали переговариваться. Первым подошел к покойному прощаться Константин Константинович, потом прикладывались остальные.

Когда все было кончено, Великий князь попросил внести венок из роз и ландышей, заказанный им от имени жены. Венок прикрепили к крышке гроба.

В лагерь он не вернулся. Домой – в Мраморный дворец или в Павловск – ехать не хотелось. Остался в здании полка. В канцелярию принесли походную кровать. Разделся и лег. За перегородкой устроился жалонер. Он тоже не спал, ворочался.

– Ты веришь в загробную жизнь? – спросил его Константин Константинович.

– А как же. Я год назад хворал в лазарете. Жуть как мучился. Помирать собирался.

– Страшно было?

– Когда совсем худо, тогда не страшно, а когда получшает – страшно: вдруг Бог приберет, ошибившись.

– Значит, ты боишься смерти?

– Не-ка… Не боюсь. Боюсь далеко от матери помереть. Говорят, когда молодым без нее помрешь, ее никогда не увидишь. Даже в загробье, в раю.

– Как страшно я угадал. – Константин вспомнил, как описал смерть солдата в своем «Бедняге»:

… Умер вдали от родного селенья.
Умер в разлуке с семьей,
Без материнского благословенья
Этот солдат молодой.
Ласковой, нежной рукою закрыты
Не были эти глаза,
И ни одна о той жизни прожитой
Не пролилася слеза!
Полк о кончине его известили, —
Хлопоты с мертвым пошли:
В старый одели мундир, положили
В гроб и в часовню снесли.
К выносу тела к военной больнице
Взвод был от нас наряжен…
Вынесли гроб; привязали на дроги,
И по худой мостовой
Серая кляча знакомой дорогой

Их потащила рысцой.
Сзади и мы побрели за ворота,
Чтоб до угла хоть дойти:
Всюду до первого лишь поворота
Надо за гробом идти…
(«Умер, бедняга…», 22 августа 1885)

Вот и сегодня они с солдатами грустно провожали погребальные дроги все как один.

* * *

Весь день ушел на занятия с учителями, которые должны были обучать новобранцев.

– Солдаты, они взрослые, их не заставишь учиться грамоте и арифметике, – упрямились учителя.

– С солдатом, особенно новобранцем, надо обращаться ласково, не запугивать, не требовать долбления наизусть, а добиваться только понимания. И говорить с ним следует также и о порядке, чистоте… Обязательно напоминать о молодцеватом виде. Не впадайте в крайности. Вспомните своих учителей. Что вам не нравилось в них, того не повторяйте сами.

Константин Константинович сел за стол:

– Теперь второй вопрос, довольно дельный: зачем солдату обучение? Отвечу вам так: солдат есть имя общее, знаменитое. Солдатом зовется и первейший генерал, и последний рядовой… Так учили пятьдесят лет назад. И теперь учат, что звание солдата высоко и почетно. Такой взгляд обязывает воспитывать в новобранце возвышающие и облагораживающие душу чувства и возвращать его из армии народу просвещенным и проникнутым твердыми и сильными убеждениями…

Вечером в палатку к Константину зашел капитан Павловского полка Бутовский, принес вторую часть своей книги «Способы обучения и воспитания солдата». Первую Константин читал и во многом был с автором согласен. Но ему казалось, что солдата автор рассматривает лишь в текущем времени. Получалось узковато, без перспективы, а ведь грядет новый век – техническая мысль на месте не стоит и политические амбиции держав меняются. Константин подумал о своем отце, бывшем морском министре, который никогда не жил только настоящим, но чувствовал будущее. Какие перемены и сдвиги угадывал! Нет крепостного рабства в России, а в морях ее курсируют паровые и

бронированные суда… Это – отцовское.

Когда капитан Бутовский ушел, Константин с печалью думал об отце. В последнее посещение Павловска после обедни он провел много времени со стариком (хотя какой старик! Его отстранили от дел в пятьдесят четыре года, сейчас – шестьдесят с небольшим), они играли в домино. Наконец, Константин сказал, что ему пора уезжать. Отец огорчился, но не стал упрашивать побыть еще немного – всегда был гордым. А когда сын уехал, долго плакал. Константину это передали домашние, и он злился на себя. Вздохнув, взял с полки только что опубликованную повесть графа Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Беспощадные подробности умирания, описанные мощным пером, пугали. Он снова подумал об отце, потом о смерти толстовского героя: «Но я, наверное, не буду так умирать».

Не знал, что угадал.

Последние ландыши были вытоптаны, когда его рота шла на линию, где должен был пройти «поезд чрезвычайной важности». На охрану железной дороги вышли рано – путь был неблизкий. Усталость почувствовалась после Янисьмяков. Приказано было спуститься на равнину, составить ружья в кустах и отдыхать. Близилась ночь, повеяло холодом. Константин, завернувшись в бурку, лег прямо на землю среди солдат своей роты. Потом он запишет: «Лежать с солдатами я так люблю; оно приходится сравнительно редко, и в этих случаях я обыкновенно отстаю от кучки офицеров. Как хорошо, когда можешь быть запросто с солдатами, жить их жизнью, дышать их воздухом, вслушиваться в их голоса, шутить с ними, отвечать на их вопросы. Тогда те невидимые и почти непроницаемые перегородки, отделяющие наше сословие от солдат, как бы падают, и становишься их товарищем. И странно: простой народ вовсе мне не так дорог; он становится мне мил, только облаченный в солдатский мундир. При всем своем отвращении к неопрятности я совершенно перестаю быть брезгливым, когда попадаю в общество своих солдат, и не боюсь ни насекомых, ни дурного запаха. Этот особенный, свойственный только солдату запах мне даже очень мил. Оля так верно подметила, что от солдата пахнет русским сукном, сапогами, махоркой и черным хлебом. Только я стал засыпать, как то один, то другой из товарищей офицеров приходили нарушать мое блаженное полусонное состояние, предлагая лечь в лазаретную фуру, говоря, что на земле сыро и можно простудиться, и, наконец, притащили какой-то тюфяк с подушками. Все это было очень мило с их стороны, но мне не хотелось пользоваться удобствами, которых нет у солдат. Впрочем, я убежден, что солдаты никогда не осудят барина за то,

что он окружает себя барской обстановкой… – Спать, кажется, мне не было суждено. Как и в предыдущую ночь зажглись электрические фонари: один у „неприятеля“, другой у нас, вероятно в Лотту» (12 августа 1886).

Утром было объявлено, что поезд Государя Александра Александровича проследует ночью. Пришло приказание встать в третье положение, то есть: «Приготовиться!» Проехал по линии полковник, проверил правильность постов. Полночь. Третье положение. Одеты все по форме – пальто с башлыком и караульная амуниция.

Наконец прошел один поезд, потом и другой. Все решили, что Царь находится в этом втором, и перекрестились, когда ярко освещенные нарядные вагоны промчались мимо. Слава Богу! Государь проследовал благополучно.

Великий князь будет вспоминать эти «ответственные» ночи, когда сам Бог спасет Государя Александра III во время крушения поезда на Курско-Харьково-Азовской железной дороге 17 октября 1888 года.

Тяжелый состав из пятнадцати вагонов тянули два паровоза. У станции Борки второй паровоз и ряд вагонов сошли с рельсов. Вагон с императорской столовой, где в тот момент находилась Царская чета с детьми и свитой, был полностью разрушен. Утверждали, что Александр III, обладавший недюжинной силой, держал на плечах крышу вагона, пока все не выбрались из-под обломков. Всего при крушении пострадало 68 пассажиров, из них 21 человек погиб, хотя «Правительственный вестник» об этом и умолчал. Спасение Царской семьи посчитали чудом. Константин встречал Царя в Гатчине. Все говорили только о крушении – и Саша, и Дагмара, и военный министр Черевин, и Шереметев… Вид у них был такой, словно с войны вернулись – головы, руки, ноги в бинтах. Дагмара шепнула: «Костя, я будто воскресла из мертвых, начала новую жизнь». Саша был подавлен и удручен…

Но это будет позже, а сейчас им, дежурившим на линии, было приказано оставаться в том же третьем положении, пока не придет разрешение снять посты. Время тянулось медленно. Луна спряталась за облака, подул холодный ветер, все чувствовали смертельную усталость. А разрешение все не поступало. Константин прохаживался по полотну, заходил в сторожевую будку, разговаривал с фельдфебелем и вахмистром. Сравнивали службу в пехоте и коннице, говорили о покойном Александре II и его ужасной гибели, вспоминали полковые истории. Он с удовольствием слушал забавный воронежский выговор вахмистра, но время шло, а местное начальство не решалось снять посты. Константин ворчал, что людей заставляют стоять бесцельно на

постах из боязни взять на себя ответственность, не понимая, что тем самым подрывают отношение солдат к дисциплине и добросовестному исполнению обязанностей…
Наконец очнулись и высокие начальники, охрана была снята, дело исполнено.

* * *

…

«Я веду две жизни: одну семейную, дачную, а другую – служебную, лагерную. Мы наняли себе недурную дачу, под самым Дудергофом, у опушки соснового леса, покрывающего своей темной зеленью гористые берега живописного озера. Соседство железнодорожной станции и пролегающая у самых наших ворот проезжая дорога нисколько не мешают нашему уединению. Обширные крытые балконы и тенистый садик защищают нас от нескромных соседских взоров и пыли большой дороги. В свободное от службы время я обыкновенно читаю жене вслух, стараясь посвящать ее в прелести нашей родной письменности. Она уже познакомилась с „Демоном“ и „Героем нашего времени“ во французском переводе… а немецкие стихи… дали ей некоторое понятие о „Евгении Онегине“ и „Мцыри“.

По вечерам обитатели Дудергофа спускаются к озеру и катаются на шлюпках; мы с женой и маленьким нашим Двором не отстаем от других. Иногда артиллерийские юнкера распевают прелестные хоровые песни, скользя на

катере по гладкой, зеркальной поверхности воды; и все лодки останавливаются, гребцы бросают весла и, притаив дыхание, прислушиваются к чудному пению.

Служба у меня отнимает много времени от этой дачной жизни. Но и тут, в лагере, на ученьях, маневрах, стрельбе и прочих занятиях я чувствую себя как на даче и не жалуюсь. Лето у нас стоит хорошее. Я люблю наши воинственные упражнения под палящими лучами солнца, среди полей, где на необозримое пространство кругом расстилается пестрое море цветов, лугов. Мне кажется, всюду можно находить свою поэзию и везде находить много прекрасного; даже и в такой сухой работе, как наши пехотные занятия, можно сыскать некоторую прелесть…»

Так писал Константин Гончарову 20 июля 1884 года, в первый год жизни с молодой женой. В следующее лето она оставалась в Павловске – ждала ребенка.

Однажды утром, будучи в лагере, он вскочил очень рано и помчался в Павловск. Это был День обретения честной главы святого пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Ему хотелось, чтобы ребенок, его первенец, родился в этот день. Константин любил, чтобы важные события в его жизни совпадали с датами, имеющими для него особое значение.

Но торопился и волновался он напрасно. Лизу, округлившуюся, румяную, нашел за завтраком. Она весело стучала ложечкой по яйцу в подставке от Фаберже и лукаво спрашивала: «Ну, что там, внутри?» Слово «внутри» говорила с акцентом, но очень мило. Ну, что ж, Петербург почти весь был «с акцентом».

Константин вспомнил, как однажды офицеры полка собрались в кружок и говорили о засилье иностранных слов в русских войсках. А потом «прибирали» старые русские выражения к устоявшимся чужим: «корпус» хорошо бы назвать «тьмою», командира корпуса – «темником», «дивизию» – «ратью», «бригаду» – «четою», «батальон» – «дружиною», «фельдфебеля» («Фу, какое

неуклюжее слово», – сказали все) – «старшиной»… Константин тогда объявил: «Будь я царем – немедленно выбросил бы все иностранные наименования»…

Жена «иностранные наименования» употребляла не в армии, а дома. Иногда это раздражало, а иногда, глядя, как она пытается справиться с длинным русским причастием, умиляло. Он доставал с полки стихи и не декламировал, а пел ей строфу, стараясь увлечь ее созвучиями. Лиза была чутка к слову, к его музыкальности. Сердце его смягчалось совершенно, когда она просила: «Прочитай о воспоминаньях, я люблю эти твои стихи». И он читал:

Нет! Мне не верится, что мы воспоминанья
О жизни в гроб с собой не унесем;
Что смерть, прервав навек и радость, и страданья,
Нас усыпит забвенья тяжким сном.
Раскрывшись где-то там, ужель ослепнут очи,
И уши навсегда утратят слух?
И память о былом во тьме загробной ночи
Не сохранит освобожденный дух?
Ужели Рафаэль, на том очнувшись свете,
Сикстинскую Мадонну позабыл?
Ужели там Шекспир не помнит о Гамлете,
И Моцарт Реквием свой позабыл?
Не может быть! Нет, все, что свято и прекрасно,
Простившись с жизнью, мы переживем
И не забудем, нет! – Но чисто, но бесстрастно
Возлюбим вновь, сливаясь с Божеством!
(«Нет! Мне не верится, что мы воспоминанья…», 24 мая 1885)

У нее на глазах появлялись слезы.

– Ох, Костя, – говорила она, – мы с тобой… *l\'ame n \'a pas d \'ages*… [28]

– Ну вот, – смеялся он, – с немецкого акцента на французский язык – как тут русскому выжить?!

Наконец, событие огромной важности произошло. Константин бросился к себе в комнату, надел свежую сорочку, китель, брызнул на себя английским одеколоном. Пришла Александра Иосифовна, вся в белом, совершенно спокойная и торжественная. Он знал это состояние матери в особо важных событиях и следил за ее лицом. Из спальни раздался тонкий, звучный голосок. Они бросились к Лизе, а доктор Красовский воскликнул:

– Мальчик! Да еще какой плотный, здоровый!

Константин, не решаясь отойти от жены, слышал, как плакал его новорожденный сын.

Тут принесли рубашку, которую молодой отец снял накануне вечером, и завернули в нее малыша – таков русский обычай. На часах стрелки показывали 6 часов 22 минуты.

Вечером Константин записал в дневнике: *«1886 г., июнь 23… … Мне не суметь выразить словами, что я почувствовал, не вспомнить всех оттенков впечатлений, пережитых в это мгновение. Я еще никогда не испытывал такого блаженства, такого священного восторга. Мне казалось, что я не вынесу этого неземного счастья; я спрятал лицо в складках рубашки у жены на плече, и горячие обильные слезы полились у меня из глаз. Хотелось остановить, удержать свою жизнь, чтобы сердце не билось и ничто не нарушало бы святости этого мгновения».*

Вскоре малыша ожидало первое празднество. Министр двора граф Воронцов-Дашков доложил Государю, что всё к шествию готово. Государь и сестра Константина Ольга, Королева эллинов, открывали шествие. Следом шло всё семейство. Мальчику предстояло три первых таинства: крещение, миропомазание и причащение. Отец переживал за него всю торжественность этих минут. Сам же ребенок тихо и спокойно спал на парчовой подушке, даже не подозревая, что только потому, что он носит фамилию Романов, в один из жестоких дней 1918 года кто-то поставит его на краю шахты и живым, так мало пожившим на свете, сбросит в бездну…

А сейчас Константин радовался тому, что сына несут мимо солдат его роты, которые видят Государя, Государыню, весь выход и его первенца. У всех были растроганные лица. Свершилось причащение, пропели «Тебе Бога хвалим», прочитали многолетие и маленького христианина осенили крестом.

Лето подходило к середине, и Великого князя волновало устройство детских комнат в Мраморном дворце, куда зимой, как обычно, переезжала семья.

В Петербург Великий князь ехал с отцом Иоанном. Иоанн Леонтьевич Янышев, знаменитый придворный протопресвитер, был человеком мудрым, просвещенным, пользовавшимся беспримерным авторитетом среди духовенства и своих питомцев Санкт-Петербургской духовной академии. Всю дорогу они проговорили о просвещении и воспитании молодежи.

– Я так храбро рассуждаю о деле воспитания оттого, что тема общая. А вот с чего начать воспитание собственного сына, не знаю, – сказал смущенно Константин.

Иоанн Леонтьевич по-доброму улыбнулся:

– Многотрудное это дело. Но есть у него начало: по моему мнению, младенческая жизнь ребенка имеет огромное влияние на всю его последующую жизнь, и счастлив ребенок, окруженный нежною и тихою обстановкой любви, попечений и ласки в эту бессознательную пору.

Детские комнаты были готовы. Как говорил домашним Константин: «Остается только руками развести, рот растянуть и ахнуть». Прихожая с необыкновенной лестницей была ярко-красного цвета с каймой по карнизу, в древнерусском стиле. Изразцовая печь вся в зелени. По стенам висели портреты Царя Михаила Федоровича и русских Цариц. Дверь открывалась в малиновую переднюю, где стояли расписные шкапы, деревянные резные скамьи, стольцы и столы, одна скамья была разноцветной. Дальше шла большая комната с бледно-розовыми стенами, украшенными картинами. Одна из них – боярин Стрешнев молится на коленях вместе с дочерью Евдокией – висела раньше в детской над кроватью брата Николая. В гулевой темнел портрет патриарха Филарета, а в красном углу – большая икона Владимирской Божией Матери с медной лампадой, столы и скамьи – дубовые. Направо дверь ведет в опочивальню с голубыми стенами. В подоконник врезан стульчик для малыша. Здесь же пеленальный стол и раздвижная кровать для няни. Рядом со спальней – комната кормилицы с белыми изразцами, дубовыми панелями и пестрой каймой по карнизам.

Приехав четырехчасовым поездом в Павловск, Константин восторженно рассказывал Мама и брату Дмитрию о детских комнатах. Дмитрий был не женат, слыл женоненавистником и страстным кавалеристом. «Я хотел бы, чтобы вы посмотрели моих годовиков, – приглашал он всех и всегда к своим прекрасным лошадям. – И еще я хочу кавалькаду племянников и племянниц», – вполне серьезно обращался он к Лизе, жене Константина. Так что брата он слушал с интересом, но вдруг перебил:

– Что за названия ты придумал для детских комнат – из

ветхой старины, какие-то архаизмы: мыленка, гуляльня, опочивальня.

– Ты же знаешь, я не терплю иностранщины. Чем хуже «мыленка» «ванной»? Как хорошо сказать: «Я пойду в мыленку». Прислушайся, как тепло, по-русски уютно звучит! Почему не сохранить старинные, не утерявшие свежести и смысла русские слова?

– Язык – понятие динамичное. Язык девятнадцатого века – это не язык двадцатого, когда будут жить твои дети. А ты их к «мыленкам» отправляешь. Есть «мыть», «мыло» – и достаточно. Зачем консервировать слова?

– А зачем терпеть засилье чужих слов?! Их вообще временами следует изымать из обращения. Умные страны, любящие свой национальный язык, так и делают. Конечно, язык – это стихия, которая не терпит окостенения. Но зачем разрушать его основы и говорить на иностранном жаргоне? Питер – город немецкий. Мы же в пехоте не замечаем, как не соотносится с русским из глубинки, мужиком-солдатом дурацкое слово «фельдфебель». Где мы его подобрали?! Язык – зеркало, которое надо чистить… – кипятился Константин.

– Так ты так на древнерусском заставишь всех говорить. Зачем оживлять давно умершее? Надо не зеркало чистить, а рожу умывать, – не уступал брат.

– Если не говорить на древнерусском, то учить и помнить его надо, чтобы такие, как ты, не ставили в словарях: «устарело», «архаическое», «старое», «вышедшее из употребления». Забыли, что в народной сказке про Ивана Бессловесного герой погибает, потому что дар речи потерял. Когда живая вода речь вернула, тогда он и ожил. И зачем вам только народ сказки сочиняет?!

– Перестаньте кричать, я от этого крика забуду и немецкий и русский, – вмешалась Александра Иосифовна. И не без удовольствия прикрикнула: – Оголтелые!

– Вот видишь, – улыбнулся Константин, – хотя Мама немка, но исконно, по-русски убедительна.

На детскую половину он пришел красный и взбудораженный. Здесь было тихо, ребенок сладко спал. Няня рассказала, что утром Иоанчик был веселым, обращал на все внимание, что приходил Калинушкин печку топить, а мальчик смотрел в его сторону и к шуму прислушивался. Калинушкин же тогда сказал: «Ваше Высочество! Вставайте, помогайте мне печку топить».

Вечером Константин Константинович записывал в дневнике: «Этот Калинушкин прелестный человек – в нем я не ошибся, мое чутье меня не обмануло. Он понятлив, ловок, услужлив и всегда весел. Все его любят. Но я один замечал, что в лице у него есть

что-то детски-простодушное. Я люблю его как родного, а он очень привязался к моему первенцу. – Счастлив мой маленький – все-то его любят, он окружен самыми нежными ласковыми заботами. На детской так хорошо! Вава – ну уж лучше ее няньки не найти. Помощница ее Анна Александровна Беляева – милая, тихая, кроткая. Кормилица тоже хорошая женщина, трудолюбивая, всякое поручение исполнит охотно».

* * *

Иоанн родился 23 июня 1886 года, а уже 2 июля этого же года было внесено изменение в «Учреждение об Императорской Фамилии». По новому закону, ввиду быстрого роста Императорской Фамилии, уже правнуки Императора признавались не Великими князьями, а князьями императорской крови и должны были титуловаться не Императорскими Высочествами, а просто Высочествами. В Царской семье все были недовольны законом, даже братья Александра III. Иоанчик как будто специально родился к этому нововведению и стал первым из Великокняжеских детей просто князем.

Константин Константинович огорчится за сына. С особой нежностью пел он колыбельную песенку, сочиненную для первенца в первую весну его жизни. В «Колыбельной» наряду с оберегами слышится и какая-то трагическая нота как предчувствие трагической судьбы сына:

Спи в колыбели нарядной,
Весь в кружевах и шелку,
Спи, мой сынок ненаглядный,
В теплом своем уголку.
В тихом безмолвии ночи
С образа, в грусти святой,
Божией Матери очи
Кротко следят за тобой.
Сколько участья во взоре
Этих печальных очей!
Словно им ведомо горе
Будущей жизни твоей…
Тускло мерцает лампадка
Перед иконой святой…
Спи же беспечно и сладко, —
Спи, мой сынок дорогой!
(«Колыбельная», 4 марта 1887)

«КОРОЛЬ БАВАРСКИЙ УТОНУЛ…»

Теперь он всегда спешил домой, как бы ни заманивали развлечься друзья-офицеры: его ждал милый, смешной малыш. Но в тот день тещу, мать и жену Константин Константинович нашел в тревоге. Никто не сидел на балконе, хотя середина июня благоухала цветением трав и деревьев, густые белые жасмины дурманили голову и ублажали взгляд. Он отметил, как тихо в комнатах, когда самые шумные, не считая детей, обитатели – женщины – грустны и молчаливы. Мама, в девичестве принцесса Саксен-Альтенбургская, жена, дочь герцога Морица Альтенбургского, и теща, герцогиня Августа, шепотом говорили по-немецки. Александра Иосифовна, забывшись, переходила на русский, и Елизавета Маврикиевна тут же переводила матери ее слова с русского на родной ее язык.

Великий князь сразу понял тревогу этих немецких женщин. Их судьба была связана с Россией, где при свете дня в центре столицы убили Царя Александра II. Теперь случилась странная смерть немецкого короля Людвига II. Конечно, не такая наглая, как в Петербурге, но таинственная – ночью на озере. Смертельным врагом всякой жизни женщины считают политику, и они были убеждены, что именно она замешана в смерти Людвига.

– Возможно, это несчастный случай, – попытался внести успокоение Константин Константинович.

– Не мог же он сам броситься в Штарнбергское озеро…

– Мало ли людей сводит счеты с жизнью.

– И доктору фон Гуддену, который гулял с ним по берегу озера, король тоже помог умереть?

– Ну, почему? Может быть, доктор решил спасти короля. И утонул.

Дамы смотрели на Великого князя с недоверием.

– Мне жаль Людвига… Самый красивый мужчина Европы. Его заинтересованно рассматривали как жениха при составлении матримониальных планов всех монарших домов, – сказала герцогиня Августа.

– И благожелательный на редкость, – поддержала ее Александра Иосифовна. – Бедствующего Вагнера с семьей приютил у себя в Баварии, подарил ему прекрасный дом в Мюнхене, назначил невиданно огромную пенсию и даже начал строить для него оперный театр. – Александра Иосифовна вздохнула, вспомнив, как она принимала в Павловске Иоганна Штрауса. – Музыка – это магия. Король, говорили, был влюблен в

вагнеровского «Лоэнгрина» и считал всегда, что композитор, создавая оперу, вдохновлялся легендой о рукотворных лебедях.

– Нет, нет, – поправила герцогиня. – Это не легенда. Это старинная баллада о плотнике, который по ночам вырезал из дерева лебедей, и с каждой новой птицей исполнялось его желание. В замке, где рос Людвиг, этим сюжетом была расписана стена. Впрочем, в замке Хоэншвангау все стены в росписях. Редкая красота.

– Ах, вот откуда у короля эта причуда – складывать из бумаги лебедей! Говорят, их у него тысячи, – задумчиво произнес Константин Константинович.

– Вовсе не причуда, – возразила Августа. – У Людвига была лишь одна просьба к птицам, чтобы он был хорошим правителем. Мы же обращаемся к иконам!

– Действительно, Лебединый король… Мама, ведь так его называл народ в Германии? – спросила Елизавета Маврикиевна.

– Но сумасшедшим все-таки объявили. – Александра Иосифовна с присущей ей прямолинейностью называла вещи своими именами. – Министрам бы помочь ему, а они бурю и натиск устраивали. А потом дивлялись…

– Удивлялись, – поправил Великую княгиню сын.

– Да, удивлялись, что он на государственных советах за ширмочкой сидел, чтобы их не видеть. Я уверена, что такая умная и трезвая женщина, как австрийская Императрица Елизавета, не стала бы дружить с сумасшедшим. Она его понимала. А к складыванию лебедей относилась именно как к причуде. Всякое коллекционирование разве не причуда, не страсть?

– Его не интересовала политика. – Теща Великого князя перешла на немецкий. – Ну сколько можно было терпеть министерские интриги и нападки на себя?! Людвига интересовало искусство. Красота. Какие дивные замки он строил: Линдерхоф, Герренхинмзее, Берк, хотел построить Фалькиштейн – не успел. Всё это теперь вечная красота Баварии. Жалко, что умер Вагнер и не увидел музыку своего «Лоэнгрина» в архитектуре замка Найшванштант.

– В приблизительном переводе – «Лебединый замок».

– Да, да. Он стоит у водопада с небольшим озером. Там поселились лебеди. Людвиг любил плавать на лодке и смотреть на птиц…

Константин Константинович отправился к себе в кабинет, оставив дам в разговорах элегического свойства. Это было лучше, чем тревога, страх, нервозность.

Великий князь не стал говорить о сути баварской ситуации, как он сам ее понимал, ибо речь зашла бы о политике. Германия

объединялась – рождалась идея великого рейха. Король Вильгельм был провозглашен кайзером Германии. Вильгельма прибыли поздравить все, кроме Людвига Баварского. Он отказался признать главенство Берлина, считая, что баварцам нет смысла тратить деньги на армию, оружие, военные заводы – весь этот чад и смрад. Бавария должна быть прекрасной, считал Лебединый король. Но Людвигу предложили выбор – война с ним или его отстранение от власти. Министры выбрали последнее, сослали Короля на озеро, где его и нашли мертвым. Какая уж здесь элегия! Одна чистая политика.

Но была какая-то деталь, которая смущала и тревожила Великого князя. Ах, да! Странности, причуды… Как легко обвинить в них человека, не похожего на других.

Константин Константинович взглянул на рукопись, лежавшую на письменном столе. «Чем-то я связан с ним… Я тоже от политики далек, не увлекаюсь обществом, люблю одиночество. Восторженно сочиняю романсы, помешан на стихах Фета. Музыку Петра Ильича люблю не меньше, чем он – Вагнера. И тоже, наверное, странно себя веду. То вздумал петь свои жалкие романсы перед гениальным композитором, то демонстрировал свою игру на фортепиано Александру Рубинштейну. Это что, нормально? А то, что картину Куинджи музейной ценности взял с собой в море – разве не прихоть сумасшедшего? Людвиг искал понимания в дружестве и нашел его у престарелого Вагнера. А я, тоскующий всю жизнь о друге, ищу его в лице моих стариков – Гончарова, Фета, Полонского. Искал в лице Достоевского, которого уж лет пять как нет. – Великий князь задумался. – И как похоже о нас говорят. Вагнер говорил о Людвиге: „Король так хорош, так умен, так полон глубокого чувства, так великолепен“… Но ведь и обо мне говорят: „Одаренный, искренний, великодушный, страстно любящий и понимающий музыку, прелестный в жизни человек…“

Константин Константинович усмехнулся: «Этот „прелестный в жизни человек“, желая одиночества, прыгал в канаву с лопухами, увидев придворную карету с гостями. А Людвиг прятался в предгорьях Альп – это, конечно, более красиво, соорудил бассейн на крыше замка, чтобы наедине встречаться со звездами. Ну так и я со звездами говорю – стихами:

Что за краса в ночи благоуханной!
Мечтательно ласкает лунный свет;
Небесный свод, как ризой

златотканой,
Огнями звезд бесчисленных одет.

А может быть, мои стихи – те же бумажные лебеди? И их забудут, сожгут, как выброшенные на подворье сундуки Людвига с белыми птицами? Но ведь желание, которое Баварский король просил своих птиц исполнить, было достойным – он хотел хорошо править Баварией. Я же прошу мою музу быть утешительницей и врачевательницей человека.

Вагнер предсказывал Людвигу, что жизнь его увянет в этом обыденном мире и судьба его будет трагической. Меня в семье тоже находят странным. Я мечтаю стать великим, воображаю, что моим творчеством будет дорожить впоследствии Россия. Сам Достоевский предрекал мне известность и славу. – Он снова задумался. – Да, его слова для меня – как заклятие».

Константин Константинович достал дневник и внес в него несколько строк: «Государь сообщил про полученную им от Баварского герцога Луитпольда телеграмму: Король Баварский утонул или утопился. Его труп нашли вместе с трупом его доктора, с которым он шел по берегу озера. Странность короля достигла чрезвычайных размеров, и последние дни попытались отстранить его от правления. Король сопротивлялся, и эта борьба закончилась его неожиданной смертью…» (июнь 1886).

Рука его дрогнула на последней фразе.

БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ

Ожидались большие маневры. Константин уезжал из Павловска с беспокойным чувством. За завтраком, не сговариваясь, они с сестрой Ольгой коснулись темы, которая их одинаково волновала. Наследник Николай в день своей присяги получил из рук Ольги, Королевы эллинов, орден Спасителя. Ожидалось, что и сын греческой Королевы в свое совершеннолетие получит русскую награду – Андреевский орден. Но этого не случилось. Константин считал, что России следовало бы не забывать о таких политических любезностях, тем более что Государь знал, как Ольга и Константин дорожат добрыми отношениями между Грецией и Россией.

К досаде по поводу греческих дел добавлялось недовольство собой. По старой привычке, как всегда перед большими маневрами, Константин стал разбирать себя по косточкам: в одну сторону как бы складывал недостатки и печали, в другую – радости. Недостатков и печалей получалось больше. Во-первых, из роты выбывают по болезни два человека – Иван Евдокимов навсегда, Сергей Прокопович на один год. Переволновался из-за фельдфебеля Шапошникова: он захворал желудком. Случайность, отравление или, не дай Бог, эпидемия? Вызывал доктора, не отходил при осмотре больного, ждал диагноза. Слава Богу, доктор успокоил. И действительно – всё обошлось. «Это говорит о том, что я не вникаю достаточно во все подробности ротной жизни, – мучился он мыслями. – Могу ли я сказать точно, что меня не водит за нос артельщик Белинский? Не могу. Потому что не умею поймать его за руку на злоупотреблении. И не только в роте, но и в жизни я не могу изучить ничего во всей полноте, дойти в каждом деле до глубины, знать все подробности. У меня сколько угодно прекрасных и искренних стремлений, но человек я недаровитый…»

«Недаровитого» человека рота тем не менее встретила с нетерпением и радостью. Кто-то боялся длительного перехода, кто-то терялся, какие вещи брать с собой на маневры, кого-то обидел фельдфебель… Решения всех вопросов ждали от Константина Константиновича, ротного командира, не любившего излишней строгости и карательных мер.

На все дела оставался вечер. Константин собрал всё необходимое, сделал запись в дневнике, перед сном почитал Фета в «Русском вестнике» и крепко уснул. Жена приехала к завтраку нарядная, румяная, в белом с кружевами платье и в белой с лентами шляпе. Поцеловав ее, ласково заглянул в глаза:

– Как у нас дела?

– Будем ждать тебя все втроем – я, Иоанчик и он…

– А почему не она? Не дочка?

– Я так чувствую.

Приняв знамя, полк направился в Гатчину. В первый переход сделали верст тридцать. Небо долго и душно хмурилось, а когда дошли до села Рождественно по Варшавской дороге, начал накрапывать дождь.

В дороге Константин наконец-то разговорил молчаливого и стеснительного солдата Рябинина, который тосковал по дому, по своей обычной крестьянской работе, сторонился товарищей. В походе на Гатчину он шел рядом с Рябининым. Было жарко, влажно, идти – трудно.

– У тебя на родине такая же жара? – спросил он солдата.

– Жара у нас бывает, но сушь стоит, оттого дышишь легко. – И вдруг стал рассказывать, как мать, сестра, отец провожали его на службу, далеко и по жаре, но шли легко.

– А ты как?

– А я был без чувств, одно только горе. Привезли в Петербург, определили в Государеву роту. Мне не нравилось здесь – шумно и душно после наших полей.

Рябинин, как оказалось, ничего не запомнил: ни новоселья в казарме, ни своего ротного командира, ни первых знакомств в кругу солдат. Даже первое наказание – Константин за своеволие перевел его в другую роту – не задело его. «Я был без чувств», – снова повторил Рябинин. А когда его впервые отпустили в отпуск, он вдруг стосковался по роте. «Слюбилось солдатское бремя», – улыбнулся Рябинин.

Служба, однако, не представлялась ему хорошею школой жизни, как многим другим солдатам. И он сказал об этом своему ротному командиру откровенно и просто.

«Почему?» – досадовал Константин. Но тут они стали на короткий привал на окраине военного поля, где Балтийская железная дорога пересекала Гатчинскую дорогу, и было уже не до Рябинина.

В полку оказалось много отставших солдат. Константин устал, сильно разболелись ноги выше колен, голову ломило, как всегда в пасмурную погоду. Но он старался бодриться, надеясь этим придать бодрости своим людям. «На походе чувствуется, что между нами устанавливается своего рода товарищество – все мы одинаково несем тот же труд и терпим ту же усталость. Последние три версты показались мне очень тяжелыми», – записал он перед сном в дневнике.

После обеда и отдыха солдаты натаскали хвороста и вечером,

перед ужином, впереди солдатских палаток разожгли огромный костер с улетающими в небо огненными звездами.

Казалось, сил не было, и все же Константин и несколько офицеров затеяли с солдатами игру в пятнашки, кошку и мышку. Носились, как сумасшедшие, разогрелись, развеселились, хлопали одинаково сильно друг друга по спине, не разбираясь, кто Великий князь, кто унтер-офицер, кто солдат.

«Я бы не мог провести время приятнее», – признался себе Константин и вспомнил, как однажды кто-то из высокопоставленных немцев посетил Красносельский лагерь. Гостя «угощали» песенниками, а где песня – там и пляска. В круг вылетел рыжий красавец Измайловский солдат, записной танцор. За ним другой, третий. Не выдержали и молодые офицеры, выскочили в круг. Немец сделал изумленное лицо: «У нас не положено солдатам и офицерам вместе – это отсутствие дистанции». – «А у нас положено. В единении иной раз, у-у, какая сила», – улыбаясь, повел могучими плечами Государь Александр Александрович.

Погода менялась. То светило яркое солнце и в палатке Константина становилось жарко, то он просыпался под мерный стук дождя о натянутую парусину: день занимался холодный и хмурый. Однажды в свободный час после обеда Константин повел офицеров показывать Гатчинский дворец. Он любил и знал искусство и историю и с удовольствием входил в роль экскурсовода. Правда, он не мог с достоверностью сказать, отчего произошло название города Гатчина. Возможно, от русского «гать чинить» – исправлять дорогу, а возможно, от немецкого «hat schone» – иметь красоту. Во всяком случае, уже в XV веке здесь было русское село, которое после окончательного присоединения ижорских земель к России Петр I подарил своей сестре царевне Наталье Алексеевне. А потом Гатчиной владел Григорий Орлов, сподвижник Екатерины II, украсивший парк обелисками и монументами в честь подвигов братьев Орловых; потом Гатчина навсегда стала императорской резиденцией русских самодержцев Павла I, Николая I, Александра II и Александра III.

– Весь этот парк, – говорил Константин, обводя рукой ухоженные пространства, – распланирован вокруг нескольких озер – Серебряного и Белого. Смотрите, как красиво в зеркале воды отражаются павильоны, мосты, Чесменский обелиск и сам дворец.

Они подошли к дворцу, стоявшему на гребне холма, к южной его стороне с парадным плацем, предназначенным для развода караула и показательных воинских экзерциций. Константин рассказал, что Николай I, его семья и придворный штат жили в

боковых корпусах, а парадные покои находились в среднем корпусе на втором этаже. Константин никак не мог себя остановить, когда стал рассказывать о Мраморном зале с его колоннами, о наборных паркетах аванзала, о Тронной Павла I, устроенной в бывшем кабинете Орлова. И особенно о знаменитой Малиновой гостиной с ее роскошными гобеленами, исполненными на Парижской королевской мануфактуре.
Конечно, по понятным причинам он не стал описывать золоченый трон последнего коронованного владельца Гатчины, «гатчинского затворника» – Александра III, как не упоминал и о том, что один из владельцев Гатчины, Император Николай I, – его дед.

В последний бивачный день он собрал в роте солдат, желающих идти к обедне, и повел их в Гатчинский собор. Стоя на службе с солдатами, Константин всегда молился усерднее, чем в домашней церкви. Его трогала их серьезность, детская неискушенная вера. Как хорошо умеют держать себя в церкви эти простые люди! И не раз было стыдно за офицеров, нескромно, слишком по-светски ведущих себя в храме…

Второй день маневров (батальон шел в атаку на финляндцев) ознаменовался событием. На учения прибыл Царь. Подъехал к Константину, подал руку, немного с ним поговорил. «В первый раз за мою службу была мне такая удача», – отметил в своей тетради Великий князь.

После учений Государь пригласил офицеров к завтраку. Царский стол был устроен в саду, всем остальным завтрак предложили на траве, покрыв ее скатертью. Офицеры не голодали на службе, но лагерные харчи поднадоели, – потому набросились на угощение с молодым аппетитом.
У всех было приподнятое настроение. Но тут появился Великий князь Николай Николаевич, вышедший из-за царского стола «за кусты», где «мы – маленькие люди – пили кофе и курили», – брезгливо записал в дневнике Константин. День, со всеми его событиями, вниманием Царя, казался ему испорченным.

В последний день больших маневров подъем протрубили в пять утра. Константин вышел на линейку, осмотрел своих солдат – ему их стало жаль. После тяжелейших и длительных передвижений люди надеялись на отдых в лагере, но их снова подняли в такую рань, и опять предстоял нелегкий переход. Стараясь их подбодрить, он и сам прошел с ними небольшое расстояние, но понял, что больные ноги отказываются ему служить, а ехать верхом было совестно. И, спросив разрешения, остался в лагере, который без полка казался пустым и унылым. Он сел за стол и занялся делами тех солдат, кого увольняли в запас по окончании лагерного сбора. И вдруг загрустил: ведь ни с

кем из других солдат он не прослужил так долго. Совсем недавно они были новобранцами, а он тогда только вступил в полк. Особенно грустно будет прощаться с унтер-офицером Васильевым, Ермаковым, портным Прокофием Степановым, которого он так безуспешно пытался научить грамоте, с татарином Калимулиным, барабанщиком Макаровым.

Так оно и случилось. Некоторые солдаты всплакнули, кто-то говорил, что своего ротного командира никогда не забудет… Константин подарил каждому свой портрет, дал золотой, перекрестил и трижды поцеловал. Он прощался не только с ними, но и со своей первой молодостью. Тогда же в голове стали складываться первые строки нового стихотворения «Пред увольнением», которое допишет чуть позже и где будут такие слова:

… Усердие и простоту святую —
Как не любить в солдате всей душой?
И я люблю с отеческой заботой;
Но сжиться он едва успеет с ротой,
Как подойдет срок выслуженных лет.
Я с ним делил и радости и горе,
А он – печаль в моем прочтет ли взоре,
Которым я взгляну ему вослед?
(Красное Село, 26 шюля 1890)

Летние скитания окончились. Батальон отправили на постой в Федоровский посад, а Константин поселился в Павловске. Ивану Александровичу Гончарову он писал: «Кончились маневры, прошла лагерная пора, христолюбивое воинство водворено на покой по деревням, а мы – мужья – возвращены к нашим семьям… Пора отдохнуть. Много мы исходили верст за большие маневры, были верст 25 за Гатчиной, бродили, плутали, и ноги дают себя знать. Теперь моя рота расположена неподалеку отсюда, в Федоровском посаде, так что мне легко навещать ее…»

Первые дни на покое он был недоволен собой. Отучился от порядка и дисциплины. Долго спал, поздно пил чай, ел сдобные булки в Успенский пост. Но на павловский огонек заглянула муза, несмотря на подступившую осень, и он написал стихи «Звезды». Конечно, под впечатлением поэзии Фета, которым зачитывался, впадая в подражания. Выражения «светочи неба», «узор звезд», «бестелесный, нетленный», он сознавал, украдены у Фета.

«Но если они выражают мою мысль, и у места?» – упрямился еще в нем стихотворец-любитель…

Еще одна осенняя ночь навеяла уже свои стихи – «Месяц» в *pendant* к «Звездам». Он не спал, был как в чаду, открывал окно, выходил в сад, возвращался к столу, писал, снова выходил,

соглашаясь на головную боль, на бессонницу – лишь бы осеняло вдохновение. Разве это не счастье!

Жилось ему в это время действительно счастливо и безмятежно. Он сознавал это и ценил. Ложась спать, он радовался мысли о завтрашнем дне, а поутру начинал новый день с радостью. Хорошо, от души молился, каждое слово священника проникало в сердце…

К тому же установились теплые дни, словно природа извинялась за холодное лето. Константин решил ехать в Федоровское, в роту. Едва он приехал, его окружили офицеры, живущие на постое. Он считал, что это вовсе не от того, что его, Великого князя, особенно любили – просто им скучно в Федоровском и они радовались всякому, кто бы ни появился. Хотелось увидеть своих солдат, а Константин никак не мог отделаться от офицерской компании. Шумные и упрямые Ритер и Фуфаевский потянули его обедать, потом повели на местное кладбище, обещая «интересные древности».

Наконец он созвал солдат, поговорил со всеми, а к вечеру ротные песенники устроили концерт. На песни собрались мужики, бабы, дети. Была и пляска. Наконец сыграли зорю, прочитали молитву, все разошлись. Константин шел по темной улице, поднял глаза к небу – «мой тонет взор в безбрежной вышине, откуда ночь глядится в душу мне всей красотой нетленного наряда».

У крайней хаты подворот (как здесь говорили) стоял солдат Рябинин. Одиноко и грустно. Константин остановился, заговорил. Будто и не прерывалась их прежняя беседа в походе, так они были свободны в разговоре – ротный командир и его подчиненный. Речь зашла даже о звездах.

Рябинин поднял лицо к моргающему звездами небу.

– Там потеряешься, – сказал он с сомнением и попросился в отпуск: – Брат поссорился с отцом, собираются делиться, но никак не сговорятся. Просили приехать.

– Что ж, если есть надобность, пиши рапорт об исходатайствовании отпуска…

* * *

Наутро была чудная погода. Константин пошел к солдатам в поле и в ожидании фельдфебеля копал с ними картошку весело, дружно. Вспомнил, как Дмитрий однажды сказал: «Чудная у тебя рота». Брат даже не знал, сколько наслаждения доставил этими словами Константину, который признавался дневнику: «Я

невольно в глубине души еще неясно и как-то боязливо сознаю, что моя привязанность к солдатам, любовь и благодушные отношения начинают отражаться на роте. Неужели я доживу когда-нибудь до полного убеждения, что она – мое создание, что она держится мною и что я действительно имею на нее влияние и держу ее в руках, несмотря на недостаток строгости и резкость карательных мер? Я как-то предчувствую, что это сбудется».

Он разогнул спину, отставил корзину с картошкой, глянул на поле – сухо, солнечно, летает паутина, в тени холодновато, но на пригреве теплынь. Ему вдруг захотелось показать роте своего сына, своего первенца. Хотелось малыша привезти без няни, одного, но как отнесется к этому Лиза, да и позволит ли?

Елизавета Маврикиевна поняла желание мужа.

...

«В 10 ч… мы сели в тройку и покатили. Иоанчику не хотелось оставаться на сиденье подле меня, он просился ко мне, и я должен был взять его к себе на колени. Он пока еще говорит только „Пап?, Мама, Вава“ и изредка „дядя“, когда видит Митю. На все же остальное у него – всего одно слово, что-то среднее между „Гага“ и „Кеке“; этим обозначается все что угодно. Удовольствие он выражает, как-то цокая языком, и при этом так прелестно лукаво улыбается, что нельзя его не расцеловать. Итак, мы едем. Вот и Федоровское. Я здороваюсь направо и налево со встречными людьми, а маленький вместо поклона приподнимает ручку к шляпе… Идем на правый фланг, в конец деревни. Там перед своей избой стоит Рябинин; я заговариваю с ним о военных заботах и забываю Иоанчика. Вдруг маленький протягивает ручку и что-то старается сказать Рябинину. Это значило: подойди сюда и поцелуй мне

ручку. Тот подошел к коляске, скинул фуражку, взял маленького за руку и поцеловал ее. Я глубоко умилялся. Надо же было ему потянуться именно к любимому моему солдату. Пока я заходил в некоторые избы, чтобы взглянуть, как расположились люди, маленький оставался на руках то у Цыца, то у Рихтера, то у фельдфебеля, и все удивлялись тому, что он такой смирный, приветливый и не плачет».

Он записал это вечером, 18 августа 1889 года. Прошедший день был для него «днем хороших впечатлений». Поездка с сыном в роту – раз. Чтение Лескова – два. Когда-то читал его «Запечатленного ангела» сестре Оле вслух, они много спорили, но восхищались книгой одинаково. Сейчас он читал лесковских «Соборян» и был уверен, что нет в мировой литературе книги, где было бы заключено столько непринужденного народного смеха сквозь горькие и искренние слезы, где так глубоко и образно были бы изображены праведники и грешники и показан трудный путь «маленького человека» к Богу. Такая книга о многом заставляла задуматься, но и мирила с жизнью.

На носу был октябрь. Повеяло пронизывающей сыростью и холодом. Пора было собираться на «зимние квартиры». На ротном дворе в Федоровском его ждали солдаты в мундирах и скатках, готовые к переезду в Петербург.

Константин, как ротный командир, поблагодарил всех за летнюю службу, добрую, честную и без происшествий. Заказал молебен в церкви. Молодой священник читал молитвы скоро и без сердца, путался, но вот проповедь в конце произнес душевную, простую: благодарил солдат за примерный добросердечный постой, за помощь местным жителям и желал усердной службы в городе.

Столичные казармы встретили солдат грязью и беспорядком. Всё будто начиналось сначала. Надо было оформлять ротную денежную книгу за октябрь. Хотя Константин и вел ее пятый год, но многое в служебно-хозяйственных делах оставалось для него непонятным. Хорошо, что был писарь Скуратов, человек малограмотный, не очень умный, но в отчетности – орел.

Потом пришел полковник посмотреть четверых прибывших новобранцев. Одного из них спросил про дом, жену, детей. Парень расплакался. Константину стало жаль его, но чем

утешишь? Разве что участливыми словами, что на службе многому научится, сам будет писать родным и читать от них письма. Но как продержаться семье без сына или отца, на котором главная забота о семье?

Накануне Константин раздавал солдатам полученные для них в канцелярии письма. Одному, совершенно неграмотному солдатику он с опаской взялся прочитать письмо из дома, боясь дурных вестей. Но, слава Богу, вести оказались хорошими: семья прикупила земли под подсолнечник и лошадей. Другого же солдата, Подольского, он случайно увидел в ротной школе спрятавшимся от посторонних глаз за грифельной доской с распечатанным письмом. Из дома сообщили, что умер его сын и тяжело болеет брат. Константин хотел его освободить от урока арифметики, но Подольский не согласился. В нем была видна тяга к учению. Особенно хорошо он проявлял себя на уроках словесности, которые давал сам Константин, и это давало ему повод думать, что он не лукавил, когда обещал новобранцам пользу от военной службы.

Но среди них были и те, кто доставлял особые хлопоты, как, например, Дмитриевский – батальонный писарь, из дворян, который ничему и нигде не учился, служил на общих основаниях. В первый год он был образцовым солдатом. Его домашние благодарили ротного командира, что он из выпивохи и бездельника сделал человека. Но на второй год Дмитриевский снова стал выпивать, начали исчезать деньги, вещи, не только собственные, но и товарищей по роте. Хороший и толковый, пока трезвый, из-за тяги к спиртному он превращался в вора и хулигана. Проще было его выгнать на все четыре стороны, как все советовали. Но Константину легли на душу слова 92-летнего митрополита Исайи, который говорил не только об обязанности, но и о христианском милосердии в деле заботы о солдате: «Нет особенной добродетели в посещении знакомых. Вот посетить больного бедняка, незнакомого и не имеющего около себя никого близкого, – это другое дело». Константин ответил, что они, офицеры, навещают больных солдат. А владыка возразил, что и в этом нет ничего выдающегося. Не будь солдат, не нужны были бы и офицеры, делать добро своим солдатам – все равно что делать его себе: «И язычники так же творят».

Константин решил лечить Дмитриевского. Нанял врача, который делал алкоголику подкожное впрыскивание стрихнина, но результатов это не давало. Доктор посоветовал Великому князю полечить солдата гипнозом с внушением. Константину прислали полкового врача, известного медика Данило. На сеанс гипноза в приемном покое собрались командир полка, офицеры,

несколько врачей – Константин боялся за своего солдата. Для начала доктор хотел проверить, последует ли после гипноза усыпление. Дмитриевский уснул, как ребенок. В следующий раз доктор собирался приступить к внушению…

Пока Константин занимался лечением солдата, стало известно, что в положенное время в полковники Великого князя не произвели. «А я – счастлив… что остаюсь по-старому ротным командиром», – сообщил Константин дневнику.

Ежедневная ротная круговерть продолжалась:

Повеет лето за весной прекрасной,
О, встреть его, храня душою ясной
Отвагу, доблесть, мужество и честь…
(«Юнкеру», 6 декабря 1910)

«ОСТАВАЙТЕСЬ ВСЕГДА СОБОЙ»

Несмотря на занятость, Константин с волнением ждал отзывов о своей книге, которая разошлась быстро. Он ее дарил, давал почитать, отсылал с просьбой объективно ее оценить. Милые комплименты К. Р. в расчет не брал: слишком серьезно смотрел на свой дар.

Будучи на мызе Смерди, он сидел утром за своим лагерным письменным столом и списывал в тетрадь стихотворное письмо замечательного поэта Алексея Апухтина. Оно было ответом на книгу стихов К. Р.:

«Ваше Высочество!
Ваш благосклонный
Дар получил я вчера.
Он одиночество ночи бессонной
Мне услаждал до утра…
Верьте: не блеск и величие сана
Душу пленяют мою,
Чужды мне льстивые речи обмана,
Громких я од не пою.
В книге, как в зеркале, оком привычным
Вижу я отблески лиц:
Чем-то сердечным, простым, симпатичным
Веет от этих страниц.
Кажется, будто на миг, забывая
Света бездушного шум,
В них приютилася жизнь молодая,
Полная чувства и дум.
Жизнь эта всюду: в Венеции милой,
В грезах любви золотой,
В теплых слезах над солдатской могилой,
В сходках семьи полковой…
Пусть вдохновенная песнь раздается
Чаще, как добрый пример!
В памяти чутких сердец не

сотрется
Милая надпись «К. Р.»
Трудно мне кончить: слова этикета
Плохо вставляются в стих, —
Но, как поэт, Вы простите поэта,
Если он кончит без них».

А прозой Апухтин разъяснил свою мысль так: «Всех поэтов, независимо от их направления и степени таланта, я делю на два разряда: на искренних и неискренних. Нет никакого сомнения в том, что К. Р. принадлежит к первому разряду. Искренний поэт пишет, когда какая-то неведомая сила толкает его писать. Описывает ли он свои собственные чувства, изображает ли чувства других людей, вдохновляется ли какой-нибудь идеей или историческим событием – это все равно, но он пишет именно это и в данную минуту ни о чем другом писать не может. Высшим проявлением такой искренности был Пушкин, а в настоящее время типичным ее представителем можно назвать Фета. Каждое стихотворение Фета вызвано каким-нибудь жизненным впечатлением. Часто он этого впечатления даже не обрабатывает, иногда он не умеет обработать и преподносит его сырым; от этого люди, не понимающие поэзии, так охотно и легко глумятся над ним. Но для меня дорог каждый стих Фета, в самом слабом из его стихотворений видишь что-то перечувствованное, что-то действительно пережитое; к типу поэтов неискренних я причисляю, например, Майкова. Этого никакая сила не толкает, он запирается в своем кабинете и думает: „Не написать ли мне какое-нибудь стихотворение для январской книжки \'Русского вестника\'?“ Почти все время уходит на отыскание сюжета, а потом дело идет гладко: привычка к стиху большая, рифмы нанизываются легко, и в январской книжке появляется прекрасное стихотворение, не производящее ни малейшего впечатления! На эту тему я мог бы написать очень много, а потому спешу умолкнуть, боясь отплатить скукой за истинную радость, доставленную мне стихотворениями К. Р.

Я бы явился лично благодарить Ваше Высочество за эту книжку и за дорогую для меня память, но вот уже более двух недель несносная болезнь приковала меня к дому. От сильного бронхита у меня лопнули какие-то сосуды, и я харкаю кровью не хуже Травиаты. В виде утешения написал на себя эпиграмму:

Насмешка доли злополучной:
Всю жизнь одышкою страдать,

Пугать детей фигурой тучной
И… от чахотки умирать!»

Следом появился подробный разбор стихов августейшего поэта К. Р. в журнале «Гражданин». Автор статьи – князь Владимир Мещерский. Константин Константинович вырезал статью из журнала, но долго сомневался, надо ли ее вклеивать в дневник. Дело в том, что у князя Мещерского была не лучшая репутация в свете и в журналистике.

Царь Александр III, будучи Наследником, в середине 1860-х ухаживал за родственницей Владимира Мещерского – княжной Марией Мещерской, Мария Элимовна Мещерская была фрейлиной его матери Императрицы Марии Александровны. Очень живая, внешне веселая и кокетливая, но с затаенной грустью в глазах, она настолько очаровала будущего Императора, что он ради нее решил отречься от престола. Роман Мещерской и Цесаревича породил массу сплетен. «Проклятый свет не может никого оставить в покое… Черт бы всех этих дураков побрал!!!.. Сами делают черт знает что, а другим не позволяют даже видеться, двух слов сказать, просто – сидеть рядом…» – писал в дневнике Александр. Решение его, казалось, было бесповоротным – отказаться от трона во имя любви: «Я чувствую себя неспособным быть на этом месте, я слишком мало ценю людей, мне страшно все, что относится до моего положения. Я не хочу другой жены, как М. Э…» Всё это он говорил отцу. Александр II сначала его уговаривал, убеждал, приводил в пример свои отчаянные увлечения, а потом не выдержал: «Убирайся вон!» И все же Цесаревич женился на датской принцессе, стал Императором. Мария Элимовна вышла замуж за Павла Павловича Демидова из семьи известных промышленников, богачей и меценатов, но через год умерла при рождении сына от тяжелейшей послеродовой горячки.

Александр III был счастлив в браке, но всегда помнил нежную пору своей влюбленности в Мещерскую. В ту же пору он подружился с ее родственником – Владимиром Мещерским. Они нередко вместе проводили вечера. Александр даже поручил Мещерскому устройство ремесленного училища в память покойного брата, Цесаревича Николая Александровича. Но Мещерский не столько строил, сколько воровал. Аничков дворец для него закрылся. И только Победоносцев смог уговорить Александра III забыть прежний грех князю. О возникновении издания Мещерского «Гражданин» и журналистской деятельности князя в обществе говорилось разное, чаще неприятного свойства.

«Негодяй, наглый, человек без совести и убеждений. Он

прикидывался ревностным патриотом – хлесткие фразы о преданности церкви и престолу не сходили у него с языка, но всех порядочных людей тошнило от его разглагольствований, искренности коих никто не хотел и не мог верить», – писал Е. М. Феоктистов, начальник Главного управления по делам печати.

«Никто не умел так клянчить и унижаться, как князь Мещерский, и этим постоянным клянченьем и жалобами на свою трудную жизнь он достиг того, что Государь решил выдавать ему ежегодно на „Гражданина“ сумму в 80 тысяч рублей…» – писал С. Ю. Витте, посвятивший Мещерскому главу в своих мемуарах.

Рассказывали и по-иному: Мещерский сказал Царю, что хотел бы преобразовать «Гражданина» в большую ежедневную газету, и попросил о субсидии: на первый год 108 тысяч рублей, на второй год 90 тысяч рублей и на третий – 30 тысяч рублей. Деньги он должен был получать из Государственного казначейства. Когда И. Н. Дурново [29] заметил Царю, что суммы слишком значительные, Государь возразил: «Напротив, нельзя же основать хорошую консервативную газету на двугривенный; я не нахожу здесь ничего необычного; посмотрите, сколько тратит на немецкую печать Бисмарк».

В обществе издание Мещерского считали печатным органом самого Царя. «Мещерский получает по 3 тысячи рублей в месяц на „Гражданина“ из казенных сумм Министерства внутренних дел, получает без расписки, прямо из рук в руки от Дурново», – шептались в чиновных коридорах.

«Он хотя и безграмотен, но зато в качестве содомита высоко держит знамя религии и морали», – съязвил поэт и философ Владимир Соловьев.

Августейший поэт стал изучать статью князя Мещерского в его «Гражданине» о своей книге.

Отзыв князя Мещерского в целом был благосклонным, но несколько неожиданным. Всё внимание рецензент уделил драматическому отрывку «Манфред», хотя Константин считал себя лириком. И все-таки рецензия была полезной: его отругали за «тяжелый» стих в «Манфреде», значит, надо еще над стихом работать. Тем более что он имеет намерение написать историческую поэму. Грело самолюбие и то, что отзыв в несколько страниц был опубликован в известном журнале, где в свое время печатались и Тютчев, и Апухтин, и Достоевский, который в 1870-х, согласившись на уговоры Мещерского, был редактором «Гражданина».

Собираясь ехать в Павловск холодным сентябрьским утром, на станции Великий князь встретился с литературным критиком Василием Львовичем Величко, который для «Еженедельного

обозрения» написал на его книгу рецензию.

– Завтра появится статья, – сказал Величко.

– Но что в ней – не терпится знать.

– Ваши стихи мне напоминают Алексея Толстого и Федора Глинку. Не сердитесь, Ваше Высочество, но некоторые их них не просто подражание, а точные снимки. Вы помните «Клонишь лик, о нем упоминая…» Алексея Константиновича Толстого?

– Не упомню.

– Ваш опус «Мне жаль тебя…» – копия этого стихотворения. И религиозные ваши стихи сходны с библейскими переложениями Федора Глинки и мелодически, и смысло-строительно. Вы не огорчайтесь – учителя прекрасные. Прочитайте статью, я там даю некоторые советы. – Величко скромно улыбнулся. – Позволения у Вашего Высочества, правда, уже поздно спрашивать…

Константин был задет. Но пока шел берегом Славянки и смотрел на прозрачные осенние пейзажи, успокоился.

В «Новом времени» обзор поэзии делал известный и весьма злоязычный критик Виктор Буренин. Странно, но в своем фельетоне Буренин поэта К. Р. не обругал. Отнесся к его книге сочувственнее, чем к стихам знаменитого Апухтина. Стихотворение «Отцветает сирень у меня под окном…» похвалил.

Но такого письма, какое Константин получил от академика-языковеда Якова Карловича Грота, он и ждал больше всего. Тщательный анализ всей книги. Отмечены удачные стихи и разобраны погрешности. «Такого рода дельный разбор – не то что не имеющие для меня важного значения взгляды писак и фельетонистов… Такой разбор дает мне новый толчок вперед», – радовался Константин.

Он чувствовал себя в прекрасном, «надлежащем» настроении. Сын родился! Книга стихов вышла! Служба в полку нравилась! И вот он услышал ответные голоса на свои стихи!

Вечером он достал из-под трех замков свой дневник и словно не запись сделал, а клятву дал: «Я с удвоенным рвением, можно даже сказать ожесточением, начинаю работать над отделкой своих последних произведений, стараюсь достигнуть большего совершенства. Я совершенно чистосердечно и искренно говорю о своих последних стихах, что гордости нет в моей душе, что для меня ничтожны отзывы толпы, когда самый этот дар для меня лучшая награда, и я смотрю на него как на талант, с помощью которого я обязан приобрести другие таланты».

* * *

Клятва клятвой, но он чувствовал себя совершенно рассеянным и, чтобы сделать какое-то дело, обязан был приложить немалое усилие. Он ездил в оперу, слушал «Жизнь за Царя» и, несмотря на туман в голове, не мог в который раз не почувствовать красоту музыки Глинки. Он усердно упражнялся на фортепиано, потому что мечтал сыграть наизусть с оркестром крупную музыкальную вещь, хотя заранее боялся за свою память, страшился отсутствия пюпитра с нотами, большого собрания слушателей, для которых будет играть. В Гатчине, пытаясь помочь Чайковскому, говорил с Государем и кузеном Сергеем о необходимости поставить оперу «Черевички» в Москве, в Большом театре. Смотрел в Павловском театре «Горе от ума». И хотя Чацкий походил на лакея, Софья забывала слова, Лиза хохотала визгливым голосом, декорации были не очень удачными, он наслаждался бессмертным произведением и игрой великолепного Давыдова в роли Фамусова.

Но всё это он делал почти механически.

Он ждал ответов от мэтров поэзии. Ждал и боялся их суждений.

Письма он им послал предельно вежливые, предупредительные, с комплиментарными пассажами.

Гончарову. «Прошу Вас принять со свойственной вам снисходительностью прилагаемый сборник моих стихов. Чувствую, что поступаю крайне опрометчиво и дерзко, навязывая Вам эту книжонку, но мне было бы так лестно знать, что мой труд попал даже в Вашу библиотеку…»

Майкову. «Многоуважаемый Аполлон Николаевич, решаюсь просить Вас принять от меня прилагаемый сборник моих стихотворений. Иногда и рядом с дорогими цветами растет крапива; это явление и придает мне храбрости представить Вам мой бренный труд».

Полонскому. «Я обращаюсь к Вам как к человеку, „давно создавшему себе имя в нашей родной словесности“».

Фету. «Многоуважаемый Афанасий Афанасьевич, пишу Вам, не имея, к моему искреннему сожалению, удовольствия быть лично с Вами знакомым. Мне привелось узнать стороной, что Вы удостоили снисходительного отзыва стихотворения К. Р., принадлежащие моему скромному, начинающему и весьма неопытному перу. Я глубоко ценю такой бесконечно лестный для меня отзыв, как мнение одного из наших немногих маститых стихотворцев Пушкинской школы».

Страхову. «В обществе, в котором я вращаюсь, мои стихи произвели впечатление; похвалы им я слышу со всех сторон; прекрасный пол особенно щедр на них. Это хотя и ласкает мое

самолюбие, но нисколько не удовлетворяет. Мне нужно более осмысленное суждение, а не одна пустая похвала лиц, ничего в поэзии не понимающих. Я не хочу быть дилетантом в словесности».

* * *

Ответы стали приходить в положенной им очередности. Гончаров ответил в сентябре, Майков тоже в сентябре, Фет в декабре. В январе и феврале следующего года – Полонский и Страхов. Когда вскрывал письма, лицо горело от самолюбивого ожидания. Если честно сознаться, раздражали длинные пиететные вступления обожаемых литераторов. Но он и сам в этом преуспел, когда им писал. К тому же он – Его Императорское Высочество, Великий князь, что литераторам оставалось делать?

«Не один раз читал я книжку стихотворений, которую удостоили Вы дать мне в незабвенный для меня день… Читал ее с большим вниманием и не без смущения пользуюсь дозволением Вашего Высочества изложить Вам свое посильное мнение…» – писал Полонский.

«Вам благоугодно было вдвойне осчастливить меня: присылкой книги Вашей, обладать которой я давно и напрасно желал, и письмом, дышащим тою утонченно-рыцарскою приветливостью, которую мы привыкли находить в нашей Царственной семье», – уверял Фет.

Даже Иван Александрович Гончаров, переписка с которым началась задолго до выхода книжки К. Р., была регулярной и обширной, сопровождалась встречами в Мраморном дворце и у писателя на Моховой, – даже он «прижимал книгу к благодарному сердцу», а ведь в ней могла оказаться «горсть руды», как и в той тетради, которую К. Р. отдал писателю три года назад. Тогда Гончаров сильнейшим образом задел его самолюбие – был прямолинеен, серьезно критичен, без всяких там верноподданнических искательств…

Слава Богу, Майков без околичностей завел весьма предметный разговор поэта с поэтом. То же самое сделал и Страхов, для которого критика была более близким сердцу делом.

Ответные письма подняли такую сумятицу в голове, что поначалу Константин Константинович видел лишь постыдные свои промахи: «Как можно не соблюдать строгое чувство красоты стиха и писать „тебя, пока“? Нет таких ударений в русском языке! Нет ударений и таких: „две души“ вместо „две души“„… Есть даже грамматические ошибки, когда слово ставится в неверном

падеже! Страхов категорически готов забраковать его пятистопные ямбы, так как в них нет цезуры, интонационного словораздела. Ну где сделать упор в строчке: „Еще прибавилось воспоминанье“? Невозможна остановка ни на „прибавилось“, ни на „воспоминанье“. Получается проза, а не стихи. А ведь Пушкин объяснял: „Признаться Вам, я в пятистопной строчке / Люблю цезуру на второй стопе, / Иначе стих то в яме, то на кочке“. В „яме“ оказались, по мнению Полонского, стихи, начиная с 67-й страницы, – вялые, спутанные, да и содержанием не алмаз и не мрамор. Некоторые строчки просто искусственно придуманы, а не прочувствованы. Другие написаны сплеча или от усталости и нежелания над ними поработать… Есть стихи, которые кажутся экспромтами или набросками, а Фету показались «личинками, с которых в будущем должно свалиться многое, чтобы им предстать в виде безупречного мотылька“. Так мотылек или засохшая личинка?

Счастье, что письма не пришли в один день или в одну неделю, иначе можно было бы не устоять на «поэтических» ногах.

Когда туман рассеялся, прояснились советы и похвалы, а К. Р., как любой начинающий поэт, жаждал поощрения.

Первая и общая похвала была за искренность души и чувств. «Чувство может быть и мировое, и религиозное, и общественное, и личное, сердечное чувство, но в поэзии все зависит от того, какая душа выносила их», – настаивал Полонский.

«Так много свежести, искренности, наивности в самом лучшем смысле этого слова… Содержание… прямо из души. Оно состоит из очень чистых, молодых, добросердечных чувств и мыслей», – писал Страхов.

«Удивительная искренность, чудная задушевная чистота – и все это в весенней обстановке юности… В стихотворениях у Вас есть один мотив, который… остается господствующим… Это победа духа, это победа долга – есть истинный, единственный христианский выход из-под жизненных бурь, это спасение, это залог многого доброго. И так как он в ряде стихотворений перевивается с другим мотивом – с любовью к России, – то как же не назвать впечатление – радостным?!» – спрашивал, утверждая, Майков.

«Юность, искренность, победа долга – все это приятно слышать. Но есть ли у меня талант и дарование?» – пытался найти в письмах ответ К. Р.

«В книге собрано много чисто субъективных лирических излияний, – писал Гончаров. – Слышатся нежные, грустные, томные, как в Эоловой арфе, звуки. Такая Эолова арфа есть у всех молодых поэтов… Большая часть пишет подражательно, с чужого

голоса… Они не из себя добывают содержание для своей Эоловой арфы, а с ветра, лишь бы вышли стихи. У Вашего Высочества – наоборот. Вы сами – источник Ваших излияний… Поэтому я и признал эту искренность – вместе со страстью Вашей к поэзии, вообще искусству, к литературе – одним из значительных признаков таланта».

Фет, кажется, это подтверждал. По-другому, но подтверждал. Он, как-то читая «Новое время», наткнулся на стихи неизвестного автора и как поэт, прочувствовавший поэта, обрадовался и прочитал их поэту, критику и философу Владимиру Сергеевичу Соловьеву.

– Чьи стихи? – спросил Соловьев.

– Не знаю!

Соловьев заглянул в газету и объяснил загадку букв К. Р.

«… Я прежде был побежден поэтом, чем Великим князем. Факт этот может быть удостоверен», – написал старик Фет молодому собрату.

Надеясь на способность Великого князя «уловлять явления на лету» и в ответ на его стихотворение «Я – баловень судьбы…», Афанасий Афанасьевич рассказал о своей поэтической судьбе, в которой была небывалая слава, сменившаяся пренебрежительностью, издевательствами, грубостью, обещаниями его стихами обклеивать комнаты, заворачивать в них сальные свечи, мещерский сыр и копченую рыбу. Потом его забыли совсем. И он уже не надеялся, что чья-то «благосклонная рука потреплет лавры старика». «Легко судить о моей сердечной радости, когда рука эта оказалась рукою Вашего Высочества, – писал старый поэт. – „Трепетный факел с вечерним мерцанием, / Сна непробудного чуя истому, / Немощен силой, но горд упованием, / Вестнику света сдаю молодому“.

Фет признавал в нем поэта! Страхов называл три свойства К. Р., показывающие дарование: первое – мысль не тянется, не расплывается, второе – есть звучные стихи. Третье – своеобразие стиха, свой звук, своя манера и плавность.

В спокойном письме, с извинениями за мешкотность и медленно складывающиеся в голове мысли, Страхов строго подвел черту: «Книжка – только обещание. Но очень решительное».

Майков указал на похвальное знакомство молодого поэта со Священным Писанием, а в умении закончить стих счастливым оборотом мысли видел влияние Тютчева. «Дается это умение только истинным дарованиям», – подчеркнул он.

* * *

Какие же стихотворения отметили мэтры? Константину одновременно хотелось и единодушия мнений, и их разнообразия. Так и вышло. Гончаров лучшими в книге считал три стихотворения: «Гой, измайловцы лихие…», «Лагерные заметки» и «Умер» («Умер, бедняга!..»). «Не знаю, какую цену Вы сами изволите придавать этим стихотворениям, но, что касается меня, я нахожу, что это три перла Вашей юной музы и что в них, таких маленьких вещах, заключено сжато более признаков серьезного таланта, нежели во всем, что Вами написано, переведено и переложено прежде».

Фет тоже утверждал, что не прирожденный поэт вовеки не напишет «Гой, измайловцы лихие…», где каждый стих и свободен, и безупречно щеголеват, как офицер на царском смотру, но… «все-таки этот род не может один упрочить поэтического кредита», – сбивал он спесь с молодого автора. И выстроил в ряд стихи, которые более отвечали его идеалу лирического стихотворения. Константин увидел в списке «Письмо: опять те алые цветы…», «Я нарву вам цветов к именинам…», «Уж гасли в комнатах огни…», «Как жаль, что розы отцветают…», «Распустилась черемуха в нашем саду…». Но он не назвал ни армейских стихов, ни переложения библейских сюжетов. «Значит, я не ударил по надлежащей струне и не нашел момента вдохновения», – убеждал себя Константин словами Фета.

Яков Петрович Полонский сознался Великому князю, что хотел промолчать, получив сборник стихов. И промолчал бы, если бы книга не носила на себе печать дарования и не было ясно, что поэт не остановится на первых опытах, а будет совершенствоваться, любя поэзию серьезно.

Константин улыбнулся, представив себе старого поэта, высокого, сухопарого, с длинной седой бородой. Вот он ходит по кабинету, опираясь на палку, сильно прихрамывая, взглядывает на развешанные картины – под старость Полонский взялся за кисть – и размышляет, как бы это прилично поступить с книгой, которая лежит у него на письменном столе и смущает его, и затрудняет ответ.

«Не помню, – написал Полонский, – кто-то мне говорил, что Вы дилетант в поэзии, а хвалить Вас следует, потому что Вы единственное лицо из Царской Фамилии, которое после Екатерины Великой настолько любит и понимает значение литературы, что само берется за перо, переводит, пишет – умственному труду посвящает свои досуги… Но кто мне говорил – ошибается… Читая книжку Вашего Высочества, я провижу в ней нечто более существенное, чем простой дилетантизм».

* * *

– Моего «Возрожденного Манфреда» почти не заметили… Я впервые пробовал себя в драме, вернее в драматическом отрывке. Хотел изобразить Манфреда в его загробной жизни и начал там, где Байрон закончил свою поэму. [30] Фет не сказал ни слова. Страхов даже не заметил, Майков написал, что по поводу «Манфреда» можно о многом поговорить. Но не поговорил. Суждения Гончарова и Полонского противоречивы. Иван Александрович категорически сказал, что «Манфред», скопированный с колоссальных образцов Байрона и Гёте, [31] – бледен. Он – плод ума, а не сердца и фантазии… Короче говоря, обругал.

Константин ходил кругами вокруг кресла жены. Лиза что-то вышивала, но бросила рукоделие и стала внимательно слушать.

– И Полонский так думает?

– Не совсем. Он смеется над тем, что «Новое время» обозвало моего «Манфреда» «мистерией», как что-то туманное и неудобопонятное. А ему все понятно, и смысл драмы, и ее стихи он считает получше ямбов моего перевода «Мессинской невесты» Шиллера.

– Так что же тебя заботит?

– Сам не пойму. Полонский, в отличие от Гончарова, хвалит стихи, в которых я одушевил тучи, гром, молнию, их разговоры между собой. Пишет, стихи эти так хороши, что, когда он прочел их сыну, тот пришел в восторг и закричал: «Ставь пять с крестом!» – это высший балл в его гимназии.

– Ну и поставил? – Лиза, засмеявшись, встала и поцеловала мужа. – Вот видишь…

– Не поставил… Пишет, что стих «О прибрежье скал…» с ударением на «О» неблагозвучен. Гончаров сердится…

– Не может этот добрый, любезный человек сердиться. Он просто, по его же словам, болен неизлечимой болезнью – старостью, и потому бывает раздражителен. Прочитай мне его слова о «Манфреде».

– Сурово пишет: «… Между людьми как-то легко укладывается понятие о спасении таких героев, как Манфред, Дон-Жуан и подобных им. Один умствовал… плевал в небо и знать ничего не хотел, не признавая никакой другой силы и мудрости, кроме своей, то есть общечеловеческой, и думал, что он – Бог. Другой беспутствовал всю жизнь, теша свою извращенную фантазию и угождая плотским похотям; потом – бац! Один под конец жизни немного помолится, попостится, а другой, умерев, начнет каяться – и, смотришь, с неба явится

какой-нибудь ангел, часто дама… – и Окаянный Отверженный уже прощен, возносится к небу, сам Бог говорит с ним милостиво!.. Дешево же достается этим господам так называемое спасение и всепрощение!»

Лиза погрустнела и снова принялась за свою вышивку.

– Извини, мне нравится, как Иван Александрович все рассудил. Я так согласна!

– А Полонский считает, что надо было воспользоваться готовой церковной канвой. У нас сохраняется верование, что душа после смерти сорок дней ходит по мытарствам перед тем, как быть осужденной или помилованной. Через эти мытарства и надо было провести Манфреда. Есть у него и другая канва. Она мне ближе. Послушай. Манфред, покинув тело свое и став духом, все же чувствует на себе следы земной жизни, он ограничен пространством и временем, он по-прежнему далек от Бога, от истины, от вечного и бесконечного. В его душе возникают прежние страдания, сомнения, вопросы. Он знает тайны земли, но не знает тайн божественных. И слышатся вдруг ему слова Спасителя: «Будьте совершенны, яко совершенен Ваш Отец Небесный». Но Манфред не знает, да и не знал раньше, пути к этому совершенству. Он страдает от незнания. Его отуманенный взор проясняет чистая Любовь: *достигнуть* совершенства никто не может, но *достигать* совершенства все могут. Верить, надеяться, любить. Любить – обязательно. Без любви стремление к лучшему приводит к страданиям, с любовью – к блаженству…

– Как невозможно хорошо ты рассказал! Какие же вы, русские, удивительные…

– Это не я рассказал, а Яков Петрович Полонский. Они с Гончаровым большие художники… Я так не умею. Не понимаю, как быть с «Манфредом». Гончаров не щадит. Полонский пять с крестами ставит. Я, наверное, лирик. Драмы мне никогда не сочинить, а хотелось бы что-нибудь из русской истории или библейское… Не знаю как быть…

– Делать, как говорит твой мэтр. Нет, на русском есть лучшее слово…

– Пестун. Так я называю Гончарова.

– Да, да! Как он говорит? Закрыть «Манфреда» в портфеле на два года? Пусть сидит там! Совершенствуется…

* * *

Теперь, когда получены и прочитаны все отзывы на его первую книгу, можно было сосредоточиться на творчестве. Он

безоговорочно принял все замечания. Тревожили советы Фета: «Из тесноты случайности надо вынырнуть с жемчужиной общего». Страхов прост в пожелании: «Перед Вами далекий путь. Если вы не торопитесь, то хорошо делаете. **Будьте верны самому себе».**

Но вот Полонский… «Участь поэтического дара, – написал поэт, – зависит от обстоятельств и настроений общества. Громче и дальше слышна песня среди… чутко настроенного, никакими криками не отвлеченного внимания».

К. Р. вступал в новую культурную реальность подступающего нового века. «Каким путем, куда идешь ты, век железный? Иль больше цели нет, и ты висишь над бездной?» – писал в это время нелюбимый им Дмитрий Мережковский.

К. Р. видел, что рождается новый поэтический стиль с большей авторской свободой и субъективной рефлексией. Век, идущий на смену золотому веку, установит культ «абсолютно свободной личности», «сверхчеловека», что выразится в самообожествлении, особом своеволии, богоискательстве, эпатаже, когда будут воспеваться не только любовь, но и грех, не только Бог, но и дьявол…

Тридцатидвухлетним поэтом он войдет в этот новый век поэзии, название которому даст Анна Ахматова:

Были святки кострами согреты,
И валились с мостов кареты,
И весь траурный город плыл
По неведомому назначенью,
По Неве или против теченья, —
Только прочь от своих могил.
На Галерной чернела арка,
В Летнем тонко пела флюгарка,
И серебряный месяц ярко
Над серебряным веком стыл.
(«Поэма без героя», 1940–1965)

«Все зависит от состояния общества», – сказал старый поэт Полонский. Серебряный век закончится в 1917 году. [32] Позже литературоведы напишут об ощущении кризиса, предчувствии потрясений и катаклизмов. К. Р. жил среди этих состояний и не понимал, почему «поэтические сословия» так углубляют эти состояния. Декаденты с их чувством уныния, страха перед жизнью, безверием. Символисты и младосимволисты с их «тайнописью неизреченного», «утаенностью смысла», «мистически прозреваемой сущностью». «Им бы калик перехожих послушать да старцев из Солонецкой губернии – сразу бы „окно в бесконечность“ открылось», – думал Великий князь.

Одного из «старших» символистов, Константина Бальмонта, Великому князю однажды придется спасать. В революцию 1905–1907 годов Бальмонт станет публиковаться в большевистской газете «Новая жизнь», выпустит в горьковском «Знании» «революционный» сборник «Стихотворения» (1906), который будет конфискован полицией, а сам автор уедет за границу, где будет жить на положении политического эмигранта. В Париже издаст сборник «Песни мстителя» (1907), запрещенный к ввозу в Россию. В 1913 году Великий князь Константин Константинович добьется у Николая II амнистии для «стихийного гения», утверждавшего свое право на свободу и безумие. «Он – вне всего – прекрасный поэт», – доказывал Царю Константин.

На смену символистам придут акмеисты. В его библиотеку уже не попадут книги Н. Гумилёва, А. Ахматовой, Г. Иванова, но о поэтах этого направления он узнает, и ему будет импонировать их желание вернуть поэтическое слово к смысловым первоистокам.

В десятых годах появятся странные личности, назвавшие себя «футуристами». Этими он совершенно не заинтересуется, будет непримирим к стихотворному гримасничанью и цветистой фразеологии. Полагая это истязанием поэзии, он даже не иронизировал, как это делал Майков, когда речь заходила о декадентах:

У декадента все, что там ни говори,
Как бы навыворот, – пример тому свидетель:
*Он **видел** музыку; он **слышал** блеск зари;*
***Обнял** звезду; он **щупал** добродетель.*

* * *

Поэзия К. Р. совпала не только с новациями серебряного века, но и с исчерпанностью того художественного пути, которым до тех пор шла Россия в ее золотом веке.

Поэту надо было идти навстречу новому или оставаться в рядах навсегда уходящих.

«Оставайтесь всегда собой», – вспомнились ему на распутье слова Страхова. И он выбрал своих «великих стариков» – Гончарова, Фета, Майкова, Полонского, Страхова,

«священнодействуя смиренно перед поэзией святой…».

НА НУЖНОМ ПОСТУ И В НУЖНОЕ ВРЕМЯ

Жена решила остаться погостить у родственников в Альтенбурге, где они во второй раз отметили годовщину, на этот раз пятилетнюю, своего супружества. «Счастливого супружества, несмотря ни на что», – отметил про себя Константин Константинович. Правда, иногда ему хотелось более тесного слияния душ и более глубокого взаимопонимания, но разве бывает совершенное счастье? Елизавета Маврикиевна не перешла из лютеранства в православие. И хотя менять веру было совсем необязательно для немецких принцесс, выходивших за русских Великих князей, все же в православие перешла Мама, а совсем недавно и Элла, жена Сергея. Однако кого тут будешь винить, как не себя? Выходит, он не сумел внушить жене такую любовь к себе, как Пап? или двоюродный брат.

И тут он вспомнил, как огорчена была жена его отъездом, как расцеловала его на прощание, – растрогался и стал думать о ней светло и хорошо.

На вокзале в Петербурге его встретил Павел Егорович Кеппен с камердинером, что стало невольным подтверждением устоявшегося счастья. Великий князь по-сыновнему обнялся с милым Павлом Егоровичем. Он и представить себе не мог, что через каких-то две недели, 2 мая 1889 года, его душевное равновесие самым неожиданным образом нарушится, когда Царь призовет его к новой и совершенно непривычной для него деятельности.

* * *

Константин Константинович Романов в своем кабинете работал над текстом речи, которую должен был произнести в связи со своим вступлением в должность президента Российской академии наук на общем собрании его членов. Поставив точку, он перекрестился, а затем направился в молельню, расположенную между кабинетом и коридором. Зажег свечу и долго стоял перед иконой святителя Николая Чудотворца, мысленно прося у него благословения на новое свое поприще. Вернувшись в кабинет, еще раз прочитал свою речь, чтобы убедиться, соответствует ли она советам Кеппена: быть кратким, скромным, в меру комплиментарным, но вместе с тем выражать уверенность в том,

что его, Великого князя, никоим образом не страшит предстоящая задача.

«Проникнутый благоговением и исполненный безграничной признательности к воле моего Государя, удостоившего поставить меня во главе первенствующего в России ученого сословия, я с волнением и невольным трепетом приступаю к этой должности, пламенно желая при Вашем содействии оправдать оказанное мне доверие. Выпавшее на мою долю призвание представляется мне обязанностью столь же отрадною и завидною, сколько трудною и ответственною. Академия насчитывает в своем знаменитом прошлом не одного президента, сумевшего доблестно вести ее к высшей цели. Не легко занять место таких деятелей, какими были граф Разумовский, граф Орлов, княгиня Дашкова, граф Блудов, граф Литке и ближайший мой предшественник граф Дмитрий Андреевич Толстой. Но я твердо намерен с Божьего помощью и по мере сил всегда быть верным своему долгу и убежден, что Императорская Академия и впредь, как и в прошедшие сто шестьдесят четыре года, будет неизменно стремиться по начертанному ей нашими Великими Государями пути к пользе, чести и бессмертной славе дорогого нашего отечества».

* * *

Кандидатуру Великого князя Константина Константиновича на пост покойного графа Дмитрия Андреевича Толстого, возглавлявшего Академию наук, предложил Государю министр народного просвещения граф Делянов. Император отнесся к этому благосклонно. Великий князь был очень удивлен и польщен одновременно. С тех пор как вышла его книжка стихов, подписанная двумя буквами К. Р., он стал довольно популярен в кругах российской интеллигенции. Но достаточно ли этой известности, чтобы претендовать на столь высокую должность в Академии наук, ведь никаких научных исследований он никогда не вел? Он высказал свои сомнения Делянову.

– Науке, не меньше, чем талантливые исследователи, нужны умелые администраторы, которые сумели бы обеспечить организацию научной деятельности. Зная нынешнее состояние в Академии, могу заверить вас, что авторитетный и умелый чиновник там сегодня важнее иного профессора. Вы, Ваше Императорское Высочество, имеете опыт командования ротой, обладаете необходимым авторитетом и связями, в том числе и при дворе, и будете очень полезны науке. Так что, прошу вас, не отказывайтесь!

Он не сказал графу Делянову ни да ни нет и несколько дней ходил в раздумьях о величайшей ответственности, которую на себя возьмет, если согласится. Помимо всего прочего, у него не останется ни времени, ни сил для стихов, а ведь он числит себя прежде всего поэтом и хотел бы остаться в памяти людей не как Великий князь и дельный администратор, а именно как поэт. Посоветоваться с отцом? Нет, он только обрадуется назначению и скажет «с Богом». Отец считал науку опорой общества, государства и политики. По его инициативе и, случалось, на его деньги снаряжались экспедиции на Урал, в Заполярье, Сибирь, Среднюю Азию, а при отделении статистики велись серьезные политико-экономические исследования. В данном случае сын хоть в какой-то степени унаследует отцовское пристрастие и отец будет доволен тем, что поэзия уступит часть его души столь важному делу, как наука.

Высочайшая воля взяла верх. 7 мая 1889 года влиятельная русская газета «Новое время» вышла с передовой статьей, которая приветствовала его назначение: «Именным Высочайшим указом Правительствующему Сенату Великий князь Константин Константинович назначен Президентом Императорской Академии наук. Это высокое и почетное звание представителя и ходатая о нуждах науки вполне соответствует как дарованиям нового президента России под скромными инициалами (К. Р.), с которыми появлялись в печати (в том числе и в нашей газете) плоды его поэтических вдохновений, так и его русскому сердцу».

Великий князь читал и думал, что видит чудесный сон. 13 мая на общем собрании ученых в конференц-зале Академии наук на Университетской набережной в Санкт-Петербурге был оглашен высочайший указ, который члены Академии выслушали стоя. «Его Императорскому Высочеству государю Великому князю Константину Константиновичу всемилостивейше повелеваем быть президентом Императорской Академии наук».

* * *

С чего-то надо было начинать. Павел Егорович Кеппен посоветовал прежде всего изучить положение дел в Академии наук и, видя, что Великий князь рвется с места в карьер, предостерег от скороспешных действий.

– Не зная броду, можно много дров наломать, – сконструировал он новую пословицу. – Прежде всего постарайтесь не запустить все прежние свои обязанности и потихоньку входите в курс новых дел. Для начала же обратитесь к

нашему другу академику Безобразову и попросите подготовить для вас подробную записку о том, что надо в первую очередь сделать.

Владимир Павлович Безобразов, один из старейших академиков, действительно был другом еще с тех пор, как преподавал Великим князьям экономику. Константин Константинович написал ему письмо со списком вопросов. И уже через несколько дней получил с посыльным ответ, который начинался такими словами: «Высокочтимый Президент и обожаемый Константин Константинович…» Владимир Павлович считал, что Академия «в настоящее время представляется ему учреждением вымирающим», далеко отставшим от великой идеи своего великого основателя и от своего прежнего высокого положения в государстве. Главный и неизбежный способ ее оживления и обновления, по мнению Владимира Павловича, «заключается в значительном усилении денежных средств Академии, вследствие крайнего недостатка которых она не может исполнять своего призвания».

Ответ Владимира Павловича одновременно и расстроил, и обнадежил Великого князя: в самом деле, если обновление Академии зависит от получения дотаций, то дело это хотя и трудное, но конкретное, а потому, как показалось, посильное.

Новый президент посчитал своим долгом побывать в лабораториях, институтах, на заседаниях научных советов. Председательствовал он и на съездах естествоиспытателей и врачей и везде старался поближе сойтись с учеными, что ему довольно легко удавалось. Играли свою роль умение выслушать и понять собеседника, стать на его позицию, как и наследственная, романовская, хорошая память. Не раз случалось, что, встречая кого-то из своих новых знакомцев, он начинал разговор с той же мысли, а то и фразы, на которой прервал его две-три недели назад.

Эти встречи и беседы привели его к выводу, что необходимо пересмотреть устав Академии, утвержденный его дедом, Императором Николаем I, еще в 1836 году.

Президенту стало ясно и то, что необходимо в срочном порядке обновлять и руководство Академии. Уже к осени 1889 года не по своей воле оставил пост один из вице-президентов, а к марту следующего года – и непременный секретарь при трех последних президентах, который так был уверен в своей непотопляемости, что имел смелость говорить: переживу и четвертого, то есть Константина Константиновича.

Первый президентский год Великого князя закончился «великим авансом»… Выступая на академическом обеде 29 декабря 1889

года, вице-президент Яков Карлович Грот, ставший академиком почти за два года до появления Константина Константиновича на свет, под дружные аплодисменты коллег сказал следующее:

...

«С первых шагов Вашего Императорского Высочества в звании президента Академии наук мы поняли и оценили святые начала, положенные Вами в основу всех Ваших действий и отношений. Везде отражалась на них неусыпная заботливость о процветании Академии, о пользах каждого из ее учреждений, о благе каждого из ее членов; во всем мы видели доказательства того пристального внимания, с каким Ваше Высочество изучали все подробности нашей академической жизни, – того просвещенного участия, с каким следили за всеми нашими занятиями, вникали в наш трудовой быт, сближались с нашим товарищеским кругом. Мы радуемся случаю выразить Вашему Императорскому Высочеству нашу нелицемерную признательность и горячее желание, чтобы Провидение даровало Вам силы продолжать с неизменной энергией и полным успехом подъятые Вами с такой любовью и разумением труды к возвышению достоинства и славы Академии…»

Великий князь, конечно, не обольщался всеми этими похвалами, понимая, что умница Грот начертал здесь скорее программу, чем подвел итог.

Был еще один результат этих первых восьми месяцев президентства, позволивший ему, несмотря на ежегодно увеличивающуюся загруженность служебными, общественными и литературными делами, успешно руководить академией. Это

оптимальный порядок организации деятельности президента, который с незначительными изменениями сохранился до конца его срока. В чем он заключался? Вице-президент или непременный секретарь Академии с периодичностью в десять-пятнадцать дней составлял письменный доклад президенту о всех заслуживающих его внимания проблемах. В такие дни он приезжал в свой кабинет на Университетской набережной необычайно рано («Как трудно приучиться к точности и порядку! Вот уж мне 30 лет, а я все не могу привыкнуть вставать по утрам в один и тот же час…»).

Деловые встречи проходили не только в его кабинете, но и дома, в Мраморном дворце, где бывали и руководители академических учреждений, и ученые. Константин Константинович почитал за долг и честь председательствовать на собраниях и заседаниях ученого сообщества, а когда дело требовало того – и на заседаниях всех трех отделений: физико-математического, историко-филологического, русского языка и словесности.

* * *

Поэтический же итог года, как и следовало ожидать, скорее огорчил Великого князя, чем обрадовал. Восемь стихотворений – посвящения Фету, Чайковскому, Рубинштейну и несколько лирических зарисовок. Пожалуй, лишь «Любовью ль сердце разгорится…» в какой-то мере приближалось к лучшим образцам. Такой приговор с горечью вынес себе поэт К. Р.

* * *

С начала года президент предполагал все свои силы приложить к облегчению финансового состояния Академии. Однако жизнь подбросила новую проблему: надо было срочно заниматься замещением вакантной должности директора Николаевской пулковской обсерватории. Выбирать приходилось между строптивым московским профессором Бредихиным и петербургским академиком Баклундом, шведом по национальности, живущим более десяти лет в России. Интересно, что даже члены отделения русского языка и словесности, далекие от проблем астрономии и физики, в один голос заявили, что руководить обсерваторией должен русский ученый и иностранца Баклунда допускать к директорству никак нельзя.

* * *

Великий князь дожидался в кабинете Мраморного дворца профессора Московского университета Бредихина, известного астронома и физика. Вот уже год профессор в довольно резкой форме отказывался от предложения занять место директора Николаевской астрономической обсерватории в Пулкове. А свет клином сошелся именно на нем: Император недвусмысленно дал понять своему брату, президенту Академии наук, что пришла пора кончать с засильем иностранцев в русской науке. И тем более в Пулковской обсерватории, где как раз освободилось место директора. Бредихин был именно тот человек, авторитетный ученый и принципиальный администратор, который сумел бы привлечь в обсерваторию талантливых и перспективных русских ученых взамен немцев, давно засидевшихся там.

Конечно же талант и умение работать отнюдь не зависят от национальности, считал Великий князь, и немцы, которых привлек его великий предок Петр I, много сделали для развития наук в России. Но теперь, когда российская наука выходит на передовые рубежи и во всех ее сферах иностранцам наступают на пятки талантливые русские ученые, корпоративная преданность друг другу представителей немецкого сословия становится преградой для продвижения отечественных ученых.

Перед встречей с Бредихиным президент попросил для ознакомления несколько его научных работ, опубликованных в основанных тем же Бредихиным «Annales de l\' observatoire de Moskou» («Московских анналах») и в «Известиях Академии наук»; принесли ему также статью из одного немецкого журнала. И хотя Великий князь мало разбирался в астрометрии и определении положения малых планет, однако, прочтя журнальную статью, понял, что ему предстоит честь общаться с великим ученым, сделавшим в астрономии немало открытий.

Делянов, предваряя визит московского ученого к президенту, написал Великому князю: «… Он (Бредихин. – *Э. М., Э. Г.),* несмотря на все мои убеждения, решительно отказывается от предлагаемой ему должности, ссылаясь на сильную меланхолию, которой он одержим после самоубийства его единственного сына, который лишил себя жизни вследствие болезни, унаследованной будто бы от него, Бредихина. Может быть, по магическому влиянию Вашего Высочества на людей, Вы заставите его переменить намерение, но все мои к тому усилия разбились о непреклонность его воли…»

И все же поведение Бредихина какую-то надежду оставляло. Иначе зачем было приезжать в Петербург? Тем не менее он

приехал, встретился с Гротом, а затем с Деляновым. Одно было ясно: ни славы, ни денег Бредихин не ищет. Заслуженный профессор астрономии Московского университета, директор Астрономической обсерватории, тайный советник… И чем больше думал Великий князь об этой ситуации, тем больше ему хотелось, чтобы именно Бредихин директорствовал в Пулкове. На худой конец, в его распоряжении есть еще один решающий довод: монаршая заинтересованность в благоприятном исходе дела. Вчера ему на глаза попалась статья Бутлерова в газете «Русь» восьмилетней давности под заглавием «Русская или только Императорская Академия наук?» на ту же и сейчас злободневную тему. «Только теперь та разница, что мне как президенту самому приходится вести борьбу с немцами, и потому надежды на успех побольше прежнего», – подумал Константин Константинович и тут же упрекнул себя за самонадеянность.

* * *

Бредихин на вид оказался типичным ученым – лысый, с остатками седых, гладко причесанных на висках волос и грустным взглядом внимательных зеленых глаз. Константин Константинович знал, что ему 58 лет, но выглядел гость явно старше – по всей видимости, сказалась пережитая трагедия. Прежде чем пройти в кабинет, Великий князь предложил ученому небольшую экскурсию по Мраморному дворцу и пригласил остаться на обед после завершения беседы. Бредихин без особого энтузиазма согласился осмотреть дворец, а от обеда отказался, сославшись на необходимость быть в это время у родственников жены. По анфиладам и залам дворца ходил, однако, не без интереса и задал несколько вопросов относительно старинных портретов в галерее.

В кабинете Великий князь предложил Бредихину кресло по другую сторону своего письменного стола. Уселся он неглубоко, отклонившись на спинку кресла и сложив руки на животе, – выходило, что почти полулежал, и Великий князь подумал: не беспокоит ли профессора позвоночник?

– Признаюсь, уважаемый Федор Александрович, я нахожусь в сильном затруднении, решившись повторить вам предложение, которое вы с такой решительностью уже несколько раз отвергали, – начал Константин Константинович, с растерянной улыбкой глядя в глаза человеку, который по возрасту мог бы быть его отцом. – И прошу поверить – другой кандидатуры у меня нет.

Бредихин молча слушал, никоим образом не способствуя

продолжению разговора.

Константин Константинович выждал несколько секунд и, стесняясь своей прямоты, продолжил:

– Поверьте мне, я очень сочувствую вашему семейному горю, но позвольте не лукавить: ссылки ваши на сильную меланхолию, вызванную этими действительно печальнейшими обстоятельствами, кажутся мне скорее лишь удобным поводом для отказа занять должность в Пулкове… Причина, думается мне, иная…

Бредихин, подавшись вперед, перебил его:

– Позвольте вас спросить, Ваше Императорское Высочество, из чего же вы исходите, обижая меня недоверием?

Константин Константинович был смущен и не сразу нашелся с ответом. Но неожиданно уловив искорку интереса в глазах московского астронома, торопливо, с обидой, показавшейся Бредихину вполне искренней, возразил:

– Слово «недоверие» решительно оставляю на вашей совести, Федор Александрович. Без глубочайшего доверия к вам не было бы и этого нелегкого для нас обоих разговора. А исхожу я из того, что наилучшим выходом из меланхолии считаю погружение в новые заботы. Все ваши достижения в астрономии показывают, что и вы знакомы с этим рецептом, и тем не менее вы отказываетесь…

Константин Константинович встал из-за стола и полушутливо развел руками, как бы давая соответствующий знак и своему собеседнику. Поднялся с кресла и он.

Бредихину много рассказывали о новом президенте. Говорили, что в Великом князе не чувствуется никакой сановности, что он доступен и прост в общении и в разговоре никогда не скрывает ни своих мыслей, ни настроения, чем подкупает необычайно. И вместе с тем этому молодому человеку, решительно впрягшемуся в оглобли российской науки, не откажешь ни в уме, ни в проницательности.

Президент тем временем взял его под руку и увлек за собой. Прежде чем сесть на диван, они – стройный молодой Великий князь и приземистый мешковатый профессор – прошлись вокруг стола. Великий князь говорил горячо и страстно, не давая профессору возможности ни согласиться с ним, ни возразить:

– Если вы откровенно укажете мне подлинную причину, мы вместе подумаем, как быть. Со своей стороны готов открыться вам: для меня согласие ваше, Федор Александрович, очень и очень нужно, можно сказать, жизненно необходимо. Да и вы сами, наверное, не раз были в таком положении, когда на карту готовы поставить всё ради одной цели. А мне кажется, что я смогу

многое сделать для русской науки, но помогите мне начать.

«Эх, если бы мой Саша был так чем-либо увлечен, если бы у него так же горели глаза, ничего бы не произошло. Но все мои попытки увлечь сына наукой оказались тщетными, а тут еще эта разнесчастная любовь, умноженная на наследственную меланхолию…» – горестно размышлял Бредихин, наблюдая за все более симпатичным ему Великим князем. И ему действительно захотелось ему помочь. Но как? Обязательства перед женой не позволяли принять это предложение и переехать в Пулково.

– Поверьте, Ваше Императорское Высочество, у меня действительно есть на то причина, и не одна. Вы конечно же правы: работа – самое сильное средство против упадка духа… Но Анна Дмитриевна, моя супруга, считающая, что и ее жизнь кончилась с гибелью сына, не хочет более появляться в обществе. В Пулкове же она, как жена директора, вынуждена будет нарушить свой обет, а для нее это совершенно неприемлемо, равно как и для меня, поскольку явилось бы предательством.

Великий князь возликовал в душе, но виду не показал: дело обещало сдвинуться с места. У него тут же созрел план. Ведь без избрания в ординарные академики Бредихин не может стать директором Пулковской обсерватории, а академики и адъюнкты в соответствии с положением обязаны проживать в Петербурге, чтобы регулярно исправлять службу, посещать заседания отделений и Академии.

– Вполне разделяю вашу щепетильность по отношению к супруге и еще больше уважаю вас за это, Федор Александрович. И тем не менее позвольте спросить и о других причинах вашего отказа.

– Разве недостаточно уже одного этого препятствия, Ваше Императорское Высочество?

Великий князь промолчал, и Бредихин счел это за согласие:

– Потому я не хотел бы называть второе препятствие. Скажу только, что оно скорее нравственного свойства.

– Тем не менее я хотел бы его услышать, Федор Александрович! Потому что не считаю первое таким уж непреодолимым. И еще одна просьба: обращайтесь ко мне, пожалуйста, по имени-отчеству.

– Хорошо, Константин Константинович. Во время предыдущих бесед на эту тему, как в Москве, так и здесь, у меня создалась уверенность, что власти нужен не ученый-директор, а скорее инструмент для устранения иностранцев из науки. Мне, скажу со всей откровенностью, претит такая роль. Считаю, что главными должны быть только научные достижения, а никак не национальность. Исходя из этого, директором в Пулкове вполне

может стать уважаемый мной Герман Оттович Струве.

– Но, Федор Александрович, не считаете ли вы, что теперь, когда Россия располагает таким количеством блестящих русских ученых, а важнейшие посты занимают немцы и продвигают вперед друг друга, настало время устранить это препятствие на пути развития отечественной науки?

– Выходит, я прав, – с грустью произнес Бредихин. – Повторяю, только научные результаты и ничего другого! Истинный талант пробьет себе дорогу, как бы ему ни воспрепятствовали!

Великий князь понял, что в этом споре ему не выиграть и чем больше он будет возражать Бредихину, тем меньше останется шансов на успех. Ведь на стороне оппонента вполне успешная карьера в науке русского человека, выходца из семьи простого морского офицера, и это – тот самый личный аргумент, который не опровергнешь. Что скрывать, при других обстоятельствах Великий князь, возможно, и сам бы отстаивал подобную позицию.

– Боюсь, Федор Александрович, все мои аргументы на этот счет покажутся вам неубедительными, кроме одного: Государь Император поручил мне передать исключительно для вашего сведения, что всецело полагается на вашу преданность и ответственное служение России!

Бредихин выходил из Мраморного дворца со сложным чувством досады: волей Императора ему придется действовать против своих убеждений. Но к досаде примешивались теплота по отношению к Великому князю и удовлетворение той радостью, которую он прочитал на его лице после своего осторожного согласия. В том, что Константин Константинович устранит препятствия, связанные с переездом в Петербург, он не сомневался.

* * *

В середине марта 1890 года состоялось избрание Ф. А. Бредихина в ординарные академики с правом проживания в Москве. Спустя неделю на него были возложены обязанности заведующего обсерваторией и на правах директора предоставлена возможность «делать надлежащие представления о новых назначениях и перемены служебного положения лиц, занимающих ученые должности в обсерватории». Академика Бредихина не обязывали жить в Пулкове, предоставив ему возможность посещать Главную обсерваторию «по мере надобности на более или менее продолжительное время». По

желанию Бредихина содержание, полагающееся директору, было разрешено употреблять на жалованье сверхштатных астрономов.

Время и ответственность брали свое. Академик Бредихин все чаще приезжал в Петербург, а в октябре 1890 года согласился баллотироваться на должность директора обсерватории. Он единогласно был избран директором и столь же единогласно утвержден в этой должности общим собранием Академии наук 1 декабря 1890 года. Сразу же он переехал в Пулково и занял директорскую квартиру. Для Анны Дмитриевны Бредихиной, урожденной Бологовской, бывшей помещицы Костромской губернии, отказавшейся появляться в Пулкове, была снята скромная квартирка в Петербурге.

* * *

Поэт К. Р. очень огорчался, когда капризная поэтическая муза отказывала ему во внимании. А если муза его посещала, то ладились и другие его дела – куда легче жить, если их много и все они получаются! А стихи стали ладиться с 4 мая, когда по дороге в Гатчину появились первые в этом году лирические строки:

Опять томит очарованьем
Благоуханная весна,
Опять черемухи дыханьем
Ее краса напоена…

Вдохновение не покидало его до конца августа. И он уже мог подводить итог поэтического года, не дожидаясь его окончания, – 13 стихотворений. Не так уж и мало. И большинство из них льстили его поэтическому самолюбию.

За внешним ожиданием худшего, как заклинание, крылась какая-то мистическая надежда на лучшее. И так во всем. Начиная любое дело, Великий князь глубоко в душе прятал радостную надежду на его благополучное завершение, а внешне всегда был готов к худшему. И такая «психологическая тактика» в большинстве случаев оправдывала себя. «… Сочиняю сонет „Поступление“ в pendant к сонету „Пред увольнением“, но сомневаюсь в удаче…» Прошло пять дней, и Великий князь благословил дорогу в Павловск, когда был завершен сонет!

* * *

Директор обсерватории Ф. А. Бредихин успешно провел научные и кадровые преобразования в Пулкове и стал известен как «притеснитель немцев». Еще не будучи утвержденным в качестве полноправного директора, он уволил незадолго до этого принятых сверхштатных астрономов Ф. Блюмбаха, Б. Банаха и Й. Шретера, правда, посодействовал устройству первых двух на подходящие места в Петербурге. Осенью 1890 года в Пулково на должности сверхштатных были приглашены четверо выпускников по разряду математических наук из Петербургского и Московского университетов – В. В. Серафимов, А. А. Иванов, С. К. Костинский и С. С. Лебедев. На должности старших астрономов позже были представлены А. П. Соколов и Г. О. Струве, а на должность астрофизика – А. А. Белопольский, ставший впоследствии выдающимся ученым. Профессор геодезии Лесного института Соколов хорошо знал астрометрию и с марта 1891 года был вице-директором обсерватории до своего добровольного ухода в отставку в конце 1905 года в чине действительного статского советника. Впоследствии и Г. О. Струве был поднят Бредихиным до должности старшего астронома.

Уже 13 мая 1891 года Константин Константинович с удовлетворением запишет в своем дневнике: «Принимал Бредихина. Он постепенно изгнал из Пулкова неспособных шведов и дерптцев, заменив их дельными русскими. Остался один Герман Струве, обещающий сделаться дельным астрономом и подчиняющийся новым порядкам…»

По инициативе Бредихина были закуплены за границей и современные приборы, в частности фотографический рефрактор (то есть телескоп для фотографирования небесных тел, называемый также астрографом), который и был установлен в Пулкове летом 1893 года. С его помощью Сергей Константинович Костинский приобрел славу «отца русской астрографии». Академику Бредихину на посту директора Пулковской обсерватории удалось наладить регулярную публикацию результатов научных наблюдений и каталогов. Укреплению связей русских ученых с иностранными и изданию их трудов за границей способствовали посещения Бредихиным обсерваторий в Париже, Медоне, Гринвиче, Потсдаме и Берлине, как и успехи пулковских ученых в научной и учебной деятельности. По инициативе Бредихина было создано Русское астрономическое общество, одним из учредителей которого он стал.

Двадцатого октября 1894 года Ф. А. Бредихин подал прошение об отставке, ссылаясь на нездоровье. Он писал: «Все сколько-нибудь значительные мероприятия по обсерватории я предварительно представлял на благоусмотрение Е. И.

Высочества Президента, Комитета обсерватории и считал себя счастливым тем, что всегда был милостиво выслушиваемым и неоднократно удостаивался авторитетных указаний и ободрения».

Пост директора Пулковской обсерватории не без его рекомендаций унаследовал Оскар Андреевич Баклунд. Швед неукоснительно следовал всем пунктам программы Бредихина, включая и прежнюю кадровую политику.

Федор Александрович Бредихин умер в мае 1904 года от паралича сердца. Есть свидетельства того, что на его ранимой и возбудимой нервной системе плохо сказалась начавшаяся в январе Русско-японская война.

* * *

Известия о новых веяниях в Академии наук довольно скоро дошли до провинции. В сентябре 1889 года Великий князь получил письмо от саратовского губернатора генерал-лейтенанта И. А. Косича, который рассказал президенту о своей родственнице, талантливом математике Софье Васильевне Ковалевской и просил помочь ей вернуться на родину из Стокгольма, где она читала лекции в университете.

«Всякое государство должно дорожить возвращением выдающихся людей более, чем завоеванием богатого города» – эти слова Наполеона приводились в письме Саратовского губернатора. Константин Константинович не мог с ними не согласиться.

Естественно, Великий князь, типичный гуманитарий, в то время ничего не знал о Софье Васильевне как математике и обратился за соответствующей информацией в отделение физико-математических наук. Узнав о заинтересованности президента в судьбе Ковалевской, с ним попросил встречи академик Пафнутий Львович Чебышёв.

– Трагедия в том, что эта женщина, которой Бог дал выдающиеся математические способности, родилась в России и не может без нее жить! – первое, что он сказал.

Чебышёв оказался другом семьи Ковалевской, поддерживающим с ней научные контакты даже во время ее пребывания за границей. Он и рассказал Великому князю об этой удивительной женщине.

Отчаявшись получить высшее математическое образование в России, где женщинам оно недоступно, она уехала в Берлин. Но и там в университеты женщин принимали с большой опаской. Юной Софье Ковалевской как-то удалось получить аудиенцию у

знаменитого немецкого математика Карла Вейерштраса. Тот, скорее для того, чтобы отделаться от настойчивой просительницы, добивавшейся его поддержки при поступлении в университет, предложил ей на пробу решить задачу, на которую, как он полагал, даже способный математик-мужчина должен потратить не менее полусуток. А эта странная русская справилась с заданием чуть ли не за полчаса! Так Софья Ковалевская оказалась зачисленной в Берлинский университет, который с блеском закончила. Затем получила степень доктора математики и философии в Геттингенском университете.

Великого князя, горячего поклонника русских талантов, так поразил рассказ Чебышёва, что он даже зааплодировал Софье Ковалевской, на что Чебышёв грустно развел руками:

– Погодите радоваться, Константин Константинович, история-то и в самом деле трагическая!

Далее Чебышёв рассказал, что в гостеприимном доме Софьи Васильевны и ее мужа, ученого-палеонтолога, последователя и популяризатора учения Дарвина, Владимира Онуфриевича Ковалевского часто бывали и бывают видные ученые и литераторы, в том числе Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, академик И. П. Левкоев, сам Чебышёв, а в свое время – И. С. Тургенев, Ф. М. Достоевский. Однако, несмотря на известность, авторитетные знакомства и связи в ученой и литературной среде, работы по специальности на родине найти она не смогла. После самоубийства мужа в 1883 году, занявшегося коммерцией и запутавшегося в долгах, она, получив приглашение занять должность приват-доцента в Стокгольмском университете, уехала в Швецию. Потом выиграла конкурс Парижской академии наук, где ее научная разработка была признана настолько ценной, что первоначальный размер премии сочли нужным повысить чуть ли не вдвое! Несколько месяцев спустя первая русская женщина-математик получила премию Шведской академии наук.

– Однако Софья Васильевна мечтает работать в России. Но и теперь все попытки найти у нас соответствующую должность безуспешны, – продолжал академик. – Вы знаете, в университетах наших существует сильная партия «ненавистников женского вопроса». В ответ на ее хлопоты один довольно либеральный министр заявил, что «Ковалевская и ее дочь успеют состариться, прежде чем женщин будут допускать к университету». Существует, правда, еще одна причина, осложняющая дело, – ее интерес к «общественным вопросам»…

Не особо надеясь на успех, президент официально поручил непременному секретарю К. С. Веселовскому выяснить возможности переезда Ковалевской в Петербург. Тот ничего

нового не узнал и сообщил Великому князю в письме: «Так как доступ на кафедры в наших университетах закрыт для женщин, каковы бы ни были их способности и позиция, то для г-жи Ковалевской в нашем отечестве нет места столь же почетного, как то, которое она занимала в Стокгольме». Оказалось, что в соответствии с уставами учебных заведений Российской империи Софья Васильевна могла стать профессором лишь на Высших женских курсах, а это выдающегося профессора Стокгольмского университета вряд ли устроило бы.

В один из приездов Софьи Васильевны в Петербург Великий князь встретился с ней и был поражен ее умом, глубокой эрудицией и подкупающей искренностью в обращении. Она понимала ситуацию и сочувствовала Великому князю, взявшемуся за непосильное дело, и даже извинилась за хлопоты, которые доставило президенту прошение ее родственника. С Ковалевской познакомилась и Александра Иосифовна, пригласила ее в гости в Мраморный дворец. И все же, несмотря на взаимные симпатии и уважение к научным заслугам женщины-ученой, Константин Константинович реально понимал, что не может в одночасье изменить сложившиеся веками законы. Однако для него всегда было важным, без лишних потрясений и скандалов, помочь талантливому человеку, тем более что проблема выходила за пределы судьбы одного человека, являясь больным для того времени вопросом равноправия женщин.

С одобрения Великого князя и по инициативе П. Л. Чебышёва несколько академиков предложили физико-математическому отделению «избрать Софью Ковалевскую членом-корреспондентом Академии наук». При баллотировке она получила 14 белых и шесть черных шаров. Но избрание еще должно было утвердить общее собрание Академии наук, которое вел сам президент. Его авторитет сыграл свою роль: 20 белых шаров против тех же шести черных. Так Софья Ковалевская в 1889 году стала первой в истории российской науки женщиной – членом-корреспондентом Академии наук. И хотя этот почетный титул никаких прав в российских университетах не давал, Великий князь отдавал себе отчет в том, что в случае вакансии на место действительного члена не могло быть никаких законных препятствий к занятию этого места женщиной. А действительный член Императорской Академии наук вполне мог занять кафедру в любом высшем учебном заведении.

Однако судьба не отпустила Софье Васильевне необходимого для ожидания времени. В январе 1891-го, простудившись при возвращении из очередной поездки в Швецию, Ковалевская умерла от воспаления легких, в возрасте сорока одного года.

* * *

Печальная история Софьи Ковалевской заставила президента глубже взглянуть на проблему образования женщин в России. Будучи почетным попечителем Педагогических курсов при Санкт-Петербургских женских гимназиях, он всецело поддержал проект о преобразовании курсов в высшее учебное заведение – Женский Педагогический институт.

При его непосредственном содействии Педагогический институт, созданный в мае 1903 года, получил современную учебную базу, общежитие и квалифицированных преподавателей. Великий князь обратился в официальном письме к Императору Николаю II с просьбой выделить 400 тысяч рублей, чтобы приобрести для института подходящий дом, где можно было бы шире развернуть учебное дело – «готовить новых учителей и учительниц для новой школы». Понимая, что обращается к Императору не в самый удачный момент (началась Русско-японская война), он тем не менее убеждал Николая II: «Для покупки дома необходимы средства, и, казалось бы, во время войны нельзя о них и заикаться. Но война и ее тяготы преходящи, а потребности жизни Государства не перестают нарастать». Николай II отказал…

Тогда Константин Константинович ревностно и со всей ответственностью возложил на себя обязанности по поддержке Женского Педагогического института и до конца жизни их исполнял.

* * *

Исследователи подсчитали, что за четверть века президентства К. Р. состав Академии наук пополнился шестьюдесятью восемью новыми членами, причем среди вновь избираемых академиков многие являлись учеными с мировыми именами. При этом надо отметить, что в соответствии с тогдашним уставом и академической традицией мнение президента в пользу того или другого кандидата было решающим.

И все же Константину Константиновичу, несмотря на все его старания, не удалось организовать избрание в академики великого русского химика Дмитрия Ивановича Менделеева. В дневнике Великого князя есть запись от 28 февраля 1890 года: «… В заседании Физико-математического отделения академик Овсянников прочел записку об ученых трудах профессора Алекс.

Онуфриевича Ковалевского [33] … Удалось-таки провести Ковалевского, это победа. Одним русским будет больше, а там при счастии проведу и Менделеева…»

Дмитрий Иванович Менделеев, автор знаменитой периодической системы химических элементов, с 1876 года являлся членом-корреспондентом Петербургской академии наук по физико-математическому отделению, однако при выдвижении его в академики в 1880 году был забаллотирован. [34] В знак протеста ряд известнейших российских университетов избрал его своим почетным членом. За время президентства Константина Константиновича вопрос об избрании Менделеева поднимался несколько раз, но безрезультатно. Более того, в конце 1899 года, когда Академия уже значительно обрусела, министр финансов Сергей Юльевич Витте снова наступил на больную мозоль К. Р. В письме, целиком посвященном Менделееву, министр обращал внимание президента на тот факт, что человек, представляющий «собою тип удивительного русского ученого», – не академик. «Будь он француз, немец, англичанин – он уже давно был бы членом высшего ученого национального учреждения. Его имя известно всему миру… Нет человека без греха. Но я знаю также, что всегда наступает момент, когда высшие чувства, высшие помыслы отодвигают низшие и воздается дань справедливости каждому по его заслугам. Но наступит ли уже этот момент для старика Дмитрия Ивановича Менделеева?…» В 1893 году Витте назначил Менделеева управляющим Главной палатой мер и весов Министерства финансов, учрежденной по инициативе ученого. Однако, несмотря на все старания президента Академии наук, великий ученый так и скончался в 1907 году в звании члена-корреспондента, что нередко сравнивают с камер-юнкерством Пушкина.

* * *

Вникнув в суть дел, Великий князь обнаружил, что Академия живет в соответствии со штатным расписанием, системой финансирования и уставом, утвержденными еще Императором Николаем I в 1836 году. Попытка Александра II пересмотреть устав и штаты Академии в 1863 году, с «целью усиления ученой ее деятельности», не удалась.

Константин Константинович помнил удачный опыт отца по изменению Морского устава, когда во все флоты, всем офицерам были посланы депеши с просьбой прислать свои предложения. Президент также направил во все отделения академии подобные

просьбы. Ответы пришли довольно быстро, но, изучив их, Великий князь пришел к выводу, что предлагаемые изменения в уставе так или иначе упираются в расширение штатов и увеличение финансирования. Образовался как бы замкнутый круг: без увеличения финансирования нельзя изменить устав, а без изменения устава нельзя добиваться дополнительных бюджетных ассигнований.

Павел Егорович Кеппен, давно ставший добрым другом и неоценимым советчиком Великого князя, предостерег:

– Как бы хорошо ни относился к вам Государь, и он не сможет вам помочь, Константин Константинович. Запаситесь терпением, вам так или иначе придется пройти все круги этого бюрократического ада. А чтобы не колесить подчас по одному и тому же кругу, нужно знать, у кого и под каким предлогом испрашивать. К примеру, конек нового министра финансов Сергея Юльевича Витте – практическая польза. Обоснуйте проект ею да еще заручитесь поддержкой Дмитрия Ивановича Менделеева – и получите значительный шанс на успех.

Павел Егорович был прав: следовало искать более короткий путь к улучшению финансирования и увеличению штатов Академии. Тогда у президента и созрела мысль составить записку об общих нуждах Академии, а пока суд да дело, подавать прошения по конкретным проектам, главным образом министру финансов. Однако Академия наук находилась в ведении Министерства просвещения, и надо было заручиться согласием министра графа Ивана Давыдовича Делянова.

Иван Давыдович слыл милейшим человеком, к которому с покаянием и просьбой о прощении мог обратиться любой студент, отчисленный из университета. И если был искренен с министром, то получал возможность продолжать учебу. Отличался граф Делянов и острым, насмешливым умом, его меткие характеристики надолго прилипали к человеку. При его скромном, в одно окно, кабинете не было даже приемной: посетители принимались в гостиной, а о их появлении докладывал лакей. Любой студент или курсистка со двора попадали прямо в кабинет министра.

Таким же путем оказался там и Великий князь. Постучав в дверь, князь услышал гостеприимное: «Да!»

– Я к вам, как студент, за добрым советом!

– Ну и придумали – студент! Вы – президент! А что касается советов, то они не деньги, с удовольствием могу дать сколько угодно, не зря же я – действительный тайный советник!

Изложив в двух словах идею, с которой пришел, Константин Константинович спросил:

– Как думаете, Иван Давидович, стоит попробовать? Хуже ведь не будет, правда?

– А будет ли лучше, Ваше Императорское Высочество? – ответил Делянов, но, немного подумав, добавил: – А действительно, хуже не будет! Куда уж хуже! Составляйте записку, но учтите, что Государь при обсуждении со мной необходимости увеличения ассигнований Академии хотя и дал согласие, предупредил, однако, иметь надлежащую умеренность в предложениях на этот счет.

Проект записки на имя графа Делянова подготовил академик В. В. Радлов. Ознакомившись, Константин Константинович нашел ее слишком пространной и не очень убедительной. С ним согласились непременный секретарь и оба вице-президента академии.

* * *

Великий князь, как флигель-адъютант свиты Его Императорского Величества, заступал на свое очередное дежурство при Государе в Аничковом дворце, где находилась царская квартира. Иногда Александр III, узнав, что дежурит двоюродный брат, заходил перебросится с ним одной-двумя фразами.

На этот раз, отправляясь в Аничков, Константин Константинович взял с собой проект записки о самых насущных финансовых нуждах Академии, чтобы над ним поработать. Послушавшись совета генерал-майора Кеппена, он, не поправляя сути документа, сократил его и начал с изложения «практической пользы» Академии для России. И слова эти конечно же были обращены не к графу Делянову, а к министру финансов Витте и членам Государственного совета.

«Чтобы с полным знанием дела и совершенным беспристрастием судить о размерах сумм, необходимых на содержание Академии наук, необходимо иметь в виду степень пользы, принесенной этим учреждением… Отечественная история, статистика, география, этнография, изучение России в отношении всех царств природы было постоянным предметом занятий академиков в продолжение всего существования Академии. Высоко поставленное в государстве ученое сословие указывает на связь, существующую между умственным состоянием страны и политическим ее значением в ряду других просвещенных государств… Степень процветания Академии должна служить нормой того умственного уровня, на котором

стоит государство…»

Ничто не изменилось под луной: как испокон веку, так и в наши времена наука и культура в России финансируются по «остаточному принципу». И сейчас денежные средства Академии, как и в пору президентства Великого князя, «не соответствуют высокой цели ее учреждения», из-за чего лучшие умы России перетекают на Запад. Нынешний президент РАН, если бы он решил обратиться за содействием к нынешнему российскому президенту, вполне мог бы взять за образец записку, подписанную Константином Константиновичем Романовым почти 115 лет назад!

В качестве приложения к общей записке Великого князя были посланы проекты штатного расписания различных подразделений, а также увеличения окладов действительных членов Академии и предложение об учреждении особой зоологической лаборатории. На все эти нужды испрашивалось дополнительно к «ныне отпускаемым суммам» 69 тысяч 217 рублей и 75 копеек. Всё было исчислено, как указывалось, с крайней осмотрительностью.

После оживленных дискуссий новый штат Академии был утвержден и ежегодный ее бюджет был увеличен на 53 тысячи 563 рубля! Вице-президент Академии наук Яков Карлович Грот в восторженном письме поздравил Константина Константиновича с первой большой победой.

Штатное расписание Академии наук 1893 года действовало в течение почти двадцати лет, пока Николай II в 1912 году не утвердил новое. Штаты Академии наук были расширены до 153 человек. Ежегодные бюджетные ассигнования на нужды науки и ее служителей стали составлять свыше миллиона рублей. Прибавку к зарплате получили в основном сотрудники среднего звена.

Между этими двумя большими были и «маленькие победы», позволяющие финансировать специальные проекты, направлять экспедиции, создавать и модернизировать новые институты, обсерватории и исследовательские лаборатории. Их значение для развития и славы российской науки переоценить невозможно.

* * *

Президент и новое руководство взяли курс на укрепление связи Академии с высшими учебными заведениями; лучшие университетские профессора и исследователи пополняли ряды академиков. У Академии стали появляться свои представители и

корреспонденты в провинции. Это были сотрудники ученых архивных комиссий, музеев, земские деятели. Именно Академии стали передаваться частные средства для поощрения лучших научных и литературных трудов, что свидетельствовало о том, что Академия постепенно становилась и культурным центром России. Уже в 1890 году такой капитал составил полмиллиона рублей.

Великий князь с удовольствием отмечал для себя, что поток писем, записок и прошений в адрес президента нарастает из месяца в месяц, а в его кабинете, как говорится, не закрываются двери. Да и члены Академии убеждались, что на высоком посту появился человек, не только заинтересованный в развитии отечественной науки, но который хочет и может помочь в решении их конкретных проблем.

Образованнейший человек своего времени, Константин Константинович Романов не мог не видеть наступления новой эры стремительного развития науки и техники и считал, что Россия и здесь не должна уступать Западу. Не случайно в своих деловых записках к власть имущим Великий князь постоянно ссылался не только на веление времени, но и на достижения западных ученых, от которых русским отставать негоже. Словом, на нужном посту и в нужное время оказался нужный отечественной науке человек, этим и объясняются положительные тенденции в ее развитии в конце XIX – начале XX века, ее значительные достижения. Некоторые научные открытия и разработки просто не могли бы состояться без личного содействия президента Академии наук.

Благодаря этому содействию в России был открыт целый ряд обсерваторий, а одна из них, Одесская, построена на личные средства Великого князя.

В его дневнике за 6 марта 1891 года есть запись: «Был в академическом заседании: отпустил 12 000 р. своих средств на Каракумскую экспедицию в надежде, что м-стр финансов вернет их мне в будущем году». Академическая экспедиция Ивана Черского в Восточную Сибирь для исследований в районе рек Индигирки, Колымы и Яны, а также экспедиции на Шпицберген, на Новую Землю, в Семиречье и Монголию также отправились в срок благодаря президенту. Многое сделала для науки русская полярная экспедиция известного исследователя Арктики барона Эдуарда Толля на парусно-моторной шхуне Великого князя «Заря». Константин Константинович по просьбе Толля добился участия в экспедиции гидрографа – молодого лейтенанта флота Александра Васильевича Колчака. Лейтенант был снят накануне отплытия с броненосца «Петропавловск», когда тот находился в

греческом порту Пирей. Так уж вышло, что будущий адмирал и руководитель Белого движения был спасен от верной гибели: 31 марта 1904 года «Петропавловск» подорвался на мине.

* * *

У Великого князя, как говорится, «был нюх» на перспективные для науки и страны проекты. Мало кому известно, что президент способствовал строительству первого в мире ледокола, способного преодолевать тяжелые льды. Автор идеи ледокола, флотоводец и ученый-океанограф, адмирал Степан Осипович Макаров, отчаявшись получить средства на создание ледокола, обратился за помощью к Великой княгине Александре Иосифовне. Великая княгиня благосклонно выслушала и посоветовала обратиться к сыну, который был не только президентом Академии, но и председателем Российского географического общества.

Адмирал убеждал Константина Константиновича в том, что строительство ледокола обеспечит России первенство перед другими странами в освоении богатств Арктики, откроет кратчайшие пути к островам в Северном Ледовитом океане и, в конце концов, даже к Владивостоку. Он познакомил Великого князя с идеей корабля, показал чертежи и расчеты средств на его строительство.

Великий князь благодарил судьбу, что нежданно-негаданно она дает ему шанс хоть таким образом продолжить дело отца.

– Считайте, что я целиком и полностью на вашей стороне, уважаемый Степан Осипович, но я – еще не Академия и тем более не министр финансов.

Обратиться прямо к министру финансов Великий князь на этот раз не рискнул. Для рачительного Витте не существовало авторитетов, если речь шла о деньгах. Сергей Юльевич сам был творцом своей невероятной карьеры. Принадлежавший к родовитому дворянству, выпускник Новороссийского университета, кандидат математики, в свое время он был принужден служить кассиром на Одесской железной дороге. Скоро, пройдя все необходимые ступени, он поднялся до управляющего Юго-Западными железными дорогами. В его творческом и послужном активе было научное исследование о формировании железнодорожных тарифов и их оптимизации.

Смелый, решительный, с независимым характером, в первую очередь он ставил всё на пользу делу, что и послужило толчком к его неожиданной карьере и переезду в Петербург. В то время

императорский поезд проходил все станции с бешеной скоростью, а Витте в интересах безопасности на участках вверенной ему дороги резко ее ограничил. Об этом доложили Александру III. Он вспомнил о строптивом управляющем и его резонах после крушения царского поезда на станции Борки.

У нового министра финансов была манера, принимая автора того или иного проекта в своем кабинете, предлагать себя в качестве яростного оппонента. Если министр в конце часового или даже двухчасового спора сдавался, то разгоряченно восклицал: «Я вас не понимаю, что вы от меня хотите, зачем это делать!..» Но спустя минуту-вторую остывал: «Ну да, делайте, делайте…»

Великому князю уже приходилось сталкиваться с таким способом пробивания финансовых идей. Но на этот раз он чувствовал себя неуверенно, боясь опростоволоситься в поединке с таким технически и экономически образованным человеком, каким был Сергей Юльевич. Боевой вице-адмирал, после фиаско в Морском министерстве, тоже опасался скрестить шпаги в кабинете министра финансов.

Тогда была выработана целая стратегия получения средств на строительство ледокола. Прежде всего вице-адмирал Макаров выступит с лекцией на одном из общих заседаний Академии, чтобы привлечь научное сообщество на свою сторону. Далее Константин Константинович соберет у себя дома, в Мраморном дворце, заседание Географического общества и пригласит ученых и видных сановников, включая министра финансов Витте. После подробного доклада вице-адмирала Макарова о значении ледокола для освоения Арктики выступит Великий князь от имени Географического общества и Академии наук. Затем будет испрошено мнение гостей. Кто захочет – выступит, другие смогут высказаться в частном порядке во время обеда.

Составляя приглашение министру, Великий князь вспомнил о дружбе Витте с Менделеевым, о том, что министр прислушивается к советам ученого, когда дело касается финансирования и внедрения изобретений. Но тут была одна деликатность: президент Академии наук приглашает в союзники ученого, который был забаллотирован при избрании в академики и наверняка этим обижен. Президент позвонил Менделееву по телефону и попросил его непременно прийти, объяснив суть дела. Дмитрий Иванович пообещал быть, ни словом не выдав своей обиды.

На заседании Географического общества Степан Осипович Макаров представил яркую картину будущих успешных российских экспедиций в северные широты и дальние моря.

Перспективы создания целого ледокольного флота произвели впечатление на собравшихся, в том числе и на министра, и на сидевшего с ним рядом Менделеева.

Поступило даже предложение начать сбор частных взносов на строительство судна.

– Подавайте еще раз записку в Министерство морского флота с приложением отзывов Академии и Географического общества, – сказал вице-адмиралу Витте, пожав ему руку. – Глядишь, помолясь, начнем.

Дмитрий Иванович Менделеев со своей стороны предложил свою консультацию при подготовке документа и согласился войти в комиссию по разработке технического задания на проектирование ледокола, которую собирался возглавить С. О. Макаров. Прощаясь, министр благодарил Великого князя за инициативу и организацию очень полезного дела.

* * *

В начале марта 1899 года ледокол «Ермак» под командой С. О. Макарова успешно совершил переход из Ньюкасла, где был построен по чертежам английской фирмы «Армстронг», выигравшей конкурс, в Кронштадт, преодолев льды Финского залива.

Здесь он освободил из тисков льда корабли на кронштадтском рейде, а потом отправился с этой же целью в Ревель (Таллин) и Петербург. Около острова Гогланд в Финском заливе «Ермак» спас севший на камни броненосец «Генерал-адмирал Апраксин». Во время этих спасательных работ на ледоколе преподаватель минных классов Александр Степанович Попов впервые применил свой беспроволочный телеграф. «Ермак» оказался долгожителем и оставался в эксплуатации до 1963 года. Основные принципы, заложенные в его конструкции, позднее использовались и при создании мощных атомных ледоколов.

Многие знают о том, что знаменитый «Ермак» построен вице-адмиралом Макаровым. Но кто помнит человека, давшего ледоколу жизнь?

* * *

Являясь утром в свой кабинет на Стрелке Васильевского острова, Константин Константинович первым делом просил показать ему письма. Среди посланий находилось одно-второе от

нуждающихся вдов и сирот университетских профессоров, сотрудников Академии, писателей. Первое время президент посылал им по 15–25 рублей из своих личных средств, однако с каждым годом подобных письменных просьб становилось все больше.

Поразмыслив над этим грустным фактом, Константин Константинович решил, что нужно учредить при Академии специальный государственный фонд помощи остронуждающимся представителям российской интеллигенции. Министр финансов Витте, с которым деловые отношения Великого князя постепенно переходили в полудружеские, предупредил его, что в этом деле обязательно нужно заручиться высочайшей поддержкой.

Николай II благоволил к Великому князю, с юных лет убедившись в том, что все его действия диктуются в первую очередь преданностью престолу и Отечеству, и кроме того, уважая в нем выдающегося представителя царствующего рода. Выслушав Константина Константиновича, Николай II тут же поручил ему самому подготовить проект высочайшего указа министру финансов о создании фонда и Постоянной комиссии для приема и рассмотрения ходатайств нуждающихся ученых, литераторов и публицистов, а равно их вдов и сирот, о производстве им денежных пособий и пенсий. Комиссия просуществовала до Октябрьской революции. Тысячи, а то и десятки тысяч нуждающихся ученых, литераторов, деятелей культуры, их вдов и сирот получали пожизненные или временные пенсии и пособия. Когда полярный исследователь Эдуард Васильевич Толль во время экспедиции на шхуне «Заря» к Новосибирским островам в 1902 году пропал без вести в районе острова Беннетта, президент сказал: «Надо возбудить ходатайство о пенсии баронессе Толль. Для достижения лучшего я обратился к Его Величеству… На барона Толля надо смотреть как на павшего во славу науки, подобно воинам, полагающим жизнь во славу оружия».

Большой общественной похвалы заслужила еще одна инициатива Великого князя на посту президента Академии наук. В декабре 1899 года, когда отмечалось 100-летие со дня рождения А. С. Пушкина, в честь этого события при отделении русского языка и словесности был учрежден Разряд изящной словесности. В его задачи входило составление Словаря русского языка и аннотированное издание произведений русских писателей. Избирались в состав Разряда изящной словесности также почетные академики из числа известных писателей, литературных критиков. Уже 8 января 1900 года состоялись первые выборы «пушкинских» академиков, которыми стали А. М.

Жемчужников, А. Ф. Кони, В. Г. Короленко, А. А. Потехин, В. С. Соловьев, В. В. Стасов, Л. Н. Толстой, А. П. Чехов и Великий князь К. К. Романов.

Выступая перед академиками в Мраморном дворце, Великий князь сказал: «… Наш круг может и должен расти; но да будет этот рост постепенен и правилен, чтобы служить не в ущерб Разряду изящной словесности, а к изящному его укреплению. От души выражаю пожелания, чтобы доблестный круг ваш расширялся не по веянию партийного духа, а под веянием строгой и осмотрительной разборчивости, в силу уважения к нравственному облику избираемого и всегда согласно с чуткою художественною совестью. Недаром Пушкин от истинного художника требовал „взыскательности“ и суд его над самим собою считал высшим судом».

На первом заседании членов Разряда изящной словесности президент Академии определил направление работы нового академического учреждения: «… Ныне… к предметам занятий прибавлены: история русской культуры, история славянских литератур, история иностранных литератур по отношению к русской, история и теория искусства, теория словесности и историко-литературной критики. Вам, господа, как первым членам этого Разряда, предстоит сделаться связующим звеном между областью науки и миром литературы. ‹…› Как от всего сердца не пожелать, чтобы каждому из нынешних и будущих членов Разряда изящной словесности, в память бессмертного Пушкина призванных пещись о русском слове, всегда и неизменно слышался его завет:

… Дорогою свободной
Иди, куда влечет тебя свободный ум,
Усовершенствуя плоды любимых дум,
Не требуя наград за подвиг благородный».

Через несколько лет произошел инцидент с избранием в почетные академики Максима Горького. 5 февраля 1902 года общее собрание избрало почетными академиками писателей А. М. Пешкова (Горького) и драматурга А. В. Сухово-Кобылина. Об этом сразу же известили Горького, который находился в Крыму. Извещение о своем избрании писатель получил 3 марта. Однако уже 10 марта по настоянию Императора Николая II в «Правительственном вестнике» с ведома президента было опубликовано следующее сообщение «От Императорской

Академии наук»: «Ввиду обстоятельств, которые не были известны соединенному собранию Императорской Академии наук, выборы в почетные академики Алексея Максимовича Пешкова (псевдоним „Максим Горький“), привлеченного к дознанию в порядке ст. 1035 Устава уголовного судопроизводства, – объявляются недействительными».

История эта в свое время наделала много шума. Свое несогласие с решением Академии наук в отношении М. Горького выразили многие деятели культуры. Более того, А. П. Чехов и В. Г. Короленко в знак протеста гласно сложили с себя звание почетных академиков, а почетный академик В. В. Стасов объявил, что впредь не будет посещать заседания Академии.

Как умнейший человек своего времени, Константин Константинович конечно же понимал, что неумолимый ход истории требует устранения множества пережитков, что институт царской власти – в его незыблемом виде – тормозит развитие страны. С другой стороны, он сам был его представителем, давшим при совершеннолетии верноподданническую присягу. И хотя многие его действия выходили за рамки монархических норм и традиций, вызывали гнев и осуждение консерваторов, встав перед недвусмысленным общественным выбором, он всегда принимал сторону Царя. Да и могло ли быть иначе? Вот и грозный для самодержавия 1905 год не однажды ставил президента перед подобным выбором. Как известно, большинство зданий Императорской Академии наук располагалось тогда в самом центре Санкт-Петербурга, на Стрелке Васильевского острова. Их часто использовали для базирования войск и полиции, из-за чего на длительное время закрывались музеи, возникали конфликты между учеными и военным командованием. В январе директор Музея зоологии академик В. В. Заленский обвинил командира роты Финляндского полка в том, что его солдаты, размещавшиеся в музее пять дней, «загрязнили полы, сломали угол мраморной доски умывальника и т. п.». С жалобой на солдат гвардейского Уланского полка обратился и директор Музея антропологии и этнографии академик В. В. Радлов. По его данным, солдаты, располагавшиеся рядом с Кунсткамерой, избили научного сотрудника музея В. И. Анучина. В интересах безопасности служащих директор распорядился закрыть музей.

Константин Константинович счел нужным сделать устное внушение обоим директорам. «Прискорбно, что чины Финляндского полка, наконец освобожденные от тяжелой обязанности охранять денно и нощно спокойствие столицы, – сказал он, – унесут из подведомственного Академии наук

учреждения горькое чувство незаслуженной обиды».

Похожая история произошла и в ноябре 1910 года, когда Великого князя попросили содействовать освобождению зданий Академии от постоя войск и полиции. Константин Константинович ответил на это: «Я сам собственник дворца, но не считаю себя вправе пользоваться этой привилегией и предоставляю дворцовые манежи и дворы для помещения команд и нарядов, вызванных противодействовать сборищам. Тем более должны быть использованы в целях водворения и обеспечения общественного порядка дворы и свободные помещения казенных зданий».

Первая русская революция активизировала и научную общественность России в борьбе за свободу мнений и академической деятельности. Ученые не выходили на улицы, а использовали для своего волеизъявления прессу. В 1905 году в петербургской газете «Русь» была опубликована статья «Нужды просвещения (Записка 342 ученых)». Эта записка по своему стилю напоминала распространявшиеся тогда прокламации. Там, в частности, утверждалось: «Академическая свобода несовместима с современным государственным строем России».

Великий князь был озабочен и раздосадован тем, что среди подписавших записку было 17 членов Императорской Академии наук. После длительных раздумий он направил каждому из этих подписантов резкое циркулярное письмо. Константин Константинович упрекал ученых и советовал им «освободиться сперва от казенного содержания, коим пользуются от порицаемого ими правительства», а затем уже требовать политической свободы. Наивно было ожидать, что этим циркуляром всё и закончится. Большинство из адресатов Великого князя направили ему ответные послания. «У многих ученых есть труды, ценность которых не измерить казенным содержанием, польза переживет всякие предостерегающие циркуляры», – писалось в одних. «Если бы в России было обращено должное внимание на потребность народа в грамотности и в учении, дана была бы свобода слова и печати, страна пользовалась бы в настоящее время спокойствием внутри, силой и уважением извне», – замечалось в других.

Великий князь явно не ожидал такой дружной отповеди. До сих пор у него была возможность гордиться теми коллегиальными и даже дружескими отношениями, которые во многом сложились благодаря его такту и умению вникать в заботы и нужды Академии и ее членов. Один неосторожный шаг – и приобретенный с таким трудом и необходимый ему авторитет может быть поставлен под вопрос. Палочкой-выручалочкой опять

явился Павел Егорович Кеппен. Ознакомившись с циркулярным письмом Великого князя и ответами ученых, он только что не обругал собеседника:

– Не верю, Константин Константинович, что именно вы написали такое! Что ж, реакция вполне адекватна словам, которые они совершенно справедливо сочли за обиду.

– И что же теперь делать? Повиниться перед каждым? Я готов, – сказал вконец расстроенный Великий князь.

– Погодите, погодите, хотя повинную голову не секут, но тут нужен ответ, соответствующий вашему положению и достоинству. И смысл его в том, что вы признаёте добрые намерения своих коллег и просите признать за таковые ваши. И сделать это лучше перед общим собранием Академии, придав извинению вполне дружеский, а не официальный характер.

Константин Константинович попросил верного друга и советчика набросать текст покаянной речи. Дома он несколько раз прочитал ее и почти заучил наизусть. На общем собрании, стараясь не волноваться, спокойно и убедительно произнес:

– Дорогие коллеги! Чтобы избежать дальнейших недоразумений в работе и возвращаясь к нашей злополучной переписке, хочу сказать, что я искренне верю, что, подписав письмо в газету, вы все следовали велениям долга и совести. – И, сделав небольшую паузу, продолжил: – Прошу и вас верить, что я тоже по чувству долга и искреннего убеждения написал свою отповедь… Но было бы прискорбно, если бы в моем письме вы прочли что-либо исключающее мое личное уважение к каждому из вас. В заключение хочу призвать: не будем же все же впредь отвлекаемы политическим разномыслием от ученых занятий.

Этого, слава Богу, оказалось достаточно. Ученые оценили его усилия, направленные на достижение компромисса.

* * *

Вместе с тем президент не считал для себя зазорным принимать участие в судьбе людей, подвергавшихся по политическим мотивам судебному или административному преследованию. К примеру, в 1895 году он добился разрешения для политического ссыльного В. В. Бартенева на сдачу госэкзамена в одном из местных университетов. Помог известному этнографу Эдуарду Карловичу Пекарскому, отбывшему политическую ссылку в Якутии, не только добиться права «на проживание в столицах», но и занять место «служащего по найму» в Музее антропологии и этнографии. Академия

приняла решение издать словарь якутского языка по материалу, собранному Пекарским. Позже с согласия Константина Константиновича ученый был принят на государственную службу и зачислен в штат Музея антропологии и этнографии. Уже в советское время Э. К. Пекарский стал почетным членом Академии.

Трудно удержаться, чтобы не привести здесь отрывки из письма Ивана Александровича Бодуэна де Куртенэ. [35] Ученому было предъявлено обвинение в государственной измене за то, что в своей брошюре в 1913 году он предупреждал царское правительство о неизбежных катастрофических последствиях великодержавной национальной политики. Осужденный на два года лишения свободы, Бодуэн де Куртенэ отбывал наказание в небезызвестных «Крестах». «Единственно благодаря Вашему заступничеству мое наказание уменьшено с двух лет до трех месяцев заключения в крепости… За Вашу доброту, за Вашу отзывчивость, за Ваше глубокое понимание человеческой души позвольте, Ваше Императорское Высочество, принести Вам мою искреннюю, горячую благодарность», – писал ученый Великому князю.

* * *

И, наконец, нельзя хотя бы вкратце не сказать о той роли, которую играл Великий князь в отстаивании ряда демократических установлений в системе просвещения и культуры. Президент добился снятия с Академии наук обязанности давать заключения «о книгах, признанных политически вредными», отмены запрета на печатание литовских книг латинским шрифтом, ограничений на публикации Священного Писания на украинском языке. При поддержке Великого князя было осуществлено издание Императорской Академией наук совместно с Латышским просветительским обществом шеститомного собрания латышских дайн (фольклорных четверостиший).

* * *

Утром 27 апреля 1899 года К. Р. подводил итог десятилетию своей поэтической деятельности. Она не радовала поэта, о чем свидетельствует запись в дневнике:

...

«Начал вчера списывать свои стихотворения, написанные после издания 1889 г., в чистую тетрадку, и в том порядке, в каком хочу выпустить книжку. Всего будет в ней 40 пиес. Жидковато для целого десятилетия 1889–1899, но что же делать! Разбил стихотворения по отделам: таких отделов будет 6. В первом, „У берегов“ – 6 пиес, во втором, „Весна и лето“ – 5, в третьем, „Ночи“ – 6, в четвертом, „Осень“ – 7, в пятом, „В строю“ – 5, в шестом, без заглавия – 3, в седьмом, „Послания и стихотворения на разные случаи“ – 6 и, наконец, в восьмом, Переводы – 2. Вчера списал стихи в три первые отдела».

За последующее десятилетие, с 1900 по 1909 год, им будет написано только 16 стихотворений, но уже в конце следующего К. Р. с удовольствием отмечает в дневнике: «…1910 год был благоприятен для моего творчества…»

Если бы даже в свое тридцатилетие Великий князь не определил поэзию как свое истинное призвание, к этому выводу может прийти всякий читавший хронику его жизни. Занимаясь великим множеством государственных и общественных дел, К. Р. подводил ежегодно итоги лишь своей поэтической деятельности.

* * *

К середине 1912 года здоровье Константина Константиновича ухудшается, и врачи рекомендуют ему уехать на лечение в Египет. Отъезд становится поводом для непременного секретаря Академии наук С. Ф. Ольденбурга подвести итоги двадцатитрехлетней деятельности Великого князя на посту президента, пусть и в эмоциональном плане:

«… Сегодня, Ваше Высочество, едете на юг от негостеприимной петербургской зимы. Наши самые горячие пожелания отдыха и полного выздоровления сопровождают Вас. Мы все глубоко сознаем, как много Академия обязана Вашему Высочеству, Вашему неустанному вниманию к ее деятельности, Вашей высокой справедливости и неизменной доброжелательности. За 23 года президентства Вашего Высочества Академия стала русской Академией, и самые злые ее недоброжелатели этого не решатся отрицать. И другое, не менее важное – в Академии нет партий. Все думают только о той большой научной работе, которая составляет задачу Академии. И, конечно, и в этом Академия в значительной мере обязана Вашему Высочеству…»

В целом на посту президента Императорской Академии наук К. Р. пробыл 25 лет, двадцать шестой год стал последним годом его президентства. Началась мировая война.

Великий князь Константин Константинович Романов оказался последним из назначаемых президентов Академии наук. Назначили его в 1889 году. Особое, книжное время позволило забежать нам на 26 лет вперед, оно же позволит нам вернуться вспять, в 1890 год.

ЧАСТЬ III

УРОК СПРАВЕДЛИВОСТИ: ГАВРИЛУШКА, РАМБАХ, ЦЕСАРЕВИЧ

Сменившись с дежурства и вернувшись домой, Константин нашел на столе письмо от Ивана Александровича Гончарова.

Опять его самолюбию был нанесен удар. Гончаров, разбирая стихи, заготовленные для второго сборника, потребовал «большего веса в содержании», где присутствовали бы душа и мысль, а не одни чувства. Посчитал однообразными и длинными стихотворения в форме писем. А патриотические стихи, на его взгляд, «блещут» наивными общими восклицаниями, в то время как, решившись обратиться к высокому – к Богу или родине, – «ударь по сердцам с неслыханной силою», а сознаешь бессилие – умолчи, чтобы не впасть в бесцветную похвалу и аффектацию…

Константин, не дочитав, отодвинул письмо, чувствуя, как опять подступают сомнения в себе.

– Нельзя же всюду вкладывать глубокую мысль, можно же выражать и одно ощущение или впечатление, – пробормотал он и снова придвинул лист:

…

«Пора приступить к сознательному синтезу: это должен сделать сам поэт, призвав на генеральный смотр свои силы… Нянек и руководителей более не нужно…»

Константин вздохнул, заулыбался, нашел сигару и, пытаясь ее зажечь, забегал по кабинету.

– Милый, милый Гончаров… Ну когда же он переселится к нам в Павловск, я нашел ему бесплатную дачу из пяти комнат с ванною… Тихий уголок, в котором он мог бы приятно провести лето и осень… А я был бы счастлив… Господи, но я же не прочитал, что он говорит о стихах, которые я ему посвятил!..

«Нельзя назвать *творцом бессмертных образов,* венчанным «нетленною славой» писателя, который дал литературе несколько портретов, характеров, лиц и сцен русской жизни… Что же после того сказать о Пушкине, Гоголе, Лермонтове, с их гениальными и, действительно, «нетленными образами»?»

– Вот так вы считаете, Иван Александрович? Нет же, я все же оставлю то, что о вас написал!

Он достал стоявший особняком на книжной полке альбом, посвященный Пушкинской выставке 1880 года, и перечитал надпись, хотя знал ее наизусть: «Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Константину Константиновичу, достойнейшему и счастливейшему из последователей и преемников великого поэта, всепокорнейше приносит сей альбом старый питомец и поклонник поэзии Пушкина – И. Гончаров на благосклонное о нем воспоминание».

До обеда оставалось время. Константин решил зайти к жене и поговорить о покупке имения в Калужском уезде. Сведения, которые сообщил Дворянский банк, в котором заложено село Сергиевское за 95 тысяч рублей, очень даже благоприятные. Скоро пришлют план.

Он открыл дверь в гостиную жены, но она была не одна. Шляпы и дамы под ними являли собой очень красивую картину – лиловое, лимонное, цикламеновое, воланы и красивые кружева. «Стильно, очень стильно, – подумал Константин, – немного бы жемчужного», – вспомнил он виденные пейзажи в таких же тонах на передвижной выставке, где купил картину Богданова-Вельского «Тайная молитва».

– Зинаида Николаевна, вы составили список городов? – спрашивала Лиза румяную миловидную даму.

– Получается слишком длинный список. Не подойти ли избирательно, Ваше Высочество?

– Нет, нет – все крупные города России! Россия все равно длиннее нашего списка…

– Россия больше, – поправил кто-то.

– Вот-вот, больше списка. А фирмы не отказались? Не передумали выполнять обязательства? Кому нужно позвонить, я позвоню. Съезжу, если надо.

– Ваше Высочество, книжки как-то не так выглядят и удобны ли будут в обращении?…

Шляпы, образовав живописную клумбу, низко склонились над столом.

Великий князь тихо прикрыл дверь.

Жена ждала четвертого ребенка, и он умолял ее поберечь себя. Последние роды, когда на свет появилась дочь Татьяна, были тяжелыми, если не сказать опасными. Хрупкая, тонкая, не очень крепкая здоровьем, Елизавета иной раз не имела сил выстоять длинную службу в церкви.

И вот, пожалуйста, – взяла на себя заботу о детях-сиротах, возглавив Совет детских приютов, стала попечительницей

благотворительных обществ. А сейчас пытается воплотить в жизнь новую свою идею: Общество попечения о бедных и больных детях должно ввести в обращение потребительские книжки во всех больших городах России. В книжках будут перечислены торговые конторы, которые обязались делать скидки на товары, приобретаемые за наличный расчет. Связать в одну цепочку нуждающихся, власти больших городов, владельцев торговых предприятий или управляющих, книжки отпечатать, распространить, в общем дело хлопотное…

Константин вздохнул и пошел на детскую половину. Здесь был рай, как в догреховные времена. Что-то сладко-парное с привкусом сливок, молока, шоколада разливалось в воздухе детских комнат. Константин Константинович любил этот запах, как любил в Павловске в тени деревьев встретить детскую коляску. Благодушие и покой ложились на душу, когда он видел милую процессию: бывший его взводный Рябинин, взятый после увольнения в число прислуги, в придворном платье вез коляску в виде серебряного лебедя, где сидел Гаврилушка (сына хотели назвать Андреем и спросили на это разрешения Императора Александра III, но он сказал, что в Царской семье уже есть Великий князь Андрей Владимирович). В этой коляске возили когда-то самого Константина Константиновича, его сестру и братьев. Рядом с коляской шла няня Атя, как ее называли дети, – Анна Александровна Беляева. Иоанчика вела за руку старшая няня Вава, Варвара Петровна Михайлова.

Варвара Петровна была дочерью камердинера отца Константина и воспитывалась в Смольном институте. Потом нянчила несколько поколений Константиновичей, и все ее очень любили. Выйдя на пенсию, она останется жить в Мраморном дворце, окруженная всеобщей лаской, и уже не сможет по старости воспитывать Татьяну, Игоря, Олега, Георгия, Веру, родившихся позже.

Сейчас она встретила Константина Константиновича немного строго, сдерживая волнение:

– Дети спят, Ваше Высочество, но что-то мне не нравится, как дышит Гаврилушка…

– Может, наглотался холодного воздуха, набегался?

– Да всё было как всегда. Гуляли в аллеях Таврического…

Варвара Петровна была озабочена:

– Доложить Ее Высочеству Елизавете Маврикиевне?

– Доложите, Варвара Петровна.

Ночью температура у сына поднялась до 40,2 градуса. Пригласили доктора Рамбаха.

Наутро в роте у Константина всё валилось из рук. Солдаты

это видели, вздыхали. А дежурный по роте унтер-офицер Стекольщиков рассказал, что у него был сынишка, звали его Глебом, но месяц назад умер, он даже не ездил на его похороны. Константин спросил Стеколыцикова: плакал ли он, получив печальное известие? «Нет, – сказал тот, – мертвого не воротишь». Константину стало совсем страшно.

Ночью они с Лизой без конца мерили Гаврилушке температуру – по-прежнему градусов 40. Константин не выдержал, побежал в свою крестовую, плакал и молился. Готовя себя к худшему, просил Господа Бога помочь ему безропотно принять его волю и признать в ней благо. Он так и записал в дневнике: «… признать в ней благо…»

Дни шли, а болезнь не отступала. Из-за горестных домашних событий Великий князь особенно сочувственно отнесся к проекту Александра Петровича Ольденбургского создать первый в стране научно-исследовательский медицинский институт. Александр III разрешение дал, но особой заинтересованности не проявил: если хочешь, на твои средства. На Аптекарском острове Ольденбургский купил землю и построил Институт экспериментальной медицины. В придворных кругах откровенно смеялись над «новоявленным доктором Фаустом». Константин был поражен пошлостью такого мышления и сделал всё, чтобы русские академики выразили сочувствие замечательному предприятию и предложили поставить институт в зависимость от Академии наук, что даст ему статус и опору. Ольденбургский счел нужным институт принести в дар правительству («принять в казну»), и он стал называться Императорским институтом экспериментальной медицины. На его открытии 25 ноября 1890 года ректор Духовной академии преосвященный Антоний сказал слово, в котором выразил церковный взгляд на врачевание, как на важнейшую отрасль человеческой деятельности. Потом был читан высочайший рескрипт, которым Александр Петрович Ольденбургский назначался попечителем нового учреждения.

В мире в то время было всего три таких учреждения: Институт Пастера в Париже, Институт Листера в Лондоне, Институт Коха в Берлине. Институт Ольденбургского в Петербурге стал четвертым.

Все противники и скептики были посрамлены. А Константин, одновременно думая о неважном здоровье отца, болезни сына, радовался появлению института так, словно последний сможет ему немедленно помочь.

Шел десятый день болезни Гаврилушки. Перемен в лучшую сторону не было. Рамбах был уверен, что это брюшной тиф, и сам часами сидел у кровати мальчика. И вдруг Царь через Дмитрия

Константиновича передает, что Рамбах нужен для Цесаревича Николая. Оказалось, Цесаревич отправляется в кругосветное плавание на военном фрегате «Память Азова» и ему нужен сопровождающий врач, поскольку корабельный доктор заболел.

Лиза заплакала:

– Рамбах знает всё течение болезни…

– Речь идет о Наследнике! Это – свято, – мрачно сказал Константин.

Он попрощался с Рамбахом. Сердце Великого князя и сердце отца было закрыто. Всё переживалось молча, ничего не обсуждалось. И всё отступало перед тем главным, что являло собой Россию.

* * *

Сменившись с должности, он поехал к «денежному мешку», раздал солдатам письма. Потом навестил в Семеновском госпитале больного своего солдатика, бывшего ротного артельщика Архипа Тихонова. У него какая-то опухоль на шее и в верхней части груди; его давно уже держат доктора, лечение не помогает. Тихонов очень тосковал, как все солдаты, когда попадали в больницу. Врач сказал, что дела его плохи и вряд ли он выйдет из госпиталя. Константину Константиновичу стало не по себе. Представил опять тот же ритуал: худенький молодой солдат в «мундире для похорон», госпитальная часовня, проводы гроба до первого поворота, и затем без провожающих одинокие дроги до ямы в земле. И это прощание с защитником Отечества?! С доблестным воином, стоящим на рубежах ради спокойствия в стране! Возмутительно. Его песню о похоронах солдата – «Умер» – поет вся Россия. «Неужели даже такое „обширное“ слово не может изменить положение дел?» – мрачно думал Константин.

… Забегая вперед, скажем, что именно это стихотворение К. Р., ставшее народной песней, обратило на себя внимание Царя и военного ведомства. Было пересмотрено положение о солдатских похоронах и учреждена комиссия, постановившая, что прощание с солдатом должно быть достойным и торжественным…

Утром, когда он стоял в церкви и горячо молился за Гаврилушку, вдруг полегчало в душе, посветлело вокруг, и было хорошо стоять на правом фланге роты, молиться вместе со своими солдатами, заодно с ними класть поклоны и благоговейно и безмолвно следить за церковною службою.

Когда Великий князь вернулся домой, с порога все домашние, включая нянюшек, докладывали: «Гаврилушке лучше! Его

Высочеству лучше! Мальчик улыбнулся! Малыш кушать попросил!»

Слабый, худой, бледный, он сидел в подушках, похожий на зайчика из-за платочка, завязанного с торчащими хвостиками. Доктор, заменивший так славно Рамбаха, пытался с профессиональной серьезностью скрыть живую радость. Лиза плакала и улыбалась.

– Гаврилушка, я тебе скоро елку в игрушках принесу и Деда Мороза приведу.

– А он пойдет? – шепотом спросил мальчик.

– Обязательно. И подарки принесет.

Константин Константинович взял сына на руки. Сделал знак всем уйти, осталась только няня Вава.

Он баюкал Гаврилушку, напевая, нашептывая ему стихи, которые написал еще в прошлом году со «взрослым» посвящением:

Князю Гавриилу Константиновичу

Крошка, слезы твои так и льются ручьем
И прозрачным сверкают в глазах жемчугом.
Верно, няня тебя в сад гулять не ведет?
Погляди-ка в окно: видишь, дождик идет.
Как и ты, словно плачет развесистый сад,
Изумрудные капли на листьях дрожат.
Полно, милый, не плачь и про горе забудь!
Ты головку закинь: я и в шейку и в грудь
Зацелую тебя. Слезы в глазках твоих
Голубых не успеют и высохнуть, в них
Уж веселье блеснет…

Гаврилушка много спал – набирался сил. А вокруг его детской комнаты с низкими окнами, уставленными цветами, была порядочная суета. «Вот дожили и до праздников», – говорили все, наряжая огромную елку в Павловском дворце, покупая подарки, готовя праздничный стол. Константин Константинович с братом Дмитрием поехали в Апраксин двор и у бакалейщика Свистунова накупили игрушек, сластей, подарков на ротную елку, а потом сидели с солдатами и клеили украшения из цветной бумаги. Готовились фейерверк и бенгальские огни, пришло в роту много гостей.

Гаврилушка все еще лежал в постели. Елку ему нарядили в комнате бабушки Александры Иосифовны и в кресле на колесиках подвезли к сияющему огнями и золочеными орехами зеленому дереву. Гаврилушка был счастлив и крепко держал в руке подаренный ему игрушечный морской палаш.

На семейном совете решено было его отправить для

оздоровления в Швейцарию, в Веве, с нянями, камер-фрау, лакеем Рябининым, поваром и доктором Дмитрием Александровичем Соколовым, заменившим Рамбаха.

То был конец зимы, а 29 апреля 1891 года доктор Рамбах, вытребованный от больного Гаврилушки для Наследника, отправлявшегося в морское плавание, останавливал кровь и перевязывал рану на голове Цесаревича в японском городке Отсу. Будущий Император Николай II был с визитом в Японии, где на него совершил покушение полицейский Сандзо Цуда. Но спас Наследника не Рамбах – рана была неопасной. Спас двоюродный брат Гаврилушки – Георгий, греческий принц Джорджи, сын родной сестры Константина Ольги, Королевы эллинов.

Кортеж, в котором следовал Цесаревич, состоял примерно из пятидесяти джен-рикш, а по обеим сторонам узкой улицы были расставлены японские полицейские. Когда один из них ударил Николая саблей, которая соскользнула, и замахнулся второй раз, держа саблю обеими руками, тот выпрыгнул из коляски, а за ним и Георгий, ехавший следом. Он повалил разъяренного полицейского ударом бамбуковой палки, которую купил час назад, и с помощью подоспевшего рикши, везшего Николая, связал его. [36]

«Джорджи – мой спаситель…» – скажет Николай, а в дневнике запишет:

…

«… Спасло меня от смерти
великое милосердие Господа Бога».

Спасло. Но, возможно, и намекнуло о такой категории, как справедливость.

В Гатчине в честь спасения Наследника был назначен благодарственный молебен. Вся Царская семья поехала к Императору. Александр III говорил, что телеграммы приходят успокоительные, лихорадки у Ники нет, и он намерен продолжить путешествие. А. Н. Майков попросил Константина Константиновича передать Царю стихи «На спасение Государя Наследника»:

Царственный Юноша, дважды спасенный!
Явлен двукраты Руси умиленной
Божьего Промысла щит над Тобой!..

Константин прочитал стихи. Почти ода. Но действительно «дважды спасенный…». В октябре 1888 года поезд сошел с рельсов… «Все мы могли быть убиты», – ужаснулся тогда Ники. И теперь, если бы не Георгий…

«Как странно все переплелось, – думал Великий князь, – болезнь моего сына, отобранный доктор Рамбах, покушение на Наследника, спасение его от смерти братом моего больного сына… И Гаврилушка выздоровел, и Ники спасся…

Да, загадочен промысел Божий. Ах, как хорошо об этом написал в новом стихотворении тот же Майков:

Из бездны Вечности, из глубины Творенья
На жгучие твои запросы и сомненья,
Ты, смертный, требуешь ответа в тот же миг,
И плачешь, и клянешь ты Небо в озлобленье,
Что не ответствует на твой душевный крик, —
А небо на тебя с улыбкою взирает,
Как на капризного ребенка смотрит мать, —
С улыбкой – потому что все, все тайны знает,
И знает, что тебе еще их рано знать…

Как верно. И что за верный ответ неверующим, самонадеянным умам!»

* * *

А вечером того же дня был бал в Аничковом дворце. Константин приехал в Аничков уже осведомленный о том, что его старинный друг и кузен Великий князь Сергей Александрович получил высокий пост. В «Правительственном вестнике» был помещен высочайший указ Сенату о назначении его московским генерал-губернатором.

Сергея поздравляли все. Можно было подумать, что бал устроили только для этого. Константин видел, что поздравления были вполне искренними, хотя этого гиганта с высокомерным

взглядом, подчеркнутой отчужденностью и дурными наклонностями мало кто любил.

Сергей отозвал Константина в сторону:

– Ты думаешь, я счастлив?

– Но ты же мечтал об этом месте, как о чем-то несбыточном!

– Да, а сейчас радоваться не могу. Как с преображенцами расстаться? Это же полк особый, единственный. Как корона царская…

– Но все говорят, что ты продолжишь командовать Преображенским полком.

– Пока достойную замену не найдут! Слышал, называют графа Шувалова, Гессе. Я ревную ко всем. Не поверишь, не могу даже радости по поводу нового назначения отдаться. Костя, – он обнял друга, – умоляю… Вдруг тебе предложат полк – не отказывайся!

– Да ты что? Быть такого не может. Я ротный командир, батальоном даже не командовал.

– А вдруг? Тебя ведь считают лучшим человеком России…

– Меня считают странным и несуразным. И я бы хотел быть командиром Измайловского полка. Но и этого, наверное, скоро не будет.

Он ничего не угадал. В конце недели, 8 марта 1891 года, всё и решилось, о чем он записал в дневнике:

…

«Великий князь Владимир передал мне предложение Государя принять от Сергея Преображенский полк и предоставил мне откровенно высказаться. Я положительно ответил, что отказываюсь, и привел доводы: трудность принять на себя такую ответственность, трудность, усиливаемую моей деятельностью по Академии, желание командовать Измайловским полком, а перед тем – одним из стрелковых батальонов; опасения быть командиром именно Преображенского полка, крепкого своей сплоченностью, своими преданиями, а потому и не слишком

податливого для человека, незнакомого с его внутренней жизнью. Владимир горячо опровергал меня, но я стоял на своем, и он обещал передать мои сомнения Государю на другой день и сообщить мне ответ как можно скорее.

Забежал поделиться впечатлениями с женой и вышел погулять по набережной. Меня осенила счастливая мысль пойти к Спасителю. Народу там не было, никто не мешал мне молиться. Честолюбивые мысли снова поднимались в голове; я старался их заглушать, но замечал, что невольно сожалею об отказе, высказанном Владимиру. После вечерни брат Митя пришел к нам обедать. Я передал ему свой разговор с Владимиром и спросил совета. Он заметил мне, что «от службы не отказываются и на службу не напрашиваются», всячески убеждал не отказываться и посоветовал переговорить с Ильей Александровичем, а потом поехать в Павловск и там переговорить с Мама и с Палтоликом. Я поехал в Павловск, но по дороге был у Владимира, прося подождать до возвращения из Павловска и не сообщать Государю моего ответа до этого. Внутренне я уже решился на этот шаг. В прошлом году я отказался, когда Государыня предложила мне ведомство учреждений Императрицы Марии: но эта деятельность ничего не имела общего со всем моим прошлым, и отказ был основателен. Теперь же мне предлагают то, что я считал конечною целью моего служебного поприща. К тому же удобно ли

отказываться от такой Высочайшей милости, в которой сказывается столько доверия? Владимир не скрыл от меня, что и он, и сам Государь с особенной теплотой и привязанностью относятся к преображенцам.

В вагоне целый водоворот мыслей кружился в моей голове. Я вызвал в Павловске Палтолика, его очень поразила эта новость, он сказал, что хоть и очень трудная задача выпадает на мою долю, но отказываться неловко. Он предупредил Мама о моем прибытии, чтобы она не перепугалась. Я попросил ее благословения. Она была очень растрогана, обнимала, крестила меня, говорила то же, что и я сам постоянно себе твержу: не зазнавайся, побольше смирения – и в слезах отпустила меня. – В полночь я опять был у Владимира и сказал ему, что готов.

Скажем с Цезарем: Alea jacta est.

Помоги Бог!

А Измайловская рота?…»

Ротой Измайловского полка Константин командовал семь лет. Не торопился продвигаться по службе, делать карьеру. Эти семь лет – самые значительные в становлении его личности. Армейская должность свела его лицом к лицу с реальной жизнью. Представителями этой реальной жизни были солдаты, присланные служить в Петербург со всех концов Империи. Константин Константинович искал органичной связи между собой и солдатом, построенной не только на дисциплине, но и на общении умственном и душевном. Именно эти семь лет поселили в нем спасительный страх перед легкомыслием, ничегонеделанием, пустотой светских удовольствий, когда погибают нравственные убеждения, добрый порыв, всякое идеальное стремление. В эти годы он, возможно, впервые осознал глубокий разрыв между нуждами народа с его нищетой и невежеством и далекой от этих нужд, деморализованной роскошью, потерей национальных и религиозных чувств

верхушкой общества, к которой принадлежал сам. Осознание не могло изменить канвы великокняжеской жизни, он оставался приверженцем самодержавной власти, ее цельности, величественности, религиозности, непререкаемого воплощения, божественной власти на земле. Но осознание дало толчок новому серьезному взгляду на себя.

После нового назначения он вел записи в дневнике каждый день, словно пытался остановить мгновения уходящей молодости.

...

«Ездили с женой в Павловск. Пап? и Мама приобщались, обедня только отошла, когда мы поднялись по лестнице. Пап? плакал от радости, узнав о моем назначении.

Мое назначение всеми принимается с радостью. – Я до Пасхи буду командовать ротой и приму Преображенский полк не ранее Святой».

...

«Сейчас вышел от меня преосвященный Амвросий, архиепископ Харьковский. Я не ждал встретить в престарелом монахе столь образованного человека, в нем не заметно ничего семинарского, он говорит о высоких вопросах, как человек сведущий. Был у меня, желая передать свой взгляд на необходимость преобразования в наших университетах. По его мнению, в них обучение обременяют множеством подробностей, специальностей, но не дают конечных познаний о высших и главнейших понятиях: о Боге, о природе, о человеке… Его беседа запала мне в

ум и душу».

...

«Близится время сдачи роты, и сердце мое смущается. До сих пор я как в чаду от новизны впечатлений, не отдавая себе отчета в значении для меня этой разлуки; но теперь, когда надо все приготовить к сдаче согласно положению, закончить отчетность и все дела, казавшееся несбыточным скоро станет действительностью. И мне страшно, и больно, и горько. Получение Преображенского полка меня не радует; напротив того, я подмечаю в себе недоброе чувство к нему».

...

«Вчера утром со всей ротой снимался группой на дворе нашей казармы. Не хватало только двух человек против полного списочного состояния, молодых солдат последнего призыва, больных Белоусова и Денеги, а то все были налицо – принесли заказанную мною в столовую 1-го батальона большую стенную икону Пресвятой Троицы. Она прекрасно написана на целиковой доске по правилам древней русской иконописи. Дубовая рама сделана по рисунку окна в Соборе Св. Марка в Венеции. Вечером исповедовался у о. Арсения. На душе как-то неспокойно, тревожно».

...

«Ездил помолиться к мощам св. Князя Александра Невского. Зашел к наместнику Лавры, архимандриту Исаи, был в Казанском соборе и в роте».

...

«Вчера два раза был в роте. Стараюсь исправить все, что не совсем в порядке, желая сдать роту в полном блеске. Завожу мраморную доску с именами всех командиров роты Его Величества, бывшей с основания полка, т. е. с 1730 г. и до 1797 гренадерскою, а потом до 1825 ротою Его Величества. Я счетом 27-й командир роты».

...

«Заказываю икону Св. Троицы в батальонную столовую в память моего трехмесячного заведования продовольствием первых четырех рот. Запасаюсь книгами и руководствами к командованию отдельной частью. Начал с книги Карцева. Читаю и историю Преображенского полка».

...

«За семейным обедом у Сергея Государь взглянул на меня… поднял стакан вина и проговорил:

„Измайловский полк!“ За 7 лет службы в полку я ни разу не слыхал этого от Государя».

* * *

Все эти дни у Константина болела голова. Волнения, суета, внимание петербургского общества. «Собою владеть ты умей, научиться пора хладнокровью…» Он только в стихах умел давать подобные советы. Сам был спокоен только внешне, все бури носил в сердце. «Оттого оно и не выдержало», – скажет через годы дочь Татьяна.

На фамильном царском обеде в Аничковом дворце всё семейство поздравляло Константина с почетным назначением. Когда встали из-за стола, Великий князь подошел поблагодарить Александра III за обед и за милость.

– Я рад, что это решено. Но сознайся, Костя, ты согласился не без борьбы?

Константин молча кивнул.

– И все-таки хорошо, что ты воспользовался случаем, а то Бог знает, когда еще ты дослужился бы до командования полком. – Государь улыбнулся улыбкой давнего друга молодости.

Что он имел в виду? Неумение Константина делать карьеру и его скромность? Или угадывал свою недолгую жизнь?

Незадолго до полуночи военный министр прислал приказ, которым Константин был произведен в полковники за отличие. Он явился на выход во дворец в густых эполетах, при шпорах. Государь поздравил и шутя сказал: «Ты теперь почти генерал и заважничаешь».

Дагмара прикрыла улыбку шелком веера, а взгляд был мягким.

* * *

…

«Петербург. Пасха. – Я более не ротный командир.

На душе у меня грустно. Пришло это в светлый праздник. Я упрекал

себя, что недостаточно благодарен Богу за те счастливейшие 7 лет, что командовал Измайловской ротой…

Люди выстроились в коридоре. Минкельде сказал, что хотя словами и нельзя выразить, что чувствуешь перед разлукой, но на прощанье хочется им благословить меня. Он вызвал Шапошникова. Вышел перед фронт Василий Александрович и заговорил: в руках у него была складная икона св. царя Константина и Николая-угодника, оббитая красным бархатом. Что он говорил – слово в слово не припомню, знаю только, что говорил хорошо, задушевно, со слезами в голосе. У меня тоже слезы выступили. Я велел людям зайти справа и слева и сам стал говорить… Потом с каждым поцеловался троекратно. Мне казалось, что я – словно покойник, и лежу в гробу, и что они один за другим подходят ко мне с последним целованием. Я сказал им: Христос с вами, – да только голос оборвался, и я окончательно заплакал».

Шло время. Как-то Константин не удержался и приехал в Измайловский полк. Здесь делался смотр молодым солдатам 1-го батальона, значит, и его бывшей Государевой роте. Он волновался так, будто сам сдавал экзамены или все еще командовал ротой. Словесность его солдатики сдали лучше всех трех рот. В строевом отношении были хороши, но от других не отличались. Да и не в смотре было дело. Константин знал главное: он воспитал отличных солдат.

Смог бы он сейчас на одном вздохе написать поэтическое послание своим солдатам, как сделал это когда-то, счастливо служа Измайловским ротным командиром?

… Не по нутру мне запад душный.
Вдали от всех забот и дел.
Благословляя свой удел,
Здесь можно б жизнью

наслаждаться!

Но не могу я дня дождаться,
Когда вернусь отсюда к вам,
К занятьям, службе и трудам.
Кто встретит с рапортом меня?
Жильцов ли дюжий, краснощекий,
Иль ваша слабость и моя,
Сам Добровольский черноокий,
Невозмутимый малоросс,
Несообщительный, безмолвный.
Чей нрав, противоречий полный,
Для нас загадочный вопрос?
Или Якимов бородатый,
Неповоротливый толстяк?
Иль молодец щеголеватый
Лихой, воинственный Ермак
С коронационного медалью
И штуцерами на часах?
Или Рябинин мой с печалью
В больших задумчивых глазах,
С лицом разумным и красивым,
Сперва считавшийся ленивым,
Теперь же – воин хоть куда,
Иль Фрайфельд с несколько еврейским
Оттенком в речи и чертах?
В ноябрьский день холодный, мрачный
В казарме снова буду я.
И в третий взвод направлюсь я,
Там с виду важный и дородный,
Степенный Лапин ждет меня,
А с ним Белинский плутоватый
И Захарчук молодцеватый,
Усы потуже закрутив,
И шапку на бок заломив…
Теперь в четвертый взвод мне с вами
Еще осталось заглянуть.
Там, широко расправя грудь
И пожирая нас глазами,
В дверях Хрисанф Васильев ждет.
С ним на маневрах прошлый год,

Когда, под Павловским редутом,
Вблизи Кархгофской высоты,
Всю ночь служили нам приютом
Канавы, камни да кусты,
Лежал я рядом до рассвета.
Ах, ночь безоблачная эта
При лунном блеске, при звездах…

* * *

За стол с бумагами засяду
Я в канцелярии моей.
И Павел Вальтер, писарь ротный,
Всегда опрятный, чистоплотный,
Читавший Шиллера, едва ль
Не все его стихотворенья
На память знающий. За чтенье
Французской книги «Жерминаль»
Чуть не подвергнутый взысканью,
Мне даст бумаги подписать;
И выводя и чин, и званье,
Своею подписью скреплять
Без счета рапорты я буду
И кипу сведений, и груду
Различных списков (без чего
Нельзя добиться ничего).
(«Письмо к товарищу», 1887)

Гончаров прочитал тогда эти эпистолярные стихи и заключил: «Сократить. Подтянуть. Ужать. Похерить нескольких солдатиков, хотя некоторые – живые портретики. Вот те бы, которые поживее, и оставить».

К. Р. ничего не сделал. Не смог: у каждого «портретика» было живое имя.

Пристрастие к своей роте так и осталось…

ПОТЕРИ И ОБРЕТЕНИЯ

По случаю вступления в командование Преображенским полком Константин должен был явиться к Государю. Александр III поцеловал его, поздравил. Константин не выдержал:

– Мне страшно принимать полк…

– Я понимаю. Ведь не прошло и недели, как ты командовал только ротою. Дагмара говорит, что над тобою светит звезда. Какой тайный смысл она в это вкладывает – я не знаю. Но мы с тобой ей должны верить.

А пока впереди парад. Штабы суетятся. Все говорят о переходе Преображенского полка в Петергоф и про парад, который будет посвящен 25-летию со дня вступления в командование Преображенским полком Александра III.

Здесь следует сделать отступление и сказать несколько слов о парадах. Хотя, казалось бы, рассказывая о Николае Ростове и его слезах при виде Государя Императора и звуках музыки на параде, Лев Толстой сказал всё, и всё же повторимся: парад был зрелищем красивым, патриотичным, объединяющим, несмотря на чины, всех военнослужащих в равностоянии перед Богоматерью, покровительницей России, и ее Сыном.

О парадах рассказывали и вспоминали долго, создавали умилительные и веселые мифы и легенды, гордились и восхищались этим «праздничным лицом» армии. Даже священнослужители, привычные к украшенным золотом, лазурью, святой живописью и архитектурой храмам, бывали потрясены и ошеломлены парадными торжествами.

«Склоняются знамена, гремит музыка, а за нею – громовое „ура“… Государь обходит фронт, за ним тянется пестрая лента свиты и начальствующих… Во всем этом чувствовалось величие, мощь России, чувствовалось что-то необъяснимое, невыразимое словами… я множество раз присутствовал на таких торжествах… И все-таки я не приучил себя к хладнокровию. Всякий раз, когда входил Государь, когда опускались знамена, начинала греметь музыка, – какой-то торжественный трепет охватывал меня…» – писал последний протопресвитер Русской армии и флота Георгий Шавельский в воспоминаниях.

Этот духовный подъем вылечивал больных и слабых. По обязательности и дисциплине, перемогая себя в нездоровье, приходили воины на армейский или флотский парад – и вот откуда-то являлись силы, бодрость и здоровье… Об этом свидетельствовали многие, как ни странно, избавленные от недомогания, парадом.

У Константина накануне парада с утра разболелась голова. Ночь он спал плохо, спальная комната была душной – окна выходили на восток, солнце нагревало комнату, не спасали открытые окна. Он вставал, пил воду, курил, смотрел на бледно-зеленое петергофское небо и зубрил уставы парадов.

Встал рано. Весь день – ни минуты свободной. Вечером записал в дневнике:

«Утром я поехал от имени полка к Государыне с огромным букетом из красных роз. К нему привязали красные бархатные ленты; на них было вышито золотом XXV и года 1866 и 1891… Я сказал Государыне, что 25 лет назад Преображенцы полюбили в ней невесту своего командира, а теперь любят Супругу Державного Шефа и Мать дорогих для всей России детей. Пришел и Государь. Мы все стали его поздравлять. Он меня поцеловал. – Ровно в 11 ч. я вышел перед полком на площадку около дворца. 1-й, 2-й и 3-й батальоны построились вдоль кавалерского дома и тылом к нему, а 4-й под правым углом, перед дворцовой церковью. В окнах, на балконах и на краю площадки, позади шатра Императрицы было множество народу. Солнце заливало весь парад жгучими лучами с синего безоблачного, словно итальянского неба. Я обошел полк, поздоровался, поздравил с праздником и принял знамена. В руке у меня была новая шашка: мне вручили ее накануне полковники от имени офицеров перед репетицией парада. На этой шашке изображено преображенское шитье и слова полкового марша. Такую шашку имеет каждый преображенец. Я впервые переживал минуты ожидания, предшествующие параду, которым сам должен был командовать. И парад этот не был из обыкновенных, а особенно знаменательный. Не могу сказать, чтобы я очень робел или волновался, разумеется, я не был и совершенно спокоен. Я испытывал довольно приятное волнение. Весело быть начальником, появиться перед полком в блестящем мундире, громко и лихо командовать, молодцом проходить церемониальным маршем мимо Государя. Я более всего опасался не за себя, а за благополучное окончание. Могла бы встретиться какая-нибудь неудача, оплошность, неприятность. Но все было как по закону. Начало съезжаться начальство. Бригадный, дивизионный, корпусный и наконец Главнокомандующий. Я к каждому подходил с рапортом и вручал строевую записку. Жара была страшная. Мы, даже стоя на месте, так и обливались потом. Наконец подъехал Государь. Скомандовав: «Полк, слушай, на караул!», я пошел Царю навстречу, остановился перед ним в двух шагах и отрапортовал громко, внятно и с расстановкой. Он подал мне руку, сказав: «Я, кажется, в первый раз вижу тебя перед

полком». – «Так точно, Ваше Императорское Величество», – и пошел провожать Государя по фронту. Только что он поздоровался и люди ответили, звуки нашего марша сменились гимном и разразилось оглушительное «ура». Обойдя все батальоны и приблизившись к бывшим преображенцам, служившим при Нем в полку, Государь подал знак, я махнул шашкой, и воцарилась мертвая тишина. Царь велел мне командовать к церемониальному маршу поротно и сказал, что сам пройдет во главе полка. Я так и обомлел от радости. С тех пор, что Он воцарился, Его еще не видали ни перед одним полком на таких парадах. Командовал я громко, не сбился, и когда 1-й батальон зашел плечом и я пошел к нему, чтобы встать впереди полкового адъютанта, Царь приблизился и обнажил оружие. Я проходил за Ним в двух шагах, преисполненный самой блаженной и гордой радости. Он взял шашку под высь и опустил ее, проходя мимо Государыни, которая опустила зонтик в знак поклона. Государь зашел, а я за ним, остановился и, как вкопанный, стоял, пока не миновал весь полк. Второй раз проходили по отделениям, и оба раза отлично. После второго прохождения 1-я полурота отделилась и свернула влево для относа знамен, а весь полк пошел в верхний сад, где составил ружья и поспешил занять места у столов под тенью вековых лип с трех сторон четырехугольного пруда. После относа знамен Государь с Государыней, дамами и свитой подошел к столу Государевой роты. Потом, взяв чарку, он пил за наш полк, назвав его первым в русской армии и напомнив, что поэтому мы во всем должны подавать пример другим. Потом я, что хватало голосу, крикнул: «За здравие прежнего командира, Державного Шефа!» Так же пили за Государыню, и за Цесаревича и его благополучное возвращение. Государь обходил столы, жена сунула мне в руку маленькую коробочку; в ней был крохотный разрезной ножичек, служащий в то же время и закладкой в книгу, из золота с Преображенской петлицей из красной эмали и надписью «8 июля 1891».

Перед завтраком у высочайшего стола все, служившие при Государе Преображенские офицеры и служащие ныне, собрались в одной из крайних зал большого дворца для поднесения Государю иконы. Ее превосходно изготовил Фаберже. Образа писаны в Москве: посредине Преображение Господне, а на створках Казанская Божья Матерь (празднуемая 8 июля) и св. Вел. Кн. Александр Невский. Поднося икону, я сказал: «Ваше Императорское Величество! 25 лет тому назад в этот самый день л. – гв. Преображенский полк был осчастливлен назначением Вашего Величества командующим полком. Сегодня, спустя

четверть века, полк просит своего старого командира принять эту икону. Да будет она Вашему Императорскому Величеству благословением верных Преображенцев и выражением их непрестанных горячих молитв за благоденствие Державного Шефа». – Царь перекрестился, приложился к иконе и прочувствованным голосом долго говорил нам. Александр III редко и мало говорит, никто не запомнит, чтобы Он произносил длинные речи, но тут мы ушам своим не верили: Царь говорил так хорошо, так просто, хотя, очевидно, не подготовившись, каждое его слово было так веско, что никто из нас никогда не забудет этой царской речи… «Есть в нашей гвардии батальон Императорской Фамилии, но я считаю Преображенский полк еще более полком Императорской Фамилии, еще более близким нашему семейству и в особенности Государям. Начиная с Петра, все царствующие государи и Императрицы были шефами полка. И поэтому он всегда должен быть первым в нашей армии, как я сказал уже нижним чинам. Это доказала его боевая слава еще в недавнюю кампанию…» Так закончил Государь свою речь». Константину приятно было воссоздать все детали красивого акта, командиром которого он был.

* * *

Праздник кончился – наступили будни. Он готовился к своему первому полковому учению. «Я выехал перед полком галопом и начал ученье. Учились прекрасно», – сообщает его дневник.

Но спустя месяц с некоторой долей грусти он пишет Аполлону Николаевичу Майкову в Сиверскую, где поэт снимал дачу, построил церковь и школу:

…

«Как-то Вам живется на Сиверской в этот холод? Я перебрался с полком в лагерь 25 мая, здесь тогда шел снег. Постепенно привыкаю к новой и нежданной для меня должности командующего полком. Все еще мне как-то неловко и странно в этом положении, когда еще в апреле я был только

смиренным ротным командиром, а батальоном так никогда и не командовал. Много было пережито новых впечатлений, волнений и тревог в последний месяц; Муза от меня отлетела. А мне так хочется снова отдаться ей здесь, в милом лагере, где я так часто находил вдохновение и воодушевление. Видали Вы книжку стихотворений Влад. Соловьева? Какие в ней есть прелестные вещи! Если б только он позабыл политику и богословие, чтобы отдаться исключительно поэзии».

Константину всегда казалось, что поэзия может жить лишь вдали от бурь, вражды и несогласий. Как ни пытался им любимый Фет свести Великого князя с творцом «прелестных стихов» Владимиром Соловьевым, ничего не получалось – слишком много шума было вокруг имени В. Соловьева. «Встает как венчающий купол, как свод устремлений, к которому сливаются струи кадильные, – встает имя Владимира Соловьева, – пишет один из современников и продолжает: – Для нас Соловьев – это была высшая истина, это было зеркало, в которое вместе с отраженьем событий преломлялся и смысл их. Рано умолк его голос. Да и когда звучал, не умели слушать его. А сколько раз Победоносцев налагал на него печать насильственного молчания!»

После выхода брошюры Соловьева «L\'idee rasse» Победоносцев доносил Александру III: «Благоволите, Ваше Императорское Величество, обратить внимание на прилагаемую статью о Соловьеве, коего действия возбуждают теперь столько толков и негодования в России. Вот до какого безумия мог дойти русский умный и ученый человек, и еще сын Сергея Михайловича Соловьева. Гордость, усиленная глупым поклонением со стороны некоторых дам, натолкнула его на этот ложный путь». Государь ответил: «Действительно, это страшно печально, и в особенности подумать, что это сын милейшего Сергея Михайловича Соловьева, который был моим воспитателем».

А умные дамы и умные мужчины говорили, что лекции сына, а не отца, были незабываемые. Он мог «глаголом жечь сердца людей»; но глагол его был или под запретом, или стеснен. «Не смею говорить о Владимире Соловьеве, – писал князь Волконский, – не моего познания дело, не могу судить и о том, в

чем истинная его сила – философ или публицист, но скажу, что среди русских публицистов, людей, занимавшихся вопросами общественно-государственными, ни один не принес на служение родине более высокого мыслительства, согретого более пламенным духом любви, чем Владимир Соловьев. И не слышу слов уже, но слышу этот голос, немного глухой, подернутый дымкою, с тем особенным, ему присущим чем-то апостольским, в оболочке ежедневной простоты. Но, несмотря на эту простоту, никогда не мог я подойти к Соловьеву так, как подходил вообще к людям. Он не был для меня физической сущностью; когда я пожимал его руку, я пожимал духовную руку. И вижу такую картину: в густой толпе, под белым сводом монастырских ворот, сребристо-черными прядями обрамленный лоб и голубой пламень глубоких глаз – на фоне золотой парчи. То было в воротах Александро-Невской лавры; он подпирал плечом гроб Достоевского. И под этой картиной хочется подписать и к нему же отнести его же (Соловьева. – *Э. М., Э. Г.)* слова:

Высшую силу в себе сознавая,
Что ж толковать о ребяческих снах?
Жизнь только подвиг, – и правда живая
Светит бессмертьем в истлевших гробах».

* * *

С восторгом, но и тоской по улетевшей от него собственной музе, Константин читал стихи Соловьева. Для него он был «особенный» еще и потому, что приходился другом Фету. Издалека, приглушенная зеленой чащей, звучала музыка военных маршей, раздавались окрики команд, голоса птиц, шум деревьев, а он не мог оторваться от стихов с удивительными мыслями, восхитительными сравнениями. Душа становилась чище, крылья у нее вырастали. И грусть, грусть от собственного бессилия! Муза, так охотно и часто прилетавшая в лагерь, не навещает его…

Стояла жаркая и тихая погода. Земля высохла, просила дождя. Вроде бы барометр падал, но сушь продолжалась. Хороводили в небе тучи, ожидалась гроза, но флотилия с темными парусами, возможно, набитыми дождями, проносилась мимо. «В стране ожидается засуха, люди боятся голода», – били тревогу газеты. В пятницу войскам был дан отдых. Но до

двенадцати часов дня Константин Константинович провозился в лагере. В Павловск едва успел к завтраку. Дорогой обогнал солдатика с красным воротником, гадал издалека: преображенец или Московского полка? Оказался свой, из 12-й роты, Афанасий Степанов, шел на похороны матери. Смущенного и неуклюжего, Константин посадил его рядом с собой и довез до самой избы.

В Павловске дети прыгали вокруг него. Жена была в Германии у родителей. Потом няни увели детей.

Он сидел в тишине летнего дня. Примолкли птицы. Дети, наверное, уже спали – тихий час. Почувствовал, как соскучился по Лизе. Где-то поодаль мелькнула тень, давно не бывавшая в его садах. Одна дама – муза – напомнила о другой – жене. А как неимоверно они иногда соперничают! Не иначе как мелькнувшая тень оживила в памяти стихотворение, написанное год назад здесь же, в Павловске, когда Лиза тоже уезжала:

В тени дубов приветливой семьею
Вновь собрались за чайным мы столом.
Над чашками прозрачною струею
Душистый пар нас обдавал теплом.
Все было здесь знакомо и привычно,
Кругом все те же милые черты.
Казалось мне: походкою обычной
Вот-вот войдешь и сядешь с нами ты.
Но вспомнил я, что ты теперь далёко
И что не скоро вновь вернешься к нам
Подругою моей голубоокой
За чайный стол к развесистым дубам!
(«В разлуке», 29 июля 1890)

* * *

Утром Константин торопился в суд, но задержала мать, сказав, что хочет поговорить с глазу на глаз. Александру Иосифовну печалили события, случившиеся во время

путешествия Наследника на «Памяти Азова». Сын Оли все же спас Ники жизнь! Сам Ники это признает. А благодарности никакой не последовало. Александра Иосифовна приложила к глазам платочек:

– Не понимаю ничего… Да еще смеют говорить, что Георгий плохо влиял на Цесаревича, учил его дурному…

Константин объяснил, что ничего страшного не произошло. Просто свита Ники не нашла общего языка с кают-компанией «Азова», где Георгий числился своим человеком да еще был близок к Ники – вот и возвели на него всякую напраслину. И все же сплетни – дело гадкое, а зафиксированные на бумаге – становятся опасными. Так что многое будет зависеть от того, что изложит на бумаге князь Ухтомский, который сопровождал будущего Императора Николая II в кругосветном плавании.

Эспер Эсперович Ухтомский, публицист и поэт, закончил историко-филологический факультет Петербургского университета, служил по департаменту духовных дел иностранных исповеданий, несколько раз был командирован в Сибирь и Среднюю Азию для изучения быта инородцев-буддистов. В мемуарной литературе сохранился его портрет:

…

«Что-то обаятельное по природным данным и вместе что-то раздражающее, способное в отчаяние привести по практической неприложимости. Маленький, сутуловатый, с беспорядочными черными волосами, очень неряшливый во внешности своей, он говорил как-то мелко, рублено и с преимущественным уклоном к анекдоту. В силу последней привычки он бывал иногда забавен, иногда несносен. Чрезвычайно начитанный, с красивым поэтическим талантом, он, однако, ничего не сделал. Как в стихах своих он никогда не мог удержаться в рамках выбранного им размера, так и вся жизнь его была полна перебоев. Про него можно сказать то, что говорили про члена

Французской палаты Дешанеля: „Un brillant avenir derriere lui“ (Блестящая будущность за спиной). Только Дешанель все-таки побывал президентом республики; правда, он кончил печально: в припадке нервного возбуждения выскочил из вагона на полном ходу; подобравшая его жена стрелочника дала телеграмму, что выскочил из поезда какой-то сумасшедший, который воображает себя президентом республики… Ухтомский же стал всего-навсего редактором „С. – Петербургских новостей“. Но царь сказал ему, что будет читать его газету каждый день.

Газета Ухтомского была единственная, касавшаяся вопросов инославия и иноверчества в тех пределах безбоязненности, которые вообще были допустимы по тогдашним цензурным условиям. Кроме того, Ухтомский имел разрешение письмом испрашивать себе свидания. Он вкладывал свои письма в номер газеты, который посылал Государю. Много «истин» доходило таким путем до уха царского, но все-таки ничего из этого не вышло. С одной стороны, все разбивалось о безразличие, которым отличался характер Государя, с другой, и сам Ухтомский себе повредил. Его сгубил анекдот. Ведь анекдот хорош между двух людей, одинаково мыслящих; тогда он является сокращенным способом общения, избавляя от чрезмерно подробного изложения. Но когда говоришь с человеком, который, что называется, «не в курсе», анекдот и не убедителен, и не смешон – он надоедлив. Ухтомский в Царском

просто надоел».

В плавании Ухтомский исполнял роль «путеводителя», человека, знающего чужие страны, особенно восточные, которые Наследник посещал. Ухтомский испытывал особую тягу к Востоку и был хорошо известен в российских академических кругах как серьезный исследователь буддистских древностей. Восточные люди любили его, он умел с ними говорить: все, что было в нем детского и молодого, как-то встречалось с тем, что было в его собеседниках мудрого и стародавнего. Из своих путешествий он привозил ценные подарки и приобретения; его коллекция буддийских идолов была впоследствии приобретена музеем Александра III. Его квартира на Шпалерной походила на некий храм: занавески, идолы, драконы, бронза, яшма, нефрит, лак; в аквариуме – крокодил. Китайцы, тибетцы, сиамцы, индусы и наши буряты – все являлись к нему на поклон, а идолы и крокодил свидетельствовали о его любви к Востоку и его людям. Ухтомский был зачислен в свиту Наследника как историограф путешествия Цесаревича и просветитель его. Ему предстояло составить подробное описание всего, что происходило на их пути в чужеземных странах и на царском корабле. Вот этого и боялся Константин. Начнется с того, что Георгия взяли на борт в последней православной стране – Греции, а закончится тем, что Георгий – «молодой человек, который не может служить образцом для Великих князей и принцев».

Но пройдет несколько лет, и в трехтомнике Э. Э. Ухтомского под названием «Путешествие на Восток Его Императорского Высочества Государя Наследника Цесаревича. 1890–1891», изданном в роскошных полукожаных переплетах с золотым тиснением (тома выходили последовательно с 1893 по 1897 год), Великий князь не найдет ни одного худого слова о греческом принце-спасителе.

Государь пожаловал Георгию «золотую медаль за спасение погибающего». Пройдет пять лет, и Цесаревич Николай перед своей коронацией запишет в дневнике: «Горячо благодарил Бога за спасение, ниспосланное Им рукою Джорджия в Японии!» В этот день он всегда будет стоять на благодарственных молебнах.

* * *

Суд начался минута в минуту. Было объявлено, что разбирается дело об изнасиловании мещанки Бахваловой нижними чинами Преображенского полка.

Константин внимательно посмотрел на своих подопечных – ефрейторов и рядовых, стараясь напомнить им о их вчерашней беседе. Под вечер он заходил к ним на полковую гауптвахту. Разговор был долгий, но молчания – больше.

– Как вы могли опозорить так полк?

– Мы не подумали, – хмуро сказал Нечаев.

– О себе почему не подумали?

– Бес попутал, жарко было, – отвечал за всех опять Нечаев.

– Домой хотелось, мне хотелось домой к жене, – всхлипнул самый молодой Позик.

– Ты же в отпуске уже был!

– Не был я, не пропустили. Сказали, причин пока нет.

– Но порядок же по отпускам существует?…

– Кто его знает. Так говорят, но на самом деле не то…

– А вы что молчите? – Константин посмотрел на остальных троих и ужаснулся: – Как вы могли – все!.. Как звери…

– Она сама допустила, смеялась. Думали, что согласная…

– Вас будут судить. Очень строго. Я не пугаю, а советую не изворачиваться, говорить правду, всю правду. Только так заслужите снисхождение…

Солдаты, к счастью, на скамье подсудимых вели себя прилично: во всем повинились, не сваливали случившееся друг на друга, не изворачивались. Но суд был строг: четырех приговорили к каторжным работам на восемь лет, двоих-на четыре года. Оправдали только одного, совсем молодого Позика. После разбирательства виновные сказали свое последнее слово – всё, как учил их Константин: что осрамили полк, что огорчили начальство и принесли ему неприятности. Просили милости, потому что служили всегда честно и непорочно. Константину было больно их слушать. «Мне придется прибегнуть к Высочайшему милосердию», – подумал Константин. Он хотел облегчить положение осужденных.

Суд, а вернее случившееся в полку и приведшее к суду произвело на Константина удручающее впечатление. Знак о возможной распущенности полка и его неуправляемости был подан. Он вдруг остро почувствовал разницу между ротой, в которой почти каждого солдата знал в лицо, и многоликостью полка.

ЭЛИТАРНАЯ ДОЛЖНОСТЬ

Преображенский полк – это история Российской империи и Российской армии. Преображенцы участвовали в шведских, турецких, наполеоновских, балканских войнах. Полковое знамя, герб полка, полковая икона – это были святыни для имевших честь служить в полку.

Избранным, кто отлично служил, был награжден орденом Святого Георгия, орденом Меча и золотым оружием, разрешалось уйти в отставку «с мундиром», имея честь носить его всегда. За особые воинские заслуги генерала высокого ранга могли удостоить звания «Почетного преображенца». Этого звания удостоился в свое время генерал-аншеф граф А. В. Суворов-Рымникский.

В Преображенском полку служили Государи и Великие князья. Преображенцы стояли на самых почетных местах у царского трона. Их казармы были ближе всех к Зимнему дворцу. Многие, начинавшие здесь службу в нижних чинах, сделали высокую карьеру в государственной, политической и дипломатической деятельности. Знаменитый полк, «парадное» лицо петербургского офицерства, он был в чести, всегда на виду, с особыми привилегиями. Но, вступив в новую должность, Константин Константинович мучительно думал о себе в этом полку: как он *сам* будет идти «по благородному пути самоусовершенствования и полезной деятельности»?

Начиналась жизнь, характерная для высочайших особ Императорского Дома. А высочайшие особы, по замечанию современника, «как в футляре, замкнуты в собственном существовании… масса мелких интересов до такой степени заслоняет их взор, что совершенно закрывает от них широкие горизонты. С ними чувствуешь себя, как в комнате, лишенной воздуха. Их умственный и нравственный кругозор так узок, так ограничен. Перед их бедным умом, крылья которого постоянно обрезались, никогда не открывалось иных горизонтов, кроме Марсова поля и Красносельского лагеря, не вырисовывалось иных идеалов, кроме парадов и фойе оперы или французского театра!».

Но каким бы ни было едким и во многом несправедливым это замечание, доля истины в нем все же была. Вот и Великому князю Константину Константиновичу предстояло преодолеть в себе «кукольную пружину» царедворца, чтобы не превратиться под давлением «этикета, удовольствий и роскоши», этой хитроумной придворной машины, в посредственность.

«Всегда оставайтесь самим собой», – вспоминался совет

Страхова. Совет был легко приемлем для диалога поэта с листом бумаги. Но как его применить в море человеческих отношений, часто окрашенных предрассудками, в придворно-уставных обстоятельствах?

После последних больших учений он с тревогой отмечал, как командиры теряются, видя перед собой вчетверо больше людей, чем в частях мирного состава, только немногие быстро осознают, как справиться с этой массой. «Придет война, – сокрушался Константин, сам один из командиров, – мы голову потеряем…»

Он, конечно, проверял, контролировал всё, что положено командиру полка. Любил дни, когда успевал многое сделать по программе, заранее составленной. Вспоминал Великого князя Алексея, от которого ему доставалось за эту «скучную сухую» наклонность еще на фрегате «Светлана». «Ты видом, как циркуль, манерой, как счетная линейка, педант и заведенная машина!» – кричал ему Алексей в кают-компании.

Но он и теперь находил, что в его привычке жить «по программе» ничего дурного нет. Иначе как бы он успел побывать в Пулковском комитете, председателем которого состоит по званию президента Академии? Как бы осмотрел новые батальонные кухни и столовые, а часть их пришлось забраковать? Как бы разобрался с караулом в новом арсенале, когда командующий 4-й ротой Джунковский, проверяя караул, застал двух часовых спящими?

Он шел на фуражный двор, осматривал склады неприкосновенного запаса, заходил в нестроевую роту, в артель нижних чинов, в арсенал при дежурной комнате, в библиотеку. Прослужив под началом хорошего военачальника Васмунда, он научился многим дельным вещам, как научился избегать того неразумного и недоброго, что тоже видел у Васмунда. «Это урок от обратного», – говорил себе Константин. Никто, как он, не понимал солдата, никто, как он, не любил его. К сожалению, элитная должность не приближала, а отдаляла от него солдат – главную силу армии. Какую же тоску он испытал по живому солдатскому разговору, по его открытой душе, когда видел застывших в чинопочитании подчиненных, обходя в темноте солдатские палатки!

Он погрелся возле угасавшего костра 2-го батальона и, уже возвращаясь после обхода вдоль тыла полка, услыхал из-под одной палатки возле патронных одноколок громкий голос. Остановился, прислушался: какой-то солдат рассказывал сказку. По говору можно было заключить, что он малоросс, хотя говорил по-русски. Сказка была про богатыря Ивана-дурака, совершавшего подвиг за подвигом и все никак не достигавшего благополучия, а

у коня его «в лобу солнце, в затылку месяц, а скрозь звезды…». Сказка тянулась бесконечно. Он долго стоял и все слушал, радуясь живой солдатской речи. Любопытно было, с каким участием относились к сказке слушатели, иногда прерывая рассказ замечаниями, вопросами и восклицаниями…

И вдруг Константин Константинович понял: то, о чем он раньше думал с благодушной иронией – о разнице между собой и предыдущим командиром Преображенского полка, – к благодушию отношения не имеет.

* * *

Предыдущий командир, его лучший друг Великий князь Сергей Александрович, был грозой полка. Его боялись, ему подчинялись безоговорочно и офицеры, и солдаты. Конечно, это была не строгость принца Александра Петровича Ольденбургского, командира гвардейского корпуса, чья строгость граничила с самодурством, когда у офицеров случались нервные припадки, а солдаты впадали в панику при приближении своего начальника. Сергей же был просто строг, холоден, недоступен.

Константину казалось, что он хорошо знает Сергея: его крайнюю религиозность с поклонением всем русским святыням, поездками по монастырям, беседами со старцами. Сергей много читал, собственно он в какой-то мере развил вкус к серьезной литературе у Константина. Он его познакомил с Достоевским, который для Константина на всю жизнь остался главной притягательной силой в духовной жизни. Он дружил с Победоносцевым, крупным законоведом, государственным деятелем, литератором, человеком критического ума, близким к идеалистам-славянофилам. Была какая-то ниточка между ними – Достоевским – Победоносцевым – Сергеем.

Двадцать девятого января 1881 года Победоносцев писал Александру III: «Вчера вечером скончался Ф. М. Достоевский. Он был мне близкий приятель, и грустно, что нет его. Но смерть его большая потеря и для России. В среде литераторов он – едва ли не один – был горячим проповедником основных начал веры, народности, любви к Отечеству. Несчастное наше юношество, блуждающее, как овцы без пастыря, к нему питало доверие, и действие его было весьма велико и благодетельно. Многие – несчастные молодые люди – обращались к нему как к духовнику, словесно и письменно. Теперь некому заменить его. Он был беден и ничего не оставил, кроме книг. Семейство его в нужде. Сегодня пишу к графу Лорис-Меликову и прошу доложить, не соизволит

ли Государь Император принять участие. Не подкрепите ли, Ваше Высочество, это ходатайство. Вы знали и ценили покойного Достоевского по его сочинениям, которые останутся навсегда памятником великого русского таланта».

Первого февраля новое письмо: «Похоронили сегодня Ф. М. Достоевского в Невской лавре. Грустно очень. Вечная ему память. Мне очень чувствительна потеря его: у меня для него был отведен тихий час, в субботу после всенощной, и он нередко ходил ко мне, и мы говорили долго и много за полночь…»

И Сергей считал для себя счастьем увидеть Достоевского в своем доме, устроить его чтение, дать возможность собравшемуся обществу послушать писателя. И это была не мода, не прихоть «увидеть гения». Это была глубокая потребность души и интеллекта.

Сергей был крайне гостеприимен. У него, Великого князя, генерал-губернатора Москвы и командующего войсками Московского военного округа, всегда останавливалась семья Константина. «Милый дядя Сергей, радостный, со свойственной ему приветливостью…» – это воспоминание сыновей Константина Константиновича.

Но как противоположно этому звучали голоса большинства знавших его людей. Этим людям не в чем было Сергею завидовать, не в чем с ним соперничать. Они были богаты, родовиты, свободны от его власти, влияния, характера. И вместе с тем: «… при всем желании отыскать хотя бы одну положительную черту в его характере, я не могу ее найти, – пишет Великий князь Александр Михайлович. – Будучи очень посредственным офицером, он, тем не менее, командовал л. – гвардии Преображенским полком – самым блестящим полком гвардейской пехоты. Совершенно невежественный в вопросах внутреннего управления, Великий князь Сергей был, тем не менее, московским генерал-губернатором, пост, который мог бы быть вверен лишь государственному деятелю очень большого опыта. Упрямый, с недостатками, он точно бросал в лицо вызов и давал, таким образом, врагам богатую пищу для клеветы и злословия».

Современный нам автор исторических книг В. Н. Балязин, собрав факты, набросал картину нравственной жизни полка во время командования им Сергеем Александровичем:

…

«Характернейшей чертой быта
было бретерство, волокитство, игра

в карты, склонность к гомосексуализму и забубенное пьянство. Дело врачей и психологов объяснить, почему так произошло, что среди офицеров гвардии широко распространился гомосексуализм. Александр III, эталон нравственности, с омерзением относился к носителям этого порока, но изгонять со службы не мог, ибо их было слишком много, ограничивался отставками офицеров, чьи похождения получали громкую скандальную огласку.

Император вынужден был отставить от службы сразу двадцать офицеров-преображенцев, не предавая их суду только из-за того, что это бросило бы тень на его родного брата – их командира».

Великий князь Константин Константинович достаточно брезгливо и возмущенно относился к этому доставшемуся ему полковому наследству, а за то, с чем лично справиться не мог, просил у Господа прощения и очень страдал.

И, конечно, не понимал Сергея. Зачем тогда Достоевский, зачем философские книги, зачем мудрые старцы и зачем чистая, почти святая, красивейшая женщина – жена, чьи портреты развесил и расставил Сергей у себя в кабинете?

А солдаты, служившие верой и правдой? Они ведь не должны вернуться домой, во все уголки России, опошленными, циничными, не узнавшими «трудной честности», этой руководящей силы человека?

В Сергее была какая-то неясная для Константина двойственность. Они, два близких друга, две родственные души, плакали у гроба

матери Сергея – Императрицы Марии Александровны, не принимали, считая позором для России, роман его отца Александра II с княжной Долгорукой… И вот отец Константина, отправленный в отставку, оказался не у дел. Не думая о дружбе с Константином, о несправедливости по отношению к его умному и талантливому отцу, Сергей заявлял в письме Победоносцеву: «… Скажу Вам откровенно, что порадовался последним переменам в высших кругах… Я думаю, нелегко было привести в исполнение перемены министров…»

Перемены министров были не только не легкими, но, как в случае с отцом Константина, и крайне неудачными. Константина Николаевича заменил Великий князь Алексей Александрович – адмирал Российского флота.

Трудно было представить более скромные познания, чем те, что имелись у этого адмирала могущественной державы. Одно только упоминание о современных преобразованиях в военном флоте вызывало болезненную гримасу на его красивом лице. Не интересуясь решительно ничем, кроме женщин и балов, он изобрел чрезвычайно удобный способ для устройства заседаний Адмиралтейств-совета. Он приглашал его членов к себе во дворец на обед и рассказывал одну и ту же историю из времен парусного флота. Это беззаботное существование было омрачено, однако, трагедией: несмотря на все признаки приближающейся войны с Японией, генерал-адмирал продолжал свои празднества и, проснувшись в одно прекрасное утро, узнал, что наш флот потерпел позорное поражение в битве с современными дредноутами микадо. После этого Великий князь подал в отставку и вскоре скончался.

Константин не любил говорить с Сергеем о Победоносцеве. Это было живое напоминание о болезни отца, о его исковерканной жизни. Сколько бы полезного мог сделать отец за истекшие, как вода, годы! Но его отстранили от государственной деятельности в лучшем возрасте зрелости. А сейчас он не жил, не умирал – мучился после случившегося с ним удара: вялость, сонливость, слабость, онемение пальцев рук…

И все же имя Победоносцева заявляло о себе в разговорах друзей.

– Ты ведь не станешь отрицать, что в смутное время 1881 года, когда весь Петербург бредил конституцией, и твой отец тоже, – единственным оплотом против этого безумия был Победоносцев. Он все же остановил смуту и дал России опомниться, – говорил Сергей.

– Интересную эволюцию он прошел: тайный корреспондент Герцена… [37]

– Но он Герцену писал не как противник самодержавия, а как сторонник его укрепления! – разозлился Сергей.

– Слишком разносторонне он его укрепляет: «Победоносцев – для Синода, Обедоносцев – для двора, Бедоносцев – для народа, а Доносцев он – всегда».

– Ты, Костя, не можешь обойтись без рифмы, даже столь низменной. А считаешь, что тебя петербургская культура взрастила…

– Мне он несимпатичен не по причинам наших семейных неприятностей. Не выношу людей, пусть даже высокоодаренных, высококультурных и умных, но все разрушающих злобной, узкой критикой. Не терплю ума без положительного, жизненного творчества. Победоносцев не в состоянии ничего произвести ни физически, ни умственно, ни морально… Пойми, он черств, как сухая корка, мертвенен, словно мумия, вышедшая из египетского саркофага… Пойми, Сергей, было бы лучше, если бы Победоносцев сидел в своем Хлебном переулке в Москве, ходил в университет, читал своим шелестящим голосом лекции, а не гипнотизировал всех. Мне жаль, что он свою умную голову не сумел приложить к реальным делам, а все заботится о «шатаниях мыслей», променяв силу своей мысли на силу злобы.

– Ты не прав. С ходу могу тебе кое-что из дел перечислить. Он принимал участие в деле создания Добровольного флота. Вспомни, сразу после Сан-Стефанского мира с Турцией возникла мысль, ввиду возможной войны с Англией, приобрести быстроходные пароходы, которые в военное время могли бы быть обращены в крейсеры-истребители. По всей России тогда открыта была подписка на осуществление этой цели путем пожертвований. Удалось приобрести в Германии первые суда, названные «Россия», «Москва», «Петербург», «Нижний Новгород». Знаю, что этим делом и отец твой занимался… И еще. Победоносцев знаешь о чем Государю написал? О северных краях России, которые приходят в запустение оттого, что правительство совершенно отвернулось от этих мест. Позаботился Константин Петрович и о школе для девочек в городе Свислочи; обеспокоен

убогим видом «шведской могилы» в Полтаве. «Нужно достойно и праведно устроить это место», – говорил он. Сейчас указывает на необходимость реставрации древнего Спасо-Мирожского монастыря в Псковской земле. Подожди, я тебе сейчас что-то покажу…

Сергей выдвинул ящик стола, достал несколько листков бумаги:

– Прочитай. Саша позволил мне это переписать – письмо от Константина Петровича из Пскова. Только что получено Государем. Читай!

«Поездка моя в Псков, – читал Константин, – была крайне интересна и поучительна. Для русского человека древний русский город, исполненный исторических воспоминаний, кажется святыней, и в этом смысле Псков – на первом месте: здесь каждая пядь земли или полита кровью, или носит на себе следы исторических событий. Едешь, и говорят: здесь волновалось вече; отсюда Александр Невский шел на Ледовое побоище; тут граждане псковские встречали Василия Ивановича – первого рушителя псковской свободы; здесь юродивый Николай с куском кровавого мяса остановил кровожадного врага, а вот мощи этого юродивого в соборе; отсюда, с колокольни, Стефан Баторий смотрел на приступ 8 сентября; вот свежий пролом, заложенный в одну ночь псковскими гражданами и женщинами, – и так на каждом шагу. Старая псковская стена – поистине великая святыня, подобная севастопольской: враг не решился двинуть свое войска, и одни граждане отстояли свой город против целой армии первого полководца Батория к удивлению всей Европы и на спасение всей Руси, ибо, если бы не устоял Псков, не устоять бы и Москве. И это спасение приписал народ не себе, а заступничеству Матери Божией: в отчаянную минуту, когда враги ворвались уже в город и спасения не было, пронесли по стенам древнюю икону Печерскую, вынесли из собора мощи Всеволода-Гавриила и сказали: „Князь святой, сам спасай свой город“. И чудо совершилось: мужики, женщины и дети прогнали сильных рыцарей. Все это помнит народ с горячей молитвой, и ежегодно с 3 по 15 октября совершается великое торжество в память осады – крестный ход из Печерского монастыря вокруг стен всего города, со вселенскою панихидою у пролома, и тут же празднуется другое избавление Пскова в 1812 году, тоже приписываемое чуду великой милости Божией».

– Как написано! Поэт, историк! Язык русский, чистый, – восхищался Сергей.

– Да. Но как совместить эту поэзию со множеством странностей, похожих на доносительство: слежка за газетами,

журналами, книгами, приезжими актерами… Мне, например, тоже не понравилась картина Ге «Христос и Пилат», но я же не требовал ее снять с выставки.

– Ты не обер-прокурор Священного синода…

– Так ведь анекдоты ходят о нем. Как-то увидел в продаже конверты с бумагой красного цвета, изучил их и пишет тогдашнему министру внутренних дел графу Дмитрию Андреевичу Толстому: «Посмотрите на свет: водяной знак изображает красного петуха».

– Ну, это все мелочи. – Сергей высокомерно посмотрел на Константина.

«Вот так он смотрит… Нет, хуже. Как на скот, смотрит на солдат, – подумалось Константину. – И, наверное, как и Победоносцев, не одобряет никаких учений, основанных на доброй природе человека».

Но вслух он сказал другое:

– А я и в мелочах не люблю лживой двойственности. «Мы не сумели сохранить праведника…» – так Победоносцев говорил об убийстве Александра II. А за месяц-два до убийства удержаться не мог от ненависти – и к «благодушному» Царю, да и к моему отцу, и к их сподвижникам: «Это роковое царствование тянет роковым образом в какую-то бездну. Прости, Боже, Александру II – он не ведает, что говорит… Теперь ничего не отличишь в нем, кроме Сарданапала. [38] Судьбы Божьи послали нам его на беду России». Александр II правильно делал, что Победоносцева не любил. Увидишь, и Александр III перестанет слушать его риторику и доносы…

Константин вдруг замолк. Он все-таки любил Сергея.

– Извини, Сергей. Я излишне погорячился. Так, чего доброго, доберемся до графа Льва Николаевича, а там и до Рачинского.

– Рачинский? Сергей Александрович? Почему ты вспомнил моего тезку?

– Потому что он друг Победоносцева. И потому что вчера в заседании Академии мы избирали членов-корреспондентов на имеющиеся вакансии. Я просил замолвить слово за автора книги «Сельская школа» Рачинского как за одного из полезных русских людей, деятелей на поприще народного образования… Избрали единогласно.

– Ну вот! Победоносцевым ты недоволен, а его последователей отличаешь.

– Последователи – иные личности, далекие от его мертвящей работы.

– Но что ты нашел в Рачинском – затворнике, отшельнике, бедолаге?

– Тебе не понять. – усмехнулся Константин. – Должности у тебя слишком высокие…

Сергей пожал плечами:

– Ты только что одну из них получил, мою, можно сказать, вчерашнюю.

Разговор с Сергеем не получался. Не мог он сказать открыто Сергею: «Ты идейно близок к Победоносцеву, нынешнему „государственному оку“, поскольку защищаешь его убеждения, что для общества пагубна идея народовластия, „великая ложь нашего времени“, как говорит Победоносцев, что парламентские деятели – самые безнравственные представители страны, что вреден и безнравственен суд присяжных – „пестрое смешанное стадо, собираемое или случайно, или искусственным подбором из массы, коей недоступно ни сознание долга судьи, ни способность осилить массу факторов“, что вредна периодическая печать, сила развращающая и пагубная, мол, „любой уличный проходимец, любой болтун из непризнанных гениев, любой искатель гешефта может, имея свои или достав чужие деньги, основать газету, созвав толпу писак“, что вредно распространение народного образования. Но совсем не опасны, считает Победоносцев, невежество, грубость, забитость духовенства и неграмотной массы людей. Можно со всем этим соглашаться или не соглашаться, принимать эти суждения или отрицать, но нет в них ни слова любви к человеку…» Всё это хотел сказать Константин Сергею. Но не сказал. Он стал ему рассказывать, как стоял всенощную в учительской семинарии, как понравилось ему тамошнее богослужение и как при выходе из семинарии его фельдфебель Степан Кидалов вдруг сказал:

– Ваше Высочество, вы заметили, как священник и один из учеников *трогательно* читают возгласы и шестопсалмие?

– Ну и что, что он сказал? – поднял брови Сергей.

– А то, что я впервые слышу такое выражение от простого солдата. «Трогательно»… Ты чувствуешь в этом душу человека?

Сергей ничего не чувствовал. И Константин сказал себе: «Я не хочу быть таким командиром, каким был мой друг, – бурбоном и карателем. Я хочу испытывать счастье от возможности проявлять к людям любовь и доброту. Я хочу доверия».

Так он написал своей дорогой Королеве эллинов – сестре Оле.

ПЕРЕКРЕСТОК

В те дни он начал читать новую книгу Сергея Александровича Рачинского «Сельская школа».

Если нарисовать крест, то это и будет тот перекресток, на котором все они встретились: Рачинский, Константин, Победоносцев и Сергей.

Константин Петрович Победоносцев очень ценил Рачинского. Восторженно писал о нем Александру III: «Я представлял Вашему Величеству письмо Рачинского, чтобы показать, какие люди у нас работают в темных углах, с верою в успех делают великие дела в малом круге своем». Победоносцев ценил Рачинского как человека высокого благородства, блистательного ума, обаятельного собеседника. Но еще более ценил в нем педагога, который организовал в своем селе Татево школу-интернат. Она прославилась не только в России, но и за рубежом. Профессор ботаники Московского университета, первый переводчик Дарвина на русский язык, Рачинский оставил блестящую университетскую карьеру и перебрался в свое родовое имение, в Татево. И твердо решил посвятить оставшуюся жизнь обучению и воспитанию крестьянских детей. Совершить такой поступок в 49 лет!

Победоносцев сожалел, что Рачинский до сих пор продолжает считать себя сторонником Дарвина. Когда он первым перевел на русский язык основной труд Дарвина «Происхождение видов», Победоносцев еще не был обер-прокурором Священного синода и не мог запретить книгу. Но сейчас Рачинский написал предисловие к ее второму изданию. И вот теперь-то Константин Петрович запретил публиковать второе издание, как и новый перевод, сделанный И. М. Сеченовым.

Победоносцеву не нравились «отношения» Рачинского не только с Дарвином, но и с Львом Толстым. Дружбу с последним Константин Петрович старался поколебать. И не безуспешно.

Льва Толстого и Рачинского сблизила педагогика. «Яснополянский мудрец и Татевский отшельник» – так их называли – считали воспитание детей в начальной сельской школе важнейшей задачей.

Семнадцатого апреля 1877 года Рачинский писал Толстому:

...

«Для чего нужны школы? Для чего нужна церковь? Для чего нужно

людям жить не собой только, но и друг другом? Все эти потребности, я не скажу физические, но столь же непосредственные, столь же могучие, как голод и жажда. Мне кажется, что образованному человеку, живущему в русской деревне, столь же естественно учить крестьянских ребят, как родильнице кормить грудью своего ребенка, тем более что они так голодны, так жадно льнут ко всякому, который может чему-нибудь научить».

Рачинский делился с Толстым своими мыслями по поводу способностей его учеников к литературному творчеству и радовался, что ученики сочиняют сказки. «Я давно бросил задавание сочинений, – пишет он, – они пишутся нехотя, вяло, сухо, – и заменил их ежедневною импровизированною диктовкою на самые разнообразные темы, что чрезвычайно их интересует».

Толстой и Рачинский неоднократно пытались приехать друг к другу.

Толстой посылает Рачинскому телеграмму: «Когда и как приехать к Вам? Отвечайте: Торжок станцию». Но телеграмма пришла с опозданием. Рачинский пишет Толстому: «Вчера, любезный граф Лев Николаевич, я получил Вашу телеграмму, ответил и лишь сегодня рассмотрел, что она от 30 сентября. Можете представить наше горе! Вы уже ехали к нам – и, благодаря телеграфу, мы узнали об этом лишь через шесть недель! А как отрадно, как нужно мне было Вас видеть! Нужно мне Вас видеть потому, что я слабею. Физически и нравственно. Утомление шести лет непрерывного учения и болезнь, которую я себе нажил, подрывают мои силы. Я Вас обещал ребятам: они все точат зубы на Вас. – А мои помощники! Ведь на них никто, кроме меня, и обратить внимание не хочет. Вы бы их оценили, одобрили. Они этого стоят. В них вся суть моей школы, за которую мне надоело слышать похвалы себе – самому неумелому из учителей».

Существенным различием было то, что Победоносцев и Рачинский боролись за церковно-приходские школы, а Толстой был сторонником земских школ. Это и осложняло их отношения. Победоносцев осложнения только подогревал: «Ужасно подумать о Льве Толстом. Он разносит по всей России ужасную заразу анархии и безверия. День за днем работая, он издает книжку за

книжкой за границей – одна другой ужаснее, в России рассылает послания… Он враг Церкви, враг всякого правительства и всякого гражданского порядка. Есть предположение в Синоде объявить его отлученным от Церкви во избежание всяких сомнений и недоразумений в народе, который видит и слышит, что вся интеллигенция поклоняется Толстому. Вероятно, после коронации возбудится вопрос: что делать с Толстым?»

Рачинский отвечал весьма интересно: «Неуместно тут всякое внешнее насилие… И дело остается крайне затруднительным, за неимением не только в России, но и во всей Европе выдающихся нравственных авторитетов, способных побороть Толстого его оружием».

Рачинский, даже не соглашаясь с «преступной проповедью Толстого», склоняет голову перед русским гением. Он пишет ему: «Как обрадовали Вы меня надеждою увидеть Вас в Татеве. Я всегда дома, при мне всегда ребята. Отлучки мои столь редки и кратки, что о каждой из них могу сообщить Вам заблаговременно. О возможных между нами религиозных несогласиях не заботьтесь. Едва ли я ошибаюсь, угадывая в последних Ваших рассказах суть Ваших религиозных воззрений, такую суть, относительно коей мы разойтись не можем. Что касается до прочего – разве полное согласие между людьми возможно? Бог – такая безмерность, и разум наш так ограничен, так разнообразно односторонен! До каждого из нас доходит лишь частица вечного света. И в самом резком разногласии обе стороны могут быть правы. Поэтому для меня богословская ненависть – чувство непонятное и, полагаю, для Вас также…»

Толстой отвечает: «Спасибо, дорогой Сергей Александрович, за письмо. Я так рад, что Вы все такой же, какого я знал и любил, и та же Ваша прекрасная деятельность». Писатель также не допускает мысли, что в их взглядах могут быть серьезные разногласия: «Этого не может быть. И не думайте и не говорите этого». Дальнейшая их переписка связана с борьбой Толстого и Рачинского против пьянства. Рачинский устраивает в Татеве общество трезвости. Толстой также создает общество трезвости, пишет несколько статей о борьбе с пьянством и даже сочиняет на эту тему комедию «Первый винокур».

Двадцать шестого марта 1890 года Рачинский посылает свои статьи о пьянстве Толстому и сообщает, что в Татевском обществе трезвости числится уже 667 человек. Одновременно он пишет об особенностях своего противоалкогольного метода: «Знаю, что способ, коим его я веду, будет Вам не по душе; но ведь и Вы знаете, что Ваших религиозных воззрений я не разделяю: я – человек церковный. Тем отраднее для меня иметь Вас в этом деле

союзником».

Жизнь расставила по своим местам *церковно-приходскую* и *земскую школы.* Победоносцев, считая, что все сельские школы должны воспитывать истинно православных царских подданных, а подданные должны, в свою очередь, вдохнуть в православие новую жизнь, подсчитал количество церковно-приходских школ, обнародовал учебную программу для них и совершенно категорически постановил, что главным предметом обучения является Закон Божий, священная история Ветхого и Нового Завета, катехизис и объяснение богослужения. Все остальные предметы, кроме арифметики, являются дополнением к главному предмету. Говорилось, что учение на церковно-славянском языке укрепляет в памяти учеников события священной истории.

Земская школа на жизнь смотрела иначе и посылала в газеты статьи следующего рода:

...

«В 80-х годах по доброму почину обер-прокурора Св. Синода К. П. Победоносцева приходская школа стала выдвигаться впереди всех школ. Духовенство, получив таким образом компетенцию над школами, произвело почин своей деятельности вот на чем: вымело из сельской школы преподавание естественной истории; коллекции бабочек, жуков, тараканов и прочих насекомых выносились из школы как богопротивные вещи дарвиновского учения; очистив школу, оно от удовольствия потирало руки, но недолго продолжалось время торжества. Не прошло и десятка лет с тех пор, как правительство учредило министерство земледелия, по донесениям которого видно, что огромные пространства Вологодской, Ярославской, Московской и других губерний поражает монашенка-шелкопряд; теперь министерство затрачивает огромные средства на

борьбу с этими насекомыми, распространяет среди крестьян брошюры, в которых излагается учение о превращении бабочек. Между тем… если бы духовенство не помешало земству и не изгнало из школы прекрасную хрестоматию Ушинского, то борьба с шелкопрядом была бы возможна».

Великие князья Константин Константинович и Сергей Александрович, оба очень религиозные и соблюдающие все церковные обряды, считали, что есть зеркало, более широкое и чистое, чем все узкие философемы. И это зеркало – Церковь. Значит, церковно-приходская школа сможет уберечь будущие поколения от невежества, дикости нравов, разврата и кабака. Заметим, что в теории это звучало столь убедительно, что даже такой просвещенный человек, как доктор Захарьин, [39] пожертвовал на идею Победоносцева полмиллиона. Но правдой было другое: живую свободную школу для детей задавили, все неудержимо шли назад, словно добровольно подверглись гипнозу Победоносцева.

Мало кого в этом «походе назад» остановили мысли Льва Толстого, который громко и бесстрашно ратовал за земскую народную школу, за творчество, фантазию, свободу детского духа в ней. Но почему не услышали и самого знаменитого поборника-практика, подвижника церковно-приходских школ Сергея Александровича Рачинского? А Рачинский в своих «Заметках о сельской школе» честно признавался, что сельское духовенство, в ведение которого он сам хотел отдать сельские школы, является «сословием запуганным, но вместе жадным и завистливым, униженным, но притязательным, ленивым и равнодушным к своему высшему призванию, а вследствие этого и не совсем безукоризненным в образе жизни». Рачинский считал, что это безрадостное состояние духовенства можно изменить только личным подвигом педагогов-энтузиастов, что нужен личный подвиг, бесконечно тяжкий, до смешного скромный – потому великий. Нужно, чтобы люди с высшим образованием, с обеспеченным достатком, *не принадлежащие к касте духовной,* брали на себя воспитание детей.

«Но мало-помалу его взгляды на значение духовенства в народном образовании изменяются, народность школ отступает на задний план, а на передний выдвигается церковность, – пишет П. Ф. Каптерев в книге „История русской педагогики“ (1915), –

вместе с тем Рачинский и администрацию всех народных школ признал полезным передать духовенству. После 1894 года Рачинский свои школы передал в ведение епархиального училищного совета и сделался почетным попечителем церковно-приходских школ IV благочиннического округа Вельского уезда Смоленской губернии, за что и был в 1899 году удостоен Высочайшим рескриптом и пожизненной пенсией.

… Главнейшие положения, которые он развивает в это время о народных (они же церковные) школах, следующие: 1) лучший из мыслимых руководителей начальной школы есть добрый священник; 2) самый желательный из доступных нам сельских учителей есть диакон, подготовленный долгим учительством; 3) школы низшего разряда, никому, кроме священника, поручены быть не могут».

* * *

«Я весь под впечатлением книги Рачинского „Сельская школа“. Прочитал уже половину. Вчера был на вступительном экзамене в учебную команду и советовал офицерам приобрести книгу. Она затрагивает самые заветные струны души, дает ответ на то, что смутно сознается, во что бессознательно веришь – в духовное величие и силу простого народа. Автор известен мне лишь понаслышке, по его рассказу „Школьный поход в Нилову пустынь“ да по газетной статье. Раскрыв книгу, я сразу ею увлекся и жадно читаю. Она есть взятое из действительности подтверждение заветных мечтаний Достоевского. Я вижу в Рачинском ту же привязанность к детям своей школы, какую я сам испытывал к солдатам Измайловской Государевой роты, а теперь питаю к Преображенцам», – написав так в дневнике 2–4 октября 1891 года, Константин книгу Рачинского Сергею даже не предложил.

Пройдет время, улягутся страсти. О воцерковлении начальных сельских школ Победоносцевым современники скажут так:

…

«Никто более Победоносцева не содействовал падению веры в Бога среди школьных русских поколений: никто не принизил так

религиозности русского народа, обратив ее в пустую, сухую, но скучно и досадно требовательную государственную повинность, в формальность; никто не дал вящего соблазна к бегству всех сколько-нибудь свободных умов в материализм и атеизм… Вообразив себя воителем за Бога в народе, он был величайшим богоубийцей во всей русской истории».

А в 1891 году, в октябрьский день, Константин Константинович возьмет за руки своих детей, как раз в возрасте начальной школы, и отправится на прогулку.

«Люблю водить детей гулять куда-нибудь подальше, а не по одним и тем же знакомым дорожкам. Бродим по пахоти, заходим в лес, и эта новизна мальчиков забавляет. Вчера в первый раз начал я рассказывать Иоанчику и Гаврилушке Священную историю. Рассказывал о Благовещении и Рождестве. И вот, стараясь передавать им эти евангельские повествования как можно проще, естественнее и в то же время картинно, я умилился духом и должен был останавливаться, чувствуя, что слезы подступают к горлу. Особенно внимательно слушал Гаврилушка. Ему очень понравился Ангел. А когда я дошел до путешествия из Назарета в Вифлеем, он спросил: „Как ехала Богородица? На осле? В амазонке? «…“ Сделав запись в дневнике, он подумал, что конечно же жадный ум ребенка нуждается в более широком и разностороннем образовании, нежели могут дать церковно-приходские школы.

Так они и встретились на перекрестке жизни и теории: Рачинский, Толстой, Великий князь Константин Константинович, Победоносцев и Великий князь Сергей Александрович.

* * *

Константин читал о Иване III у историка Соловьева. Сравнивал Соловьева с Карамзиным. У последнего устарелый слог, но пишет он заманчивее, живее и как-то теплее.

Константин мучился: сможет ли он когда-нибудь написать историческую драму?

Он даже обсуждал «это мучение» с Наследником Николаем Александровичем. После обеда они уединились в малой гостиной

и рассуждали об эпохе Ивана III, говорили о самозванце и Царевиче Дмитрии, о смерти Павла I. Говорили откровенно. Потом перешли к восточному вопросу, к последней Русско-турецкой войне. У Константина осталось отрадное чувство после этой беседы: все-таки Ники одарен чисто русскою, православной душою, думает, чувствует, верит по-русски.

– Мне кажется, Костя, – как всегда ни на чем не настаивая, сказал Ники, – не следует уходить только в хронологию исторических описаний. Лучше «читать» время по обыкновенной жизни обыкновенных людей. Легче понять исторические пики на равнине – мне так кажется…

– А я и читаю «Домострой» Сильвестра. Вот до чего дошел…

– Тебе «Домострой» точно нужен, – засмеялся Ники. – Каждый год в Мраморном детский хоровод все шире…

– Если серьезно, Ники, мне графиня Комаровекая прислала целую тетрадь неизданных писем Гоголя. Не помню, откуда они у нее. Так вот, в одном из этих писем Гоголь советует всем, кто хочет быть истинно русским человеком, читать «Домострой» – очень нужную книгу. Я сожалею, что познакомился с ней так поздно. Могу тебе ее прислать.

– Пришли. «Домострой» – дом строить. Это ведь и пространственно можно понимать, ведь верно?

– Государственно, Ники. – Константин был совершенно серьезен.

Утром он ехал в роту на молебен, потом провел занятия с молодыми солдатами и остался доволен усилиями субалтерна Воронова, который отвечал за новобранцев. Помчался на Высшие женские курсы, потому что обещал приехать на репетиции лекций по русской истории, и к тому же Императрица Мария Федоровна (Дагмара, как продолжал называть ее Константин) и Государь собирались на неделе быть на курсах и посмотреть, как готовят молодых воспитателей и кандидатов на учительские должности.

– Пожалуйста, Костя, ни слова о моем приезде на курсы. Я не хочу, чтобы это было известно заблаговременно. Треволнения, суета, лишние наказания и выговоры бедным учащимся. Прошу тебя! – сказала Дагмара.

Он смотрел на нее – то же очарование, простота и непосредственность в обхождении, и во всем облике мерцание, что-то музыкально-ритмическое. Она была немного бледна, жаловалась ему, как близкой душе, на нездоровье и что после того, как не стало милого доктора Боткина, ей некому довериться. Хотелось обнять ее, но он лишь вспомнил посвященные ей стихи, подумав, что с тех пор, как написал их, она ничуть не изменилась.

На балконе, цветущей весною,
Как запели в садах соловьи,
Любовался я молча тобою,
Глядя в кроткие очи твои.
Тихий голос в ушах раздавался,
Но твоих я не слышал речей:
Я как будто мечтой погружался
В глубину этих мягких очей.
Все, что радостно, чисто, прекрасно,
Что живет в задушевных мечтах,
Все сказалось так просто и ясно
Мне в чарующих этих очах.
Не могли бы их тайного смысла
Никакие слова превозмочь…
Словно ночь надо мною нависла,
Светозарная, вешняя ночь!
(«На балконе, цветущей весною…», 15 июня 1888)

А на курсах все же намекнул о приезде высокой гостьи. [40]

Константин ехал с Государем и Государыней в Гатчину. В вагоне пили чай. Государь много говорил о «Пиковой даме» Чайковского. Ему нравилась музыка, нравилась постановка этой оперы…

Потом спросил, что нового готовят «Измайловские досуги». Хвалил стихи графа Голенищева-Кутузова за благородство и задушевность.

– Вы не собираетесь Арсения Аркадьевича продвинуть в академики по разряду изящной словесности, а, Костя?

– *Poeta nascitur, non fit* – поэтами рождаются, а не становятся. Кутузов поэтом родился. Но почему-то пошел в управляющие сразу двумя земельными банками – Дворянским и Крестьянским… И о поэзии не помышляет.

– А ты пошел в командиры Государевой роты и Преображенского полка, хотя и поэт… Вот только кому из вас удастся развенчать наших нигилистов и узнать, на какие цели направляются их силы?

– Мне удастся! – весело и для самого себя неожиданно сказал Константин.

– Ну-ну… – Царь, пожалуй, удивился, а Дагмара одобрительно засмеялась.

Вернувшись в Павловск, Константин легко вздохнул: на

сегодня – всё! Он себе устроит свободный вечер с книгой, сигарой и стаканом чаю на маленьком столике – и в полном одиночестве. Но в голове почему-то оставался разговор с Царем. Конечно, Голенищева-Кутузова изберут почетным академиком. Что же касается нигилистов, Кутузову с ними не справиться. Хотя… Иван Александрович Гончаров как-то указал Константину на Голенищева-Кутузова как на подходящего товарища по лире. Гончарову нравилось стихотворение Кутузова «Так жить нельзя!..»:

Так жить нельзя! В разумности притворной,
С тоской в душе и холодом в крови,
Без юности, без веры животворной,
Без жгучих мук и счастия любви,
Без тихих слез и громкого веселья,
В томлении немого забытья,
В унынии разврата и безделья:
Нет, други, нет! Так дольше жить нельзя!

В этих стихах Гончаров видел похожесть мировосприятия Константина и Кутузова: «… теперь так не пишут более, и почем знать, может быть, именно Вам, поэту К. Р., суждено рассеять нигилизм, эту печальную болезнь нашего века…»

В том же ряду, что и «борьба с нигилизмом», стояли и организованные Константином в годы его службы в Измайловском полку литературные заседания в Офицерском собрании, названные «Измайловскими досугами». Суворинская газета «Новое время» была удивлена фактом существования в среде высшей аристократии товарищеских кружков, в которых интерес к литературе и искусствам оказался весьма серьезен.

Действительно, на «Досугах» делались сообщения о вершинах и новинках изящной словесности, о научных открытиях, выступали как свои, полковые, так и известные поэты, писатели… И все это к тому же составляло серьезную конкуренцию бравым офицерским кутежам.

Константин выкурил сигару, отложил книгу и взялся за письмо поэту Якову Полонскому.

…

«Многоуважаемый Яков Петрович. Не знаю, привелось ли Вам слышать о существовании у нас в полку товарищеских литературных вечеров по пятницам, носящих

название „Измайловских досугов“. По правилам нашего кружка, на эти вечера допускается исключительно общество офицеров полка… Но всякое правило имеет исключения, а потому года четыре назад для оживления „Досугов“ и придавая им разнообразия, мы… пригласили Аполлона Николаевича Майкова. С тех пор он посещал наши вечера ежегодно, не реже одного раза в зиму.

… Мы надеемся, что Вы не откажетесь украсить своим присутствием наш скромный вечерок. Правда, в нашем кругу нет у Вас ни одного знакомого, кроме меня; но поэт Полонский знаком каждому Русскому.

Собираются у нас в 9 часов запросто, в сюртуках.

… Прошу Вас вооружиться снисходительностью, так как Ваш слух будет обречен на восприятие доморощенной прозы и поэзии.

Крепко жму Вам руку, Константин».

* * *

Первый «Измайловский досуг» состоялся 2 ноября 1884 года. Молодой командир Государевой роты лейб-гвардии Измайловского полка еще, как говорится, не оперился, только начинал свою службу. Но поэзию и свою музу «привел за руку» в петербургские казармы и в Красное Село с его военными полями. Всю жизнь Константин хранил документ, который сочинял, сидя на балконе в Павловске. До ноября еще было далеко, стоял упитанный летним солнцем, соками деревьев, плодов, трав август. Бумага называлась «Положение об Измайловском досуге», цель которого была определена так: «… Доставить участникам возможность знакомить товарищей со своими трудами и произведениями различных отечественных и иностранных

деятелей на поприще науки и искусства, но непременно на русском языке. Поощрить участников к развитию их дарований. Соединить приятное препровождение свободного времени с пользою. Посредством обмена мыслями и мнениями способствовать слиянию воедино полковой семьи и, наконец, передать Измайловцам грядущих поколений добрый пример здравого и осмысленного препровождения досужих часов…» На «Досуге» «допускалась музыка, а чтения и сообщения непристойного содержания исключались».

Будут идти годы. «Измайловские досуги» обретут свою историю, свои легенды, свою славу и даже зависть. «Положение», написанное Константином Константиновичем, будет совершенствоваться. Однажды, в юбилейный день, о «Досугах» напишет «Исторический вестник»:

…

«Досуги состоят в чтениях, сообщениях по изящной словесности и по научным предметам в общедоступном изложении. На „Досугах“ допускается музыка и спектакли. Действительными участниками „Досугов“ считаются почетные и действительные члены офицерского собрания лейб-гвардии Измайловского полка, а также выбывшие из полка офицеры и врачи. Всеми вопросами, как по организации „Досугов“, так и по приглашению лиц на „Досуг“, ведает особый комитет. Председателем комитета состоит со дня основания „Досугов“ и до настоящего времени Великий князь Константин Константинович. Мысль о возникновении „Досугов“ явилась в карауле в Зимнем дворце, где находились в составе офицеров караула Великий князь Константин Константинович и другие. Самая мысль „Досугов“ принадлежит бывшему офицеру полка В. Ю. фон Дрентельну, который внес, кроме

того, немало своих произведений в продолжение 24-летнего существования „Досугов“.

Самое название вечеров – «Досуг» – дал ныне умерший бывший измайловец, флигель-адъютант Н. А. Косач. Всех «Досугов» до настоящего дня было 223, на них исполнено произведений – 1325, в том числе собственных произведений – 400. Число присутствовавших членов «Досуга» – 9348. Некоторые «Досуги» были посвящены специально одному из выдающихся писателей. Два раза Измайловские драматические «Досуги» удостаивались, по желанию Государя Императора, приглашения для представления в царские театры».

Сухо изложено, как отчет о проделанной работе.

А в памяти и сердце остались дивные вечера дружества, подъема духа, вдохновения…

«Вечером был Лермонтовский Досуг в полку… Читались главнейшие произведения Лермонтова целиком и отрывками. На мою долю выпало читать последние монологи Демона, отрывки из „Мцыри“ и мелкие стихотворения. Я был в ударе, – записывал в дневнике 5 ноября 1888 года Константин Константинович, – и читал с чувством и увлечением, особенно в заключение неизданное стихотворение „Смерть“. Я сказал его наизусть, весь проникшись мыслью поэта, так что дух у меня захватывало, голос дрожал и мороз пробегал по коже. Раздались дружные рукоплескания».

«Состоялся Майковский досуг. Аполлон Николаевич говорил нам, что ему редко случалось слышать свои произведения прочитанными вслух. Мне на долю достались, по выражению Майкова, самые тонкие стихи. Но лучше всего я и сам это сознавал, прочитал „Последних язычников“… Очень довольный и растроганный, прочитал сам поэт нам НОВИНКУ, свое последнее, написанное на днях и еще неизданное произведение „Мани, факел, фарес…“ – записывал К. Р. 3 декабря того же года.

«Вечером на „Досуге“ в полку собралось 63 участника. Я со Скалоном под конец сыграли сцену Пимена из Бориса Годунова. В библиотеке большой круглый стол был сдвинут в угол, чтобы не

мешать зрителям, всю комнату заставили рядами стульев и потушили лампу. Сценою служила узенькая проходная комнатка между дежурной комнатой и библиотекой. Вместо занавеса мы просто растворили двери и ее рамки, т. е. в 2 арш. в ширину и около 4-х в высоту были кулисами. Декорацию, изображающую сцену кельи, с остатками живописи и окном с цветными стеклами, поставили наискось; к ней, в глубине справа, приставили декорацию изразцовой печи. Кресло и стол я взял с нашей детской. Скалона загримировали Гришкой Отрепьевым со старинной гравюры, и он был замечательно на него похож, но тем не менее своей роли не знал, путал слова, выпускал иные, а иные вставлял. Я тоже был загримирован, и, говорят, казался очень дряхлым и старым, только глаза и голос выдавали меня. Я помнил свою роль очень хорошо и произносил монологи с любовью и увлечением. Все остались очень довольны», – отмечал он в дневнике 15 марта 1890 года.

«Измайловские досуги» требовали внимания и времени. Комиссия «Досуга» все время решала неотложные проблемы: о библиотеке, об обещанных чтениях по истории русской словесности, о поднесении поэту Майкову жетона «Досуга», о юбилеях, о приглашениях известных ученых и писателей, о выступлениях в царском Эрмитажном театре. «Досуги» не только просвещали – на них делались и неожиданные открытия.

– Оказывается, мы не умеем говорить, мы – петербуржцы, аристократы, офицеры гвардии! – оскорблялись участники элитарного клуба в ответ на упреки в дурной декламации.

– Да! Вы неверно говорите, неверно показываете чтение стихов! Дурные привычки, ухватки, замашки, безобразные ударения, вместо интонации – завывание, – не стесняясь, поучали их знатоки.

– Мы – не актеры.

– Не будьте ими. Но помните, что и кого читаете. Это искусство не коренится в личном усмотрении. Вы думаете, что вся суть – показать свою обывательскую истрепанную душу? Да разве в этом задача и ценность? Мне не интересна душа Сидорова, Петрова, я хочу слышать Пушкина, Лермонтова, Шекспира. Нет, не в обывательской душе, а в глубинах общей человеческой природы сидят корни искусства, – говорил князь Волконский в назидание друзьям-офицерам из «Досугов».

Константин Константинович в чем-то с ним не соглашался, но уже слушал и слышал чтецов по-другому.

Майков читал с безукоризненной логической правильностью и вдохновением. Апухтин – его Великий князь слушал не однажды в петербургских салонах – с тончайшими нюансами и

изысканно, чисто выговаривая каждое слово. Легенды ходили о декламаторском мастерстве Тютчева. Высокий, с костылями, старый поэт Полонский, ответивший на письмо Константина Константиновича, что теперь ему не придется завидовать дорогому Аполлону Николаевичу Майкову, потому что он также будет иметь честь читать стихи на «Досугах» в кругу господ-измайловцев, – декламировал, сухо отбивая рифмы, с пафосом и смешной гнусавостью, да и дикция оставляла желать лучшего… В дневнике К. Р. записал: «Полонский читает предурно… даже смешно слушать, так он высокопарен, но стихи чудесные – картины за картинами, звучный металлический стих, словно классические баллады Шиллера».

До поэтических высот Полонского господам офицерам было не подняться, но научиться ставить правильно ударения, выговаривать окончания слов и не картавить на французский манер, то есть исповедовать культ чистого русского языка, вполне могли.

В последнее время Константина Константиновича мучили три проблемы. Первую он обозначал просто: «Муза меня покинула». И добавлял: «Другие пишут стихи, в которых преобладают глубина мысли и сила чувства, у меня же в стихах вместо мыслей – легкие, ничтожные впечатления, а вместо чувства – бессодержательные ощущения. Гончаров пенял не раз за это, но все послужило только к осознанию своего недостатка, а не к исправлению». Собственные мальчуганы долбят без всякого успеха его стихи, заданные учительницей, потому что в них, как он считал, «избитые, испетые и перепетые сетования на то, что „блекнет лист, проходит лето“„. И впору ему, поэту К. Р., уподобиться юнкеру Шмидту из Козьмы Пруткова: «Вянет лист, проходит лето, / Иней серебрится, / Юнкер Шмидт из пистолета / Хочет застрелиться“.

Вторая проблема – как поставить Государя в известность о важных событиях и делах в науке, технике и культуре, чтобы получить царскую поддержку. Этого категорически требовало положение в Академии. Константин решил использовать свои дежурства в Аничковом дворце. За пятичасовым чаем он говорил с Царем о постройке Сибирской железной дороги от Челябинска до Владивостока; о формировании новых флотских экипажей – крупное судно и несколько мелких; об экспедиции в Каракорум, на которую Константин дал 12 тысяч собственных рублей… Ему хотелось, чтобы Александр III масштабно увидел свое государство. Тем более что он, названный Царем-Миротворцем, планировал долгий мир для России.

Третья проблема была личной – покупка имения. Имение

стоит дорого, и уверенности в хорошем исходе дела не было. А между тем здоровье Гаврилушки и разрастающаяся семья требовали долгого пребывания на природе, в лучшем климате, чем петербургский.

Обо всем этом Великий князь размышлял по дороге на молебен в Исаакиевский собор. Отмечалась очередная годовщина вступления на престол Александра III, который, как считал Константин, «нашел свою линию в правлении: он начал лечить Россию от расслабления власти…».

ЗАВЕЩАНИЕ ГОНЧАРОВА И ОРЕАНДА БЕЗ ОТЦА

Самые простые, повисшие на жердочках розы распустились весной бело-розовыми водопадами. Породистые, темно-красные, стояли всё лето и, похоже, собирались цвести и осенью – слишком много было упругих, крупных бутонов, завернутых в зеленый шероховатый лист.

Константин сидел в кабинете. Здесь тоже чудесно пахло розами – в белых непрозрачных вазах стояли букеты. Он порылся на полке и достал книгу Тургенева «Стихотворения в прозе». Полистал. Задумался. «Сентябрь 1879 год… Совсем недавнее время… Иван Сергеевич тогда мне рассказал о картине Куинджи. Потом я его звал на вечер в Мраморный, но вечер расстроился из-за вздорных слухов и подозрений: Тургенева обвинили в революционных намерениях. Мама тогда испугалась… А сейчас 1890 год и мне уже тридцать два».

Он вышел в сад, трогал рукой мягкие холодные готические бутоны роз. Сжимал их в ладонях и отпускал, лепестки вздрагивали и падали. Подумалось: «Кто только не воспевал это чудо: „Увяла роза – дитя зари…“ – Пушкин; „Куда ланит девались розы…“ – Тютчев; „Пахнули розы и жасмины, серебримые луной…“ – Плещеев; „Венчали розы, розы Леля, мой первый век, мой век младой…“ – Баратынский; „Так мне ли ударять в разлаженные струны и петь любовь, луну, кусты душистых роз? Пусть загремят войны перуны, я в этой песне виртуоз!“ – Денис Давыдов; „Вижу, вижу! Счастья сила яркий свиток свой раскрыла и увлажила росой: необъятный, непонятный мир любви передо мной…“ – Фет».

Константин шел, читая стихи вслух.

– Костя – ты о чем? – спросила Лиза, встретившаяся с ним в аллее.

– О розах. Чувствуешь, как пахнут?

– Они вослед пахнут в саду.

– Не вослед, а везде. Везде, везде! Лето кончается, они это знают и дышат глубоко и страстно, потому так пахнут.

– Красиво, Костя, ты придумал. Как поэт. Знаешь, есть примета, если муж и жена прожили пятнадцать лет, им дарят букет роз на счастье следующих лет. У нас тоже скоро случится десять лет.

– Конечно, случится, в 1899 году. И будут розы. Ты какие хочешь? Из Павловска? Стрельны? Петербурга? Ниццы или

Парижа?

– Из Альтенбурга. Такие, как в детстве.

– А ты знаешь древний закон о розах? Кто дарит розу, тот просит всё, что пожелает.

– Проси счастья нам в следующие десять лет. А если подаришь мне стихотворение о розе, не сравнивай меня с ней. У нее сто жизней, а у меня одна.

– Да, действительно, у роз сто жизней, но только в легендах и песнях. Вот тебе несколько примеров. Белая девственная роза с охраняющими ее шипами; роза и прижавший ее к груди соловей, умерший от любви; Персия – сад роз; поэт Гафиз, погребенный в Кессере, городе-саде роз; упавшая с тела Магомета, восходившего на небо, капля пота, превратившаяся в белую розу; Клеопатра, устлавшая пол лепестками роз в честь Марка Антония; розы Пестума, воспетые поэтами Рима; розы «умолчания», о них говорит латинское выражение «sib rosa dictum» – сказанное под розой, то есть по секрету; розы, посаженные вместо хлеба и вытеснившие его; хлеб для бедных, который нес святитель Николай, вдруг превратился в розы, как знак охранникам, что делается доброе дело; первые четки во Франции, сделанные из розовых лепестков…

– Я тоже могу рассказать легенду, но о германской розе.

– А я – о русской…

– Хорошо, начинай, – уступила Лиза.

– Розы в садах холодной России стали появляться во времена Петра Великого. Однажды, уже при Николае Первом, один генерал, прогуливаясь по парку, увидел часового, стоявшего на совершенно пустом месте, где нечего было охранять. Генерал спросил придворных: что охраняет часовой? Никто объяснить не мог: «Так положено, часовой в этом месте стоит уже пятьдесят лет». – «Но что в приказе сказано?» – настаивал генерал. «А сказано, – отвечали ему, – что надо сохранять пост, находящийся в пятистах шагах от восточного павильона». Загадочное место не давало генералу покоя. Он надоел всем. Дошел до Императрицы, которая и открыла ему тайну.

Оказалось, часовой был поставлен Екатериной Второй. Прогуливаясь по саду, она увидела распустившуюся дивную розу. Ей захотелось подарить ее внуку, и, чтобы никто не сорвал цветок, она приказала приставить к нему часового. На следующий день она забыла о розе, а часовой остался стоять. Все пятьдесят лет. Вернее, пост остался, а для чего – забыли…

– Очень по-русски, – рассмеялась Лиза и тут же взглянула на мужа: не обиделся ли?

– Ты права, – вздохнул он. – Теперь твоя история.

– Это случилось, когда Господь низвергнул сатану с неба. Но тот не смирился со своим позором, решил вновь забраться на небо и сказать Богу: «Подвинься». Но как подняться на такую высоту? Он оглянулся… – Лиза подбирала слово…

– Окрест себя…

– Да-да, окрест себя, и увидел шиповник с яркими цветами. Ствол и ветви его были прямыми и с шипами. «Да это же готовая лестница!» – вскричал сатана, а Господь его услышал и согнул ветви шиповника. Сатана так рассвирепел, что в отместку согнул книзу шипы красивого розового куста, чтобы цветы невозможно было взять в руки. Так сатана хотел сделать красоту недоступной и дорогой.

– Очень по-немецки. Сатана деловой, но без капли фантазии…

Лиза засмеялась:

– Ты давно обещал мне стихотворение о розе. Забыл?

– Я же написал.

– Оно не для меня, – сказала Лиза.

Он удивился, вечером в дневнике записал: «У меня в кабинете чудесно пахнет розами… Это навеяло меня на мысль стихотворения, которое, верно, не удастся, так как я не в ударе сочинять».

Прошло время, розы отцветали, а К. Р. всё жаловался, что сочинять не может, хотя настали чудные теплые дни, последняя ласка лета. «Грустно становится, – писал он, – когда подумаешь, что скоро пройдут они и мы опять надолго замрем, скованные зимним холодом. Вот уже ровно полгода я не в состоянии сочинить ни одной строчки стихов. Эта неповоротливость ума и оскудение мысли меня очень смущает и тяготит».

А тогда, четыре года назад, вечером он сидел за письменным столом, на котором лежала груда книг о Екатерине П. Хочешь не хочешь, но если ты председатель комитета «Измайловских досугов» и взял на себя обязанность рассказать на одном из заседаний о литературной деятельности Екатерины II, то будь добр – готовься к этому. В «Собеседнике любителей русского слова», журнале екатерининских времен, ему встретилось стихотворение Державина, посвященное Императрице, в котором поэт просит Государыню помочь ему «взойти на ту высоку гору, где роза без шипов растет, где добродетель обитает»…

Константину вдруг показалась замечательной мысль провести «Досуг», темой которого взять чьи-то поэтические строки о розах, и устроить состязание. Это будет необычный литературный вечер: сойдясь товарищеским кружком в сырую и темную осень читать стихи о розах!

«Досуг» состоялся. Для состязания была взята тема из «Стихотворений в прозе» И. С. Тургенева – «Как хороши, как свежи были розы!..». К. Р. внес и свою лепту:

… За все, что выстрадали мы,
Поверь, воздастся нам сторицей,
Дни пронесутся вереницей,
И после сумрачной зимы
Опять в расцветшие долины
Слетит счастливая весна;
Засветит кроткая луна;
Польется рокот соловьиный,
И отдохнем мы от труда,
Вернутся радости и грезы:
Как хороши тогда,
Как свежи будут розы!

(«Розы», 9 декабря 1886) Стихи читались офицерам, но обращены они были к Лизе.

* * *

Скончался Иван Александрович Гончаров. Случилось это 15 сентября 1891 года. Последнее время, года два, писатель был очень слаб. Константин навещал его, и в иные минуты он узнавал своего уже давно родного ему Гончарова – умного, ироничного и заботливого. Всё, до единого слова, было правдой в стихотворении, которое Великий князь посвятил своему учителю; «Венчанный славою нетленной, / Бессмертных образов творец!..» Гончаров ворчал, но был доволен, как бывает доволен отец, когда с ним ласков сын. Последние письма писателя Константину были написаны дрожащей рукой, но слова в них были так же добры и полезны своей мудростью.

О смерти Ивана Александровича Константину сообщила Александра Ивановна Трейгут, жена слуги Гончарова Карла Трейгута. Оставшись вдовой, Александра Ивановна продолжала жить у писателя, вела его хозяйство. Он же заботился о ее дочерях, Александре и Елене, считая их своими воспитанницами. Со свойственной Константину Константиновичу добротой он примет участие в устройстве жизни девочек после смерти Гончарова.

Великий князь немедленно поехал на Моховую, где столько раз бывал в низеньких маленьких комнатках писателя и суеверно прикасался к старому письменному столу, за которым был написан «Обломов». Сейчас его великий создатель лежал в гробу

в своем кабинете, из которого убрали всю мебель. Казалось, маленький старичок, уставший от жизни, просто спал. Богатая чернильница, которую подарил Гончарову Царь с просьбой как можно больше писать, стояла на подоконнике. Ей предстояло теперь служить другим…

Через несколько дней Гончарова хоронили. «Мне необходимо было быть в городе; хоронили И. А. Гончарова, и я был на отпевании в Лавре», – записал Константин в дневнике.

Он долго не решался прикоснуться к письмам писателя – тосковала душа.

И вот однажды, в ноябрьский вечер, Константин все же открыл папку с его письмами…

«Дома вечером засел читать письма покойного Ивана Александровича Гончарова. После его смерти душеприказчики возвратили мне все мои письма к нему, кроме тех, которые покойный сам принес мне года 2 назад, боясь, что кто-нибудь ими завладеет. Он завещал мне бронзовую ширмочку с фотографиями покойных Государя и Императрицы, Саши, Мини, Владимира, Алексея, Сергея, Павла и Мари и раскрашенные портреты мой и жены в складной кожаной рамке. – Время прошло удивительно в перечитывании его писем ко мне и моих к нему. Переписка начинается с 1884 года. Я успел прочесть только половину».

Он в нетерпении вернулся к письмам.

«Прочитал все 34 письма И. А. Гончарова, обнимающие промежуток времени с января 84 по 31 декабря 91 года. В связи с ними читал и мои письма к нему. Когда-нибудь, не скоро, в печати эта переписка представит очень приятное чтение. Но исполню волю покойного, я, пока жив, не напечатаю ее».

Он перебирал письма, разложив их по хронологии, читал, улыбаясь, хмурясь, морщась, вздыхая. Некоторые перечитывал два раза, их строки надолго оставались в памяти:

…

«О чем вам писать? Это скажет потом жизнь, когда выработается вполне орудие писания – перо»; «Майков, Некрасов остались при стихах и совершили полную карьеру до конца».

«Я бы тоже этого хотел», – подумал Константин.

«Пройденная Вами подготовка, авторитарная школа

Шиллера, Байрона, Гёте… будет служить Вам… Рабски подражая этим образцам, переводить, продолжать, дополнять их… возвращаться к отжившему – бесполезно».

Гончаров советовал ему написать о Пушкине:

…

«Теперь уже пора: для Пушкина настало потомство, образ его ясен, определителей, остается только освятить его творческой фантазией».

«Я прочитал 13 Ваших стихов – это букет свежих цветов».

«Молодость эгоистична и экспансивна – она любит делиться со всяким своим избытком чувств…» – упрекал его писатель в маломыслии.

«Писанием стихов увлекаются многие, но на этом пути есть много званых, но мало избранных».

«Нередко те, кому дана лира, остаются при родных стихах, без поэзии».

«Неверующий или „маловерный“ никогда не создал бы Сикстинской Мадонны».

«Стихотворение, обращенное ко мне, я анализирую не критикой ума – а сердцем, сладко над ним задумываюсь и глубоко, умиленно благодарю Вас».

«Что будет далее: унесет Вас на крыльях поэзии выше и дальше от мира сего, или низведет в дальние и мрачные, реальные пучины жизни – про то скажет будущее. Я рад Вашему письму, как дорогому гостю, рад Вашей книжке, Вашей ласке».

Как завещание читал Константин дальше: «Вы от природы поэт, самородок-поэт. Вы неудержимо дорываетесь до ключа живой струи. Молодые силы взрывают почву, вода бежит, пока

вынося с собой песок, ил, каменья, сор. Но Вы… добьетесь, когда ключ забьет чистым и сильным фонтаном… Вы доработаетесь, дойдете, додумаетесь – до одной только чистой и сильной поэзии. Не говорю – дочувствуетесь, потому что сердце, чувство – есть основа Вашей светлой, прекрасной, любящей натуры. Опасности нет, чтобы это чувство завело Вас в какую-нибудь сентиментальную Аркадию. От этого остережет Вас ум, образование, и отчасти наш вовсе не сентиментальный век» (3 января 1888).

«Неужели не сентиментальный?» – грустно улыбнулся Константин Константинович, делая в тот вечер запись в дневнике:

…

«Вчера познакомился с известным юристом, сенатором Анатолием Федоровичем Кони, очень приятным человеком. Пригласил его в Мраморный… У Кони много знакомств в литературном кругу. Он был дружен с покойным Иваном Александровичем Гончаровым. Я узнал от Кони, как Иван Александрович был ко мне расположен и как дорожил каждым моим письмом, каждой моей строчкой. Раз, в присутствии Кони, он получил от меня записку и прочел ему ее. Кони попросил его подарить ему конверт с адресом, написанным моей рукой, чтобы отдать его некому Гогелю, собирателю автографов. Иван Александрович, не говоря ни слова, спрятал конверт в ящик и запер на ключ»

(1 ноября 1891).

Константин, записывая эти слова, плакал.

… Он еще не знал, что Господь, отняв у него дорогую, родственную душу старого писателя, в преддверии новых потерь посылает ему для поддержания духа долгую, сердечную дружбу с Анатолием Федоровичем Кони…

Несмотря на перечитанное гончаровское «завещание», стихи у

Константина не шли. Работа по Академии, общественные обязанности, усложнившая повседневную жизнь смена армейской службы, осиротившая его смерть И. А. Гончарова – все уводило прочь от него вдохновение. Даже когда умерла его племянница – молодая, веселая, прелестная принцесса Аликс, дочь сестры Оли и жена младшего сына Александра II, – он не нашел в себе дара на памятные слова. Воображение возрождало картины: Ильинское в ранней осенней позолоте, дружная компания красивых людей – Сергей, Элла, Павел, Аликс, греческая принцесса, озорная, горячая, резвая. Круговерть праздников, гостей, пикников. Мелькает белая шляпка и пелерина Аликс – никто не заподозрит, что она ждет ребенка, – она бежит вверх на холмистый берег реки и с него прыгает прямо в лодку; она обожала катания на лодках. И в этот раз прыгнула. Умерла в тот же день, родив слабого мальчика. Его назовут Дмитрием. Воспитывать его будут Элла и Сергей. Потом мальчик вырастет и примет участие в убийстве Распутина…

Фет пришлет Константину стихи на смерть Аликс.

Константин тоже пытался написать стихи на смерть племянницы, но все получалось как-то натянуто, слишком наставительно, сухо. А вот у Фета – чистая поэзия… «Я все более сомневаюсь в своих силах, – жаловался К. Р. – Другие в мои годы так много уже сделали. А между тем самолюбия у меня – неисчерпаемая бездна. Все мечтаю, что и меня когда-нибудь поставят наряду с великими деятелями искусства. Про кого бы из художников я ни читал, все примеряю на себя, вчитываюсь, присматриваюсь, чтобы заметить, нет ли в развитии моего дарования чего-либо сходного с постепенным совершенствованием великих людей художества. Вот уже более полугода ничего путного не сочинил, начатая поэма целый год лежит без продолжения. И мне временами представляется, что иссяк во мне источник вдохновения».

На поэтическом пиру званых и избранных он, кажется, из числа не особенно званых… С такими унылыми мыслями К. Р. отправился в дом графа Сергея Дмитриевича Шереметева, почетного члена Академии наук, члена Государственного совета, где отмечалось большое семейное торжество. В огромной, украшенной цветами зале шумела нарядная густая толпа под звон заздравных бокалов. Передвижением гостей руководила какая-то таинственная сила, которой были подвластны все. Яков Петрович Полонский, кое-как одолев свои старческие хвори и сняв теплые туфли, в которых ходил дома по кабинету, все же выбрался на празднество и в блестящей толпе обрадованно увидел чету Их Императорских Высочеств Константина Константиновича и

Елизавету Маврикиевну. Хотел подойти, но толпа играла роль судьбы, как он выразился потом в письме К. Р., увлекая Константина Константиновича вперед, а самого Якова Петровича куда-то влево. По тем же таинственным причинам чуть позже она привела старого поэта к нежно оживленной румянцем, в белом платье с синими сапфирами, Елизавете Маврикиевне. Яков Петрович шаркнул ногой, все еще красиво, несмотря на возраст, и поцеловал ей руку.

– Как чувствует себя августейший отец Константина Константиновича? – спросил Полонский.

– День – хорошо, день – плохо. Но бывает и очень бодрым. – Лиза отметила про себя, что не сделала ни одной ошибки, отвечая по-русски.

– Дай Бог! Дай Бог! – Полонский улыбнулся. – Вы знаете, Ваше Высочество, в день концерта у вас в Мраморном дворце я имел честь быть представленным Великому князю Константину Николаевичу, ведь он большой знаток и любитель литературы и музыки. Он мне сказал: «Вольно же вам давно со мной не познакомиться!» Упрек дышал такой любезностью, так тонко польстил моему самолюбию… Такие душевные дары не забываются…

По дороге домой, в карете, Лиза обсуждала вечер, а Константин думал о потерянном времени, о совершенно не сдвинувшихся с места «Солдатских сонетах».

Мраморный стоял мрачной глыбой, весь в ретуши снега. Но внутри были покой, тишина, сразу чувствовалось что в доме есть дети: спят мирно, уютно, устав от проказливого дня.

Константин тихо прошел на детскую половину. Три сына и дочь крепко спали. Выйдя от них, в полумраке коридора увидел жену и удивился, что она не спит.

– Костя, милый мой, позвонили из Павловска.

– Мама?

– Ты только не волнуйся. Просит приехать в Павловск.

– Ночью? Что-то с отцом?

– Да, ему стало хуже.

Константин почувствовал дрожь в ногах. Сердце бухнуло в груди и часто, мелко забилось. Лиза шла следом, повторяла на смеси русского и немецкого:

– Ты не волнуйся, Великому князю было много раз плохо, но всё заканчивалось хорошо…

Уехали в Павловск через час. И целую неделю не возвращались в Петербург. Константину Николаевичу было совсем плохо, доктор говорил о необратимых процессах. Пятьдесят шесть часов длилась агония, и ни на минуту Великий

князь в сознание не пришел.

Тринадцатого января 1892 года в Петербурге, в Мраморном дворце сидели в детской рядышком няни Вава и Атя. Вдруг очень громко хлопнула дверь наружных ворот. Няня Вава сказала: «Это хозяин покинул свой дом». Действительно, в это время в Павловске испустил последний вздох Константин Николаевич.

Константин остался сидеть у постели отца. Мысли были путаные и тяжелые. Мучило горькое чувство из-за обид, которые он нанес отцу. Он был сыном, не оправдавшим отцовских надежд. «Мой сын – лучше мертвый, чем поэт», – сказал отец, но перетерпел и простил своего Костюшу и за уход из флота, и за занятия литературой, признал в нем поэта, плакал, узнавая о его успехах по службе, но плакал и тогда, когда у сына не находилось лишнего часа поговорить с ним, сыграть в домино.

Пришла Александра Иосифовна. Врач запретил матери находиться в комнате умирающего, но она осталась сидеть у постели покойного.

– Костя, ты знаешь, как-то Пап?, читая твои стихи – в последний раз перед ударом это было, – вдруг сказал, что он сделал все, чтобы в России отменили рабство, а ты сделал все, чтобы литература и искусство почитались достойными царской крови. А потом похвалился: «Константиновичи всегда в чем-то первые».

«Как она все улавливает, понимает, а ведь ее жизнь с отцом была обидной». – Константин посмотрел на мать: она когда-то славилась своей красотой. Когда-то… А сейчас у нее почти пропадает зрение, болят глаза. В ее комнатах полумрак, задернуты шторы: Мама не может смотреть на свет. Более двух лет после того, как отца разбил паралич – у него отнялась левая сторона тела и он лишился речи, – она ежедневно видела одну и ту же сцену: ехал шарабанчик, запряженный лошадью по имени Мишка, а в шарабанчике сидел ее муж, следом шли управляющий двором Великого князя генерал Кеппен, адъютанты и доктора. Мишка, словно все понимая, шел медленно, шагом. Так совершалась беспомощная прогулка когда-то умного, сильного, красивого человека. Грустная эта картина досталась на долю оставленной им когда-то нелюбимой жены. Любовнице эти хлопоты были уже ни к чему… – Константину было больно за мать…

В Петербург вернулись с гробом. Траурная процессия направилась в Петропавловскую крепость, которая, как надеялся покойный Константин Николаевич, изменит облик по сути своей. «Меня всегда коробила мысль, что Царская усыпальница окружена тюрьмами. Как сравнить Петропавловский собор среди

тюремной крепости с Архангельским среди Кремля? Моя мысль… состояла в том, чтобы тюрьмы заменить богадельными и инвалидными домами», – писал он. Но ничего не изменилось. Он лег в землю под крышей собора, окруженного тюремными камерами.

Потом в Мраморный дворец прибыли адъютанты лейб-гвардии Финляндского полка и Гвардейского экипажа со знаменщиками. Знамена этих частей, шефом которых был Великий князь Константин Николаевич, предстояло вынести из Мраморного дворца после его кончины.

Александра Иосифовна с внуками Иоанчиком и Гаврилушкой пришла проститься со знаменами. Она плакала, глядя, как из специально сделанных гнезд достали стоявшие в ее доме в продолжение многих лет стяги и унесли.

Пройдет больше двадцати лет и последует соизволение Императора Николая II на сооружение памятника генерал-адмиралу Великому князю Константину Николаевичу в одном из военных портов России или в столице.

Но грянет война 1914 года, а следом – совершенно другая жизнь…

Через несколько лет Константин посетит место, любимое отцом больше всего на земле, – Ореанду в Крыму. Отец был счастлив, когда обустраивал свою летнюю резиденцию у самого синего моря, и позже, когда впервые вошел в храм Покрова Пресвятой Богородицы, построенной по его заказу, и говорил: «Творение моих рук в дар Господу». Здесь он был счастлив с матерью Константина Александрой Иосифовной и их детьми. Потом – со своей второй любовью Анной Кузнецовой и их детьми. Здесь, в Ореанде, ему предстояло после отставки, наступив на собственную гордость, мечты, идеи, учиться жить без высокой цели…

Августовским днем, полным блеска моря и солнца, Константин грустно ходил по покинутому всеми родительскому углу и строчки рождались грустные:

Я посетил родное пепелище —
Разрушенный родительский очаг,
Моей минувшей юности жилище,
Где каждый мне напоминает шаг
О днях, когда душой светлей и чище,
Вкусив впервые высшее из благ,
Поэзии святого вдохновенья
Я пережил блаженные

мгновенья.

Тогда еще был цел наш милый дом.

Широко сад разросся благовонный

Средь диких скал на берегу морском…

…

А ныне я брожу среди развалин…

(«Ореанда», 1908)

Грусть была тихой, но из-за нее он заболел, и пришлось ехать к сестре в Грецию на лечение. Всю дорогу его мучили мысли об отце. Поймал себя и на том, что беспокоится о состоянии Мраморного и Павловского дворцов, которые перешли ему по завещанию отца, а он, как наследник, не практичен и не хозяйствен…

* * *

В Контрксевиле, где он отдыхал, царствовали тишина, покой и жара. Это был курортный городок, славящийся своими минеральными водами, а точнее, деревушка в 800 жителей. Но рядом был город Нанси, где в это время пребывал президент Французской республики Карно. По поручению Александра III Великий князь посетил его. «Там встретили меня шумными изъявлениями восторженного сочувствия к России», – писал Константин Фету в его Воробьевку.

Как всегда, бывая вдали от России и тоскуя по ней, он особенно пристально всматривался в европейский мир, сравнивал его с русским, искал соотнесенность и контрастность.

Он вспоминал, что вопрос самостояния России в ряду европейских держав в тридцатые годы остро интересовал Пушкина. «Отгадайте, – писал К. Р. однажды И. А. Гончарову, – чем я занимался все это время? – изучал Пушкина. И этим я обязан Вам. Из подаренной Вами книги вычитывал его биографию и в связи с обстоятельствами его жизни прилежно просматривал его творения, все по порядку, а также и его письма. И вот мне теперь кажется, что я лично знакомлюсь с Пушкиным, и он, как живой, встает перед глазами со всеми своими слабостями и недостатками, во всем величии своего творчества. Мне кажется, такое изучение последовательного роста и духовного развития гения должно быть очень назидательно…»

Пушкин интересовался Западом, но не желал, чтобы Россия вслепую копировала Европу. У Великого князя был иной угол зрения на русско-европейские отношения: он ценил всё европейское в соответствии со степенью пригодности европейского опыта в русской жизни. И здесь всё шло впрок: изучение истории, культуры, обычаев, летописей, человеческих судеб и общечеловеческих страстей в разных национально-исторических проявлениях.

Константин Константинович, путешествуя по Европе, был достаточно критичен, но не упускал возможности и случая «взять» всё, что полезно России и соответствует ее духу.

«Живя за границей вот уже третью неделю, – писал К. Р. 12 декабря 1899 года Леониду Николаевичу Майкову, крупному ученому-филологу, вице-президенту Академии наук, своему заместителю и другу, – я успеваю читать; но на деле: жизнь при маленьком немецком дворе меня очень тяготит своей мелочностью и отсутствием всего, возвышающего ум и сердце; художественных или вообще высшего строя стремлений никаких, а одни только пошловатые заботы повседневной серенькой жизни. В Веймаре, по праву носящем название новейших Афин, я проведу всю первую неделю поста и рассчитываю там встретить интересных людей… Будь моя воля, я полетел бы в Россию».

И тут же спрашивал об устройстве дел академической типографии, о постройке зоологического музея, радовался успешным делам публичной библиотеки, которой занимался академик А. Ф. Бычков, одобрял поездки академика А. О. Ковалевского, профессора зоологии Санкт-Петербургского университета и ориенталиста, академика В. В. Радлова – в Париж на юбилей Французского института; [41] а К. Г. Залемана, академика-востоковеда, – на юбилей Германского Восточного общества, соглашался с тем, что бедному, заморенному на постройке зоологического музея Ф. Д. Плеске требуется лечение в Вене. Он беспокоится о финансах Академии. И когда Майков писал ему из Петербурга: «Расходуем мы деньги осторожно, но все-таки едва ли можно предвидеть остатки к концу года», Константин Константинович не без юмора спрашивал сестру Веру Константиновну, жену герцога Вюртембергского, живущую в Штутгарте, не научилась ли она, живя с хорошо организованными немцами, каким-то секретам по экономии денег.

Вера Константиновна засмеялась:

– Езжай в Париж: там процветают скупость и экономия. Поучишься.

Он поедет. Экономии не научится, но понаблюдает, учтет и сравнит все увиденное и услышанное на обычном четверговом

заседании Французской Академии с делами Российской Академии.

Попасть на это обычное заседание было очень трудно – посторонним вход запрещался категорически. Помогли нарушить правило министр иностранных дел Франции и титул русского Великого князя. Встречал Его Императорское Высочество, президента Российской Академии наук четвертый сын короля Луи Филиппа Генрих Омальский. Заседали математик Бертран, философ Жюль Симон, историк Гастон Буасье, литературный критик, изучавший творчество Толстого, Тургенева, Достоевского, виконт Вогюэ, писатель Греар, поэт Франсуа Коппе.

«Зал заседаний несколько меньше нашей малой конференц-залы и украшен бюстами известнейших из умерших академиков, – писал Константин Константинович Майкову. – Герцог, заняв место на кафедре, приветствуя нас, напомнил, что двери Академии открылись в 1782 году для Графа и Графини Северных (под такими псевдонимами путешествовали по Европе Великий князь Павел Петрович, будущий Павел I с супругой. – *Э. М., Э. Г.)*. Затем Герцог предложил читать Сюлли-Прюдому стихотворение, посвященное столетию Institut de France. Кстати, не следует ли нашей Академии поздравить в этот день Институт?… Я, находясь за границей, могу поздравить только от себя, а не от имени Академии… В заключение Caston Boissier читал корректуру нового издания академического словаря… Я находил много общего с нашими заседаниями: та же непринужденность, простота, иногда и посторонние разговоры, и забавные замечания. Меня так и подмывало указать им на систему нашего А. А. Шахматова, но, конечно, я удержался…» (6 октября, 1895).

Константин, что скрывать, радовался русско-европейской похожести, но еще больше – русскому интеллектуальному и духовному верховенству. «Ну, это я нескромно воспарил», – подумал он и попросил у немецкого герцога Саксонского уставы Гётевского и Шекспировского обществ. Да еще в придачу годовые отчеты этих обществ. Пора, пора создать, учредить подобное общество в России имени великого Пушкина!

– Учтем чужой опыт, сведущие люди скажут нам, что можно изменить в этих уставах, если они у нас вообще применимы. В конце концов, изобретем что-то новое – головы в Академии есть, и писатели великие есть! – говорил он Майкову по возвращении. – Кстати, многие из последних, ушедших из жизни, ждут доброй памяти от нас, потомков. В Орле надо поставить памятник Тургеневу. Ко мне, как к главе Комитета по устройству монумента, приезжал скульптор, Петр Николаевич Тургенев. Он не родственник писателя, а сын декабриста Николая Ивановича

Тургенева. Живет в Париже, богат, знал хорошо романиста. Говорят, талантлив.

– Но едва ли заказ может быть сделан без честного конкурса, – усомнился Майков.

В этом случае они с Майковым были единогласны. Труднее шло дело с изданием сборника в память Белинского, чтобы через распродажу книги создать фонд для сооружения в Пензе памятника великому русскому критику. «Мысль об издании сборника в память Белинского, – писал Майков Великому князю, – не может, мне кажется, в нынешнее время показаться опасною и неблагонамеренною никому». – «И все же, – ответил ему Константин Константинович, – придется обратиться к губернатору и министру внутренних дел… Я это сделаю сам».

Великий князь помнил свой визит во Французскую академию: там такой бюрократической возни не наблюдалось. Выпустить вполне благопристойную книгу, поставить памятник… Что ж особенного в этом? Президент вздохнул, достал из стола бумаги, для него особенно дорогие, и вспомнил, как он их заполучил. Принц Виктор Неаполитанский рассказал, что в Королевском неаполитанском архиве лежат русские документы времен Петра I. Он тут же попросил разрешения их увидеть.

– Доступ в архив иностранцам запрещен, – ответил принц.

– Но копии можно снять?

– Выдача копий тоже запрещена.

– Кто может сделать исключение для Российской академии наук?

– Только отец. Я испрошу у него разрешение лично для Вашего Императорского Высочества.

Разрешение было получено. Копии сняты. Документы оказались на латинском, итальянском, французском, немецком языках. Среди бумаг – реляции о сражениях под Полтавой и Переволочной…

И вот они в Петербурге, у него на столе – прелюбопытные бумаги! «Пожалуй, профессору русской истории Санкт-Петербургского университета и Историко-филологического института Александру Сергеевичу Лаппо-Данилевскому предстоит нам открыть что-то новенькое…» – радовался президент.

ВЫСОКИЕ НАШИ ОТНОШЕНИЯ

Даже сейчас, когда Фета не было на свете, он не мог объяснить, как решился послать ему свой первый сборник стихов. Фет, божественный Фет, далекий, как солнце, луна и звезды, постигший всю прелесть земной красоты, пропевший о ней свои песни – именно пропевший, а не сказавший, потому что он – сама таинственная музыка в поэзии, – был для К. Р. на такой высоте, к которой и глаза не решишься поднять.

К. Р., начинающий «марать стихи», открывал свой день не с газеты, а с томика фетовских стихов. То была вторая молитва на каждый день, которая жгла его восторгом.

Ему казалось, что его поэтическая, а не великокняжеская смелость в обращении к Фету была знаком свыше. В самом деле, современники Фета как будто понимали значение его божественного дара. Чайковский ставил его стихотворения «наравне с самым высшим, что только есть в искусстве». Толстой восхищался «свежестью» поэзии Фета. Полонский считал, что Фет – человек феноменальный и великая психологическая задача. Апухтину «дорог каждый стих Фета». И подобных суждений можно было много сыскать…

Но сам-то Фет: «Меня совершенно забыли… Я давно забыл ждать, что чья-то „благосклонная рука потреплет лавры старика“, да и вообще литература… в течение двадцати пяти лет не переставала считать меня за механическую голову турка, над которой всякий пробовал силу своего удара…»

Он старел в своем сельце Воробьевке и продолжал трудиться, не вписываясь ни в одну из современных ему в 1860-1880-е годы литературных партий. И было ему невдомек, что кто-то зачитывался им, увлекался его поэзией и подражал ему, что этот «кто-то» праздновал все его юбилеи, следил за каждым появлявшимся стихотворением и записывал в дневнике: «Вчерашнего дня я ждал чуть не с замиранием сердца, как будто не Фету наступило 50-летие писательской деятельности, а мне самому. Я так дорожу им, так ценю его мало признанную поэзию, он так близок моему сердцу. Я заочно вместе с ним торжествовал этот день…»

Константин понимал, что Фет, так завладевший им, «занавесил окошко» ко многим поэтам, которые жили и творили в одно с ним время. Но сделать с собой ничего не мог. Он нервничал, когда получал письма от Фета, которые под диктовку старого, с больными глазами Афанасия Афанасьевича писала его секретарша – поэт называл ее «мои глаза». А Фет был в этих

письмах прост, искренен, но и смешлив, и лукав, и трогателен. «Я проживаю в скромном своем домике на Плющихе с 1 октября по 1 марта, – писал он Константину, – а остальное время – в более удобной собственной усадьбе, в сельце Воробьевка, в 10 верстах от станции „Коренная Пустынь“ по Московско-Курской железной дороге».

Константин любил представлять какой-нибудь пролетевший над фетовской Воробьевкой день. «За завтраком сошлись летний гость Владимир Сергеевич Соловьев, плюс гостил три дня Н. Н. Страхов, уехавший потом в Крым в 8 утра. Выходя к своему кофею, – писал ему Фет, – я нашел большой изящный букет роз, присланный за 30 верст любительницей цветов с надписью на ручке букета „певцу цветов“, а на самом столе телеграмму, внезапно озарившую меня отрадным сознанием духовной близости, в которую Вашему Высочеству благоугодно было привлечь меня».

Константин чувствовал и понимал самолюбивую самостоятельность поэта, которого замалчивали газеты и журналы, а критика, особенно демократическая, находила для него лишь пренебрежительные слова. Старый поэт хотел выглядеть перед высоким лицом не льстивым, уклончивым, выслуживающимся, а прямым и честным, как «того требует нравственное доверие». Он искренне писал, что не всегда может мгновенно ответить на письма Его Императорского Высочества, ибо занят земельным хозяйством, стал агрономом, а эти дела сопряжены с трудностями и огорчениями. Чтобы быть понятным, приводил пример из своей жизни времен военной службы, куда он поступил с целью вернуть себе дворянское звание. «В дождливое и грязное время Красносельских лагерных сборов на маневры офицеры и солдаты надевали все, что у них было наихудшего, и такой мундир носил название маневриста. Не буду описывать моего ужаса, когда на привале, среди маневров, ко мне подъехал адъютант со словами: „Вы назначены на ординарцы к Его Величеству“… У меня мелькнуло в голове, что я, по *малой* мере, буду изгнан из полка, но, тем не менее, я твердым голосом ответил: «доложите… что пусть меня отдадут под суд, но я в таком виде к Его Величеству не поеду»».

Константин знал, что попасть в ординарцы к его деду – Императору Николаю I – считалось великою честью, ибо означало наилучшего мастера-ездока на красивейшей лошади и во всем новом – с головы до шпор. Молодой Фет рисковал. Но вот прошли годы, Фет пишет уже внуку Николая I, и характер его не изменился: «Как бы я глубоко ни был осчастливлен милостивыми строками Вашими, не решаюсь тот час же отвечать на них,

чувствуя, что, не приведя своих мыслей и ощущений в известный порядок, нельзя в таком распущенном виде являться на глаза Августейшей особе».

Однако, безгранично благодарный Фету за его талант, Константин просил его не вспоминать о мундире-маневристе, в котором его потребовали к «моему Деду», и писать свои письма как душа того просит, не приводя в порядок мысли – не войска ведь! И он будет душевно благодарен за письмо, написанное в тяжелые минуты, вызываемые «трудными задачами и тяжкими оскорблениями вседневной жизни в ваших условиях».

… Фет, наверное, в своей Воробьевке тихо и благодарно повторял свою любимую фразу: «Хорошо быть хорошим»…

Константин очень боялся встречи с любимым поэтом. Перечитывая письма Фета при свете лампы в тихий вечерний час, он думал о том, как дорожит сложившимися отношениями с большим русским поэтом. А вдруг прозорливый Фет, и художественно и человечески, разочаруется в нем?! «Мы еще ни разу с Вами не встречались… сойдясь со мною ближе, Вы бы, пожалуй, во мне разочаровались…» – пишет он в Воробьевку.

В декабре 1887 года Фет приехал в Петербург по делам. Остановился на Васильевском острове, у шурина М. П. Боткина. Освободившись от дел, Афанасий Афанасьевич испросил письмом «милостивого указания часа», когда он мог бы явиться к Великому князю в Мраморный дворец. Но письмо шло долго, Фет не дождался ответа и отправился во дворец на свой страх и риск. Когда Константину подали его визитную карточку, он разволновался, обрадовался, приказал скорее его просить.
«Познакомиться с Вами, видеть Вас у себя и слышать Вас было для меня большой радостью, и, поверьте, я навсегда сохраню самое светлое воспоминание о проведенных с Вами часах», – писал Константин в Воробьевку. А получив от Фета третий выпуск «Вечерних огней» с четверостишием, посвященным ему, Константин был совершенно тронут:

Трепетный факел, с вечерним мерцаньем
Сна непробудного чуя истому,
Немощен силой, но горд упованьем
Вестнику света сдаю молодому.

И обратил эти строки в пожелание: чтобы у всякого поэта «вечерние огни» и «вечернее мерцанье» были теплыми и яркими, как у Фета.

Трудно сказать, есть ли еще в нашей литературе столь восхищенное объяснение в любви одного поэта другому, подобное объяснению К. Р. – поэту Фету. «Я с жадностью, как пчела в цветнике, впиваюсь в Ваши душистые стихи, из которых многие

были для меня хорошо знакомыми, любимыми цветами. Сколько Вы мне доставили светлых мгновений и чистых наслаждений! Я глубоко умилялся душою и чуть не со слезами испытывал тот же восторг, как когда любуешься картиной или ваянием великого художника. Вы, конечно, не раз переживали то возвышенное, сладостное ощущение, когда при виде совершенного произведения искусства волоса становятся дыбом, слезы готовы брызнуть из глаз и дрожь пробирает; это было со мною при чтении Вашего сборника… Многие стихи читал я в полку на одном из наших „Досугов“».

Фет сожалел, что не может чаще видеть молодого августейшего поэта, чтобы их отношения не ограничивались формальными поклонами, высказываниями лишь эстетических воззрений, а были полезны К. Р. накопленным жизненным опытом старого человека. И гордился тем, что, раскрывая свои «дряхлеющие крылья» навстречу «возрастающему» поэту, совершенно свободен в этих отношениях и может говорить о стихах Его Императорского Высочества, не стесняясь его высокого положения.

В своей критике стихов К. Р. Фет был упрям, настойчив, откровенен и жесток. Требовал убирать целые строфы, не стеснялся делать замечания по поводу неправильных ударений. О некоторых стихотворениях безапелляционно говорил: «Этот род стихов не может упрочить поэтического кредита». Ловил на подражаниях. Прощал лишь подражания Пушкину – «… он всем открыт, как всем скульпторам открыты двери Ватикана». Не терпел неряшливости в языке: «… Будь этот куплет и безупречен без „тогда“ и без „туда“, без „усилья“ в ответ на „крылья“, то и тогда его стоит уничтожить». К сонетам, которые так любил Константин, придирался с особенной язвительностью своего характера: «Сонет по простоте языка и тону вполне законен, но и пушистоприятен, как бобровая муфта. Частое употребление „там“ приводит на мысль о затычке, „струйки“ – не пенятся, ибо не так они сильны. Человеку, истомленному и духотою озабоченному, не до „порывов злобы гневной“: он рад прохладному местечку». В другом случае, наткнувшись на «запевших соловьев», советует брать пример с него: «… давным-давно я внутренне покаялся, и, как ни соблазнителен бывает для человека голос соловья, воспевающего весну, я в последнее время употреблял все усилия обегать эту птицу в стихах из страха впасть в рутину». Он предлагал Константину вычеркнуть «соловьев» и назвать их «песнопевцами». К. Р. обиделся. Возможно, тихо назвал Фета «старой брюзгой», как тот сам себя называл. И воспротивился «песнопевцам».

А Фета явно раздражали в поэзии его подопечного некая вялость, отсутствие энергии, движения. И он, нисколько не думая о самолюбии проходящего у него школу поэта, пишет ему: «Стихи Вашего Высочества производят на меня впечатление, какое получает отставной моряк, сидящий на прибрежном камне, при виде веселых и могучих всплесков вечно юного моря». Константин ломал голову, кто этот моряк – он сам, не умеющий бороться с этими волнами, или это – Фет, старый, усталый, смотрит на могучие молодые волны, то есть на него – К. Р.

Почти в каждом письме Константину он высказывал свой взгляд на творческий труд художника.

Он признавал сочинения, которые вызваны той духовной волной, которая томит поэта, пока не выкинет из его груди предмета томления в художественной форме.

Советовал всем, кто отрицает возможность чистой поэзии, возражать так, как рекомендовал Лев Толстой: «Они говорят – нельзя, а Вы напишите прекрасное стихотворение».

Когда хвалил за правдивость, простоту и безукоризненность формы стихотворение К. Р. «Письмо к дежурному по полку», напоминал, что надо учиться у Пушкина, который, касаясь самых будничных предметов, превращал их в нетленное золото.

Имел свое суждение о правде в искусстве. Считал, что правда в искусстве всегда заключается в тоне, а не в подробностях.

* * *

Иногда они спорили. Константин почтительно, вежливо. Старый поэт, чувствуя дистанцию между собой и Великим князем («В России существует две вполне ярко обозначенные сферы: Августейшая Семья и остальной народ, а над всеми – Царь», – писал Фет), все же иногда «терял тон» – раздражался: старость и болезни были тому причиной. Но и спорить им было интересно.

Быть хорошим – это личный дар Провидения, и нельзя дурному стать хорошим, убежден был Фет. Константин же считал, что человек обучаем до гробовой доски и потому исправим. Спорили о творчестве воронежского поэта Ивана Никитина. Константин, улавливая в стихах Никитина близкие своему сердцу мотивы сочувствия и утешения, говорил:

– Как самобытно, как искренне!

– Как похоже на Кольцова, Некрасова! Сколок с них и даже с меня. Не самобытность, а только зуд стихотворной краснухи, – возражал Фет.

Его раздражала «болезненность» современной поэзии.

«Словно лазарет, пропитанный животными испарениями, микстурами и пластырями», – ворчал он. И хотя хвалил за «живительную свежесть» очередную порцию стихов К. Р., но ясно и прямо говорил ему, что надо следовать за чистой, безболезненной и блестящей сферой Баратынского и Пушкина.

В это время Фет писал свою биографию и искал объяснение своим недостаткам как поэта. С Константином он был откровенен: «… Совершенно явно, что в болезненности современной лирики виноваты Некрасов и я, Фет. Первый выучил всех проклинать, второй – грустить… Если тесная и грязная стезя, по которой пришлось пробираться Некрасову, может, независимо от прирожденного характера, помочь объяснить его озлобление, то постоянно гнетущие условия жизни в течение пятидесяти лет могут отчасти объяснить меланхолическое настроение Фета… Но там, где заговорил настоящий поэт, к счастью, совершенно свободный от пригнетающих условий, было бы странно ожидать болезненных звуков».

И Фет, не стесняясь, сказал Константину, что он, К. Р., по воле судьбы, счастливой судьбы, может свободно отдаться своему вдохновению – где «здравствует освежительная Кастальская струя!».

– Я прочитал ваше переложение «Страстного стиха». Однажды, проникнувшись подобно вам значением молитвы Господней, я переложил ее стихами и спросил мнения моего критика Владимира Соловьева, – говорил Фет. – Он ответил, что не сочувствует никаким стихотворным переделкам молитв, и даже знаменитому переложению Пушкина – «Отцы пустынники»… Я раз и навсегда с Соловьевым согласился. Когда-то и Лев Толстой выразил порицание моим стихам, заимствованным из иной области искусства, чем я иногда погрешаю. Толстой называл это «огонь от чужого огня», а задача художника – зажечь свой. И потом, заметьте, на нас более действует известная молитва. Знакомые слова ее напоминают знакомую лестницу, на которой стоит только изменить ступеньку, чтобы она уже не вознесла нас с обычной легкостью.

Так, или немного иначе, спорили два поэта, но тему религии затрагивали осторожно. При вхождении в нее чувствовали некое расхождение. И потому, «замедляя шаги», останавливались.

Когда уже не будет в живых Фета, выйдет книга Б. Садовского под названием «Озимь». В ней автор утверждает, что Фет был «убежденным атеистом». Это возмутило Анатолия Федоровича Кони.

Великий князь ответит Кони так:

…

«К искреннему своему прискорбию я не могу, хотя сильно хотел бы того, поддержать Вашего укора… за упоминание об „убежденном атеизме“ Фета. Незабвенного Афанасия Афанасьевича я близко знал и крепко любил, так же, как и жену его, Марью Петровну, родную сестру знаменитого Боткина. От нее я знал, что Фет действительно был „убежденным атеистом“, по крайней мере, по внешним проявлениям религиозности или, вернее, по отсутствию последней. М. П. говаривала мне, что ее муж в последние годы избегал принятия Св. тайн, и в предсмертные дни было невозможно убедить его причаститься. Не указывает ли это на недостаток религиозности у Фета, как и „абсолютный ноль“ вместо будущей жизни в устах творца „града Китежа“, на присущую людям, и даже самым одухотворенным из них, раздвоенность души? Вы правы: нельзя не сказать про них: „Бедные слепцы!“…»

* * *

Два поэта, начинающий и корифей, не заметили как в их беседы о рифмах, римской лирике, немецких поэтах, русских переводчиках вошла повседневность жизни с ее таинственным многообразием. К. Р. «с особым удовольствием и участием» узнал, что в жизни Фета, как и в его собственной, была нежная привязанность к любимой сестре. Сестра Фета была младшей в семье, но первой оценила стихи брата. «Королева тоже часто навевала на меня вдохновение и сама потом радовалась ему», – рассказывал Фету Константин о своей сестре греческой Королеве

Ольге.

Пожалуй, никому, кроме своего дневника и Фета, К. Р. не расскажет о медленном, тяжелом уходе из жизни своего отца. «Дорогой и глубоко почитаемый Афанасий Афанасьевич, Вы, должно быть, уже знаете о постигшем семью нашу испытании: отец мой… пораженный параличом, лишился владения речью и всей правой половиной тела. Ему, привыкшему жить умственною и деятельною жизнью, это жестокий удар; а нам, близким, великое горе видеть его в таком беспомощном положении. В первые дни после удара мы входили к нему, но теперь прекратили эти посещения, которые его чрезвычайно волновали: он смеялся при виде нас, потом плакал, пытался заговорить и, убеждаясь в невозможности произнести ни одного слова, приходил в мучительное возбуждение. Врачи отсоветовали нам с ним видеться. Лично на меня это зрелище производило такое гнетущее впечатление, что я рад избегать его. Теперь бедному нашему больному относительно лучше… недуг не ухудшается, но опасность еще не миновала. Мы попеременно то надеемся, то теряем надежду и проживаем тяжелые дни, полные незнания, неопределенности и тревоги».

Константин знал, что его отец, Великий князь Константин Николаевич, первый либерал России, не мог сыскать у верноподданного Фета симпатию. Но Афанасий Афанасьевич, считавший главной чертой своего характера «заботливость», ответил Константину добрым письмом, призывая сына к «терпению» – добродетели, самой уважаемой Фетом.

Сближение великокняжеской семьи и семьи Фета перерастало почти в родственное. Марья Петровна готовила и передавала Елизавете Маврикиевне чудную пастилу из фруктов собственного сада, вязала из ангорской шерсти тончайшие, легчайшие платки для мерзнувшей в прохладных комнатах дворцов Великой княгини. Обе семьи знали, кто болен и у кого инфлюэнца. Давались единственно правильные советы для излечения бронхита у Великого князя. Хотя Фет тут же не преминул вспомнить, как лет 35 назад Лев Толстой дразнил Тургенева, заболевшего бронхитом, что тот жалуется на несуществующую болезнь, ибо «бронхит» переводится, как «металл». – «Но, как давно удостоверились люди и сам Толстой, „металл“ с весьма неприятными свойствами и последствиями», – сказала, как отрезала, Марья Петровна.

Константин мечтал побывать в гостях у Фета, ему казалось, что вдали от петербургской суеты все секреты фетовской музы приоткроются перед ним. И потом, быть рядом, близко видеть, слышать… «Мне кажется, что я слышу ваш голос, когда читаю

ваши письма», – скажет он Фету при встрече.

«Как я рад, что мы не разъехались с Вами и мне удастся повидать Вас на Плющихе, в Вашем гнезде! Пустите меня к себе в среду 8-го около 7 часов и дайте провести с Вами весь вечер. То-то можно будет наговориться вдоволь», – напрашивается в скромный домик Фета Его Императорское Высочество.

Константин тогда приехал в Москву ненадолго. Он провожал больного отца в Крым, откуда Константин Николаевич вернется в Павловск умирать. Сам сын тоже чувствовал себя неважно. Домашние проблемы, нездоровье отца, служба, общественные обязанности, постоянные выезды в свет и обязанности перед этим светом.

Теперь, в Москве, хотелось поуспокоиться, отвести душу в беседе со своим кумиром. В дневнике он отметил этот счастливый день:

...

«Обедал и провел весь вечер у Шеншина (Фета). Смеркалось, было морозно и уши щипало, когда я выехал сквозь Троицкие ворота из Кремля и несся в санях по Воздвиженке и Арбату на Плющиху. В конце ее неподалеку от Девичья поля его дом, хорошо знакомый лишь по адресу. Я вошел. Маленькие низенькие комнаты, на окнах растения, повсюду цветут гиацинты – такая уютная обстановка для милых бездетных старичков. Я в первый раз увидел Марью Петровну Шеншину (рожд. Боткину, сестру доктора), но мне сейчас же показалось, что я давно с нею знаком. Приняли меня радушно и ласково, как родного. Сперва Марья Петровна боялась моего посещения, но всякий страх прошел, и, кажется, скоро. Мы сели обедать; кроме нас троих была тут и молоденькая девушка, которую называли Екатериной Владимировной –

фамилии ее я не узнал. Она служит Фету секретарем – я хорошо знаю ее почерк, – старичок называет ее своими глазами… Разговор не умолкал ни на минуту. Я сразу заметил, что старички самые нежные супруги, он очень рассеян, и без старушки ему пришлось бы плохо. Она, кажется, только живет, что заботой и попечениями о нем. Время летело так быстро, мне было так хорошо у них, как будто я всю жизнь был знаком с ними. Он читал мне свои последние, мне еще незнакомые стихи. Пили чай, говорили, о чем только не говорили…»

И спустя годы К. Р. будет вспоминать вечер на Плющихе. Он невольно завидовал Тургеневу, графу Льву Толстому: они так часто пользовались гостеприимством и радушием Афанасия Афанасьевича и Марьи Петровны. «… В памяти своей справлял годовщину милого проведенного вечера, тянуло к Вам на Плющиху». И Фет его будет звать в гости, а он с сожалением ему отвечать, что с прирожденной чуткостью стихотворца Фет не может не угадать, как хочется предпринять путешествие в Воробьевку с единственной целью заглянуть в гостиную, где, зажженные заботливой рукой Марьи Петровны, будут гореть все свечи люстры.

Конечно же не могли они уйти и от злободневного течения жизни.

Обсуждали университетские волнения, при «которых мальчики решаются вступать в переговоры с верховной властью». Благодетельной мерой в этих случаях Фет считал исполнение воинской повинности во время вакаций. «Ваше Высочество и я – разные по возрасту и по положению, – говорил Фет, – всецело ощущаем благодатное действие… пройденной нами военной службы».

Константин не без тревоги отмечал в дневнике сильнейшую засуху и грядущий голод. Фет жаловался на гнилую погоду: «Подобно всей стране мы в настоящую минуту стонем под ливнями, сгноившими сено и грозящими погноить хлеб».

Узнав о высокой монаршей милости – назначении Константина Константиновича командиром Преображенского полка, Фет поздравлял его с этой честью, но радовался и за

Государя, который понимает и ценит нравственные достоинства Великого князя и отмечает их и званием президента Академии, и должностью командира первого полка в России. И, как отец за сына, он был обеспокоен тем, что Константин, став командиром полка, не имеет чина полковника. Как же он будет командовать полковниками, которые, безусловно, есть в полку? Он ободрял молодого человека, вступившего на командирский пост: «… действительно жутко вдруг командовать… большою частью, но это только на первых порах, да и то в первые минуты. Поэтому я нисколько не боюсь за будущность командира л. – гв. Преображенского полка…»

* * *

Их эпистолярные беседы шли от души, от сердца, от взаимной приязни. Они – длинные, исповедальные, без страха и осторожности, о чем бы речь ни шла: о творчестве, семье, военной службе, любви, поэзии, о монархии, русской и мировой истории и даже о политике. Якову Петровичу Полонскому, например, К. Р. не рекомендовал читать газеты, дабы сберечь здоровье. Но иное письмо Фета было много взрывнее самой что ни на есть скандальной газетной статьи. Он ставил эпиграф *Amicus Plato, sed magis arnica Veritas* («Платон мне друг, но истина дороже») и начинал говорить о «мутных потоках современного ненастья». По дороге умствования он задевал и августейшего президента Академии наук, вернее, дела в его ведомстве: «Когда развитой человек, с одной стороны, вопит о помощи голодающим, а с другой – ухищряется выхлопотать себе деньги на заграничную поездку, якобы для пользы, для науки, сознавая при этом, что эти деньги взысканы с тех самых голодающих, – такое действие может быть только вредным». Константин понял, что ему к академической финансовой отчетности стоит относиться внимательнее…

Фет писал и о делах всего государства – «от избытка чувств уста глаголют».

«Считая себя монархистом, а монархию единственно пригодной для России формой правления, видя, что все члены Августейшего Дома… начиная с Государя, прямо с вокзала едут к Иверской, я повторяю: „князь и бояре крестились, стало быть, и нам надо“, так как убежден, что Россия может только быть Русью или ничем». Фет все еще верил, что смерть поддельного либерализма – вопрос времени. Требовали конституцию – Александр III сказал: «Не будет конституции». Ждали передела

земель – Царь сказал: «Не будет передела». Ждали окончательного безначалия и принижения дворян – Царь учредил земских начальников исключительно из дворян. Фет радовался ослаблению «революционной жилы». Но в последнее время он понял, что она не ослабела. Он увидел «наставников юношества», уверявших, что в минуту бунта солдаты станут на сторону бунтовщиков, и говорили они это с радостно горящими глазами. Да и революционеры, по его мнению, поумнели: делают ставку не на простонародье, а на людей в высших государственных сферах. «… Я могу надеяться, что не доживу до печальных результатов такого направления, но грустно и неблагодарно думать, что „apres nous le d?luge“ (после нас хоть потоп. – *Э. М., Э. Г.)».*

В ответ «регулятор нашего умственного движения», так Фет называл августейшего президента Академии наук, свое послание начал с восторга от новых стихов учителя: «Как непостижимо Вы умеете овладеть душою и потрясать ее до заветной глубины!» Возможно, чтобы снять накал эмоций или уйти от спора. Хотя слышать Его Императорскому Высочеству суждение, что с «верноподданными в России поступают как с неприятелем», даже от своего кумира, – это требует выдержки и терпения. Но Константин не желал нарушить сложившееся в дружестве с Фетом доверие, и он пишет, что пространное его письмо произвело светлое впечатление своей чистосердечною искренностью и цельностью. «Могу ли я не сочувствовать Вашим твердым убеждениям?» И переводит разговор на публикацию в газете «Daily Telegraph» статьи Льва Толстого «О голоде».

* * *

Граф Лев Толстой – это имя имело особую притягательную силу для К. Р. и его друзей.

Константин не был знаком с Толстым. «Войну и мир» прочитал в юности во время дальнего плавания. Был поражен художественностью романа и тем, что нашел в нем знакомые чувства и желания – прежде всего, быть хорошим человеком. К своей радости и удивлению услышал подобное мнение от Петра Ильича Чайковского: «Толстой любит людей, у него нет злодеев».

В обществе всякое говорили о жизни Толстого в Ясной Поляне. Но Великий князь в знаменитой усадьбе не был, а брать на веру всевозможные слухи не хотел. В жизни Константина Афанасий Афанасьевич Фет был первым человеком, чья близкая дружба с Толстым позволяла ему быть достоверным в разговорах о нем. Фет часто ссылался на суждения Толстого.

Пройдет время, усилиями Константина в год столетия Пушкина будет возобновлен при Академии Разряд изящной словесности, [42] называемый Пушкинской академией, и в числе первых девяти почетных академиков будет избран, конечно, Лев Николаевич Толстой.

Для Константина счастливым открытием была любовь Толстого к поэту Фету. О стихотворении Фета «Далекий друг, пойми мои рыданья…» Лев Николаевич говорил: «Коли оно разобьется и засыплется развалинами, и найдут только отломанный кусочек: „в нем слишком много слез“„ то и этот кусочек поставят в музей, и по нему будут учиться“. Стихотворение „Среди звезд“ находил „… с тем самым философским поэтическим характером, которого я ждал от вас… Хорошо также (заметила жена), что на том листке, на котором написано стихотворение, излиты чувства скорби о том, что керосин стоит 12 копеек. Это побочный, но верный признак поэта“, – смеется Толстой.

Под влиянием Фета Константин напишет свои циклы: «В ночи», «Звезды», «Месяц», «Ах, эта ночь так дивно хороша!..», «Ночь. Небеса не усеяны звездами…», «Что за краса в ночи благоуханной!..».

И Толстой, и Фет, и К. Р. всегда будут объясняться в любви к своему Отечеству со слезой, но и с внутренним убеждением и силой. «Когда мы за Нейхгаузеном, перешедши через мосток, очутились на русской земле, я не мог совладеть с закипевшим у меня в груди восторгом: слез с лошади и бросился целовать родную землю», – писал Фет Толстому. Он и работать старался для нее и себя, живущего на ней: «Я люблю землю, черную рассыпчатую землю, ту, которую я теперь рою и в которой я буду лежать. Жена набренькивает чудные мелодии Mendelson\'a, а мне хочется плакать… Засадил целую аллею итальянских тополей аршин по 5 ростом и рад, как ребенок».

Константин вторит Фету: «Наконец я дома… С какой радостью перекрестился на мосту через речку, отделяющую Россию от Пруссии! Весело было поздороваться с первым русским солдатом пограничной стражи и услышать его ответ».

Толстой? Есть ли еще книга в сотни страниц, где от первой до последней строчки – все о любви к родине? «Война и мир» – выдох этой любви, осветившей земное пространство, жизнь которого так любили и воспевали по силе своего дара все трое в поэзии и прозе.

«Только слабоумные люди видят в науке колдовство, а в жизни простоту и тривиальную будничность. Как бы высоко ни забралась математика, астрономия, это все дело рук человеческих

– и всякий может шаг за шагом туда влезть, проглядеть все до нитки, а в жизни ничего не увидишь – хоть умри – тут-то тайна-то и есть! – размышлял Фет. – Мне все дорого в жизни. Экая славная – с комарами, кукушками, грибами, цветами! Прелесть!»

«От этого-то мы и любим друг друга, что одинаково думаем умом сердца, как Вы это называете… Я свежее и сильнее Вас не знаю человека», – отвечал Толстой Фету.

«Но разве я Льва Николаевича Толстого люблю? Я готов, как муэдзин, взлезть на минарет и оттуда орать на весь мир: „Я обожаю Толстого за его глубокий, широкий и вместе тончайший ум. Мне не нужно с ним толковать о бессмертии, а хоть о лошади или груше – это все равно. Будет ли он со мной согласен – тоже все равно, но он поймет, что я хотел и не умел сказать“«, – этой редкостью душевной в Толстом наслаждался Фет и ее видел в К. Р., потому что тот тоже ею владел.

За несколько лет до смерти Фет, устав от постоянных кабинетных занятий, может быть, впервые не осчастливился деревенским летом. Оно ему показалось тягостным. Это не означало, что он не замечал цветущих лип, золотых пчел, прохладных даже в жару пионов и сада роз, им насаженного. Но замечал, по его словам, так, «как человек, увлекаемый беседою интереснейшего для него соседа за столом, замечает и прекрасное вино или блюдо». На душе у него было грустно, и он писал Константину: «Невзирая на мои лета, я жажду жизни, движения, возобновления пламени моего потухающего светильника у чужой яркой лампады, и мне хочется воскликнуть, что моя любовь к природе – …»мерцает и тлеет пред солнцем бессмертным ума…» Вот причина, по которой меня тянет к живым людям и по которой я заранее радуюсь нашему посещению графа Льва Толстого в Ясной Поляне. Он сам знает, что я не только не разделяю его философских теорий, но как бы представляю их живую противоположность, тем не менее не могу не признавать громадную силу его ума, который от прикосновения так и осыпает своими колючими электрическими искрами».

Фету хотелось, чтобы эти искры не только оживили его усталый, направленный в постоянную сторону мозг, – из пятнадцати книг Марка Валерия Марциала переводить оставалось полторы, – но и жизнь показали в обновленных нарядах. К тому же его ждало литературное лакомство – новая повесть, потрясающая, как шепнула в своем письме графиня Софья Андреевна Толстая: ревнивый муж убивает преступную жену. Речь шла о «Крейцеровой сонате»…

«Учу „Крейцерову сонату“, – сообщает Фету Константин. –

Музыка лучше повести графа Толстого».

Константин завидовал поездке Фета в Ясную Поляну. Ему хотелось быть с теми, кто там собирается, блистая интеллектом, тонким пониманием изящества и красоты, а также видеть и слышать «Звезду», «Розу», как называл Фет в стихах Софью Андреевну Толстую, жену писателя. Те же чувства его смущали и раньше, когда он читал «Воспоминания» Фета и видел блестящее по уму и духовности общество, и в его доме, где гостей принимала добрейшая Марья Петровна. Он сроднился с этой книгой, ему казалось, что через нее он все более сживается и знакомится с Фетом, и хотелось ему, как Льву Толстому, писать и получать от него письма. Когда Фета не будет в живых и Константин станет готовить издание его стихотворений, многое в трудных моментах подскажет память, в которой отпечатались «Воспоминания» Фета.

Но, желая побывать в Ясной Поляне в кругу Толстого, Фета и их друзей, Константин все же задерживался мыслью на рассказах Фета, как он, старый друг Льва Николаевича, осторожен с ним сейчас в дружбе:

...

«19-го вечером мы были на террасе в Ясной Поляне у Толстых, где встретили торжествующую графиню, столь милостиво принятую Государем, разрешившим продажу 13-го тома (Собрания сочинений Л. Н. Толстого. – Э. М., Э. Г.). Беседа с могучим Толстым для меня всегда многозначительна, но, расходясь в самом корне мировоззрения, мы очень хорошо понимаем, что я, например, одет в черном и руки у меня в чернилах, а он в белом и руки у него в мелу. Поэтому мы ухитряемся обнимать друг друга, не прикасаясь пальцами, марающими приятеля. 13-летние мальчики графа играют в крокет босиком, тогда как граф ходит только в туфлях на босу ногу. Услыхав жалобы Марьи Петровны на

ревматизм, он и ей советовал ходить босиком».

Фету становилось все сложнее принимать новые взгляды Толстого. Он вздыхал, рассуждая о том, как все же меняются людские убеждения: казалось, совсем недавно граф Лев Николаевич объяснял ему, далекому от придворной жизни, значение блеска шапки Мономаха и золотой толпы придворных, – и вот, на тебе! – призывает ходить босиком…

Константин, желая смягчить грусть и раздражение Фета, напоминал ему о прекрасной толстовской статье «О голоде», опубликованной в журнале «Вопросы философии и психологии». Странной была эта похвала Его Императорского Высочества, ибо шла вразрез с действиями властей, арестовавших этот номер именно из-за статьи графа Толстого. [43] Правда, Константин хвалил статью за советы, касающиеся житейской стороны дела… И не без юмора писал Фету, что знает о гостеваний Афанасия Афанасьевича в Ясной Поляне и счастлив знать, что он не способен стать учеником графа Толстого, а Марья Петровна по его совету все же не станет ходить босиком. И с изумлением спрашивал Фета: «Что за беда с нашими выдающимися людьми? Боровиковский, живописец, попал в хлыстовщину, Лев Толстой проповедует бредни, Вл. Соловьев оплакивает гибель духовных сил России и шлет ее к Папе на покаяние!»

Но Фет был беспощаден к «теперешнему» Толстому. Полонский чуть ли не в лицах изображал Константину, что происходит из-за Толстого в цветущей, похожей на рай Господень, Воробьевке:

– Величайший наш художник в настоящее время просто человек помешанный, проповедник несуразной чуши и галиматьи! – это кричит Фет о друге своем Льве Толстом.

– Я все равно – великий почитатель автора «Войны и мира». Толстой – гениальный художник. И его «Крейцерова соната», несмотря на потоки гнева читающих, высоко нравственное и беспощадное творение, – возражает прибывший прямо из Ясной Поляны в Воробьевку Николай Страхов.

– Но «Крейцерова соната» даже в Австрии запрещена, – замечает Полонский. – И вы, Николай Николаевич, переносите свое восхищение художником на графа как проповедника своей собственной религии.

– Мне нет никакого дела до человека, который бы вздумал ночью голый бегать по своему дому… Мало ли сумасшедших, но если человек голый выбегать начнет к гостям или всех уверять, что так и следует, то я молчать не могу. Так и граф. Сиди у себя

дома и думай что хочешь… Но он пишет – и ищет себе поклонников, – не может остановиться Фет.

Всех останавливает Марья Петровна, появляясь с букетом свежесрезанных цветов и напоминанием о чае. Но Страхов, уклоняющийся от многих ответов – «я люблю слушать чужие речи», – иногда все же с сожалением говорит о деревенской жизни Льва Николаевича:

– Она неурядлива и бестолкова… Большая семья, постоянная толпа гостей – никто не знает, что ему делать: одни обедают, другие гуляют; одни ложатся спать, другие только что просыпаются; подают самовар, и он успеет два раза простыть, прежде чем кому-то из проходящих вздумается его заварить. Среди гостей – оперный певец Фигнер и его жена Медея… Какая-то артистка, поклонница Вагнера… Граф с умилением до слез слушает музыку – на другой день он ее проклинает; гостит художник Ге и вместе с ним его картина, снятая с академической выставки: «Христос перед Пилатом». Ге поклоняется идеям графа, граф – его картине… Какой-то американец хочет эту картину купить, возить ее по Америке и за деньги показывать публике…

– Я, грешный, дорого бы дал, чтобы никогда не видеть ее, – перебивает Полонский.

– Семья мужика Калиныча, описанная Тургеневым в «Записках охотника», идеал – по сравнению с той жизнью, беспорядочной и тунеядной, какую создал вокруг себя этот новый проповедник морали! – заключает Фет, начисто расстроенный услышанным от Страхова.

Он не пьет чая, идет к себе. Его зовут – он сидит неподвижно за столом с каким-то несвежим листом бумаги в руках. Марья Петровна озабоченно и нежно несет ему чайную чашечку, которая звенит о блюдце…

Фет всматривается в строки давнего письма дорогого ему Льва Николаевича:

…

«Получил Ваше письмо, дорогой Афанасий Афанасьевич, и из этого коротенького письма… мне, в котором я пропустил фразу: хотел звать Вас посмотреть, как я уйду, написанную между соображениями о корме лошадей, и которую я понял только теперь, я перенесся в Ваше

состояние, мне очень понятное и близкое, и мне жалко стало вас… Нам с Вами не помогут попы, которых призовут в эту минуту наши жены; но мне никого в эту минуту там не нужно бы было, как Вас и моего брата. Перед смертью дорого и радостно общение с людьми, которые в этой жизни смотрят за пределы ее, а Вы и те редкие настоящие люди, с которыми я сходился в жизни, несмотря на здравое отношение к жизни, всегда стоят на самом краюшке и ясно видят жизнь только оттого, что глядят то в нирвану, в беспредельность… то в сансару (перевоплощение души в буддизме. – Э. М., Э. Г.)… А люди житейские – попы и т. п., сколько они ни говори о Боге, неприятны нашему брату и должны быть мучительны во время смерти, потому что они не видят того, что мы видим, – именно того Бога, более неопределенного, более далекого, но более высокого и несомненного…»

Читая «Воспоминания» Фета, Константин обнаружил, что удивительным образом сходится во мнении с Толстым о многих стихотворениях Фета. Ему почему-то всегда казалось, что граф Толстой не любит и не понимает стихов, – и вдруг в его письмах Фету такие тонкие толкования поэзии! «А что, если б я послал ему, как члену-корреспонденту Академии, свои две книжки? Стал бы он читать, написал бы мне свой отзыв? Как Вы думаете? Пожалуйста, скажите откровенно. Конечно, я слишком хорошо знаю, какая бездна отделяет К. Р. от Фета, и все-таки желал бы вступить с Толстым в сношения», – спрашивал он Афанасия Афанасьевича.

Пройдет полмесяца, и он грустно напишет в Воробьевку: «Прочитав письмо графини Толстой, я подумал, что было бы благоразумнее воздержаться от желания послать графу Льву Николаевичу мои книжки… Толстой дорог мне как автор „Войны и мира“, но не как проповедник, высказавшийся в „Исповеди“,

„Крейцеровой сонате“ и т. д. Пока он понимал искусство для искусства и умел ценить Ваши стихотворения, я бы мог дорожить его мнением. Но теперь я не научусь от него тому, что желал бы постигнуть, а потому зачем его тревожить?»

Но невоплотившееся желание тревожило Константина всю жизнь…

* * *

Фету хотелось стать камергером. Константин сделал всё, чтобы сбылось желание любимого поэта.

Приближались 70-летие Фета и 50-летие его творческой деятельности. Афанасий Афанасьевич испытывал самые разноречивые чувства. Он говорил, что ограничится приемом у себя на дому желающих почтить его поздравлениями и отказывается от всяких публичных чествований. Но долгое преднамеренное молчание вокруг его имени утомило поэта. Дружба с Его Императорским Высочеством Великим князем Константином Константиновичем Романовым, искренно почитающим его талант, возбудила надежды. Хотелось, чтобы его вспомнили и… наградили.

Он размышлял о себе с какой-то внутренней обидой, но и с достоинством. А почему бы нет? Если бы сели за стол «эстетические» судьи – критик Страхов, поэты Полонский, Кутузов-Голенищев, Вл. Соловьев, – они бы не поставили стихи Майкова выше поэзии Фета. Константин Петрович Победоносцев, обер-прокурор Синода, был в восторге от фетовского перевода «Энеиды». А у Фета переведена вся наилучшая часть древнеримской поэзии: Катулл, Тибулл, Гораций, Овидий, Вергилий, Проперций, Ювенал!

Скоро Адольф Федорович Маркс, издатель читаемой всеми «Нивы», издаст его перевод «Фауста» Гёте с гравюрами немецкого иллюстратора… А есть еще его личные стихотворные труды. Криптоним А. Ф. он поставил на своей первой книжке в 1840 году – жив еще был Михаил Юрьевич Лермонтов…

И все-таки он не поедет в Петербург – подумают, что напрашивается на чествование. Кружок русских образованных женщин, любящих его поэзию, вполне удовлетворит его авторское самолюбие. Он понимает, что на службе не состоит, что всего лишь отставной гвардии штаб-ротмистр и… старик.

Но Фет не сдерживается и в письме Константину Константиновичу признается, что как «верноподданный по прирожденному чувству» на закате дней своих хотел бы личного

внимания Его Величества Государя к посильным своим трудам.

И почти как ребенок спрашивает: «Почему, если Майков мог получить тайного советника и значительное прибавление пенсиона, то почему бы мне не мечтать о звании камергера?… Я, просто оглядываясь на Высочайшее внимание, оказываемое нашими венценосцами, начиная с Сумарокова и до Полонского включительно, дерзаю задаться вопросом вслух перед Вашим Высочеством».

Конечно, он умоляет Константина Константиновича не заставлять его краснеть от подозрений, что он, Фет, может быть настолько вульгарным, чтобы злоупотреблять «благорасположением Его Императорского Высочества для испрашиваний, искательства, просьб».

Константин показал письмо жене.

– Мне кажется, он расстроен и ему некому пожаловаться, некого попросить, кроме тебя, – сказала Елизавета Маврикиевна.

– Когда-нибудь скажут – найдутся такие, – что он – «лукавый искатель почестей и наград». И еще – льстец. А я – плохой поэт.

– Старые люди любят награды. Они для них – символ, знак достойно прожитой и всеми уважаемой жизни. Афанасий Афанасьевич – человек искусства. *Kunst Liebt Cunst* (искусство нуждается в сочувствии), – сказала жена по-немецки.

– Странно, Фет принадлежит вечности, его желание – такая малость по сравнению с ней… Да и не пригодится оно ему в вечности. «Камергер Фет» – напишут лишь на могиле. А поэт Фет – сама бесконечность. Его поэзия…

Елизавета Маврикиевна прервала мужа:

– Поэзия и сама по себе хороша. Костя, ты укрась жизнь человека. Сделай, что можешь.

Когда речь заходила о ходатайствах, Константин Константинович априори был добр. К Фету, конечно, особенно. Он ответил достаточно быстро: «Нечего и говорить, что Ваши чаяния и заветные желания мне не только понятны, но и близки, т. к. великая милость или внимание, оказанные Вам с высоты Престола, заставили бы меня радоваться радостью дорогого моего наставника… Не сомневаюсь, что Вы забыты не будете…»

Фет не был забыт. Константин ездил, просил, убеждал, писал. Он умел всё это делать талантливо – его обаяние, «прелесть этого человека», как говорили, была необъяснима. Юбилейным днем Фета считалась дата 28 января 1889 года. В этот день он получил поздравление от Великого князя, узнал, что в честь него в Мраморном дворце состоялся обед, где были его поклонники и друзья, жившие в Петербурге. Пили шампанское за него и за его музу, желали творческой свежести, которая не знает старости.

В «Новом времени» появился посвященный юбиляру сонет, написанный К. Р. и предварительно прошедший критику Николая Николаевича Страхова.

Великий князь намекнул юбиляру, что основные празднества в его честь готовятся в скором времени в Петербурге и следует собираться в дорогу.

Почему же не в день юбилея, 28 января? – спросит Фет. Ответ был прост – все дело в бюрократии: награды и производства выпадают лишь в раз навсегда определенные дни. 28 января к ним не относилось.

Что и как было в Петербурге, легко представить по письму Афанасия Афанасьевича Фета, которое он послал, вернувшись на Плющиху в Москву:

...

«Если бы когда-нибудь зимним вечером у камина мне пришлось рассказывать внимательным внукам, как мы, дедушка и бабушка, зашли во дворец, милостиво провожаемые Августейшими Хозяевами, то я, быть может, приблизительно верно сумел бы изобразить и блестящую обстановку, и оказанный нам милостивый прием. Но когда бы предстояло передавать сущность душевных ощущений, – пришлось бы отказаться от исполнения подобной задачи…

Жена передала мне милостивый вопрос Ее Высочества, – приятно ли быть Марье Петровне женою поэта? – Конечно, – последняя отвечала. – А вот супруг Ее Высочества не только поэт, но и прирожденный музыкант. «А какой, если бы вы знали, – воскликнула Великая княгиня, – это человек!»

И вот если бы пришлось говорить о том, что такие Высокие Особы, не ограничась Августейшим приемом, соблаговолили допустить нас в самое святилище их семейной жизни, – я бы не

мог передать всего обнявшего нас сердечного умиления… Впервые пришлось позавидовать могучим поэтам, подобно Горацию и Пушкину… Сельская моя муза только робко шепчет:

Две незабудки, два сапфира
Ее очей приветный взгляд;
И тайны горнего эфира
В живой лазури их сквозят.
Ее кудрей руно златое
Приносит свет, что лишь один,
Изображая неземное,
Сводил на землю Перуджин».

Нежное, светлое очарование Лизы, ее белокурые волосы, синие глаза, грация, почти воздушная, были точно подмечены Фетом. И это поразило Константина. Он взял старинный альбом и долго рассматривал картины итальянца Пьетро Перуджино, учителя Рафаэля.

«Ты лучше на меня смотри», – смеялась Лиза, а Фет словно дразнил: «Если бы Перуджиновски-воздушный лик Ее Высочества своею обворожительной кроткостью не проникал всего моего существа, то возможно ли было бы, чтобы я, в первый раз в жизни говоривший с Императрицей, увлекся своими ощущениями?»

«Тут говорит искренность», – сказал себе Константин.

Кое-что сказала и Екатерина Владимировна, секретарь, «глаза» Афанасия Афанасьевича, увидев портрет Елизаветы Маврикиевны:

– Вот и прав был Афанасий Афанасьевич: такая прелесть! Такая кротость и младенческая чистота, что невозможно глаз оторвать! – воскликнула Екатерина Владимировна, имея в виду полное совпадение фетовского портрета в стихах и присланного из Мраморного дворца…

Вскоре новоявленному камергеру Фету пришлось вспомнить о своем придворном звании.

Когда Афанасия Афанасьевича Фета принимал Император Александр III, старый поэт пожаловался на отсутствие сил для полезной придворной деятельности. Это произошло в минуту сосредоточенного, почти до бессознательности, волнения, как объяснял Константину свою смелость Фет.

«… Я высказался Государю насчет наступившей уже для меня непригодности ко всякой внешней деятельности, при сохранении внутреннего на нее запроса. Я знавал такие, можно сказать, „восторженные трупы“. Таким был… покойный автор „Писем об Испании“ – Боткин, искалеченный до неподвижности ревматизмом… И сохранивший всю чуткость и впечатлительность

души», – писал Афанасий Афанасьевич Константину. Опыта, когда желания есть, а сил нет, у Великого князя еще не было. И он только радовался деятельным возможностям, которые открылись с новым статусом камергера для лирического поэта и бывшего николаевского солдата.

А камергер Фет, сказав Царю о своей физической слабости, успокоился и решил, что никто его тревожить службой не будет. Но Царь далеко, а местные власти близко.

Стоял конец мая и страшный зной, но Афанасий Афанасьевич и Марья Петровна оставались в Москве, на Плющихе, ожидая приезда Великого князя Сергея Александровича и назначенного дня представления камергера Фета Его Высочеству. Фет плохо представлял себе, как «при массе разнообразных предметов, окружающих Великого князя, удастся быть представленным и вручить свои книги».

Фет ждал Сергея Александровича, а люди и лошади ждали его, чтобы скорее убежать от московской духоты в Воробьевку.

Наконец день настал. Фет захватил два тома Марциала и том «Вечерних огней». «Солидный перевод и лирика – это хорошо ты выбрал», – одобрила Марья Петровна.

Книги были тяжелыми, и потому Афанасий Афанасьевич отыскал в зале столик, положил на него три тома. А сам стоял рядом, словно он не задыхающийся старик, а крепкий вояка любимого Императора Николая Павловича.

Константин предупредил Сергея, что Фет хотел бы подарить ему свои книги. Потому Его Высочество Сергей Александрович, окинув зал взглядом, сразу подошел к поэту.

– Прошу Вашего соизволения на поднесение Вам книг, – хрипло сказал, волнуясь, Афанасий Афанасьевич.

– Мне двоюродный брат говорил о Вашем намерении, и я усердно Вас благодарю.

Сергей пристально и очень серьезно смотрел на «божественного Фета» – иначе его лучший друг Константин этого человека не называл.

Искренне, любезно и благодарно подал ему свою великокняжескую руку.

На следующий день Фет, довольный исполненными делами, отправил на железную дорогу лошадей и багаж. В 12 часов решено было ехать в Воробьевку, и он собрался прощаться с графом Алексеем Васильевичем Олсуфьевым, генералом от кавалерии, участником военных походов, вместе с тем и знатоком римской поэзии, которую он помогал Фету переводить.

– Как! Вы уезжаете! Теперь известно, что Государь с Императрицей будут в Москве, – пришел в ужас Олсуфьев.

– Я утомлен чрезвычайно…

– Какое утомление! Вы будете в числе других придворных потребованы к выходу, а вы как раз за два дня уезжаете.

– Но это не преднамеренно. Я не знал, что 14 мая в Москве будет Государь…

– Нет, нет, вы как будто уклоняетесь от своей прямой обязанности.

– Граф, – взмолился Фет, – я остался без экипажа и без мундиров.

– Сию же минуту пошлем на станцию взять мундиры, а в день представления Государю одеться в полную форму!

Взяли мундиры, но Государь 14-го не приехал. Ждали 17-го. Фет написал Константину: «По причине отложенного до 17 мая приезда Государя нам пришлось почти неделю пробыть в Москве между небом и землею», – и как последний стон: «… даже повара мы уже отправили в деревню».

Наконец наступило 17-е число. Мундир надевался в доме графа Олсуфьева. Карета Олсуфьева доставила Фета во дворец. После выхода к Государю та же карета повезла его на Плющиху к завтраку, который Марья Петровна готовила своими руками, без повара.

«Отыскались» старики в своей Воробьевке только 21 мая утром. «Пришлось и мне… отбывать камергерскую службу», – напишет Фет Константину. Интонация при этом была неуловимая: то ли удовлетворение, то ли досада.

Впрочем, его уже одолевала другая забота – угрожающий неурожай в черноземной полосе…

* * *

Константин не мог себе объяснить, чем очаровывала его жизнь этих милых стариков. Их стихи он мог бы прочитать и в книгах. Но иногда ему как бы приоткрывалась тайна их существования: оно было согрето последним, но еще живым лучом *пушкинского тепла.* И он пристраивался рядом.

Конверта было два, и письма Константин Константинович читал поочередно, но улыбался непрестанно и всё представлял в живых картинах.

Утро. Жаркое летнее солнце на веранде, на балконе, на цветах, в комнатах, где сидит бородатый Фет. Появляется Полонский:

– Ты будешь посылать телеграмму с поздравлением Ее Величеству Королеве, то есть Ольге Константиновне?

– Нет, я не был представлен Ее Величеству и потому не считаю себя вправе беспокоить ее своей личностью, – важно отвечает Фет. Это еще и скрытый упрек Полонскому, который был представлен греческой Королеве, да еще и читал ей свои новые стихи.

«Но я живу все же в Петербурге, на Знаменской улице и могу чаще бывать у Великого князя Константина Константиновича и видеть его сестру Королеву, чем Фет, живущий в Воробьевской пустыне», – думает Полонский и все же спрашивает:

– А где она в настоящее время?

– Журналы говорят, что на пути в Грецию.

– Стало быть, неизвестно, куда телеграфировать?

– Неизвестно, – отрезает Афанасий Афанасьевич.

Полонский идет к двери, Фет вслед ворчит: «Частные телеграммы к высочайшим особам вообще задерживаются, мне говорил это доктор Боткин, он знал эти дела, все же лейб-медик Александра Второго. Да и послать сможем через два дня, когда воз пойдет в Курск за продуктами…»

В обед в двери появляется голова Страхова. Все ликуют. Не дав передохнуть гостю, Фет показывает Николаю Николаевичу стихи Константина. Одной рукой указывает на строчку из них «мне запах милый» и требует над ней суда, другой держит 4-й выпуск своих «Вечерних огней» и требует прочтения.

Наконец, в ярко сияющем дне все расходятся к своим работам. Мадам Полонская лепит бюст Афанасия Афанасьевича Фета. Этот бюст называется «старческим», но он ему нравится. Он даже гордится тем, что Жозефина Антоновна лепит его: она известный скульптор, лепила Тургенева, будет лепить восходящего к славе Чехова и, конечно, замечательного поэта, своего мужа, Якова Петровича Полонского. Замечательный поэт тем временем пишет масляными красками виды Воробьевки. Вид на террасу собирается поднести Его Высочеству Константину Константиновичу… А вообще уже наготовил целую галерею воробьевских пейзажей… Марья Петровна прилежно вяжет очередной козий платок для Елизаветы Маврикиевны, и здесь Афанасий Афанасьевич, знающий толк в хозяйствах и поэзии, не может удержаться от сравнения: «Сама Овидиева Арахна могла бы искусству Марьи Петровны позавидовать».

Константину пришлось залезть в книгу по древнегреческой мифологии и выяснить, что Арахна была пряхой, которую богиня Афина превратила в паука за то, что та посмела состязаться с ней в этом искусстве. В Воробьевке были и другие насельники и насельницы: дочь Полонского упражнялась на рояле, сушила цветы, рисовала пером. Сын, студент-филолог, уходил в кабинет

Афанасия Афанасьевича, чтобы работать над комментариями к Теренцию, автору комедий, которые переводил хозяин Воробьевки. Ну а Страхов, борясь с ленью, делал замечания к стихам Фета.

Завтрак, обед, вечерний чай неукоснительно подавались в одно время – полдень, пять часов и девять вечера. За чаем и ароматными дынями, которые Полонский, к сожалению, по нездоровью не ест, начинаются споры.

Страхова упрекают опять же за дипломатические умолчания – так считает Полонский. Фет считает, что Николай Николаевич молчит от лени, а сам Страхов требует, чтобы ему не задавали такие вопросы, в ответ на которые можно только молчать. Возникает спор вокруг Теренция. Полонский заявляет, что переводы слово в слово, не передающие красоты подлинника, его возмущают. «Зачем тогда переводить? – задает ему вопрос Фет. – Пиши сам вместо Теренция! И вообще, – говорит он Полонскому, – который сидел с забинтованной рукой – гонялся за мухами и ударился о железную кровать, – у лошади есть хвост, и она им отмахивает мух, а у тебя хвоста нет – стало быть, лошадь нас совершеннее».

В Воробьевке на Фета все посмотрели озадаченно.

Здесь, в Павловске, где Константин читал письма, на него тоже посмотрели озадаченно: сидел человек и вдруг захохотал…

Второе письмо было посвящено фонтанам и лимонам. Полонский вслух размышлял о том, что между его молодостью и стариковскими годами появилась серьезная разница – всё, на что достаточно было одной ночи, теперь поглощает немало времени. Конечно, он говорил о стихах и потому спросил Фета: «Не пора ли заткнуть нам свой фонтан? Он не выбрасывает больше чистых поэтических струй, как во времена ОНО».

У Фета, как всегда, нашелся жизненный пример. В полку у него был майор, в чай он выжимал сок из лимона. Лимон же лежал на окне и впитывал сырость окна. Майору говорили, что пьет он с чаем давно не сок, а оконную сырость. И Афанасий Афанасьевич завершил свой рассказ так: «С другой стороны, нельзя же сказать, что он выжимал грецкую губку, а не лимон. Такие настоящие, хотя и старые, лимоны – мы с тобой!»

Полонский, сочинивший стихотворный ответ Фету, привел его в сжатом виде в письме Константину Константиновичу:

Мы – два выжатых лимона,
На сыром окне лежим…
Как поэты мы мечтали
О неведомой нам дали…

Но увы, попав к майору
На окно среди зимы,
Разуверилися мы.
Точно нас тисками сжали,
Стали резать и кромсать
И вчера нас выжимали,
И сегодня будут жать…
Но о чем тут горевать,
Век лимонами мы были
И лимонами умрем!
(«Мы – два выжатых лимона…»,
23 мая 1890)

«Тонким, изящным, чутким и даже благосклонным нельзя притворяться», – сказал однажды Фет своим друзьям о К. Р. Великий князь и не притворялся. Конечно же он искренне и убедительно доказал двум старым поэтам, что они не выжатые лимоны, а вполне исправные фонтаны. Доказал их же блистательными последними стихами. Он спокойно написал, что сестра его, Королева, была бы счастлива получить в Афинах их телеграмму; именно в гостях у нее, сочиняя первые стихи, он боялся даже думать, что судьба его сблизит с такими поэтами, как они, и самому позволит именоваться поэтом. «Как бы мне хотелось побывать в Воробьевке и послушать Ваши беседы… Вы когда-то заговорили про Марью Петровну, про Екатерину Владимировну, про крошечную столовую Вашего уютного домика на Плющихе… И мне стало жалко, что Вы и при мне не раскладывали пасьянса, в котором заодно с Вашими дамами и я бы принял участие. Вот только Муза моя меня забыла», – жаловался Фету К. Р.

Марья Петровна, которая собрала уже более семидесяти «несравненных» писем, пряча их в китайский ящик, попросила мужа успокоить Великого князя и признаться ему, как в бытность мировым судьей и сельским тружеником он, Фет, не написал и трех стихотворений. А потом муза в Воробьевке стала посещать его так часто, как на заре жизни. Но Фет поправил Марью Петровну и честно сознался, что и в недавнем совсем времени, в Воробьевке, его муза, как те крылатые муравьи, которые в июне теряют крылья, их потеряла и вместо того, чтобы летать на Геликон, топтала сандалиями землю.

* * *

Однажды, на заре знакомства с Фетом, в каком-то особо вдохновенном настроении Константину захотелось едва ли не математически просчитать, как это из области слов Фет перетекает в незримую область музыки.

…

«Что Вы за волшебник! Мне кажется, никто из наших стихотворцев, даже отживших и бессмертных, так не чувствовал природы, не умел так любоваться ею и проникаться ее неотразимой красотою. В Ваших стихах слышится, как нежно и с каким восхищением Вы ее любите, она Вам как бы необходима и Вы ею живете…

Скажите мне: все ли, о чем говорится в Ваших стихах, с Вами было, или многое есть только плод творческого воображения? Я знаю, что задаю нескромный вопрос, но надеюсь на снисхождение. Так как почитаю Вас за хорошего семьянина. Я спрашиваю об этом оттого, что сам пишу стихи на небывалые, просто придуманные случаи.

Например, была теплая, светлая ночь, я гулял по лагерю, любуясь ею, встретился с солдатом и разговорился с ним; а кругом сладко пахло тополями. Вот где я нашел содержание стихотворения: как видите, ОНА заменила солдата, прибавились соловьи… Не осудите ли Вы меня за такое лживое творчество? Можно ли описывать то, чего не было с нами в действительности? Вот почему я задал Вам нескромный вопрос».

Афанасий Афанасьевич объемно и серьезно ответил Великому князю, какими разными путями приходят стихи, но

письмо поразило его другим. Что-то детское, обнаженно-смущенное и наивное, какая-то поэзия скромности сквозили в нем. И одиночество. Его Императорское Высочество мог бы задать свой вопрос делано-равнодушно, вежливо-сухо, деловито, даже высокомерно, – ведь облагодетельствовал своим августейшим обращением. – А он спрашивает с робостью ученика…

Это письмо навсегда приковало сердце Фета к Константину. Никакое звание камергера, добытое тем же Великим князем, не могло соперничать с чувством, которое поселилось в сердце старого поэта и человека. Однажды Полонский, утешая Фета, написал ему: «Внутри тебя сидит другой человек, никому не видимый. И нам, грешным, невидимый, окруженный сиянием, с глазами из лазури и звезд, и окрыленный. Ты состарился, а он молод! Ты все отрицаешь, а он верит!.. Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклоненный, зарыдать готов перед одним из ее воплощений – перед таким существом, от света которого Божий мир тонет в голубоватой мгле!» Так Полонский выказал всю душевную щедрость дружества. Но, может быть, и другое: он шестым чувством поэта предсказал Фету встречу с человеком, который молод, который верит, окрылен жизнью и коленопреклонен перед одним из ее воплощений – божественным даром поэта Фета.

Встречу с Константином Романовым.

* * *

Понимая, что Великий князь представляет Царскую фамилию, друзья-поэты любили высказывать суждения, которые, как им казалось, Его Высочество донесет до ушей Государя. По крайней мере, поставит его в известность. Во время визита германского Императора Вильгельма II далекий от политики Полонский в день приезда высокого гостя желает русским и немцам солнца, тепла, тишины, но, словно провидя страшную Первую мировую войну, пишет Константину Константиновичу: «Пусть что хотят говорят и толкуют – мы твердо верим в нашего умного и осторожного Государя. Его нельзя ни запугать, ни ослепить… Желателен же не только мир, но и подъем нашего патриотизма». Афанасий Афанасьевич готов был подать в соответствующие инстанции жалобу на всех фотографов Петербурга, будь то С. Левицкий, К. Бергамаско, Везенберг или кто-то другой, кто так некачественно фотографировал российского самодержца. «Особенно его замечательные глаза и царственный взгляд. Глаза Императора самые выдающиеся во

всем Его лике. За исключением глаз Николая Первого, я не встречал таких царственных, громадных, ясных и могущественно спокойных глаз, как у Александра III».

Были еще суждения у друзей о политике, земствах, дворянских правах и прочее. Фет, тряхнув головой и нервно погладив свою большую бороду, решался донимать Его Высочество: «… Вы отговорились полным незнакомством с нашими земскими ведомствами. Но я никогда и не думал входить в подробности наших жизненных условий, не говорить же об общем строе дела и грозных его последствиях в настоящем невозможно…»

Константин иногда его не узнавал, вернее, не узнавал в нем нежного романтического лирика – перед ним был бунтарь. «Стоит взглянуть, – ожесточался Фет, – к чему привело нас наше gnasi (псевдо) либеральное накачивание посредством школ всевозможных подоньев в высшие слои общества. Подоньев мы не облагородили, а высший слой загрязнили и опошлили».

Каким-то непостижимым образом он вдруг к политике пристегивал литературу:

…

«Ларины „Евгения Онегина“, бедные дворяне, которых никто не протягивал стипендиями ни чрез гимназии, ни чрез прогимназии, но сейчас видно, что это настоящие русские дворяне, у которых „балкон“ есть простая принадлежность дома… „Она любила на балконе Предупреждать зари восход“.

Современный же поэт, интеллигент из прогимназии, взбирается на чуждый ему по природе балкон… восклицает: «Луна горит. Звезда блестит, На темном небосклоне… А мы с тобой, О, ангел мой, Пьем водку на балконе!»

Константин чувствовал правду в словах Фета. Но не отозвался на суждения о «подоньях». Однако о грядущем голоде не промолчал. Написал, что сжимается сердце от беды и сознаешь, что, кроме денежной помощи, никакой более

существенной оказать не можешь. Надо знать крестьянский быт и иметь более ясное представление о положении вещей, без посредства газетных и столичных слухов. А он, Константин, поставлен в другие условия, окружен другими обязанностями… Так ответил, потому что почувствовал: Фет *именно его,* человека Царской фамилии, вызывал на полемическую дуэль. Накануне Константин написал Фету, что он вышел на балкон в тихий ясный вечер, пахло березой, резедой и розами, он прислушался: не заговорит ли с ним муза… Ну, конечно, муза и резеда… А здесь – неурожай и голод. И хозяйство самого Фета, когда семена, с «таким напряжением попавшие в землю», гибнут от страшного зноя, что жара сменилась дождями и холодом, термометр упал до 12 градусов и Афанасий Афанасьевич в горе, что подмок ячмень, зерно потеряло свою янтарную прозрачность и жатва замедлилась.

Вот тебе и тихий уголок у стариков!

И, как всегда, когда Афанасий Афанасьевич ловил себя на резкости или, как он говорил, «наследил чистое, светлое жилище отлипами жизненного болота», он просил Константина «помочь ему стать человеком, вносящим с собою мир, сердечную теплоту и благоволение». Все эти качества он находил в своем молодом друге. Однажды, как бы извиняясь, он написал Константину: «Все письмо Ваше до того милостиво непринужденно, что я чувствую себя совершенно потерянным. Я могу только любоваться Вашим врожденным даром, обыкновенно называемым тактом… Сам я в подобных случаях чувствую себя человеком, посаженным в мешок для соискания награды за быстроту бега».

* * *

Это было вдохновенное содружество. Красивый, поэтически одаренный, царского рода молодой человек и пять стариков. Эти старики – сколок жизни, которая уходила. Если они наивны, то это наивность XIX века. Их язык кажется старомодным, а взгляд на жизнь – потускневшим, но не оттого, что стал менее здравым, а оттого, что не моден. Они – и Гончаров, и Майков, и Фет, и Страхов, и Полонский – все разные, но есть и общее: они художники в широком смысле, они работали на Вечность, и их роман с ней состоялся.

Они умрут один за другим на глазах у любящего их человека, Великого князя Константина Константиновича. «Бедные мои старички…» – будет он повторять, собирая их письма в дорогие сафьяновые альбомы.

Но он не мог не знать, не чувствовать, что продлил им годы. Они собирались вокруг него. Он был стержнем их дружества, но не потому, что он – Великий князь. Можно склоняться перед Его Высочеством, но не любить. Старики ссорились, спорили, ревновали друг друга к славе, положению, чинам, сплетничали, как все нормальные люди, а он был их арбитром, мирил их и объединял своей человеческой отзывчивостью и щедростью.

– Вы сами знаете, до какой степени вы умеете заставлять любить себя, – справедливо говорил Полонский. – Мы стары, как волхвы, а между тем, каждый из нас идет только за своей звездой, а не за той единственной, которая ведет к поклонению Единому.

И Константин старался, чтобы их жизнь обрела волю и силу, утерянный блеск, укрепление старых дружб и ощущение своей нужности… он их любил, жалел и чтил.

Они это чувствовали. Фет написал ему 4 мая 1891 года из Москвы письмо, страницы которого уже шевельнуло дыхание предсмертной тоски:

…

«… Вчера… Екатерина Владимировна, обладающая прекрасной памятью, совершенно для меня неожиданно прочла вполголоса наизусть Ваш прелестный перевод из Прюдома. Мелодические стихи заставили меня отыскать их на 47-й стр. Ваших „Новых стихотворений“, никогда со мной не разлучающихся. Какая оконченность формы прелестного перевода и в целом, какая выдержанная грация!..

Конечно, я счастлив, что мне с крайним напряжением суждено было окончить такой серьезный труд, как перевод Марциала: я осчастливлен Августейшим участием Вашего Высочества и Высочайшим Монарха. Но окончание труда связано у меня с болезненным ощущением дальнейшего бессилия и нравственного сиротства. К слабеющему духом, ко мне, полуслепому, более чем к другому,

идут стихи Пушкина:

Или, свой подвиг
свершив, я стою, как
поденщик ненужный,
Плату
приявший свою,
чуждый работе
другой?

Без малодушного ропота я в жизни терял родовое имя и состояние, но настоящие минуты переживаю с самым болезненным ощущением. Безутешные слезы приливают из сердца к моим больным глазам. Чтобы понять меня, мало быть добрым человеком, нужно быть, подобно Вам, чутким поэтом. Припоминая нашу встречу и для меня столь драгоценную переписку, Ваше Высочество, поймете, что у меня в целом мире нет никого, к кому бы все существо мое стремилось с тою преданностью, с какою встречает Ваши ласки. Нужно много сердечного томления, чтобы вынудить из меня то, что решился здесь высказать…»

У Великого князя были военная служба, деятельность в Академии наук, Женские педагогические курсы, полковой праздник, приезд принца Неаполитанского, обед в Зимнем дворце, переезд в лагерь под Красным Селом, столетний юбилей л. – гв. Павловского полка, семья. Но всё это было преходяще. Реальной была для него жизнь в домике на Плющихе, в сельце Воробьевка и в письмах его стариков. Она была зовом сердца к вечному.

* * *

У всякой жизни есть последние страницы. Трудно сказать, что лучше: когда их много или только одна. Фет мучился перед смертью и даже пытался покончить с собой.

Катаясь верхом в Летнем саду, Константин встретил графа

Олсуфьева (к слову, он установил первую памятную доску в честь Фета в своем имении под Москвой).

Олсуфьев сказал, что Афанасий Афанасьевич мучается удушьями. Когда приступ отпускает его, он жалуется, что во всем виноват Овидий, «Скорби» которого он переводит. Эти скорби, мол, осуществляются в нем.

Константин, жалея Фета, просил его не падать духом и обещал в течение зимы быть на Плющихе в гостях. «Страждущие и немощные мы прослезились… Я жестоко страдаю, и вдыхание эфира мало помогает». Эти горькие слова Фет сопроводил стихами:

Когда дыханье множит мука
И было б сладко не дышать,
Как вновь любви расслышать звуки
И как на зов тот отвечать?
Привет Ваш райскою струною
Обитель смерти пробудил,
На миг вскипевшею слезою
Он взор страдальца остудил.
И на земле, где все так бренно,
Лишь слез подобных ясен путь,
Их сохранит навек нетленно
Пред Вами старческая грудь.
(«Когда дыханье множит мука…», 23 октября 1892)

Фет еще верил доктору Остроумову, профессору клиники, что его болезнь «выходит из острого состояния». И все же ночи ему приходится проводить в кресле, чтобы было легче дышать.

И кресло это особенное. «Когда… я менял мебель в своем кабинете, жена унесла одно кресло в спальню, говоря, что на нем сидели Вы, Ваше Высочество. Это кресло в настоящее время – мой единственный приют, так как ночи я… провожу сидя».

Сидя и днем в этом кресле, время от времени впадая в дремоту, Афанасию Афанасьевичу вспоминались строки одного из писем Константина Константиновича: «Рассказывая, как распечатываете и потом читаете мои письма, Вы точно описываете и мои впечатления от получения Ваших. Радость, нетерпение, потом отрадное настроение, причиненное чтением и обменом мыслей, – вот мои чувства при этом…»

Письмо, написанное Фетом после мучительно проведенной ночи, стало последним. 21 ноября 1892 года он умер.

Закончились их личные отношения, но осталась их

переписка: 118 писем Фета и 92 письма К. Р., написанные с 1886 по 1892 год.

Константин написал Марье Петровне только в декабре. Он боялся вторгаться в «благоговейное безмолвие горя». Но наступали рождественские праздники, и он не хотел, чтобы она чувствовала одиночество. Да и не мог больше сдерживать желание «навестить ее под видом письма»:

...

«Я знаю, что Вы не сомневаетесь в моей глубокой печали… Всем известно, как я дорожил Вашим усопшим. До меня дошло, что вы положили ему в гроб камелию, сорвав ее с нашего венка. Нельзя было лучше выразить мою привязанность к Афанасию Афанасьевичу; Вы сделали это, сознавая чутким сердцем, как глубоко я его любил. Теперь по вечерам я перечитываю его письма ко мне; у меня их сто восемнадцать. Читая их, я как бы вновь переживаю наши дорогие отношения… Простите мне эти непрошеные излияния, я не могу не перенести хоть часть этой привязанности на Вас, самого близкого ему человека… Вспомните меня, когда пойдете на дорогую могилу.

Думаете ли вы вернуться на Плющиху и когда? Я невольно плачу при мысли, что Вы там будете одна, а если случится мне навестить Вас там, то нас будет только двое, а не трое, как прежде… и я плачу, как дитя…»

«Не понимаю сознательного приумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». – Об этой предсмертной записке Фета, пытавшегося покончить с собой, Константин спросить не решился. [44]

В январе 1893 года в Петербург приехала вдова Афанасия Афанасьевича Фета по делам издания сочинений мужа. Великий князь пригласил ее в Мраморный дворец. Увидав ее, Константин едва не плакал. Марья Петровна привезла ему в память о муже золотое перо с серебряной ручкой, которым Фет писал последние три года, и тетрадь неизданных стихотворений. И сказала много добрых слов благодарности за участие и помощь в ее горе.

Константин и Лиза напоили старушку чаем, водили по дворцу, показывая ей исторические достопримечательности Мраморного. Марье Петровне хотелось увидеть детей. Когда она с Афанасием Афанасьевичем была последний раз у них в гостях, Татьяны, Кости и Олега еще не было на свете. Побывали и на детской половине. В конце визита зашла речь об издании полного собрания стихотворений Фета. Сделать это благое дело она поручала Константину, к которому Афанасий Афанасьевич относился с отеческой любовью.

Константин вспомнил Николая Николаевича Страхова, мнением которого покойный Фет очень дорожил, а Страхов, в свою очередь, высоко ставил и чтил его талант, и решил привлечь его к подготовке собрания стихотворений поэта.

– Я думаю, милая Марья Петровна, в наших руках издание будет достойно Фета, – просто сказал Великий князь.

* * *

Николай Николаевич Страхов жил на пятом этаже в доме у Торгового моста. В кабинете было так жарко, что Страхову казалось, будто его собственная длинная борода тому виной. Он встал, открыл окно и вернулся к столу, где лежали переплетенные в красный сафьян письма Афанасия Афанасьевича Фета, адресованные Великому князю. Письма попали к Николаю Николаевичу не случайно. Считая, что они будут «не бесполезны» при работе над изданием полного собрания стихотворений Фета, их прислал Страхову сам Константин Константинович, надеясь на полную сохранность своего «сокровища».

Страхов читал письма и, потрясенный, задумывался. Узнавал ли он старого друга? И да и нет… Перед глазами вставали поездки с Толстым в Степановку, поместье Фета, потом в его новое имение Воробьевку, где дни текли плавно, приятно и умно. Гуляя в аллеях парка, слушая громкий шепот фонтана, любуясь высоким берегом реки, где стояла каменная усадьба с каменными службами, вековыми дубами и с восемнадцатью десятинами господской земли, заселенной цаплями, грачами, соловьями,

украшенной по скату к реке цветниками, Страхов не мог не видеть в своем друге опытного, рачительного хозяина, который знал толк в копейке, в земле, пользе и удобстве жизни.

Конечно, цветущая Воробьевка воспета в стихах. Конечно, не однажды поэтическая строка рождалась от взгляда с этого высокого места на дали, в мареве которых золотились купола и кресты Коренной Пустыни. В стихах ушедшего в иной мир поэта отшумел фонтан, пропели песни воробьевские соловьи, отыграли тени и свет в аллеях парка.

Но во всем ли, излившись, открылась душа поэта и, вообще, возможно ли это? Страхов не знал. Он, самый строгий, самый известный и уважаемый критик, – не знал! Взявшись за труды по изданию поэзии Фета, Страхов не сомневался, что эти труды обещают ему «большую отраду от предстоящего перечитывания бесподобных стихотворений». Но переписка, данная всего лишь в помощь, для дела, перевернула его душу. И он понял, что поэзия – это еще не весь человек. Будь то Пушкин, Тютчев или Фет. Не очень разговорчивый, таящий свои мысли при себе, он не выдержал. «… Не могу умолчать, – больше всего меня занял и поразил внутренний смысл этой переписки, трогательной с обеих сторон. Живо воскресал передо мною Афанасий Афанасьевич (дает ли поэзия такое воскрешение?), и мне было ясно, сколько радости, сколько глубокого утешения доставляли ему и Ваша поэзия, и Ваше сердечное участие. Он прав: Вы один свободно касаетесь ПРОСТЫХ ПРЕДМЕТОВ, и оказались в этом верным учеником Пушкина. И мне вполне понятна та живая и нежная признательность, которою за все платил Вам Афанасий Афанасьевич. В Вашей судьбе есть одна черта, которая вместе и прекрасна, и печальна. Вы стоите во главе целой толпы стариков, и Вы расположены относиться к иным из них не с простым, а с сердечным чувством. И вот им придется постоянно печалить Вас: на ваших глазах они будут один за другим сходить в землю, „И чей-нибудь уж близок час“. Невольно пришли мне эти грустные мысли, когда видел Вас за гробом незабвенного Якова Карловича (Я. К. Грот. – *Э. М., Э. Г.)*. И я от всей души пожелал, чтобы Бог утешил Вас и наградил за всю любовь, которую Вы расточаете», – писал Страхов К. Р. 2 июня 1893 года.

Посмертное издание «Лирических стихотворений Фета» было частью этой любви. Страхов и Великий князь будут много работать, и, хотя Николаю Николаевичу достанется львиная доля труда, он не скроет своего удивления перед работоспособностью Константина Константиновича: «… никак не смел я думать, что Вы возьмете на себя корректурный труд в такой мере…»

Издание получится превосходным, и именно его будут

предпочитать исследователи творчества Фета, потому что составители добросовестно ориентировались на предварительные заготовки поэта перед смертью.

Марья Петровна эти заготовки, как уже говорилось, доверила Великому князю. А с Николаем Николаевичем она сблизилась за время работы очень тесно, по какому-то «естественному сродству», и им всем, включая Екатерину Владимировну, секретаря, было хорошо в маленьком доме на Плющихе. Но через 16 месяцев после смерти мужа Марьи Петровны не стало.

Похоронили ее в Клейменове, рядом с мужем. Софья Андреевна Толстая в письме Николаю Николаевичу Страхову случившееся описала зачем-то неприятно и жестоко: «Похоронила я на днях Марью Петровну, и очень было грустно, что с ней рушилось еще одно гнездо друзей. Очень она, бедная, страдала; кончилось все параличом мозга – ей втянуло язык в горло, она три дня хрипела. Не дай Бог такой смерти! На другой день она уже совсем разложилась, и это растлевшее жалкое человеческое подобие положили в роскошнейший цинковый гроб, разукрасили большим количеством венков, но никто слезы не пролил и никто ей в гроб цветка не положил, чтобы хоть что-нибудь коснулось ее, что была природа и жизнь! Жутко просто, какое проклятие на богатых! Она даже землей никогда не будет, а пролежит вечно в жестянке и в подвале, как и ее муж».

Страхов представил себе этот склеп в родовом имении Шеншиных в Мценском уезде, подумал о том, что у него такого склепа нет, потом переписал письмо жены Льва Николаевича Толстого и отправил его Великому князю.

Комментировать письмо не стал. Сам он смерть Марьи Петровны, которая «победила, обезоружила его своею неистощимой добротой», перенес как большое горе. «Жизнь ее не была несчастной, если судить по тому правилу, что мы тем счастливее, чем добрее, – писал он 22 марта 1894 года Константину Константиновичу и восклицал: – Нет, нехорошо долго жить! Всей душою желаю умереть раньше не только друзей, но и моих добрых знакомых!»

Пройдет не так много времени. «Лирические стихотворения Фета» выйдут, и несколько экземпляров будут подарены Государю Императору, греческой Королеве Ольге Константиновне, Великому князю Сергею Александровичу и Его Императорскому Высочеству Константину Константиновичу 18 мая 1894 года.

Так завещала Марья Петровна почтить память своего мужа.

«Дай Боже Вам долго жить и здравствовать и пробуждать во всех те чувства любви и признательности, которые для меня теперь неразрывно связаны с этой книгой Фета», – написал

Николай Николаевич Страхов, отсылая книги Константину Константиновичу.

В ответ Великий князь попросил Страхова взять его в сотрудники для подготовки второго полного собрания сочинений Фета. Особого, для «изыскателей». И предлагал обменяться замечаниями по первому изданию на случай, если не суждено им будет сделать вместе второго издания…

ЦАРСТВЕННЫЙ ПРЕОБРАЖЕНЕЦ

Константин Константинович не любил встречать Новый год, как это обычно принято: часы бьют двенадцать, все бросаются обнимать друг друга с поцелуями и поздравлениями.

Он предпочитал в это время спать. Не хотел знать о сломе времени, о границе между ушедшим и наступающим. Под ушедшим надо подводить черту. В наступающем – угадывать тайну: что тебя ждет? В подведении черты есть что-то мертвенное, а тайна всегда терзает.

Ему хотелось ощущать жизнь как череду дней, не сбивающихся с ритма. Пусть они катятся как волны, непрестанно и вечно.

В канун 1893 года он уже засыпал, как вдруг старые английские часы забили полночь и разбудили его. Он поворочался на постели, буднично стал думать о переводе «King Henry IV» Шекспира и незаметно заснул. Ему приснился сон, что он, офицер Преображенского полка, у подъезда казармы на Миллионной встречает Цесаревича Николая, с которым они теперь будут вместе служить.

Сон был в руку. Утром 1 января солнце сияло во все окна, мороз трещал на все 18 градусов, а он в кабинете готовил приказ по полку: «Во исполнение Высочайшего повеления, предписываю флигель-адъютанту Полковнику Его Императорскому Величеству Государю наследнику Цесаревичу и Великому князю Николаю Александровичу вступить в командование 1-м батальоном».

Поставил точку и тихо сказал: «Дай Бог, в добрый час!»

В общем-то, всё начиналось в августе прошлого года, когда Наследник был произведен в полковники. Тогда-то Ники сказал Константину, что хотел бы вступить в ряды преображенцев и командовать 1-м батальоном. Но на это необходимо было получить разрешение отца. И Константин и Ники прекрасно знали строгость Государя Александра III.

В конце августа Константин в Стрельне получил записку от Ники из Александрии, что близ Петергофа: «Дорогой Костя, спешу разделить с тобой мою искреннюю радость: у меня только что произошел с Пап? разговор, содержание которого так давно волновало меня! Мой милый, добрый Пап? согласился, как прежде, охотно, и разрешил мне начать строевую службу с зимы! Я не в состоянии выразить тебе испытываемые мною чувства; ты вполне поймешь это сам. Как будто гора с плеч свалилась! Итак, я буду командовать 1-м батальоном под твоим начальством. Целую крепко нового отца-командира. Твой Ники».

Дело в том, что Цесаревич уже служил в Преображенском полку и командовал Государевой ротой. Но тогда обязанности его были только по «наружной части». Чтобы всесторонне узнать строевую службу и оружие разных родов, он два лета кряду пробыл в лейб-гвардии Гусарском полку, а в лагерную пору командовал батареей конноартиллерийской бригады. Однако в зимнее время Наследник ни разу не находился в строю ни в одной из воинских частей. И то, что он сейчас выбрал преображенцев, было огромной честью для полка. К тому же у многих сослуживцев, знавших его раньше, осталось хорошее впечатление о молодом Николае.

Константин понимал, что к такому знаменательному событию надо подготовиться. Ники в этот раз принимал батальон со всеми строевыми и хозяйственными обязанностями, и принимал на продолжительное время. Значит, надо строить дом в лагере полка под Красным Селом. Начались переговоры между заведующим конторой Его Величества и заведующим хозяйством полка полковником Галлером.

Уезжая с Царем в Иван-город на смотр маневров, Ники попросил Константина:

– Костя, ты все здесь знаешь лучше меня. Я полагаюсь на тебя, найди сам место для моего дома, а я подчинюсь твоему выбору – ты же командир полка, – улыбнулся Ники.

Константин изъездил территорию лагеря, осматривая рощицы, озерца, поляны с последними августовскими ромашками. Место выбрал за прудом, между участками двух батальонов.

Службу Ники хотел начать со 2 января нового года.

В этот день Константин вскочил спозаранку и, погарцевав верхом в манеже, счастливый и радостный, пошел в казармы на Миллионной. Стоял 22-градусный мороз, но он не чувствовал, что идет в летнем пальто. В душе у него звучала молитва: «Да почиет над ним Божие Благословение, да поможет нам Господь всегда помнить, какое выпало на нашу долю счастие, быть его достойными».

Служба Ники в полку и радовала Константина, и беспокоила. То ему казалось, что Цесаревич побледнел, то похудел по сравнению с тем временем, когда тот, возмужалый и цветущий здоровьем, вернулся из десятимесячного кругосветного путешествия. Ники тогда привез, кажется из Сиама, ученого слона, проделывающего всякие смешные штуки. И Константин повез старших мальчиков и Татьяну в Царское смотреть этого слона… Великий князь улыбнулся при воспоминании о слоне. Он любил Наследника, не потому что он взойдет когда-то на

престол, а просто как скромного, умного, доброго молодого человека.

Константину нравилось, что Цесаревич очень строго подходит к ведению занятий, на которых солдат обучали грамоте. Однажды, после смотра новобранцев, который проводил Константин Константинович, Цесаревич хотя и обрадовался отличной оценке своему батальону, но счел ее завышенной.

– Почему же? – спросил Константин.

– Мне стыдно, что мои солдаты, проходя службу в двух шагах от столицы и в ней самой, ничего не знают об истории этого великого города. Они даже не знают, где памятник Суворову, Петру Первому.

Наследник не ограничился словами. Он собрал своих ротных командиров и сказал им, что считал бы полезным в свободные дни проводить с солдатами экскурсии по городу и рассказывать им историю Петропавловской крепости, Казанского собора, домика Петра Великого, показывать памятники выдающимся русским людям.

«Как хорошо придумал Ники, а то и правда, стыдно за нашу беспамятливость», – думал Константин, вспоминая размышления писателя Д. В. Григоровича во время путешествия по французской Бретани:

...

«История Бретани вся в прошедшем… Признаки этих воспоминаний рассыпаны на всем, куда ни обращаешь глаз; нет, кажется, такого холмика, нет ручья и старого дупла, о которых бы до сих пор любой крестьянин не рассказал преданья и легенды.

Отчего же, думал я – и думал об этом, могу вас уверить, с сокрушенным сердцем, – отчего же путешествие по России так мало оживляется воспоминаниями? Неужто мы не жили?… Если мы жили, отчего же у нас так мало исторических памятников? Отчего все былое изгладилось из памяти народа? Отчего в Бретани, в любом

крестьянском семействе из рода в род передаются преданья, и до сих пор так еще живы они в народе; отчего у нас не сохранилось в народе ни одного почти рассказа о былом? Мне больно было припомнить, как недавно мой знакомый, проезжая мимо Куликовского поля, спросил у ямщика, что здесь за место?

– А кто его знает! С французом, что ли, была война!..

Главная причина всему – закоснелая дикость, невежество…»

Размышления эти не во всем справедливы, но обидная доля правды в них есть.

* * *

Наследник выполнял все сопряженные с его должностью обязанности.

То ли в силу молодости, свежести восприятия, а скорее всего, искренней деловой заинтересованности, он совершенно изменил в своем батальоне офицерские занятия по решению тактических задач, которые обычно проходили вяло и скучно. Командир батальона давал задачу и просил всех высказаться по ее решению, но все, как правило, отмалчивались. Командиру приходилось самому, не добившись ни слова, разъяснять решение. Цесаревич же, подготовив задачу, настаивал, чтобы высказался каждый. Начиная с младшего чина. Попытки отмолчаться успеха не имели.

Наблюдая однажды немало попотевших над тактической задачей офицеров, расшумевшихся, возбужденных, а не вялых и апатичных, Константин подумал, что Ники, пожалуй, вполне обладает качествами педагога.

В России в это время много говорили о постройке Сибирской железной дороги. У этой идеи были противники и сторонники. Газеты воевали друг с другом, порой не находили общего языка инженеры и ученые. Но над всеми спорами мудро прозвучали слова Менделеева: «Только неразумное резонерство спрашивало: к чему эта дорога? А все вдумчивые люди видели в ней великое и чисто русское дело… путь к океану – Тихому и Великому, к равновесию центробежной нашей силы с центростремительной, к

будущей истории, которая неизбежно станет совершаться на берегах и водах Великого океана».

Конечно, эта тема на все лады обсуждалась и в Преображенском полку офицерами. Ники взялся пригласить в офицерское собрание статс-секретаря Куломзина. [45]

На первом же общем четверговом обеде появился гость. Все придвинули стулья к центру стола.

Куломзин рассказал, как – после тщательных изысканий – 21 февраля 1891 года было принято решение о строительстве этого железнодорожного пути, а уже 10 декабря 1892 года был образован Комитет Сибирской железной дороги под председательством Наследника Цесаревича Николая (став в 1894 году Императором, он сохранит звание председателя Комитета). Пришлось выступить и Наследнику. Со знанием дела он разъяснил стратегическое и экономическое значение Сибирской дороги: более надежное сообщение экономически развитого центра России с Сибирью и Дальним Востоком, заселение их территорий и использование природных богатств, кроме того, она заменит дорогостоящий и сезонно ненадежный почтовый тракт, связывающий Россию с Китаем, выгодным торговым партнером…

Константин был поражен осведомленностью Ники в этом колоссальном, требующем специальных знаний деле. Под впечатлением его инициативы Константин решил пригласить на один из четверговых обедов профессора истории Сергея Федоровича Платонова, чтобы обсудить издание истории Преображенского полка.

Платонов говорил очень интересно, особенно о Петре Великом, утверждая, что в мире нет равного ему преобразователя и подвижника прогресса. Многих подробностей из жизни Петра I офицеры, пожалуй, и не знали. Неожиданно Цесаревич сказал, что, расчищая русскую жизнь, Царь Петр не пощадил много хорошего, укрепляющего народное самосознание. А дочь его, Елизавета Петровна, это поняла, почувствовала и кое-что вернула к жизни из допетровских времен.

Цесаревич говорил тихо и мягко, как бы смущаясь. Но закончил неожиданно твердо:

– Не всё в допетровской Руси было плохо, не всё на Западе было достойно подражания.

Однажды Ники приехал к Константиновичам в Мраморный дворец без видимой причины. Раньше он приезжал только по случаю именин или других важных семейных событий. «Такую любезность, – сказала после Александра Иосифовна сыну, – я приписываю тому, что Наследник служит в твоем полку, на нем и сюртук был Преображенский».

За обедом говорили о многом и, конечно, о Германии – без этого ни один разговор в петербургских дворцах не обходился. Двоюродный брат Константина Август Ольденбургский удивил всех, рассказав за обедом, что в германской коннице заведены такие седла, что кавалерист с трудом слезает с лошади, а придумано это с умыслом: чтобы всадник от трусости перед атакой не мог спешиться и удрать.

– Хорошо же войско, если надо принимать во внимание его трусость! – возмутился Наследник.

– Неужели это современные немецкие взгляды на военное дело? – Александра Иосифовна дала всем понять, что во времена ее молодости такого в Германии не было…

Константину как раз предстояла поездка за границу. Он ехал по заданию Государя в Веймар.

В Веймаре он провел два дня и три ночи. Еле-еле собрался один раз черкнуть пару слов Лизе. Взял с собой дневник, но ни разу его не открыл.

Поздно ночью после молитвы он долго сидел в кресле и вспоминал. Здесь он был шесть лет тому назад. Что было в тот год? Кажется, год был великолепным. Он стал известен как поэт К. Р. Сочинял тогда много, но дорожил только несколькими стихотворениями: «Колыбельной песенкой», переложением великопостной молитвы «На Страстной неделе», исповедью «Измученный в жизни тревоги и зол…», посвященной самому близкому другу – сестре Ольге, а также «Колоколами», многократно положенными на музыку и ставшими знаменитыми. Он тогда так долго, целых три месяца, не был в России, что его одолела тоска по дому. «Drang nach Osten и тоска по родине меня не покидают. Душно русскому за границей». Тогда и родились «Колокола»:

Несется благовест… – Как грустно и уныло
На стороне чужой звучат колокола.
Опять припомнился мне край отчизны милой,
И прежняя тоска на сердце налегла.
Я вижу север мой с его равниной снежной,
И словно слышится мне нашего села
Знакомый благовест: и ласково, и нежно
С далекой родины гудят колокола.

(Штутгарт, 20 октября 1887) Константин огляделся. На столике в спальне стоял серебряный туалетный прибор с вензелями Марии Павловны, дочери Павла I. Этот прибор ей подарила Екатерина II. Комната была угловой, оббита зеленым штофом, с лепной работой на потолке, с золочеными рамами на стенах. Сюда проводил Константина его дядя Великий герцог

Саксен-Веймарский Карл Александр. Он же встречал его на вокзале со своим сыном. Константин любил дядю, который был внуком русского императора Павла I, а всю жизнь прожил среди немцев. Дядя упрямо считал себя «полурусским». Он часто ездил в Россию, дорожил связями с Царской фамилией и внимательно следил за всем, что делается в этой огромной богатой стране.

Как ни занят был Константин, он не мог отказать себе в удовольствии хотя бы поздно вечером поговорить с герцогом. Иногда они засиживались за полночь. И тогда герцогиня (дочь Королевы Нидерландской) кого-нибудь присылала развести их по комнатам. К завтраку Константин выходил с головной болью.

– Что вас так задержало вчера, какие такие умные разговоры? – спрашивала герцогиня мужа и гостя.

– Ах, моя дорогая, если бы ты знала, насколько русское обаяние сильнее любого ума, – вздыхал старый «полурусский» Карл Александр.

Узнав, что Великий князь позволил себе стать поэтом, герцог возымел непреодолимое желание увидеть его стихи в немецком переводе. Он нашел поэта Юлиуса Гроссе – надворного советника, секретаря Шиллеровского общества в Веймаре, Дрездене, Мюнхене, и поручил ему эту работу. Однажды Аполлон Майков в Комитете иностранной цензуры обнаружил книжечку стихов К. Р. на немецком языке. Константин всё понял и написал в ответ Майкову: «Не знаю, как хватило у немца выпотеть такую работу. Но, как видно, он ее довел до конца… Я не мешал и не буду мешать любезному дяде».

Прощаясь с дядей, Константин звал его в Россию. – «Не увижу я ее больше», – поморщился герцог и показал на свои больные ноги.

Когда Константин возвращался в Россию, в родных северных краях еще лежал в полях снег. Снег кое-где оставался и в Петербурге, хотя весной уже веяло отовсюду. В Александровском саду показалась тоненькая зеленая трава. Хотелось за город, в Павловск или Стрельну. Но в полку – смотры, на Женских курсах – экзамены, у Академии – свои проблемы.

По возвращении Великий князь послал за Леонидом Николаевичем Майковым и предложил ему стать вице-президентом Академии наук. Л. Н. Майков – ученый-филолог, библиограф и этнограф, издатель собрания сочинений К. Н. Батюшкова, биограф и издатель А. С. Пушкина, академик – давно привлекал его внимание как президента Академии. Как только появилась вакансия, Константин Константинович предложил ее Леониду Николаевичу. «Он очень доволен, и я тоже», – оставил Великий князь запись в дневнике.

С Ники Константин встретился у Государя в Гатчине на своем дежурстве. Их Величества пригласили Константина к чаю. За столом собралось много народу. Когда все покинули императрицыну гостиную, Дагмара оставила Константина у себя.

– Костя, ты видел Сергея? – спросила она каким-то напряженным голосом.

– Видел, мы хорошо и приятно поговорили.

Дагмара молчала. Лицо ее было сердито.

– Минни, что случилось, на кого ты гневаешься? – Константин ласково взял ее за руку.

Она высвободила руку и отошла к окну.

– Это длинная история, – сказала глухо, – только тебе могу рассказать. Ники влюблен. В сестру Эллы, жены Сергея. Зовут ее Аликс Гессен-Дармштадтская. Ники сам мне признался в своем чувстве.

– И что же вы с Сашей? – заволновался Константин.

– Мы разрешили ему провести о женитьбе переговоры, если к тому встретится случай при поездке за границу.

– Но случая не встретилось?

– Да, не встретилось. Тогда Ники спросил Эллу, согласилась бы ее сестра принять православие и стать его женой.

– Ну и что сказала Элла? Они ведь с Сергеем, кажется, ездили в Дармштадт…

– Да, Ники получил от Эллы письмо из Дармштадта, что ее сестра колеблется. Но если Ники немедленно приедет, то, возможно, всё уладится.

– Но это чревато…

– Вот именно! Мы с Сашей не отпустили Николая. Ведь если бы Алике отказала, то он перед всеми европейскими дворами оказался бы в неловком положении.

– Вас можно понять…

– А вот Сергей понял иначе: написал грубое письмо, обвиняя Ники в трусости, малодушии, отсутствии воли и Бог знает в чем… Но ведь Николай – наследник российского престола, а не губернатор Москвы, как Сергей! – Дагмара была вне себя.

Константин успокаивал ее, говоря обычное: «Всё образуется», но сам думал о том, что Алике, когда она приезжала в Россию, ему не понравилась и хотелось бы кого-то получше для милого Ники.

Они сидели в тихой гостиной. За окнами давно стемнело. Шел снег, и деревья бились на ветру в окна. Константин смотрел на свою Царицу, все еще стройную и тонкую. В сумерках бледнело совсем молодое ее лицо. Но это были сумерки, и она говорила о взрослом сыне…

Вечером в тот же день, 4 ноября 1893 года, он занес в дневник: «Я прямо от Императрицы и под свежим впечатлением спешу записать все, что с необыкновенной и глубоко трогающей меня доверчивостью она мне говорила. Я никому не могу пересказать ее слов, но вверяю их дневнику, ключ которого всегда при мне…»

На следующее утро Великий князь возвращался из Гатчины в вагоне Ники. Они дружелюбно говорили обо всем на свете. Но Константину было почему-то неловко, что он знает сердечную тайну Цесаревича, а тот об этом даже не подозревает.

Служба Наследника шла своим чередом. Константин ежедневно вел записи о ней. Это было важно хотя бы потому, что все – от солдата до командира полка – видели в этом юноше надежду России и готовы были каждую минуту сложить за него головы. Записи эти касаются многих подробностей и дают представление о характере будущего Императора.

* * *

«Цесаревич не желал, чтобы для Него делались какие-либо исключения, и строго исполнял все обязанности наравне с прочими батальонными командирами. Почтительный со старшими по служебному положению, безукоризненно учтивый, приветливый и обходительный с младшими, Он всех очаровывал простотой, искренностью и равностью своего обхождения. В расположении полка, даже и не при исполнении служебных обязанностей, Он первый отдавал высшим начальникам и ком-му полком подобающую им честь, вставая при их появлении, раньше их не закуривал, пропускал их вперед, в их присутствии рапорта дежурного не принимал и, вообще, оказывал полное уважение. С равными же в чине и младшими держал Себя всегда непринужденно, но со скромным достоинством, исключавшим и возможность какого-либо неуместного или слишком смелого по отношению к Нему поступка…

Носил Он сюртук, непременно темно-зеленого сукна. С Владимирским крестом в петлице, с аксельбантом и двумя вензелями на погонах (флигель-адъютантским Александра III и шефским Александра II), бывал всегда в высоких сапогах шагреневой кожи с пристегнутыми шпорами; коротких сапог и брюк на выпуск Он не любил, и никто Его в них не видел.

Спустя несколько дней командующему полком надо было отлучиться на короткое время в Москву по делам. Рождался вопрос: кому в его отсутствие временно командовать полком? Из

полковников старшим по службе был Огарев, который, несмотря на свое старшинство, уступил командование полком Наследнику Цесаревичу. Не следовало ли Его Высочеству на этом основании заменить командующего полком во время его отсутствия? Разрешить этот вопрос путем рапорта по команде представлялось затруднительным и потребовало бы долгого ожидания, ввиду чего командующий полком на балу в Аничковом дворце обратился за разъяснениями непосредственно к Его Императорскому Высочеству, главнокомандующему войсками гвардии и Петербургского военного округа, Великому князю Владимиру Александровичу. Он решил, что Наследник Цесаревич служит в полку для ознакомления с обязанностями командира батальона и командование полком временно должно быть передано Огареву, как старшему полковнику. Такое решение вполне согласовалось и со взглядами самого Цесаревича.

26 января полк заступал в караулы… И дежурным по караулам впервые был Наследник… Во время пребывания Их Величеств в Аничковом дворце при тамошнем карауле полагалось присутствовать дежурным караулам, что и было исполнено Цесаревичем. На этом дежурстве Он зашел в караульный дом, поместился там на лавке с караульным начальником, позволил людям сесть вокруг стола, а караульному унтер-офицеру Варламову велел читать вслух про походы Суворова из журнала «Чтение для солдат». Потом Он выслал караульным целый ящик папирос».

* * *

…

«… Его Высочество почти ежедневно бывал на утренних занятиях в ротах батальона, а по понедельникам, вторникам и средам (дням заседаний Государственного Совета, Комитета министров и Сибирского комитета) обыкновенно завтракал в офицерском собрании. В столовой не было стенных часов, и в понедельник 25 января, засидевшись за завтраком, Его Высочество

опоздал в Государственный Совет. На следующий день Он записал в книге заявлений офицерского собрания: „26 января. Желательно завести стенные часы в столовой. Флигель-адъютант Полковник Николай“. Затем, передав перо одному из бывших тут офицеров, Он предложил тоже подписаться, т. к. они сочувствовали такому заявлению, но они отвечали, что подписи Его Высочества совершенно достаточно и что заявление, разумеется, будет принято к сведению. Он засмеялся и сказал: „Нехорошо так подводить“. – Стенные часы в столовую, конечно, были немедленно приобретены».

* * *

...

«При каждом посещении казарм Цесаревич непременно заходил на ротные кухни, пробовал пищу, внимательно следил за тем, чтобы она была хороша. Он часто беседовал с фельдфебелями и прочими нижними чинами и знал по фамилии унтер-офицеров и многих из ефрейторов и рядовых. Его простое и доброе с ними обращение сделало то, что они скоро к Нему привыкли, невольный страх перед лицом Наследника престола у них прошел, заменившись обыкновенной почтительностью нижнего чина перед начальником. Цесаревич часто бывал в столовых во время обеда людей и, застав их за

столом, приветствовал их: „Хлеб да соль, братцы!“; нередко брал Он ложку из рук одного из обедающих и отведывал пищу. Если она была особенно вкусна, Цесаревич благодарил кашеваров».

* * *

…

«В офицерском собрании Цесаревич охотно и весьма искусно играл на бильярде; однажды, проиграв партию полковнику Огареву, Он на другой день прислал ему вместо долга ковер – подарок Эмира Бухарского.

В карты Цесаревич не играл.

31 января Цесаревич прислал в офицерскую столовую несколько свежей икры, поднесенной Его Высочеству уральскими казаками.

На первой неделе поста 1-й батальон говел и в субботу, 13 февраля, приобщался святых тайн. Цесаревич приказал выдать людям на свой счет просфоры. В этот же день были крестины сына фельдфебеля Государевой роты Соколова. Августейший батальонный командир Сам вызвался быть крестным отцом и держал младенца на руках. Цесаревич был в обыкновенной форме, при Андреевской ленте. После крестин Он выпил за своего крестника фельдфебельской наливки, закусил медовым пряником и пожаловал родителям ребенка серебряный сервиз, а бабке

полуимпериал».

* * *

…

«5 марта было отдано в приказе по полку: „Флигель-адъютанту Полковнику Е. И. В. Государю Наследнику Цесаревичу и В. К. Николаю Александровичу, капитану Вельцину и поручику Крейтону завтра в час дня произвести в хозяйственной канцелярии поверку денежных сумм, хранящихся в полковом денежном ящике, и об оказавшемся донести с представлением кладовой записки“. Хозяйственное отделение полковой канцелярии помещалось в казарме на Миллионной в нижнем этаже, окнами на улицу. Цесаревич лично проверил денежный ящик и расспросил полкового казначея поручика Коростовца о порядке приема, хранения и расходования сумм, внимательно войдя во все подробности возникновения, образования и назначения различных капиталов, как гласных, так и не гласных».

* * *

…

«Того же 6 марта в 2 часа в

помещении полкового суда Наследник начал занятия с унтер-офицерами своего батальона. Эти занятия… состояли в ознакомлении унтер-офицеров и вообще начальствующих нижних чинов с необходимыми для них сведениями, преимущественно по тактике. Наследник сам прочитывал вслух несколько параграфов из упомянутого руководства; ученики повторяли прочитанное, а Обучающий объяснял непонятное. Иногда читались краткие примеры из военной истории. Любя солдата, Цесаревич любил и эти занятия, представлявшие возможность более близкого общения с нижними чинами».

* * *

…

«16 марта Цесаревич уезжал с Их Величествами в Крым и брал туда с собою фельдфебеля 3-й роты Ижболдина, у которого начиналась чахотка… Вот извлечения из письма Наследника к командующему полком.

…

«Ливадия 10 апреля 1893.

Дорогой мой отец-командир… Я хотел тебе писать уже давно, но непременно после разговора с Пап? относительно моего возвращения в полк. ‹…› Желают, чтобы я здесь остался до конца (мая)… Большим

утешением для меня является, что я хожу в нашей форме и вижусь с Ижболдиным. Сейчас ему, слава Богу, гораздо лучше, доктора говорят, что еще ничего опасного нет, видно, что крымский воздух повлиял на него благотворно. Я приказал выписать для него станок и необходимые для работы инструменты. (Ижболдин был искусный столяр. – В. К. К. К.). И, надеюсь, бедный человек не будет очень скучать. Каждого приезжающего фельдъегеря я поджидаю с великим нетерпением, потому что всякий привозит мне новую нить – от связи с дорогим полком… Грустно то, что чувствуешь себя так далеко и как бы в стороне в данное время… А мои занятия с унтер-офицерами! Только они пошли как следует, и я страстно полюбил это дело, – как нужно оторваться от того, что близко лежит к сердцу, и дать другому заступить свое место и довести дело до конца. Что могут думать о моей долгой просрочке офицеры и люди? Ведь они совершенно правы подумать, что главною виною этому то, что я упросил взять меня с собою и продержать меня на берегу Черного моря полтора месяца, вдали от службы и занятий в полку!! Вот та мысль, которая с убийственной назойливостью преследует меня повсюду.

Не откажи мне, милый мой Костя, в одной просьбе, а именно отписывать сюда иногда о том, что делается у нас и как идет полковая жизнь. Я тебе буду искренне сердечно благодарен. – Извини, что так надоел этим письмом, но всё сюда вылилось от души! Если можешь, то

передай поклон всем товарищам, а также моим 4-м фельдфебелям. Обнимаю.

Твой Ники».

* * *

…

«24 мая полк переходил в лагерь под селом Красным… В это же утро в лагере полка освятили вновь выстроенный барак Цесаревича. По прибытии полка в Красное Село служили молебен в только что оконченной и еще не совсем отделанной новой офицерской столовой. На ее башне подняли красный флаг с желтым вензелем Петра I, Основателя полка… Переселясь в лагерь, Цесаревич стал еще ближе к полку; Он жил в своем бараке постоянно, за исключением праздничных дней… Можно сказать положительно, что никого из сослуживцев Он не приближал к Себе преимущественно перед другими. Разговоры в Его присутствии велись совершенно свободно, часто касаясь вопросов серьезных и даже государственных. Цесаревич охотно выслушивал различные мнения и нередко Сам высказывался откровенно. К службе Он относился необыкновенно ревностно, любил ее и всегда возмущался, слыша или видя нерадивое или даже равнодушное к ней отношение. Строгость, исполнение служебного долга легко уживались в Нем с непринужденным,

ласковым и приветливым обращением с нижними чинами. В этом выражался Его простой и ясный, чисто русский взгляд на дисциплину. Цесаревич как-то рассказывал, что за время Его службы в лейб-гусарах там однажды принимали принца Неаполитанского, были позваны песенники, и кто-то из офицеров под лихую солдатскую песню пустился отплясывать трепака. Принц очень удивился и, обратившись к Наследнику, спросил: „Неужели в России дисциплина допускает, чтобы офицер плясал с простыми солдатами?“ – „В этом-то и есть наша сила“, – ответил Цесаревич.

… Начальник дивизии (бывший командир полка) генерал-лейтенант князь Оболенский производил смотр л. – гв. Семеновскому полку. Преображенские 1-й и 4-й батальоны под общим командованием полковника Кашернинова обозначали противника. Цесаревич был во главе Своего 1-го батальона. Всегда сдержанный и спокойный, Он на этот раз не мог не выразить Своего крайнего неудовольствия по поводу сбивчивости и неясности распоряжений штаба дивизии, следствием которых были непомерная растянутость позиции, указанной противнику».

* * *

…

«12 июля в 8 часов в офицерской столовой состоялся бригадный обед: были позваны все офицеры л. – гв. Семеновского полка. У Цесаревича была пестрая, с синими полосками рубашка, рукавчики которой были заметны из-под рукавов сюртука; тот синий цвет, конечно, был случайностью, но офицеры шутя говорили Цесаревичу, что такая рубашка надета нарочно для Семеновцев, под цвет их воротников и околышей.

… Когда разлили шампанское, командующий полком сказал: «Давно не собиралась за столом наша двухвековая Петровская бригада. Сегодня, как потомки бывших Потешных, сошлись мы единою семьею нашего Державного Основателя. Если б мог он встать из гроба и увидать нас здесь, за этой братской трапезой, как бы возрадовалось Его сердце тому, что полки, Им созданные, пережили Его на 168 лет, ни разу не запятнав славы своих знамен. Да живет же навеки эта слава, завещанная нам великим Петром»».

* * *

…

«4-й роты рядовой Залесский, отдыхая в палатке после обеда, свалился с нар и занозил себе глаза. Командир 1-го батальона принял в больном сердечное участие: отправил его в Красносельский военный

госпиталь и послал сказать окружному окулисту, что просит его обратить внимание на Залесского и сообщить о состоянии его здоровья. При этом случае Его Величество высказал полковому казначею мысль об образовании из Своего содержания, по должности батальонного командира, капитала, проценты с которого выдавались бы людям, пострадавшим подобно Залесскому».

* * *

…

«На заре с церемонией Государевой роты унтер-офицер Уласенко, подходя на ординарца к Его Величеству, позабыл все, „чему его долго учили“, и, после приема на караул, взял ружье по-старому на плечо, а не по-новому, как только что было заведено. Увидев это, Цесаревич старался извинить Уласенко перед ротным командиром и сказал, что неудивительно, когда привычка берет свое».

* * *

…

«По прибытии отбоя весь полк стал биваком… Стоял очень жаркий день. Под вечер офицеры купались в речке Пудости. Цесаревич тоже

купался с ними. Вода была холодная, не более 8 градусов, в ней нельзя было долго оставаться; к тому же было очень мелко. Купающиеся, окунувшись в студеную речку, вылезали на противоположный берег и, раздетые, грелись на солнце, лежали на траве, бегали, прыгали в чехарду. Нашлись фотографы-любители, между прочим, подпоручик герцог Лехтенбергский, которому удалось взять несколько снимков с купальщиков, в том числе и с Цесаревича. На руке у Него несколько ниже локтя заметили изображение дракона, художественно нататуированного в Японии».

* * *

...

«На следующий день полк покинул бивак и после двухстороннего маневра, в самую жаркую пору удушливо-знойного дня, по пыльной дороге пошел в Гатчину. Люди еще не успели втянуться в ходьбу, с некоторыми делались обмороки и солнечные удары. Чтобы ободрить людей, Цесаревич слез с лошади и все 14 верст шел во главе 1-го батальона. Ранним утром предстоял бригадный маневр. После отбоя полк перешел на станцию Сиверское (Варшавской ж. д.) и расположился на скошенном лугу, подле дачи шталмейстера генерал-лейтенанта Фредерикса… Командующий полком позвал барона

ужинать в полк. Приходил и проводивший лето в Сиверской поэт Аполлон Николаевич Майков. Местные крестьяне поднесли Цесаревичу хлеб-соль».

* * *

…

«Отдохнув немного, Наследник отправился погулять с несколькими офицерами, зашли довольно далеко, а приближалось время обеда. Случайно навстречу попался извозчик, и Цесаревич нанял его, чтобы вернуться на бивак; другой извозчик, принимая Его за простого офицера, сказал, что слышал, будто при войске находится Наследник и живет в палатке; он просил хоть издали показать ему эту палатку, потому что близко к ней его, наверное, не допустят. Цесаревич обещал показать ему палатку, а когда приехали, спросил извозчика, не хочет ли он видеть самого Наследника, тот отвечал: „Еще бы не хотел…“ Тогда Цесаревич говорит ему: „На, смотри“. Извозчик упал на колени. Его Высочество подарил ему целковый.

Так как в воскресенье из села Заречья не удалось съездить в церковь, то Цесаревич заказал обедню в Большой Вруде. Жители узнали об этом и украсили церковную ограду гирляндами зелени, а дорогу к церкви усыпали цветами. К обедне пришли Преображенцы, и стоявшие биваком

по соседству Семеновцы, и артиллеристы. Нельзя было не заметить, как примерно Цесаревич стоял в церкви; во время богослужения Он всегда стоял неподвижно, точно в строю, ни с кем не заговаривал, держался прямо и по сторонам не оборачивался.

2 августа, находясь в глубоком резерве, полк продолжал походное движение по шоссе до Кинепи. В этот день погода, бывшая с 18 июля очень жаркой и все время благоприятною, изменилась; стало заметно холоднее. К вечеру пришли на бивак в Большие Горки, под Ропшей. Обоз запоздал. Усталые и озябшие офицеры, завернувшись в бурки, уселись в кружок, в ожидании палаток; у кого-то нашлась книжка Лескова: «Сказ о тульском оружейнике и стальной блохе». Цесаревич почти всю прочитал ее вслух офицерам. Наконец, пришел обоз. Долго не поспевал солдатский обед. Цесаревич Сам несколько раз ходил смотреть – готова ли пища в котлах 1-го батальона, и только около полуночи, когда началась раздача, удалился в Свою палатку на ночлег».

* * *

...

«7 августа Цесаревич отбыл с Их Величеством в Данию. 7 сентября Он писал из Фредeнсборга командующему полка: „Я очень благодарен тебе, что получаю здесь

приказы по полку, благодаря чему связь с товарищами и моей частью не прерывается. Ты не знаешь, как по временам находит тоска на меня по всем знакомым лицам".

«Фреденсборг, 29 сентября 1893 г… Теперь скоро я снова буду наезжать по прошлогоднему в милые казармы на Миллионной с приятным для меня чувством ответственности перед 300 человек моего батальона. Недели через две, Бог даст, и увидимся, и опять жизнь и служба пойдут по-старому, тесно, рука об руку. Все это время я с тревогой просматривал ведомость холерных заболеваний в наших газетах, особенно в военных госпиталях, боясь, что между ними могут быть и мои бедняги. Но, с другой стороны, приказы по полку значительно успокаивают меня в этом смысле…

Привет нашему полку и, по Драгомировскому выражению, – всей меньшей братии. Крепко обнимаю моего любимого отца-командира.

Всей душой твой Ники».

* * *

…

«Устных решений тактических задач под руководством Наследника в зиму 1893-94 гг. было семь, а именно: 19 окт., 1 ноября, 15 и 22 дек., 10, 17 и 31 января. Письменные тактические задачи разбирались Его Высочеством 21 и 28 марта.

С унтер-офицерами своего батальона Цесаревич занимался по субботам в помещении полкового суда или в казарме Государевой роты. Этих занятий в описываемую зиму было одиннадцать: 30 октября, 20 и 27 ноября, 4, 11 и 23 декабря, 15 и 29 января, 5 февраля, 26 и 31 марта. Однажды, а именно 26 марта, Цесаревич в 10-м часу утра прибыл на занятия с унтер-офицерами бодрый и свежий, как всегда, несмотря на то, что накануне провел весь вечер и ночь в Конной Гвардии по случаю полкового праздника и оставался там до 6 утра.

28 декабря Цесаревич устроил своему батальону елку в учебном зале на Миллионной, каждый нижний чин получил из рук своего командира подарки; фельдфебель в 10 р., унтер-офицеры в 5, ефрейтора в 4, рядовые в 3».

* * *

...

«2 января исполнился год со дня, когда Он вступил в ряды полка; хотели отпраздновать годовщину, и заблаговременно у ювелира Фаберже был заказан золотой портсигар с вензелем Петра Великого… На другой день был назначен товарищеский обед. ‹…› Командующий полком встал и произнес: «2 января исполнился год со дня, когда Ты вступил в наши ряды командиром батальона. Как ни

осыпан полк

Царскими милостями, нам прежде и не верилось, что настанет время, когда Ты и зимой, и летом будешь делить с нами служебные труды и часы досуга… Конечно, никто из нас в отдельности не заслужил необыкновенного благоволения нашего Державного Шефа, благоволения, выразившегося в Твоем пребывании среди нас; только более чем двухсотлетней заслуге полка и обязаны мы этой небывалой милостью… Все мы дорожим тем, что, будучи нашим однополчанином со дня рождения, Ты пожелал стать и сослуживцем нашим. Прими же (при этих словах ком. полка вручил Цесаревичу портсигар) это воспоминание от Преображенской семьи и верь, что любовь ее, самая задушевная, горячая и беззаветная, принадлежит Тебе не только как потомку нашего Великого Основателя, как сыну нашего Царя и Наследнику Престола, но и как нашему доброму, милому, дорогому и бесценному Товарищу…»

С 15 числа начали ходить слухи о болезни Государя. Вызван из Москвы профессор Захаров, который 16-го был у Государя и определил воспаление легкого… В понедельник 17-го утром вышел траурный бюллетень. В полдень Цесаревич прибыл в офицерское собрание и сообщил успокоительные известия. Тем не менее в 4 ч. созвано общее офицерское собрание, и полковник Кашерининов от имени командующего полком предупредил, чтобы никто из офицеров не ездил на балы и в театр до улучшения здоровья Государя… 18-го Цесаревич

был в полку на занятии, остался завтракать и привез более утешительные известия: Государю было лучше, настроение духа веселее… Несмотря на наружное спокойствие Цесаревича, в глазах Его читалось внутреннее тревожное состояние души… 19-го узнали, что опасность миновала…»

* * *

…

«22-го Цесаревич дежурил по караулам и целые сутки провел в караульном помещении собственного Его Величества (Аничкова) дворца; Он не смыкал глаз всю ночь, беседуя с караульным начальником поручиком Шлиттером».

* * *

…

«2 апреля Цесаревич отбыл в Кобург на свадьбу своей двоюродной сестры принцессы Саксен-Кобургской Виктории-Мелиты с Великим герцогом Гессен-Дармштадтским. Ходили неопределенные слухи о том, что Цесаревич найдет в Кобурге и Свое семейное счастье, в полку с нетерпением ждали радостной вести, офицеры чаще стали заходить в собрание. Наконец, 8 апреля узнали

о помолвке Цесаревича с принцессой Алисой Гессен-Дармштадтской. На другое утро в Соборе Спаса Преображения собрался весь полк на благодарственный молебен; тут были и полковые дамы.

1 апреля Цесаревич телеграфировал командующему полком, прося прислать в Кобург на наступавшую Страстную неделю несколько человек полковых певчих. Пять певчих были отправлены в тот же вечер.

22-го числа ожидали возвращения Цесаревича. Все офицеры полка выехали встречать Его в Лугу. Он вышел из вагона счастливый и радостный и каждому пожал руку. На правой Его руке заметили кольцо с сапфиром – подарок невесты; раньше Он колец не носил».

* * *

...

«Цесаревич был назначен в число членов комиссии по экзамену учебной команды. 4 мая в 2 ч. дня в учебном зале происходил экзамен из научных предметов. Цесаревич сам спрашивал многих учеников. На другой день экзамен продолжался из гимнастики и фехтования.

6 мая, в день рождения Цесаревича, Его в полку не видали. Он провел этот день в Гатчине».

* * *

…

«Ввиду перевооружения полка 3-линейными винтовками образца 1891 года требовалось устроить новое стрельбище в Красносельском лагере, для этой работы были отправлены в лагерь 11 мая рота Его Величества, 3-я, 4-я, 5-я, 8-я, 11-я и 15-я, под общим начальством Наследника Цесаревича… Были отслужены молебны, Цесаревич Сам повел три роты 1-го батальона и 15-ю на вокзал. И ввиду ненастной погоды велел их поставить под навес, где и был сделан расчет по вагонам. По прибытии в лагерь Цесаревич озаботился, чтобы немедленно было преступлено к постановке солдатских палаток, и, только обойдя их расположение, укрылся в бараке».

* * *

…

«17-го в приказе по полку значится: „14 мая Мною были опрошены унтер-офицеры и отдельные начальники I батальона по обязательным для начальствующих нижних чинов сведениям из тактики. Мне отрадно отметить, что зимние занятия, веденные под руководством Августейшего командира I батальона, вполне достигли желаемой цели. Все полученные мною

ответы свидетельствуют о прекрасном понимании нижними чинами действий младших начальников в бою. Чтение карт и планов усвоено, равно как совершенно ясное представление о назначении различных родов оружия, главнейшие условия наступательного и оборонительного расположения на биваке и сторожевое охранение изучены отлично…“

Унтер-офицеры и отделенные начальники I батальона действительно отличались на экзамене, перещеголяв своих товарищей прочих батальонов».

* * *

…

«Несмотря на постоянное ненастье, непрерывные дожди и холод, работы по устройству нового стрельбища были почти окончены к прибытию полка в лагерь. Цесаревич ежедневно обходил работы, не исключая и самых дальних участков, и подолгу останавливался около работающих людей, ободряя их. Взрывы попадавшихся в грунту довольно больших камней делались в Его присутствии. Он часто заходил в хлебопекарню, в лагерный лазарет… ежедневно по два раза в день пробовал солдатскую пищу и часто жаловал людям по чарке водки.

Полк прибыл в Гатчину 28 мая. Как бы поздно ни вернулся Цесаревич из собрания в Свой барак, в окнах Его

еще долго виден был свет: это Наследник писал Невесте. Ни одного дня не проходило, чтобы Он не послал Ей письма.

По старому обычаю по четвергам играла музыка, прибавлялось лишнее блюдо, офицеры приглашали своих знакомых. В один из четвергов кто-то пригласил уже знакомого Цесаревичу председателя Императорского Русского Технического Общества Михаила Ильича Кази. После обеда вокруг него образовался кружок офицеров, хотели послушать необыкновенно умные и увлекательные речи этого истинно русского человека. Был при этом и Цесаревич и принимал живое участие в разговоре. Откровенно говорили о положении флота, о возможности возникновения военного и промышленного порта на Мурманском берегу, о развитии русской промышленности, о сельском хозяйстве, о пошлинах…

29-го был отрядный маневр, в состав которого входил полк…»

Пером Великого князя водила симпатия к Цесаревичу. Но угадывалась ли в нем личность большого масштаба – на этот вопрос Константин Константинович не мог ответить. Он дал потомкам лишь свидетельство с натуры в «Воспоминаниях о службе Государя Наследника Цесаревича Николая Александровича, ныне благополучно царствующего Государя Императора, в л. – гв. Преображенском полку 2 января 1893-20 октября 1894».

«Воспоминания…» были написаны командиром полка генерал-майором Великим князем Константином Константиновичем в 1896 году.

ЧАЙКОВСКИЙ УПОРСТВУЕТ И ВОРЧИТ

Племянник Петра Ильича Чайковского Давыдов сказал Константину Константиновичу, что дядя заболел, более того, находится в опасном состоянии. Давыдов состоял вольноопределяющимся в Преображенском полку, и командир полка Великий князь попросил сообщать ему всё о состоянии здоровья Петра Ильича. Ведь заболел не просто великий композитор, но и друг Константина Константиновича.

Константин помнил, как отец, вернувшись из оперы, приятным мягким голосом напевал какую-нибудь итальянскую арию. Конечно, не обходилось без «La donna e mobile». Александра Иосифовна что-то мурлыкала себе под нос и, делясь впечатлениями, так и сыпала итальянскими именами: Марио, Рубини, Паста, Патти, Мазини, Котоньи… Это были боги и богини оперного пения. Они пели не только прекрасно, они пели легко, нарядно, увлекательно, словно, переборов все трудности вокального искусства, дали клятву: «Che il lavoro sia immasherato» (пусть труд будет замаскирован). У итальянских звезд были свои поклонники, соревнователи. Каждый зритель, охваченный «музыкальной психопатией» и одурманенный «солизмом», шел на «свою арию», своему «богу» или «богине» аплодировал, своего «бога» или «богиню» ждал на подъезде. Но если спросить: «Ну как опера, как она поставлена, каковы ансамбль, хор, массовые сцены, какова драматургия в единстве с голосами?» – он вряд ли ответил бы. Как вспоминают очевидцы, многократно рассказывалось, как итальянский тенор Анджело Мазини в последней арии рвал листик бумаги и каждый клочок вместе с пропетой нотой бросал в воздух. Белый клочок – нотка, белый клочок – нотка. Зал ревел, а упоенный собой, своим успехом, забыв об опере в целом, о своих коллегах, Мазини доставал еще один лист бумаги из кармана и повторял музыкальное «представление».

Русские музыканты мрачнели. Они понимали оперу иначе: для них это было великое искусство в сплаве режиссуры, постановки, драматургии, вокала, хореографии, хорового звучания, а кроме того – чувства, мысли, эстетики.

Но русский слушатель хотел итальянцев, русских музыкантов не понимал, не знал, не чувствовал, как будто они не отвечали его природе. Уже работали Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин, а любители музыки даже своей природной русскости не ощущали в сочинениях этих композиторов. Как замечал князь

Сергей Михайлович Волконский, директор Императорских театров, «им ближе была какая-нибудь „Линда ди Шамуни“, чем „Снегурочка“„. Римский-Корсаков и Бородин вызывали смех, глумление. Великий князь Алексей Александрович, услышав о представлении „Садко“, ворчал, что это – не музыка, выносить ее невозможно – вечное „дзынь-бум-бум“. И Александр III зеленым карандашом постоянно вычеркивал из оперного репертуара произведения Римского-Корсакова. Что же касается великой оперы Мусоргского «Борис Годунов“, то первое ее представление было освистано и утонуло в грохоте кресел и взрывах смеха.

Константин, услыхав о провале «Бориса Годунова», сказал Лизе: «Да мало ли подобных премьерных провалов! Если языка своего чураемся, иностранщиной заменяем, что о музыке говорить? Там иностранщина, здесь итальянщина». И поехал в Дворянское собрание на Второй русский симфонический концерт под управлением Римского-Корсакова. Зала, как и следовало ожидать, была почти пуста. Но он «из внимания к русской музыке» (так записал в дневнике) остался до конца. И не пожалел, не раскаялся: Первая симфония Бородина его восхитила – сама поющая Русская земля.

В свой «Каталог музыкальных нот» он вписывает рядом с Моцартом, Бетховеном, Генделем, Вебером сначала лишь «Попурри из лучших мотивов оперы М. Мусоргского „Борис Годунов“„. Потом в „Каталоге“ появляются романсы и песни русских композиторов Н. А. Римского-Корсакова, А. П. Бородина, А. Е. Варламова, М. И. Глинки, Ц. А. Кюи, М. П. Мусоргского, Э. Ф. Направника. Вносятся в тетрадь с тисненым кожаным переплетом кантаты М. И. Глинки и М. М. Ипполитова-Иванова. И, наконец, русские оперы, правда, в переложении для фортепиано: „Руслан и Людмила“ и „Жизнь за царя“ М. И. Глинки; „Русалка“ и „Каменный гость“ А. С. Даргомыжского; „Кавказский пленник“ Ц. А. Кюи; „Хованщина“ и „Борис Годунов“ М. П. Мусоргского; «Демон“ А. Г. Рубинштейна. И, конечно, оперы П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова.

Этот «Каталог музыкальных нот» – своеобразный штрих к картине русской музыки, к ее положению в обществе. Нелегко эта картина писалась. Интересно, что Александр III, так упрямо вычеркивающий из репертуара Римского-Корсакова, тем не менее открыл дорогу русской музыке. Он своим царским повелением упразднил Итальянскую оперу. Как отмечали современники этих событий, «вряд ли есть много примеров в истории искусств, чтобы мера внешняя, чисто механическая, оказала такое внутреннее влияние. Выдвинутая на первое место, лишенная соревнования, русская опера в несколько лет выросла до степени

самостоятельной ценности».

И тут явился Чайковский. Но его также не сразу открыли. Оперный театр завоевывался тяжело: «Опричник», «Мазепа», «Орлеанская дева» не заполняли зрителями ряды кресел. Однако Чайковский завоевал салоны и гостиные Петербурга. Столица пела его дивные романсы, наслаждаясь русским стихом и русской музыкой. И отец Константина, Великий князь Константин Николаевич, недавно напевавший популярные итальянские арии, пел «Средь шумного бала, случайно…».

«Были в концерте Чайковского, где он сам управлял оркестром. 5-я его симфония, исполненная в 1-й раз, мне понравилась с начала до конца»; «Я был в консерватории на ученическом представлении „Опричника“ Чайковского и сидел между Рубинштейном и Петром Ильичом», – записывал Константин «каждое слушание» модного композитора.

Иван Александрович Всеволожский, руководивший Императорскими театрами в 1881–1899 годах, до князя Волконского, и воспитанный на итальянской кантилене, говорил: «Чайковский? Это – не музыка!» Но он же вносил в репертуар сплошь Чайковского – его балеты, его оперы «Евгений Онегин» и «Пиковая дама», сдавшись на милость прекрасной музыке.

А сам Петр Ильич Чайковский сообщал своему другу Надежде Филаретовне фон Мекк: «Евгений Онегин будет исполняться в одном великосветском обществе, а именно у М-м Абаза. Распределение ролей следующее: Татьяна – Панаева; няня – Абаза; Ольга – Покровская; Онегин – Прянишников (артист Мариинского театра), Ленский – Лодий (тоже из Мариинки). Аккомпанировать будет Великий князь Константин Константинович».

Великий князь был превосходным пианистом, он стал инициатором концертов в Михайловском замке, в резиденциях Царской фамилии. Фортепианное сопровождение оперы, где пианист должен заменить сложную партитуру симфонического оркестра, представляло большие трудности, да еще при участии звезд оперной сцены. Константин Константинович справился. Но самое главное, что само его присутствие и участие говорили о поддержке отечественной музыки в России.

– Сколько будет существовать Россия – столько будут любить оперу «Евгений Онегин». Это – музыкальное воплощение даже не России, а русского соборного образа жизни: дворяне, крестьяне, женщины, няни, поэты, русская тоска, песни, северная природа, – объяснял он жене, когда вез ее в Мариинский театр после знакомства с пушкинским «Онегиным», которого читал ей сам. – Это русская усадьба. Мы, быть может, тоже усадьбу купим. Где-

нибудь под Москвой или Калугой. У Осоргина… Усадьба – это совсем особая жизнь, ты поймешь это…

Усадьбу они не купили. Осоргин просил так дорого, что это было не по карману и Его Высочеству Константину Романову. Не стал объяснять Константин жене и того, что Петр Ильич Чайковский проложил дорогу другим великим русским музыкантам. Слушатель пошел за ними охотнее и отнесся миролюбивее к тем, кто был не столь нежен, мягок, красив, как Чайковский, а тревожен и стихиен, могуществен и суров, как Мусоргский.

Весть о болезни Чайковского очень разволновала Великого князя. Константин достал его письма. Последнее он получил месяц назад, 26 сентября 1893 года. Петр Ильич сообщал, что отказывается писать музыку к стихам Алексея Апухтина (просьба Константина). В «Реквиеме» Апухтина много говорилось о Боге-судье, Боге-карателе, Боге-мстителе. «… В такого Бога я не верю, – писал Петр Ильич, – по крайней мере, такой Бог не может вызвать во мне тех слез, того восторга, того преклонения перед Создателем и источником всякого блага, которые вдохновили бы меня. ‹…› Я мечтал об иллюстрировании музыкой слов Христа: *«придите ко мне все труждающиеся и обремененные»,* и потом – *«ибо иго мое сладко и бремя мое легко «.* Сколько в этих чудных, простых словах бесконечной любви и жалости к человеку! Какая бесконечная поэзия в этом, можно сказать, *страстном* стремлении осушить слезы горести и облегчить муки страдающего человечества!»

Две недели назад в Первом симфоническом собрании Русского музыкального общества Константин слушал, по приглашению Чайковского, его Шестую симфонию. Композитор сам дирижировал и, казалось, стонал, рыдал, возносился, просветляясь, и падал ниц перед красотой и страданиями человеческого бытия. Многие могли услышать в этой музыке автора-страдальца…

Константин забеспокоился, его охватили нехорошие предчувствия. Вызвал Давыдова. Тот ничего успокоительного сообщить не мог.

«Надо положиться на волю Божию и думать о хорошем», – сказал себе Константин.

Хорошего в его отношениях с Петром Ильичом было много. Позади почти десятилетнее знакомство. Едва познакомившись, они начали переписываться: один уезжал на гастроли, другой уходил в плавания. В то время Его Высочество Великий князь был столь наивен и так рвался к чему-то прекрасно-вечному, что послал Чайковскому сборник своих романсов для голоса с

фортепиано, который издал в Германии, поскольку не смел, как член Царской фамилии, делать это в России. Правда, он смущенно оправдывался, что больше не будет удручать музыку недостойными плодами «недоуменного искусства». «Мне бы хотелось писать, но на мою беду – „коротки руки“„. Константин просил подарить ему взамен сборника фортепианное издание новой оперы Петра Ильича «Жанна д\'Арк“.

Вспомнилась просьба композитора, которую Великому князю было особенно приятно исполнить, – речь шла о милой Дагмаре, Императрице Марии Федоровне. Ей Чайковский хотел посвятить цикл из двенадцати романсов, одни шедевры: «Я тебе ничего не скажу», «Соловей», «Ночи безумные», «Ночь», «Отчего я люблю тебя» и др. «Ваше поручение, многоуважаемый Петр Ильич, я исполнил с искренним удовольствием. Государыня приказала мне очень Вас благодарить за романсы, которые нашла „прелестными“. Мне особенно приятно передать Вам эти слова». А сам он, бесконечно любящий Фета, непрестанно напевал из этого цикла романс «Я тебе ничего не скажу» и писал Чайковскому: «Я не могу вспомнить теперь этих прелестных слов Фета, чтобы в ушах не зазвучала ваша музыка».

Наступила и кульминация их отношений, когда вышли «Стихотворения К. Р.». Один из тысячи экземпляров автор послал Чайковскому с дарственной надписью, однако запоздал. Чайковский, уже знавший о сборнике, разволновался и напомнил Константину Константиновичу, что «весьма лестно и приятно было бы получить его». Потом разволновался, в свою очередь, Великий князь: «Я очень боюсь, что вы приметесь перекладывать на музыку мои стихи только из свойственной вам любезности; а потому прошу вас не насиловать своего вдохновения и не приниматься за романсы, если вы не чувствуете к тому охоты».

Однако Петр Ильич «чувствовал охоту». Осенью 1887 года он сидел над книжкой К. Р. и разрисовывал ее своими маргиналиями и нотными эскизами. Композитор отобрал стихи, которые особенно легли ему на душу: «Я сначала тебя не любила…», «Растворил я окно…», «Я вам не нравлюсь…», «Первое свидание», «Уж гасли в комнатах огни…», «Серенада». Музыку романсов он написал в ноябре – начале декабря, надо сказать, в совершенно неблагоприятное для себя время: потерпела «настоящее фиаско» постановка его новой оперы «Чародейка», «последняя и, вероятно, лучшая моя опера». Так он считал и даже хотел посвятить ее Государю Александру III. Но тем не менее романсы на стихи К. Р. были написаны, и вовсе не из любезности, а потому, что стихи Великого князя, на взгляд Петра Ильича, «проникнуты теплым, искренним чувством, так и просятся на музыку». Композитор и

позже будет их считать «красивыми, сочными, роскошными, звучными».

И вот наступил день, который Константин хорошо помнил. Середина декабря, петербургская тьма и мгла, снег с дождем – и вдруг письмо от Петра Ильича из-за границы: «Я написал недавно шесть романсов на тексты симпатичного и полного живого поэтического чувства поэта К. Р. ‹…› Боюсь, что романсы эти не понравятся Вам. Тем не менее, я позволю себе испросить Вашего разрешения посвятить их Вашему Высочеству». И тут же композитор жалуется Константину, что, несмотря на успех в Лейпциге, на экстраординарные концерты в Берлине, Гамбурге, посвященные только его произведениям; несмотря на лучшие оркестры, которые его ждут в Праге, Париже, Лондоне, – он тоскует по России. Все замечательные успехи не мешают ему «с утра до вечера, с вечера до утра неустанно бороться с мучительной, неописанной, жесточайшей тоской по Родине. Бывают минуты, когда я почти решаюсь бросить все это и уехать в русскую милую глушь… Ведь еще целых четыре месяца мне придется скитаться по чужбине!»

Константин понимал Чайковского, по себе знал это мучительное чувство тоски по родине.

* * *

Во многом изменились их отношения, когда был преодолен рубеж совместного творчества. Ушли прохладная учтивость, официальная сдержанность, ушла дистанция отношений. Как легко и хорошо им говорилось о творчестве, будь то музыка или поэзия – они были откровенны. Чайковский считал себя дилетантом в стихосложении и высказывал мысль, что хотел бы прочитать какой-нибудь классический труд по этому делу. А Константин был благодарен ему за некоторые, немногие, замечания в его поэме «Севастиан-Мученик»: «Похвал я слышал много; не они подвигают нас вперед на пути к совершенствованию и не они способствуют развитию и утверждению творческой силы. Но Вы хотя и говорите, что не довольно знакомы со всеми правилами и тонкостями стихосложения, судите о них, как первый знаток… Если не ошибаюсь, вся теория музыки тоже не есть вымышленная, сухая наука, а только условное, подчиненное требование прекрасного».

Но, ступив на близкое обоим пространство – музыки и поэзии, – они тут же вступили в спор. И это было при обоюдных симпатии и дружестве, когда противоположное суждение не

пугает.

Петр Ильич пожаловался, что устает от однообразия русского стиха, даже если читает «Илиаду» в переводе Гнедича или «Одиссею» в переводе Жуковского. Заметим, что перевод «Одиссеи» Гомера, сделанный Жуковским, был посвящен отцу Константина, Великому князю Константину Николаевичу. Чайковский не счел свое недовольство неловкостью. Он продолжал недоумевать: «Когда читаешь Гёте, то удивляешься смелости его относительно стоп, цезур, ритма и т. д., доходящей до того, что мало привычному слуху иной стих представляется даже почти не стихом. А между тем слух лишь удивлен при этом, а не оскорблен… Есть ли это результат особых свойств языка или просто традиции, допускающей у немцев всякого рода вольности, а у нас таковых не допускающих?»

Константин отвечает ему обескураживающе откровенно, не опасаясь потерять свое поэтическое лицо:

…

«Вы говорили, что мало знакомы с правилами стихосложения и желали бы изучить их. Что касается меня, то я никогда этим законам не обучался, а писал по слуху, справляясь с образцами наших стихотворцев. Не далее как в прошлом году уразумел я, что „Русалка“ Лермонтова написана амфибрахием вперемежку с анапестом, что „Буря мглою небо кроет…“ есть хорей, а „Слезы людские…“ Тютчева – дактиль. А раньше я писал всеми этими размерами, не умея придать им соответствующих названий. Употребление цезуры мне мало знакомо, вместо правил я руководствуюсь слухом… а про спондей слышу (!) впервые от вас и не знаю, что это такое. Вот почему считаю я знатоком стихосложения всякого, кто обладает верным слухом, и, тем более, Вас, как

музыканта».

Чайковский упорствует и ворчит, что русский стих слишком равномерен, мягок, симметричен и однообразен. А ведь наш язык богатый, сильный и великий – об этом говорит размер русских песен, былин, «Слово о полку Игореве». И он бы хотел, чтобы почаще случались отступления от надоевших стихотворных приемов. Он даже приводит в пример силлабические стихи Кантемира, правда, не очень точно цитируя первую строфу Кантемировской сатиры:

Тот в сей жизни лишь блажен,
кто малым доволен,
В тишине знает прожить, от суетных волен
Мыслей, что мучат других, и топчет надежну
Стезю добродетели к концу неизбежну.

«Мне нравятся такие стихи», – говорит он запальчиво и констатирует, что никто ему не может ответить, почему русский стих, в отличие от немецкого, должен быть правильным, отделанным, вылощенным. А раз никто не отвечает, «я буду продолжать свою дилетантскую придирчивость к ударениям, цезурам и рифмам. Вот и к вашей рифме придрался».

Его Высочество не меньше упрямится, чем великий композитор: «Вы говорите – изобретать размеры? Скажу на это, что с тех пор, как я пишу стихами, любимой моей задачей было разнообразить размеры, но изобрести новые я не решался. Я убежден, что немец, в одном стихотворении смешивая размеры, не придумывал нового их сочетания, а просто писал спустя рукава. Может быть, Вы справедливо меня обзовете еретиком… но эти трёпанные размеры мне не по душе».

Константин не мог понять, почему человеку, пишущему красивую гармоничную музыку, вдруг захотелось «ломаного» стиха; поэзии, похожей на скачки с препятствиями. Кстати, Великого князя и Чайковского музыке обучал один и тот же человек – Р. В. Кюндингер! Но милый Петр Ильич уже извинялся за свою горячность, обзывая себя стареющим дилетантом, который, подобно некому гастроному, под конец своего чревоугодия охладевает к тонкой кухне и просит солдатской похлебки или галушки с салом.

Но августейший поэт не хотел оставлять без внимания пытливые вопросы друга. Он пишет своему кумиру Афанасию

Афанасьевичу Фету и переправляет ему недоумения Чайковского.

«Что средневековый Фауст не может выразить своего шаткого и болезненного раздумья иначе, как такими стихами, – понятно; но чтобы мы после того, как гениальный Ломоносов прорвал раз навсегда наше общеславянское силлабическое стихосложение, и после того, как Пушкин дал нам свои чистейшие алмазы, – снова тянулись к силлабическому хаосу – это едва ли теперь возможно для русского уха. Что русский стих способен на изумительное разнообразие, доказывает бессмертный Тютчев: „О, как на склоне наших лет Нежней мы любим и суеверней…“„ – ответил Фет Константину Константиновичу, который тут же отослал его «депешу“ Чайковскому.

Константин находит соответствующий учебник – «Руководство к стихосложению». «За основательность познаний автора поручиться не могу. Это единственный знакомый мне труд по занимающему Вас вопросу», – объясняет он Петру Ильичу.

Сам же, чувствуя себя почти виноватым за разутюженный, гладкий русский стих и пытаясь угодить тонкому музыкальному уху композитора, которое желает перебоев в стихах, решает сочинить нужное стихотворение с несуществующим размером:

О, люди, вы часто меня язвили так больно,
Слезы не редко мои с досады текли,
И все-таки вас люблю я невольно,
О, бедные дети земли!
Виновники скорби своей, творите вы злое,
Множа печаль на земле неправдой своей,
Но если поздней скорбите вы вдвое,
Мне жаль вас, как малых детей.
И как от души не простить задора ребенка,
Коль не под силу ему свой гнев затаить?
Хоть больно его колотит ручонка,
Но можно ль дитя не любить!
(«О, люди, вы часто меня язвили так больно…», 24 октября 1889)

Константин просит не обращать внимания на мысль стихотворения, предполагая, что Петру Ильичу она покажется скучной.

Ничего подобного! «Не знаю, отчего Вы могли предположить, что мысль этой пиэсы может мне не понравиться, – она мне чрезвычайно нравится. Не скажу, чтобы у меня в душе хватало любвеобилия и всепрощения настолько, чтобы всегда любить колотящую ручонку… Но не могу не преклоняться перед силой духа и высотой воззрения тех исключительных людей, которые, подобно Спинозе или графу Л. Н. Толстому, не различают злых и добрых, так как это высказано в Вашем стихотворении. Спинозу я не читал и говорю о нем с чужих слов; что касается Толстого, – то я его бесконечно читал и перечитывал и считаю его величайшим из всех писателей на свете, бывших и существующих теперь… Гуманность его… восходит до того воззрения на людскую злобу, которая выразилась словами Иисуса Христа „Не ведают бо что творят“».

Так Петр Ильич судил о мысли стихотворения. Что же касается формы – «она вышла прелестной, – одобрил он сменяющие друг друга различные трехсложные стопы. – Я горжусь, я торжествую, я радуюсь смелой инициативе Вашей»… – торжественно объявил он своему другу.

Позже Чайковский покается: «Во всяком случае, прежде, чем плакаться о том, что русские поэты слишком симметричны, мне следовало знать, что *то,* чего я так жажду для нашей поэзии, – существует».

* * *

Их письма, писавшиеся на протяжении тринадцати лет, сопровождались духовным дружеством, сердечной приязнью. Молодому князю уже знаменитый композитор объяснял, почему не станет писать оперу «Капитанская дочка»: сюжет дробен, он не оперный, требует музыкальных разъяснений; героиня – добрая и честная, но для музыки этого недостаточно. Опера получится длинной, не сценичной. Но, главное, Пугачев, пугачевщина, Хлопуша – «чувствую себя бессильным художественно воспроизвести их музыкальными красками». Петр Ильич, понимая, что беседует все-таки с Его Императорским Высочеством, тем не менее сказал: «Я не думаю, чтобы оказалось возможным появление на сцене Пугачева. Ведь без него обойтись нельзя, а изображать его приходится таким, каким он есть у Пушкина, цензура… затруднится пропустить представление, с

которого зритель уйдет очарованным Пугачевым…»

Как-то Константин, извиняясь за нахальство, упрекнул симфонию Чайковского «Манфред» в растянутости: «Это – чудесное произведение, я слушал его с наслаждением, но хоть и имею привычку слушать – мое внимание ослабевало и утомлялось так, что я потерял возможность следить за Вашими мыслями и разобраться в своих».

Петр Ильич парировал: «Не все то, что длинно, – растянуто, многословие вовсе не пустословие, и краткость вовсе не есть условие абсолютной красоты». И самоотверженно признался, что «Манфред» – произведение отвратительное, что он его глубоко ненавидит. С удовольствием писал лишь первую часть, остальные с напряжением, даже заболел. Вот эту первую часть и оставит, остальное сократит. И назовет своего нового «Манфреда» симфонической поэмой.

Константин был смущен, такого эффекта от своего скромного замечания не ожидал. Ожидал обиды и неудовольствия композитора. Однако Петр Ильич написал: «Я и не думаю сердиться… Вы совершенно правы и лишь слишком снисходительны».

Они были отличными собеседниками!

Константин, не боясь за их дружбу, мог позволить себе откровенно высказываться о великом произведении – опере «Пиковая дама». (К слову, на первом представлении в Петербурге она провалилась.) Он писал: «Хор детей и нянек будет иметь успех, баллада Томского – большой успех, прекрасен дуэт Лизы и Германна, сцена в спальне старой графини любопытна, очень хорошо все, что поет Германн в конце». Но дальше поэт в нем не мог промолчать, хотя лучше было бы обратить упреки к либреттисту и ему сказать о правильности музыкальной декламации, о повторениях слов и фраз, о слове «девочки» – не с тем ударением, и о странных стихах, которые поют гости: «Скачите, бросьте вы недуги свои…» И все же тогда, еще не на сцене, а в фортепианном переложении, Константин Константинович угадал и услышал главное: «С первых же звуков узнаешь Вас: я так это люблю; Ваша *личность* проходит *через все Ваши произведения».* Он и сейчас бы это повторил. И готов всегда повторять, потому что слышал это и в балетах, и в «Евгении Онегине», и в могучей Шестой симфонии.

Беспримерному, прежде всего русскому, а потом уже всемирному успеху «Евгения Онегина» они радовались вместе. Смеялись над тем, что в Праге Татьяна выходила не из обычного сельского помещичьего дома, а из дворца эпохи Возрождения, сетовали, что *verite locale* (правдивость обстановки) была

нарушена в Европе, и ревниво отмечали, что чешская певица госпожа Б. Фёрстерова-Лаутерерова пела лучше московских и петербургских Татьян. В это время в Россию прибыла Королева эллинов Ольга Константиновна, и по ее желанию в Мариинском театре дали «Евгения Онегина». Константин Константинович поехал с ней в Мариинку; прежде она видела оперу лишь в отрывках – в Афинах ее пел и играл придворный театр.

Петр Ильич просил Ольгу склонить брата к серьезной работе на евангельский сюжет. «Бог даст, исполню эту задачу, но теперь недозрел до этого великого труда», – смущался Константин Константинович.

Они оба – и поэт, и композитор – были тружениками. У одного – Академия наук, Государева рота, Женские педагогические курсы… Очень хотелось сочинить что-нибудь значительное, но он был занят переводом шекспировского «Гамлета». «Это прекрасная умственная гимнастика, но если переводу суждено увидеть свет, то через немало лет», – говорил композитору поэт.

А композитор был на гастролях в Америке, видел «много оригинального, интересного и красивого», но всеми фибрами души стремился в российскую глушь. Добрался и сел за работу. Вчерне окончил одноактную оперу «Иоланта», балет «Щелкунчик», ездил в Москву на репетиции «Пиковой дамы» и посетил Афанасия Афанасьевича Фета…

Фет был постоянной фигурой их бесед. С юности перед ним, его поэзией преклонялся Великий князь. Чтил его и Чайковский.

– Если бы это были не письма, то был бы дуэт, посвященный Фету. Вы бы написали музыку для него, – смеялся молодой Константин при встречах с композитором.

И правда – Великий князь писал Петру Ильичу: «Не могу не поделиться с Вами впечатлениями, которые Фет на меня производит… Ни один поэт не пленяет меня сильнее Фета; я зачитывался им… Вот истинная поэзия, чистая, прекрасная, неуловимая».

Петр Ильич отвечал: «Фет – явление совершенно исключительное; нет никакой возможности сравнивать его с другими первоклассными нашими или иностранными поэтами, искать родства с Пушкиным, или Лермонтовым, или А. Толстым, или Тютчевым… Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзией, и смело делает шаг в нашу область. Поэтому часто Фет мне напоминает Бетховена, но никогда Пушкина, Гёте или Байрона, или Мюссе. Подобно Бетховену, ему дана власть затрагивать такие струны нашей души, которые недоступны художникам… ограниченным пределом Слова. Это не просто

поэт, а поэт-музыкант».

Но Чайковский не был лично знаком с Фетом. И вот, наконец, побывал в Воробьевке, в имении поэта в Курской губернии. Помог случай, этот псевдоним Бога, который не хочет раскрывать своего имени. Рядом с Фетом в деревне Уколово жил старший брат Петра Ильича – Николай Ильич, знавший Фета. Так братья Чайковские оказались в Воробьевке.

Константин Константинович узнал об этом сначала из письма Фета и легко представил, как Фет дарит свои стихи Чайковскому, как милая его жена Марья Петровна ставит на стол перед Петром Ильичом большой букет, зная, как он любит цветы, как гостям показывают парк, дом. Ах, как он завидовал и Фету, и Чайковскому, и даже барышне, которая пишет письма под диктовку старого поэта и может видеть всех этих замечательных людей!

Об этом он написал Петру Ильичу, который как полноправный член дуэта откликнулся: «Афанасий Афанасьевич… чрезвычайно приятный, полный оригинальности и юмора собеседник… До чего очаровательно его летнее местопребывание! Что за дом, что за парк, что за уютное убежище для стареющего поэта! К сожалению, наш поэт вовсе не пользуется наслаждением жить в этой поэтической обстановке. Он безвыходно сидит дома, диктует перевод Маргинала, стихи, ссорится с барышней, которая пишет под его диктовку, и дальше балкона никуда не выходит… Как молода и свежа его муза! Мы оба сожалели, что обстоятельства мешают Вашему Высочеству предаваться поэтической деятельности».

«Да… В моей жизни – возня и гоньба… И вот уже Фета нет…» – Константин Константинович отложил письма, дневниковую тетрадь. За окнами тихо шуршал октябрь. Дожди запаздывали.

Ему захотелось перечитать строки одного письма Чайковского. Кажется, оно было написано в такую же октябрьскую, как сейчас, пору.

«Год? Два назад? – Он перебрал листы. – Вот оно, это письмо: тогда в Ильинском умерла Алике, моя племянница. Фет на ее смерть написал стихи. А у меня получилось сухо и казенно». – Константин просмотрел лист. Строки, которые он искал, были в конце.

Чайковский писал: «Нередко приходишь на мысль, что, быть может, пора и совсем закрыть свою лавочку. Дело в том, что автор, достигнувший успеха в признании его заслуг, делается помехой для молодых авторов. Было время, когда меня знать не хотели, и если бы не покровительство Великого князя, отца Вашего, – ни одной моей оперы не приняли бы на сцену».

В воскресенье утром, 25 октября 1893 года, от Модеста Ильича, брата композитора, пришла телеграмма: в три часа ночи умер Петр Ильич. В дневнике Константин Константинович писал: «Я долго не мог прийти в себя, получив горестную весть о кончине Чайковского. Еще одним человеком, дорогим для русского искусства, меньше. Мы с ним переписывались, у меня хранится немало его писем. И всё увеличивается число пакетов с письмами от людей, которые мне уже писать не будут. А те, что еще живы, стары и недолго мне оставаться с ними в отношениях: Страхов, Майков, Полонский».

Смертью пятидесятитрехлетнего Чайковского все были поражены. Царь и Царица не скрывали печали. Константин Константинович долго сидел за столом над листом бумаги, но стихи «на смерть» не шли, муза была беззвучна.

В Гатчину Императрице Марии Федоровне прислали ноты последних сочинений Чайковского. Это были фортепианные пьесы и романсы на слова Ратгауза. Константин Константинович сел за рояль.

– Кто он, этот Ратгауз? – спросила Дагмара.

– Молодой переводчик. Кажется, из Киева. Петр Ильич с ним не был знаком. Стихи пришли по почте.

– Но это шесть шедевров. Сыграй, пожалуйста, Костя.

Он сыграл самый печальный – «Снова, как прежде, один»…

– Что-то замогильное. Словно не Чайковский… Не о себе ли он? – И Дагмара ушла, грустно попрощавшись.

Потом из Стрельны Константин Константинович поехал в Петербург, чтобы отстоять в Казанском соборе заупокойную литургию и отпевание. Погребением распоряжалась дирекция Императорских театров. Деньги дал Царь. Все было красиво и торжественно. Газеты писали, что у гроба стояли правоведы-юноши, которые учатся в училище, где учился Чайковский.

В церкви было тесно, собралось очень много людей, хотя вход был по пригласительным билетам. Богослужение поражало величественностью. Пел хор Русской Императорской оперы, служил преосвященный Никандр, епископ Нарвский.
Константин Константинович записывал вечером:

…

«Пели „Вторую“ и „Тебе поем“ из литургии, сочиненной покойным. Мне хотелось плакать и думать, что не может мертвый не слышать своих

звуков, провожающих его в мир иной. Уж я не видал его лица; гроб был закрыт. И больно, и грустно, и торжественно, и хорошо было в Казанском соборе. Оттуда гроб повезли в Александро-Невскую Лавру, где и похоронили на кладбище.

Сильно болела голова».

В последний вечер этого года Константину Константиновичу вернули его письма к Петру Ильичу Чайковскому. К. Р. и Чайковский переписывались с 1880 по 1893 год: 23 письма написал Великий князь, 32 – композитор. Константин разобрал их по порядку и вложил свои письма в один конверт с письмами покойного.

Через 20 минут закончился 1893 год.

* * *

Однако чуть раньше, 2 декабря 1893 года, Его Высочество Великий князь получил письмо от Модеста Ильича Чайковского, брата покойного композитора.

…

«Ваше Императорское Высочество!

… Я долго колебался, прежде чем приступить к этому письму, и решился написать его только потому, что глубоко убежден в полном согласии моих слов с волей Петра Ильича. Со времени его кончины я с умилением слышу отовсюду о желании почитать его память. Везде говорят о памятниках, о домах благотворения во имя его. И все это прекрасно, но если бы, прежде воздвижения статуй и умножения стипендий, кто-нибудь в знак почитания памяти брата догадался смягчить несправедливость, от

которой он сам столько претерпел и о которой так часто и много говорил, тот поистине совершил бы дело, в котором была бы «душа» покойного. Несправедливость эта есть материальное положение композитора-симфониста. Из всех художников это единственные произведения, которые вознаграждаются ничем. Это единственные деятели, которые, чтобы кормиться, должны прибегать к способам зарабатывания, чуждым их специальности. Написать симфонию, сюиту, квартет – труд не меньший, чем создать роман или драму, а между тем, в лучшем случае, в самом выдающемся положении единственною наградою является их «даровое» исполнение в двух-трех концертах и в очень редком – «даровое» печатание партитуры. Лучшее время дня, иногда всей жизни художника-симфониста, должно быть отдано заботам о хлебе, а стало быть – занятиям, совершенно чуждым его специальности.

Если бы в 1877 году, когда оперы его не давали еще денег, у брата Петра не явились неожиданные средства, позволявшие ему оставить каторгу преподавания, если бы Государь Император, тогда еще Цесаревич, не являлся изредка ему на помощь, то нервная болезнь, начавшая развиваться у брата, не дала бы создать половины того, что он сделал с тех пор; скажу больше, вряд ли он дожил бы и до 53-х лет при таких условиях, потому что во время своего профессорства, чтобы сочинять, надо было урывать часы в такое время, когда занятия губительно действуют на здоровье

нервных людей, т. е. вечером и ночью. «Евгений Онегин» никогда бы не был написан, если бы как раз в это время существование брата не было обеспечено помимо заработка в консерватории. Он не мог, не смел бы написать такой вещи, потому что и во время создания ее, и долго после, считал эту оперу – «фантазией обеспеченного человека», делом, которое ничего не принесет ему в материальном положении. Только при таких условиях творчества ему удалось написать вещь свободно, как хотелось, без боязни, что она не даст денег, и именно она-то и обогатила его впоследствии. Высочайше пожалованная пенсия затем еще более увеличила его благосостояние и дала возможность сознавать себя вполне обеспеченным до конца жизни, независимо от успеха той или иной оперы. Это было великое благодеяние, которое он очень ценил и еще несколько дней до кончины говорил мне, что отсутствие на репертуаре его опер далеко не так уже заботит его вследствие постоянной, верной помощи, дарованной ему Государем Императором.

Цель этого письма не одни рассуждения на эту печальную тему, а главное – обратив милостивое внимание Вашего Императорского Высочества вообще на материальное положение композиторов, просить хотя бы об одном из них…»

Возможно, кого-то из Великих князей, которых в России почитали за небожителей, покоробил бы столь эмоционально-несдержанный тон письма.

Но Великий князь помнил слова Петра Ильича Чайковского, обращенные к нему:

...

«Мне очень, очень ценно внимание Вашего Высочества. Извините за бесцеремонность: я ужасно люблю Вас».

Это было как завещание.

Константин Константинович считал своим долгом создать – и создал – Комиссию помощи нуждающимся литераторам, ученым и музыкантам. Лично для него помощь человеку стала наипервейшим и обычным делом. Для писем, подобных тем, которые он писал вице-президенту Академии наук Л. Н. Майкову или А. Е. Котомкину, у Великого князя был отведен день в каждую неделю месяца.

К. Р. – Л. Н. Майкову (22 марта 1896).

...

«Милый Леонид Николаевич, в числе просительниц, получивших пособие из капитала Императора Николая II, есть некая Назарьева; сперва ей отказали, а потом – по ходатайству какой-то госпожи Дубровиной – выдали 100 р. Назарьева заплатила 50 в гимназию за обучение дочери, а остальные 50 пошли на лечение. Она очень больна и продолжает нуждаться; живет литературным трудом в продолжение восемнадцати лет; очень нуждается в помощи. Эти сведения я получил из верного источника. Нет ли возможности помочь чем-нибудь Назарьевой к празднику?

Поздравляю Вас с принятием Святых Тайн.

Искренно Ваш Константин».

К. Р. – Л. Н. Майкову (28 ноября 1898).

...

«Милый Леонид Николаевич, вчера на улице меня остановил мальчик и с горькими слезами просил определить в училище. Я его стал спрашивать, отчего он плачет; он расплакался окончательно и ответил, что учиться хочет, а не на что. Он подал мне прошение; в нем, как вы сами увидите, упоминается ремесленное училище Цесаревича Николая; я вспомнил, что там директором Ваш родной племянник. Нельзя ли горю помочь?… Прилагаю и справку, доставленную мне полицией.

Искренно Ваш Константин».

К. Р. – Л. Н. Майкову (10 декабря 1899).

«Дорогой Леонид Николаевич! Есть один музыкальный студент Федорцов Сергей. Как утверждают педагоги – крупное имя в будущем. Отца нет, мать в бедности. Нельзя ли на вакансии отослать его по литературному несложному делу и оплатить нам его труды. А то дарование сопьется, что будет немного и на нашей совести.

Искренно Ваш Константин».

«Село Цюрих Самарской губернии.

...

Александру Ефимовичу Котомкину. [46]

Милый Котомкин, наконец, нахожу время взяться за перо и при его помощи побеседовать с тобою. Одновременно посылаю несколько своих брошюр и стихи одного начинающего поэта, которого смею назвать своим учеником. Последнее твое письмо застало меня в Ташкенте. Описание невзгод от неурожая в твоем участке

побуждает меня послать тебе 100 р. на пострадавших от этого бедствия, быть может, эта малая лепта окажет кое-какую помощь нуждающимся.

Не нужно ли тебе самому пособия? Напиши. Проездом через Самару говорил я о тебе вице-губернатору… В случае чего можешь к нему обратиться, сославшись на мой совет. Думаю, что он поддержит тебя в добрых и полезных твоих начинаниях.

Прости, милый мой, при моем недосуге оч. мне трудно найти время на подробное изучение твоего «Князя Вячко», без чего нельзя высказаться более определенно. Думаю также, что прошла уже пора длинных поэм. Они мыслимы разве при наличии совершенно выдающегося дарования и безукоризненной художественности, что в наши дни едва ли сыщется.

Константин».

…

«Г. Царевококшайск.

Александру Ефимовичу Котомкину.

Милый Котомкин, поправляюсь после болезни. Весьма любопытно мне было прочитать твое письмо с подробностями о твоем житье-бытье и о твоей деятельности. Напиши, сколько стоили бы тебе лошади, корова и писчая машинка…

Константин.

P. S. Предисловие к книге твоих стихов для издательства написал. Надеюсь, в новом году книжечка выйдет» (1911).

ПОЖАР

С наступившим Новым, 1894 годом Константина Константиновича первым поздравил его старый камердинер Андрей Максимович Степанов. Великий князь посчитал это хорошим знаком всему году. Няни Вава, Атя и Ика привели детей в столовую к утреннему кофе. Здесь стояла чудесная елка, пахло хвоей, золотились и серебрились игрушки. Не хотелось уезжать из дома: елка и дети – вечная и прекрасная часть жизни человека. Но нужно было наносить визиты, потом спешить к Высочайшему выходу в церковь Зимнего дворца, куда он поехал с братом Митей. Молился плохо и был собой недоволен. Хотелось скорее вернуться домой и сесть за письменный стол – подводить итоги, намечать планы. Как всегда, он надеялся, что время как-то само собою найдется и он необыкновенно много сделает. Он любил проводить день, как уже говорилось, «по программе». Все прошедшие годы показали, что этой наклонности следовало только радоваться: небытие может наступить в любую минуту, а вечность строго досматривает всех, претендующих на нее.

После обеда Константин сидел уже за столом. Готовил в переплет переписку с Чайковским и думал, что число пакетов с письмами от людей, которые уже не будут ему никогда писать, все увеличивается. Те же, что еще живы, – стары, и совсем немного остается времени на отношения с ними. Страхов, Майков, Полонский…

Полонский последнее время тяжело болел, совсем не появлялся в Мраморном. Прислал как-то письмо и спрашивал, как какой-то пленник или затворник, что Константин делает. «Вы хотите знать, милый Яков Петрович, где я и что делаю? Я здесь, в Мраморном дворце, а делаю то же, что и всегда – занимаюсь делами Академии наук и Преображенским полком, дважды в день бываю на панихидах, утром в полку или у Исаакия, если там служат, а вечером в Зимнем дворце».

В пять строк уложились служение Богу, служение людям, развлечения и смерть. Что так строго в перечислении, так пространно в житейской повседневности…

Константин не обошелся в письме без заботливой нотации больному Полонскому: «Газеты по большей части лгут, они расписывают всевозможные ужасы с каким-то даже злорадством. Вы читаете всю эту дребедень, расстраиваетесь и не спите ночей. Так кому от этого польза? А Вам один вред. Ведь Вы уже мало принимаете участие в общественной жизни и не можете помочь злу, когда оно где-нибудь заведется».

Константин Константинович все же не выдержал и решил тотчас же поехать к Полонскому на Знаменскую улицу, 26, на углу с Бассейной. Он поднялся на самый верх, где была квартира Полонского. Впервые ему пришла в голову очевидная мысль: писатели в России не живут на широкую ногу…

– Ты куда исчез? – испуганно спросила Лиза, когда он вернулся.

– Ездил к Якову Петровичу. Он болеет и не может бывать у нас. Вот я его и навестил.

– А ты теперь ему чаще пиши. – Она любила романсы на стихи Полонского и считала, что он очень нежен с женщинами. – Ты помнишь, как он писал тебе: «Солнцу теплому заменой мне будет теплый Ваш привет».

На Лизе был накинут платок, связанный Марьей Петровной, вдовой Фета. Стояла мерзкая, мокрая, с ветром и холодом погода, и комнаты во дворце основательно не согревались. Константин вспомнил коробку пастилы и этот платок, переданные им из фетовской Воробьевки.

– Тебе тепло? – Он погладил платок рукой.

– Как в русской печке.

– Ты же ее никогда не видела!

– Но говорят она – шедевр.

Константин засмеялся. Все меньше находил он в своей жене недостатков, о которых боялся когда-то сообщать дневнику. Недостатки ли исчезли или превратились в достоинства – он не знал. Знал только, что он со своей Великой княгиней был счастлив.

К концу весны они ожидали шестого ребенка. Хотели дочку, но если родится сын, он будет пятым.

Однажды Лиза пришла бледная, растерянная, грустная. Константин пытался развеять ее настроение:

– Это, как говорил Петр Ильич Чайковский, *dolce far niente* – от сладкого безделья.

– Расскажи, расскажи мне, как он говорил…

– Я как-то похвалил его Четвертую симфонию, очень она мне нравится. Помню, я ее слушал в Павловском вокзале два раза. Там есть место, когда сначала играют скрипки, потом фагот, наконец виолончель, а в промежутках вступает оркестр. Музыка звучит грустно и наивно… Так вот, я похвалил эту симфонию, написанную под наитием настоящего вдохновения, а это бывало с ним очень редко. Я, говорит, не могу жить не работая, как только закончу сочинение, на место сладкого безделья являются тоска, хандра, страх, всякие сожаления, вопросы о смысле земного существования… Вот и у тебя «сладкое безделье», а от него и

беспокойство…

Но Лизино странное беспокойство было не беспричинным. В Стрельне случился пожар перед самым рождением сына Игоря. Горели детские комнаты. Обошлось без жертв, никто, к счастью, не пострадал.

Когда Константин и Дмитрий примчались в Стрельну, их больше всего напугал вид матери. Она сидела среди обгоревших комнат и не желала их покидать. Стрельна, Константиновский дворец были ее самым любимым местом. Сюда ее когда-то привез молодой красавец-муж Великий князь Константин Николаевич. Здесь все видели ее молодость и счастье. Ветреная и шаловливая, не всегда соблюдающая придворный этикет, немецкая принцесса, ставшая женой сына могущественного российского самодержца Николая I, она запомнила, питая тем гордость, многое из истории Стрельны, которую ей рассказывал ее «книжный Костя». Она знала, что Петр Великий, пленясь великолепием Версальского дворца, его садами, парками и фонтанами, вознамерился воздвигнуть и в окрестностях Петербурга замок, подобный сказочному жилищу Бурбонов. Но Петр не признавал «бесполезную красоту», он любил соединять ее с пользой. Потому место для замка было выбрано при реке Стрелке, впадающей в Финский залив: река даст воду фонтанам, подобным версальским, а на морском заливе вырастет корабельная пристань.

Дворец строился на возвышенном морском берегу. Из среднего этажа шла парадная лестница на великолепную террасу, выложенную плитами из пудожского камня. И тут же начинался широкий канал. При впадении его в морской залив образовывался остров, совершенно круглый, где Петр собственноручно посадил смолистые сосны, а семена этих сосен собрал во время путешествия в Карлсбад.

– Но нашей Стрельне перебежал дорогу Петергоф, – говорил Великой княгине, вздыхая, муж.

– Зачем перебежал и куда? – спрашивала она, немецкая принцесса, не понимавшая тонкостей чужого языка.

– Пришел к Петру знаменитый фельдмаршал Миних, исправлявший при Царе должность инженера, и сказал, что болота, лежащие выше Петергофа, дадут большее количество воды и гораздо большее падение ее. Значит, фонтаны будут выше, чем в Стрельне и даже Версале. Говорят, Петр сам, с каким-то древним старцем из чухонцев, межевыми шестами вымерял всю болотную сторону от Стрельны до Петергофа, утопая в тине…

Видя, что молодая жена начинает скучать, Константин Николаевич приносил книгу «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей» в ее розово-белый будуар с мебелью, в

которой по моде всё было удивительным образом изогнуто, и с выражением читал ей: «Над дворцом посредине возвышается бельведер с платформою и балюстрадой. На нем выставляется во время присутствия царевича флаг и софа». Тут Великий князь прервал чтение и объяснил: «Царевич Константин был сыном Императора Павла и ему в свое время принадлежала Стрельна. Он едва не стал Императором Константином Первым – вся Россия ему присягнула после смерти Александра Первого. Но он вынужден был отречься от престола: женился по любви, а не так, как положено Цесаревичу…»

– А что, Цесаревичу без любви можно обойтись? – иронически перебила молодая жена.

– Лучше не надо. – Муж хотел поцеловать ее, он страстно был влюблен в свою принцессу.

– Костя, не надо. Я забыла, о чем ты читал…

– Кстати, мое имя Константин – большая редкость в России. Цесаревичу Константину Павловичу это имя дала Екатерина Великая, просматривая в имени судьбу внука: он должен вернуть христианскому миру храм Святой Софии в Константинополе, возродить Византию. Ты знаешь, что такое Византия?

– Кажется, да. А ты что должен вернуть, ты ведь тоже Константин?

– А я… Я с четырех лет генерал-адмирал. И должен вернуть России флот, вывести его в Мировой океан и иметь стоянки, базы для него от Нагасаки и Владивостока до Ниццы, бухты Антиб и Нью-Йорка в Америке.

Он заметил, что жена смотрит на него своим «стюартовским» взглядом – очень серьезно.

– Не серьезничай. Лучше послушай, что видел Цесаревич Константин под флагом на софе, оглядывая дали нашей Стрельны: «Море, которое теряется в бесконечности и стелется при закате ковром из ярких цветов или кипит и зияет безднами при малейшем ветре, одно море составляет явление ни с чем не сравненное… Там синеются дикие финские леса и утесы; здесь улыбается прекрасная столица с прелестными загородными дачами; Ропша, Петергоф, Ораниенбаум, Кронштадт рисуются в горизонте, и едва горы Дудорова и Пулкова ставят преграды восхищенному взору…»

* * *

… Александра Иосифовна, казалось, все слышала и видела наяву. Быть может, то были даже не слова, а просто звуки голоса

самого красивого из молодых Романовых и самого умного – ее мужа. Но вот его нет, и полыхает в пожаре ими любимая Стрельна…

Константин и Дмитрий пытались вернуть мать в реальный мир. Подняли с кресла, повели сначала в ее спальню, надеясь, что уютная комната, обтянутая кретоном, с привычными вещами в стиле Тура, успокоит ее. Но она не хотела в ней оставаться и все рвалась куда-то. Пришли в зал, и она остановилась у окна, откуда открывался весенний вид на средний канал, островок в конце его, на залив и на безлистные липовые рощи сада. Константин, стоя рядом, нарочито бодрым голосом говорил, что Стрельна неувядаемо красива и ничто никогда ее не разрушит. И раньше были пожары – при Анне Иоанновне по недосмотру дворцовых сторожей, потом горели стрельнинские мельницы, но их привели в надлежащее состояние, при Константине Павловиче горел дворец и пострадала даже терраса. Но с быстротою молнии дворец возвели. Константин помолчал, что-то прикидывая в уме, и сказал:

– За полгода возвели. В декабре 1803 года – пожар. А в июле 1804 года Цесаревич въехал на жительство в Стрельну.

– У нас есть книга «Достопамятности Санкт-Петербурга и его окрестностей»? – вдруг спросила Александра Иосифовна.

Сыновья замерли. Константин сказал:

– У Пап? в библиотеке. Павел Петрович Свиньин написал, художник, коллекционер. Я найду тебе ее. Митя, побудь с Мама.

Он пошел на третий этаж, в библиотеку отца. Глянул на росписи потолка, сделанные по рисункам Воронихина, не пострадали ли, и в который раз подумал, что Воронихин всегда узнаваем – свобода и разнообразие приемов отличают всякую его работу. Начал открывать шкафы, созданные фантазией Штакеншнейдера, и очень скоро нашел книгу. Однако Митя уговорил Александру Иосифовну лечь отдохнуть – и она уснула. Константин посидел у кровати, тихо полистал книгу – это был третий выпуск и в нем имелась глава о Стрельне и Константиновском дворце. Он глянул на мать: «А ведь она что-то вспомнила…» Ему вдруг захотелось пройтись по дому, саду, по земле, где он родился.

Май не давал тепла, но всё сверкало, струилось, синело на ярком солнце. И было видно, что мечты Петра Великого о Стрельне были связаны с морем, а его желания были учтены всеми, чьи руки касались стрельнинских сооружений. Даже грандиозная тройная арка дворца открывала вид на море, и оно синело или белело пеной и бурунами. Константин сбежал по мраморной лестнице с золочеными оленями. Столько раз его

маленькие ладошки гладили их по спине! Он окинул каким-то новым взглядом дворец: как прост и мощен. И как широк канал, по которому однажды с отцом они приплыли прямо к террасе. «Вот так бы и в море по прямой! – сказал отец. – Но ты, Костюша, это еще успеешь – наплаваешься!»

Ему совершенно по-детски захотелось взглянуть на львов на другой лестнице, потрогать их и посмотреть на них снизу в сочетании с дворцом и террасой. Но что-то его остановило. Ну, конечно, его заколдованное нянины сказками царство: водоем со сквозным навесом, увитым плющом на каменных столбиках, «римская» купальня на краю и белые купальщицы на берегу и в воде. Всё это – и вода, и статуи, и великолепные цветы, и темный плющ, как шапка витязя на фоне светлых берез и неба, – рождало фантазии в его голове. Он что-то сочинял и тут же забывал. Но всё это не прошло даром: в Стрельне он сочинил 20 стихотворений!

Константин прошел до Петровского острова – это было легко по гениально простому плану парка, – постоял на мостике, перекинутом через канал, и воочию убедился в желании Петра обвенчать сады с морем – по продольному каналу, ведущему прямо в сад, а если свернуть в главный канал, попадешь прямо ко дворцу. Море, всё море и море, корабли, флот. В Стрельне это главное. У отца получилось, а у него, сына, родившегося здесь, отношения с этой сине-зеленой стихией не сложились. У отца даже Павловский дворец приобрел «морской» облик: на здании генерал-адмирал водрузил изображение огромного якоря, на шпиле поднимался кайзер-флаг, в парке были установлены мачты кораблей с соответствующим рангоутом. Но всё это не могло заменить морской волны с ее соленым запахом, перемешанным с дальними свежими ветрами. И потому отец любил Стрельну.

Когда Константин вернулся во дворец, Александра Иосифовна еще спала. Он заглянул в Большой зал, строгий, классический, но в нем ощущались уют и легкость. Густые тона окраски, колонны, стройность и обширность сливаются с просторами садов за огромными окнами. Чтобы оставить навсегда в памяти стрельнинскую картину, он должен был заглянуть еще в одну комнату, которую в дневнике 15 лет назад изобразил так:

...

«Стрельна. Комната моя здесь очень мила и уютна, без меня Мама и Митя позаботились о ней: стены

выкрашены в коричневый цвет, и по краске набита на каждой стенке рама из кретона, вышитого цветами… Печь выкрашена наподобие изразцов по рисунку голландских печей. Комната моя на углу, одно окно выходит на север, на террасу, а другое на цветник по правую сторону террасы. Остальные две стены имеют каждая по двери, печка между дверью и окном со стороны террасы. Мое обыкновенное место в углу между окнами – передо мною огромный письменный стол, заставленный портретами в разнообразных рамках. К задней стороне стола приставлено фортепиано, а к фортепиано придвинут простой кожаный диван жакоб. Вдоль стен – налево от меня и ближе к противоположному мне углу у самого дивана полукруглый стол со всякой на нем разностью, в самом углу стоит высокое бюро Ампир, а рядом с ним кресло жакоб. В уголке между фортепиано и диваном другой стол под турецкою скатертью, таким образом, в том углу очень уютное помещение для нескольких человек. В последнем углу, между дверьми примкнут небольшой турецкий диван с подушками и валиками, по сторонам у одной стенки полукруглый столик, а у другой – в углу между левой стороной дивана и стеной комода – оба „Жакоб“. С потолка висит люстра, старая датская из простой меди. По стенам картины: 2 Mycheron, Bergem, Tetpeste, A. Van Dyck. Теперь я окончательно устроился и очень доволен своей комнатой».

Он прочитал эту запись и поморщился: «Противный педант, это же надо, сколько деталей! Впрочем, для истории пригодится. Стрельна – неразрушима».

* * *

Лиза родила сына Игоря 29 мая 1894 года. Пришло много поздравлений. Одно из них было от Николая Николаевича Страхова: «Дай Бог, чтобы Ваш сын был Вам подобен».

В душе Константина всё настороженно замерло. Почуялось что-то роковое, упреждающее в этих словах. Лихорадочно забилось сердце и сумятица охватила мозг от собственной нехорошести, природной двойственности и появился страх за невинную детскую душу, которой пожелали уподобиться ему, грешному. Последний раз он с совершенно сокрушенным сердцем готовился к исповеди. И, как писал в дневнике, каялся духовнику в том же грехе, что и 14 лет назад. Спрашивал себя: неужели не в последний раз каюсь?! Ко всему примешивался стыд перед отцом Арсением Двукраевым в своей неисправимости. Старик-священник, с детства преподававший ему Закон Божий и ставший духовником Константиновичей, был потрясен, грозил тем, что грех когда-нибудь перестанет быть тайным, что о нем все узнают. И хотя плохое одинаково плохо, знают о нем или нет, но Константин понимал, что огласку пережить бы не смог. Только незаслуженной милостью Господа Бога он мог считать то, что до сих пор никто ничего не знает. Он жадно слушал духовника, искал в его словах опору и силу для себя. Каялся, клялся, твердо надеялся исправиться.

Аполлон Николаевич Майков прислал ему на суд странное стихотворение «Аскет». «Тот Невидимый», кто диктовал поэту стих *(dui dicte mes creations),* утверждал, что «жизнь подымет человека в своем стремленье и в бездну бросит тот же час», что человек – жертва всей этой бешеной игры. Но Константин ухватился за другие слова стихотворения:

Но говорит мне тайный голос,
Что не вотще душа моя
Здесь и любила и боролась:
В ней есть свое живое «я»!

Да! Он будет держаться своей совестью, долгом и любовью. Своим живым «я».

* * *

К осени события следовали одно за другим. И в основном не самого лучшего свойства. Вообще этот год был полон тревог. Счастьем было рождение малыша, приятностью – произведение Великого князя «За отличие по службе» в генерал-майоры. Он по-прежнему командовал лучшим гвардейским полком – Преображенским.

В отпуске, «путешествуя и отдыхая», Константин побывал с женой на ее родине в Альтенбурге, провел два дня в Мюнхене, съездил в Гмуден к старушке Королеве Ганноверской, сестре своей матери. Ее сын был женат на дочери датского Короля Христиана IX, которая доводилась русской Императрице – милой Дагмаре – сестрой.

Далее августейшие путешественники собирались посетить Италию, прежде всего Венецию, и остаться в ней дней на пять, но не провели в Венеции и двух дней. Пришлось бежать от прелестей юга, от озаренного солнцем и осененного голубым небом чудного города, от мраморных церквей и дворцов, от бессмертных творений Тициана и Веронезе, от мозаик собора Святого Марка: из Крыма пришли мучительно тревожные вести. В то время, когда Константин, собравшись в короткое время, двинулся на север к дому, в страхе и смятении ожидая телеграмм, его мать Великая княгиня Александра Иосифовна пригласила в Ливадию к угасающему Императору Александру III уважаемого пастыря отца Иоанна Кронштадтского, который молился за Государя.

Еще в августе Константин разговаривал с Григорием Антоновичем Захарьиным, профессором терапевтической клиники, о здоровье Государя. Захарьин был недоволен его состоянием, но об угрожающем положении не говорил. Да и Великий князь Сергей с Победоносцевым хотели отправить Императора на остров Корфу, где греческий Король готов был предоставить ему на время лечения свой дворец. Для консультаций Сергей пригласил из Берлина профессора Лейдена. Константин надеялся на лучшее, и действительно пришли более успокоительные телеграммы.

Однако в Ливадии надежда всех оказалась кратковременной. Прибытие утром 10 октября отца Иоанна Кронштадтского, а вечером невесты старшего сына Николая, принцессы Алисы Гессенской, взбодрило больного. Государь даже потребовал подать себе мундир и на опухших ногах вышел навстречу невесте, принял ее ласково и нежно, как родную дочь.

Улучшение продолжалось до 18 октября.

Двадцатого октября 1894 года Императора Александра III не

стало. «Россия переживает трудные тяжелые дни… я продолжаю озабоченно вглядываться в будущее: оно невесело», – горюя и предчувствуя, написал Константин Константинович вице-президенту Академии наук Л. Н. Майкову.

Великий князь, как командир лейб-гвардии Преображенского полка, дежурил у гроба Императора в день его похорон и оставался на своем посту до конца погребения. Детям тоже запомнился этот торжественно печальный день. Они стояли в Мраморном зале у окон, которые выходили на Неву. На набережной выстроились войска, давшие несколько залпов, когда тело Царя опускали в могилу. Потом мимо окон проехал Николай II, возвращавшийся с похорон…

В этот раз Константин Константинович читал все газеты. И даже те, кому Великий князь не сочувствовал в их писаниях, говорили близкими ему словами.

…

«Государь был молчалив, честен и тверд. Его любимым аргументом во всех случаях был закон. Жил он тихо, по-семейному, всегда неразлучный с женой, держался просто, носил какой-то приплюснутый картуз на своей крупной голове, улыбался своими чистыми добрыми глазами, много работал над государственными бумагами, писал свои резолюции четким, красивым почерком – и понемногу заставил любить себя за приверженность к миру и за свою преданность скромному долгу и ясному закону… Вспоминается его тучная, мешковатая фигура на многих погребальных процессиях… Он всегда шел за гробом впереди всех, сосредоточенный, спокойный, массивный и простой… Мы себе воображали его неподвижно хрипящим в постели, он еще садился к столу и подписывал бумаги… Он не придавал никакого значения своему

умиранию»…

«И противники прозревают…» – думал Великий князь, читая эти строки, написанные присяжным поверенным С. А. Андреевским, не признававшим внутренней политики ушедшего правителя.

«… Если мир может гордиться не менее великими победами, чем война, то бесспорно, что русский Император будет пользоваться такою же славою, какая выпала на долю Цезаря и Наполеона. Все единогласно утверждают, что его личность и характер обеспечивали мир Европе» – так считали в Англии, где впервые было пропето на английском языке «Со святыми упокой».

Во Франции признавали: «… Все Романовы были преданы интересам и величию своего народа. Но, побуждаемые желанием дать своему народу западноевропейскую культуру, они искали идеалов вне России – или во Франции, или в Германии, или в Англии и Швеции. Император Александр III пожелал, чтобы Россия была Россией…»

Но кто скажет о русском лучше русского?! С трепетом читал Константин историка Ключевского:

…

«… Органы общественного мнения Европы заговорили о России правду и заговорили тем искреннее, чем непривычнее для них было говорить это. Оказалось, по их признаниям, что европейская цивилизация недостаточно и неосторожно обеспечила себе мирное развитие. Европейская цивилизация поместилась на пороховом погребе. Горящий фитиль не раз с разных сторон приближался к этому опасному оборонительному складу, и каждый раз заботливая и терпеливая рука русского Царя тихо и осторожно отводила его… Европа признала, что Царь русского народа был и Государем международного мира, и этим признанием подтвердила историческое призвание

России… Европа признала, что страна, которую она считала угрозой своей цивилизации, стояла и стоит на ее страже, понимает, ценит и оберегает ее основы не хуже ее творцов, она признала Россию органически необходимой частью своего культурного состава, кровным, природным членом семьи своих народов… Наука отведет Императору Александру III подобающее место не только в истории России и всей Европы, но и в русской историографии, скажет, что он одержал победу в области, где всего труднее достаются эти победы, победил предрассудок народов и этим содействовал их сближению… увеличил количество добра в нравственном обороте человечества…»

Появлялись стихи на смерть умершего Царя… Одно из них написал Аполлон Майков. «Скудный цветок на дорогую могилу», как выразился автор. Но последние строки его стихотворения:

Воскресла духом Русь – сомнений мрак исчез —
И то, что было в ней лишь чувством и преданьем,
Как кованой броней закреплено – сознаньем, —

повторялись в обществе. Майков прислал стихотворение Великому князю для передачи молодому царю Николаю II, «так умеющему дорожить памятью Отца». В приложенном письме немного выспренно, но искренно он написал: «Велика наша скорбь, но будущее не так представляется ужасным, как при восшествии на Престол Покойного Государя Александра III. Тогда все пути были сбиты, потеряны. Теперь же путь ясен, рельсы положены – и Господь поможет „дважды спасенному Царственному юноше“ [47] – теперь нашему Юному Царю. Это желание из глубины сердца – да будет так!»

Четырнадцатого ноября 1894 года Николай II и дочь Великого герцога Гессенского Людвига IV Алиса были обвенчаны. За

несколько месяцев до этого события старый, умный, прозорливый Константин Петрович Победоносцев советовал Елизавете Федоровне, жене Великого князя Сергея Александровича, которая приходилась родной сестрой молодой Царице, помочь «начинающей» Государыне: «Если она умна, если душа у нее живая, конечно, в душе у ней теперь масса представлений, вопросов, ожиданий, гаданий о неведомой области, в которую она вступает. Первое ее появление здесь не может быть так обставлено, как появление бывшей Цесаревны Дагмары, которую давно ждал, и чаял, и знал народ, потому что ей предшествовала поэтическая легенда, соединенная с памятью усопшего Цесаревича, [48] и день ее въезда был точно поэма, пережитая и воспетая всем народом. Но и этой новой Цесаревне – гладкая и светлая дорога в Россию, и навстречу ей понесутся надежды живые и крепкие. Образ Александра III, тогда Цесаревича, был известен – он был связан с тою же поэтической легендой умирающего брата и друга. *Нынешний Цесаревич Николай в тени, и образ его бледен в представлении народном, совсем бледен.* Тем живее выступит теперь образ его невесты, и пока не узнают его, на ней будут держаться надежды народные. О, когда бы она оправдала их! О, когда бы она сумела, выйдя из немецкой среды, понять дух наш и полюбить народ наш и с ним нашу Церковь. Кто сумеет осторожно, и ласково, и духовно ввести ее в это понимание и в это чувство? Кто сумеет германскую культуру перелить в культуру русской души и показать ей смысл всего прошедшего и всего настоящего… Конечно, первые шаги ее будут под кормилом Вашим и Великой княгини. Слышу, что она умна. Но ей потребуется много, много такта и осторожности, чтобы найтись и утвердить свое положение посреди известной Вам обстановки Двора. Тут предстоит и ей, и ему много затруднений и, может быть, искушений. Благослови Боже доброе начало, дай Бог увенчать миром и любовью и дружеством мысли и воли в новом союзе. Вот наше горячее желание и молитва наша…»

* * *

Жизнь не терпит сгущения красок, словно оберегает человека от однообразия, и, посылая печаль, озаряет ее внезапным всполохом радости.

Константин это понимал. Иначе как пережить смерть Гончарова, отца, Фета, Грота, Чайковского, Государя?… «Время должно успокоиться. И этот год тревог тоже», – как заклинание, начертал он в дневнике.

До конца года, который начинался, казалось бы, с доброго знака, надо было прожить еще декабрь. Однако и этот последний месяц не обошелся без неприятностей. В Московском университете взбунтовались студенты на лекции В. О. Ключевского, посвященной ушедшему Александру III, против «восхвалительной лжи» лектора по адресу умершего Императора. 53 человека были приговорены к административной ссылке на три года без права проживания в столичных и университетских городах. Студенческая делегация побывала у Льва Толстого. Толстой немедленно обратился к А. Ф. Кони, как к крупному судебному деятелю, прося его о помощи. При этом он писал: «… Администрация без суда и независимо от университетского начальства хватает и высылает из Москвы… часто ни в чем не повинных, и все это делается тотчас же вслед за вторжением жандармов и полиции в университет для того, чтобы разогнать (мнимую) сходку, которой не было, а были только несколько десятков студентов, дожидавшихся ответа ректора на их просьбу о пересмотре дела об исключении 3-х товарищей…»

Через несколько дней студенты – два человека – появились и у Николая Николаевича Страхова, которому Толстой также написал письмо. Приехали они из Москвы, не отважились идти к министру народного просвещения Делянову, а решили сразу жаловаться Государю.

Страхов сам пошел к министру, прочитал ему письмо Льва Толстого.

– Там мы посмотрим, поразберем, – неопределенно сказал министр.

Тогда Страхов показал письмо Толстого Великому князю, надеясь на его помощь. В душе Константин Константинович отрицательно относился к студенческим беспорядкам: студентам надо заниматься не политикой, а учебой.

– Однако вы хорошо сделали, что отговорили их от подачи жалобы Государю, – сказал он Страхову и неожиданно для себя ворчливо добавил: – Вообще-то студентам надо бы покорно терпеть последствия своего неприличного поведения…

Но тут же при Страхове вызвал Л. Н. Майкова:

– Леонид Николаевич, напишите в Москву правителю канцелярии московского губернатора Истомину, чтобы безвинно пострадавшие студенты были удовлетворены.

– Придется Сергея просить, все-таки московский генерал-губернатор… – вздохнул он, когда Майков ушел.

Попросил. Дело было улажено.

«Мне остается только сказать… о том умилении, которое столько раз возбуждала и теперь снова возбудила во мне Ваша

доброта», – благодарил позже Константина Константиновича за помощь студентам Страхов.

Николай Николаевич Страхов проживет еще чуть больше года. Уйдет еще один великий старик из окружения Константина, не успев поработать над вторым, полным, для «изыскателей», собранием сочинений Фета. Сделает это издатель Б. В. Никольский. В предисловии он сообщит читателям: «В наблюдении… за изданием, как и за первым посмертным, приготовленным к печати покойным Н. Н. Страховым, соблаговолил принять участие Великий князь Константин Константинович, отвечая тем посмертному желанию самого поэта».

* * *

Двадцать шестого января 1896 года к дому Стрелигова на Ново-Петергофской улице, 16, у Торгового моста, подъехала коляска Великого князя Константина Константиновича. Он поднялся на пятый этаж в бедную квартирку, где в стоявшем на столе посеребренном гробу лежал известный критик Николай Николаевич Страхов, а у закрытого тканью зеркала понуро застыл поэт Аполлон Николаевич Майков.

Великий князь тихо стал у изголовья покойного, всматриваясь в лицо еще одного покинувшего его друга. Вспоминал его слова: «У Вас есть сердце, и потому Вам предстоит прекрасное поприще и как поэту, и как деятелю русского просвещения» – и бессловесно упрекал Николая Николаевича за этот его уход, за их расставание…

Начиналось новое царствование. Впереди была коронация.

КОРОНАЦИЯ

Когда 27 апреля 1896 года Великий князь приехал на Николаевский вокзал, посадка в поезд двух батальонов Преображенского полка уже заканчивалась. В каждом из тридцати семи вагонов разместилось по 35 человек нижних чинов. Для офицеров выделили еще три вагона. Константину Константиновичу было предоставлено отдельное купе. Пока денщик размещал его вещи, Великий князь наблюдал за тем, как нижние чины занимали свои места. Его вмешательство не понадобилось – командиры батальонов со списками в руках рассаживали людей деловито и споро.

Последние недели перед отъездом в Москву на коронацию были довольно утомительными. Не столько физически, сколько морально. Камнем давили душу тягостные раздумья о своей поэтической немощи, длящейся уже более года. Казалось, появись хотя бы одна удачная строка, один яркий образ – и всё вокруг волшебно заиграет, все его обязанноети, исполняемые вполне прилежно, враз приобретут характер вдохновения. Но он по-прежнему был нем перед чистым листом бумаги. В отчаянии откладывал в сторону бесполезное золотое перо, приобретенное совсем недавно, отодвигал прекрасные шведские чернила от Людмилы Петровны Буксгевден, комкал бумагу… Настоящим спасением явилась необходимость ехать в батальонные казармы следить за сборами в Москву.

Разбудить себя приказал в пять утра. Предстоящая поездка радовала: он любил поезд, любил стоять у вагонного окна и наблюдать меняющиеся картины! И Москву, которую любил со времени своего первого дальнего путешествия поездом десятилетним мальчиком!

Утро выдалось холодным, маем и не пахло. Одна половина неба вроде бы обещала солнце, другая, куда направлялся поезд, – была затянута тучами, от одного взгляда на которые Великий князь поежился. Он с удовольствием поднялся в теплое купе. Скомандовали отправление, и без четверти семь поезд дернулся с места.

Под ленивый перестук колес на стыках рельс и редкие натужные свистки паровоза он вспоминал свою первую поездку в Первопрестольную. Отец, помнится, разбудив его ранним утром и помогая одеться, сказал:

– Первым делом в Москве надо поклониться иконе Иверской Божией Матери, тогда всё у нас устроится вполне. – И рассказал историю этой иконы, [49] о чудесах, которые с ней происходили,

и о тех, которые творила она сама.

Он узнал, что московская Иверская Матерь Божия находится в специальной часовне Воскресенских ворот, ведущих на Красную площадь… Горожане не начинают новых дел, не отправляются в путь, не помолившись перед Иверской, к ней за напутствием заглядывают даже иноверцы.

У Пап? было много детских воспоминаний, связанных с Москвой. Здесь он жил и учился, здесь вместе с ним жила его старшая сестра Александра, которую он очень любил и которая молодой скончалась при родах. Пап? рассказывал, что у нее он искал и находил утешение, наказанный за своевольные проделки, ее похвала больше чем какая-либо другая льстила его детскому самолюбию. И похоронить себя Пап? будет просить рядом с нею.

Толпа народа, сгрудившаяся у широкого крыльца часовни, приветствовала двух Великих князей радушным «ура» при входе и при выходе. Трудно было представить такое «ура» возле какой-нибудь церкви в Петербурге, народу там было не привыкать к лицезрению и царей, а не то что Великих князей. Пап? говорил, что в Москве особенно чувствуется связь, существующая, слава богу, между русским народом и его князьями.

Вступив с отцом на Красную площадь и окинув ее взглядом, он увидел Лобное место, храм Василия Блаженного, испытывая замирание сердца и ликование. Ушедший вперед отец обернулся и позвал его, а когда Константин подошел, горячо произнес: «Москва, Костюша, она и есть Россия!»

Любопытно, размышлял Константин Константинович, вспоминая, что у отца, человека энергичного, по-европейски мыслящего, привязанность к Петербургу, этому «окну в Европу», символу новой либеральной России, органично уживалась с немодной у большинства столичных петербургских жителей любовью к Москве с ее замедленным темпом жизни и более консервативным бытом. При этом, в отличие от многих своих сподвижников, Пап? не стеснялся и не считал нужным скрывать этого врожденного чувства.

Помнил Константин и то, как, въезжая в Спасские ворота, отец, а следом за ним и он сняли фуражки. Человек на козлах сделал то же самое. В тот раз они с отцом побывали в Антропологическом музее на выставке, в Малом театре слушали даваемую консерваторией оперу «Евгений Онегин» Чайковского, посетили галереи обоих Третьяковых. Но как только отец удалился по своим делам и Константину дали в спутники Т. В. Мерлина, состоящего при дворе князя Долгорукова, он отправился смотреть старинные московские соборы и храмы – именно они были предметом его истинного интереса. Уже во

второй день пребывания в Москве он посетил Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, везде молился, прикладывался к мощам, знакомился со святынями и достопримечательностями. А потом были Спас на Бору, Василий Блаженный. Долго стоял и молился у иконы Богородицы в женском Страстном монастыре и зашел к игуменье, попросил у нее разрешения послать в подарок монастырю лампаду к иконе. На что та дала свое милостивое согласие… Перед отъездом, воспользовавшись хорошей погодой, Пап? пригласил его прогуляться по всем кремлевским стенам. И он поразился восхитительным видом с высоты на древнюю русскую столицу. Уезжая, он дал себе слово бывать в Москве, как только представится случай. Случаи, однако, выпадали не так часто, как того хотелось.

Великий князь вспомнил радостное чувство, с которым получил сообщения о присвоении ему званий почетного члена Императорского Московского общества испытателей природы, Общества любителей российской словесности при Московском университете. Москва стала ему еще ближе с тех пор, как Сергей получил назначение на пост московского генерал-губернатора. Константина всё в Москве привлекало и радовало: «… и замысловатые названия улиц, и вид старинных стен, и ворота с горящими перед иконами лампадами, и множество прелестных по своей необыкновенности церквей – всё приводило в восхищение».

* * *

В Москву ехали полковники Огарев и Кашернинов. Последний стоял у окна и явно поджидал его.

– Доброе утро, Ваше Императорское Высочество! Как спалось, не замерзли?

– Спасибо! Сон был великолепным! Признаться, Павел Максимович, я очень люблю поезд и всегда отлично высыпаюсь. А холод почувствовал, уже когда вылез из-под одеяла.

Кашернинов – прекрасный командир, любящий уставной порядок. Великому князю импонировал его стиль: всегда ровен в обращении с нижними чинами, никогда не повышает голоса там, где другие переходят на крик. Часто бывает в казармах и не упустит случая посетить при этом ротные кухни, проследить за тем, чтобы солдатская пища была сытной и вкусной. Всех унтер-офицеров и большинство из ефрейторов и рядовых Кашернинов знает по имени и фамилии, часто с пониманием беседует с ними о делах домашних и при необходимости легко предоставляет

отпуск для их улаживания. Нижние чины его любят и на учениях стараются не подвести командира. Владимир Андреевич Огарев – старший полковник, и этим всё сказано. Во время отлучки Великого князя из Петербурга он, как правило, образцово исполнял его обязанности командира полка.

За завтраком офицеры обсуждали предстоящее событие и Великий князь не выдержал:

– Раз уж на то пошло, открою вам один секрет: Его Императорское Величество будет короноваться в нашем родном Преображенском мундире!

Все встретили это сообщение дружным «ура».

– Но, – вздохнул Константин Константинович, – четырехчасовая церемония, торжественная и красивая для зрителей, – будет довольно трудным испытанием для ее главных участников – Императора и Императрицы. Представьте, коронационное платье молодой Императрицы Александры Федоровны, изготовленное из гладкой серебряной парчи в Ивановском монастыре, весит десять килограммов! И добавьте сюда еще тринадцать килограммов – столько весит золотая мантия, обитая шкурками горностая! Каково пробыть в таком наряде свыше четырех часов?

– Бедная Императрица! Да такой вес в течение четырех часов только наш брат-преображенец может выдержать! – то ли с удовлетворением, то ли с сожалением воскликнул капитан Вельцин.

После завтрака офицеры начали составлять партию в вист, а Великий князь, карты не любивший, уединился в своем купе и раскрыл Карамзина. Но вспомнил вдруг рассказ Сандро, Великого князя Александра Михайловича, что двадцатишестилетний Наследник Цесаревич разрыдался, когда, со смертью отца, пришло его время руководить государством. «Сандро, что я буду делать?! – в отчаянии восклицал он. – Что будет теперь с Россией?! Я еще не подготовлен быть Царем! Я не могу управлять Империей. Я даже не знаю, как разговаривать с министрами. Помоги мне, Сандро…» Дай Бог, чтобы это была только минутная растерянность… Дай Бог, чтобы дальше он вел себя как истинный самодержец, мудрый и решительный государь, достойный Наследник своего отца, принципы правления которого он намерен исповедовать. И напрасно Сандро рассказал об этой минутной слабости даже ему, Константину…

* * *

В Москву поезд прибыл в воскресенье, 28 апреля, около четырех пополудни. За тридцать три с лишним часа дороги Великий князь сумел отоспаться за бессонные петербургские ночи и, как он надеялся, за предстоящие в Первопрестольной. В Москве было холодно, может, один-два градуса выше нуля. Выйдя из поезда на Бычьей платформе Николаевского вокзала и окунувшись в холодную промозглость, Великий князь приказал камердинеру распаковать баул и достать теплую фуфайку, которую натянул под мундир. Но погода и даже ставшая почти привычной боль в левом виске были не в силах отравить ему настроение. Три радости противостояли им. Первая – вот она: свидание с Белокаменной и возможность похвастаться своей Москвой перед сослуживцами, а потом показать город, его соборы и церкви Иоанчику с Гаврюшей! Вот-вот подведут его Голубка (в Петербурге ему сообщили, что он лучше других лошадей перенес путешествие поездом), и он во главе своих батальонов отправится к Иверской. У скакуна, кстати, сегодня день рождения, по этому случаю он получит кусок сахара и нежный поцелуй в рыжую добрую морду.

Впервые в жизни он вступал в Москву верхом во главе своих батальонов под звуки марша из оперы Глинки «Жизнь за царя» и испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение, как полководец, возвращающийся с победой в родной город. Батальоны сопровождали толпы народа, впереди бежали мальчишки, с балконов москвичи кричали «ура». Было по-прежнему холодно, но дождь прекратился. Его гвардейцы выглядели на диво молодцевато и празднично. Напряженные учения в Петербурге не прошли даром, да и, похоже, вняли его внушениям и приказу, что в Москве, где полк зародился свыше 160 лет назад, надо держать и вести себя безукоризненно, как и подобает преображенцам. Не доходя до Воскресенских ворот, зычным голосом, которому и сам удивился, подал команды:

– Побатальонно, в четырехротные колонны, стройся! Ружья в пирамиды!

Команда была выполнена четко, как на параде. Из толпы раздались аплодисменты и крики: «Ура преображенцам!» Великий князь спешился и направился в часовню, совершил земные поклоны Иверской Божией Матери и приложился к ней. За ним последовали полковой адъютант, жалонер, штаб-горнист и музыканты, а потом и все роты во главе с офицерами. Когда последний солдат из 8-й роты вышел из часовни, Константин Константинович почувствовал необходимость еще раз приложиться и поклониться Иверской, чтобы была милостива к подчиненным во время такой ответственной миссии.

Выйдя из часовни, сел на Голубка, скомандовал солдатам: «На плечо!» – и все прошли через правый пролет Воскресенских ворот на Красную площадь, сопровождаемые все той же толпою. В Кремль ближе было бы войти через Никольские ворота, но, побуждаемый все тем же педагогическим чувством, Константин Константинович решил непременно провести роты через Спасские. Они пересекли Красную площадь, где уже было подготовлено множество мест для зрителей, и подошли к Святым воротам. Великий князь дал сигнал прекратить музыку и снял фуражку… За ним все преображенцы обнажили головы и прошли в Кремль – сердце России.

Солдаты разместились в Покровских казармах. Восемнадцать офицеров, служивших еще под командованием Великого князя Сергея Александровича, были расквартированы в его генерал-губернаторском доме на Тверской. Константину Константиновичу с семьей были отведены покои в Потешном дворце, куда он попал только к полуночи. До этого был обед у Сергея, сытный и шумный. Сам Сергей, как показалось Константину, выглядел похудевшим, излишне возбужденным и озабоченным, что в общем-то понятно при той огромной ответственности, что выпала на его долю в эти дни.

При встрече они обнялись, но в объятии двоюродного брата и друга на этот раз чувствовалось больше официальной приветливости, нежели прежней искренней радости. Преисполненный важностью своей миссии по организации торжеств, Сергей предпочел не обсуждать эту тему с Константином. В ответ на сочувственное: «Похоже, досталось тебе немало хлопот», покровительственно похлопав его по плечу, предложил:

– Ты, Костя, отдохни, потом пообедаем вместе с преображенцами… О моих хлопотах что говорить? Сам увидишь, чего они стоили… А наговоримся в Ильинском, после коронации, сейчас у меня каждый день расписан по минутам.

Зато его жена, милая, добрая Элла, была все той же – внимательной, нежной и обаятельной. Заметив, что Константин погрустнел, поцеловала его и извинилась за мужа:

– Сережа очень устал и озабочен предстоящими торжествами. Пожалуйста, не позволяй, Костя, мелочам испортить тебе настроение…

Он любил Эллу и восхищался ею. Сколько в ней сочувствия к ближнему, скрытой силы и воли, несмотря на застенчивость и кротость, сколько безмятежной веры в Бога! И как она бережна с Сергеем! Он всегда радовался за него, конечно же не лучшего из мужей. Унаследовав его полк, Константин Константинович знал о

неумеренности бывшего командира в выпивке, знал и то, что греховная страсть целиком подчинила его и брак их с Эллой носит в общем-то формальный характер. Но когда видишь ее рядом с ним, забываешь об этом – столько преданности в ее глазах.

Она увела его в гостиную, чтобы показать чудесную коллекцию русской церковной утвари и шитья XVIII века, собранную Сергеем и предназначенную в подарок Историческому музею.

При прощании Сергей сообщил Константину, что приготовил сюрприз для Царя с Царицей: организует их встречу не в Москве, как предполагалось, а в Клину. И, положив ему руку на плечо, добавил:

– Извини, тебя не приглашаю. Насколько мне известно, ты в этот день едешь встречать Августа Ольденбургского. Высоких гостей со всего мира столько приезжает, что Великих князей недостает, чтобы всех принять подобающим чином. Так что приготовься поработать…

* * *

Константин Константинович ехал по Тверской и не узнавал ее: на всем протяжении улица была украшена мачтами с флагами, арками, увитыми зеленью и цветами, декоративными обелисками и колоннами, появилось много торговых павильонов, потому что многочисленные рестораны и другие гастрономические заведения были переполнены. Стены домов были задрапированы коврами и яркими тканями, на балконах среди зеленых гирлянд были укрыты мириады электрических лампочек, зажигавшихся с наступлением темноты. Сотни и тысячи роскошных экипажей медленно двигались по обеим сторонам улицы; несмотря на холод, тротуары были заполнены толпами необыкновенно оживленных людей. Великий князь подумал, что в такой ситуации перейти с одной стороны улицы на другую оказалось бы затруднительно. Среди гуляющих было множество солдат и гвардейских офицеров в парадных мундирах, и командир с гордостью отметил, что преображенцы отличаются от других своим праздничным видом. А гости в Москву всё прибывали – казалось, в эти дни в древнюю столицу стекается вся Россия. Весь чиновный и аристократический Петербург переселился в эти дни в Москву, переполнив дворцы и гостиницы. Великий князь то и дело видел знакомые лица, отвечал на поклоны. Каждый, даже мелкопоместный, дворянин почитал своим долгом посмотреть на

коронацию.

Много было лиц официальных, приехавших для поздравлений нового царя, – волостные старшины, войты, [50] представители инородцев в ярких среднеазиатских халатах. В каждой московской семье принимали гостей, родственников и друзей из других городов. Некоторые парки напоминали бивуаки, палатки стояли и во дворах. Нелегко было принять и накормить такую тьму приезжих. Одни завтракали и обедали в шикарных ресторанах и закусочных, другие – под деревьями на пронизывающем ветру. Тем не менее никто не роптал, наоборот – на большинстве лиц угадывалось воодушевление от возможности присутствовать на этом празднике среди именитых сановников, генералов и адмиралов, наследных принцев со свитами, чрезвычайных послов и специальных представителей, съезжающихся в Москву со всего света на коронацию русского Императора. Все ждали этого великого события и надеялись на то, что к приезду Государя и уж, во всяком случае, ко дню коронации тучи рассеются и в Москве воссияет солнце.

Первые дни в Первопрестольной прошли для Константина Константиновича в радостных хлопотах. Он встречал членов своей большой семьи: брата Дмитрия, сестер – Ольгу с сыновьями, греческими принцами, и Веру с дочерьми, красавицами-близняшками. Потом из Петербурга прибыли Мама с женой, осталось только дождаться Иоанчика с Гаврилушкой, которых привезут из Стрельны перед самой коронацией. Между встречами посетил Политехнический музей и даже нанес несколько визитов. Досада от неловкости, возникшей при первой встрече с Сергеем, полностью улетучилась после обеда, на который московский генерал-губернатор пригласил всю большую семью Константиновичей, и был радушным, внимательным. То ли Элла постаралась, то ли сам одумался.

Погода между тем упорно не хотела налаживаться, что, вопреки радостным ожиданиям, иногда наводило уныние. Константин Константинович с приездом жены включился в график встреч и приемов высоких иностранных гостей: принц и принцесса Румынские, кронпринц Датский, Наследник Великого герцога Баденского, принц Японский, Артур Коннаутский с супругой и пр. и пр. В этой череде кто-то перепутал время приезда принца Генриха Прусского и его не встретил никто из Великих князей. Немцы и германский посол обиделись, и министру двора пришлось заглаживать оплошность на приеме, устроенном Государем для Генриха со свитой и принцев Баденского, Вюртембергского и Японского.

После встречи Августа Ольденбургского на Смоленском

вокзале Константин Константинович с братом Дмитрием решили выпить чаю в буфете и подождать прибытия императорского поезда. Едва расположились, как к их столу подошел невысокий плотный генерал от инфантерии и густым басом шутливо представился, очевидно, вполне сознавая, что его не могут не знать:

– Драгомиров, командующий войсками Киевского округа. Прошу, так сказать, любить и жаловать. Разрешите, Ваши Императорские Высочества, составить вам компанию.

Константин Константинович несколько раз видел генерала – одного из видных командиров Русско-турецкой войны, читал его труды по военному делу, его отчаянную полемику с графом Львом Толстым по поводу патриотизма и воспитания солдат. [51]

– Прошу вас, Михаил Иванович, окажите нам честь!

– Небось, устали королей да принцев встречать-привечать? – сочувственно произнес генерал, усаживаясь за стол. – Слыхал, что даже принц Сиамский пожаловал. Кто раньше знал, где тот Сиам лежит? Поперли иностранцы в Москву с поклонами, никогда столько их на коронациях не бывало. Заставил покойный Государь уважать Россию-матушку. А вот скажите мне, пожалуйста, Ваши Высочества, не удали Александр III от трона вашего батюшку-либерала, царство ему небесное, со товарищи, видели бы вы сейчас здесь иноземцев в таком количестве?

Константин Константинович слышал о грубоватой манере Драгомирова, его склонности подсаливать разговор и непристойной прибауткой, но сейчас был шокирован его прямотой и счел за лучшее ответить вопросом на вопрос:

– А не думаете ли вы, дорогой генерал, что этого не случилось бы без освобождения крепостных и других реформ Александра II, которые помогли его сыну завоевать для России огромный авторитет среди европейских народов?

– Вы, Ваше Императорское Высочество, хотите сказать, что невозможно определить, какие события в прошлом влияют на будущее? Может, оно и так, но не в нашем случае. Либеральные реформы только раззадорили наших революционеров и болтунов-интеллигентов. Александру III пришлось потратить немало сил, чтобы усмирить их. Никакие реформы невозможны в государстве, где царит анархия, где в царей бросают бомбы и разлагают армию, основную опору престола и отечества, а юношей воспитывают в презрении к патриотизму. Порядок, уважение к власти – а потом уже реформы постепенные, и Его Величество Александр III понимал это. К сожалению, судьба позволила ему выполнить только первую часть выпавшей на его долю задачи, а теперь уж как Бог даст… – Драгомиров тяжело вздохнул, и вздох

этот был красноречивее слов: генерал сомневался, что Бог еще раз пошлет России такого Императора, как любимый им Александр III.

Спорить с генералом, который ему в отцы годился, Константин Константинович не стал, да и резонов особых не имел. Счастливое правление Александра III, во время которого на границах царил мир, а государство процветало, и его самого не раз заставляло задуматься о том, к чему бы привели Россию либералы… И однозначного ответа он не находил. Да, России повезло с Александром III, тут ничего не скажешь, он знал, чего хотел для государства, и твердой рукой проводил свою линию, окружив себя преданными и умными людьми. А удастся ли такая форма управления новому Царю, если он окажется менее решительным, склонным поддаваться влиянию окружения? И сможет ли он в одиночку править такой громадной страной, как Россия? Да, Царь – Помазанник Божий, но неужели первенец в Царской семье более обладает качествами Императора, нежели другие сыновья? Закон о порядке наследования российского престола писан ведь не Богом, а человеком. К тому же Константин Константинович давно заметил, что свойства характера, склонность к тому или другому занятию да и внешние черты чаще всего наследуются не сыном, а внуком. Семейные предания говорят о том, что Николай Павлович, узнав о смерти отца и об отречении от престола старшего брата Константина, в одну минуту преобразился в Императора Николая I. А днем позже он железной рукой усмирил декабристов. Нечто подобное произошло и с его внуком Александром III. После кончины отца, смертельно раненного бомбой террориста, он тут же объявил, что охрана порядка в столице поручается армии, и собрал Совет министров в Аничковом дворце. Террористы вскоре оказались там, где им и надлежало быть. А вот сын его, Николай Александрович, если верить Сандро, при воцарении плакал – это жаль. С другой стороны, может, либералы более дальновидны и их представления об управлении государством, когда просвещенный и справедливый монарх делит власть с преданными ему избранниками народа, более совершенны?…

Но раздумьями такого рода Константин Константинович, со своей наследственной любовью к монарху милостью Божией, тяготился и гнал их от себя, сочтя раз и навсегда греховными. Сейчас же, чтобы не заходить в этом неожиданном споре слишком далеко, Великий князь решил оседлать любимого конька Драгомирова – перевести разговор на воспитание солдата-воина.

– Мне бы очень хотелось получить от вас обещание, что вы в недалеком будущем посетите офицерское собрание

Преображенского полка и мы услышим, как говорится, из первых уст ваши соображения о воспитании воина-патриота. Я читал ряд ваших любопытнейших статей на эту тему и полностью разделяю их пафос.

– Ну вот, спасибо, очень деликатно вы одернули старика, – не без иронии заметил на это Драгомиров. – Я – давний и горячий поклонник нашего гениального полководца Александра Васильевича Суворова и его идей о братстве командира с солдатом, о воспитании патриотизма, но теперь это не модно. Теперь модно провозглашать вместе с графом Толстым, что армия нужна не народу, а правительству и высшим сословиям, примыкающим к правительству, для властвования над народом, а защита от внешних врагов, дескать, лишь отговорка. Хотел бы я видеть наших толстовцев, если, не дай Бог, полстраны окажется в руках иноземцев. Это они сейчас тянутся к нам с поклоном, когда Россия сильна как никогда. Не дай Бог ослабнет – раздерут на куски, аки волки алчные… – Он в сердцах махнул рукой. – А ваше предложение, полковник, с удовольствием принимаю. Вы вот только еще раз подумайте, нужна ли вам занудливая лекция занудливого генерала.

Великий князь улыбнулся:

– Михаил Иванович, встреча с вами только укрепила меня в этой решимости.

Константин Константинович хорошо знал брата – приглашение означало, что задиристый генерал и ему понравился.

В буфет вбежал начальник вокзала:

– Господа, поезд Его Императорского Величества уже на перроне, не опоздайте!

Константин Константинович посочувствовал Императору: он прибыл в Москву 6 мая, в день своего рождения, а древняя столица встретила его проливным дождем и холодом. Его Императорское Величество Николай II вышел из вагона в форме 1-го лейб-гвардии гренадерского Екатеринославского полка, молодая Императрица – в меховой накидке. Их улыбки показались в первую минуту немного растерянными, но увидев среди встречающих близких людей, Царица, а за ней и Государь быстро обрели приветливую уверенность.

* * *

Накануне дня, назначенного для торжественного въезда Царя в Москву, оба Константиновича снова провели несколько часов на

Смоленском вокзале, встречая важных гостей. Последним прибывал поезд вдовствующей Императрицы Марии Федоровны. Она вышла из вагона как будто помолодевшая, трогательно красивая и грустная. Константин пытался представить, о чем она думала, направляясь в Москву, где сама короновалась 13 лет назад. О внезапно оборвавшемся счастье; о безвременной кончине любимого мужа; о невестке, которая была не очень желанной для покойного Государя и часто раздражала ее саму; о сыне, которого муж незадолго до смерти считал еще не созревшим для серьезных решений? О предстоящей коронации и о том, чтобы не разрыдаться в торжественный момент? Константину Константиновичу захотелось ее обнять, прижать к груди и погладить по голове, как маленькую. Так иногда делал, никого не стесняясь, ее богатырь-супруг. Она смутилась, словно разгадав его желание, и подала руку Дмитрию…

Вечером 8 мая в Петровском дворце, где собралась вся большая семья Романовых, а также высокие иностранные гости, принцы с принцессами, чтобы послушать серенаду в исполнении московских певцов, к нему подошел Государь:

– Завтра, ты знаешь, первый и ответственный для нас день – въезд в Первопрестольную. Аликс очень волнуется. В соответствии с церемонией я буду верхом на Норме, а Мама решила, что поедет за мной в своей золоченой карете. Одна. Аликс же – следом за ней. Конечно, Костя, мне было бы во всех отношениях легче и спокойнее, если бы Мама и Аликс ехали вместе, но у Мама, видимо, свои резоны…

Константин Константинович сочувственно развел руками:

– Что делать? Не придавай этому значения, Ники, всё будет как нельзя лучше! Увидишь!

– Вот и дядя Сергей говорит. Я так ему благодарен за то, что встретил нас в Клину, всё вышло так тепло, по-родственному. Ведь для Аликс он не просто один из Романовых, а муж ее сестры! И вдруг, представь, кое-кто советует мне самому вникнуть во все детали предстоящей коронации: на Сергея Александровича будто бы нельзя положиться… Но у меня на это ни сил нету, ни, признаться, желания. Да я ему во всем и доверяю.

– И правильно, Сергей надежен и ответствен, – успокоил его Константин.

Серенаду, которую исполняли многочисленные московские хоры с оркестрами во дворе, Императорская чета и гости слушали с балкона. Каждый певец держал в руке шест с фонариком, и вокруг Петровского дворца образовалось целое море пестрых огней. Зрелище было необыкновенное, а пение превзошло все ожидания. Царь, а за ним и все стоящие на балконе

зааплодировали. В ответ снизу раздалось громовое «ура» – оказалось, вокруг дворца собралось множество народу… И тут только Константин Константинович заметил, что пламя факелов ровно и спокойно, а дождя нет. Поднял глаза к небу и поразился: луна выходила из-за туч… Погода для него в последние дни приобрела какое-то мистическое, знаковое значение: пошлет Бог солнышко в день коронации – пошлет и мирную трудовую жизнь России. Выходит, выхлопотал Сергей у Бога погоду?

* * *

На следующий день вышло солнце и мигом восстановилось счастливое настроение, с которым Константин въезжал в Москву. Под окнами Потешного дворца с раннего утра гремела музыка: воинские части одна за другой занимали положенные им места. Великий князь с удовольствием надел парадный мундир и Преображенский знак на шею, а также Андреевскую ленту и ордена. Подошел к зеркалу и понравился себе: сияли ленты и ордена, радостным блеском сияли глаза. Не утерпел, чтобы не показаться дамам. Переступив порог, щелкнул каблуками:

– Ну что, могу я встретить Государя в таком виде?

Оля, а вслед за ней Мама, Вера и жена по очереди расцеловали его: «С Богом!»

В соответствии с церемонией встречи Государя сводный полк Великого князя, за исключением одного батальона семеновцев, наряженного в кремлевский караул, к полудню должен был расположиться на территории от Спасских ворот до Архангельского собора. Константин Константинович не сомневался в дисциплинированности подчиненных. Незадолго до полудня он вышел из дворца, ему тут же подвели Голубка, оседланного с вольтрапом. Лошадь, похоже, тоже понимала всю торжественность момента – гарцевала озорно, будто пританцовывая под музыку. Он придержал ее и ровной рысцой поехал через Императорскую площадь к соборам. На Соборной площади были установлены помосты, устланные алым сукном, на них собирались сановники в богато расшитых мундирах. Салют из девяти выстрелов с Тайницкой башни возвестил полдень 9 мая, ударил большой колокол на Иване Великом, и его звон разнесся по всей Москве. Многие на площади перекрестились.

Три батальона сводного полка замерли в безупречном строю на Соборной площади в ожидании инспекции Великого князя Владимира Александровича, главнокомандующего войсками гвардии Петербургского военного округа. Константин

Константинович выехал навстречу главнокомандующему и вместе с ним с гордостью объехал свои батальоны. Владимир Александрович поблагодарил его за хорошую выправку солдат и позволил им расслабиться и составить ружья. А затем направился вдоль пути, по которому вскоре должен был проехать Царь.

Константин Константинович спешился и с двумя офицерами поднялся в залы Большого Кремлевского дворца проверить, как несут внутренний караул первые две роты. Остался доволен. Не смог отказать себе в желании зайти в Архангельский собор. Приложился к святым мощам и прочитал надписи на всех сорока шести надгробиях, помянув таким образом всех московских Великих князей и Царя Ивана IV. На выходе из собора замер: солнце сияло, площадь была заполнена народом, ликующе звучали колокола. Все были в радостном воодушевлении, переполнявшем и его самого: Бог милостив к России, а значит, милостив и к нему, ко всей великокняжеской семье. Взглянув на часы, он решил вернуться к своим батальонам и проехаться через Красную площадь к Иверской часовне. У одного из красных помостов его окликнули по имени. Он решил, что ослышался: голос принадлежал старшему брату Николаю. Обернулся и с трудом узнал его в человеке с пышными усами и в мундире коллежского советника. Брат подошел, и Константин Константинович, поддавшись первому порыву, обнял его, потом отступил, чтобы разглядеть:

– Никола, что за маскарад?

– Очень рад тебя видеть, Костя! А усы отрастил специально, чтобы не все узнали. Я здесь как частное лицо. Хочу, чтобы ты сделал мне одолжение…

– Подожди, а тебе не приходило в голову обратиться к новому Императору за разрешением присутствовать на коронации?

– Конечно же приходило. Я даже прозондировал почву в Петербурге. Император-то новый, Костя, а правление старое. Ладно, Костя, здесь не место и не время для подобных разговоров. Прошу тебя, уговори Мама принять меня до коронации. У меня к ней важный разговор, касающийся не меня, а моего старшего сына Артемия. Сам я ни за какие коврижки в Петербург уже не вернусь… Прирос я к зною и пескам, да и дел там у меня, поверь, невпроворот…

– Хорошо, Никола, я поговорю с Мама.

Сев на лошадь, Константин Константинович через Спасские ворота выехал на Красную площадь. Над площадью стоял торжественный колокольный звон. Он поддался общему ликованию и, весело пришпорив коня, рысцой вернулся к своим

батальонам. Как раз вовремя: первый залп салюта возвестил, что Царь выехал из Петровского дворца. Все сняли шапки. Он дал команду разобрать ружья…

Ночью, после возвращения с Мама и женой из балета через великолепно иллюминированный и оживленный город, Константин Константинович сел за дневник. Долго описывал торжественный въезд Николая II в Москву 9 мая, почти так же долго, как тянулось само шествие. Описал, как Царь с Царицей и вдовствующей Императрицей посетили Иверскую, как показался Государь на белом коне из Спасских ворот, приветствовал батальоны, как августейшая троица посетила Успенский собор, как кланялась святым мощам в Архангельском… Затем с верхней площадки Красного крыльца «Царь и обе Царицы трижды поклонились народу. Чудная минута! Говорят, в толпе многие молились, многие крестили Государя вслед. Императрица Мария Федоровна в своей золотой карете все время плакала: ей слишком тяжело было вспоминать, как 13 лет назад она эти же торжества переживала со своим возлюбленным мужем…».

Только ли по этой причине плакала Царица-мать? А может быть, потому, что как никто другой знала: Господь вверяет Россию Царю, не наделенному жестким характером Императора? Об этом, собственно, иносказательно говорил и генерал Драгомиров, об этом, хотя и совсем по другому поводу, – брат Никола.

Если согласиться с тем, что Александр III был почти идеальным монархом для России, то в воцарении его действительно можно увидеть волю Божью. Престол предназначался его старшему брату Николаю, как и датская принцесса Дагмара, ставшая его невестой. Однако старший сын Александра II безвременно умер. Перед кончиной он попросил брата, которому теперь предназначался престол, не оставлять его бедную невесту… Любовь Александра III и принцессы Дагмары, императрицы Марии Федоровны, вполне может стать сюжетом романтической поэмы… Но разве можно доверить такие мысли дневнику, подумал он, не слишком ли это дерзко – разгадывать Промысел Божий? И описал казус, происшедший при шествии торжественной процессии из Успенского собора в Архангельский. Духовенство, шедшее впереди Царя с Царицами, направилось в северные, а не в южные двери, как было предусмотрено. Великий князь Владимир Александрович громким голосом (он не умел говорить тихо) окликнул митрополита, чем едва не нарушил всю торжественность. А потом Его Величество нарушил церемониал, прошествовав к Красному крыльцу, не зайдя в Благовещенский собор, вследствие чего духовник Янышев оказался не впереди, как

было положено, а сзади.
«Дай Бог, чтобы это были последние накладки», – вздохнул Константин Константинович.

* * *

В театре Константин рассказал Мама о встрече с братом Николаем и его просьбе. Мама обещала дать ответ позже. Следующим утром он услышал ее осторожный стук в дверь.

– Костя, сейчас еще нет десяти, сходи за ним. Я говорила с Олечкой и Верусей, они будут рады Николе, мы вместе позавтракаем. Конечно же без внуков. А перед завтраком я выслушаю его.

Они сидели за столом, как в былое время. Только Пап? не хватало. Никола, воодушевленный нечаянной встречей, с необыкновенной живостью рассказывал о своей жизни в Средней Азии, о коллекции картин и древностей, которые собрал, о планах по озеленению пустыни. И вдруг сказал, что не таит зла на Императора Александра II и даже хотел приехать проводить его в последний путь, но ему не позволили, а вот на похоронах отца он якобы присутствовал инкогнито… У Мама и сестер увлажнились глаза.

– А знаешь, Никола, – сказала Ольга, – в моей гостиной в Греции среди семейных фотографий есть и та, где, помнишь, мы втроем – Веруся, ты и я на русском балу. Я сказала детям, что ты вступил в морганатический брак и поэтому уехал из Петербурга.

– Благодарю за память, Оленька. Но не будем об этом…

Константин Константинович проводил брата до выхода из Потешного дворца.

– Костя, я просил Мама через Императрицу Марию Федоровну посодействовать поступлению моего сына Артемия в опекаемое ею Николаевское военное училище. Она пообещала. А еще я ее попросил позволить Артемию бывать у нее иногда по выходным. И тебя прошу об этом. Сын-то мой ни в чем не виновен перед вами, он тоже Романов по крови, а будет совсем один в Петербурге… – И тут же без всякого перехода добавил: – А знаешь, брат, жизнь в глухомани имеет свои преимущества. Я в прошлом году у одного семиреченского казака за сто рублей купил шестнадцатилетнюю дочь и скоро жду ребенка от нее…

Константин Константинович оторопел, подумав, что Никола все же не совсем нормален. Тот понял, что шокировал брата:

– Ладно, ладно, Костя, извини. Это я так, между прочим, это неправда, вернее, всё было не так, да и вообще ничего такого не

было. Ну, брат, я побежал, уже опаздываю.

Константин молча смотрел ему вслед.

* * *

Два дня подряд сияло солнце, и всё шло, как было намечено. Великий князь верхом сопровождал свой сводный полк в село Преображенское, колыбель преображенцев, чтобы в местной церкви отслужить молебен. По пути отделились семеновцы и с этой же целью свернули в село Семеновское. А в последний Троицын день все планы и появившееся было настроение опять разрушил хлынувший с утра проливной дождь. В парадном Измайловском мундире Константин Константинович стоял у окна и ждал, когда подадут экипаж, чтобы ехать на Ходынское поле, где намечался церковный парад с участием Измайловских батальонов, уланов, саперов, Ростовского и Таврического полков в присутствии Государя. И тут пришло известие, что парад отменяется…

Позже он не раз думал о том, что случись все же парад на Ходынке, может быть, и заметили бы многочисленные ямы и канавы, образовавшиеся в результате испытаний мин, и успели заровнять, и количество жертв в этой ужасной катастрофе было бы меньше.

* * *

Великий князь знал, что коронация – государственный обряд, имеющий целью продемонстрировать единство Православной церкви, самодержавия и народа. Это грандиозный спектакль, поставленный по сценарию, заимствованному в основном у последних византийских императоров. В России, в отличие от подобных обрядов в ряде европейских государств, роль Церкви более значительна: православные иерархи сопровождают правителей на всех публичных церемониях, всегда находятся на первом плане. Постановка этого спектакля требует много времени (Кавалергардский полк, например, начал приготовления к коронации Николая II еще в апреле 1895 года) и усилий многих профессионалов – литераторов, архитекторов, художников, не говоря уже о режиссерах – верховном церемониймейстере, обер-церемониймейстере и просто церемониймейстере. При этом все они, а также главные участники обряда – Царь с Царицами, высшее духовенство и зрители на трибунах – должны проявить

такую высокую степень мастерства и вовлеченности в действо, чтобы коронация прошла без сучка и задоринки и казалась поставленной самим Господом. Но при всем при том Великий князь, как один из главных участников этого спектакля и его созерцатель одновременно, искренне верил в божественность предстоящего действа, в то, что Николай II после Божественного помазания на царство укрепится духом и станет достойным преемником своего отца.

В этот торжественный день, 14 мая 1896 года, Константин Константинович проснулся в половине шестого и первым делом вышел во двор Потешного. Двор весь был залит солнцем, а небосклон – совершенно чист. С души как камень свалился. В шесть часов из арсенала, ставшего базой для кавалергардов, раздались звуки военного оркестра. Он отправился на небольшую прогулку и увидел сотни тысяч людей, уже занявших кремлевские площади. Похоже, вся Москва с раннего утра хлынула к Кремлю. Площадь между соборами пестрела красным сукном помостов, золотом и серебром мундиров, невиданным доселе разнообразием одежд. Через площадь к амфитеатру трибун, установленных полукружием от Благовещенского собора до церкви Двенадцати апостолов, спешили люди, чтобы занять свои места. Трибуны были устроены и между Благовещенским собором и Красным крыльцом, у которого уже собирались кавалергарды, участвующие в процессии. Часть из них с обнаженными палашами уже выстроилась шпалерой от Красного крыльца до южных ворот собора. Путь торжественного шествия был устлан красным сукном и отделен от трибун невысокими перилами.

Возвращаясь в Потешный через большие залы Кремлевского дворца, он увидел, что кавалергарды под командованием своих офицеров уже выстраиваются у дверей на выходах из зала в зал. В одном из залов он встретил командира наряда штаб-ротмистра маркиза Паулуччи. Оказалось, кавалергарды еще в три часа ночи были доставлены в помещения кремлевского арсенала для переодевания в парадную форму. Большинство из конногвардейцев надевали ее впервые, а без посторонней помощи здесь было не обойтись. Лосины, например, натягивались мокрыми, только высохнув на теле, они приобретали нарядный вид. Маркиз рассказал об одном происшествии, которое представило Императрицу Марию Федоровну внимательным и заботливым шефом полка. В коронацию 1883 года как-то не задумались о том, что кавалергарды будут находиться в Кремле и стоять в нарядах с трех утра до четырех-пяти часов дня. Нижние чины все это время оставались без пищи, и с некоторыми случился голодный обморок. Вчера Мария Федоровна

поинтересовалась у командира полка Гринвальда, накормлены ли ее кавалергарды. После этого командование срочно договорилось с дворцовым ведомством и полку было отведено специальное помещение, куда доставили пироги с рисом и даже бочонки с красным вином. Там же дежурили и полковые врачи.

Вернувшись домой и переодевшись в парадный Преображенский мундир, Великий князь проделал обратный путь к Красному крыльцу. Ровно в семь часов загудел колокол Ивана Великого и начали салютовать пушки с Тайницкой башни. Константин Константинович механически стал считать залпы – двадцать один. Московские колокола подхватили эстафету Ивана Великого и наполнили город праздничным перезвоном. В таинственной глубине голубых небес с пронзительным криком носились ласточки, обещая первый жаркий весенний день. Войска уже построились, трибуны были заполнены до отказа. Люди стояли так плотно, что видны были только головы, целое море голов. В восемь часов Великий князь уже был в парадной гостиной Большого Кремлевского дворца. Здесь собирались члены романовской семьи и иностранные принцы. Без четверти девять двери растворились, и в зале появилась Императрица Мария Федоровна. На лице ее не было ни радости, ни торжественности. Напротив, корона и яркая порфира совершенно не ладили со страдальческим выражением ее прекрасного лица: вдовствующая Императрица напоминала разубранную жертву перед закланием. У Константина Константиновича защемило сердце: с таким лицом она может испортить весь праздник. Он мысленно посылал ей сигналы: пожалуйста, возьми себя в руки, думай о сыне, чтобы Бог дал счастье ему и России. Императрица кивком головы поприветствовала всех и никого в отдельности и направилась в Успенский собор.

Церемония святой коронации длилась около четырех часов. Когда обряд закончился, члены семьи Романовых, начиная с Императрицы-матери, поочередно поздравляли Царя и Царицу. Когда подошел Константин Константинович, Государь в ответ на поздравление обнял и поцеловал его.

Потом была трапеза в Грановитой палате, которую Великий князь вместе со всей семьей наблюдал в низкое окошко тайника. Для зачарованного Константина Константиновича часы пролетели как минуты, всё было как во сне. Пусть это и спектакль, но спектакль гениальный по силе воздействия на православную русскую душу.

Дети устали и попросились домой – вместе с Мама и женой. Он проводил их к парадной карете Мама, голубой с золотом, с форейторами и двумя лакеями на запятках. Самому же хотелось

увидеть офицеров-преображенцев, чтобы поделиться впечатлениями. Он дал команду подать экипаж и поехал к Тверской, в сторону генерал-губернаторского дома.

– Вы были правы, Ваше Императорское Высочество! Государь короновался в Преображенском мундире! – едва поздоровавшись, воскликнул капитан Вельцин. И сразу осекся: – Сам я, правда, не видел – был в дальнем наряде, но уже слышал.

Константин Константинович знал, что увидеть шествие Царской четы могли только два унтер-офицера и пять нижних чинов, свободных от наряда.

– Что ж, капитан, хотелось бы, чтобы церемонию святого венчания на царство увидела вся Россия, но, к сожалению, это невозможно. Но, уверен, представители народов России, кому выпало счастье присутствовать при торжественном шествии в собор и на обряде коронации, а таких было десятки тысяч, со всеми подробностями расскажут землякам об этом торжественном событии. Вам же большое спасибо, капитан, вы обеспечивали порядок и отлично справились со своей задачей. Как, впрочем, и все преображенцы.

Скоро вокруг Великого князя образовался кружок из офицеров, и все просили рассказать, что происходило в соборе и вокруг него. Он посмотрел на часы:

– Хорошо, полчаса у меня есть. Царское шествие началось в десять часов. Его открыл взвод красавцев-кавалергардов в блестящих касках с орлами, в белых мундирах и красных супервестах. Затем два церемониймейстера с жезлами вели за собой нескончаемую процессию представителей русских волостей, городов, земств и дворянства. Они олицетворяли всю Россию, которая прокладывала путь Государю к месту священного коронования. За ними шли представители первопрестольной столицы нашей и чины Министерства Императорского двора, за ними – депутаты казачьих войск в мундирах и черкесках. За ними втягивались в собор губернские предводители дворянства и сенаторы в своих красных, расшитых золотом мундирах, министры и члены Государственного совета… Войска взяли «на караул». Под гром барабанов и бой колоколов высшие сановники несли императорские регалии. Их встретило высшее духовенство. Митрополит Киевский Иоанникий окадил регалии фимиамом, а митрополит Московский Сергий окропил их святою водой… Мощное «ура», казалось, раскатилось над всей Москвой. Оркестры заиграли «Боже, царя храни». Всем стало понятно, что на Красном крыльце появилась августейшая чета. Им предшествовали взвод блестящих кавалергардов, гофмаршал, обер-гофмаршал и верховный маршал с жезлом. Государь был в нашем родном

Преображенском мундире, с порфирой поверх его. Государыня – в серебряном платье в русском стиле и золотой мантии, обитой шкурками горностая. Позади Их Величеств ступали ассистенты, родные дяди Государя, за ними – министр двора, военный министр, командующий императорской главной квартирой и командир Кавалергардского полка генерал-майор Гринвальд с обнаженным палашом. Закрывали это впечатляющее шествие четыре статс-дамы и фрейлины Ее Величества…

В этот момент появился еще один свидетель священной коронации, полковник Кашернинов:

– Я, между прочим, запомнил ваши слова о том, сколько весит наряд Императрицы, и практически не спускал с нее глаз. Представьте, Александра Федоровна за все эти часы ни разу не показала, что на ее плечах такая тяжесть. Выступала как лебедушка, с доброй улыбкой на устах! А ведь двадцать три килограмма в течение четырех часов – не шутка…

«Нелегко быть Императрицей в России, но первое испытание тонкая и хрупкая Аликс выдержала. В добрый путь», – подумал Константин.

Вечером Великий князь с женой повезли детей покататься. Целый час ездили по Москве. Выехали через Боровицкие ворота, потом по Волхонке и Ленивке проехали к Каменному мосту и по другой стороне реки по Москворецкому мосту, Красной площадью вернулись в Кремль через Никольские ворота. Москва сверкала тысячами огней, отовсюду неслась музыка военных оркестров. Играли главным образом «Боже, царя храни». На улицах и площадях – толпы народу. Ландо с трудом продвигалось вперед, зажатое с двух сторон. Какой-то человек обознался: «Ура, Сергей Александрович!» Толпа подхватила: «Ура!» Константин Константинович порадовался за Сергея и помахал человеку рукой. Но несколько раз кричали «ура» и в его честь. Иоанчик с Гаврилушкой сияли от восторга: «Пап?, папа, они тебя узнали, они любят тебя!»

Вернувшись, усталый, но в приподнятом духе Константин Константинович уселся за дневник:

…

«… Шествие так растянулось, нас с иностранцами было так много, что, когда Императрица Мария Федоровна вступала в Собор, мы не дошли еще до Красного Крыльца.

Издали доносились до нас крики „ура“, приветствовавшие ее появление на Красном Крыльце. Императрица восседала на своем троне несколько правее престола Царя и молодой Царицы. Крики на площади возвестили нам о шествии Их Величеств. Духовенство вышло встречать речами и „почтить их каждением фимиама и кроплением святой воды“. Скипетр нес гр. Делянов, державу – Набоков, большую корону – Милютин. И вот вошли Их Величества и совершили поклонение местным иконам. Государь был сосредоточен, лицо Его имело набожное, молитвенное выражение, во всем облике Его сказывалось величие. Молодая Царица – воплощение кротости и доброты. Императрица-мать казалась так же молода, как и 13 лет назад, в день своего коронования. Государь с супругой воссели на престол… Ему помогали надеть порфиру; при этом разорвалась Его большая бриллиантовая Андреевская цепь. Мне плохо было видно, как Он возложил на себя корону и взял скипетр и державу, а коленопреклоненную перед Ним Императрицу мне совсем не было видно, удалось только рассмотреть, как Он приподнял и поцеловал ее. Слов митрополита Палладия почти не было слышно. Точно так же я плохо слышал молитву, прочтенную Государем, стоящим на коленях. Только когда все опустились на колени, а Государь один стоял во весь рост, я мог на Него налюбоваться…»

Было около двенадцати, когда он закрыл тетрадь.

Еще в Петербурге Великий князь получил письмо от

измайловца своей роты левофлангового Алексея Тимаева, человека грамотного и умного. Тимаев, ушедший в запас почти семь лет назад, стал старшиной Сызранского уезда Симбирской губернии и был приглашен на коронацию в Москву. Очень хотел встретиться и просил его разыскать. Это оказалось нелегким делом, но Константин Константинович, потратив на это добрых три часа, обнаружил его среди тысяч старшин на Красной площади. Тимаев преподнес ему в подарок дамасский клинок. В разговоре старшина восторгался Москвой, обрядом коронации, отношением Царской фамилии к старшинам. Но как бы между прочим заметил:

– Всё красиво и торжественно! Но какая тьма денег пошла на мероприятие! Пол-России можно было месяц кормить.

Великий князь вспомнил слова хозяйственного старшины, когда увидел, сколько однообразных подарков было преподнесено царю при поздравлениях. Дорогими блюдами с хлебом-солью в Андреевском зале было заставлено несколько столов! Потом подсчитали – 192! Из них только одно блюдо – от московского купечества – обращало на себя внимание своей художественной стороной. Исполнено оно было по рисунку Виктора Васнецова и изображало Георгия Победоносца, поражающего дракона.

Вечером 15 мая ему удалось продолжить в дневнике рассказ о коронации:

...

«Величие всего происходящего в Соборе производило подавляющее, неописуемое впечатление. Богослужение от начала коронации до конца литургии продолжалось 2 ч. 30 м., но время проходило незаметно. Всё соединилось тут, возвышая душу и преисполняя ее восторгом: и редкое по красоте и роскоши зрелище, и дивное пение, и трогающее до глубины сердца молитвословие. Лично я умилялся вдвое, видя Государя в нашем родном Преображенском мундире; наш красный, шитый золотом мундир был заметнее под порфирой. Глубоко потрясенный, я видел, как после

причастия два архиерея взошли на площадку трона пригласить Государя шествовать к царским воротам и как совершался обряд миропомазания.

После этого, когда государь вошел в алтарь и сотворил перед престолом земной поклон, царские ворота затворились и наступило молчание, прерываемое редким пением: «Тело Христово примите». Когда вновь растворились врата, было видно, как Государь умывал уста и руки. И вот всё кончилось. Мы ожидали появления Государя на помосте между Иваном Великим и Архангельским собором. Зайдя в Благовещенский собор, Он поднялся на Красное Крыльцо и с высоты его трижды поклонился народу…»

А вот еще одно впечатление от коронации. Оно принадлежит поручику барону Карлу Густаву Маннергейму, будущему маршалу и президенту Финляндии:

…

«… Всё выглядело неописуемо красиво и величественно. То же самое я могу сказать и о самой церемонии. Однако это была самая утомительная церемония из тех, в которых мне пришлось участвовать. Я был одним из четырех кавалергардских офицеров, которые вместе с самыми высокопоставленными лицами государства образовали шпалеры вдоль широкой лестницы, что вела от алтаря к трону на коронационном возвышении. Воздух от ладана был удушающим. С тяжелым палашом в одной руке и „голубем“ (кавалергардекая каска, украшенная

двуглавым орлом, которого называли „голубем“. – Э. М., Э. Г.) в другой мы неподвижно стояли с девяти утра до половины второго дня. Наконец коронация завершилась, и процессия направилась в сторону царского дворца. В горностаевой мантии, с короной на голове, Его Величество шествовал под балдахином, который несли генерал-адъютанты Государя, а перед ним и следом попарно маршировали четыре кавалергардских офицера с обнаженными палашами…»

* * *

Иоанчик с Гаврилушкой уехали в Стрельну, полные ярких впечатлений от Москвы и коронации. Константина Константиновича с Елизаветой Маврикиевной ждали приемы, балы, парадные спектакли, а потом – поездка в Ильинское к Сергею, где будут также Император с Императрицей и их годовалая дочь Ольга. Погода стояла на загляденье. Впрочем, он уже забыл, каким пророческим смыслом наделил ее. Теперь, когда все волнения и мрачные предчувствия остались позади, он с удовольствием окунулся в светскую жизнь, а вечером в тишине и покое успевал даже почитать историю Карамзина.

Утром 18 мая вместе с Павлом Жуковским и двоюродным братом отца Карлом Александром Саксен-Веймарским, который родился в один год с Александром II и помнил Гёте на смертном одре, Константин ездил на место закладки памятника Александру II. Двоюродный дядя в свои 78 лет полон был огромного интереса к жизни, любил Москву и мог без отдыха знакомиться с ее достопримечательностями. По пути домой он взял с племянника обещание, что тот обязательно покажет ему Третьяковскую галерею.

Возвратившись в Потешный, Великий князь узнал от прислуги, что будто бы ранним утром на Ходынском поле, где намечалось народное гулянье, случилась ужасная катастрофа: около трехсот человек якобы насмерть задавлены толпой, есть много раненых. Это известие потрясло его тем сильнее, что грянуло громом с ясного неба. Поверить в случившееся он не мог

и, как было предусмотрено заранее, стал собираться на Ходынское поле: в два часа должен был состояться народный праздник в присутствии Императора. Тут позвонили и дали знать, что два батальона его сводного полка должны срочно прибыть к ходынской дороге. Значит, народный праздник не отменили. Подали экипаж, и он с сестрой Ольгой выехал на Ходынское поле. На Тверской они увидели необычное скопление войск, вдоль улицы бежали люди, шпалерами выстраивались конногвардейцы и пехотинцы. Неужели трагедия все же случилась и это – жуткое предзнаменование царствования нового Государя?! Он ждал предзнаменования от погоды, а получилось – от судьбы…

Народному празднику, который начинался в два часа дня, должна была предшествовать раздача подарков всем, кто придет на Ходынское поле. Было приготовлено полмиллиона коронационных эмалированных кружек с царским вензелем и позолотой и столько же гостинцев. Завернутый в цветной платок гостинец состоял из полфунта колбасы, сайки, конфет, орехов и пряника.

Люди стали собираться с ночи. К рассвету на поле оказалось до полумиллиона тесно сгрудившихся человек. Утро было душным – ни ветерка, дышать в плотной толпе было нечем. От помостов с заветными гостинцами людей отделяли небольшое расстояние, наряд полиции да сотня казаков. Рассказывали, что по толпе прошел слух, будто всем подарков не хватит. Люди были наэлектризованы, и достаточно было одной искры… Такой искрой оказался крик человека, сдавленного сотнями тел. Толпа вдруг сдвинулась и, как лавина, смяв и полицейских и казаков, покатилась вперед. К несчастью, на пути к злосчастным помостам оказались забытые рвы… В считаные минуты они заполнились падавшими туда затоптанными и раздавленными людьми…

Царь узнал о произошедшем в девять с половиной утра – он плакал…

К вечеру стало известно, что погибло не 300, а около 1500 человек – мужчин, женщин, детей. Раненых и вовсе было свыше пяти тысяч…

* * *

Семья Романовых разделилась в своем отношении к происшедшему на Ходынском поле. Константину Константиновичу стало известно, что в жесткую оппозицию к Сергею сразу же стали пятеро сыновей Великого князя Михаила Николаевича. Все они сразу же потребовали немедленной

отставки московского генерал-губернатора и прекращения коронационных торжеств. Старший сын Николай Михайлович вечером того трагического дня был у Царя и предупредил его: если не отменить празднества и посещение балов, то враги Империи скажут, что молодой Царь пляшет, когда его задавленных верноподданных везут в мертвецкую.

Старшее и наиболее близко стоящее к Царю поколение Великих князей – Александровичи – всецело было на стороне Сергея. И они сумели убедить Николая II в том, что Михайловичи играют на руку радикалам и революционерам, а сами якобы только и мечтают посадить на место генерал-губернатора Москвы кого-то из своих. Свои отношения с людьми Константин Константинович строил исходя из того, что перед Богом все равны. В душе он оплакивал смерть сотен этих совершенно незнакомых несчастных людей. Он понимал, что эта трагедия может обернуться трагедией для всей страны, если Сергей, как генерал-губернатор, Император и правительство сделают вид, будто не произошло ничего особенного, и продолжат празднества.

Вечером был назначен бал у французского посла Монтебелло в доме графа Шереметева на углу Воздвиженки и Шереметевского переулка. Константин Константинович решил было на бал не ходить, однако Елизавета Маврикиевна предположила, что его отказ может быть расценен как вызов, если Император с Императрицей будут на балу. Он позвонил Сандро, который сказал, что Государь, глубоко расстроенный, на бал ехать не хочет. Константин Константинович с облегчением вздохнул, но через два часа Сандро перезвонил. Оказалось, у Государя побывали Александровичи – Сергей с братьями – уговорили показаться на часок, так как его отсутствие может быть сочтено неуважением к Франции.

Бал был обставлен великолепно, французское правительство из почтения к русскому Царю отпустило на украшение дома прекрасную мебель и гобелены. На балу Великий князь услышал от графа Витте хоть одну отрадную весть: госказначейство отпускает 300 тысяч рублей в помощь пострадавшим семьям. Появившись на часок, Государь остался ужинать. На этот раз Александровичи – Владимир, Алексей и сам Сергей – убедили Его Величество, что отъезд с бала многим может показаться «сентиментальностью», а то и слабостью. Государь уехал в два часа ночи. Пятеро Михайловичей ушли с бала, как только объявили танцы. Царь танцевал.

Двоюродного брата Сергея Константин Константинович не узнавал. Тот был весел, шутил и забавлялся, будто всё шло

безукоризненно. Владимир Андреевич Огарев рассказал о том, что Сергей заранее назначил фотографирование с офицерами-преображенцами, проживающими в его доме. Узнав о трагедии на Ходынке, офицеры разошлись, решив, что теперь не до фотографий, и очень удивились, когда генерал-губернатор через посыльного пригласил их все-таки сфотографироваться вместе с ним.

Утром 19 мая Константин Константинович набрался решимости и позвонил Сергею, предложив встретиться, поговорить.

– О чем? – раздраженно спросил тот. – О случившемся на Ходынке? Для начала ответь мне на один вопрос: ты считаешь, что я виноват?

– Лично ты не виноват, но ты – генерал-губернатор…

Сергей резко перебил его:

– Нет уж, извини, если я не виноват, то о чем будет разговор?

– О твоем отношении к происшедшему. В сотнях, если не тысячах семей оплакивают близких, а мы танцуем на балах.

– Ты, может, хочешь, чтобы я отменил сегодняшний бал? Нет, Костя, нельзя так узко мыслить. Коронация русского Царя – великое событие международного масштаба, и нам нужно быстрее забыть это несчастье и не посыпать голову пеплом. Это только случай, фатум, в котором никто не виноват.

– Прости, Сергей, но еще один, последний вопрос: представь, что там, среди затоптанных, оказался бы я или кто-нибудь другой из нашей семьи, твой бал бы состоялся?

– Этого, слава Богу, не случилось, и нет проку об этом размышлять. Словом, я жду тебя на балу, и забудем этот разговор.

Сергей положил трубку. Константин Константинович был как в бреду: состоялся ли этот разговор, если состоялся, то с кем? Неужто с Сергеем? С тем Сергеем, с которым размышляли о равенстве всех людей перед Господом? С тем Сергеем, с которым вместе плакали над могилкой погубленной ими ласточки, а потом в церкви горько каялись в смертном грехе? С тем Сергеем, который полностью разделял его мнение о том, что «баловням судьбы» грешно гордиться своим происхождением, так как никакой их заслуги тут нет? С тем Сергеем, которому читал свои первые стихи и кто был его первым благожелательным критиком? Что же с ним произошло в Москве?

Вечером 19 мая Константин Константинович горько размышлял в дневнике:

…

«Больно подумать, что светлые торжества коронования омрачились вчерашним ужасным несчастием… Еще больнее, что нет единодушия во взглядах на это несчастие: казалось бы, генерал-губернатор должен явиться главным ответчиком и, пораженный скорбью, не утаивать или замалчивать происшествие, а представить его во всем ужасе… Казалось бы, следовало отменить бал у себя. Казалось бы, узнав о несчастье, он должен бы был сейчас же поехать на место происшествия, – этого не было. Я его люблю и мне больно за него, что я не могу не примкнуть к порицаниям Михайловичей. Я разделяю их мнение… Сегодня Их Величества посетили в больнице раненых. За обедней во дворцовой церкви Рождества Преподобной Богородицы по приказанию Государя на ектений и литии поминали „верноподданных царевых, нечаянно живот свой положивших“. Царь отпускает по 1000 р. семьям пострадавших».

Ему передали: узнав о том, что правительство взяло на себя оплату похорон жертв ходынской трагедии да еще распорядилось выдать каждой пострадавшей семье по тысяче рублей, китайский посол, приглашенный на коронацию, был невероятно изумлен. Он утверждал, что в Китае Император никогда бы не взял на себя оплату последствий подобной катастрофы. «Господи, сохрани и помилуй, – перекрестился Великий князь, – оказывается, нам есть еще куда катиться». Эх, если бы Александру III Бог дал бы еще лет пятнадцать правления. Кто-то из философов верно сказал: не дай нам Бог жить в эпоху перемен.

Сергей сказал, что отмена празднеств – плохая услуга Царю. Ему же казалось наоборот: взяв вину на себя, сразу же подав в отставку, он помог бы Государю сохранить лицо и тем самым облегчил бы ему жизнь. И Царь остался бы ему благодарен.

Странный случай произошел с царской благодарностью. Как-то на выходе из казарм Константин Константинович встретил

государева ездового, который передал сверток с царским подарком: две пуговицы с бриллиантовыми коронами по красной эмали. Признаться, способ вручения подарка смутил Великого князя. В самом деле, до окончания празднеств еще почти неделя, потом будет Ильинское, куда Сергей пригласил и Государя, и его. Словом, будет не одна возможность вручить подарок собственноручно, что было бы ценнее самого подарка. Но Государь предпочел такой способ. Что ж, его воля.

В футляре он обнаружил записку, где Царь собственноручно написал: «От Аликс и Ники. 21 мая 1896 года». Никуда не денешься, надо чувствовать себя польщенным. Он так и записал в дневнике: «Я очень, очень был обрадован и польщен…»

* * *

На банкете для дипломатического корпуса Константин Константинович сидел рядом с Сергеем. Но даже не пытался заговорить с ним о ходынской катастрофе – телефонного разговора оказалось достаточно. «… Вообще я избегаю с ним касаться деловых разговоров. При всей любви к нему и нашей старой дружбе я не разделяю его взглядов на службу, на дела, на ответственность за вверенное», – отметил он в дневнике.

Между тем Императрица Мария Федоровна потребовала от сына назначить следственную комиссию для выявления причины катастрофы и наказания виновных, что очень правильно и справедливо, как считал Великий князь. Государь послушался и назначил председателем комиссии графа Палена, бывшего министра юстиции. Сергей был очень взволнован назначением комиссии и заявил, что если Царь подпишет рескрипт Палену, то он подает в отставку. «Эх, если бы такая мысль пришла к нему сразу после катастрофы, а сейчас это уже выглядит мелким и непозволительным шантажом Государя… После завтрака в Петровском дворце Сергей с негодованием сказал мне о предположении назначить особое следствие с Паленом во главе; по его словам, подобное следствие под председательством Муравьева наряжено было только раз, в 1866 г. после покушения на жизнь Александра II. Тогда оно было вызвано тяжелыми обстоятельствами государственной жизни. Сергей находит, что Ходынскую катастрофу, как она ни ужасна, нельзя приравнивать к событию 4 апреля 66 г. Положим, так; но следствие ничему не мешает, и весть о нем произвела бы на всех, о том услышавших, самое благоприятное впечатление. Но все братья Сергея возмутились. Владимир и Павел говорили Палену, что всех их

хотят разогнать. Сергей мне сказал, что надеется на мою поддержку…»

Записав эти строки в дневник, Константин Константинович подумал о том, что Сергей, собственно, сейчас прямо ответил на вопрос, заданный ему по телефону. Покушение на Александра II, по его мнению, – тяжелые обстоятельства государственной жизни, а гибель полутора тысяч невинных людей и ранение пяти тысяч – не тяжелые обстоятельства. Сколько же людей должно погибнуть, чтобы он назвал свершившееся тяжелыми обстоятельствами? К сожалению, Константин Константинович в силу своего характера не смог тогда дать прямой ответ на просьбу Сергея поддержать его, а отделался уклончивой фразой, что, дескать, слишком мало знаком с этим делом и не может составить о нем положительного мнения. И был опечален и смущен этим обстоятельством. Долго он мучился этим горьким чувством. Долго размышлял над тем, следует ли прямо указать Сергею на сделанные им ошибки, и даже написал ему письмо. С одной стороны, долголетняя дружба и совесть подвигали его на этот шаг, с другой – он понимал, что его прямота вряд ли изменит Сергея, а уж точно – рассорит их навсегда. Сергей не любит, когда ему в чем-то возражают, раздражается, теряя способность судить хладнокровно и логично. Как всегда, в трудных обстоятельствах Константин Константинович решил посоветоваться с мудрейшим Павлом Егоровичем Кеппеном. Кеппен мрачно вздохнул: «Ни говорить, ни писать – бесполезно».

Рескрипт о комиссии Палена был уже подготовлен, но сторонники справедливого расследования ужасной ситуации радовались рано: Царь его не подписал. Мало того что Сергей заявил Николаю II, что в случае назначения следственной комиссии он подает в отставку, его братья Владимир и Павел объявили Государю, что тоже подадут в отставку.

Позже из разговора с Дагмарой Константин узнал, что Государя просила не делать этого молодая Царица Александра Федоровна. Она не хотела, чтобы из-за Ходынки рухнула карьера мужа ее сестры Эллы. Царь не мог отказать любимой жене.

– О, если бы Царь был решительнее! – воскликнул Великий князь.

Николай II собрался в Ильинское к Сергею. Правильно ли это, ехать на отдых в имение человека, которого в народе, к ужасу Константина Константиновича, прозвали «князем Ходынским»? На этот вопрос Великий князь даже сам себе ответить не решился: царскую волю не обсуждают. Но оказалось, что отъезд Царя в Ильинское выпадает на девятый день гибели ходынских жертв. Константину Константиновичу показалось, что судьба таким

образом дает Николаю II еще один шанс успокоить верноподданных, почтив память погибших. Еще не поздно, еще не поздно… И по совету Павла Егоровича он пишет письмо Императору, стараясь быть как можно дипломатичнее, и заблаговременно с посыльным передает его в Кремлевский дворец:

…

«Милый, дорогой Ники, день твоего отъезда из Москвы, после трех недель торжеств и восторга, совпадает с 9-м днем погибших на Ходынском поле. Как было бы умилительно и трогательно, если б Ты приказал отслужить по ним панихиду в Своем присутствии. Какое бы это произвело умиротворяющее впечатление! Я знаю, что Твое время рассчитано по минутам. Еще лучше этого знаю, что суюсь не в свое дело. Но Твое благо и обаяние Твоего имени дороже мне других соображений. Весьма вероятно, что предлагаемое мною неисполнимо. В таком случае очень прошу Тебя предать это все забвению и ради нашей прежней совместной службы не поставить мне в вину эти непрошеные строки. Горячо Тебя любящий Костя».

«Отправив эту записку, я был почти уверен, что мое предложение останется без последствий. Так и было». Более того, в душе ему стало стыдно за это письмо. Теперь он сторонился Царя. Так было после большого прощального обеда, так было и на Смоленском вокзале, где провожали августейшее семейство. Константину представлялась довольно неприятной двусмысленность в его отношениях с монархом. Но, слава Богу, впереди было еще Ильинское, куда он был тоже приглашен. Приехал он на своей тройке рано, еще девяти не было. И застал там настоящую пастораль. Вечером Великий князь так описал первый день своего пребывания в селе Ильинском:

«… Здесь уже не спали. Сергей с раннего утра отправился ловить рыбу неводом и еще не возвращался. Государь и Императрица катались верхом – в первый раз вместе с тех пор, что Она в России. Элла с братом, великим герцогом Гессенским Ernу, его женой и обоими Баттенбергскими пили кофе в тени деревьев перед домом. Поблизости четыре Преображенца, приглашенные сюда гостить… Скоро вернулись с прогулки Царь с Царицей. Их ребенка, премилую, толстую, круглолицую девочку, возили по саду в колясочке, потом Императрица посадила ее к себе на колени, она мне улыбалась и играла цепочкой от моих часов. Я брал ее на руки. Ходили на скотный двор, бродили по саду. Вернулся и Сергей. К завтраку собралось все общество – за стол село 30 человек. Государь мне предложил с ним купаться. В половине пятого я ждал Его перед домом в саду. Заметив меня с балкона, Он позвал меня в комнаты, они выходили окнами на Москву-реку. Мы спустились к реке, сели вдвоем в лодку, взяли каждый по веслу и поплыли вверх по течению. Выбрав песчаное место на противоположном берегу, поставили лодку на мель, разделись и стали купаться. Нам вспомнились подвижные сборы 93-го года, когда мы тоже вместе купались. – Выбегали на песок, ложились на траву и снова погружались в воду. Отрадно видеть Государя здесь среди привольной тишины после трех недель, когда Он ни минуты не имел покоя. Он говорил, что Московские

торжества кажутся ему каким-то сном, от которого он только очнулся…

Чай пили под липами… Погода дивная, тепло. Пахнет сиренью и тополем, свобода и тишина… Здесь, в Ильинском, отдыхают, наслаждаются жизнью, забывают заботы и тревоги, зачем же врываться в эту тихую, привольную жизнь, подобно осеннему ветру, и портить мирное настроение. Вот почему я на словах боюсь коснуться всего того, что озабочивало меня после ходынской катастрофы…»

Озабочивало… В прошедшем времени. Значит, теперь уже не заботит? Заботит. Но всё отодвинула тихая привольная жизнь в Ильинском, на этом волшебном островке забвения. Более того, он уже потихоньку начинает оправдывать Сергея: «… Главной заботой Сергея было оградить Государя от всевозможных опасностей, всё остальное, даже гибель около 2000 человек, представляется ему не столь важным после того, что Государь благополучно прожил в Москве все три недели коронационных торжеств. Я не стану ему открывать глаза…» Потому что – бесполезно, так и хочется добавить в дневник Великого князя.

Но всё когда-нибудь кончается. Опять Павловск и опять мрачные мысли: кровь жертв Ходынки не замолена. Катастрофа на Ходынке – такое же мрачное пророчество, как фейерверк в честь обручения Людовика XVI и Марии Антуанетты, который также привел к многочисленным жертвам.

…

«Вчера (8 июня 1896 года. – Э. М., Э. Г.) в Павловск приезжал дядя Миша (Великий князь Михаил Николаевич), пробыл у нас от 1 ч. до 5. Я много говорил с ним о несчастии на Ходынском поле. Мы с дядей хорошо поняли друг друга и совершенно согласны во взглядах на этот предмет… О! Если б Государь

был построже и потверже!»

Великий князь Константин Константинович был воспитан в верности монархии и монарху. Так он жил и действовал, подчиняя все свои личные интересы Императору, что означало для него – России и народу. Он был уверен: в силу того, что все Романовы воспитывались и воспитываются на таких же принципах, все они также во главу угла ставят интересы монархии и России. Поэтому ходынскую катастрофу, позицию Царя, своего близкого друга Сергея Александровича да и остальных Александровичей в эти дни он воспринял чуть ли не как личную трагедию. Она противоречила его представлениям о семье Романовых как о главной силе, являющейся опорой трона.

В начале июля Константин Константинович получил приглашение на завтрак от Дагмары. Приехав в Петергоф, застал за столом, помимо Императрицы Марии Федоровны, ее детей Ксению, Мишу и Ольгу, а также княгиню Оболенскую. Основной темой разговора были события, последовавшие после ходынской катастрофы. Оказалось, что все действия сына Дагмара не одобряла. Очень расстроилась тем, что Николай с семьей поехал к Сергею в Ильинское, отождествив таким образом себя с косвенным виновником несчастья.

Константину Константиновичу хотелось рассказать о том, что было пережито им в те горькие дни, однако сдерживали дети и княгиня Оболенская. Но наступил момент, когда они с Дагмарой остались одни. Константин сказал:

– Император поначалу принял правильное решение и назначил следственную комиссию, но некоторые своими недальновидными советами расшатали его волю.

– Костя, дорогой, опять ты его оправдываешь. Скажи, если бы на его месте в тот момент оказался Саша, отец, удалось бы кому-нибудь сбить его с толку, я уже не говорю – «навязать свою волю»? – И не дожидаясь, сама ответила на вопрос, как отрезала: – Нет! И ты это прекрасно знаешь. Все дело в Николае. В нем нет монаршей воли. В тот трагический день Николай обедал у меня. Это я потребовала создания следственной комиссии и наказания виновных. Он дал мне слово. Потом пришли Александровичи, но и тут он бы не посмел нарушить слово, данное матери. Однако у него появился более влиятельный советчик, чем все Александровичи. И кто? Молодая Императрица! Он безумно влюблен в нее и ни в чем отказать не может. Она вступилась за Сергея Александровича из-за Эллы, сестры своей! Николай… у меня даже язык не поворачивается назвать его Императором. Весь мир стал свидетелем его слабости… Вот что меня расстраивает

больше всего.

Константин Константинович опять был потрясен Дагмарой, ее красотой, страстностью, сквозившей в ее речи. И страшной правдой слов, в которой он не сомневался.

– Костя, сама не знаю, почему я это говорю. Наверное, потому, что тебя хорошо знаю и люблю. Ходынская трагедия – это страшное предзнаменование. Боюсь, очень боюсь, мы будем платить за эти танцы на крови.

После встречи с Дагмарой Константин Константинович записал в дневнике:

...

«… Я совершенно разделяю взгляды Императрицы в данном случае. Но мне больно замечать, что между Нею и Ее невесткой рождаются глухие недовольствия… Меня всё это печалит и смущает!»

Качества личности Императора и проистекающие отсюда ожидания для России всерьез заботили Константина Константиновича. Еще один разговор на эту тему с человеком, хорошо знающим и любящим Николая II, – и Константин близок к отчаянию:

...

«Говорили и о Государе. Его нерешительность и недостаток твердости приписывается воспитанию; никто, собственно говоря, не имеет на Ники постоянного влияния. Он подчиняется последнему высказанному Ему взгляду. Это свойство соглашаться с последним услышанным мнением, вероятно, будет усиливаться с годами. Как больно и страшно, и опасно!»

«ИМЯ ПУШКИНСКОГО ДОМА…»

Среди всех неприятностей, обид, интриг, несуразностей Константин не мог забыть о приближении святого для России праздника – столетия со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

«Надо на славу устроить по всей России истинное всенародное торжество, в котором приняли бы участие все возрасты и сословия без исключения. Полагаю, что Академии следовало бы взять почин празднования в свои руки, – пишет он Леониду Николаевичу Майкову, вице-президенту Академии 20 сентября 1898 года. – Не нужно особого комитета: ядро его может составить Отделение русского языка и словесности, а представителей искусств и художеств привлечь не трудно: все, конечно, с радостью отзовутся на клич Академии… Думаю, что вы – биограф и издатель Пушкина – не уклонитесь от ближайшего участия и будете, как и всегда и во всем, моим ближайшим советчиком и помощником… Думается, что, приняв во внимание всероссийскую косность и медлительность, следует не откладывать дела и собраться в заседание не в очередь…»

Константин Константинович посылает письмо Николаю II, отдыхавшему в Ливадии. В нем «Ходатайство об учреждении Высочайше утвержденной Комиссии по устройству празднеств 100-летия рождения Пушкина». Ответ царя был получен сразу же по императорскому телеграфу: «Очень благодарен за письмо, всецело разделяю то, о чем ты хлопотал…»

Комиссия была утверждена под эгидой Академии наук и председательством Константина Константиновича Романова. В нее вошли представители ряда министерств, известные деятели науки, литературы и искусства. Программа празднеств, разработанная комиссией, также была утверждена Императором. Сразу скажем, что прекрасно подготовленные и проведенные юбилейные торжества в честь столетия А. С. Пушкина впервые утвердили Академию наук в качестве общероссийского культурного центра.

Одним из самых важных из множества событий тех торжественных дней, как уже говорилось ранее, стало учреждение в Академии наук Разряда изящной словесности.

Из дневника К. Р.:

…

«Воскресенье. 10 января 1899 года.

Заседание Пушкинской комиссии в полном ее составе. Присутствовал Витте; он оказался смелее нас всех и для увековечивания памяти поэта предложил учредить при Академии наук Пушкинское отделение по изящной словесности. Это будет возвращением к прежней Российской Академии. – Победоносцев на этот раз оказался гораздо сговорчивее. Программа выработана; остается отправить ее на Высочайшее благовоззрение».

«Вторник, 26 января 1899 года. Было заседание Пушкинской подкомиссии, в которой определили печатать портрет Пушкина с гравюры Райта в 100.000 экземпляров, выбить 4 золотых медали, 20 серебряных и 1.500 и 2.000 бронзовых. В отделении русского языка и словесности постановили ходатайствовать перед Министерством финансов об 6 креслах, таким образом число ученых будет увеличено до 8, а в память Пушкина окажутся 4 кафедры для представителей изящной словесности. Придется проявить осторожную настойчивость».

«Пятница, 5 февраля. Много принимал вчера. Товарищ графа Протасова-Бахметьева, бывший лицеист П. М. фон Кауфман говорил мне о мысли, возникшей между старыми лицеистами – учредить при Академии наук род нового комитета из старейших и наиболее выдающихся лицеистов для издания книг, полезных для народа, помимо ученого комитета Министерства Народного Просвещения».

«Утром 21 апреля. Наконец пришел царский ответ. На докладах по Пушкинской комиссии Государь сделал испрошенные мною резолюции: об учреждении при Отделении русского языка и словесности Особого пушкинского разряда и Пушкинского фонда. Председателем комитета по сооружению памятника Пушкину в Петербурге Царь избрал меня».

Юбилейные торжества ознаменовались поэтической победой и поэта К. Р. Академия в начале 1899 года объявила конкурс на сочинение текста кантаты в честь А. С. Пушкина. Кантату на музыку А. К. Глазунова предполагалось исполнить на торжественном заседании, посвященном юбилею великого русского поэта. Для оценки стихотворений создали жюри под председательством академика М. И. Сухомлинова. Сорок произведений были представлены анонимно. Великий князь никому не говорил о том, что рискнул принять участие в конкурсе. «Я нарочно не принимался за стихи, пока не появится объявление конкурса, и начал сочинять вчера. Боюсь, ничего не выйдет. Вечером, разувшись, ходил по темной столовой и выдавил из своего маловдохновенного мозга 12 строк. А так бы хотелось написать хорошие слова… С вечера и всю ночь болела голова; встал часом позже, чем хотелось, настроение духа было мрачное. Стихи не удавались, третий день бился над одной и той же строфой; обдумывал ее, идя по Екатерининскому каналу, Невскому и Казанской в курсы, и, наконец, справился».

За день до последнего срока К. Р. послал за писцом Коровиным, который напечатал кантату на ручной машинке и приписал девиз: «Душа поэта встрепенется, как пробудившийся орел». Лист бумаги с именем «К. Р.» лег в обычный конверт. Коровин, которого никто не знал в Академии, отнес всё непременному секретарю. После внимательного изучения всех стихов лауреатом назвали поэта К. Р.

О подробностях этого «счастливейшего дня в моей жизни» Константин Константинович рассказал так: «… В Академии началось заседание отделения русского языка и словесности, в которое были приглашены Непременный секретарь сенатор Кони и композиторы Римский-Корсаков и Глазунов… Комиссия после долгих прений остановилась на 2-х стихотворениях. Одно удовлетворяло потребности композитора, другое имело преимущества в литературном отношении. Вскрыли конверт с

первым сочинением. Это оказался врач Давид Львович Мандерштейн. Вскрыли другой конверт – там имя К. Р.». В это время сам К. Р. ходил по академическим залам, где развешивались картины Общества петербургских художников. Там ему и сказали об одержанной победе. «Я перекрестился. Я точно родился под счастливой звездой».

Что касается усилий его как президента, возглавляющего Пушкинскую комиссию, то они питались его любовью к России и к одному из ее талантливейших поэтов. Искренней, не стандартно-показной, а глубинной по сути. Поэтому и не заканчивался для Константина Константиновича пушкинский юбилей за дверью служебного кабинета.

«Буря с дождем. В честь Пушкина Мама позвала к обеду четверых старших детей… Дома, в одном зале наверху показывали детям и домашним туманные картинки из произведений Пушкина. Началось с портрета Пушкина, после чего была показана картина, изображающая келью в Чудовом монастыре с пишущими Пименом и просыпающимся Григорием. При этом Иоанчик говорил за Григория, а Гаврилушка, легче запоминающий наизусть, говорил роль Пимена как более длинную. Оба мальчика читали эти дивные стихи прекрасно, местами необыкновенно толково и выразительно, так, что трогательно было слушать. При появлении картин из сказки о „Спящей царевне“ стихи говорили попеременно Татиана, Костя и оба старших мальчика. А когда показали Петра на „берегу пустынных волн“, Татиана произнесла вступление к „Медному всаднику“. Словом, вышло прелестное Пушкинское домашнее утро».

В большинстве источников о Великом князе Константине Константиновиче Романове ему в заслугу ставятся Пушкинская выставка, организованная Академией, и академическое издание сочинений поэта. Выставка прошла в Большом конференц-зале Академии наук. Именно здесь были собраны принадлежащие не только учреждениям, но и частным лицам документальные, книжные, иконографические, мемориальные материалы. Это было первое в России представительное собрание пушкинских реликвий. Не исключено, что на выставке побывал и присланный 87-летней Александрой Ивановной Козловой, дочерью слепого поэта Козлова (автора знаменитого «Вечернего звона»), автограф стихотворения Пушкина, сопровожденный письмом, растрогавшим Великого князя:

…

«В. И. В.! (Ваше Императорское Высочество. – Э. М., Э. Г.) Позвольте просить Вас взять под Ваше покровительство прилагаемое стихотворение Пушкина – автограф, полученный моим отцом, слепцом-поэтом Козловым в ответ на посланную им Пушкину свою первую поэму «Чернец». Я радуюсь вручить именно Вам этот драгоценный листок, в котором священная для меня память моего отца соприкоснулась с великим именем Пушкина. Я совершенно одинока, стара и слаба… Примите же от меня горячее пожелание Вам… любви к доброй науке, поэзии и к музыке».

Автограф был написан на четверти листа, в правом верхнем углу стояла цифра «1».

Певец, когда перед тобой
Во мгле сомкнулся мир земной,
Мгновенно твой проснулся гений,
На все минувшее воззрел
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.
О, милый брат, какие звуки!
В слезах восторга внемлю им,
Небесным пением своим
Он усыпил земные муки.
Тебе он создал новый мир:
Ты в нем и видишь, и летаешь,
И в нем живешь и обнимаешь,
Цветущей юности кумир!
А я – коль стих единый мой
Тебе мгновенья дал отрады,
Я не хочу другой награды,
Недаром темною стезей
Я проходил пустыню мира,
О нет! Недаром жизнь и Лира
Мне были вверены судьбой!
А. П.

Академическая выставка была полна многими подобными

открытиями. Привлекали внимание портреты Пушкина, и среди них загадочный тропининский, подмененный много лет назад с последующей путаницей: где оригинал, а где копия с него? Был и золотой перстень с сердоликом и древней надписью, подаренный поэту в Одессе графиней Елизаветой Ксаверьевной Воронцовой, по поводу чего написано стихотворение «Талисман». На смертном одре Пушкин передал талисман Василию Андреевичу Жуковскому. От сына Жуковского перстень перешел к Ивану Сергеевичу Тургеневу и находился с ним в Париже; после его кончины Полина Виардо, друг Тургенева, вернула перстень в Россию. Рукописи, книги, личные вещи великого Пушкина, поступившие на выставку от учреждений и частных лиц, составили впечатляющую коллекцию, и многим посетителям было обидно, что некоторое время спустя реликвии опять вернутся к хозяевам, а потом, чего доброго, могут бесследно исчезнуть или оказаться за границей.

Устроители, оформлявшие научные итоги выставки, не могли об этом не думать. С массой сложностей столкнулись сотрудники Академии наук и при подготовке к изданию сочинений Пушкина. Находки, первые пушкиноведческие исследования неоднократно выходили за пределы компетенции, финансовых, штатных возможностей комиссии, занимавшейся подготовкой материалов. Появлялось ощущение, что огромное пушкинское наследие требует специального учреждения, где бы оно хранилось и изучалось.

Пока же приводилось в порядок накопленное. Многочисленные реликвии, пожертвованные организациями и частными лицами, складывались в ящики, опечатывались и хранились в стенах Академии. Внучка Анны Керн подарила, например, портрет бабушки и ее скамеечку, на которой сиживал Пушкин. Вещи и книги поэта передали А. А. Бахрушин, А. Ф. Кони, Н. К. Пиксанов, Н. А. Котляревский и А. Ф. Отто-Онегин.

Последний, кстати, жил в Париже и всю жизнь приобретал и собирал всё, связанное с именем любимого поэта, взяв даже фамилию его героя. Под конец жизни в его трехкомнатной квартире на Елисейских Полях образовался настоящий музей, в котором было много автографов писателей. Умер Александр Федорович Отто-Онегин в 1925 году, завещав все свое состояние России.

Великий князь Константин Константинович неоднократно отправлял представителей Академии наук в Англию к графине Торби. Эта история в пересказе артиста балета Сергея Лифаря звучит так:

«На одном из благотворительных спектаклей, который давали в Ницце, я познакомился с внучкой Пушкина леди Торби. [52] Леди Торби была исключительно любезна с Сергеем Павловичем Дягилевым – он ее совершенно очаровал – и обещала ему оставить в завещании одно из писем Пушкина к невесте Н. Н. Гончаровой, которое она ревниво хранила у себя и не только не опубликовала, но и никому не показывала. Леди Торби рассказала Сергею Павловичу, что после того, как она вышла замуж за Великого князя Михаила Михайловича и ему было запрещено государством жить в России, она поклялась, что не только она, но и принадлежащие ей письма ее деда никогда не увидят в России. Слово свое она сдержала. Российская Академия наук неоднократно командировала своих представителей в Англию – графиня Торби их не принимала. Писал ей и бывший Президент Императорской Академии наук Великий князь Константин Константинович. Убеждал внучку Пушкина «передать России русское достояние». «Вы бы читали его письма! Константин Константинович смел мне писать, что я обязана передать в Академию мои письма, что они – не мои, а их, так как они чтут память великого поэта, который принадлежал не семье, а всей стране. Хорошо же они \'чтут память великого поэта\': за то, что Великий князь женился на внучке Пушкина, они выгоняют его из России, как будто он опозорил их

своей женитьбой. Никогда, клянусь, они ничего не увидят от меня, ни одного клочка, исписанного моим дедом. А у вас, Сергей Павлович, будет хороший автограф, скоро будет, т. к. мне недолго осталось жить». Леди Торби оказалась пророком – через несколько месяцев она умерла. Дягилев стал бредить письмом Пушкина и поставил себе целью во что бы то ни стало, чего бы ему это ни стоило иметь не один обещанный ему автограф, а все 11 писем Пушкина. Совсем незадолго до смерти он добился своего. Великий князь Михаил Михайлович нуждался, болел, плохо разбирался в чем бы то ни было. Дочерей Сергей Павлович подкупил своим шармом, и за совершенно ничтожную сумму (чуть ли не 30 тыс. франков) Дягилев приобрел это бесценное русское сокровище».

Сразу заметим, что графиня Торби эмоционально подошла к истории своего замужества: речь шла не о «позоре», а о жесточайших законах, действующих для монархических браков.

В юбилей были предприняты первые попытки приобрести в собственность Академии наук и личную библиотеку Пушкина – ту, что была в квартире поэта на Мойке.

После смерти поэта его книги, упакованные в ящики-тюки, хранились в кладовых Гостиного двора, потом долго кочевали по различным имениям и подвалам, пока не оказались в сельце Ивановском Бронницкого уезда Московской губернии, владельцем которого был внук поэта Александр Александрович Пушкин. После переписки с ним было получено разрешение на приезд специалиста для ознакомления с состоянием библиотеки. К внуку Пушкина Академия направила известного исследователя Б. Л. Модзалевского. Он приехал в сельцо Ивановское осенью.

...

«Я встретил со стороны

Александра Александровича Пушкина самый радушный прием и полное содействие. Библиотека поэта оказалась в очень плачевном состоянии: многие книги были попорчены сыростью и мышами, многие были помяты и растрепаны. Их спешно разобрали… уложили в 35 ящиков и отправили до станции Бронницы на подводах, а затем – по железной дороге. В Петербурге книги временно сложили в одной из комнат славянского отделения Библиотеки Академии наук, где их начали постепенно описывать. Таким образом, библиотека Пушкина, свыше 60 лет странствовавшая с места на место и подвергавшаяся всевозможным случайностям, снова, хотя, конечно, и не в полном виде, вернулась в Петербург – на этот раз уж навсегда.

В библиотеке поэта 3560 томов. Названий же меньше – 1522, ведь есть названия, состоящие из ряда томов. Больше половины книг – на 16 иностранных языках: Пушкин знал французский, итальянский, испанский, латинский, греческий и несколько славянских языков. Длительное постраничное обследование было вознаграждено: обнаружены бесценные записи поэта на полях и вложенных записках.

Самая древняя книга – «Божественная комедия» Данте, 1596 года; одна из уникальных– «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева с пушкинской надписью: «Экземпляр, бывший в тайной канцелярии. Заплачено двести рублей»».

Уникальную библиотеку, однако, предстояло еще купить.

Внук поэта был согласен на продажу, боялся, «чтобы она не перешла в частные руки». Просил он за всё собрание 18 тысяч рублей. Великий князь успешно провел переговоры с правительством, деньги были выделены. Эта библиотека, ставшая собственностью Академии наук, легла в основу будущего Пушкинского Дома. Потом вышел первый том Полного академического собрания сочинений Пушкина, было приобретено в казну имение Пушкиных – Михайловское, отреставрирована и взята под охрану могила поэта в Святогорском монастыре.

* * *

Юбилейные торжества шествовали по всей России. В Петербурге в Казанском соборе в честь поэта состоялось богослужение, торжественное и благолепное. Между литургией и панихидой Владыка говорил о Пушкине как о христианине.

«С утра до вечера дождь, к ночи буря. До 10-ти я уже был в Соборе; митрополит облачался, в большом храме почти пусто, из знатных никого. Попозже стали съезжаться: гр. И. И. Толстой, Зверев, Майков, Милица и Стана со своими свитами, внук поэта, гвардейский стрелок поручик Пушкин. Владыко произнес Слово; может быть, его осудят, но, по-моему, он не мог говорить иначе: нельзя обелять того, что черно, оставаясь верным правде. Он указал на пререкаемость имени Пушкина, на резкую двойственность его натуры, его нехристианское и христианское. Последнее восторжествовало», – записал в дневник К. Р.

Большой зал Петербургской консерватории, где 26 мая 1899 года под председательством президента проходило торжественное собрание, посвященное юбилею Пушкина, с трудом вмещал всех пришедших: Великие князья и княгини, сановники, министры, дамы, люди разных сословий, военные, учащиеся. Среди цветов, освещенный ярким электрическим лучом, возвышался бюст Пушкина, перед ним – оркестр, музыканты облачены в красные мундиры. Константин Константинович держал речь, закончив ее такими словами: «Если по лицу нашего обширного Отечества повсеместно празднуют сотую годовщину рождения этого певца из певцов, то где, как не в столице, которую воспел он в дивных стихах, и кому, как не Академии, коей он был лучшим украшением, восторженно воскликнуть: да живет вовеки в русских сердцах имя Пушкина – любовь, гордость и слава России!»

В заключение была исполнена кантата на слова К. Р. В этот счастливейший миг его жизни Великий князь опустил голову,

чтобы никто не видел его слез.

Во время пушкинских торжеств и после них на имя Константина Константиновича Романова пришло множество писем и телеграмм. Великому князю написала и младшая дочь поэта Мария Александровна Гартунг, для которой Константин Константинович добился существенного увеличения пенсии. Она благодарила Великого князя трогательным письмом:

...

«Ваше Императорское Высочество! За волнением радостно пережитых дней я не могла собраться с мыслями, чтобы выразить Вам глубокую милость, обеспечивающую закат моей жизни. Вы, Ваше Высочество, были моим Высоким ходатаем перед нашим Всемилостивейшим Государем и тем самым способствовали дальнейшему исполнению обещания Вашего Державного Деда моему умирающему отцу: пещись о его осиротелой семье.

Один Бог может вознаградить Вас за Вашу отзывчивость ко всему доброму, за Вашу любовь к родной славе!

Мне же дозвольте, Ваше Высочество, призвать благословение Его на Вас в уповании, что он воздаст Вам радостями и счастьем за все то высокое, благое, сотворенное Вами в память чествуемого отца моего.

Вашего Императорского Высочества верноподданная Мария Гартунг, рожденная Пушкина».

Среди посланий было письмо известного славянофила, религиозного публициста Александра Алексеевича Киреева:

...

«Ваше Императорское Высочество,

Мне говорили, что Вы намереваетесь распорядиться отпечатанием и распространением речей, телеграмм, приветствий и т. п., произнесенных или полученных по случаю пушкинских торжеств; было бы очень желательно! И, конечно, именно Вы могли бы лучше всякого другого познакомить русских читающих людей с пушкинскими торжествами, выясняющими и личность, и значение произведений Пушкина. Но если это так, позвольте мне напомнить Вам о речи, произведенной в Москве (по случаю открытия памятника) Достоевским (в 1880 году. – Э. М., Э. Г.). Ее бы следовало распространять тысячами, десятками тысяч экземпляров среди читающей публики, в особенности среди читающей молодежи. Эта речь – верх совершенства, ничего лучшего не было сказано о Пушкине, и не может быть сказано. Она превосходна не только по мысли и чувству, но даже и по изложению. Микеланджело говорил, что следует свое произведение исполнить обдуманно: а именно такова эта речь. Она совершила чудеса: прослушав ее, враги (литературные) подавали друг другу руку на самом торжестве.

Мне кажется, Вы сослужили бы великую службу России, если бы взялись за это дело, подбив на это и Государя, приславшего такое хорошее приветствие. Ведь он, его имя должны стоять во всяком благородном, хорошем начинании и деле. Ведь всякая правильная, добрая мысль – для нас клад, ведь мы так

стали бедны мыслью; мы среди нашей мелочной, суетливой жизни совсем измельчали, отупели, мы все куда-то бесцельно лезем, но ни чувств наших мы до конца не можем прочувствовать, ни мыслей, дум – продумать. Вам, как стоящему, выражаясь по-канцелярски, во главе ведомства сконцентрированной мысли, т. е. науки, это сделать легче, нежели кому бы то ни было. Вас слышали вчера все…»

* * *

В Петербурге, как и в Москве, сначала хотели видеть монумент Пушкину, достойный и значительный. Был объявлен сбор средств по добровольной подписке. С 1899 года комиссией, которой руководил президент Академии, для поощрения щедрых жертвователей был выпущен портрет поэта с надписью: «За пожертвования на памятник А. С. Пушкину». В различных городах России устраивались концерты, благотворительные вечера, лекции, сборы от которых передавались на памятник. И тогда же комиссия под руководством Великого князя вырабатывает положение о памятнике Пушкину как о комплексе: специальное учреждение, связанное с его именем, в котором будет установлено скульптурное изображение поэта.

Но все же кто первым высказал мысль о необходимости объединить наследие Пушкина в одном месте для его изучения, а также и новую русскую литературу для исследования? Определенно ответить на этот вопрос нельзя. Ясно одно: идея, толчком для которой стали юбилейные торжества, витала в воздухе. В ее материализации была заинтересована вся страна. Попечитель Оренбургского учебного округа И. А. Ростовцев писал в Академию:

…

«Нужно придумать такое учреждение, какого еще не было в России, и притом учреждение, в

котором приняла бы участие вся грамотная Россия и которое наиболее соответствовало бы значению великого поэта. Мне кажется, что таким учреждением мог быть Одеон имени Пушкина. Это должно быть особое, вновь выстроенное здание в центральной местности Петербурга. Здесь могли бы происходить ежегодные состязания поэтов, которые излагали бы свои произведения перед лицом всего народа и увенчивались бы премиями. Здесь могли бы происходить представления драматических произведений Пушкина».

Подобное же, хотя и менее определенное, заявление сделал и поэт К. К. Случевский, посчитавший, что весьма желательно «озаботиться об учреждении чего-либо такого, что в своей обособленности не только осталось бы непреходящею памятью празднованию, но подлежало бы также развитию».

Идея о Доме Пушкина была высказана П. Е. Рейнботом, секретарем Пушкинского лицейского общества. Он «возбудил вопрос, не будет ли желательнее соорудить памятник А. С. Пушкину не в виде статуи, а в виде постройки особого музея. В музее этом, которому должно быть присвоено имя Пушкина как родоначальника нашей изящной литературы, будет сосредоточено всё, что касается наших выдающихся художников слова, как-то: рукописи, вещи, издания сочинений и т. д.».

Предложение лицеистов представил на обсуждение членам Пушкинской комиссии новый непременный секретарь Академии академик С. Ф. Ольденбург. Это был уже вполне конкретный шаг – идея стала материализовываться. На протяжении ряда лет академик Ольденбург, целеустремленный и деятельный человек, всячески поддерживал создание Пушкинского комплекса.

Прошло, однако, еще много времени, когда вроде бы бесспорное дело то воскресало, то утопало среди фантазий, разных мнений и предложений, дискуссий, дипломатических переговоров, надежд и разочарований. Великому князю оставалось лишь терпеть и объединять всех – от простого посетителя «с идеей» до Царя.

Казалось бы, к 1905 году собрали ПО тысяч рублей, нашли место для памятника поэту – его предполагалось поставить на

новой набережной и назвать ее Пушкинской, но нет же, Городская дума предпочла дать ей имя Петра Великого. Работа над проектом памятника отложилась, к тому же появлялись все новые и новые предложения: сначала о создании Музея имени Пушкина, потом музея с научным уклоном. Газеты и журналы, подхватив идею лицеиста Рейнбота, писали о том, что музей следует соединить с просветительским учреждением типа народного университета. Туда бы передали свои сокровища и Публичная библиотека, и Московский Румянцевский музей, владеющие рукописями поэта, и Академия наук, и Александровский лицей, располагающий небольшим пушкинским собранием, и частные коллекционеры-любители вроде П. Я. Дашкова.

В ответ на столь благожелательное отношение в обществе к идее Пушкинского комплекса академической комиссией 15 декабря 1905 года «в принципе было решено создание Пушкинского дома».

Но замысел вновь расширился и обновился. Вместо дома, посвященного только Пушкину, комиссия учреждает музейно-источниковедческий центр, в котором уже на этом этапе просматривается идея будущего историко-литературного института.

Мысль о музее воплотилась в широкую программу целого «дома имени Пушкина», своего рода мавзолея для литературных реликвий не только великого поэта, но и других деятелей русской словесности XIX века.

Так, по колдобинам и рытвинам, но к свету двигалась умная и добрая мысль.

Конечно, обсуждался самый тяжелый вопрос – финансовый. На правительство никто не надеялся. Великий князь положительно принял предложение ученых «прекратить подписку на памятник, для которого собранная сумма могла считаться достаточной, и последующую подписку продолжать уже в целях построения музея».

Дальнейшие «финансовые размышления» привели к выводу, что следует обращаться за помощью не только к заинтересованным лицам и учреждениям в двух столицах, но и ко всей провинциальной России. Касса выросла ненамного, до 146 тысяч рублей. Здание на эти деньги не воздвигнешь, да еще в центре Петербурга – на стыке Каменноостровского проспекта и набережной Петра Великого. Впрочем, Городская дума опять воспротивилась и не хотела отдавать этот кусок земли для памятника и декоративного музейного здания. Делопроизводитель комиссии чуть ли не ежедневно ездил в Управу и вел трудные земельные переговоры. И все же решение о

создании «Дома имени Пушкина» было принято. 22 сентября 1906 года Константин Константинович не без облегченного вздоха записывает в дневнике:

...

> *«В 2 часа у меня в столовой собралась Пушкинская комиссия – граф И. И. Толстой, вице-президент и непременный секретарь Академии наук Саломон, председатель Союза литературных и художественных обществ П. Н. Исаков, Султанов. Предполагали, кроме памятника Пушкину на Петербургской стороне, при съезде с Троицкого моста, направо на набережной выстроить Пушкинский Дом для хранения рукописей и всего, относящегося к Пушкину и писателям, появившимся после него. Обсуждали „положение“ этого дома».*
>
> *В пункте 1 одного из первых вариантов «Положения» было определено: «Дом Пушкина учреждается в благоговейную память о великом русском поэте Александре Сергеевиче Пушкине для собирания в нем всего того, что касается Пушкина как писателя, человека и гражданина…»*

Положение строго регламентировало права Дома Пушкина по сравнению с другими научными учреждениями, в том числе и академическими, а также устанавливало его структуру, юридический и финансовый статус. К этому Положению вернулись в феврале 1907 года все в том же Мраморном дворце. На этот раз его дополнили, а заодно изменили и название создаваемого института истории новой русской литературы – «Пушкинский Дом». Несколько месяцев спустя Николай II утвердил «Положение о Пушкинском Доме», и теперь к комиссии перешли все заботы о его пополнении и развитии.

В те времена Великому князю и его соратникам виделся дом

в стиле ампир, длиною по фасаду в 48 сажен и шириною 12 сажен. В верхнем этаже должны были разместиться десять залов для различных коллекций, а в нижнем – один большой зал, предназначенный для публичных заседаний, литературных лекций, собраний; два зала для выставок, кабинеты для занятий научного персонала.

Но новое здание так и не было построено. Длительное время Пушкинский Дом размещался в помещениях Академии наук на набережной Невы. Уже за первые десять лет после своего основания Дом стал «крупным источниковедческим центром, известным своими изданиями и публикациями».

«Лишь в 1927 году поскитавшийся по городу Пушкинский Дом обрел постоянное место, – рассказывает Николай Николаевич Скатов, директор Пушкинского Дома с 1987 года и до недавнего времени, – построенное по проекту архитектора И. Ф. Лукини с классическим восьмиколонным портиком и медными скульптурами Меркурия, Нептуна и Цереры над фронтоном здание бывшей главной Морской таможни (русский ампир, тридцатые годы XIX века). По преданию, бывал в нем и Пушкин.

По масштабам… Это здание на набережной Макарова даже превзошло то, что предполагали построить согласно первоначальным проектам. Собрания и коллекции, вынужденно разобщенные и разрозненные, наконец были слиты в некую целостность. Это позволило строить экспозицию по историческому принципу…

В юбилейном 1999 году перед Пушкинским Домом был… восстановлен классический бюст поэта, созданный скульптором И. Н. Шредером, который когда-то стоял на Каменноостровском проспекте перед зданием ставшего Александровским Царскосельского лицея…

С 1930 года Пушкинский Дом становится академическим Институтом русской литературы (сокращенно – ИРЛИ), сохраняя свое первородное название – Пушкинский Дом и являя сложный музейно-исследовательский комплекс, единственный в мире по своеобразию».

Первородное название увековечил и навсегда закрепил Александр Блок в знаменитом стихотворении «Пушкинскому Дому», которое оказалось последним и пророческим:

Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук!
Звук понятный и знакомый,
Не пустой для сердца звук!
…

Пушкин! Тайную свободу
Пели мы вослед тебе!
Дай нам руку в непогоду,
Помоги в немой борьбе!
Не твоих ли звуков сладость
Вдохновляла в те года?
Не твоя ли, Пушкин, радость
Окрыляла нас тогда?
Вот зачем такой знакомый
И родной для сердца звук —
Имя Пушкинского Дома
В Академии Наук.
Вот зачем, в часы заката,
Уходя в ночную тьму,
С белой площади Сената
Тихо кланяюсь ему.
(11 февраля 1921)

Пройдет совсем немного времени – и Пушкинский Дом примет наследие Блока.

* * *

Великий князь хотел, чтобы в Пушкинском Доме со временем хранились и принадлежавшие лично ему литературные реликвии.

Пушкинскому Дому он завещал свое собрание автографов А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Ф. И. Тютчева, других русских поэтов и писателей. Кроме того, завещал автографы Императрицы Екатерины II, перстень Пушкина, золотой, с четырехугольным изумрудом, который по кончине поэта был снят с его руки Натальей Николаевной Гончаровой и подарен Далю. Его дочь Ольга Владимировна Демидова подарила перстень поэту К. Р.

Переписка с А. А. Фетом, А. Н. Майковым и его братом пушкинистом Л. Н. Майковым, с Я. П. Полонским, П. И. Чайковским, Н. Н. Страховым, А. Ф. Кони, альбом Ю. Бартенева, письма, полученные по поводу перевода и представления «Трагедии о Гамлете, принце Датском», а еще золотое перо Фета и картины Полонского (на одной из них изображен дом Фета в Воробьевке) – всё это также Константин Константинович завещал Пушкинскому Дому.

И, конечно, поэт К. Р. надеялся, что со временем в Пушкинском Доме будут храниться рукописи и его произведений.

И это понятно. Даже если бы Константин Романов в день тридцатилетия не определил в дневниковой записи поэзию как свое истинное, главное призвание, к этому заключению может прийти всякий, знакомый с историей его жизни.

«ГАМЛЕТ»

К. Р. долго не заносил запись в дневник о своей работе над переводами Шекспира. Даже самому себе стыдился сознаться, а не только сказать кому-то, что не понимает Шекспира. «Начал читать „Отелло“. Некоторые места покоряют умом и художественностью. Прекрасно! Но в остальном не нравится. Возможно, я не дорос до Шекспира, во всем виновата моя недоразвитость». Он так и написал в дневнике: «недоразвитость». А между тем знаменитый английский трагик Сальвини, игравший заглавные роли и в «Отелло», и в «Макбете», и в «Короле Лире», и в «Кориолане», и в «Ромео и Джульетте», и в «Венецианском купце», считал, что не все понимают мучения Гамлета, не очень понятны страдания Лира, но всякий понимает любовь венецианского мавра. Современники, видавшие Сальвини в роли Отелло, говорили, что это было «что-то новое, громадное; новый мир на нашей земле».

Мучаясь непониманием и скукой и стыдясь их, Константин решил разобраться с Шекспиром иначе: он сделал перевод отрывков из хроники Шекспира «Король Генрих IV».

– Я не стану переводить слово в слово, – говорил он Петру Егоровичу Кеппену. – Буду близок к подлиннику, но не стану гнаться «за буквой», особенно если это будет в ущерб поэтической красоте русского языка. Важны смысл, дух, настроение.

Но говорить о том, что он многое сделал в области русского Шекспира и что с именем Константина Романова связано становление русской переводческой школы, станут лишь тогда, когда К. Р. переведет «Гамлета». Перевод «Гамлета» К. Р. считал своим основным литературным трудом. Работал он над ним десять лет. Первое издание вышло в 1901 году. Двухтомное приложение с обширными комментариями автора дополняло перевод.

Казалось бы, так странно: скучать над Шекспиром – и взяться за его самую сложную великую вещь о вечных сомнениях и терзаниях человеческого духа.

Друг Великого князя, академик Анатолий Федорович Кони, так объяснял интерес К. Р. к «Гамлету» в своей речи, которую произнес в стенах Академии наук в 1915 году, когда Великого князя не стало:

...

«… Вера создается не сразу; обыкновенно верующий человек начинает в юности с веры, принимаемой на слух с примеров окружающих старших, с их внушений и т. д. Эта вера, принятая, так сказать, в кредит, часто глубоко проникает в душу, связывает человека на всю жизнь. Но эта вера все-таки не такая, которая может остаться после неизбежного периода сомнений. Эта вера… выражена хорошо у Толстого в „Войне и мире“, когда Николай Ростов на волчьей охоте ждет, чтобы волк выскочил на него, и молится: „Господи, сделай так, чтобы он выскочил на меня, что тебе стоит“… Когда человек вглядывается в жизнь, то оказывается, что жизнь ему дает примеры, которые заставляют его усомниться в том: так ли это всё, как ему говорили, и как он принял это на веру. У слепо верующего являются сомнения ввиду бессмысленности смерти молодых людей, полных сил и надежд, рядом с бессмысленностью существования разрушившихся и разлагающих окружающее старцев, которые сами ждут смерти и не могут ее дождаться, – при виде рек слез и крови, проливаемых человечеством, одним словом, при виде всего того, что Гамлет перечисляет в своем монологе „Быть или не быть“. И тогда нередко начинается отрицание, человек начинает расходиться с верой, и если он поэт, и если ее отклонение очень сильно в отрицательную сторону, то он становится скептиком.

С другой стороны… Когда это сомнение пройдено, является

положительная сторона религии, и если это касается поэта, то у него слышатся те ноты, которые звучали у Лермонтова, говорящего с твердой уверенностью о существовании Бога. И вот эта же вера, твердо укрепившаяся, была и у Великого князя, как это сквозит во всех его стихотворениях, но, несомненно, что был период сомнений и являлось стремление к пантеизму – признание безличного Бога в природе, разлитого везде…

Но и эти ноты пантеизма скоро проходят, и наступает торжество веры. Поэт, человек с наклонностью и с любовью к драматургии, К. Р., во всяком случае, не мог не остановиться на великих произведениях Шекспира. Если это сомнение в справедливости предпринимаемого дела – тогда это будет Макбет; или это сомнение в разумности совершенного – тогда это будет Лир; или это будет сомнение, благодаря которому разрушено личное счастье, – тогда это будет Отелло, или это будет сомнение во всем и во всех, и, прежде всего, в самом себе, – тогда это будет Гамлет. Герои Шекспира несут свою судьбу в себе. С этой точки зрения Гамлет есть жертва своих постоянных сомнений… «Быть или не быть» – весь этот монолог отвечает снедающим его сомнениям. И, наконец, Гамлет, умирая, ничего не находит другого сказать, кроме как «конец – молчание».

Возможно, Кони прав в своих предположениях. Но у К. Р. был еще один интерес: попробовать свои силы один на один с великим шедевром. Завести роман с вечностью.

На третьей неделе поста Константину Романову представили

князя Александра Ивановича Сумбатова.

– Не бедствую. Богат, но актерствую, – смеялся Сумбатов. И потом серьезно: – Всю жизнь переменил из-за любви к искусству. Без театра не могу. Мало что в актеры пошел и стал Южиным, пьески осмелился писать. Идут, ставят. Вам не доводилось смотреть?

– Нет, к сожалению.

– Не сожалейте, Ваше Высочество. Безделки: «Листья шелестят», «Муж знаменитости», «Арказановы». Это не Шекспир, не «Гамлет».

– Вы напрасно так. Говорят, московский Малый намного выше Александринки по выбору пьес. И направление имеет. Театр стал духовным университетом. А почему «Гамлета» помянули?

– Не поверите, знаю девять его переводов. Ни один не удовлетворяет. Не по зубам творческой братии Шекспир…

– А я хочу рискнуть: перевести «Гамлета». Только не пугайтесь!

Сумбатов и не думал пугаться, он обрадовался:

– Когда же я смогу увидеть ваш труд? И, может, даже приступить к работе?

– Лет шесть дайте… – засмеялся Великий князь.

Так они поговорили, и Константин был счастлив интересом прекрасного актера из хорошего театра.

Настал день, когда К. Р. сообщил Анатолию Федоровичу Кони, что готов отдать «Гамлета» в печать и что все его замечания учел, кроме одного: оставил выражение «гробные пелены». Такое прилагательное есть в славянском переводе Пасхального канона Иоанна Дамаскина. А так как обращению Гамлета к призраку отца подобает приподнятый тон, то эти славянские слова очень уместны. Он просил Кони помочь ему перевести на русский язык специальные, «юридические» слова Гамлета, для чего переписал ему нужный отрывок по-английски и его же в немецких переводах.

Смущаясь, что отнимает время своими просьбами у такого занятого человека, как Кони, Великий князь оправдывается: «Я помню слова покойного поэта Майкова, который так отозвался о моих замечаниях на его стихотворение: „Вы меня поймали и пристыдили. Я сам знал и чувствовал, что плохо, да думал – сойдет. Ан, не сошло!“

Великий князь был благодарен всем «за всякое порицание, которое трудящемуся всегда полезнее одобрения», и просил отложить в сторону «попечение об авторском самолюбии переводчика». Работая над «Гамлетом», он обращался к помощи многих специалистов – к литературоведу, академику А. Н.

Веселовскому, к историку и большому знатоку Шекспира академику К. Н. Бестужеву-Рюмину, к зоологам, чтобы уточнить названия животных, и даже к инженерам за техническими знаниями.

...

«Этому переводу К. Р. посвятил много лет и много труда. Можно сказать, что перевод – лучший из тех, которые существуют у нас. Если он не всегда совершенен по стиху, то, во всяком случае, по точности, по соблюдению подлинника, что по особенностям английского стихосложения очень трудно, это перевод, представляющий громадные достоинства. Правда, есть один перевод, который мог бы стать еще выше, но это не перевод, это переделка, очень талантливая, в которой много произвольного, а именно – „Гамлет“ в переводе, или переделке, Полевого. Чтобы охарактеризовать эту переделку, достаточно сказать следующее: все мы знаем чудесное и глубокое выражение – „человек он был!“, но этого у Шекспира нет, это ему Полевой приписал, а у Шекспира Гамлет говорит: „во всем, во всем король был человек совершенный“

(А. Ф. Кони «Слово о К. Р.», 1915).

Так современники оценивали достоинства перевода К. Р. в смысле точности, верности, любви к своему делу. Перевод сопровождается обширными комментариями: подробное исследование источников самой трагедии, исследование изданий и оценки их, описания актерской игры, примечания филологические, исторические, из области ботаники, психиатрии и юридические – причем тут сказалось широкое и благородное

отношение Великого князя к труду тех, кто ему помогал. Великий князь в отдельном томе поместил примечания с указанием, что они принадлежат не ему…

При подготовке перевода к изданию Константин Константинович решил посвятить свой труд покойному Императору Александру III и посвящение оформить в стихах. Он долго бился над сонетом. Когда закончил, показал Леониду Майкову и его жене, у «которой ум и тонкий вкус, и она знаток в твореньях самых строгих муз». Ответ был благожелательный с одним-единственным замечанием. «Вот теперь не стыдно этот сонет посвятить Саше и предварить им перевод „Гамлета“«, – записал в дневнике Великий князь.

Ты повелел, чтоб «Гамлет» несравненный
На речи русской вновь увидел свет;
Но перевод, Тобою вдохновенный,
Созрел – увы! – когда тебя уж нет.
С Тобою мы разлучены могилой,
Но верится: и в небе будет мило,
Что на земле свершилося в любви.
Любовь твое исполнила веленье…
Прими ж, о Царь, поэта посвященье
И труд его с небес благослови!

Стихи следовало показать и ныне царствующему Николаю II. 12 июня 1899 года Константин Константинович получил ответ: «Милый мой Костя, с умилением прочел я Твое трогательное посвящение памяти моего дорогого Отца. Разумеется, напечатай его во главе твоего издания».

Конечно же К. Р. хотелось увидеть «Гамлета» в собственном переводе на сцене. А быть может, и самому сыграть Датского принца. Мысли о «Гамлете» не давали спокойно жить. Пошел смотреть Муне-Сюлли [53] в этой роли. Не понравилось – искажен перевод, какие-то вставки во французском роде, Офелия кричит, сам Муне слишком стар для Гамлета и тоже кричит. Но кое-что можно было, пожалуй, взять на заметку.

Он думал, где сначала показать пьесу – в Мраморном дворце или на «Измайловских досугах»? Петербург в то время был заражен «театральной болезнью». Любительские спектакли стали

не только любимым светским времяпрепровождением, все играли в них с искренней увлеченностью, учили тексты, много просматривали книг, чтобы выбрать интересную пьесу, искали идею, направленность спектакля, шили костюмы, клеили декорации. Чаще всего представляли только отрывки – сцены из драм, трагедий, комедий. Князь Волконский в домашнем спектакле играл Гамлета и даже Королеву Гертруду. Зимой в Петербурге, в доме Волконских на Гагаринской набережной, в зале с настоящей сценой шли большие русские пьесы. Например, трагедия А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», запрещенная для постановки в театрах. Константин видел на любительской сцене Великую княгиню Елизавету Федоровну (Эллу), жену Сергея, и Ники, в то время Цесаревича. Элла и Ники в апартаментах придворной фрейлины на маленькой сцене репетировали «Евгения Онегина». Элла держала всё в секрете от мужа и старательно учила монолог Татьяны. В день спектакля они вышли на сцену в костюмах начала XIX века. Чувствовалось, что Цесаревич робеет, стесняется, а вот Элла играла с большим чувством, она жила на сцене. «Нет еще 6 лет, как она в России, и уже появилась на сцене. Конечно, произношение ее выдает, но выкупается глубиною чувства в игре», – отметил Константин и подумал, что к «обрусению» его жена стремится не так заинтересованно, как жена Сергея…

И Сергей, то есть Великий князь Сергей Александрович, тоже заболел театром. Положение ему позволило поставить пьесу на Эрмитажной придворной сцене. Играли «Бориса Годунова». Недоброжелатели шептались: «Бриллиантов на сцене больше, чем талантов». Участвовали в спектакле два Великих князя: сам Сергей Александрович и Павел Александрович.

Павла Александровича считали прекрасным актером, дамы на представлениях с его участием плакали. Сергей Александрович, слывший человеком с плохим характером, относился ко всему очень придирчиво, к тому же он был «хозяином» спектакля. Его придирчивость и сверхмерная серьезность парализовали некоторых актеров и нередко рождали дурацкие курьезы.

Так, на одном из представлений «Бориса Годунова» в сцене венчания Бориса на царство перед ним проходит целый ряд иностранных послов с приветствиями, в том числе – папский нунций. Его играл Димитрий Нейдгарт, Преображенский офицер, впоследствии градоначальник Одессы. Однажды, вместо того чтобы представиться: «Нунций папы», он сказал: «Нунций папский», а на следующей репетиции провозгласил: «Нунцский папский», что вызвало всеобщее веселье. Только Сергей

Александрович насупился и просил Нейдгарта в другой раз быть внимательнее, чем сковал актера еще больше: всякий раз при приближении страшного места он впадал в замешательство и выпаливал не то, что надо. Но на последнем представлении он пошел еще дальше: докладывая о шведском после Эрике Гендриксоне, он сказал: «Посол Эрик Норденстрем», а это было имя самого модного в то время в Петербурге военного портного. Не только вся труппа, в большинстве состоявшая из гвардейских офицеров, хохотала, но и двор царя Бориса трясся от сдерживаемого смеха, а сам царь, в бармах и шапке Мономаха, прятал в большой красный платок свое не менее красное от смеха лицо. Один только царевич Федор – Великий князь Сергей Александрович – рядом с хохочущим отцом был мрачен и не поддавался всеобщей заразе веселья…

Константин Константинович был на этом спектакле, не мог не смеяться. И был уверен, что с постановкой трагедии «О Гамлете, принце Датском» в его переводе ничего подобного не случится.

Трагедия сначала была представлена в «Измайловских досугах», 17 января 1897 года, и вызвала не громкий, но достаточно живой интерес. Великому князю, исполнявшему роль Гамлета, говорили, что, даже имея способности, трудно отважиться сыграть одну из труднейших ролей мировой драматургии. Поздравляли с успехом. Это дало повод показать спектакль в Мраморном дворце. Публики должно было собраться много. А главного исполнителя с утра обуревали страх и волнение. Вместе с тем страстно и мучительно хотелось играть. Стоя за кулисами и ожидая своей очереди выйти на сцену, он умирал от волнения, крестился и молился Богу. А потом спрашивал себя, вспоминая это свое состояние: «Грешно ли это?» И отвечал: «Не думаю: в драматическом искусстве, как и во всяком искусстве, есть Божия искра. И играть хочется не из пустого тщеславия, а любя искусство, которое захватывает в свою сеть когда-то живших и ныне живущих, объединяет их любовью и красотой».

Он долго в тот вечер не ложился спать. Голова горела, а руки были ледяными. Вспоминались все подробности: как трудно было произнести первые слова, вытащить меч, как дрожали ноги от волнения и как потом наступил покой, пришла уверенность и стало легко дышать и играть.

Успех был необыкновенный. Все говорили, что «Гамлета» надо показать Царю и спектакль перенести с этой маленькой сцены на Эрмитажную… Однако для этого надо было подготовиться. Прошло время, и чтобы продолжать репетиции, в

Мраморном зале установили большую сцену. Николаю II спектакль понравился:

– Костя, готовь спектакль к Эрмитажной сцене. Но прежде тебе как представителю Дома Романовых надо ехать в Черногорию, на свадьбу сына Князя Черногорского – Наследника Даниила.

Так всё остановилось. Дивный Эрмитажный театр как бы растаял в туманах горной страны.

* * *

С Домом Князя Черногории Николая I Царская семья была связана родственными узами: Великий князь Петр Николаевич (сын Великого князя Николая Николаевича-старшего) с 1889 года был женат на Княжне Черногорской Милице Николаевне.

Накануне отъезда Царь пригласил к себе Константина. Стояла июльская жара, но в кабинете было прохладно и уютно. Среди прочего речь зашла о славянском братстве.

– У Пушкина есть строки об этом, – сказал Царь, но откуда, не вспомнил.

– Это из стихотворения «Клеветникам России»: «Славянские ль ручьи сольются в русском море? Оно ль иссякнет? Вот вопрос».

– Да, да, – кивнул Николай и взглянул на свитскую парадную форму Константина. – Жара, а ты слишком наряден. Вот, возьми. – Он протянул бриллиантовое ожерелье для невесты княжеского сына – Ютты: – Передай Князю Черногории Николаю мой царский поклон.

В день отъезда у Константина состоялся довольно неприятный разговор с Мама: ей была не по сердцу поездка сына в Черногорию. «Сказывалось столкновение германского духа со славянским», – с этого он начал вести дневниковые записи в июле 1899 года.

…

«Вторник. 6.

В дороге читал о Черногории, знакомился с этой необыкновенной, своеобразной, особенно привлекательной страной».

«Четверг. 8. В 2 пришел из Триеста пароход. На нем и поплыли.

Но что за ночь – волшебство! Тишина, светлый месяц, звезды. Далматинский берег очень живописен. Если бы не владычество Австрии!»

«Пятница. 9 июля. Утром пароход заходил в Рагузу (Дубровник). Что за дивное утро! Что за чудесные виды на прибрежные горы и скалы! Сейчас же от восхищения стихи завертелись в голове… Голубое, как сапфир, море, отовсюду замкнутое высочайшими горами, а в глубине залива, высоко и далеко – Черногория, там, под облаками. Обидно вспомнить, что наш император Александр I письмом Владыке Петру II принудил его отдать Котор [54] Австрии!! Австрийцы портили мне впечатление, если только можно испортить: оно было так необыкновенно, так величественно. – Прошел вдоль караула, отделался от австрийского начальства любезными фразами и – поскорее с Нарышкиным в коляску. На козлах два черногорца в живописной одежде. Кучер в красном, расшитом золотом на спине, а рядом с ним «пернаник» – один из 60 телохранителей Князя, в малиновом сукне с черными на спине шнурами. И так эти черногорцы честно смотрят прямо в глаза, так приветливо улыбаются. Я вздохнул свободно, оставив за собою австрийцев. Перед нами отвесная высочайшая стена; дорога каким-то чудом лепится по ней, извиваясь змейкой. Все выше и выше! Которский залив все дальше и дальше и глубже к бездне под ногами. Вот попадаются черногорцы-рабочие… Я крикнул им: «Помогай Бог» – и один из них, молодой, с

милым открытым лицом, так весело закричал мне в ответ: «Добра все встреча!» Все выше и выше! Вот мы на вершине, внизу Которский залив кажется уже только милым бирюзовым озером. Мы на границе. Меня встречает Мирко, второй сын Князя, молодец, 20-летний красавец, с прекрасным, каким-то соколиным лицом. Мы знакомы с 96 года, оба сочувствуем друг другу. Расцеловались. С ним наш поверенный в делах К. А. Губастов, его чиновник С. А. Лермонтов, воспитатель Мирка русский полковник Сумароков и два молодца черногорца, назначенные при мне состоять. Далее я ехал с Мирком… Вот дорога начинает постепенно спускаться, все изгибами и извилинами. Видна равнина Цетинья. Дождь проходит. Весело, сердечно, откровенно болтаем. Вот и Цетинья. Маленькие, скромные каменные строения; но мне все нравится, все по сердцу, всех бы обнять, всем бы закричать, что мы родные братья! Раздаются пушечные выстрелы, звонят в колокола. Я уже завидел у дверей дворца князя Николая. Выпрыгиваю, обнимаемся с ним, передаю ему Царский поклон. Он ведет меня мимо почетного караула. Я кричу им: «Помогай все Бог, юнаци!» Наверху, на балконе, княгиня Милена, снимаю перед нею шапку. Идем с князем в монастырь, где рака владыки Петра I. Митрополит встречает с крестом и святой водою, и слушаем краткий молебен… Чувствую себя совсем как дома, в семейном кругу. Меня ведут ко мне, через улицу, напротив дворца в доме Мирка. Маленькие, уютные комнаты. – В 8 обед во дворце.

Просто, незатейливо, радушно. Гуляем в лунную ночь с князем по саду».

«Суббота. 10 шюля. Я здесь утопаю в блаженстве: чудный по красоте, солнцем прогретый край; глаз не видит темных, опошленных сторон гражданского развития. Нет западной плоскости культуры. Народ нам родной, православный, слышна речь, близкая к родной, своя одежда, живописная, красивая, не заменена европейской. Все мало, но есть какая-то благородная простота и достоинство. Видел казармы на два батальона пехоты с артиллерией. Чистота поразительная… На горе могила владыки Данишла, любовался видом на всю крохотную столицу. Где я живу – три окна по фасаду, одно в кабинете, другое в гостиной, третье в спальне, первая и третья из этих комнат угловые и имеют еще по боковому окну. Из спальни я переговариваюсь в боковое окно с Мирко, который живет в соседнем доме, через проулочек, и его окно напротив моего. – Был у симпатичного митрополита, владыки Митрофана, который, будучи еще игуменом, геройски защищал от турок монастырь на Мораче и имеет Георгиевский Крест. Дивной ночью гулял пешком с Мирком. Ему хочется послужить в строю в России. Если бы у нас в полку!»

«Понедельник. 12 шюля. Прибыли в Антивари, или, вернее, Тополицу (первое название принадлежит городу с портом, а второе – местечко на пустынном берегу моря, где находится небольшой дворец князя и прилегающие к нему здания. – Э. М.,

Э. Г.). Здесь меня встретил Дано, последний черногорский князь».

«Вторник. 13 июля. Дано (старший сын Князя Черногории. – Э. М., Э. Г.) и Мирко возили меня в старый город, разгромленный черногорскими пушками и отнятый у турок в 1877 году. Подобно Севастополю, он поныне стоит в развалинах, заросших виноградом и плющом; но, несмотря на это, жители в нем есть, по большей части мусульмане; улицы между жилыми домами круто поднимаются в гору и вымощены большими камнями, настолько наглаженными ходьбой, что ноги скользят по ним, как по льду. В старой католической церкви теперь склад оружия. Есть заброшенная церковь византийских времен с остатками хорошей стенной живописи. Были и в новой церкви, где сегодня Ютта присоединится к православию. В 8-м часу вечера, когда в море показался пароход, привозивший из Триеста невесту с ее матерью и братом, мы в парадной форме перебрались на яхту и пошли навстречу».

«Среда. 14 июля.

В 9 утра было назначено присоединение принцессы Ютты [55] к православию. Мать и брат не желали при этом присутствовать, и мне было предложено отвезти невесту в Антиварийскую церковь. Ютта была очень хороша в черногорийском наряде. Дорогой в церковь, в коляске разговор клеился не слишком; она спросила меня, придется ли ей отрешаться от лютеранской веры. Я ответил, что ее присоединение состоится по тому же обряду, по которому наше

вероисповедание приняла императрица Александра Федоровна, и прибавил, что оба наши вероучения христианские и что лютеранам ни от чего отрекаться не надо, а надо только принять ко всему существующему еще кое-что новое… Символ веры Ютта прочитала сама по книжке, в которой он был написан немецкими буквами. Ей нарекли имя Милицы.

… Я расспрашивал нашего посланника Губастова о здешних делах и услышал от него многое такое, что разочаровало меня. Он видит немало темных сторон в Черногории: беспорядочность финансов, не всегда точное исполнение требований князя, которые в свою очередь бывают часто противоречивы и непоследовательны. Сыновей князя Губастов считает избалованными, плохо воспитанными, пустыми, ленивыми. Даниил будто бы не любим в стране, невнимателен, даже резок и груб, отбирает от отца его главных советчиков и способных людей, окружает себя ничтожными людьми… Мирко, по мнению Губастова, лучше старшего брата, но мало способен и пустоват, ничего не читает, мне было больно слышать это: я видел здесь все в розовом свете и не замечал темных сторон; все же, мне кажется, Губастов преувеличивает эти темные стороны».

«Четверг. 15 шюля. Во всех деревнях жители встречали жениха и невесту с цветами и с графинами воды, водки или вина, которые вместо пробки накрыты апельсинами… Цетинье стало

неузнаваемым; со всей страны собралось множество народа, везде флаги, цветы, зелень, по улицам войска шпалерами, выстрелы из пушек, колокольный звон, крики «живио». Зрелище и красивое, и торжественное, и трогательное».

«Цетинье. 17-го. Удивительный народ эти черногорцы: я уже говорил, что к свадебным торжествам со всех краев страны сюда пришли толпы народа и живут в театрах и палатках по всей равнине вокруг столицы. Полиции никакой, а беспорядка не заметно. Пьяного я ни одного не видал: их здесь не бывает…»

«Суббота. 17.

Давно мне не случалось за границей НЕ радоваться возвращению в Россию. Здесь, в родной Черногории, я чувствовал себя не за границей, а как бы дома. Очень мне жаль, что сербский язык мне неизвестен. Просил достать мне Библию в сербском переводе (Ветхий Завет – Даничина, а Новый – Караджоеча) и читаю Евангелие; кое-как справляюсь и понимаю, но говорить не могу.
На греческом военном судне «Крит» в Адриатическом море».

«Воскресенье. 18. Последний день в Цетинье прошел суетливо. Надо было распределять подарки, я постарался быть как можно щедрее. Были у обедни в маленькой церкви Иван-Бега. Князь сам читал «Вторую» и «Молитву Господню». Ходили в дом наследника прощаться с великой герцогиней. Она слывет очень не умной и не вяжется с Черногорией; эти немецкие принцессы с узеньким миросозерцанием и придворного церемонностью здесь не на месте…

Прощаться с черногорским семейством было очень жалко. Проводили меня как родного».

Очарованный красотой Черногории и почувствовавший в ней близкую России душу, К. Р. написал стихотворение, посвященное Князю Николаю I и его родине:

О, Черногория! Чьи взоры
Не очаруют, не пленят
Твои заоблачные горы
И бездны пропастей? Чей взгляд
Не залюбуется красою,
Сынов воинственных твоих,
Лиц загорелых прямотою
И одеяньем дней былых?
…
О, Черногория! Невольно
Благоговеешь пред тобой,
И сердцу сладостно и больно
С твоей знакомиться судьбой.
Со дня, как средь Коссова поля
В честном бою схоронена
Славян утраченная воля,
Три целых века ты одна
Блюла на изумленье света
Свободу родины своей…
…
Где кровь твоя лилась ручьями,
В сердца твоих прибрежных сел
Вцепился жадными когтями
Двуглавый Австрии Орел…
Но близок день освобожденья:
Сознав грехи былых годов,
Их промахи, их заблужденья,
Мы сбросим гнет твоих оков.
Недаром с высоты Престола
Был голос Белого царя
И грому вещего глагола
Внимали суша и моря.
Недаром голос Государя
Вещал грядущему в завет,
Что черногорцев Господаря
У нас вернее друга нет.
Свети же нам во мрак сознанья

Все ярче царственный глагол,
Лишь на вершинах гор сиянье,
Еще во тьме глубокий дол.
О запылай и над равниной
Объединения заря!
Славянство, слейся воедино,
Любовью братскою горя!
(«Черногория», Цетинье – Петербург, 23 февраля 1899)

Константин как своеобразный отчет о поездке вручил стихи Николаю П. Государь внимательно их прочитал.

– Костя, стихотворение мне нравится. В нем есть печальная история славянства. Разрешаю преподнести его Князю Николаю. Обязательно отправь в Черногорию.

– Я хочу включить его в свой новый сборник.

– Не могу тебе этого позволить. Стихотворение надо отложить – покуда жив нынешний Император австрийский. [56]

Константин Константинович был огорчен. Этот год у него прошел под знаком вдохновения. Закончил перевод «Гамлета», составил комментарии. Написал семь стихотворений. Выиграл конкурс, объявленный Академией наук в честь столетия со дня рождения Пушкина. «Черногория» была бы неплохим дополнением ко всему сделанному в этом успешном году.

Да, поэт в нем огорчился.

* * *

Он даже не предвидел того, что его еще ожидает. Великий князь Владимир Александрович, главнокомандующий войсками гвардии и Петербургского военного округа, пригласив Константина к себе, неожиданно в упор спросил:

– Кого ты знаешь, кому можно сдать твой полк?

По сути Константину Константиновичу предлагалось уйти с должности командира Преображенского полка. Великий князь был огорошен и внутренне возмущен.

Да, он знал о своих недостатках, понимал, что никогда не научится быть строгим командиром. Знал, что будет всегда внимательным, исполнительным, но взыскательным – никогда. «Это не по мне».

Он помнил разговор, прямой, начистоту, с искренним и любящим его Павлом Егоровичем Кеппеном. В своих предостережениях Кеппен был глубоко прав. Действительно,

получалось так, что не он, Константин, командует полком, а полк командует им. Его полковой адъютант, юный двадцатидвухлетний подпоручик Миркович читал ему нравоучения, и он им подчинялся. Мешали неумение одернуть, застенчивость, боязнь излишней строгости и грубости. Сколько раз ему приходилось видеть непорядок в одежде солдата, неправильное отдание чести, неверно написанный рапорт, развязность офицера, и он, командир полка, чтобы не показаться занудливым и придирой, не делал замечаний.

В дневнике он нашел место для самобичевания: «Главное, владеющее мною чувство – сознание моей неудовлетворительности как командира отдельной части. Главные мои недостатки: ограниченность силы воли и настойчивости, неумение быть твердым, строгим и последовательным, неуверенность, шаткость и нерешительность. Все эти слабые стороны не могли так выступить наружу, пока я только командовал ротой. Но с расширением власти эти недостатки могут породить дурные плоды, и я опасаюсь, что через некоторое время моя несостоятельность будет замечена. Как я ни дорожу доброй славой, как ни приятно мне слушать о себе лестные отзывы, *я не себя пожалею,* когда обнаружатся мои недостатки, *а полк,* который *я,* весьма вероятно, испорчу и распущу».

Конечно, он продолжал делать ошибки, но все же они были не смертельны. Как-то по своей доброте и благосклонности к людям согласился на просьбу генерал-адъютанта Черевина разместить в казармах Преображенского полка солдат чужих полков (жизнь Царя в Зимнем дворце требовала усиленной охраны). В полку это известие произвело очень неприятное впечатление. И Константин вдруг понял, что соседство с Зимним дворцом есть двухвековая льгота преображенцев и ею делиться нельзя. Он признал ошибку и сам сумел ее исправить. Его честность всегда обескураживала людей и заставляла прощать. К тому же все видели, что он добр душою. Скажем, проводя репетиции парада, он старался не утомлять подчиненных, не увлекался муштрой, берег солдат от холода. Был очень внимателен к новобранцам, особенно к тем, кто прибывал благодаря Сибирской железной дороге из далеких мест России – Акмолинской, Тобольской, Якутской губерний. Им было трудно и одиноко в чужом большом городе…

Перед самой поездкой в Черногорию он провел ротные учения, курс стрельбы, организовал внезапность строевых смотров – это был один из способов бороться с рутиной в полку. И все же иногда впадал в такую тоску от своего командирского

положения, в котором не видел прямой связи с солдатом, что почти не выходил из барака, слушал, как хлещет ледяной дождь за стенами, воет северный ветер, злился на опустившийся термометр. Он презирал свой меховой сюртук, болевшее горло и себя, «преплохого полкового командира, мало сведущего, мало власть имущего». Он знал, что надо улучшить стрельбу в полку. Помнил, как это делал в его любимом Измайловском полку генерал Васмунд. Но «стрелковое дело не любо и не хорошо знакомо, да и вообще я не способен ни на какую технику». Так и сидел он в бараке с часа дня до восьми часов без движения, испытывая уныние от своего бессилия. Это было правдой. И его надо за это снять с должности командира полка. Что с того, что он любил и знал русского солдата, сочинял о нем и для него стихи, обессмертил его в песнях, сочиненных на его слова? Что с того?

* * *

И все же у Владимира не было конкретной причины для увольнения Константина с высокой должности. Он ее легко сфабриковал. За время отъезда Константина в полку произошла кража денег. Но по слухам, которые распускались двором Великого князя Владимира Александровича, получалось, что это была не кража, а растрата, в которой виноваты якобы совершенно распустившиеся офицеры Преображенского полка.

Константин молча смотрел на своего начальника. Владимир Александрович по причине некоторой экстравагантности своего характера казался гордецом, своенравным и деспотичным. К тому же он говорил очень громко, резко и неприятно.

«Странно, – мелькнуло в голове у Константина, – человек редкого образования, одарен художественными талантами: рисует, знает музыку, разбирается в балете, собирает старинные иконы, чтит русскую оперу, занимается благотворительностью – и ничто его не избавило от солдафонства».

Он слушал, не перебивая, не возражая, не оправдываясь. Когда Владимир Александрович немного поутих, Константин сухо сказал:

– Следствие обнаружило причастность к преступлению только трех человек. Везде есть своя паршивая овца.

– Не знаю, советую поговорить с моим начальником штаба, генералом Васмундом.

Васмунд, не глядя в глаза, объяснил, что Великий князь Владимир Александрович еще до происшествия в полку высказал

мысль, что Его Императорскому Высочеству лучше уйти с должности командира полка. И кража здесь ни при чем.

А вот Царь увел Константина к себе в кабинет и немного смущенно стал рассказывать, как после кражи в полку Великий князь Владимир докладывал о необходимости сменить командира преображенцев, что «полк доведен до значительной расшатанности внутреннего порядка». Просил разрешения у него сделать это немедленно.

Интрига была налицо. Но противопоставить ей было нечего.

Стояли самые короткие дни в году, темные, мрачные. Моросило. Небо, вода в Неве, мокрая земля и люди отвыкли от солнца. Константин разбирал вещи в лагерном бараке: что в Петербург, что в Стрельну, что в Павловск. Он понимал, дни его в полку сочтены. И сердце сжималось от этой мысли.

Он гордился своим Преображенским полком и своим ответственным местом в нем, но если честно, он не был ОРЛОМ в этой должности.

* * *

Однажды в темный декабрь К. Р. понял, что спасти его от депрессии может только роль Гамлета, которая, в связи со всеми передрягами, так и не была им сыграна на сцене Эрмитажного театра.

Очень сухо и как-то безлично он спросил у Царя, можно ли будет поставить «Гамлета» на Эрмитажном театре, как раньше было высочайше поведено, или спектакль не состоится.

И сделал в дневнике совершенно безэмоциональную отметку: «Узнал, что нам надо готовиться играть».

Сразу всё ушло на задний план. Ему захотелось жизни правильной и деятельной: поменьше спать, вставать рано, не тратить попусту времени. Теперь он целыми днями сидел с карандашом над сброшюрованным экземпляром первого тома своего «Гамлета»: пьесу следовало сократить. Она была рассчитана на шесть часов, а придворному спектаклю положено было идти не больше трех. Наконец начались репетиции в Эрмитажном театре. С началом их Константин совершенно лишился сна. «Обдумываю роль свою, жесты, позы, интонации голоса, стараюсь приискать более тонких оттенков во всем». Утром он вставал с головной болью и мучился ею весь день. Чтобы отвлечь себя, садился за фортепиано и много играл Грига, модного норвежского композитора.

В следующую ночь всё повторялось сначала. Но работа над

спектаклем шла. Он разучил те сцены, которые были не показаны в «Измайловских досугах». В одной из них Гамлет поет песенку. Но как ее спеть ему при его дурном голосе? Мочалов в этом месте, кажется, разражался истерическим хохотом. «У меня не получится, я всю жизнь застегнут на все пуговицы», – думал К. Р. и злился на заболевшую красавицу Майю Лопухину (урожденную Клейнмихель), игравшую Офелию.

Когда подошли к разучиванию последней сцены, обнаружили, что представление все же затянуто. Пришлось думать о новых сокращениях. Огромным счастьем, считал Константин, было то, что режиссером спектакля пригласили актера Александрийского театра Владимира Николаевича Давыдова. Давыдов был истинный барин с очаровательной круглотой и вместе с тем с чиновной сдержанностью движений. Задушевность его доходила до таких глубин, в какие никто еще на русской сцене не уходил. Несентиментальные люди плакали на его спектаклях. Он был лучший Фамусов, лучший Городничий. Этот театральный корифей прекрасно читал стихи. «Чувствовалась в его читке глубокая любовь к красоте слова, красоте текста, всегда соблюдался рисунок мысли, и никогда темперамент не нарушал требований грамотности и логической ясности» – так говорили о Давыдове в Петербурге. И вместе с тем сожалели, что актер не может передать то, чем сам владеет, ибо играет по внутреннему внушению, не подкрепленному теорией. Учить же можно тогда, когда знаешь – как, а не когда только умеешь по наитию.

Константину, однако, казалось, что Давыдов и знал и умел. Когда он читал текст актерам, указывая на мелкие подробности каждой роли, картина становилась живой.

Так они прошли все четыре акта. Офелия играла все лучше и лучше, а Марья Алексеевна Коссиковская – королева Гертруда – была неподражаема. Высокий Константин сожалел только о том, что Марья Алексеевна была мала ростом, и он невольно приседал перед ней, за что, хоть он и Великий князь, получал выговор от Давыдова. Наконец, Давыдов собрал всех участвующих в спектакле. Кто только не играл в массовке – преображенцы, семеновцы, егеря, четыре конногренадера, барышни Зеленые, две Комаровы, две княжны Урусовы, Пешкова, Шевичи… Константин всех даже не знал.

Давыдов же обучал эту разнородную труппу с барским изяществом, и она беспрекословно шла за ним.

На одну из репетиций пришла Вера Федоровна Комиссаржевская – этот «ландыш серебристый». Нежная, тонкая, хрупкая, с очаровательной улыбкой. Своим редкой красоты голосом она просто, ясно и спокойно сделала несколько полезных

замечаний.

А Константин торжествовал «свою исправность»: хотя ложился во втором часу ночи, засыпал где-то в третьем, но вставал непременно в семь, успевал в утренние часы многое сделать и бежал на репетицию. «Эти репетиции – теперь моя жизнь, живу от одной до другой». Но какое-то предчувствие его мучило, он подсознательно ждал препятствий, огорчений, неудач и неприятностей. Предвидел их. Они и случились.

Требовалось сдать Преображенский полк и принять новое назначение. «Меня очень смущает мысль, что я буду назначен на новую ответственную должность до окончания представлений. Я боюсь, что мое появление на подмостках сцены, да еще сцены придворной, где меня увидит все общество, и появление во время вступления в новую и важную должность произведет очень невыгодное впечатление. Скажут, и не без основания, что не успел я взяться за новую обширную деятельность, как уже ломаюсь на театре», – записал он в дневнике с отчаянием.

Хотел идти к Царю, но его не было в Петербурге. Константин нервничал, терял «актерскую» форму. И вдруг понял, что исполнение роли Гамлета для него сейчас важнее всего. Всё остальное перед театром бледнеет. Стыдно было в этом сознаться ему, взрослому мужчине, отцу семейства, Его Императорскому Высочеству Великому князю, президенту Академии… Но это было так. Он дошел до того, что однажды утром, проснувшись, задал себе вопрос: «Что же со мной будет, когда кончатся представления „Гамлета“? Не род ли это помешательства?»

Наконец в Петербург вернулся Царь. Константин собрал всю волю и попросил отсрочить сдачу Преображенского полка и новое назначение до февраля или марта 1900 года. Объяснился с Государем, как всегда, прямо и искренне. И был понят.

Когда К. Р. приехал на репетицию, кажется, она была четырнадцатой, он увидел декорации. Они были прекрасны. Особенно галерея, по которой «часами ходил Гамлет». Но в молельне короля на стенах развешаны были ковры, а на них – вифлеемские ясли и даже Спаситель, распятый на кресте.

«Нужна затушевка, мы не привыкли видеть на подмостках священные изображения», – решил Великий князь, не подозревая, что именно этот вопрос коснется в будущем его земной и вечной жизни… А сейчас репетиция в декорациях прошла без сучка и задоринки, хотя Давыдов ворчал на счастливых актеров:

– Вижу апофеоз беззаботности! Но что скажет бдительный зритель? Ему нужны свежие впечатления!

Константин был тоже счастлив. Собратья по ремеслу его хвалили, и стало ясно, что спектакль будет.

Он оглянулся: дивная зала амфитеатром, замечательная, как все, что строилось Екатериной Великой. Представил: все скамьи полукругом, уходящие вверх, заняты зрителями, а внизу, на ровном полу, перед сценой, – четыре кресла для Царской семьи. В антракте в красивом фойе, что над мостом, перекинутым через Зимнюю канавку, толпится публика – бриллианты, мундиры, голые плечи, эполеты, перья, ленты, звезды… Но его волнует только зрительский интерес и Дагмара… Он ждал от нее благоволения. Но поймет ли она его?

* * *

Директор Императорских театров князь Волконский привез в Эрмитажный театр на представление «Гамлета» великого итальянского трагика Томмазо Сальвини. К. Р. играл принца Датского. «Великий князь, – вспоминал Волконский, – был прелестный человек, но не имел актерских способностей». Когда после спектакля они сели в карету, Сальвини спросил: «Зачем он это делает?»

Как объяснить практичному итальянцу русские желания? Лишь в отместку можно было бы напомнить, что и он, Сальвини, выдающийся профессионал, не очень был удачен в «Гамлете», играя принца рассудочно, сухо…

В тот вечер, когда Великий князь уехал в театр, лакей Крюков, кряхтя, с трудом внес в гостиную мраморный бюст Офелии: это был подарок жены дорогому Косте-Гамлету. Он должен был увидеть его, вернувшись с триумфом после спектакля…

* * *

Двадцать пятого марта 1900 года в 11 часов утра командир Преображенского полка Константин Константинович Романов на казарменном дворе держал речь перед полком. Обращался к каждому батальону, благодарил за службу, читал наставления. Вызвал вперед фельдфебелей и сверхурочных, поговорил с ними. И тут старейший из них поднес ему от нижних чинов крестик на шею.

Константин Константинович обратился к бывшим однополчанам так:

…

«Смело выражаю уверенность, что и вы, господа офицеры, перестав быть моими подчиненными, сохраните ко мне чувства товарищеского расположения, всегда рассчитывайте на мое к вам сердечное участие. От полноты сердца, спасибо и вам, молодцы нижние чины, от старейшего из фельдфебелей до последнего молодого солдата. Вы знаете, как я любил вас. Не прощаюсь и с вами, братцы. Если вперед уж не как командир ваш, то все же буду, как однополчанин, всегда следить за вами, на вас радоваться и вами любоваться. Мне хорошо известно, что вы гордитесь честью Преображенского солдата и сумеете научить и младшие поколения, как надо служить верою и правдою Царю и отечеству, не за страх, а за совесть, не щадя жизни своей до последней капли крови. Я знаю, вы твердо помните, что

Потешные былые,
Рады тешить мы Царя —
Счастьем всяк из нас считает
Умереть в Его глазах.

Живя радостями полка и деля его печали, я привык видеть в нем родную семью и надеюсь, что все чины его и впредь будут считать меня своим. Если кого чем обидел или неведомо для самого себя причинил кому огорчение, прошу простить мне невольную вину и не поминать лихом».

НОВЫЙ ВЕК

Даже если приглушить подушкой старые английские часы, громогласно отбивающие последние и первые минуты слома времени, а голову при этом спрятать под одеяло и сказать себе в 11 часов вечера: «Спи!» – все равно не заснешь. Подсознание фиксирует событие: не год переходит в год, а век наступает новый. Ему, двадцатому по счету, многое успели пообещать поэты, философы, политики, мистики, всевозможные маги. И как-то странно сходились в одном: не миновать человечеству тревог, катаклизмов, бурь. Но человек ведь как устроен? Он ожидает, но не ждет. И потому обращен к повседневности, а не к грядущему.

Для Великого князя Константина Константиновича повседневностью стала новая ответственная государственная должность – он возглавил военно-учебные заведения России, считая их не только частью системы военного образования, но и школой высокой нравственности, духовности, разнообразных устремлений и талантов. Грядущий молодой век, по его мнению, должен был иметь облик лучших представителей русской молодежи. А у него самого в арсенале был огромный запас выстраданных и пережитых мыслей, чувств благодаря собственным детям, которых было все-таки восемь человек…

Та же повседневность напомнила, что старших двух сыновей пора отдавать в кадетские корпуса. Иоанн остался в Петербурге, в Первом кадетском корпусе на Васильевском острове, Гавриила решили отправить в Москву, в Лефортово, в Первый Московский кадетский корпус, который размещался в громадном Екатерининском дворце.

Константин Константинович и Елизавета Маврикиевна повезли Гавриила в Москву вдвоем. И хотя их встретил строй кадет и бравый военный марш, родители волновались за сына, а сын за себя, потому что впервые оставался один в чужом городе среди чужих людей.

Помогли перенести новое состояние юному кадету ласка и теплое родственное отношение к нему дяди Великого князя Сергея Александровича и тети Великой княгини Елизаветы Федоровны. Сергей Александрович заботился о сыне брата и друга как о собственном ребенке – своих детей у него не было. Как это бывает в детстве, запомнились Гавриилу ему одному понятные вещи: разные по цвету комнаты в генерал-губернаторском доме дяди Сергея, огромные окна, зимний сад, шумная, широкая и пестрая от многолюдья Тверская за окнами, Кремль, Александровский сад у кремлевских стен, очень красивая

тетя Элла в мерлушковой кофточке на прогулке, чай втроем – с дядей Сергеем и тетей Эллой. Запомнил Гавриил и то, как Сергей Александрович читал вслух французскую книгу о допетровской России, а его больше интересовали дядина голубая австрийская куртка и мягкие сапоги без шпор, чем умозаключения француза.

Больше всего ему запомнилась всенощная, которую он должен был отстоять в корпусе, но, получив разрешение отца, пошел к всенощной с Сергеем Александровичем в его домашнюю церковь и был счастлив. А днем поехал в гости к другу-кадету, чья старшая сестра выйдет замуж за конногвардейца барона Врангеля. Откуда Гавриилу было знать, что этот Врангель войдет в русскую историю как главнокомандующий белой Добровольческой армией.

Пока Гавриил постигал новый век через свою кадетскую жизнь, его отец Константин Константинович осваивал его через обязанности новой службы. В 1901 году 4 февраля в приказе о воспитании молодежи он напишет: «Поддерживая все свои требования с принципиальной строгостью и устанавливая самый бдительный надзор, закрытое заведение обязано, по мере нравственного роста своих воспитанников, постепенно поднимать в них сознание человеческого достоинства и бережно устранять все то, что может оскорбить или унизить это достоинство».

Это был совершенно новый поворот в жизни кадетских корпусов. А Константин Константинович, улыбаясь, мягко говорил встревоженным, а вчера еще сонным, педагогическим комитетам:

– Не пугайтесь новых «еретических» мыслей. Всё просто: дело и в том, *что* вы даете, и в том, *что* получаете. А получаете вы друзей среди старших воспитанников, с помощью которых можно руководить и младшими учениками. Но при условии: весь педагогический процесс строится на сочувствии и любви. Изгнание воспитанника из корпуса – мера последняя, крайняя, нежелательная…

Великий князь много ездил, бывал в кадетских корпусах, инспектировал и убеждался в необходимости реформирования военного образования в России.

Сестре Оле писал, что новая деятельность отнимает всякую возможность заниматься поэзией. Однако в первый год нового века вновь оживает в его сознании замысел драмы, и он записывает приходящие стихотворные строки, которые пригодятся ему в будущем.

Летом 1900 года поступит в продажу его новая поэтическая книга – «Третий сборник стихотворений К. Р. (1889–1899)». Тираж в 1200 экземпляров быстро разойдется. И он приступит к

повторному изданию. Но новых стихотворений в первые годы XX века напишет мало: «… я не хозяин своего вдохновения и вызывать его насильно не умею». Но вот однажды, в октябре, Великий князь возвращался из Шамординского монастыря, над головой – треугольником журавли, и сложились строки: «Последней стаи журавлей / Под небом крики прозвучали. / Сад облетел. Из-за ветвей / Сквозят безжизненные дали / В красе нетронутой своей. / Лишь озимь зеленеет пышно, / Дразня подобьем вешних дней… – / Зима, зима ползет неслышно!»

Возможно, это стихотворение – «Летели журавли» – написано под впечатлением «Листопада» Бунина, тем более что именно по предложению Великого князя бунинский стихотворный сборник с таким же названием получил Пушкинскую премию Академии наук. Но в стихотворении К. Р. не только волнует прелесть стихотворения, настораживает настроение последних строк: «Как знать: невидимым крылом / Уж веет смерть и надо мною… / О, если б с радостным челом / Отдаться в руки ей без бою; / И с тихой кроткою мольбой, / Безропотно, с улыбкой ясной / Угаснуть осенью безгласной / Пред неизбежною зимой!»

Как грустно! К. Р. не был поэтом фраз. Он был поэтом искренности, а она говорит о душевной усталости.

Он, имеющий репутацию «лучшего человека России», не мог справиться со своими пороками. Клялся, молился, обещал – и всё повторялось: с депрессиями, самоанализом, исступленной молитвой. Он ненавидел себя и не прощал… И опять обращался к молитве. В это время он берет под свое покровительство Полоцкое церковное братство, церковноприходскую школу в Клименецком монастыре Олонецкой епархии, Осташковское общество преподобного Нила Столобенского Чудотворца. Он ищет искупления. На тяжелейшее личное состояние накладывается всё более растущая тревога из-за беспорядков в стране. В городах неспокойно. Убийства революционеры выдают за подвиги. В кабинете министров идут бесконечные перестановки, склоки, амбициозная карьерная борьба.

Анатолию Федоровичу Кони он писал в эти дни:

…

«…› Любезные, сердечные и сочувственные Ваши строки искренно обрадовали и тронули меня. Спешу откликнуться, Анатолий Федорович, в свою очередь пожелав Вам здоровья,

счастья и, главное, душевного мира в этом первом году XX века. Что то принесет он нам, задаете Вы себе вопрос. Для разума, хотя бы во всеоружии знания и науки, этот вопрос неотразимо страшен, но для сердца, разогретого непоколебимой верой в правосудие Промысла, будущее, как оно ни загадочно, не представляет ничего пугающего. Лишь бы каждый совестливо исполнял свой долг. Я думаю, каждый век имеет свои светлые и темные стороны, и великих и малых людей, и, хотя подобно Вам возмущаюсь упадком нравственного уровня в наши дни, утешаюсь уверенностью, что есть и хорошие люди. И не ради ли десятка праведников была обещана пощада Содому?…»

(1 января 1901 года).

Великая княгиня Елизавета Федоровна, жена Сергея, пишет письмо Царю с просьбой и советом ужесточить меры в борьбе с революционным террором: «Милый Ники, ради всего святого, будь сейчас энергичен. Впереди еще может быть много смертей. Покончи сейчас же с этим разгулом террора. Прости, если я пишу слишком прямолинейно. Но каждый день, который ты теряешь, только усугубляет положение. Мы должны быть смиренными, но даже Христос считал, что иногда необходимо быть суровым. Более, чем когда бы то ни было, дьявол работает во всем мире. А Россия – единственная страна, сохранившая верность Христовой церкви».

Казалось, только недавно праздником было возвращение из Ливадии с трудом выздоровевшего после брюшного тифа Царя в Петербург. От вокзала до Зимнего дворца стояли встречавшие его войска, а на Дворцовой площади – кадеты. Царю подали карету, и он был крайне раздосадован тем, что вынужден ехать за закрытой дверью по причине своей слабости. И Константин сказал сыновьям-кадетам, разочарованным, что они не увидели Царя:

– России нужен здоровый Царь.

Он говорил это искренне и очень серьезно, потому что считал: власть – это крест, Господом возложенный на слабого человека. И этот крест следует нести до конца – до смерти или до

победы. Говорят, что Константин плакал на коронации, глядя на молодого Николая, жалел его, боялся за него… Он понимал, что такое управлять Российским государством, изучив все царские правления по историческим исследованиям и придя к выводу, что это тяжкая ноша, которую невозможно выразить ни в каких исчислениях. Глядя и сейчас на Николая, думал: «Он все-таки прежний Ники, простой, добрый, безмятежный, ровный и приветливый… Смотришь на Него, и думается: это русский Царь, повелитель ста двадцати миллионов, и какая в нем простота, искренность, сколько смирения. Он как будто не отдает себе отчета в своем могуществе». Однако все чаще Константин Константинович грустно повторял: «В безволии Государя вся наша беда».

Само Провидение поддержало уставшую душу Великого князя. В 1903 году состоялось прославление преподобного Серафима Саровского, одного из самых почитаемых старцев в Русской земле.

Серафим Саровский (1759–1833), в миру Прохор Мошнин, из курской купеческой семьи, с юности выказывал особую благочестивость. В семнадцатилетнем возрасте совершил паломничество в Киев на поклонение печерским святым, от старца Досифея получил благословение на поступление в Саровский монастырь (Тамбовской губернии). Там почти десять лет был послушником, в двадцативосьмилетнем возрасте принял постриг с именем Серафим, вскоре был возведен в сан иеромонаха, после чего принял подвиг отшельничества, пребывая около пятнадцати лет в «дальней пустыньке». Из них три года провел в совершенном молчании, а тысячу ночей, стоя на камне, беспрестанно творил Иисусову молитву, тем самым пройдя через подвиг столпничества. Вернувшись после пустынножительства в монастырь, прошел и через подвиг старчества (духовного наставничества), принимая страждущих; в некоторые праздники к нему приходили по нескольку тысяч человек. Обладая даром прорицания, прозорливо видел старец Серафим приходивших к нему за советом, подавал благодатную помощь, исцелял недуги душевные и телесные. По преданию, с ним виделся Пушкин.

Издавна со святым старцем духовно была связана и Царственная семья. Существует предположение, что в 1824 году у Серафима Саровского побывал Александр I. Не эта ли встреча дала жизнь стойкому преданию, что в 1825 году Император не умер, а ушел в Сибирь, где объявился в Томске под именем старца Федора Кузьмича?

В 1830 году старца посетил Николай I. Его сын Александр II выказывал Серафиму Саровскому особенное почитание. Особое

значение для канонизации чтимого в народе старца имела «Летопись Серафимо-Дивеевского монастыря», составленная архимандритом Серафимом (Чичаговым) и открывшая монашеские подвиги величайшего подвижника Святой Руси – преподобного Серафима Саровского (изданная в 1896 году и переизданная в 1902-м). И вот 19 июля 1903 года, в царствование Николая II, состоялось торжественное прославление преподобного Серафима Саровского. К лику святых он был причислен через 70 лет после своей кончины.

Сделать это, как ни странно, было нелегко. Сопротивлялся этому К. П. Победоносцев (по некоторым свидетельствам, неприязненно относившийся к составителю «Летописи…»), а вслед за ним и члены Священного синода, высказавшиеся о представленных для канонизации материалах: «Слишком много чудес».

Николай II проявил волю, во многом благодаря поддержке Константина, опираясь на его образование, знание истории, вопросов религии и особенно души простого народа, для которого прославление русского святого было всегда наивысшей духовной радостью.

В Саров прибыла вся Императорская семья. Императрица Александра Федоровна молилась о даровании ей сына. Когда через год, 30 июля 1904-го, родится Наследник престола Царевич Алексей, по желанию Императорской четы престол нижней церкви, построенной в Царском Селе, будет освящен во имя преподобного Серафима Саровского.

На торжества канонизации съехалось более двухсот тысяч богомольцев. Великая княгиня Елизавета Федоровна писала из Сарова своему брату: «Какую немощь, какие болезни мы видели, но и какую веру! Казалось, мы живем во времена земной жизни Спасителя. И как они молились, как плакали – эти бедные матери с больными детьми, – и, слава Богу, многие исцелялись. Господь сподобил нас видеть…»

А Константин, неся гроб со святыми мощами из церкви святых Зосимы и Савватия в Успенский собор и чувствуя рядом плечо Государя, Сергея, родственников Императорской семьи и мощную силу слитой народной массы, был воодушевлен, просветлен и полон надежд.

Пережитое событие поможет ему создать так давно мечтавшуюся народную драму, заставит более определенно думать о России, о ее положении в мире. Начинался век, когда на глазах росли претензии Запада на руководство миром.

«Нет, – думал Константин, – русский человек не подлежит переделке. Непростительно нам отказываться от своего

культурного своеобразия в угоду технологическим новшествам и дешевой эстетике. Нельзя позволять смотреть на Россию как на стратегический приз, который можно получить хитроватой, плутоватой дипломатией Запада. Саша – Александр III – понимал, что история однажды бросит России небывалый вызов: стать страной, уважающей самое себя, а не ищущей уважения со стороны. Быть может, надо стать не великой страной, а великим Обществом?

Но говорил ли Александр III об этом с Ники?»

Константин полистал дневник, нашел год смерти Александра III и свою запись:

...

«Пламенно желая, чтобы Ники не подпал ни под чье влияние, я опасаюсь, что это мое желание не сбудется… Ники сказал мне, что его положение трудно. Я напомнил ему, что Бог, избирая царя, дает ему и силы. Я спрашивал, слышал ли он советы от Отца перед кончиной? Ники ответил, что Отец ни разу и не намекнул ему о предстоящих обязанностях. Перед исповедью отец Янышев спрашивал умиравшего Александра III, говорил ли он с Наследником? Государь ответил: „Нет, он сам все знает“.

События в Сарове воодушевляли. У Царя появился Наследник. На торжества по случаю крещения Царевича, которое состоялось 11 августа 1904 года в Петергофе, съехалась вся Царская семья, среди них сестры Императрицы и их мужья принцы Генрих Прусский и Луи Баттенбергский. Обряд крещения проходил в церкви Большого Петергофского дворца. Когда торжественное шествие направлялось через залы дворца в церковь, Наследника несла на подушке обергофмейстерина светлейшая княгиня М. М. Голицына. Государь был счастлив, весел, ему шел голубой атаманский мундир с бриллиантовой Андреевской звездой и бриллиантовым орденом Андрея Первозванного на Андреевской цепи. Бриллиантовая звезда и орден надевались в исключительно торжественных случаях, а

голубой атаманский мундир на Государе был мундиром полка, куда был уже зачислен Наследник. Из церкви родителям, по обычаю, пришлось уйти. Главными восприемниками новокрещаемого стали бабушка Мария Федоровна и Великий князь Алексей Александрович, приходившийся ему двоюродным дедом. Таинство крещения было совершено протопресвитером Иоанном Янышевым. Счастливый брат Царя Михаил Александрович, числившийся до рождения Алексея Наследником, тут же сообщил Императрице, что младенец окрещен. Сам он никогда не хотел царствовать и не меньше родителей радовался рождению мальчика.

Константин ощутил и сердцем и душой, как в семью Ники пришел покой. Надо сказать, что и его семья наконец-то обрела то, о чем мечтала. Не сторговавшись с Осоргиным, который хотел большие деньги за свое калужское имение, непосильные Великому князю, Константин купил дом и землю под Москвой, в Осташеве.

Осташево упоминается в документах XV века. Владел им удельный князь Волоцкий. Побывало Осташево и в руках казанского царевича, и татарского мурзы. В дальнейшем хозяева менялись часто: Прозоровские, Голицыны, Салтыковы, Урусовы, Муравьевы, Шиповы. Общий облик усадьбы стал складываться в начале XIX века. Но расцвет ее начался при герое Отечественной войны 1812 года Николае Николаевиче Муравьеве. Человек он был известный еще и потому, что создал школу колонновожатых – офицеров Генерального штаба. Летом его воспитанники, будущие командиры, учились фехтованию, верховой езде, картографии. Муравьев и подозревать не мог, что его школа готовит будущих декабристов, среди которых окажется и его сын Александр, лихо скакавший по осташевским просторам с друзьями. А пока отец радовался успехам сына и строил конный завод, обширные скотные дворы, производил сыр. Плоды его деятельности сохранились до 1903 года, когда Осташево купил Великий князь.

В селе, давшем название усадьбе, Константин Константинович откроет школу, построит больницу; село Рюховское и Осташево соединит хорошим шоссе, в деревне Бражниково организует ясли для крестьянских детей. В усадьбе появятся фермы, заколосятся поля. Но Осташево станет в жизни Константина Константиновича той раной, которая сведет его в могилу. Странный клочок земли! Здесь жили противники самодержавия: Муравьев остановил часы на башне своего дома, когда казнили декабристов. Здесь жили сторонники самодержавия: их сбросили живыми в шахту. Никто – ни те ни

другие – не спасся…

* * *

Однако вернемся в начало XX века. Разворачивалась Русско-японская война. Так или иначе, она затронула всех. Константин с ужасом узнает о гибели адмирала Степана Осиповича Макарова, с которым они так удачно «пробили» проект постройки мощного ледокола «Ермак» (который проводил сквозь льды корабли даже в 1941–1945 годах), а также о смерти талантливого художника-баталиста Василия Верещагина, погибшего, как и Макаров, в Порт-Артуре при взрыве броненосца «Петропавловск». Елизавета Маврикиевна заплачет вместе со своей фрейлиной, баронессой С. Н. Корф, получившей известие о гибели сына. Потрясенные Владимировичи долго не смогут поверить в чудесное спасение Великого князя Кирилла Владимировича (сына Великого князя Владимира Александровича), который едва остался жив, проведя в ледяной воде несколько часов. Судьба уготовит ему роль блюстителя Русского Императорского престола за рубежом – с 1922 года (а в 1924 году он будет провозглашен «Главой Императорского Дома Романовых»).

Иоанн и Гавриил послали из Ливадии Владимиру Александровичу восторженную телеграмму по поводу того, что Кирилл спасся. Из Москвы Константину писал Сергей, что Элла – Елизавета Федоровна – устраивает мастерские для помощи фронту; во всех залах Кремлевского дворца, кроме Тронного, сотни женщин трудятся за швейными машинками и рабочими столами, готовя обмундирование для солдат. В это же время Елизавета Федоровна собирала пожертвования по всей Москве и в провинции. На фронт посылались продовольствие, лекарства, одежда и подарки для солдат. На свои средства Великая княгиня сформировала несколько санитарных поездов. В Москве устроила госпиталь для раненых, создала специальные комитеты по обеспечению вдов и сирот погибших на фронте солдат и офицеров.

… Русские войска терпели одно поражение за другим.

«ОТЕЦ ВСЕХ КАДЕТ»

– Тебя, я слышал, называют братом солдату, теперь станешь отцом кадетам. В добрый путь! – И Николай II пожал Великому князю руку.

Эта должность – главного начальника военно-учебных заведений Российской империи – словно создана была для него. Она позволяла ему применить в широком масштабе принципы воспитания, основанные на любви и доверии, сформировавшиеся у него по отношению к нижним чинам, как и к собственным детям. А кадеты – те же дети, только избравшие с помощью родителей трудное поприще защитников Царя и Отечества. И как нелегко им сразу же после детской оказаться в условиях казармы и строгой дисциплины, как нуждаются они в отеческой заботе!

Великий князь не сомневался, что давно назрела необходимость пересмотреть основы воспитания будущих офицеров, приверженцев просвещенной монархии. Успех ему виделся на пути гуманизации военного образования, укрепления религиозной нравственности, расширения кругозора воспитанников кадетских корпусов, чтобы по уровню развития они не отставали от выпускников лучших реальных училищ.

Конечно, он понимал, что его идеи и репутация «либерала и фантазера» могут вызвать сопротивление консерваторов от военного воспитания. Но чем больше он об этом размышлял, тем больше крепло желание проявить себя в воспитании русского воина наступающего века. Как бы ему хотелось увидеть результаты своей военно-педагогической деятельности, когда целая когорта выпускников-кадет, высокообразованных, честных и храбрых, окончивших высшие военные училища, вольется в армию, содействуя тому, чтобы она стала самой завидной в мире!

Не утерпел и позвонил все же в министерство генерал-лейтенанту Якубовскому с просьбой подобрать материалы по истории военно-учебных заведений в России и несколько книг по военной педагогике.

* * *

Накануне своего официального вступления в должность, с 4 марта 1900 года, Константин Константинович поехал в собор Петропавловской крепости. Помолился у родных могил, долго и благоговейно стоял у гробницы Великого князя Михаила Павловича. Вспомнил «Прощание с моими детьми военно-

учебных заведений» – последний документ, написанный им. Достойная жизнь, достойная смерть… И мысленно попросил у своего двоюродного деда благословения продолжить его дело…

«Христианин, верноподданный, русский, добрый сын, надежный товарищ, скромный и образованный юноша, исполнительный, терпеливый и расторопный офицер – вот качества, с которыми воспитанник этих заведений должен переходить со школьной скамьи в ряды армии с чистым желанием отплатить Государю за его благосклонность честной службой, честной жизнью и честной смертью». Константин Константинович и сейчас подписался бы под этими словами из «Наставления для образования воспитанников военно-учебных заведений», разработанного свыше пятидесяти лет назад по поручению Михаила Павловича.

«Прежде всего надо выяснить, что мы сохранили и что потеряли с тех пор, – ставил себе задачу на первое время Константин Константинович, – а потом реставрировать и запустить механизмы, созданные при Николае I». (Ему вдруг показалось символичным, что он, как когда-то его двоюродный дед, занимается одним с ним делом, и оба при императорах Николаях.)

По рекомендации Михаила Павловича виднейшими военными педагогами того времени во всех подробностях разрабатывалась система военного воспитания, устанавливался строгий распорядок внутренней жизни во всех кадетских корпусах. Михаил Павлович добился существенного увеличения содержания педагогов, в результате в кадетские корпуса пришли лучшие офицеры, имеющие склонность к воспитательной работе. Был создан Военно-учительский институт. И наконец, Михаил Павлович более чем вдвое умножил число кадетских корпусов.

«Чем не программа действий для меня на первых порах, – размышлял Константин Константинович. – Не зря же говорят: все новое – это хорошо забытое старое!»

Аполлон Митрофанович Макаров, крупнейший военный педагог и писатель, принял его в здании музея в Соляном городке. [57] Первым делом показал Великому князю свой уникальный музей с его огромным собранием научной, педагогической и методической литературы, учебных пособий, комплект журнала «Педагогический сборник», издаваемого музеем около двадцати лет, и литературы по психологии обучения. А потом пригласил его в свой кабинет. Хозяину было под шестьдесят, но живые карие глаза и располагающая улыбка делали его моложе. Был Аполлон Митрофанович сутуловат, но, зная это, держался подчеркнуто прямо, оттого мундир на нем

сидел как на манекене.

– Скажите, уважаемый Аполлон Митрофанович, а централизованная система управления военно-учебными заведениями эффективна?

– Достаточно эффективна. Кадетские корпуса имеют одинаковые учебные программы по всем предметам, в том числе и по строевому обучению, одинаковые принципы воспитания и жизненный уклад.

– А вот что, на ваш взгляд, нуждается в срочном изменении?

– Видите ли, Ваше Императорское Высочество, в последние годы появилась тенденция насаждать в корпусах чуть ли не железную воинскую дисциплину и порядок. Вроде бы ничего плохого, но происходит это зачастую в ущерб нравственному и патриотическому воспитанию. Конечно, наказать и даже отчислить кадета, по сути еще ребенка, куда легче, чем изучить его психологию и понимать мотивы тех или иных зазорных поступков, чтобы уметь их предотвращать. Грешат этим, не скрою, многие армейские офицеры, по недоразумению занявшие должности воспитателей в корпусах.

– Значит, управление испытывает недостаток в квалифицированных воспитателях – правильно я вас понял?

– Да, многих честных служак из-за возраста постепенно надо заменять, только вот кем?

– Но ведь можно обучить! Скажем, организовать курсы для подготовки офицеров-воспитателей на базе вашего музея, для этого здесь есть все возможности.

Аполлон Митрофанович задумался на секунду:

– Да, конечно, если только будут отпущены средства и к нам будут направляться перспективные офицеры…

Из этой встречи Великий князь вынес впечатление, что начинать следует с подробного ознакомления с кадетскими корпусами, их директорами и педагогами, с программами обучения и воспитания кадет, с самими кадетами. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Интересно, подумал он, есть ли в управлении хоть один офицер, посетивший все кадетские корпуса? Если нет – буду первым!

Жизнь, однако, не давала времени на раскачку. Вскоре ему пришлось искать нового директора Пажеского корпуса. Он остановился на Николае Алексеевиче Епанчине, преподавателе тактики в старших классах. Красивый, всегда подтянутый сорокатрехлетний полковник, отличившийся в последней Турецкой кампании, обладавший приятным баритоном и способностью вызвать глубокую заинтересованность кадет к любой теме, каковой касался, он пользовался если не любовью, то

искренним уважением своих слушателей. Бывший кадет граф Игнатьев позже говорил, что полковник производил впечатление такого человека, на которого хотелось походить, когда станешь взрослым.

Разговор с полковником оказался непростым. Николай Алексеевич признался, что в первую очередь его интересует не должность с повышением в звании, и счел нужным сразу предупредить, что отнюдь не является поклонником воспитательных методов Великого князя.

– Уж извините меня, Ваше Императорское Высочество, с уважением относясь к каждому кадету, я тем не менее никогда не буду с ним на «короткой ноге». Между мной и им всегда должно оставаться пространство, на котором можно приказывать и требовать выполнения долга. Общение «по душам» такого пространства, как правило, не оставляет, – проговорил Епанчин не без вызова в его сторону.

Константин Константинович внимательно посмотрел ему в глаза. Полковник выдержал взгляд. Да, свисток всегда впереди паровоза, – промелькнуло в голове Великого князя, – интрига Владимира вышла за стены полка, как и молва о его так называемом либерализме с нижними чинами.

Вызова он не принял.

– Видите ли, Николай Алексеевич, здесь всё определяется результатом. Один результат у вас уже есть – кадеты старших классов относятся к вам с искренней приязнью, а к вашему предмету – с заинтересованным желанием его освоить. Не сомневаюсь, вы из той породы уважаемых мной людей, которые ради наилучшего исполнения любого поручения ищут свою стратегию и тактику… Со своей стороны постараюсь избежать разговоров «по душам» с пажами, так как уверен, что вы и сами найдете путь к их сердцам.

Николай Алексеевич Епанчин почти семь лет был образцовым директором Пажеского Его Императорского Величества кадетского корпуса. Однако ни друзьями, ни единомышленниками они так и не стали. После должности директора, получив блестящий отзыв от начальника военно-учебных заведений и чин генерал-лейтенанта, Епанчин стал начальником пехотной дивизии.

* * *

Великий князь один, без свиты, стоял на пороге спальни первой роты, которую составляли самые маленькие кадеты.

Около ста пятидесяти коек в несколько рядов, и возле каждой деловито суетятся дети в военной форменной одежде. Уже прошла общая вечерняя молитва, и все готовятся ко сну. Через 15 минут погаснет освещение и загорятся синие ночники. Надо успеть.

Подъем в 5 часов 45 минут под звуки трубы или барабана. Точное время отпущено на умывание, чистку сапог, одевание, построение и молитву – и все роты строем марш в столовую на утренний чай. В классы на повторение пройденного – тоже строем. Три урока с переменами – и опять строем в огромную столовую на завтрак. Там всем корпусом произносятся молитвы «Очи всех на Тя, Господи, уповают…» и «Благодарим Тебя…». После завтрака – строем на прогулку на плац или в сад, потом – по сигналу – опять в классы, еще на три урока. Потом строем – на обед, за столами по десять человек в огромном зале. После обеда – прогулка и свободное время, опять же не без присмотра офицера-воспитателя. Приготовление домашних заданий. Ужин, молитва… Детские шалости распорядком дня не предусмотрены.

Один из мальчишек заметил Великого князя и хотел было громко оповестить всех, но тот заговорщицки приложил палец к губам – тсс. Потом высокий гость взял подушку и, на цыпочках приблизившись к самому маленькому кадетику, в одной сорочке стелившему постель, легко бросил ее в него. Тот поймал и машинально отправил снаряд обратно. Гость перехватил и бросил подушку в другого кадета. Через минуту подушки летали по всей спальне, больше всего – в сторону Великого князя. Он, смеясь, отбивался… В конце концов образовалась «куча-мала», и начальник военно-учебных заведений, Великий князь и прочая, и прочая оказался под грудой хохочущих малышей. На шум прибежали ротный командир и воспитатели, не рассмотрев сразу Великого князя, ротный громко подал команду: «Смирно!»

«Куча-мала» разлетелась, и перед корпусным начальством, несколько смущенный, по стойке «смирно» предстал главный нарушитель порядка. Сто пятьдесят пар восхищенных детских глаз смотрели на него.

– Ваше Императорское Высочество, вы? – изумились воспитатели, после чего прозвучала команда: – Рота, по кроватям!

Считаные секунды понадобились на выполнение приказа. Константин Константинович прошел по рядам, пожелал кадетам спокойной ночи и перекрестил тех, кому поправлял одеяло. Позже счел нужным объясниться с ротным офицером:

– Простите за это невольное прегрешение против наставлений – мне почему-то захотелось увидеть этих маленьких серьезных солдатиков расшалившимися детьми…

Константин Константинович писал сестре Ольге: «… Мне радостно и страшно начинать новую деятельность, но я твердо надеюсь, что мои молитвы и молитвы других помогут мне справиться с трудной задачей». А немногим больше месяца спустя, вкусив новых хлопот и забот, делится с ней же: «Новая моя деятельность на первых порах отняла у меня всякую возможность делать, что хотел. Я наслаждаюсь, посещая корпуса и училища, я всегда любил учебные заведения. А эти, облагороженные военным мундиром, приподнятые духом воинской доблести, мне особенно милы… Все мне говорят, что я добр и снисходителен к кадетам, и никто не знает, какое счастье доставляет мне проявить в отношении их доброту и ласку. Дело в том, что я гораздо больше получаю от них, нежели даю. Не проходит и двух дней в любом корпусе во время моих объездов, как мое сближение с кадетами становится настолько тесным и задушевным, что прощание с ними доставляет мне огромное огорчение. В день отъезда с утра я начинаю томиться предстоящей разлукой с ними, и, поверишь, при отходе поезда почти все кадеты, даже самые большие, плачут при расставании со мной навзрыд, и я сам не могу удержаться от слез…»

Во время знакомства с петербургскими кадетскими корпусами у Великого князя выработался свой стиль: никакой свиты, по возможности никаких торжественных встреч. Посещение уроков, практических и внеклассных занятий, беседы с глазу на глаз с кадетами на прогулке, за обедом, в казармах. Диалоги с учителями и воспитателями, прием всех желающих побеседовать наедине, в том числе обращающихся с просьбами. В заключение – разговор с директором… И, разумеется, выводы для своей дальнейшей деятельности.

Одну из первых своих поездок новый начальник военно-учебных заведений совершил в Орловский кадетский корпус имени Бахтина. Так получилось, что этот корпус посетил он и последним в своей жизни.

По России Великий князь ездил в специальном вагоне Сибирской железной дороги, который почти на 15 лет стал для него своеобразным домом на колесах. Позже, когда здоровье К. Р. пошатнулось, в длительных путешествиях его сопровождал собственный повар. Поездки были нелегкими: вагон часто простаивал на узловых станциях в ожидании попутного поезда, летом донимала жара, зимой бывало холодно.

Поезд пришел в Орел в середине дня. На улице – легкий морозец, но уже по-весеннему пригревало солнце, и Константину Константиновичу доставила удовольствие короткая прогулка в распахнутой шинели. Встречал его вице-губернатор Владимир

Бернхард, пригласивший вечером к обеду, от которого высокий гость вежливо отказался, объяснив, что будет столоваться в корпусе. Отказался гость и от вице-губернаторской кареты, сказав, что поедет трамваем, линия которого проходила возле корпуса. Впрочем, Бернхард был об этом предупрежден еще из Петербурга: никаких карет, никаких оркестров, визит сугубо деловой. Трамвай из четырех вагонов был подан. Увидев, что один из них украшен флагами и коврами, Великий князь попенял хозяину:

– Об этом мы не договаривались, Владимир Владимирович.

Тот с готовностью согласился:

– Вот именно, Ваше Императорское Высочество, насчет украшения вагона вы меня не предупреждали. Но Орел не так часто посещают лица царской крови, и публика имеет право приветствовать вас, проявляя патриотические чувства.

– В таком случае прошу вас составить мне компанию.

Действительно, на пути трамвая то и дело встречались большие группы людей, приветствующие Великого князя криками «ура». И вдруг трамвай неожиданно остановился – пропало электричество. Константин Константинович спустился на подножку и в ответ на аплодисменты и приветствия громко провозгласил:

– Да здравствует Государь наш, Его Императорское Величество Николай Второй! Ура!

Восторженное многоголосое «ура» было ему ответом, при котором трамвай вдруг тронулся, и Константин Константинович едва не свалился с подножки.

Примерно через час трамвай остановился у внушительного четырехэтажного здания на углу Верхне-Дворянской улицы и Свейбеевского переулка. Фасад украшала надпись золотом: «Орловский Бахтина кадетский корпус», поверх ее – двуглавый орел. Местный помещик Михаил Петрович Бахтин свыше семидесяти лет назад пожертвовал почти 2 миллиона рублей на строительство этого здания, с тех пор его имя увековечено в названии корпуса.

В вестибюле, в одном конце которого был установлен бюст Бахтина, а в другом – Великого князя Михаила Павловича, в ожидании находились директор корпуса генерал-майор Светлицкий с ротными офицерами-воспитателями. Увидев Константина Константиновича в форме Тифлисского полка, офицеры взяли под козырек, но гость, весело улыбаясь, сказал: «Вольно, вольно, без всяких церемоний, господа» – и поздоровался с каждым за руку. Потом отменил предложенное директором торжественное построение корпуса:

– Мне хочется, если позволите, пожить три дня вашей жизнью, понаблюдать за бытом и учебой кадет, за работой воспитателей, по возможности ничем не нарушая установившегося в корпусе порядка.

Ему отвели две комнаты с отдельным входом при лазарете, камердинеру выделили койку в спальне унтер-офицеров. Прежде чем переодеться и отдохнуть, Великий князь попросил отвести его в корпусную Михайло-Архангельскую церковь. К своему удовольствию, в правом притворе он обнаружил икону Иверской Божией Матери, подаренную корпусу свыше пятидесяти лет назад, и счел это добрым знаком. Когда Великий князь помолился, генерал-майор Светлицкий показал ему место, где когда-то висело корпусное знамя:

– Не знаю, Ваше Императорское Высочество, что думаете вы на этот счет, но мне представляется ошибочным лишение корпусов штандартов. Хорошо бы с вашей помощью их вернуть из музеев. Сам я из бывших кадет и хорошо помню, как замирали наши сердца, когда знаменосец под звуки марша становился во главе строя…

Великий князь водрузил на стол походный письменный прибор и календарь, в правый угол положил Библию, разложил бумаги, открыл толстую тетрадь с надписью «Кадетские корпуса» и сделал очередную запись: обсудить с Ники возвращение корпусам знамен. А потом разделся, умылся и с удовольствием растянулся на кровати, намереваясь лишь отдохнуть. И проспал обед.

Выйдя в коридор, заметил необычное оживление в видимом пространстве вокруг своих апартаментов: каждую минуту здесь проходил кто-нибудь из младших кадет, вроде бы даже не обращая на него особого внимания.

Очередного случайного прохожего окликнул:

– Как тебя зовут, гренадер?

– Антон Иванников, Ваше Императорское Высочество.

– О, ты знаешь, кто я такой?

– Все знают.

– Тогда пойдем, покажешь мне корпус. Ты откуда прибыл?

– Из Курска.

Они побывали в учебных классах, спальнях, в столовой… Везде царил идеальный порядок. Одна деталь показалась ему интересной: старшие кадеты, хотя и с завистью, провожали взорами его маленьких спутников, однако никто из них к их группе не присоединился. Так было и позже: когда он был в окружении старших кадет, младшие лишь смотрели им вслед.

– Покажите мне, друзья, где у вас тут фортепиано?

Так они оказались в актовом зале. Великий князь сел за рояль:

– Сейчас я вам сыграю пиесу Петра Ильича Чайковского из цикла «Времена года». Кто узнает, о какой поре написал здесь композитор, получит от меня подарок…

Вперед выступил кадет и, густо покраснев, произнес:

– О весне, Ваше Императорское Высочество.

– Молодец! Как же ты догадался?

– По бульканью ручейков, по птичьим трелям. А вообще-то я сам играю это произведение и хорошо его знаю.

Великий князь весело рассмеялся:

– Это же надо – по птичьим трелям, а сам давно играет Чайковского! Молодец, подарок твой! Как тебя зовут, пианист? Илья Валуев? Раз так, садись-ка, кадет Валуев, на мое место и сыграй нам всем «Зиму».

На другой день Илья Валуев хвастался перед всеми новеньким Евангелием, на первой странице которого рукой Великого князя было написано четверостишие:

Пусть эта книга священная,
Спутница нам неизменная,
Будет везде и всегда
В годы борьбы и труда.

И подпись – К. Р.

Между прочим, скоро появилась традиция: все кадеты-новички стали получать от своих воспитателей небольшое, изящно изданное Евангелие в черном коленкоровом переплете с факсимиле этих стихов. Многие действительно пронесли эти книги через войны и на чужбине передавали своим сыновьям…

* * *

По воспоминаниям многих бывших кадет, Константин Константинович обладал замечательным даром – как никто другой умел общаться с молодыми. Для начала разговора ему никогда не требовалось искать каких-то особых слов и положений: сама его долговязая фигура, глаза, светящиеся добрым любопытством, а иногда и веселым лукавством, всё понимающая улыбка вызывали огромное доверие и желание не просто ответить на заданный им вопрос, но и открыться, поплакаться, облегчить душу. И никому никогда не пришлось пожалеть о минутах откровенности – Великий князь умел помочь словом и делом, а еще он умел хранить тайны.

Константин Константинович без особого труда после первых же своих ознакомительных поездок по корпусам сумел разглядеть основные недостатки: командное отношение, дисциплина только внешняя, нравственная сторона воспитательного процесса зачастую игнорируется.

Граф Алексей Алексеевич Игнатьев, царский генерал и дипломат (перешедший на сторону советской власти), так характеризовал Киевский кадетский корпус, который он окончил в 1896 году: «… корпус, со всей его внешней дисциплиной, тяжелой моральной атмосферой и своеобразным нравственным „нигилизмом“, закон которого – „не пойман – не вор“ – означал почти то же, что и „все дозволено“».

Конечно, подобное положение было и в большинстве других корпусов, что произвело негативное впечатление на такого честного и прямого человека, как Великий князь.

Он пишет сестре Ольге: «… Что сказать тебе про путешествие? Это длинно и трудно. Главное – счастлив. Счастлив, как редко бывал в жизни. Никаких столичных дрязг, светской мелочности, глупых разговоров, только дело, дорогое и любимое мною дело ознакомления, и все большего и теснейшего, с моими заведениями. Ты знаешь, я ничего не хочу сразу ломать и переделывать, никаких определенных намерений у меня нет, а хочется вникнуть в жизнь кадет и их руководителей, и тем и другим принести пользу. Вот я и присматривался и, если хочешь, бессознательно подавал пример, как надо уметь любить и быть любимым, без чего невозможно воспитание…»

Он уже увидел как достоинства – «не хочу ничего ломать и переделывать», так и один из способов устранения недостатков – «подавать пример»… В последних двух предложениях – целая концепция, которую Константин Константинович будет воплощать все 15 лет своей службы в Главном управлении военно-учебных заведений: десять – на посту начальника, пять – генерал-инспектора…

Оказывается, многое можно исправить сразу, вроде бы ничего не ломая. Короткое время спустя после своего назначения Великий князь ходатайствовал перед Государем о возвращении кадетским корпусам прежних знамен, сданных в архив после реформ военного министра Милютина, переименовавшего корпуса в гимназии. Он прекрасно понимал, как можно использовать этот объединяющий и вдохновляющий символ доблести в военном воспитании. Царь дает «добро» – и начальник военно-учебных заведений издает распоряжение выносить знамена на парадах «как наивысшую воинскую святыню и лучшее украшение кадетского строя». (Когда Октябрьская революция

разорила кадетские корпуса, кадеты сумели сохранить знамена, ставшие святыней и лучшим украшением корпусов, воссозданных в изгнании.)

Вот как пишет о воспитательном значении знамени Г. Месняев, выходец из кадет:

...

«… В те времена никто не внушал кадетам любви и преданности Царю и Родине и никто не твердил им о долге, доблести и самопожертвовании. Но во всей корпусной обстановке было нечто такое, что без слов говорило им об этих высоких понятиях, говорило без слов детской душе о том, что она приобщилась к миру, где смерть за Отечество есть святое и само собой разумеющееся дело.

И когда впервые десятилетний ребенок видел, что под величавые звуки «встречи» над строем поднималось ветхое полотнище знамени, его сердце впервые вздрагивало чувством патриотизма и уже навсегда отдавало себя чувству любви и гордости к тому, что символизировало мощь и величие России… Так незаметно, день за днем, без всякого принуждения, душа и сердце ребенка, а затем и юноши, копили в себе впечатления, которые формировали кадетскую душу.

Вот этими-то путями незаметно внедрялось то, что потом формировалось в целое и крепкое мировоззрение, основанное на вере в Бога, на преданности царю и родине и готовности в любой момент сложить за них голову. Эти понятия заключали в себе большую нравственную силу, которая

помогала старым кадетам пронести через всю их многострадальную жизнь тот возвышенный строй мыслей и чувств, который предостерегал и спасал их от ложных шагов. И вот за это мы, старые кадеты, до гробовой доски носим в себе чувство живой и теплой благодарности и привязанности к своим старым кадетским гнездам, в которых мы отрастили свои крылья для того, чтобы лететь к славе и чести, к тяжелому подвигу, к жертвам, страданию и смерти…»

Одним из первых серьезных действий нового главного начальника была отмена телесных наказаний во всех военно-учебных заведениях Империи. Но он идет дальше. В приказе, вышедшем 28 февраля 1901 года, в частности, говорится: «Поддерживая все свои требования и принципы со всей строгостью и устраивая над вновь поступающими самый бдительный надзор, закрытое учебное заведение обязано по мере нравственного роста своих воспитанников постепенно поднимать в них сознание человеческого достоинства и бережно устранять все то, что может унизить и оскорбить их достоинство. Только при этом условии воспитанники старших классов могут стать тем, чем они должны быть, – цветом и гордостью своих учебных заведений, друзьями своих воспитателей и разумными направителями общественного мнения всей массы воспитанников в добрую сторону».

Уже в 1900 году были созданы годичные курсы для подготовки офицеров к воспитательной деятельности в кадетских корпусах. Вот его напутствие первым слушателям из числа наиболее склонных к педагогической работе офицеров из всех кадетских корпусов: «Дело воспитания – самое священное и трудное, требующее от исполнителей высокой нравственности и больших духовных сил. В ряды воспитателей должны вступать лучшие из наших военных людей».

На курсах преподавали основы анатомии и физиологии детей и юношей, школьную и практическую гигиену, логику и психологию, историю развития педагогических идей и современные учения о воспитании, историю и методику преподавания физических упражнений. На практических занятиях осваивались гимнастика с подвижными играми, фехтование на

шпагах и саблях, плавание, ручной труд, оказание первой помощи при несчастных случаях. По окончании курсов, к преподаванию на которых Великий князь привлекал лучших профессоров, сдавались выпускные экзамены. Ежегодно в корпуса возвращались около тридцати хорошо подготовленных офицеров-воспитателей, и выглядели они, по отзыву одного из современников, «точно хорошо вымытые и освеженные в прекрасной бане». Директорами корпусов Константин Константинович, вопреки традиции, назначал молодых полковников, имеющих склонность к педагогической работе, любящих и понимающих кадет, быстро и без обид отставляя от дел рутинеров, приверженцев командно-казарменного стиля воспитания будущих офицеров.

Издержкой такого стиля, помимо всего прочего, была система наказаний в корпусах – штрафные журналы, карцер, лишение погон, перевод в Вольский исправительный корпус. Часто практиковалось исключение нерадивых или недисциплинированных кадет. Не забудем, что речь идет о десяти-шестнадцатилетних детях, для которых исключение за незначительные проступки, а бывало, и за те, которых кадет не совершал, представлялось крахом всей жизни.

Великий князь в своих идеалистических фантазиях видел каждый кадетский корпус одной большой семьей. В ней офицеры по-отечески терпеливо, строго и вдохновенно растят своих питомцев, обучая и внушая непреходящие нравственно-религиозные нормы, неразрывно связанные с традициями русской армии, с любовью и преданностью Царю и Отечеству. Кадеты же, для которых корпус – второй родной дом, дружны между собой.

Он стремился, как сейчас говорят, унифицировать обучение и воспитание во всех российских кадетских корпусах, чтобы корпуса имели одинаковые учебные программы по всем предметам, в том числе по строевой подготовке, единые воспитательные методики, а все воспитанники вели один и тот же образ жизни и отличались бы друг от друга лишь цветом погон.

* * *

Пение церковного хора в Первом кадетском корпусе произвело на Великого князя незабываемое впечатление. И он решил пригласить всех певчих в церковь Мраморного дворца по случаю одного из семейных праздников. По окончании утренней службы всех привели в столовую дворца и угостили великолепным завтраком. Великий князь завтракал вместе с кадетами, был в замечательном настроении. Завтрак закончился

мороженым, а к нему подали золоченые серебряные ложки с великокняжеской короной и вензелем генерал-адмирала Константина Николаевича. Кто-то из кадет разглядел на ложках дату – 1868 год…

Завтрак закончился, гостеприимный хозяин проводил гостей за ворота и выехал в Павловск. А когда вернулся, был шокирован докладом дворецкого: все сорок две серебряные ложки… сворованы певчими.

– Что ты говоришь, голубчик, как же можно? Кадеты – не воры.

– Выходит, можно, Ваше Императорское Высочество. Ни одной ложки нет и в помине…

– Да, могло статься, они взяты на память, на сувениры. Сейчас это модно.

– А коли берешь без спросу – как это называется?

– Ладно, ладно, ступай себе, я разберусь. Будут тебе ложки…

Тем временем в корпусе воцарилась тревога. Владельцы «сувениров» осознали, что, как ни крути, ответили Великому князю черной неблагодарностью, и размышляли над тем, как удобнее вернуть ложки в Мраморный дворец и покаяться. Ждали выходного.

Через два дня старшего певчего Христофора Ауэ вызвали в дежурную комнату. Едва увидев начальника военно-учебных заведений, старший певчий чуть было не упал перед ним на колени. Великий князь положил ему руку на плечо и вывел в коридор, где они оказались без свидетелей.

– Ну, что будем делать?

– Простите, Ваше Высочество, мигом сгоняю в казарму и принесу. – Христофор сразу же нацелился бежать.

Великий князь остановил его:

– Значит, сувенировали? А если я потребую все сорок две, все вернешь?

– Так точно, Ваше Высочество! Все только и мечтают вернуть их вам!

– Я так и думал, что это не воровство, – счастливо улыбнулся Константин Константинович, – а потому решил оставить ложки вам. А себе уже заказал новые. Но чтобы это было в последний раз. Иначе ваши завтраки мне будут обходиться слишком дорого, так как я не намерен лишать себя радости и впредь слушать ваше пение у себя во дворце.

– Большое спасибо, Ваше Императорское Высочество! Можно, я сейчас побегу, расскажу про это всем нашим?

Легализованный сувенир Христофор отвез в дом своих родителей. После Гражданской войны бывший кадет Ауэ оказался

в эмиграции, стал владельцем фермы в Австралии. Дорогую реликвию в 1929 году привезла ему из России мать, и она хранилась у него до пятидесятых годов. Узнав, что сын Константина Константиновича Гавриил избежал страшной участи других Романовых, казненных большевиками, и живет в Париже, Христофор Ауэ решил вернуть ложку тому, для кого она будет дороже, чем для него самого. В своих воспоминаниях он пишет:

...

«… Это возвращение дает несказанное счастье подтвердить под конец моей жизни всю мою глубокую преданность и бесконечную благодарность Человеку и Начальнику, ласками которого я был осыпан во все время пребывания в корпусе, в Павловском училище, где мне посчастливилось быть знаменосцем, и в родном лейб-гвардии 3-м Стрелковом Его Величества полку.

Покойный князь всегда приветствовал меня:

– Здорово, Христофор!

Когда же он встретил меня в Зимнем дворце вскоре после моего производства в офицеры, то сначала поздоровался, как всегда, громко, но потом подошел поближе и тихонько сказал, улыбаясь:

– А ты не сердишься на меня, что я продолжаю называть тебя на «ты»? Ведь ты же уже офицер.

Я с чистым сердцем ответил:

– Если Ваше Императорское Высочество желаете осчастливить меня – я прошу не изменять старого здорования.

С тех пор и до конца я был для великого князя – Христофор и «ты»…»

* * *

Едва ли найдется хоть одно воспоминание бывших кадет, где бы не излагался случай, когда Константин Константинович спас учащегося от наказания и даже исключения.

Об одном из таких случаев рассказывает Великая княгиня Вера Константиновна:

…

«… Кадет по фамилии Середа за „тихие успехи и громкое поведение“ был выставлен из двух корпусов – Петровско-Полтавского и Воронежского. Тогда он решил обратиться за помощью к моему отцу и отправился в Павловск. Швейцар его не допустил. Не долго думая, Середа обошел парк, влез на дерево, чтобы произвести разведку. Увидев, что отец мой находится в своем кабинете, он туда залез. Услышав шорох, отец поднял голову и, сразу узнав мальчика, спросил:

– Середа, ты здесь что делаешь?

Середа, сильно заикаясь, ответил:

– Ввв-аше Иии-мператорское Вввысочество – вввыперли!

– Так, – сказал отец. – Что же теперь ты думаешь делать?

На это Середа, не задумываясь, воскликнул:

– Ввв-аше Иии-мператорское Вввысочество, ддумайте В-в-ы!

Мой отец «подумал» и назначил Середу в Одесский Кадетский корпус, который тот и окончил. Он вышел в кавалерию. В первую Великую войну отличился, заслужил Георгиевский крест и пал смертью храбрых…»

Став начальником военно-учебных заведений, Константин

Константинович принципиально не утверждал приказы об исключении воспитанников из корпусов. Плохое поведение кадета и неудовлетворительную учебу, за которую нельзя так строго наказывать ребенка, и уж тем более его родителей, он чаще всего ставил в вину воспитателям. По его убеждению, передав сына на воспитание государству, родители вправе рассчитывать, что тот закончит обучение.

* * *

Появление Константина Константиновича в Воронежском Михайловском кадетском корпусе было встречено громким «ура» и торжественным маршем кадетского оркестра. Оглядев оркестрантов, он заметил нового музыканта, игравшего на геликоне. Тут же вспомнил, что в прошлый приезд разговаривал и знакомился с ним. Великолепная память на лица и фамилии тут же подсказала: Грейц, Александр. Парень изо всех сил тщился показать себя веселым, под стать всем, но перебороть себя не мог: вид у него был как у затравленного зайца. За завтраком в кадетской столовой Константин Константинович выяснил: сидит в карцере, ждет отправки в Вольскую исправительную школу. От наказания освобожден временно, как участник оркестра. Оказалось, Грейц и еще три кадета 4-го класса решили подшутить над воспитателями. Они запустили тяжелый кегельный шар в легкую перегородку застекленной сверху дежурной комнаты, где на перемене спокойно курили и беседовали ничего не подозревающие педагоги. И вдруг – неожиданно сильный удар и грохот, напоминающий взрыв бомбы, в легкой перегородке задребезжали стекла. Человек восемь перепуганных офицеров выбежали из комнаты с перекошенными лицами. И видят вовсю хохочущего Грейца…

Быстро поймали других хулиганов и посадили в карцер, в том числе и Грейца. Последний свое участие в озорстве отрицал, но это не помешало педагогическому комитету в наказание снять со всех погоны.

На следующий день вся рота была построена в зале для церемонии срезания погон. Ротный командир зачитал постановление педагогического комитета и дал указание портному приступить к делу. Портной – маленький, тщедушный, скромный старый еврей из кантонистов – большими ножницами быстро срезал погоны у трех провинившихся, но когда направился к Грейцу, тот вне себя заорал:

– Не дам срезать, выгоняйте меня, но этого позора не

перенесу!

Ротный никакого значения словам кадета не придал и повторил указание портному: «Срезай!» Когда портной приблизился, Грейц сжал кулаки и с какой-то истерической решимостью прокричал:

– Я изобью портного, но погоны не отдам!

Полковник понял, что Грейц сейчас способен на всё, и, опасаясь скандала перед всем корпусом, приказал:

– Ах так, тогда марш в карцер!

… Позавтракав, Великий князь зашел в канцелярию и открыл личное дело Грейца. Оказалось, что парень воспитывался в офицерской семье и понимал, что означают для солдата погоны. И еще одна деталь подкупила Константина Константиновича: Александр Грейц родился в тот же месяц и год, что и его сын Олег.

Вдруг послышалось попурри из «Евгения Онегина». Судя по всему, оркестр расположился где-то рядом. Константин Константинович вышел и, поблагодарив музыкантов за доставленное удовольствие, обратился к Грейцу:

– Ты, значит, тоже в оркестре? Сыграй-ка мне что-нибудь на своей дудке.

– Бас-геликон соло не играет, Ваше Высочество, – промямлил смущенный Александр.

– Не играет, говоришь? Выходит, инструмент не умеет, а не ты, – подначил Константин Константинович.

Тогда кадет поднес геликон к губам и выдал «Чижика-пыжика». Великий князь рассмеялся:

– Оказывается, умеешь. Не зря, значит, в оркестре держат! – Потом обнял кадета и тихо сказал на ухо: – Не унывай, брат, поедешь не в Вольск, а в мой корпус.

– Покорнейше благодарю, Ваше Императорское Высочество! – закричал кадет.

– Тише, сумасшедший, чего орешь? Это только наша с тобой тайна, – полушепотом сказал Великий князь. – А что за честь погон постоял – уважаю!

– Слушаюсь, Ваше Императорское Высочество, – таким же полушепотом произнес кадет. – Хочу, чтобы вы знали: не виноват я в этой проделке, стоял неподалеку и расхохотался, увидев перепуганных офицеров.

– Ладно, ладно, я тебе верю! – сказал Константин Константинович.

А Грейц, вне себя от счастья, засунув руки в карманы, гордо ходил по помещению роты и на любопытные вопросы товарищей, о чем шептался с начальником военно-учебных заведений, гордо

отвечал: «Это касается только нас двоих».

Грейц не знал, какой же корпус Великий князь считает своим. И только после отъезда высокого гостя выяснил – Полоцкий, в который зачислен его сын Олег. Уже в Полоцке узнал, что князь Олег Константинович в классном журнале 1-го отделения 4-го класса значится первым.

В своих воспоминаниях, написанных в 1954 году и опубликованных в третьем номере журнала «Кадетская перекличка» за 1972 год, Александр Грейц, тогдашний житель Сан-Франциско, резюмирует: «Поступок Великого князя по отношению ко мне может служить лучшим доказательством той правды, права и справедливости, которые существовали под его водительством в императорских российских военных корпусах. Простое сердечное отношение начальника к своим подчиненным и есть подлинный и действительный демократизм. Куплет из нашей „Звериады“ [58] потерял в моих глазах свою прежнюю силу: «Скорей погаснет мира свет, скорей вернется к нам Создатель, чем прав окажется кадет, а виноватым воспитатель»».

* * *

Уезжая из Петербурга, Константин Константинович избегал не только «столичных дрязг, светской мелочности и глупых разговоров». В ближайшем окружении Царя, как нигде, скапливалась и обсуждалась информация о происходящем в России. Она настораживала и угнетала всякого умного, склонного к анализу человека, а тем более такого тонкого душой поэта, как К. Р., он понимал – Империя шатается.

Константин Константинович говорил о положении в стране с Великим князем Николаем Михайловичем, блестящим историком. Тот не скрывал своих пессимистических прогнозов: дело идет к катастрофе Монархии, всего Дома Романовых:

– Не уверен, Костя, дотянем ли мы до трехсотлетия. Пресса, и не только либеральная, но и правительственная, создает образ слабого Царя и никудышных министров. Ругать Царя стало модой. А ты посмотри, кто и в самом деле правит страной? Николай? Да! Только не Николай Александрович, а Великий князь Николай Николаевич! По его настоянию Государь в любой момент может изменить свое решение, как, впрочем, и по совету любого другого своего дяди из Александровичей. А монарх должен быть монархом! В том числе и в своей семье. Он ведь, а никто другой, – глава Романовского Дома. Не хватает характера – бери в подпорки закон! А это уже называется Конституционная

монархия! И мы к ней, уверен, неминуемо придем, дай Бог только бы бескровно, без страшного в своем озлоблении русского бунта.

В очередной приезд Королевы эллинов в Россию брат рассказал ей о разговоре с Николаем Михайловичем, не скрыл, что согласен с ним.

– Боюсь, что вероятность злобного бунта и правда велика. Интеллигенция, либеральные газеты и журналы пытаются всячески опорочить и само монархическое правление, и Императора, да и всех нас, Романовых. А Ники только и делает, что вверяет себя и Россию судьбе. Вспыхнет бунт – мои любимые кадеты окажутся между двух огней… Что им останется – сложить головы за Императора, как я их учу… За Императора, которому не под силу тяжесть короны?

Ольга слушала этого давно уже не молодого человека и думала о том, что годы, как это часто бывает с братом и сестрой, не отдалили их друг от друга, ничуть не убавили от той по-детски трогательной любви, которая давно связывает их. В то же время видела, в каком жутком психологическом состоянии находится брат, имеющий репутацию «лучшего человека России». Она была уверена в том, что никаких оснований для той нравственной экзекуции, которую устраивает над собой Костя, нет. Девяносто девять процентов людей были бы очень довольны собой на его месте. Она знала: всему виной его ранимая совесть и болезненная ответственность за то, что происходит вокруг.

– Костя, ты думаешь, чем больнее ты себя бьешь, тем быстрее все образуется? Не удивлюсь, что тебе представляется, будто всё вокруг плохо только из-за твоего несовершенства и всё в один миг изменится, если ты станешь лучше. Вот сейчас ты отравляешь себе удовольствие и от общения с кадетами, что тогда у тебя останется? Что же касается мрачных предположений Николая Михайловича, то их подтверждает поведение многих членов нашей же фамилии. Ты знаешь, концу Римской империи предшествовало колоссальное падение нравов среди ее правителей. Возьми моего зятя, Великого князя Павла Александровича, не последнего человека в Империи. После смерти моей дочери Александры надумал жениться на разведенной жене полковника. Закон и запрет Царя для него ничего не значили. Опять же вопреки закону и царской воле Великий князь Михаил Михайлович женился на неравнородной особе. Дядя Царя, Великий князь Алексей Александрович, генерал-адмирал российского флота, позорит себя перед всем миром связью с замужней дамой и пренебрегает повелением Государя прекратить эту безнравственную связь… Думаешь, это не выбивает Ники из колеи?

Тогда Константин Константинович подумал, что достаточно наивно связывать мрачные прогнозы Николая Михайловича с безнравственным поведением особ Царской фамилии. Но вспомнил он этот разговор три года спустя, когда вдовствующая Императрица Мария Федоровна показала ему письмо Николая II, из которого он узнал, что рассуждения Королевы эллинов об угнетающем влиянии на Царя беспутного поведения своих родственников не столь уж и наивны.

«У меня был крутой разговор с дядей Павлом, кончившийся тем, что я его предупредил о всех последствиях его предполагаемого брака. Все без толку… – жаловался Император матери. – Как все это больно и тяжело и как стыдно перед всем светом за наше семейство! Кто может поручиться, что Кирилл не примется за то же самое завтра, а Борис или Сергей – послезавтра? И целая колония русской Императорской фамилии будет жить в Париже со своими полузаконными или незаконными женами! Бог знает, что за время такое, когда один только эгоизм царствует над всеми другими чувствами: совести, долга и порядочности!»

Как в воду глядел последний глава Романовского Дома! Забегая вперед скажем, что через три года его двоюродный брат Кирилл Владимирович женится на Виктории Мелите, разведенной жене великого герцога Гессен-Дармштадтского Эрнеста. А еще годом позже последует новый удар для Императора. Его брат Михаил тайно обвенчается в Вене с Натальей Шереметьевской, которая, став его любовницей, разошлась с поручиком Вульфертом, подчиненным Великого князя Михаила Александровича…

Удручала, давила на нервы сложная обстановка в Империи. 26 января 1904 года японские миноносцы атаковали стоявшие на рейде русские корабли «Цесаревич» и «Паллада», а на следующий день произвели бомбардировку Порт-Артура.

В том же 1904 году убит министр внутренних дел В. Плеве. Политическая стачка рабочих-нефтяников закончилась подписанием первого в России коллективного договора с нефтепромышленниками.

Девятого января 1905 года – расстрел многотысячной народной демонстрации, направлявшейся в Зимний дворец с петицией к Царю. Ники уговорили уехать накануне шествия из Зимнего в Царское Село. Мягкий, добрый и интеллигентный Ники стал Николаем Кровавым.

Константин Константинович пишет в дневнике: «Просто не верится, какими быстрыми шагами мы идем навстречу неведомым, неизвестным бедствиям. Всюду разнузданность. Все

сбиты с толку… Сильной руки правительства уже не чувствуют. Да ее и нет».

* * *

Осенью 1905 года в тесном кружке кадет-третьеклассников Полтавского кадетского корпуса Великий князь наигрывал на рояле один из романсов Чайковского на свои стихи. И, странное дело, казались они ему чужими, не им сочиненными. И еще с горечью подумалось, что больше ему уже так не написать.

Растворил я окно, – стало грустно невмочь, —
Опустился пред ним на колени,
И в лицо мне пахнула весенняя ночь
Благовонным дыханьем сирени.
А вдали где-то чудно так пел соловей;
Я внимал ему с грустью глубокой
И с тоскою о родине вспомнил своей;
Об отчизне я вспомнил далекой…

Умолк последний аккорд, и он оглядел мальчишек – их лица были отмечены романтической грустью, которая, может быть, им самим была внове.

– А скажите-ка мне, друга мои, кто из вас любит русскую поэзию?

– Ваше Императорское Высочество, донесение! – Перед ним стоял офицер.

* * *

Военное министерство сообщало, что взбунтовался 3-й Московский корпус. Чтобы другим неповадно было, на усмирение кадет предлагалось бросить армейскую роту. Великий князь подозревал, что политикой в этом происшествии и не пахнет, однако был не на шутку встревожен. Если положение действительно такое, как представлялось в министерстве, значит, он не справляется со своими обязанностями начальника военно-учебных заведений и его воспитательные принципы терпят

фиаско. Первым делом Великому князю удалось уговорить министра ничего не предпринимать до его сообщений из Москвы, и он тут же ринулся на вокзал.

Сохранились воспоминания о тех событиях Андрея Шкуро, бывшего кадета-старшеклассника. Из них следует, что Константин Константинович был прав в своей оценке событий:

...

«… Нашим воспитателем был внушавший нам глубокое уважение, суровый по внешности, но гуманный и добрый подполковник Стравинский. Он был олицетворением чувства долга и всеми силами старался передать нам это качество. Директором корпуса был в то время генерал Ферсман, которого мы очень не любили, так же, как и ротного командира 1-й роты полковника Королькова.

Осенью 1905 года, когда я уже был в 7-м классе, случился так называемый «кадетский бунт», произведший большой переполох в военном министерстве, где его сочли результатом проникновения революционных идей в военные школы. Общее беспредметное недовольство в обществе, несомненно, бессознательно проникало и в кадетские умы, и мы перешли в оппозицию к начальству.

Я написал обличительные, против начальства, стихи, которые с большим подъемом читал перед однокашниками. Мы поломали парты и скамейки, побили лампы, разогнали педагогов, разгромили квартиру директора корпуса и бушевали всю ночь. Ввиду слухов, что на умиротворение нас вызвана рота Самогитского гренадерского полка,

что нам очень польстило, мы приготовились к вооруженному отпору, но, к счастью, нас предоставили самим себе. К утру наш дух протеста иссяк из-за отсутствия дальнейших объектов разрушения. Начались репрессии – 24 человека, в числе которых и я, предназначались к исключению из корпуса…

В это время приехал в корпус тогдашний Главный начальник военно-учебных заведений, обожаемый всеми нами Великий князь Константин Константинович…»

В корпусе царила растерянность. Специальная бригада плотников устраняла разруху в классах. Генерал Ферсман показывал свой разгромленный дом и уверял, что волнения в корпусе начались спонтанно, ничем и никем не провоцировались. Ему вторили ротные командиры. Воспитатели старших рот отмалчивались. Их подопечные в полнейшем унынии бродили по корпусу, провожаемые сочувственными взглядами младших. Занятия в выпускных классах были прерваны.

Полковник Стравинский в конце концов сказал Великому князю, что предчувствовал нечто в этом роде. Выпускники, по его мнению, – взрослые, самостоятельные и самолюбивые люди, многие же наставники этого не понимают и часто выставляют их на посмешище.

По обыкновению Великий князь решил побеседовать с кадетами. Для разговора собрались за чаем, большой стол накрыли сами кадеты, появившиеся на чаепитии в свежевыглаженных мундирах и начищенных сапогах. К самовару вместо стаканов были выставлены казенные кружки. Великий князь совершенно справедливо расценил эту демонстрацию как символ раскаяния и нежелание расставаться с корпусом.

– Ну, рассказывайте, как вы дошли до всего этого?!

Полковник Стравинский оказался прав: исповеди кадет, зачастую сквозь слезы, были не чем иным, как перечнем обид, нанесенных горе-педагогами.

Чего стоит бестактность того же Королькова, отобравшего у кадета Звягинцева «любовную записку» и зачитавшего ее всему классу? Или замечание по поводу отпускаемых усов: Иванов

сегодня плохо умылся – у него грязно под носом… Одно дело, если втихомолку курит третьеклассник-несмышленыш, другое – вырвать папиросу изо рта у семнадцатилетнего парня, закурившего в корпусном саду на виду у своей барышни. И за малейшую провинность – лишение увольнения в выходные, а то и карцер. Особенно тяжело переносили такого рода наказания казеннокоштные воспитанники, полностью находящиеся на содержании государства и напрочь оторванные от дома. За неимением близких родственников в Москве они вынуждены безвылазно находиться в корпусе. Один из таких кадетов, родом с Дона, подружился с одноклассником, сыном корпусного офицера. Парню было разрешено проводить праздники в московской семье. Можно себе представить, каким это было удовольствием для кадета, к тому же влюбленного в сестру своего друга. Но он был лишен увольнения на ближайшие праздники.

На следующий день Великий князь телефонировал об этом в министерство, сообщив, что положение в корпусе нормализовано и занятия возобновлены. По приезде в Петербург настоял на увольнении некоторых педагогов и воспитателей, а затем и на восстановлении уволенных кадет.

Урок справедливости, преподанный Великим князем, заставил Андрея Шкуро, как он пишет, пересмотреть «всю свою линию поведения». Он решил приняться за учебу, успешно закончил корпус и был принят в казачью сотню Николаевского кавалерийского училища. Полковник Шкуро, «белый партизан», как он себя называл, воевал в Первую мировую, в Гражданскую войну, вступил в борьбу с большевиками на стороне Гитлера в Великую Отечественную войну. Повешен по приговору советского суда в январе 1947 года. Он, к сожалению, не сумел, как генерал Деникин, понять суть освободительного движения русского народа.

Константин Константинович готовился побывать в Одесском кадетском корпусе, который при основании в 1899 году получил его имя. И повод был прекрасный – вручение знамени. Но тамошний командующий войсками генерал Каульбарс сообщил ему, что ехать в Одессу небезопасно – вполне могут взорвать. Великий князь прислушался к этому предупреждению и решил ехать в Варшаву, в Суворовский кадетский корпус, где предстоял первый выпуск. Поездку сорвало тревожное сообщение. Он записал в дневнике: «Меня огорчили известия из Полоцка. Кадеты, особенно выпускные, в том числе вице-фельдфебель и некоторые унтер-офицеры, непозволительно распущены; неповиновение, дерзости старшим, самовольные отлучки – обыкновенное дело. Человек 15 ушло без спросу гулять,

встретили воспитателя, и один из кадет, швырнув камнем, сильно поранил ему голову. Один выпускной, Важинский, за крупные дерзости воспитателю отправленный директором к матери, пришел ко мне и, с развязной откровенностью рассказав о своем поступке, просил допустить к продолжению экзаменов. Отказал…»

Одно известие хуже другого. Дневник его полон самых тяжелых переживаний и мрачных предчувствий.

– Павел Егорович, как вам удается в нынешней ситуации сохранять такое непоколебимое спокойствие? – спросил он у своего старого друга Кеппена. – Если бы вы знали, как недостает мне сейчас хоть десятой доли вашего спокойствия, пусть оно даже и внешнее.

– Вы куда ближе к трону, чем я – управляющий двора Ее Императорского Высочества Александры Иосифовны, вашей глубоко чтимой мною матери. Но дело не только в этом. Знаю вас с детства, по складу характера вы – участник. Во всем. Даже за то, в чем вроде бы и не участвуете, болезненно ощущаете свою ответственность. Иногда мне представляется, что вы чуть ли не специально себя изводите, так как в глубине души убеждены: чем больше вы настрадаетесь, тем мир станет лучше. Не буду разубеждать – поэтому вы – поэт, а я – занудливый старик, который и вам, небось, уже надоел своими советами, предупреждениями и предостережениями. Боюсь… Боюсь, впереди нас ждет больше грустных, чем приятных сюрпризов. Иногда готовность к худшему помогает легче его пережить. Тем не менее, милый Костя, разрешите пожелать вам счастья и удачи! И постарайтесь быть в ладу с собой.

Не прошло и недели, как Великий князь записал в дневнике: «… Часто слышно, что мы быстрыми и широкими шагами приближаемся к какому-то страшному бедствию, тем более грозному, что оно неведомо. Будет ли гибель Царствующего Дома, междоусобная война, кровопролитие?»

Настроение улучшилось в Орле, в кадетском корпусе имени Бахтина. Остался доволен происшедшими там переменами: новый директор, генерал Рыков, принял на должности воспитателей молодых офицеров, и, на его взгляд, все они подают хорошие надежды.

«Даст Бог, и предсказание Кеппена о предстоящем кровопролитии не сбудется», – думал Великий князь с потаенной надеждой. На встречу с юнкерами, среди которых, как всегда, встретил много знакомых, шел в приподнятом настроении. Порадовался за юнкера Плятта, бывшего студента политехникума, которому в прошлом году разрешил поступить в

училище, хотя тот уже был женат. Зашел поблагодарить и другой его «крестник», реалист из Костромы Федор Прокофьев, выходец из крестьян. Он тоже был принят в училище с личного разрешения главного начальника военно-учебных заведений.

Были, однако, и проблемы. Гимназистов и реалистов в училищах все же больше, чем воспитанников кадетских корпусов. «И последние, к сожалению, учатся хуже первых, да оно и не удивительно: со стороны берут только с лучшими свидетельствами, а кадеты поступают в пехотные училища из числа худших по успехам…» Но оказалось, что преимущественно бывшие студенты входят в группу юнкеров, «… зараженных вредными учениями и старающихся распространить их среди товарищей». Вот когда Константина Константиновича стала беспокоить и обратная сторона собственной доброты и популярности среди кадет. Как она будет восприниматься, не сослужит ли ему, в конце концов, плохую службу, как уже было ранее в Преображенском полку? Беспокойные мысли на этот счет овладевали Великим князем, когда происходящее в отдельных корпусах не соответствовало его усилиям и ожиданиям, когда за индульгенцией к нему стали обращаться явно испорченные молодые люди.

Его беспокоило не то, что ярлык добряка и либерала до сих пор висит на нем, убежденном монархисте, а то, что он не всегда находит правильные, убедительные пути для своей доброты.

Николаю II поступили жалобы на Константина Константиновича по поводу «разрушающего» армию либерализма последнего. В одном из кадетских корпусов из-за неразделенной любви пытался покончить с собой старшеклассник Шостаковский, выстрелив себе в сердце из револьвера. К счастью, промахнулся, прострелил себе грудь, но остался жив. Подобный проступок в соответствии с существующими правилами карался исключением из корпуса, такое решение и было принято директором. Выздоровев, парень приехал в Управление военно-учебных заведений с просьбой о восстановлении. Кадет он был отличный, до выпуска осталось всего ничего, и Константин Константинович, побеседовав с неудавшимся самоубийцей, определил того в Одесский кадетский корпус. Дело, однако, получило огласку и дошло до главнокомандующего, а от него, видимо, и до Царя.

На одном из приемов Государь сообщил Константину Константиновичу, что получил ходатайство за Шостаковского от видных представителей губернского Дворянского собрания. Расспросив об обстоятельствах случившегося и личности кадета, сказал, что не станет вмешиваться в эту историю:

– Несчастная любовь – не дисциплинарное нарушение, пусть

парень заканчивает кадетский корпус. Но все же имей в виду, Костя, что дядя Николай не согласен с этим и считает твой либерализм вредным для воспитания будущих офицеров.

Царь не угрожал, но таким образом напоминал об истории с Преображенским полком. А Великий князь тем временем спокойно отмечает: «Побывал в Хабаровском графа Муравьева Амурском корпусе, Иркутском пехотном юнкерском училище и Иркутской приготовительной военной школе. Я, наконец, знаю все вверенные мне военно-учебные заведения».

В Управлении было свыше семидесяти юнкерских школ, училищ и корпусов, и главный начальник побывал в них по нескольку раз.

Что представляли собой кадетские корпуса к тому времени? «Из всех учебных заведений России они были, без всякого сомнения, наиболее характерными как по своей исключительной особенности, так и по своей крепкой любви, которую кадеты питали к своему родному корпусу. Встретить в жизни бывшего кадета, не поминающего добром свой корпус, почти невозможно. Кадетские корпуса со своим начальствующим, учительским, воспитательным и обслуживающим персоналом высокой квалификации, с прекрасными помещениями классов, лабораторий, лазаретов, кухонь и бань, красивым обмундированием и благоустроенными спальнями, гимнастическими залами стоили императорской России очень дорого. Несмотря на все эти затраты, при наличии 30 корпусов выпуск каждого года давал не более 1600 новых юнкеров, что, конечно, не могло удовлетворить нужду в офицерском составе армии. Но тут мы подходим к замечательному факту: этого числа было совершенно достаточно, чтобы дать закваску всей юнкерской массе и пропитать ее духом, который каждый кадет выносил с собой из корпусных стен и которым, незаметно для себя самих, насквозь проникались те, кто в военные школы приходил из гражданских учебных заведений…» – отмечает бывший кадет С. Двигубский.

И хотя эту характеристику автор относит к более позднему времени, когда Константина Константиновича уже не было в живых, трудно точнее выразить цель, к которой он стремился, встав во главе военно-учебных заведений, чего добивался на протяжении пятнадцати нелегких лет службы на поприще военного образования.

* * *

В послужном списке Константина Константиновича Романова есть запись от 27 февраля 1910 года: «Высочайшим рескриптом избран на новый ответственный пост Генерал-инспектора военно-учебных заведений». Несмотря на всю мягкость и обтекаемость этой формулировки, более того – в военном министерстве новое назначение называли «переименованием», означала она все же отставку. Ибо позднее должность главного начальника военно-учебных заведений занял генерал от инфантерии А. Ф. Забелин.

«Переименование» стало довольно неожиданным и непонятным для Константина Константиновича в силу того, что никаких нареканий за свою деятельность он не получал. Ни от непосредственного начальства, ни от Государя. Бывший военный министр В. Сухомлинов в своей книге вспоминает, что Константин Константинович явился к нему и откровенно попросил объяснить цель «переименования». Не совсем ясно, что тогда ответил министр Великому князю, но в книге пишет, что Константину Константиновичу ставили в вину то, что «он слишком баловал воспитанников, слишком ласково с ними обращался. Сам – отец многочисленной семьи, он переносил свою отеческую ласку и любовь на обширнейшую семью всех военно-учебных заведений, вверенных ему Государем. Поэтому он не мог относиться к воспитанию с одной лишь точки зрения муштры и дисциплины, предоставляя это ближайшему начальству кадет, а сам предпочитал уделять воспитанникам часть своей отеческой ласки».

Можно себе представить состояние без вины виноватого, наказанного за проявление лучших человеческих качеств. Но никаких обид Константин Константинович никому не высказывал, а в дневнике «переименованию» уделил лишь три сдержанные строки: «Сегодня получил приказ, подписанный Государем вчера. О назначении меня Генерал-Инспектором военно-учебных заведений. Благослови, Господи!»

Положение генерал-инспектора осложнялось и тем, что А. Забелин, по воспоминаниям современников, имел довольно тяжелый характер, был человеком жестким, бескомпромиссным. На первой официальной встрече, глядя в стол, новый начальник изрек:

– Давайте договоримся так, Ваше Императорское Высочество, вы инспектируете учебные заведения, делаете, собственно, все то, чем занимались и ранее, за одним исключением: решения принимаются мною и уже принятые обсуждению не подлежат. Я просмотрел отчеты, которые вы готовили после посещения кадетских корпусов и юнкерских школ, – они изобилуют совершенно не нужными деталями. Впредь я вас жду с устными

отчетами и с кратким изложением мер, которые, по вашему мнению, должны быть приняты ради улучшения дела.

«Такая категоричность вызвана, видимо, тем, что Забелина явно настроили против моего либерализма, – утешал себя Великий князь. – И он чувствует себя призванным „навести в Управлении порядок“. И в этом случае генерала можно понять. Что ж, поделом мне. Митя не зря мне все уши прожужжал о том, что мне вот-вот аукнется. Но я же не мог себя переломить, да и не хотел, не считал нужным». Вслух же сказал:

– Что же, вполне вас понимаю. Со своей стороны не сомневаюсь, что мы сработаемся, уважаемый Антон Федорович.

Тот же Сухомлинов свидетельствует: Великий князь проявил столько такта, терпения и выдержки в отношении генерала Забелина, что, несмотря на забелинский сложный характер, никаких недоразумений и конфликтов между ними не возникало. Легенда об обаянии Великого князя вновь подтвердилась.

Но Константин Константинович остался верен себе, выступая против несправедливого отношения к людям в мундирах, отстаивая их человеческое достоинство и право на доверие.

Бывшие кадеты свидетельствуют в воспоминаниях, что новая должность Великого князя никак не отразилась ни на его характере посещений корпусов, ни на дружеской манере общения с их воспитанниками. Тем не менее влиять на решения, принимаемые директорами и воспитателями, он стал осторожнее. Один из кадет вспоминает, что Великий князь, сев за стол экзаменаторов по географии, задал ему ряд вопросов по Туркестану. Во время четких и уверенных ответов ротный офицер полковник Трубчанинов тем не менее сверлил его глазами, выражая свое неудовольствие. Великий князь поставил кадету 12 баллов и вышел из класса.

А кадета, преуспевшего в географии, прямо из класса отправили под арест. Оказалось, во время ответа, показывая что-то на карте, тот повернулся к Великому князю вполоборота. В глазах полковника Трубчанинова такая поза была явным нарушением дисциплины.

Знал ли о таком наказании Великий князь? Это выяснилось спустя четыре месяца, во время посещения им Николаевского кавалерийского училища, когда бывший кадет стал юнкером-первокурсником. Константин Константинович вошел в столовую и стал обходить столы, беседуя с юнкерами, безошибочно определяя, кто из них какой корпус окончил. «Подойдя ко мне, – вспоминает кадет, – он положил руку мне на плечо и, улыбнувшись, сказал:

– Этого я тоже знаю. Он у меня в Воронеже экзамен по

географии держал. Ведь твоя фамилия Марков?… Вот видишь, я тебя не только помню. Но и знаю, что высший балл высшим баллом, а под арест ты с экзамена все же влетел. Так-то, братец, дружба дружбой, а служба службой, ротный твой – мужчина серьезный…»

Константин Константинович скрепя сердце наблюдал, как любовно-воспитательное направление в отношении кадет меняется на армейски строгое, при котором провинившийся не может рассчитывать на снисхождение. Из-за этого в первые годы правления Забелина многим кадетам пришлось досрочно покинуть корпуса. Отменили и второгодничество, а потому периодически весной и к Рождеству из корпусов стали исключаться неуспевающие, которых кадетские острословы прозвали «декабристами».

Со временем, однако, бывший и новый начальники стали единомышленниками в совершенствовании учебного процесса. В частности, программа по математике стала такой же, как и в реальных училищах, а в старших классах стали преподавать аналитическую геометрию и основы дифференциального исчисления.

Положительно сказались на строевой и физической подготовке будущих офицеров и уроки сокольской гимнастики и так называемые военные прогулки, ставшие своеобразными мини-маневрами, а также стрельба в цель из малокалиберной винтовки. Кроме того, по инициативе Забелина кадетские корпуса в качестве строевой роты стали принимать участие в военных парадах гарнизона.

Историкам военного образования еще предстоит дать всестороннюю оценку деятельности Великого князя Константина Константиновича на посту главного начальника, а потом и инспектора военно-учебных заведений, где он прослужил до конца своих дней. Однако и сейчас ясно: без гуманизации и высокой религиозной нравственности, привнесенных им в процесс военного воспитания и обучения, без уничтожения прежнего казарменно-казенного духа не было бы никогда тех «кадетских дрожжей», на которых и «поднималась слава офицеров Российской Императорской Армии». Того военного сословия, проникнутого лучшими русскими историческими традициями и любовью к Отчизне, на крови которого создавалась российская военная слава.

Есть и еще одна оценка, которую не в силах поколебать никакие исторические изыскания: еще при жизни Великого князя Константина Константиновича назвали «отцом всех кадет». «Отцом всех кадет» он оставался для сотен, если не тысяч,

воспитанников кадетских корпусов, эмигрировавших из России после поражения Белой армии в Гражданской войне, для их детей, закончивших возрожденные русские кадетские корпуса за границей, и остается поныне для глубоких стариков-кадет, еще здравствующих сейчас в США, Канаде, Венесуэле, Бразилии, Аргентине, Австралии, Франции и Югославии.

* * *

И в заключение темы. В 1907 году Константин Константинович дал указание о восстановлении в корпусах так называемых «говорящих стен». Эта традиция уходит еще в екатерининские времена, когда директором Первого кадетского корпуса в Петербурге был генерал-адъютант граф Ф. Ф. Ангальт, оставивший по себе память хорошего воспитателя.

Тогда здания флигелей корпуса образовывали большой двор, на который выходили глухие, почти без окон, стены. В этом дворе кадеты играли в мяч, и графу Ангальту пришло в голову использовать эти стены в воспитательных целях. Он распорядился покрыть бесцветные стены краткими и ясно выраженными глубокими мыслями на русском и французском языках, отвечавшими целям воспитания, чтобы они в процессе игры как бы сами собой «забрасывались» в юные головы. Так в кадетской истории появились «говорящие стены». Пришло время ремонта, флигели обновили, перекрасили, надписи исчезли и стены замолкли. Но то ли сам граф, то ли кто другой издал небольшую книжицу с изречениями из «говорящих стен», в одной из библиотек она попалась на глаза Великому князю, и таким образом в последнее десятилетие перед мировой войной стены всех кадетских корпусов снова «заговорили». При этом Константин Константинович сам составил с этой целью «12 заповедей товарищества»:

...

«1. Товариществом называются добрые взаимные отношения вместе живущих или работающих, основанные на доверии или самопожертвовании.

2. Военное товарищество доверяет душе. Жертвует жизнью.

3. На службе дружба желательна, товарищество обязательно.

4. Долг дружбы преклоняется перед долгом товарищества.

5. Долг товарищества преклоняется перед долгом службы.

6. Честь непреклонна, бесчестное во имя товарищества остается бесчестным.

7. Подчиненность не исключает взаимного товарищества.

8. Подвод товарища под ответственность за свои поступки – измена товариществу.

9. Товарищество прав собственности не уменьшает.

10. Отношения товарищей должны выражать их взаимное уважение.

11. Честь товарищей нераздельна.

12. Оскорбление своего товарища – оскорбление товарищества».

Революция и Гражданская война снова заставили замолкнуть стены, да и кадетские гнезда опустели. Было решено и на чужбине возродить «говорящие стены». Из надписей времен Константина Константиновича в памяти остались лишь его 12 заповедей, поэтому родителям было предложено представить комитету свои. Из них было отобрано 250 изречений, около четверти из них были размещены на стенах приемной, актового зала, классных коридоров рот, парадной лестницы, коридора спален, ряда классов.

Между прочим, «12 заповедей товарищества» вдохновили генерал-лейтенанта Адамовича на составление уже «67 заповедей кадетам Первого русского Великого князя Константина Константиновича корпуса». Вот «Самое главное»: «Быть верным старой России и относиться уважительно к ее прошлому. Быть верными Югославии (где размещался корпус. – *Э. М., Э. Г.).* Уважать религии. Уважать русские старые обычаи. Охранять нашу национальность. Помнить, чье имя носим (России, Святого Благоверного и Великого Князя Александра Невского и Шефа корпуса). Сохранять русский воинский строй и выправку.

Подчиняться не рабами, а доброй волей».

ЭЛЛА И К. Р

Стояла зима. Снег, морозец и солнце делали всё свежим и молодым. Константин Константинович подошел к окну и взглянул на небо: «Облака идут против ветра – к снегу, облака плывут низко – к стуже». К. Р. улыбнулся – облаков почти не видно, а вот солнце было с «ушами», значит, мороз сохранится или усилится. Надо ночью на звезды глянуть, а вечером на зарю. Давным-давно они говорили с солдатом Рябининым о звездах, и он сказал: «Звезды частые, заря ясная – опять же к морозу».

В какой далекой и счастливой молодости всё это было! А сейчас война, неудачная Русско-японская война, и неспокойное царствование Николая П. И ему, Константину, уже к пятидесяти… Нет, пожалуй, лучше звучит – сорок семь. Великий князь посмотрел в зеркало, но увидел не себя, а человека за своей спиной – из служебного дома Мраморного дворца. Он принес записку.

Записка была от генерала Петра Егоровича Кеппена, который сообщал, что в Москве убит Великий князь Сергей Александрович. Обычная для К. Р. замедленная реакция заставила его пойти на детскую половину. Жена играла с маленьким Георгием, сидевшим в колясочке. Константин начал возить колясочку по комнате взад-вперед, взад-вперед… Лиза улыбалась и молчала. Она всегда уходила в себя, в тишину, в покой, когда ждала ребенка. «Наслаждайся, – учила ее мать, – лучшее время для женщины и полной свободы, когда она ждет малыша».

Однако муж тоже молчал, и она подняла глаза на него. Он плакал.

Лиза испугалась. А он испугался за ее положение и не хотел ничего говорить, но не мог остановить слез. Потом он печально вспоминал: «Сергей убит, я плачу, сердце не дает вздохнуть, а в голове Фет: „Встретились мы после долгой разлуки, очнувшись от мрачной зимы, мы жали друг другу холодные руки и плакали, плакали мы“. Я, видно, вскоре уйду вслед за Сергеем…»

В этот же день Константин обратился к Николаю II с просьбой разрешить ему выехать в Москву. Стал ждать ответа. Лиза была на последнем месяце беременности, ехать с ним не могла, но не отходила от мужа: «И у нее, и у меня было чувство, что мне надо ехать в Москву, к телу бедного моего друга, к бедной Элле, подле которой нет никого из родных».

Николай II опасался новых покушений и разрешение дал с задержкой. Вокруг вопроса о поездке членов Императорской

семьи в Москву в связи с произошедшей трагедией в двух столицах было много разговоров, домыслов, предположений, слухов. Дневник Константина Константиновича это подтверждает: «Оказывается, что в Петербурге Великим князьям не велено ехать в Москву, чтобы не подвергаться новым покушениям. Не понимаю, что это значит: ведь не будут же они сидеть взаперти по своим домам, а показываясь на улицу, они столько же подвергаются опасности, как если бы приехали в Москву. Здесь же среди приближенных Сергея отсутствие членов Семьи производит весьма неблагоприятное впечатление. Государь и обе Императрицы неутешны, что не могут отдать последнего долга покойному; покинуть Царское им слишком опасно. Все великие князья уведомлены письменно, что не только им нельзя ехать в Москву, но запрещено бывать на панихидах в Казанском или Исаакиевском соборе. Об этом, то есть об опасности для всех нас, Трепов докладывал Государю, после чего и было отдано это распоряжение».

«Говорят, что в первый момент Государь хотел ехать в Москву на похороны своего дяди, но благодаря влиянию Трепова не поехал. То же было и с Великим князем Владимиром, старшим братом Сергея Александровича. А между тем, я думаю, если бы Государь не послушался Трепова и приехал бы в Москву, это произвело бы колоссальное впечатление и подняло бы ореол Царя среди народа» – это уже из «Воспоминаний» товарища министра внутренних дел В. Ф. Джунковского.

Ради справедливости следует сказать, что после первой панихиды в Чудовом монастыре Элла возвратилась во дворец, переоделась в черное траурное платье и начала писать телеграммы – и прежде всего своей сестре Императрице Александре Федоровне – с просьбой не приезжать на похороны: Царская семья была бы желанной мишенью для террористов. Константин этого не знал. А когда узнал, был поражен благородством жены своего друга.

Как бы там ни было, официальным представителем Императорской фамилии в Москве оказался один только Великий князь Константин Константинович. «Здесь, в Москве, странное и тяжелое впечатление производит отсутствие ближних родных. Если бы не я, бедная Элла должна была бы появляться на официальных панихидах одна», – записал он в дневник.

Любовь к другу, храброе сердце и репутация «лучшего человека России» оберегали его.

* * *

Константину казалось, что поезд, идущий в Москву, едва-едва «переставляет» колеса. Сна не было.

Когда им с Сергеем было по 15 лет, они не могли жить друг без друга ни одного дня. Всё совпадало: вкусы, интересы, мечты о будущем, томики книг, лежавшие на столах. Конечно, были веселые посиделки в комнатах детей Александра II – царственных братьев Сергея и Павла в Зимнем дворце, катания на коньках, гулянья в Таврическом саду, но юношеские секреты двух Великих князей Сергея и Константина уже тогда были не по возрасту серьезны. Константин мечтал о славе поэта. Сергей, сын Царя, – о благих делах во имя России. Для этого у него было всё – ум, способности, власть, благородные цели и желания. Но почему-то многое не осуществлялось и превращалось во что-то совсем иное. Сергей падал духом, замыкался в себе. Вернувшись из очередного плавания, Константин не узнал друга. Это был другой человек, сделавший для себя из жизненного опыта весьма печальный вывод: «Я все больше и больше убеждаюсь, что чем больше иметь сердца здесь, на земле, тем больше приходится страдать и нравственно и физически. Сердце ничего не стоит для людей, и они никогда его не ценят. Чем меньше отдаешься сердцем делам, тем спокойней может быть».

Теперь это был человек, о котором все считали нужным сказать только плохое: самовлюбленный, язвительный, дерзкий, заносчивый, скрытный, неприятный, мало что знающий основательно. Константин любил и жалел друга, оправдывал его. «Много ты в жизни понес огорчения, много печали и горя узнал…» – проговаривал он строчки из стихотворения «Письмо», посвященного Сергею.

– Ты, Костя, сентиментальный и чувствительный, потому что – поэт.

Константин счастливо улыбался: только Сергей, истинный друг, мог найти для него такое прекрасное слово – «поэт». Сергей и еще Оля, сестра.

– Нет, я оптимист, Сережа. «Я же лишь радости, лишь увлеченья, лишь похвалы да удачи встречал». А службу во флоте не люблю, здоровья не имею. «Тот нам смешон, кто на коне без копья и здоровья…» – подметил безвестный поэт. Это я – без копья и здоровья…

Как легко они тогда переходили от грусти к веселью и наоборот. Константин становился в позу и громко выкрикивал строки из своего стихотворения «Письмо» (1882): «Что бы там ни было! Пусть упования / Сгинут. Пускай разлетятся мечты. / Пусть не сбываются все ожидания, / Пусть среди этой земной пустоты / Я бы нигде не нашел облегчения – / Лишь бы осталась мне

дружба твоя: / В ней моя сила, мое утешение, / И на нее вся надежда моя!»

Время шло, и всё резче становилась видна разница в их характерах. Константин хотел всех любить и на себе ощущать всеобщую любовь. Сергей стремился всех озадачить, зло и неловко. И только друг с другом им было хорошо.

Сергей был лишь на год старше Константина. Двоюродные братья участвовали в Русско-турецкой войне 1877–1878 годов и оба были награждены орденом Святого Георгия 4-й степени. Потом Сергей стал преображенцем и командиром этого славного полка. На его место пришел Константин – известный поэт К. Р. и уважаемый президент Императорской Академии наук.

Кроме основной военной службы у Сергея было множество общественных обязанностей.

Он был почетным членом Московского Археологического общества и Русского Археологического института в Константинополе, председателем Комитета по устройству Музея изящных искусств имени Александра III и Императорского Российского Исторического музея в Москве. Он покровительствовал Обществу акклиматизации животных и растений.

Это были не просто должности для представительства – Сергей Александрович старался вникнуть в дело и увлечь людей. Но человеческих связей все же выстраивать не умел: мешала самолюбивая гордость.

… Поезд то медленно тянулся, то вздрагивал и рысью бежал в темноту. Константин заглядывал в окно, но видел лишь белые полосы снега. А тогда, в 1884 году, была весна, томила очарованием, дышала черемухой, усыпала землю гвоздиками сирени, мотала на ветру ее опахала. Но Константин ей не поддавался – чувствовал себя солидным, отяжелевшим, женатым.

В Царском они увиделись с Сергеем.

– Ты женат, и я женюсь, – сказал Сергей, взглянул тревожно и засмеялся: – Представь себе!

– На ком? – спросил Константин, хотя кое-что слышал, и этим слухам можно было доверять.

– История детская, давняя. Гессенский дом. Мама меня возила в детстве в гости. Элла выбрала меня. Всем претендентам отказала.

Константин знал, что мать Сергея, Императрица Мария Александровна, тоже была из Гессенского дома.

Он молчал.

– О чем молчишь, Костя?

– О том, что дождались мы средины жизни. Ты и я. А юности

жаль, промелькнула как «шаткая тень».

– Фет, тобою любимый?

– Он.

Спустя время, в 1888 году, когда они будут «солидно женатыми», К. Р. в Красном Селе напишет стихотворение «Летом», и там будут строки: «Мы дождались средины лета, / Но вешних дней мне было жаль, / И с этой радостью расцвета / Прокралась в душу мне печаль».

Эллу Константин впервые увидел в Петергофе на Троицу в 1884 году. Подошел поезд. И рядом с Императрицей показалась нареченная невеста брата и друга Сергея. «Всех нас словно солнцем ослепило. Давно я не видывал подобной красоты. Она шла скромно, застенчиво, как сон, как мечта».

Мнение поэта К. Р. могло быть субъективным: от доброты сердца, от желания сделать приятное другу, от творческой фантазии, праздничного свадебного экстаза.

Но нет. Об этой пленительной женщине иначе не говорили.

«Мне вспоминается, как я обедал вместе с ней в Париже… около 1891 года. Я так и вижу ее, какой она тогда была: высокой, строгой, со светлыми глубокими и наивными глазами, с нежным ртом, мягкими чертами лица, прямым тонким носом… с чарующим ритмом походки и движений. В ее разговоре угадывался прелестный женский ум…» – это свидетельство оставил французский посол в России Морис Палеолог.

Европа называла только двух красавиц, и обе – Елизаветы: Елизавета Австрийская и Элла – Елизавета Федоровна.

Константин вспомнил, как он размышлял о внешности своей Лизы, будущей жены: «Елизавета хотя и не так красива, как старшая ее сестра, но гораздо милее и симпатичней и мне очень понравилась». Да! У Сергея все как-то ярче, блистательнее. И невеста была ослепительной. В день бракосочетания Сергея он поехал к нему утром и переживал чувства и волнения, которые испытывал в день своего венчания. Сергей одевался, и Константин благословил его образком с надписью: «Без Мене не можете творити ничего-же». Константин шел в церковь со старшей сестрой невесты. Элла была очень хороша в подвенечном уборе. Сергей был растроган.

Венчание состоялось в церкви Спаса Нерукотворного Зимнего дворца в Санкт-Петербурге по православному обряду, а в одной из гостиных дворца – и по протестантскому.

Константину тогда показалось, что Эллу взволновал православный обряд. И он по сей день с горечью вспоминал, как незадолго до их свадьбы его Лиза наотрез отказалась прикладываться к кресту и иконам. Он ее уговаривал, объяснял,

что нельзя оскорблять чувства целого народа, не исполняя его требований и не почитая того, что ему свято и дорого. Она не соглашалась. Ему было больно. «И кому досталось такое испытание? – спрашивал он себя и отвечал: – Мне, который прежде уверял, что не женится на неправославной».

Он и сейчас вздохнул: жена так и не приняла православия. А Элла это сделала. И он угадал в тот день, в церкви Спаса Нерукотворного, что именно так она и поступит.

После свадьбы все они отправились в осеннее Ильинское, царское имение в 60 километрах от Москвы, которое Сергею завещала его мать, Императрица Мария Александровна. «Все веселы, довольны. Собираются устроить театр и мне с Ильей Александровичем дают роли. Мне так хорошо, на душе у меня тихо, безмятежно. После завтрака в 6 часов была репетиция. Потом мы с Сергеем вдвоем вышли погулять. Солнце садилось, освещая холодными румяными лучами оголенную осенью природу и золотя желтые верхушки деревьев. Мы разговорились. Он рассказывал мне про свою жену, восхищался ею, хвалил ее; он ежечасно благодарил Бога за свое счастье. И мне становилось радостно за него…» – записал Константин.

Он не завидовал Сергею. «К чему завидовать: лучше радоваться радости ближнего», – размышлял Константин, наблюдая за Эллой и своей женой. Они сошлись, подружились, много времени проводили вместе. Но, что скрывать, он не мог отвести глаз от Эллы, возможно, как поэт, который всегда неравнодушен к красоте.

В его дневнике встречаются записи:

…

«Здесь я часто бываю один. Мне Элла тоже очень, очень нравится. Она так женственна; я не налюбуюсь ее красотой. Глаза ее удивительно красиво очерчены и глядят так спокойно и мягко. В ней, несмотря на всю ее кротость и застенчивость, чувствуется некоторая самоуверенность, сознание своей силы. Мы начинаем, кажется, с ней сближаться, она теперь менее со мной стесняется».

«Элла мне все более и более

нравится; я любуюсь ею. Под такой прекрасной наружностью непременно должна быть такая же прекрасная душа. Она со мной еще менее стесняется».

… В Ильинском Константин бывал часто. Думал о нем благодарно: среди привольной природы можно вздохнуть свободно. Не обернулось ли подмосковное Ильинское подмосковным Осташевом? Кто знает, как рождаются наши желания…

С Константином случилась обычная для него история. Глядя на Эллу, он снова задумается о гармонии. Фет говорил, что она есть в поэзии и музыке. А в жизни? Мы жаждем ее, мы ищем ее и разводим руками. Вот дивная женщина той редкой красоты, с которой непременно должна гармонировать прекрасная душа. Но так ли это? Форма, восхищенная собственными совершенствами, бывает столь заносчива, что не замечает, чем ее наполняют. Тем более эта уверенность и сознание силы, проглядывающие в Элле, похожей на кроткого ангела, что они значат? Константин совсем измучился: ну никак нельзя прийти к равновесию, не споткнувшись о противопоставление! Наверное, каждое существо – всего лишь оттенок звука в общей гармонии! Как обычно, принесли облегчение стихи. Как только измученность перелилась в строки, стала открытой, чтобы иметь отношение к каждому «я», – пришло благодатное успокоение.

Я на тебя гляжу, любуюсь ежечасно:
Ты так невыразимо хороша!
О, верно, под такой наружностью прекрасной
Такая же прекрасная душа!
Какой-то кротости и грусти сокровенной
В твоих глазах таится глубина;
Как ангел, ты тиха, чиста и совершенна;
Как женщина, стыдлива и нежна.
Пусть на земле ничто средь зол и скорби многой
Твою не запятнает чистоту,
И всякий, увидав тебя, прославит Бога,

Создавшего такую красоту.
(«Великой княгине Елизавете Федоровне», село Ильинское, 24 сентября 1884)

По Царской дороге до наших дней будут шуметь деревья аллеи, ведущей в Ильинское, стоять храм и бежать тропинка с холма к реке Москве…

* * *

Жизнь Сергея и Константина сложилась по-разному. У Константина всё громче становилось в доме; елки, игрушки, коляски, няни, пеленки, крестины, детские праздники, именины и дни рождения – росли дети. У Сергея и Эллы – обязанности общественные, духовные, государственные. Сергей жил по уставам Церкви, строго соблюдал посты, посещал богослужения, ездил в монастыри. Элла везде следовала за мужем. Она вслушивалась и всматривалась в происходящее в православных храмах, где чувствовала себя иначе, нежели в протестантской кирхе.

Александр III поручил Сергею быть его представителем на освящении храма Святой Марии Магдалины в Гефсимании. Храм был построен на Святой земле в память их матери, Императрицы Марии Александровны. Сергей Александрович уже бывал на Святой земле. Тогда он участвовал в основании Православного Палестинского общества и стал его председателем. Это общество собирало средства для паломников в Святую землю, для помощи Русской миссии в Палестине, для расширения миссионерской работы, для приобретения земель и памятников, связанных с жизнью Христа.

Великий князь Сергей Александрович и Элла прибыли в Палестину в октябре 1888 года. Пятиглавый храм с золотыми куполами, построенный в Гефсиманском саду у подножия Елеонской горы, и до сего дня является одним из красивейших храмов Иерусалима. На вершине Елеонской горы высилась огромная колокольня, прозванная «русской свечой». Увидев эту красоту, Элла сказала: «Как я хотела бы быть похороненной здесь». Ни она, ни окружающие ее не предполагали, что это ее желание исполнится.

После посещения Святой земли Элла твердо решила перейти в православие. От этого шага ее удерживал страх причинить боль своим родным, и прежде всего отцу. Она написала отцу письмо о

своем решении принять православную веру. Письмо стоит привести полностью, чтобы стало понятно, какой путь прошла Елизавета Федоровна:

...

«… А теперь, дорогой Пап?, я хочу что-то сказать Вам и умоляю Вас дать Ваше благословение.

Вы должны были заметить, какое глубокое благоговение я питаю к здешней религии с тех пор, как Вы были здесь в последний раз, более полутора лет назад. Я все время думала, и читала, и молила Бога указать мне правильный путь, и пришла к заключению, что только в этой религии я могу найти всю настоящую и сильную веру в Бога, которую человек должен иметь, чтобы быть хорошим христианином. Это было бы грехом оставаться так, как я теперь, – принадлежать к одной церкви по форме и для внешнего мира, а внутри себя молиться и верить так, как и мой муж. Вы не можете себе представить, каким он был добрым: никогда не старался принудить меня никакими средствами, предоставлял все это совершенно одной моей совести. Он знает, какой это серьезный шаг и что надо было быть совершенно уверенной. Прежде мучило меня то, что этим я причиняю Вам боль. Но Вы, разве Вы не поймете, мой дорогой Пап??

Вы знаете меня так хорошо. Вы должны видеть, что я решилась на этот шаг только по глубокой вере и что я чувствую, что перед Богом должна предстать с чистым и верующим сердцем. Как было бы

просто – оставаться так, как теперь, но тогда как лицемерно, как фальшиво это было бы, и как я могу лгать всем, притворяясь, что я протестантка во всех внешних обрядах, когда моя душа принадлежит полностью религии Православной. Я думала и думала глубоко обо всем этом, находясь в этой стране уже более шести лет и зная, что религия «найдена». Я так сильно желаю на Пасху причаститься Святых Тайн вместе с моим мужем. Возможно, что это покажется внезапным, но я думала об этом уже так долго, и теперь, наконец, я не могу откладывать этого. Моя совесть мне этого не позволяет. Прошу, прошу по получении этих строк простить Вашу дочь, если она Вам доставит боль. Но разве вера в Бога и вероисповедание не являются одним из главных утешений этого мира? Пожалуйста, протелеграфируйте мне только одну строчку, когда Вы получите это письмо. Да благословит Вас Господь. Это будет такое утешение для меня, потому что я знаю, что будет много неприятных моментов, так как никто не поймет этого шага. Прошу только маленькое ласковое письмо».

Отец не послал дочери желаемой телеграммы с благословением, а написал ответное письмо, в котором говорил, что решение ее приносит ему боль и страдания и что он не может дать благословения.

Тогда Елизавета Федоровна проявила мужество и, несмотря на моральные страдания, не поколебалась в решении перейти в православие. Вот отрывок из ее письма близким:

...

«… Моя совесть не позволяет мне продолжать в том же духе – это было бы грехом; я лгала все это время, оставаясь для всех в моей старой вере… Это было бы невозможным для меня продолжать жить так, как я раньше жила… Даже по-славянски я понимаю почти все, хотя никогда не учила этот язык. Библия есть и на славянском, и на русском языке, но на последнем легче читать… Говорят, что внешний блеск церкви очаровал меня. Ничто внешнее не привлекает меня, и не богослужение – но основа веры. Внешнее только напоминает мне о внутреннем… Я перехожу из чистого убеждения, чувствую, что это самая высокая религия и что я сделаю это с верой, с глубоким убеждением и уверенностью, что на это есть Божие благословение».

Весной было совершено таинство миропомазания Великой княгини Елизаветы Федоровны с оставлением ей прежнего имени, но уже в честь святой праведной Елизаветы – матери святого Иоанна Предтечи. Александр III благословил свою невестку драгоценной иконой Нерукотворного Спаса, (с которой Елизавета Федоровна не расставалась всю жизнь и с ней на груди приняла мученическую кончину). Теперь она могла сказать своему мужу словами Библии: «Твой народ стал моим народом. Твой Бог – моим Богом».

«Вчерашний день был знаменателен для нашего Дома: Элла присоединилась к Православию. Она сделала это не из каких-нибудь целей, а по твердому убеждению, после двухлетнего размышления. Трогательный обряд присоединения совершился у Сергея в его домовой церкви, рано утром», – записал 14 апреля 1891 года в дневнике Константин.

Элла с Сергеем решили проехать по Волге, посетить старинные русские города Ярославль, Ростов, Углич и помолиться в их храмах. Константину этот великий речной путь тоже был знаком: он показывал Волгу и ее города детям.

В 1891 году Высочайшим указом Императора Александра III Великий князь Сергей Александрович был назначен генерал-

губернатором Москвы, а спустя время и командующим войсками Московского военного округа.

Константин знал, что его друг, царский сын, мечтал об этом высоком положении. Но думал о нем как о чем-то несбыточном и неосуществимом. И вот сбылось. Сергей упрашивал Константина занять его прежний пост командира Преображенского, первого гвардейского полка России, который оставлял для него, уезжая в Москву. Сергей искренне желал другу детства карьерных успехов, считая, что Константин «не преуспел». А Константин думал о том, что это Элла приносит счастье Сергею. Ее появление рядом с ним возвысило авторитет Сергея, улучшило мнение о нем.

* * *

Прошла лирическая пора юности, когда Константин радовался дружеству молодого поколения Романовых, их взаимному расположению друг к другу, легкости и искренности. И он, и Митя, и Сергей, и Петя – Петюша, и Павел были так близки, не в пример казенным отношениям родителей. Отец и дяди вели себя так, будто едва знакомы, словно не Романовы и не сородичи.

Совет Николая Васильевича Гоголя – забирать с собой в дорогу всё лучшее из детства, добавим – и юности, – не всегда исполним. Да и кто помнит о нем?! Не всё и в отношениях Великих князей будет таким, как виделось им в молодости.

Для Сергея и Константина камнем преткновения, как уже говорилось, стала Ходынка. Возникли непонимание, охлаждение, почти разрыв. Сергей Александрович – князь Ходынский… Но смерть Сергея и горькое одиночество Эллы подняли в его душе все самое лучшее в рядом пройденной жизни. Вернулось понимание того, как же они дороги ему!

В стучащем по рельсам вагоне, когда Константин закрывал глаза, ему почему-то виделся личный кабинет Сергея, который был рядом с официальным приемным кабинетом. Они в нем пили чай, когда Константин привозил Гавриила в кадетский корпус. Ему запомнились лик Христа, написанный Васнецовым, портрет Императора Александра I мальчиком, а на стене подле самого стола портрет Эллы в розовом русском придворном платье и изумрудной парюре. Дивный портрет.

Кто будет теперь смотреть на него, как смотрел Сергей?

Константин знал, что Сергей, будучи сторонником политики Александра III, не в силах был мириться с тем, что происходило с Монархией: террористические акты, митинги, забастовки.

Государственный и общественный порядок разваливался, войну Россия проиграла. Двоюродный брат Константина Великий князь Владимир Александрович, долго командовавший гвардейскими войсками, плакал, рассказывая, как левая печать изничтожает гвардию, военную гордость России. Константин, оставшись с семьей на зиму в Павловске – болели дети, – обнаружил, что брат Дмитрий поставил во дворце караул. Два года подряд стоял унтер-офицерский караул, а иногда ночью ходил вокруг дворца дозор. Все ждали, что придут колпинские рабочие громить дворец. Но в Павловске было тихо.

Более непримиримый Сергей написал Николаю II еще в 1901 году: «Признаюсь тебе, что мне в Москве очень трудно; веяние нехорошее, проявления прямо революционные, и нужно называть вещи своими именами без иллюзий».

Первого января 1905 года Великий князь Сергей Александрович ушел в отставку с поста генерал-губернатора Москвы, но продолжал командовать Московским военным округом, оставаясь опасным для революционеров, и был приговорен организацией эсеров к смерти. За ним охотились. Элле прислали письмо с предупреждением не ездить с мужем. Она продолжала это делать, боялась оставить Сергея одного. В это время они жили в Нескучном дворце, покинув губернаторский дом. Настал день, когда Элле пришлось своими руками собирать на носилки по частям тело Сергея…

Константин об этом ужасе прочитал на следующий день.

«4 февраля 1905 года в Москве, в то время, когда Великий князь Сергей Александрович проезжал в карете из Никольского дворца на Тверскую, на Сенатской площади, в расстоянии 65 шагов от Никольских ворот (Кремля. – *Э. М., Э. Г.)* неизвестный злоумышленник бросил в карету Его Высочества бомбу. Взрывом, происшедшим от разорвавшейся бомбы, Великий князь был убит на месте, а сидевшему на козлах кучеру Андрею Рудинкину были причинены многочисленные тяжкие телесные повреждения. Тело Великого князя оказалось обезображенным, причем голова, шея, верхняя часть груди с левым плечом и рукой были оторваны и совершенно разрушены, левая нога преломлена, с раздроблением бедра, от которого отделилась нижняя часть» – так писали газеты Российской империи.

Более узкий круг людей читал письмо Ивана Каляева, члена боевой организации партии социалистов-революционеров. Письмо было из тюрьмы товарищам:

…

«Против всех моих забот я остался 4 февраля жив. Я бросал на расстоянии четырех шагов, не более, с разбега, в упор, я был захвачен вихрем взрыва, видел, как разрывалась карета. После того, как облако рассеялось, я оказался у остатков задних колес. Помню, в меня пахнуло дымом и щепками прямо в лицо, сорвало шапку. Я не упал, только отвернул лицо. Потом увидел в шагах пяти от себя, ближе к воротам комья великокняжеской одежды и обнаженное тело… Шагах в десяти за каретой лежала моя шапка, я подошел, поднял ее и надел. Я огляделся. Вся поддевка моя была истыкана кусками дерева, висели клочья. И она вся обгорела, с лица обильно текла кровь, и я понял, что мне не уйти, хотя было несколько долгих мгновений, когда никого не было вокруг. Я пошел. В это время послышалось сзади: „Держи, держи…“

А в 1909 году Савинков, который принимал участие в подготовке этого убийства, всё подробно живописал в «Воспоминаниях террориста». Он начал с того, что «был сильный мороз, подымалась вьюга, Каляев стоял в тени у крыльца Думы…».

Константин, наверное, живописного Савинкова не читал. Но какая разница! От любого из этих описаний стынет в жилах кровь.

Константин, приехав в Москву, одним из первых узнал, что Элла посетила находившегося в тюрьме Ивана Каляева.

«По поручению Эллы ее сестра Виктория сказала мне, что Элла ездила к убийце Сергея; она долго говорила с несчастным и дала ему образок. Накануне я слышал об этом посещении от генерал-адъютанта А. П. Игнатьева и, пользуясь отсутствием Эллы, ушедшей укладывать детей, [59] сообщил Павлу, Марии, Виктории, что слышал. Им не было известно, что Элла была у убийцы, и они не верили этому, даже смеялись. И точно, такое мужество, такая высота души прямо невероятны. *Она – святая»,* – записал К. Р.

Действительно, на третий день после смерти мужа Елизавета Федоровна поехала в тюрьму, где содержался убийца. Каляев сказал: «Я не хотел убивать вас, я видел его несколько раз в то время, когда имел бомбу наготове, но вы были с ним, и я не решился его тронуть». – «И вы не сообразили того, что вы убили меня вместе с ним?» – спросила она. Она сказала, что принесла ему прощение от Сергея Александровича, и просила убийцу покаяться. В руках она держала Евангелие и просила почитать его, но он отказался. Все же Элла оставила в камере Евангелие и маленькую иконку, надеясь на чудо. Элла даже просила Николая II помиловать Каляева. Но Царь ее прошение отклонил.
Посетила она еще одного человека. Чтобы увидеть его, она сняла траурное черное платье, надела голубое и поехала в госпиталь. На подушках и белых простынях, и сам совершенно белый, лежал Андрей Алексеевич Рудинкин, знаменитый кучер Великого князя Сергея Александровича. Глянув на Великую княгиню в голубом платье, он что-то прошептал. Элла уловила вопрос о муже. Она улыбнулась и ласково сказала: «Он направил меня к вам». Успокоенный ее словами, уверенный, что Сергей Александрович жив, Рудинкин скончался легко, без мучений в ту же ночь.

* * *

И снова приходится сделать отступление, перешагнув из начала XX века в век XXI.

В Ступинском районе, в некогда богатом селе Ивановском, принадлежавшем Владимиру Орлову, одному из пяти знаменитых братьев, верно служивших русской Императрице Екатерине Второй, стояла ампирная церковь. Вокруг нее, как и положено, располагалось кладбище, заросшее травой. В тридцатых годах всё это запустили люди, когда-то ходившие молиться в храм. В иных деревнях церкви перестраивали в школы, клубы. Судя по всему, здесь храм просто забросили. А потом изувечили и старые могилы. Но не «антихристы» сталинских времен, на которых теперь принято всё валить, а современные представители рыночной экономики, кравшие с русских кладбищ для перепродажи надгробные плиты. Одна из них, из розового гранита, с оторванным литым крестом-распятием и изуродованной надписью, стояла, как пишет изучавший всю эту историю писатель Александр Нефедов, под сенью могучих лип, в окружении буйно разросшихся лопухов и крапивы. Стояла сиротливо, покинувшая того, кому предназначалась, для кого, умирающего, Великая княгиня Елизавета Федоровна, Элла,

надевала голубое платье.

На четырех гранях надгробия – жизнь человека, лежавшего под плитой. «Здесь погребен кучер Великого князя Сергея Александровича Андрей Алексеевич Рудинкин, крестьянин Московской губернии Серпуховского уезда, Хатунской волости, деревни Сумароковой», – высечено на одной грани. На другой – «Умер от ран, полученных им от бомбы, убившей Великого князя Сергея Александровича в Московском Кремле 4-го февраля 1905 года». На третьей грани – «Добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многими тебя поставлю; войди в радость господина твоего». И, наконец, на четвертой: «Памятник сей поставлен Великой княгиней Елизаветой Федоровной, Августейшей супругой в Бозе почившего Великого князя Сергея Александровича».

Элла не только поставила памятник, но и вернула из Ивановского в Москву вдову кучера с шестью детьми. Ей была назначена пенсия, поселили ее во Вдовий дом на Болотной площади, где были и магазин, и лечебница, и школа, и церковь. Родившуюся после смерти отца девочку крестила сама Великая княгиня. О Рудинкине сохранилась такая память:

...

«Андрей Рудинкин был здоровья редкостного, да и силушкой славился недюжинной. Помнят родные, каковы руки у кучера от вожжей были – словно каменные, дело ведь не шуточное – управлять четверкой могучих великокняжеских лошадей. Ровно 10 лет прослужил Андрей у генерал-губернатора… Мужик и Великий князь столько времени вместе в дороге провели. Так и смерть настигла их в пути».

Мы обязаны были представить читателю историю Андрея Рудинкина: потому что в издании «Русского хронографа» «Святая Преподобномученица Елизавета» (тираж 50 тысяч) читатель доверчиво прочитает: «Преданный кучер Ефим скончался в ту же ночь».

Убит человек, могила потеряна, надгробие осиротело, имя, данное при крещении, оказалось переиначено…

Отпевали Великого князя Сергея Александровича в храме Святителя Алексия в Чудовом монастыре. Заупокойную литургию совершил митрополит Московский и Коломенский Владимир в сослужении двух епископов и многочисленного духовенства. После отпевания дубовый гроб с серебряными государственными гербами по бокам перенесут в храм Святого Апостола Андрея Первозванного в этом же монастыре. Там прах Великого князя будет покоиться до сооружения специального храма-усыпальницы в честь преподобного Сергия Радонежского – Небесного покровителя Сергея Александровича. В этом храме он и будет погребен.

* * *

А пока К. Р. вернулся в Петербург, где вскоре его ждала радость: 10 марта родилась дочка. Они с Лизой были счастливы: в кругу мальчишеского войска Константиновичей будет расти еще одна милая и нежная девочка Наталья. Константин пишет Анатолию Федоровичу Кони, с которым дружба становилась всё душевнее: «Сердечно благодарю Вас, многоуважаемый Анатолий Федорович, как от имени жены, так и своего, за доброе Ваше сочувствие нашей радости по поводу появления восьмого ребенка и второй дочери. В эти невыразимо грустные дни тяжких испытаний, разочарований, смуты, брожения и всеобщей и повсеместной расшатанности и бестолочи отрадно найти хотя б в родной семье покой и забвение. Надо быть бодрым, нельзя падать духом, должно верить в лучшее будущее, не поддаваясь малодушным сомнениям. Но все же тяжело, и стыдно, и больно».

Этот год действительно не скупился на утраты. В мае они с Лизой были в Осташеве, куда пришло известие, что Натуся заболела. Решили тут же ехать в Петербург. Доктор остановил, успокаивая крепостью детей в младенчестве. Сидели на холме над Рузой за круглым, крытым берестой столом и ждали телеграммы с хорошими новостями. Она пришла с известием, что Натуся умерла. Константин будто застыл в горе. Десять месяцев спустя он напишет стихотворное прощание: «Угасло дитя наше бедное / В расцвете младенческих дней; / Все грезится личико бледное / Мне милой малютки моей…»

На погребении Сергея 4 июля 1906 года кроме Константина были Великие князья Алексей Александрович и Борис Владимирович. В Кремль, в Николаевский дворец, где Элла предложила остановиться, Константин приехал с Ольгой, Лизой, дочерью Татьяной и сыном Оли Христофором. Москва словно

ощетинилась – всюду городовые с винтовками. У часовых в Кремле винтовки были заряжены, поэтому чести Великим князьям они не отдавали.

Элла повела всех в Андреевскую церковь Чудова монастыря к гробу Сергея, а потом во вновь построенную церковь преподобного Сергия Радонежского. «Она устроена под высоким, синим с золотыми и разноцветными звездами сводом, склон которого начинается немного выше старого, с красноватой каймой мраморного пола. Иконостас весь из чисто-белого мрамора исполнен по рисункам Павла Жуковского в византийском стиле… По стенам тянется кайма синего цвета по золоту, с белыми и малиновыми обрамленьями. В северной стене полукруглая выемка под пологим золотым мозаичным полусводом. Под ним приготовлена могила Сергею. А рядом Элла устроила место и для себя. Эта церковь бесподобно хороша, в ней таинственно-укромно. Освящение ее состоялось рано утром перед нашим приездом», – записал К. Р.

В этот день Константин Константинович водил сестру и всю семью, кроме Лизы, в Архангельский собор, в Грановитую палату, в Кремлевский дворец. Потом вызвал начальника Александровского училища, где собирался провести несколько дней для инспекции. Спросил о настроении юнкеров.

– Не тревожное, но повышенное. Можно ожидать брожения и нарушения дисциплины, – хмуро ответил тот.

Потом была всенощная. После нее подняли гроб с прахом Сергея и понесли к месту вечного упокоения – в склеп храма Преподобного Сергия Радонежского.

На месте убийства мужа – у Никольских ворот Кремля – Великая княгиня решила поставить памятник: на темно-зеленом Лабрадоре – высокий бронзовый крест со словами Спасителя, сказанными на Кресте: «Отче, отпусти им, не ведают бо, что творят». Этот памятник, выполненный по проекту В. М. Васнецова, был установлен в 1908 году. [60]

* * *

Константин узнавал и не узнавал Эллу. Такая же красивая в своей печали, такая же женственная, но то осознание собственной силы, которое он едва уловил в ней когда-то в Ильинском, выступило вдруг на первый план.

С момента кончины Сергея она не снимала траур, держала строгий пост, много молилась. Ее спальня в Николаевском дворце стала напоминать монашескую келью. Вся роскошная мебель

была вынесена, стены перекрашены в белый цвет, на них находились только иконы и картины духовного содержания. Ни на каких светских приемах она не появлялась. Бывала только в храме на венчаниях или крестинах родственников и друзей и сразу уходила домой. Теперь ее ничто не связывало со светской жизнью.

Она собрала все свои драгоценности, часть отдала в казну, часть – родственникам, а остальное решила употребить на постройку обители милосердия.

По природе психолог, Константин, наблюдая Эллу, понимал, что корни ее характера произрастают из детства. Внучка английской королевы Виктории, Гессен-Дармштадтская принцесса, Элла была воспитана в строгом и аскетическом английском духе. В ее доме жизнь детей проходила по строгому распорядку, установленному матерью: одежда и еда простые, старшие дочери выполняли домашнюю работу. Уже в России двадцатилетняя принцесса, когда ее хвалили, говорила: «Дома меня научили всему». Мать была очень внимательна и к наклонностям детей. Поощряла их дарования, в Элле развивала ее художественные таланты – любовь к живописи и музыке. Константин и Элла могли часами говорить на эти темы.

Многих удивляла природная щедрость отца Эллы – Великого герцога Гессен-Дармштадтского Людвига IV: он потратил большую часть своего состояния на благотворительные нужды, а дети с матерью постоянно навещали госпитали, приюты, дома для инвалидов, куда привозили большие букеты цветов, разносили по больничным палатам, ставили в вазы.

Однако детство Эллы закончилось быстро. Первое горе семьи случилось тогда, когда на глазах матери погиб трехлетний сын Фридрих, брат Эллы. Потом на семью обрушилась новая беда – эпидемия дифтерии. Заболели все, кроме Эллы. Умерли четырехлетняя сестра Мария и мать в возрасте тридцати пяти лет. Трагедия отца, забота о сестрах и брате – всё легло на плечи девятнадцатилетней принцессы. Она не жаловалась, рано уяснив ту истину, что жизнь человека на земле – это крестный путь. Элла хотела походить на Елизавету Тюрингенскую, родоначальницу Гессенского Дома, в честь которой ее назвали. Жившая в XIII веке Елизавета Тюрингенская отличалась самоотверженной любовью к людям, деятельным милосердием и после смерти была причислена католической церковью к лику святых. Такой хотелось быть Элле-Елизавете.

Кажется, только Константин поверил в искренность побуждений Великой княгини Елизаветы Федоровны и поддержал ее, когда она, оставив свет и распустив свой великокняжеский

двор, занялась тем, к чему больше всего лежало ее сердце. В 1907 году Элла купила на свои деньги усадьбу в Москве на Ордынке для устройства обители сестер милосердия. Она сама писала и переделывала несколько раз устав этой обители, пока Святейший синод, наконец, дал свое согласие на ее создание. Помог своим Высочайшим указом Николай П.

И тем не менее многие и в Царской семье, и в петербургском обществе не понимали столь резкого поворота в жизни этой умной, одаренной красавицы, как не понимали и того, почему Элла вышла замуж за Великого князя Сергея Александровича. Его репутация, невозможность создать полноценную семью – все это вызывало толки и пересуды.

Сестра Эллы, Императрица Александра Федоровна, имеющая «семейное преимущество» – детей, любящего Ники, вдруг заметила, что Элла, как ей показалось, подчеркивает свою скромность и страстную религиозность. Несколько случайно брошенных Императрицей слов – и Эллу стали считать при дворе «ханжой, экзальтированной святошей, любящей покрасоваться».

Обе эти женщины обладали незаурядными характерами. Была в сестрах какая-то истовость в том, чему они отдавали свою душу. И Россия для этого являлась благодатной почвой. Только на первый взгляд казалось, что судьба их обрекла на разную жизненную дорогу. В сущности, они обе были движимы милосердием. Одна – к сыну, чья болезнь, гемофилия, разрывала ей сердце. Другая создавала дома призрения для сирот, инвалидов, тяжелобольных, детей Хитрова рынка… Но что-то в них не совпало.

«Это еще предстоит разгадать, – считал протопресвитер Георгий Шавельский, который писал в воспоминаниях: – … Немка по рождению, протестантка по прежней вере, доктор философии по образованию, Императрица Александра Феодоровна таила в своей душе природное влечение к истовому, в древнерусском духе, благочестию. Это настроение было как бы родовым настроением ее семьи. Ее сестра, Елизавета Феодоровна, отдала последние свои годы монашескому подвигу. Целодневно трудясь в своей обители (в Москве), ежедневно молясь в своей чудной церкви, она, кроме того, по воскресным дням предпринимала ночные путешествия пешком в Успенский собор к ранним богослужениям. Когда к ней приезжала погостить другая ее сестра, Ирина (жена Генриха Прусского), то и та ежедневно посещала наше богослужение, а по праздникам сопутствовала сестре в ее ночных путешествиях в Успенский собор.

Любимым занятием Великой княгини Эллы была иконопись. Прежде чем приступить к написанию той или иной иконы, она,

как древние наши праведные иконописцы, уединялась надолго (до двух недель) в своей моленной, находившейся рядом с алтарем церкви, и там строгим постом, молитвою и благочестивыми размышлениями подготовляла себя к работе. Написанные ею иконы отличались не только тщательностью отделки, но и особой духовностью, одухотворенностью.

В своей обители Великая княгиня жила как истая подвижница, отрешившись от всякого царского великолепия: питалась скудно, одевалась до крайности скромно, во всем показывая пример нищеты и воздержания.

Религиозное настроение Императрицы по своей интенсивности не уступало настроению ее сестры. Императрица и по будням любила посещать церкви, являясь туда незаметно, как простая богомолка. По воскресным же и праздничным дням Государыня неизменно присутствовала на всенощных и литургиях в Феодоровском Государевом соборе. Там она становилась одна или с семьей на правом клиросе, или отдельно в своей, устроенной с правой стороны алтаря, моленной, где перед креслом Императрицы (болезнь ног заставляла ее часто присаживаться) стоял аналой с развернутыми богослужебными книгами, по которым она тщательно следила за богослужением. Фактически Императрица была ктитором этого храма, ибо весь храмовый распорядок, вся жизнь храма шли по ее указаниям, располагались по ее вкусам – без ее ведома ничего не делалось.

Императрица прекрасно изучила церковный устав, русскую церковную историю; особенное же удовлетворение ее мистическое чувство получало в русской церковной археологии. Несомненно, под настойчивым влиянием Императрицы за последние 20 лет в России в церковном зодчестве и церковной иконописи развилось особое тяготение к старине, дошедшее до рабского, иногда, на наш взгляд, неразумного подражания. Новые лучшие храмы, новые иконостасы начали сооружать все в древнерусском стиле XVI или XVII века. Примеры этому: Феодоровский Государев собор в Царском Селе; храм в память 300-летия царствования Дома Романовых в Петрограде; храм-памятник морякам, тоже в Петрограде; отчасти новый морской собор в Кронштадте.

В этом отношении особенного внимания заслуживает любимый царский Феодоровский собор в Царском Селе.

Собор этот – рабское, иногда грубое и беззастенчивое подражание старине. Например, лики святых на некоторых иконах поражают своей уродливостью, несомненно потому, что они списаны с плохих оригиналов XVI и XVII веков.

Для большего сходства со старинными, некоторые иконы

написаны на старых, прогнивших досках. Каким-то анахронизмом для нашего времени кажутся огромные железные, в старину бывшие необходимыми вследствие несовершенства техники, болты, соединяющие своды собора. Да и вся иконопись, все убранство собора, не давшие места ни одному из произведений современных великих мастеров церковного искусства – Васнецова, Нестерова и др., – представляются каким-то диссонансом для нашего времени. Точно пророческим символом был этот собор – символом того, что «новое», современное сметет все, что было достигнуто за последние века гением лучших ее сынов, трудами поколений, всей ее историей, и вернется к XVI или XVII веку.

Еще резче, пожалуй, бросается в глаза эта дань увлечения стариной в величественном Кронштадтском соборе, освященном 10 июля 1913 года в присутствии почти всей Императорской фамилии, почти полного состава членов Государственного Совета, Государственной Думы, всех министров и множества высших чинов. Там новое и старое перепутано. Осматривая этот собор, точно блуждаешь среди веков, то и дело натыкаясь на копии, по-видимому, самых плохих мастеров XVI–XVII веков. Но Император, и особенно Императрица, а за ними и покорные во всем, не исключая и вкусов, угодливые рабы, в коих не было недостатка, восхищались, восторгались, превознося старину и умаляя современное.

Для Императрицы старина была дорога в мистическом отношении: она уносила ее в даль веков, к тому уставному благочестию, к которому по природе тяготела ее душа.

Императрице подвизаться бы где-либо в строго сохранившем древний уклад жизни монастыре, а волею судеб она воссела на всероссийском царском троне…

Но мистицизм такого рода легко уходит дальше. Он не может обходиться без знамений и чудес, без пророков, блаженных юродивых, и так как чудеса со знамениями, истинно святых, блаженных и юродивых Господь посылает сравнительно редко, то ищущие того или другого часто за знамения и чудеса принимают или обыкновенные явления, или фокусы и плутни, а за пророков и юродивых – разных проходимцев и обманщиков, а иногда – просто больных или самообольщенных, обманывающих и себя, и других людей. И чем выше по положению человек, чем дальше он вследствие этого от жизни, чем больше, с другой стороны, внешние обстоятельства содействуют развитию в нем мистицизма, тем легче ему в своем мистическом экстазе поддаваться обману и шантажу.

Обстоятельства и окружающая атмосфера все больше и

больше способствовали развитию в Императрице болезненного мистического настроения. Несчастья государственного масштаба и несчастья семейные, следуя одно за другим, беспрерывно били по ее больным нервам: Ходынская катастрофа; одна за другой войны (Китайская и Японская); революция 1905–1906 годов; долгожданное рождение наследника; его болезнь, то и дело обострявшаяся, ежеминутно грозившая катастрофой, и многое другое. Императрица все время жила под впечатлением страшной, угрожающей неизвестности, ища духовной поддержки, цепляясь за все из мира таинственного, что могло бы ее успокоить. Ожидалось явление Распутина…»

Он явился и стал частью Царской семьи. Элла умоляла сестру-Императрицу не доверяться ему и не ставить себя в зависимое положение от него. Говорила Великая княгиня об этом и самому Императору, но ее совет был отвергнут. Она сделала последнюю попытку и поехала в Царское Село, чтобы лично поговорить с Государем о положении в стране. Император не принял ее. Разговор о Распутине произошел между Императрицей и Великой княгиней и закончился печально. Императрица не захотела слушать сестру: «Мы знаем, что святых злословили и раньше». На это Великая княгиня Элла сказала: «Помни судьбу Людовика XVI». Расстались они холодно.

Константин тоже в несвойственной ему манере, полной неприятия, говорил, думал и писал о Григории Распутине. Здесь с Эллой он был совершенно един. Они здраво и провидчески судили о происходящем.

А 10 февраля 1909 года Элла сняла траурное платье, облачилась в одеяние крестовой сестры любви и милосердия и, собрав 17 сестер основанной ею Марфо-Мариинской обители, сказала: «Я оставляю блестящий мир, где я занимала блестящее положение, но вместе со всеми вами я восхожу в более великий мир – в мир бедных и сострадающих».

Константин Константинович с симпатией и пониманием описал ее на новом поприще: «… Впервые по посвящении в настоятельницы созданной ею общины появилась Элла, вся в белом, с апостольником, покрывающим голову и лоб, с белым платком поверх апостольника, с наперсным крестом и четками».

Деятельность Марфо-Мариинской обители – это тема другой книги. Нам же важно сказать, как часто, вопреки недоброжелательству многих при дворе и в свете, бывал у Елизаветы Федоровны Константин Константинович. Поддерживал, утешал, а главное – понимал ее. В дневнике записывал: «Был у Эллы. Она так естественна, она приняла меня ласково. От нее веет святостью без капли ханжества».

Чем же Элла могла отблагодарить Великого князя Константина Константиновича, самого близкого друга ее мужа, а теперь и ее?

Как и чем – решила судьба.

Последние месяцы своего заточения Великая княгиня провела на окраине Алапаевска. [61] Среди заключенных находился юноша князь Владимир Палей, талантливый поэт, которому обещали будущее Пушкина. Он был сыном Великого князя Павла Александровича от второго, морганатического брака. Строгая в отношениях церковных и династических традиций, к тому же после смерти первой жены Павла воспитывавшая их детей, Элла не признала его вторую семью и свое неприятие перенесла на детей его новой семьи. Однажды жена Константина сказала: «Как хорошо, когда в Царской семье два поэта – К. Р. и Владимир Палей». – «Палей не принадлежит к Царской семье», – ответила Великая княгиня строго, и Константин почувствовал ту Эллу, в которой когда-то заметил некую самоуверенность. Сам же Константин Константинович сказал незадолго до смерти князю Палею: «Володя, я чувствую, что больше писать не буду, чувствую, что умираю. Тебе я передаю свою лиру».

В заточении Элла увидела в юноше «нареченного сына» поэта К. Р. и разделила с князем Владимиром дружбу. Об этой дружбе юный поэт писал домой с большим воодушевлением.

И последнее, что могла сделать для Константина Элла, – это помочь его сыновьям Иоанчику, Косте и Игорю, находившимся с ней в заключении, принять без страха мученическую смерть. 18 июля 1918 года алапаевских узников вывезли на заброшенный рудник и, избивая прикладами, живыми сбросили в шахту. Когда в сентябре Белая армия заняла Алапаевск и началось расследование этого убийства, рядом с Елизаветой Федоровной нашли тело Иоанна Константиновича с перевязанной головой. А по свидетельству местного жителя, из шахты долго еще доносилась Херувимская. Значит, и израненная, она не потеряла присутствия духа – перевязывала, успокаивала, поддерживала молитвой. И на пороге смерти вело ее то «сознание своей силы», которое когда-то угадал в молодой красавице Элле поэт **К. Р.**

ИОАНН, ГАВРИИЛ, ТАТЬЯНА, КОНСТАНТИН, ОЛЕГ, ИГОРЬ, ГЕОРГИЙ, ВЕРА

Ни один ребенок не доставался Великой княгине Елизавете Маврикиевне так тяжело, как Вера, которая появлялась на свет неохотно. Люди, распознающие человеческую судьбу по приметам, сказали бы: «Знает младенец, что его ждет». Но Верочку с первой минуты ждала радость. Константин Константинович благодарно целовал жену, прибежали все пять братьев новорожденной. Их поздравили с сестрой и отпустили в Царское Село к Их Величествам сообщить о семейной радости. Императрица Александра Федоровна приняла мальчиков в своей любимой лиловой гостиной, где в горшках стояли кусты душистой сирени, и передала Елизавете Маврикиевне огромный букет из чудесных роз. В Тверской губернии нашли кормилицу Аннушку и помощницу няне по имени Мари. Эта Мари говорила по-русски и по-немецки, была православной.

Крестить Верочку с радостью согласилась Государыня. Государь Николай Александрович определил число – 25 апреля 1906 года, во вторник, с полным церемониалом, как крестили всех братьев.

Однако через два дня после намеченных крестин, то есть 27 апреля, должна была заявить о себе другая новорожденная – Первая Государственная дума в России. Событию решено было предать всевозможную пышность. Сама Императрица сочиняла церемониал: Николаю II предстояло взойти по ступеням трона в Георгиевском зале и сказать тронную речь. Обсуждалось, быть Государю на открытии Думы в короне или порфире. Ее Величество в составлении церемониала не хотела подражать западным образцам. Предлагала всё согласовать с русскими обычаями. Но многие сомневались, что немецкой принцессе эти обычаи достаточно хорошо известны. Да и как их связать с парламентом? – недоумевали недоверчивые и сомневающиеся в новом для России деле. Царская семья в свою очередь волновалась по поводу статей Основных законов, касающихся Императорской фамилии: их следовало оградить от посягательств Думы.

«О, какое томление духа и сколько опасений за будущее возбуждает эта Дума! Не будет ли она терять время в пустозвонной болтовне крайнего направления, пренебрегая

делом… Если бы Дума занялась вопросами благоустройства крестьянства и нуждами просвещения – можно было бы надеяться, что она будет делать дело…» – размышлял Великий князь в дневнике 21 апреля, чувствуя помимо прочего, что под напором лавины событий крестины дочери не состоятся в назначенный день. И как в воду глядел. Сначала ему намекнули – слава Богу, близкие люди, – что крестины следует обставить как можно скромнее и проще, ибо в такое тревожное время крестины, устроенные по торжественному церемониалу за два дня до «полного грозной неизвестности» открытия Государственной думы, могут вызвать нарекания общественности. Константин Константинович разгневался: «Лично я не согласен с этим, полагая, что своим правом можно и должно пользоваться везде и всегда и что если верноподданные, конечно, не усмотрят в торжественности крестин ничего неуместного, то для врагов престола совершенно безразлично, пышно или бедно обставлены крестины в доме одного из членов Императорской фамилии; враждебно настроенным все равно ничем не угодить».

И Константин Константинович принялся размышлять, из какой части набрать почетный караул. Остановился на эскадроне Кавалерийского училища.

Однако 25 апреля крестины все же не состоялись. А 27-го в десять утра Елизавета Маврикиевна проводила из Павловска в Петербург мужа, пятерых сыновей и старшую дочь Татьяну на открытие Думы. Отпуская их, очень тревожилась, как-то всё сойдет. С осени 1905 года в стране не прекращались беспорядки. Но, слава Богу, в Павловске всё было тихо. И няня Атя (Анна Александровна Беляева) утверждала, что у Константина Константиновича даже среди рабочих есть авторитет. Но вот теперь из Москвы дошли слухи о покушении на генерала Дубасова. Его ординарец, граф Кановницын, и сам террорист, переодетый лейтенантом флота, убиты бомбой, Дубасов ранен в ноги. Никак не обретет покоя Россия…

Крестины Веры состоялись только 30 апреля, в воскресенье, в три часа дня. Справили их самым скромным образом – без церемониала, почетного караула, салюта. Одеты все были просто: кто в сюртуке, кто в кителе. Глядя на камердинера, поправлявшего упавшую гирлянду цветов, и на всё это скромное празднество, Константин вспомнил вдруг, как няня Атя в теплом сумраке детской, словно сказку, рассказывала детям о крестинах Гаврилушки. «Все было торжественно, – говорила Атя. – Приехали Государь Александр Александрович и Государыня. Государь сам стоял у купели, а маленького князя, покрытого золотым покрывалом, отороченным горностаем, несли на парчовой

подушке. Рядом шли два ассистента – флигель-адъютант и шталмейстер двора Великого князя Константина Николаевича, вашего дедушки. В зале, по которому проходило шествие, стоял почетный караул от Государевой роты лейб-гвардии Измайловского полка. После погружения в купель на Их Высочество, – здесь Атя восхищенно вздыхала, – надели серебряное платье со шлейфом и кружевами, серебряный чепчик с голубыми лентами. Государю подали кружевную подушку с маленьким князем на ней. Певчие в церкви все время пели вполголоса, чтобы не испугать малыша. Но за молебном после крестин они грянули во все легкие „Тебе Бога хвалим“ Бортнянского. Так было положено».

Так было положено крестить всех детей Его Императорского Высочества Великого князя Константина Константиновича. Так крестили Иоанна, Гавриила, Татьяну, Константина, Олега, Игоря, Георгия. Что-то было помпезным, что-то смешным. Константин Константинович вспомнил, улыбаясь, стишок, сочиненный кем-то из домашних по поводу крещения сына: «Все те же лица, те же рыла, а на подушке – князь Гаврила». Тогда обиделась лишь графиня Комаровская. Очень некрасивая, она приняла на свой счет слова «те же рыла». «Важно другое, – думалось Константину Константиновичу, – важно, чтобы в стране были надежность и покой, а в душе радость и уверенность в будущей жизни маленького существа». Сам он, несмотря на то, что дети рождались один за другим, всегда очень волновался. Бежал к себе в комнату, надевал свежую сорочку, белый китель, чтобы быть готовым к торжественному мгновению, когда малыша по русскому обычаю завернут в отцовскую сорочку, снятую накануне вечером перед тем, как ложиться спать, и дадут отцу на руки.

Волнение было неосознанным – за здоровье жены и ребенка, как и от понимания того, что воспитание детей – всегда пробный камень для взрослого человека, впрочем, и для всего человечества, которое во все времена не очень-то справлялось с этой проблемой. У него пятеро сыновей, дочери. Как укрепить семейный уклад, в котором бы отец и мать, бабушка и дедушка, дети – все реализовались, каждый в своей роли, и были семьей, а не собранием отдельных людей?

Он долго беседовал с отцом Иоанном Янышевым, по мнению которого ранняя бессознательная жизнь ребенка оказывает влияние на всю последующую жизнь человека. И счастлив тот, кто окружен нежною и тихою обстановкой любви, попечительством и лаской. Вот почему в семье Константиновичей расставались с нянями, которым не хватало ласки, даже если они были в остальном трудолюбивы и исполнительны.

«Ребеночка я сегодня видел только сонного… Маленький начинает обращать внимание на разные предметы, – записывал К. Р. 14 сентября 1886 года. – Калинушкин приходил печку топить; мальчик смотрел в его сторону и прислушивался к шуму. Калинушкин сказал ему: „Ваше Высочество! Приходите, помогайте мне печку топить!“ – Этот Калинушкин прелестный человек – в нем я не ошибся, мое чутье меня не обмануло. Он понятлив, ловок, услужлив и всегда весел. Все его любят. Не я один замечал, что в лице у него есть что-то детски-добродушное. Я люблю его как родного, а он очень привязан к моему первенцу. – Счастлив мой маленький, все-то его любят, он окружен нежными, ласковыми заботами. На детской так хорошо!»

Захотелось еще раз прочитать и написать эти щемящие строки молодого отца о своем ребенке. Словно волшебная детская сказка, давняя и уютная…

Возможно, собственное детство, проведенное в большей мере на детской половине с нянями и воспитателями, когда свидания с матерью и отцом были лишь частью этикета: «Поздоровайтесь с маменькой», «протяните ручку папеньке», – дало понять Константину Константиновичу, что узнать своих детей чисто умозрительным путем невозможно. Только любовь да еще общая жизнь с ними – ибо педагогическая интуиция может работать лишь в «общем поле» семьи – рождают взаимопонимание. В ином случае ребенок привыкает обходиться без любви, и тогда у него нет других смыслов, кроме своеволия, обособленности и эгоизма. А вот ласковое движение отца, который для удобства подставил ему под ноги скамеечку, вспомнится Великому князю Гавриилу Константиновичу и перед смертью. И он напишет: «Я чувствую, как мне не хватает отца и сейчас, а временами так хотелось бы пойти к нему и поговорить». Но пойти уже было некуда и не к кому: старая Россия – затонувший материк, отец – забытый ею поэт…

А тогда – зимой в Мраморном дворце, летом в Павловске или Стрельне – в восемь утра отец звал детей к себе, чтобы поцеловать, поговорить с ними. Высокий, со светлой бородкой, с серыми романовскими глазами и очень красивыми руками в кольцах, в обычной серой тужурке, он сидел за маленьким столиком и пил кофе. Он терпеливо выслушивал детей, а потом сам провожал их на детскую половину, устроенную и украшенную в русском стиле. Здесь все комнаты носили русские названия: гуляльня, мыльня… Константин Константинович не мог терпеть, когда в русскую речь вставляли иностранные слова (хотя хорошо знал несколько языков). «С каких пор русский язык в подпорках нуждается», – говорил он сердито. Он желал, чтобы у детей

первым языком был русский. Потому и няни, и воспитатели в семье были русские. (В то же время и в том же Петербурге, на улице Морской рос мальчик по фамилии Набоков с чрезвычайно «английским уклоном» – от детской игрушки до повседневного языка.)

Детская избирательная память сохранила образ Владимирской Божией Матери, висящий в большой комнате и украшенный полотенцем с цветами и кружевами. И еще красный неизменный халатик матушки, красивые чашечки ее кофейного сервиза, ее нежные слова и поцелуи.

На вечернюю молитву к детям приходили все вместе – отец, мать и дядя, Великий князь Дмитрий Константинович. Он служил в Конной гвардии, всегда возился с лошадьми, и дети его боготворили. Сыновья становились на колени перед киотом с образами и читали молитвы, очень серьезно и ответственно. Константин Константинович имел свои представления о христианской педагогике. Он считал, что христианство ставит каждого человека, ведомого Богом по жизни, в положение чада. Православие, в отличие от «взрослого», более рационального западного христианства, сохраняет детскость, семейную связь, духовническое наставничество. И в соответствии с этим верующий человек воспитывает, вразумляет своего ребенка и «хранит» его чувством любви.

Сколько ласковых слов, адресованных детям, сохранили записки Константина Константиновича! Он любил, когда дети приезжали к нему в военный лагерь, и испытывал гордость и радость. Он называл счастьем появление на свет «маленького, родного, беспомощного существа – дочки». Заболевал тяжело сын Гаврилушка – он в своей крестовой молился и плакал горькими слезами, просил Господа помочь ему безропотно покориться его воле и признать в ней благо. Родился Олег – и он, «как всегда во время крещения детей, глубоко растроган и проникнут глубоким умилением». Великий князь отметит в дневнике за 1899 год: «Олег говел в первый раз в 7 лет, он приступил к таинству покаяния вполне сознательно. Весь в слезах, он приходил к нам и просил прощения. Чтобы мы не думали, что слезы от капризов, малыш объяснял, что плачет от грехов. Что за прелесть мальчик!»

Дети обычно приходили к отцу в сад к утреннему завтраку с воспитателями. Так было принято. Но Константину Константиновичу, человеку очень занятому, имевшему мало свободного времени, хотелось побыть с детьми без посторонних. Одна из воспитательниц воспротивилась нарушению заведенных правил. Пришлось вести с ней неприятный разговор, извиняться, объяснять, что все же он, отец, имеет право иногда видеться с

детьми «один на один». В нем слишком сильно было притяжение детства, он интуитивно прозревал великую тайну прихода в мир новой души и благоговел перед ней, возможно, ревниво оберегал ее.

Впрочем, к пожеланию Великого князя в доме вскоре привыкли. И его веселые «посиделки» с детьми в саду, под арками, куда слетались голуби и воробьи, устраивая шумный, прожорливый, пернатый хоровод, домашним даже нравились.

Константин Константинович был крайне избирателен в том, что полезно детям, особенно если речь шла о понятиях духовного свойства – религии, трудолюбии, патриотизме, чести. Он был строг и не признавал всех этих «не могу», «не хочу». Требовал аккуратности, самостоятельности. Конечно, не помышлял о примере Америки, строившей свое благополучие исключительно на труде, когда иным «трудягам» было только семь лет. Но и не хотел, чтобы детство и ранняя юность его детей стали иждивенчеством, а их положение князей казалось им самоочевидным преимуществом, независимо от стараний ума и рук.

«Следует ли потакать мальчишкам в их желании попасть на военный парад? – размышлял он. – Для меня это – работа, я командир полка. Но у детей ведь захватило дыхание, когда они во время прогулки на Дворцовой площади увидели взвод Конной гвардии в парадной форме. Я это видел и сделаю то, на что мальчишки не смеют надеяться».

Он взял их с собой. Не только для того, чтобы дети, захлебываясь словами, рассказывали потом о лихих конногвардейцах в белых мундирах, золотых касках с золотым орлом, об украшенных медалями вахмистрах у полковых штандартов, о трубачах и главное – о том, как блеснули в воздухе палаши и трубачи заиграли полковой марш, но и для того, чтобы узнали и запомнили, что Конная гвардия – родной их дому полк. В нем с детства числились дед, отец, два его брата – августейшие Константиновичи. Именно в те дни Иоанчик решил, что будет конногвардейцем. И стал им, прослужив в полку до самой революции. Три поколения Константиновичей стояли на одном и том же месте во время этих парадов. Так сыновья Константина Романова узнавали, что традициями называются лучшие нравственные правила и убеждения, воспринятые от предшественников, хранимые современниками и передаваемые преемникам.

Отец брал двух старших сыновей и в Москву, на высочайшее событие в России – коронацию Царя. Константин Константинович должен был там быть по своему положению Его Императорского

Высочества Великого князя. На всю жизнь запомнили мальчики увиденное. Отец сразу по приезде повез их в часовню Иверской Божией Матери приложиться к чудотворной иконе. Когда они проезжали через Спасские ворота, он объяснил, почему на этом святом месте все снимают шапки. Показал, как, готовясь к чину коронации, красавцы-гренадеры переносили царские регалии из Оружейной палаты в Кремлевский дворец, несли корону, скипетр, державу, шли герольды в золотых костюмах и дворцовые гренадеры. Потом, уже в день коронации, с Красного крыльца они видели склоненные головы в коронах. Это были Николай II и Александра Федоровна. Государь и государыня три раза на три стороны поклонились народу. И что с того, что мальчишкам-князьям в матросских костюмчиках пришлось протиснуться к перилам балкона и сидеть на ноге Великого князя Николая Николаевича. Не худшее место для желающих всё посмотреть на таком празднике…

Вечером под расцвеченным иллюминацией небом их повезли в Кремль, окруженный стеною и башнями, с его святыми соборами – Успенским, Архангельским, Благовещенским… И навсегда им запомнилась Первопрестольная – вечная соперница и соратница строгого Петербурга – как символ мощи необъятной России.

А для отца не было лучшего места на земле, чем то, где росли его дети, – России. «С какой радостью перекрестился на мосту через речку, отделяющую Россию от Пруссии. Весело было поздороваться с первым русским солдатом пограничной службы. Дул ветер, шел снег. Жена и дети ждали меня дома, на подъезде, все здоровы. Давно уже я не испытывал такой светлой радости при возвращении домой. Маленький Олег сидел у кормилицы на руках, на детской, в чепчике и платье», – вспоминал Константин Константинович одно из своих возвращений домой.

Интересно сопоставить детство Константиновичей с детством Великого князя Александра Михайловича и его братьев. По сложившимся традициям требования в воспитании Великих князей формально были одинаковы. И все же каждая семья привносила в общую великокняжескую педагогику нечто свое. Вот что вспоминает Александр Михайлович: «До пятнадцатилетнего возраста мое воспитание было подобно прохождению строевой службы в полку. Мои братья – Николай, Михаил, Сергей и Георгий – и я жили как в казармах. Спали на узких железных кроватях с тончайшими матрацами, положенными на деревянные доски. Нас будили в шесть утра… Кто рискнул бы поспать еще пять минут, наказывался строжайшим образом. Мы читали молитвы, стоя в ряд на коленях пред иконами… Наш утренний

завтрак состоял из чая, хлеба и масла. Все остальное было строго запрещено. Из-за малейшей ошибки в немецком слове нас лишали сладкого. Завтраки и обеды, столь приятные в жизни каждой семьи, не вносили разнообразия в строгую рутину нашего воспитания. В глазах наших родителей и воспитателей мы были здоровыми, нормальными детьми, но… Мы страдали душой от одиночества… Нам не с кем было поговорить… Одна мысль о том, чтобы явиться к отцу и утруждать его неопределенными разговорами без специальной цели, казалась просто безумием. Мать наша со своей стороны направляла все усилия к тому, чтобы уничтожить в нас малейшее внешнее проявление чувства нежности». А вот один из дней 1906 года в описании Великого князя Константина Константиновича:

…

«Хорошо выспался. В свободные минуты сочиняю новое стихотворение. Умывшись и одевшись, выхожу в кабинет, молюсь Богу на коленях в углу около письменного стола перед иконами, у которых всегда теплится лампадка… и читаю Апостол и Евангелие дня. Потом кормлю рябиной снегирей и иду к младшим детям. Георгий взял меня за руку, просясь к моему кофе. Беру его. В маленькой столовой он усаживается не на стул рядом, а непременно мне на колени, стучит ложечкой по яйцу, чтобы разбить скорлупу, накладывает мне сахару в чашку, наливает в него кофе и сливок и мешает ложечкой. На его долю тоже приходится скромное угощение. Говорит он мало, а если говорит, то все шепотом, это со мной и с детьми. У себя же на детской болтает громко… В 10 часу прибежали остальные дети. Олег – именинник, но, тем не менее, у всех были уроки. Дал Олегу подарки;

купил ему сам накануне полочку красного дерева с акварельным видом Крыма. Перед завтраком молебен в церкви. Завтрак в зале Войны. Днем гулял сперва с Татианой, потом с ней и сестрой Олей… Пили кофе у Вавы.

Зашли к двум младшим детям. Георгий опять взял меня за руку и попросился ко мне. Я при нем разулся у себя, он взял сапоги и хотел отнести их Мише (камердинер), но, не найдя его, отдал курьеру, привезшему из Петербурга бумаги из Главного Управления… Маленький пояснил, что Миши нет, а был солдат.

Ужин в семейном кругу с детьми. Остаток вечера за фортепиано и письменным столом».

В этой дневниковой записи речь идет прежде всего о младших детях. Но были ведь и старшие. И отцу предстояло свое время распределить на каждого, вместе с тем думая о единении семьи. Понимая, что к детям подходить с позиций прагматики – неблагодарная и бесполезная затея, Константин Константинович детство оставлял привилегией не только младших, но и старших детей. Он совершал со всеми пятью мальчиками длинные пешие прогулки, ходил купаться, ездил на велосипедах. С женой они устраивали в тронном зале угощение шоколадом. Делалось это в честь рождения Верочки, но присутствовали и старшие князья, и младшие, и еще 90 детей служащих великокняжеского двора. У дверей ковровой комнаты не раз стояли младшие дети, волнуясь за старших, которые сдавали экзамены. И радовались заслуженным двенадцати баллам, которые получали экзаменующиеся. А отец напоминал и тем и другим, что 30 лет назад в этой же комнате его «экзаменовали из гардемарин в офицеры». И ощущение надежности, смысла жизни, одни осознанно, другие интуитивно, но испытывали все.

Праздники, особенно новогодние, всем возвращали детскость. И отцу Константину Константиновичу, и матери Елизавете Маврикиевне, и любимому дяде Дмитрию Константиновичу, на шее которого в самом прямом смысле радостно висели по очереди все восемь детей, и любимой тете, Королеве эллинов Ольге Константиновне, если она приезжала из

Греции в Россию погостить. Великий князь писал всем поздравления с праздником. Смотрел, как Олег заканчивает свой подарок Государю – деревянный столик, на полках которого был нарисован акварелью Вещий Олег по Васнецову. Потом Иоанчик, Гаврилушка, Татьяна, Костя, Игорь с отцом ходили по лавкам за последними покупками. Заходили и в аптекарский магазин, и в колониальный Соколова, и в немецкую булочную. Однажды у Соколова купили забавную бонбоньерку с потайной пружиной. Ее отдали стрелкам в карауле, с тем чтобы леденцы достались тому, кто догадается, как открыть бонбоньерку.

В четыре часа в кабинете Константина Константиновича зажигали для Верочки крохотную елку. И она, открыв ротик, круглыми глазами смотрела на огоньки. В это же время начиналась всенощная. После службы все собирались в неярко освещенной комнате Павла I, младшие дети держали шест с рождественской звездой, и все славили Христа, повернувшись к его образу. Константин Константинович звонил в колокольчик, раскрывались двери, и все бежали в зал, где сияла огнями до самого потолка пышная елка. Вместо сосулек на ней висели стекляшки, вместо снега – пышная вата, и вся она была обвита золотым и серебряным дождем, под которым блестели орехи. На столах лежали подарки.

Если кто-то из детей болел, все равно – старший или младший, для него зажигали елку отдельно, пели молитвы, и по звону колокольчика больной выходил из своего «затвора» и получал подарок. Потом все сидели за праздничным столом, а в раскрытую дверь сверкала и сияла елка. «И батюшка, и матушка, и старшие братишки, и младшие сестренки, с десяточек племянников и столько же племянниц, кузины и кузены составили в тот день счастливый семейный хоровод», – поется в старинной смешной песенке, между прочим, о самой большой ценности – о родственной любви, естественном, невыдуманном чуде.

Всех сыновей Константин Константинович определял в кадетские корпуса, делал это по старшинству корпусов. Иоанна отдал в Первый Николаевского кавалерийского училища, Гавриила – в Первый Московский, Константина – в Нижегородский, Олега – в основанный августейшим дедом Полоцкий, Игоря – в Петровско-Полтавский и Георгия – в Орловский.

Каждому выдавал приказ, подписанный им самим как главным начальником военно-учебных заведений России. Ребята были счастливы носить военную форму, и их не огорчали сурового полотна гимнастерки, шинели солдатского покроя и

простые сапоги с короткими, грубой кожи голенищами. Отец требовал, чтобы пуговицы на мундирах и сапоги чистились до блеска. Кадету положено было это делать самому – князьям исключение не делалось.

Итак, все были определены в кадетские корпуса и жизнь каждого будет связана с армией. Хотели ли этого сами дети? Нет, они знали, что так положено Великим князьям. Великий князь не мог быть ни пожарным, ни машинистом, ни актером… Выбор его карьеры ограничен: он лежал между кавалерией, которой командовал Великий князь Николай Николаевич Старший; артиллерией, которая была в ведении Великого князя Михаила Николаевича, и военным флотом, во главе которого стоял Великий князь Константин Николаевич. Однажды десятилетний Великий князь Георгий из царской линии Михайловичей при гостях сказал, что хотел бы быть художником-портретистом. Установилось зловещее молчание. Немедленно последовало наказание: камер-лакей, обносивший гостей десертом, прошел с малиновым мороженым мимо его детского прибора.

У Константиновичей тоже возникла подобная проблема. И ее вполне можно было бы считать ветхозаветной, если бы она не существовала и до сегодняшнего дня – «проблема отцов и детей». Юношеский мятеж, искания – всё было налицо.

В семье Константиновичей мать и отец не жили обособленно от детей, в эмоциональной и душевной изоляции. Они реально сопереживали детям, и в этом их беспокойстве за детскую душу уже заложен был выход из любого положения, когда многое оказывалось разрешимым.

Олег, окончивший Полоцкий кадетский корпус, мечтал поступить в Императорский Александровский лицей и получить высшее образование. В семье это желание вызвало серьезные разногласия: лицей – гражданское заведение. Ни один член Императорского Дома не носил гражданского мундира. Олег же не интересовался военной службой, его привлекали музыка, литература, к тому же он был одарен: сочинял стихи, повести, рассказы. Константин Константинович едет к Императору, ведет долгий разговор и с трудом, но получает разрешение на поступление сына в гражданское учебное заведение.

Следующим новшеством в этой семье было желание Кости и Игоря учиться в Пажеском корпусе в специальных классах, хотя не принято было, чтобы члены Императорской фамилии становились пажами. Не полагалось Великим князьям Романовым и быть «приходящими» учащимися в учебных заведениях. Сам Константин Константинович, его родные братья, Великие князья Кирилл Владимирович, Александр и Алексей Михайловичи

числились в Морском училище, Андрей Владимирович и Сергей Михайлович – в Артиллерийском училище, но все они учились дома. «Выговорив» разрешение Косте учиться в Пажеском корпусе, Константин Константинович не смог получить разрешения на посещение сыном училища. Костя учился дома. Но Игорь взбунтовался по-настоящему и все же стал «приходящим» пажом, был на «ты» с товарищами и на совершенно равном с ними положении. Его – остроумного, легкого и веселого – очень любили в училище, впрочем, как и везде. Как не вспомнить здесь деда Константина Николаевича, говорившего: «Константиновичи всегда в чем-нибудь да первые!»

Чем старше становились сыновья и дочери, тем глубже Константин Константинович понимал, какая серьезная вещь – постоянно ощущать себя родителем и наставником и какое это оказывает влияние на весь ход жизни. И собственной. И детей. И семьи в целом. Родительская любовь – особый дар. Тот из детей, кто равнодушно воспримет этот дар, потом и сам не научится любить.

Константин Константинович всматривался в детей. Пролетело незаметно 20 лет со дня рождения старшего сына Иоанна. «Милый юноша, совсем еще мальчик, благочестивый, любящий, вежливый, скромный, немного разиня, не обладающий даром слова, не сообразительный, но вовсе не глупый и бесконечно добрый, – так пишет отец о сыне. – Мы подарили ему с женой наши портреты. Пригласили всех, имеющих отношение к Иоанчику… Всем нашим маленьким обществом отправились в лес… дамы в экипажах, а мы все и Татиана – на велосипедах. В лесу пили чай и шоколад». Иоанн был очень религиозен. Любил духовную музыку и руководил церковным хором, который будет участвовать в постановке драмы отца «Царь Иудейский». Младшие братья, подшучивая над ним, предрекали ему, что его сын родится с кадилом в руке. Они даже заказали маленькое кадило и, как только младенец родился, его вложили ему в ручку. Так Иоанчик увидел впервые своего сына… с кадилом в руке. Он сначала был обескуражен, а потом долго смеялся своим, знакомым всем, звонким смехом.

Отец видел, что Гавриил – второй сын – увлекается всем военным, мечтает о подвигах, о курсах Академии Генерального штаба.

Но, наверное, оттого, что двух старших сыновей они с женой держали в излишней строгости, мальчики выросли стеснительными, неуверенными в себе. Для них, уже юнкеров, поездка в Царское Село без провожатого была целым событием. За час до выезда они чувствовали себя не в своей тарелке.

Гаврилушка должен был выйти в Конно-гренадерский полк, но по совету отца вышел в лейб-гвардии Гусарский полк Его Величества. Во-первых, желание отца для него было законом; во-вторых, полк стоял ближе к дому. Отец поздно понял, что старшим детям будет трудно в самостоятельной жизни. И правда, с Гаврилушкой, например, всякий раз что-нибудь да случалось. То он неправильно наденет кушак, и главнокомандующий Великий князь Николай Николаевич, поставив его перед зеркалом, саморучно перетянет кушак. То, облачившись в красный доломан, золотую амуницию и Андреевскую ленту для встречи с эскадронным командиром, стукнется головой о притолоку избы. Он всегда молчал, боялся сделать лишнее движение, ничего не пил на больших обедах офицеров – стеснялся. Когда его пригласили в Манеж на парад к завтраку Царя, он сказал, что должен идти на занятия с солдатами. Потом, конечно, ему объяснят, что Царю не отказывают, даже если ты Великий князь. Но, что касается занятий с солдатами в учебной команде и уроков с воспитанниками школы солдатских детей, здесь он всегда был лучше всех. И многие даже не понимали, зачем Великому князю так усердствовать. Он усердствовал всегда на военной службе – в ночных разъездах, в пробегах на 80 верст, в обязанностях на биваках. Он не жаловался, когда винтовка до крови набивала ему спину или соседи в строю сжимали его с двух сторон так, что он едва держался в седле и терпел ужасную боль в ногах. Но он научился и винтовку пригонять как следует, и ездить в строю.

Вполне заслуженными были подарки старшим сыновьям в день производства их в офицеры. Иоанчик получил палаш деда, Великого князя Константина Николаевича, Гаврилушка – дедову саблю с датой на ее клинке Венгерской кампании, за участие в которой дед получил Георгиевский крест.

Младших мальчиков Константин Константинович воспитывал иначе. Несущийся поток жизни, усложнившиеся общественные условия требовали от князей большего знания жизни, ее понимания, большей свободы в личном поведении. И, конечно, Костя, Олег, Игорь, потом Георгий были самостоятельнее, энергичнее, раскованнее. Они умели определиться в своих желаниях и настоять на них.

Как и старшие братья, они были высокого роста, с красивыми романовскими глазами, отличались большим шармом. Олег обещал стать поэтом, Игорь был живой, веселый, остроумный, готовый уговорить на любую шалость даже Государя Николая Александровича, Георгий – впечатлителен, меланхоличен. Он тяжело переживал революционные события в России и говорил, что хочет умереть.

Но эти слова произносились значительно позже. А тогда вся дружная семья Константиновичей путешествовала по Волге для осмотра русских древностей. Впереди были Углич, Романов-Борисоглебск, Ярославль, Ростов Великий, Кострома, Нижний Новгород, Владимир, Суздаль, Москва. Предстояло плыть пароходом, ехать поездом и на лошадях. Константин Константинович сидел в каюте, с палубы доносились музыка и смех его детей. А он записывал в дневник: «Получил письмо от Татианы… длинное, обстоятельное, содержательное, остроумное. Очень развилась славная девочка… Татиана вернулась из-за границы счастливая и довольная. Ей было там хорошо, но она узнала тоску по родине».

Судил ли отец строго детей, хвалил ли – любовь его к ним была безмерна…

В Великом князе всё было эстетично, но скромно, его выдержке все удивлялись. Как говорила дочь Татьяна, он вообще был стоик. Никогда не сердился, всегда спокоен. Не торопился, не волновался, совсем не походил на других людей. Дети любили слушать, как он играл Шопена, и восхищались его дивным туше. Знали, что отец болезненно переживает появившееся отчуждение между русскими людьми, носившими военный мундир и гражданский сюртук. Носящих погоны окрестили «тупой военщиной», штатских звали «шпаками». А он любил гармонию во всем, напоминал, каких замечательных людей вырастила эта самая «военщина»: Сумарокова, основавшего при Первом кадетском корпусе Императорский театр, поэта-гусара Лермонтова, поэта Дениса Давыдова, «льва» русской литературы Толстого. А преображенец Мусоргский, моряк Римский-Корсаков, герой Турецкой кампании Гаршин! (Со временем этот список пополнится именами поэтов, георгиевских кавалеров – самого Великого князя и Николая Гумилёва.)

Приемная отца для семьи приобрела определенные удивительные очертания: здесь можно было встретить члена правительства и волостного писаря, академика и сельского учителя, гимназистку и сбежавшего из корпуса кадета. Дети дорожили именем отца – оно было известно всей России. Даже в оппозиционной престолу среде. Во время железнодорожной забастовки 1905 года забастовочный комитет рабочих дал инструкцию пропускать состав Константина Константиновича без задержек. Такое исключение было сделано для единственного Романова.

Лучшее из опыта собственной семьи он перенес на огромную семью детей, подростков, юношей – кадет и юнкеров. Кадетские корпуса были такими учреждениями, в которых Русское

государство пыталось дать молодому поколению цельное, целостное, интегральное воспитание. В первую очередь христианское и духовное, во вторую – интеллектуальное и патриотическое. Само слово «кадет» происходило от латинского «капителлум», что значит «маленький капитан». Этим маленьким «капитанам» предстояло стать достойными гражданами России. Он брал за основу воспитания, как и в собственной семье, чувство любви и всячески старался смягчить суровые методы военной педагогики тех лет.

Сохранилась деталь его пребывания в Псковском кадетском корпусе. Собрались все учащиеся на «прибивку знамени». На столе, крытом красным сукном, лежало знамя. Вице-фельдфебель Ушаков, безусый, светловолосый – его Великий князь со времени своей службы помнил маленьким, беленьким мальчиком – держал древко. В него, начиная с Его Императорского Высочества, все кадеты вбили по гвоздику. Через час состоялся парад с передачей знамени.

Великий князь, как уже говорилось, добился возвращения кадетским корпусам знамен, «сданных в архив», и распорядился выносить их на парадах как символ воинской доблести.

В самое ближайшее время воинскую доблесть предстояло проявить его собственным детям и воспитанникам военных учебных заведений. По сути, тоже детям, недаром Константина Константиновича называли «отцом всех российских кадет».

Вернемся к крестинам маленькой Верочки. Они прошли не так, как хотелось отцу. Он смирился с этим, но был расстроен. Возможно, Константин Константинович чувствовал, что наступает время потрясений, разрыва семейных и человеческих связей, время политического авантюризма, воинственного и жестокого. Сам же он всегда благоговел перед природной связью «отцов и детей», когда ощутим трепет желания «выйти за рамки себя» ради другого. Поступая так, К. Р. дал России умных, добрых, честных и храбрых молодых людей. Но России «окаянных дней» они не понадобятся.

* * *

Князья Иоанн (1886–1918), Константин (1891–1918), Игорь (1894–1918) будут сброшены живыми в шахту под Алапаевском 18 июля 1918 года.

Князь Гавриил (1887–1955) умрет в эмиграции в Париже.

Княгиня Татьяна (1890–1979) примет постриг под именем игуменьи Тамары и скончается в Иерусалиме.

Князь Олег (1892–1914) геройски погибнет на фронтах Первой мировой войны и будет похоронен в родной земле.

Князь Георгий (1903–1938) умрет в эмиграции в Нью-Йорке.

Княжна Вера (1906–2001) скончается в эмиграции в доме при Толстовском фонде в штате Нью-Йорк.

ОПАСНАЯ УВЕРЕННОСТЬ ГОСУДАРЯ

Время, когда взрослели дети, было довольно смутным, жестоким, беспочвенным… Царь лично награждал офицеров, которые усмиряли восстание в Лифляндской губернии. В Женском педагогическом институте снова был поставлен вопрос о преподавании Закона Божьего и русского языка. «Левый фланг» преподавательского состава настаивал на том, чтобы сделать оба предмета необязательными. Константин Константинович просидел на конференции с семи утра до часу дня и сделал всё, чтобы революционизирующий фланг остался в проигрыше. Извлек при этом для себя урок в ведении прений с левыми, которые спекулировали понятиями, умышленно ложно толковали поставленный вопрос. Окрыленный своей победой, Великий князь в эти же дни провел в Мраморном дворце совещание с профессорами, вызвавшимися читать лекции на курсах учителей и учительниц для низшей школы в Павловске. Чтобы успокоиться, отстоял обедню во вновь расписанной и на славу удавшейся церкви Педагогического института. «Глядел и не мог наглядеться. Узоры иконостаса, из-под которых отливает всеми цветами и красная, и синяя, и малиновая, и вишневая, и меловая, и голубая, и зеленая фольга, превосходно исполненные по древним образцам иконы и стенная иконопись – эта строгость стиля, гармония очертаний и красок ласково действует на душу». И это «ласково», промелькнувшее в дневнике, кто знает, возможно, подействовало на его отношение к стихотворениям сына лесничего А. А. Семенова и питомца Александровского училища из крестьян А. Е. Котомкина.

Разрядом изящной словесности решено было помочь Семенову деньгами и книгами. А Котомкин по ходатайству Великого князя был переведен к себе на родину в Лапшевский резервный батальон, чему был несказанно рад.

Общее собрание Академии наук прошло очень организованно и полнолюдно. Впервые на нем присутствовали будущие академики – В. И. Вернадский (минералогия) и М. А. Дьяконов (русская история в юридическом аспекте). Президент смотрел в зал и был горд за Россию: как она богата интеллектуальными талантами! И как они самодостаточны, жизнедеятельны!..

«Что-то не вижу я в этих людях пониженного чувства жизни, – размышлял Константин Константинович. – Почему бы им не поспорить с графом Львом Толстым, уверяющим ныне, что для того, чтобы жить хорошо в этом мире, надо понимать его нереальность, что его внешняя форма есть одна из бесчисленных

случайностей… что этот мир сам по себе… не имеет смысла…»

Но что тогда означают интеллект собравшихся здесь людей, их открытия? Неужели они направлены на улучшение того, «что не имеет смысла»?

Вечер был дивным, по теплу – летним. Луна, тени, звезды. Ах, эти звезды – небесные глаза ночей! В этом году родился седьмой сонет из цикла «Сонеты к ночи». Вспомнил, как в апреле бродил ночью в Павловске вокруг дворца. «Пап? на стихотворном посту», – смеялась дочь Татьяна. А у него был готов сонет:

Какой восторг! Какая тишина!
Благоуханно ночи дуновенье;
И тайною истомой усышгенья
Природа сладостно напоена.
Тепло… Сияет кроткая луна…
И, очарованный, в благоговенье
Я весь объят расцветом обновленья,
И надо мною властвует весна.
Апрельской ночи полумрак волшебный
Тебя, мой стих мечтательно-хвалебный,
Из глубины души опять исторг.
Цветущую я созерцаю землю
И, восхищен, весне и ночи внемлю…
Какая тишина! Какой восторг!
(21 апреля 1906)

Утром они с Митей поехали в Петергоф на бензинном моторе, нанятом в Павловске. Ехали полтора часа. И по дороге поругались.

– Говорят, ты затеял читать какие-то подозрительные лекции в военном училище? – спросил брат.

– Ну, затеял не совсем я. У меня побывал бывший ректор Санкт-Петербургского университета профессор истории права Василий Иванович Сергеевич. Он воодушевился моим приглашением прочитать цикл лекций. Мы обговаривали, когда начать курс и насколько можно удлинить каждую лекцию.

– И о чем же эти лекции? – Дмитрий был явно раздражен.

– О законе, о правах монарха, о земельном вопросе и о социалистических учениях. Всего четыре раздела…

– И это в военном училище? Ты с ума сошел! Ты что, не знаешь, какое сейчас время? Вот скажи, почему ты не поехал в

Одессу? Там боятся, что тебя, как Сергея, взорвут. А в Варшаве генерал-губернатор Скалон боится тебя встречать и провожать, потому что его травят оппозиционеры!

– Но меня же не травят – это во-первых, а во-вторых – мы каждый раздел построим так, что он будет применим к нашей действительности.

– Ты забыл, что говорил князь Андроников о нашей действительности? Революция идет быстрыми шагами, и династию выгонят вон. Возможно, в августе. Как раз к твоему дню рождения.

Константин захохотал:

– А тебе не кажется, что всё, связанное с князем Андрониковым, весьма сомнительно? Надеюсь, династия доживет до моего пятидесятилетия. Мне-то будет лишь сорок восемь. Митя, ты лучше подумай о том, что молодость уходит. Няня Георгия говорит, что в мой день рождения погода будет холодная. Так и получается: погода плохая, обедня дома и всё запросто. По нынешним временам. А что касается лекций… Сейчас готовим лекции генерала Бородкина в Пажеском корпусе. Речь пойдет о сходстве и различии Французской революции с тем, что происходит у нас в последние два года…

– Ты – рыба, правильно тебя дразнили! Или – не от мира сего! Слава Богу, приехали.

Митя был черным от пыли и злым.

Константин давно привык ко всякого рода прозвищам и характеристикам: рыба, селедка, машина, педант, стоик, оптимист, странный, фантазер, либерал…

«Я все ношу в сердце, – говорил он сам себе, – оттого оно и болит».

Он видел и понимал, что происходит вокруг. И это понимание приводило в ужас, негодование и омерзение, что отразилось в дневниковых записях за 1906 год: «По всей России политические убийства, грабежи с захватом денег на цели революции, взрывы бомб, бесчинства. В Думе процветает та же революция и не слышно ни одного разумного слова».

С самого начала он понимал, что Дума – очаг революции. Это стало очевидно по возмутительному ответу думцев на прекрасную, как он считал, тронную речь Царя, когда думцы потребовали немедленной передачи крестьянам удельных монастырских и казенных земель. После этого Государь не пожелал принять депутацию от Государственной думы.

Константин заметил, что после утреннего кофе с детьми под арками его тянет, как загипнотизированного, к «Новому времени». Прочитав газету, он ходил по террасе в раздражении и

унынии. «Положение в России становится все хуже. Г. Дума не только не вносит примирения, но прямо толкает к революции. Гадко и противно читать речи, произносимые в Таврическом дворце: сколько лжи, недобросовестного отношения к своим нравственным обязанностям», – записал он в дневнике. С этими мыслями он шел к Павлу Егоровичу Кеппену, надеялся на его опытность, возраст, хотел получить трезвую оценку происходящего. Павел Егорович ничего хорошего не предвидел, считая, что Дума приведет Россию к еще большему кровопролитию, чем в Москве в 1905 году. По его мнению, восстание будет подавлено войсками и только тогда придет успокоение.

Пока успокоения не было. Забастовали в Петербурге и в его окрестностях пекари. Семья Великого князя получила хлеб из придворной пекарни. В Петербурге провалился Ново-Михайловский мост через Мойку, что взбудоражило население слухами о новых бомбистах (оказалось, причиной явилось неправильное ведение ремонтных работ). Столица жила как на вулкане. Константин раздраженно пишет: «Хороши думские порядки! Грабежи и убийства по всей России продолжаются, грабители и убийцы большей частью благополучно скрываются». Константин, несмотря на головную боль, пошел в бурю – западный ветер так и ревел – на Стрельнинскую пристань посмотреть на бушующие волны. Было много публики. Но не было прежней приветливости. Кое-кто намеренно даже не кланялся. Он, удрученный, вернулся во дворец и записал в дневнике:

...

«В обществе много говорят о решительной невозможности правительству, т. е. кабинету Горемыкина, [62] работать с данным составом Г. Думы. Поговаривают о желательности составить новое министерство из умеренных, но более приятных Думе, чем нынешнее министерство.

Люди положительные, монархического направления, жаждут разгона Г. Думы, диктатуры, крутых мер, казней,

насилия, террора в ответ на террор. Другие, и я к ним присоединяюсь, полагают, что Думу лучше не трогать и дать ей самой провалиться в общественном мнении. Злоба накипает, когда слышишь и читаешь о действиях мерзавцев вроде Аладьина, Седельникова [63] – представителей крайней левой партии в Думе. Возмутительно, что они считаются неуязвимыми».

* * *

Константин был в пути – ехал в старом, знакомом вагоне Сибирской железной дороги, в котором объезжал с инспекцией кадетские корпуса России с 1900 года, – когда узнал, что 9 июля 1906 года Царь подписал Манифест о роспуске Государственной думы и назначил Петра Аркадьевича Столыпина «первым министром с оставлением в должности министра внутренних дел». Это была радостная весть, и за ужином в Елизаветграде все офицеры ее обсуждали, вместе с тем опасаясь, не вызовет ли роспуск Думы волнений и беспорядков.

В Стрельне, куда Константин вернулся после инспекционной поездки по корпусам в Орле, Киеве, Елизаветграде, Митя рассказал некоторые подробности о закрытии Думы. Распущена она была ввиду добытых правительством сведений, что «в ней составился заговор, имевший целью овладеть всеми банками». [64] Опасались больших беспорядков и потому в Петербург ввели очень много войск. Но общественное спокойствие нарушено не было. «Если правительство заберет в руки твердую власть и не будет бездействовать, революцию удастся подавить», – убежденно и с облегчением говорил Митя.

А Константин думал свое: занялась бы Дума, которую так хорошо благословил в своей речи Ники, образованием и улучшением законов – работала бы до сих пор. Жаль, не было на нее Федора Михайловича Достоевского, знавшего все потаенные углы сознания русского человека. При нем, может быть, постеснялись бы плести пустопорожние речи…

К Константину приехал Преображенский капитан Старицкий. На нем не было лица, голос дрожал. За чайным столом он не мог

говорить, нервно дергал за угол салфетку.

Великий князь повел Старицкого в сад.

– Михаил Иванович, что-то случилось?

– Случилось. Преображенский полк был наряжен в Петергоф на смену измайловцам…

– И что же?

– Вдруг в первом батальоне раздались крики: «Не пойдем в Петергоф!», «Велят стрелять – не будем!», «Возвращайте нас на родину!».

– Но в чем основная причина недовольства?

– Глупость какая-то: хотели, чтоб в Петергоф их везли, а не вели.

– И повезли? – Константин не замечал, что уже не шел, а почти бежал, и за ним едва успевал полный Старицкий.

– Нет, дошли благополучно. Разместились в уланских и конно-гренадерских казармах.

– Неприятно, но не волнуйтесь. Люди вашей четвертой роты не замешаны в брожениях. Я поговорю с Сергеем Сергеевичем Озеровым, командующим дивизией.

Великий князь, бывший командир Преображенского полка, переживал шок. Среди преображенцев бунт! Среди самых близких Царю, самых надежных солдат! Кому и чему верить?! В России эпидемия анархии! Он ушел к себе в кабинет, заперся и плакал от горя и стыда. Прав Старицкий: пропал Преображенский, первый в России полк. Жене и детям он ничего не сказал.

Когда все ушли спать, он связался с генерал-майором Озеровым и узнал, что солдаты 1-го батальона собрались 9 июня на митинг, чтобы подготовить петицию с требованиями и подать ее Царю. Их пытались успокоить, но в ответ неслись угрозы и ругательства. Озерову дано было указание к резким насильственным мерам не прибегать, чтобы брожение не перебросилось на другие гвардейские полки.

Озеров всё взял на себя. Он говорил с солдатами без офицеров. Преображенцы передали ему свою петицию (составленную явно не без посторонней помощи), в которой насущные солдатские нужды – не нести полицейскую службу, ввести для отпускников бесплатный проезд по железной дороге, в срок увольнять отслуживших, улучшить питание и т. д. – смешались с политическими требованиями: «ненаказуемость за политические убеждения», «выписывать для читальни передовые газеты и журналы», и уж совсем нелепыми – «отменить принудительное отдание чести нижними чинами при встречах» и «разрешить свободное увольнение со двора» (что, по мнению военных историков, фактически разрушит армию в 1917 году).

Озеров, сам из преображенцев, служивший в полку с юности, терпеливо и долго обсуждал с солдатами каждый пункт, пообещал передать петицию Царю и заверил, что никто наказан не будет. Солдаты подняли его на «ура» и успокоились.

Константину столь наивными показались отдельные требования солдат, что он позволил и себе немного успокоиться: их можно понять, общая обстановка в стране собьет с толку кого угодно.

Тем не менее причины для беспокойства продолжали нарастать. По дороге в Красное Село, куда брат Дмитрий возил его сыновей обедать – Лиза позволила, – он встретил Великого князя Николая Николаевича в коляске, а следом шли полки лейб-гвардии Уланский, лейб-гвардии Гренадерский и лейб-гвардии Стрелковый. Оказалось, что им предстояло «усмирять преображенцев» в Петергофе.

Константин недоумевал – обещания Озерова преображенцам вполне были выполнимы, – пока не узнал дальнейшего стремительного развития событий. Один из солдат 1-го батальона передал копию петиции в большевистскую газету, где на другой день она появилась на первой странице со всеми подробностями случившегося и тут же была перепечатана другими газетами того же толка. Весть о мятеже преображенцев вызвала в столице панику, и начался скандал.

Первый батальон лейб-гвардии Преображенского полка лишили прав гвардии и переименовали в Особый пехотный. Сначала Царь имел намерение расформировать батальон, не желая наказывать преображенцев, но уступил настойчивости генералов, убеждавших, что этого не следует делать: если солдаты заражены преступными идеями, то их опасно переводить в другие воинские части. Решено было сослать батальон в полном составе в село Медведь Новгородской губернии и провести судебное расследование.

Как-то ночью в палаточный лагерь, где прежде располагался 1-й батальон, пришел неизвестный человек и стал спрашивать унтер-офицера 3-й роты батальона. Дневальный впустил его в одну из палаток и позвал солдат, которые тут же схватили незнакомца и обыскали. Нашли прокламации, список солдат различных гвардейских полков и записку за подписью члена Думы А. Ф. Аладьина. Вторую записку пришедший съел. Судя по всему, этот человек не знал, что 1-й батальон, обезоруженный, под конвоем сослан в село Медведь на судебное следствие.

«Какое горе! Какой срам!» – записывал в дневник Константин и удивлялся, что за обедом в приморском доме Царя не было сказано ни одного слова о событиях в Преображенском полку.

Словно Ники перестал считать себя преображенцем!

Однако Царь открыто показал свое недовольство полком. Константину запретил ездить к преображенцам на церковный парад. Сам не надел Преображенский мундир. После отбоя, на последнем маневре, когда благодарил полки за службу, мимо преображенцев проехал молча. Отменены были даже поздравления Государю и букет Царице от провинившегося полка.

И опять Константин Константинович, как и в истории с Ходынкой, не мог смирить своих «еретических» мыслей. Он считал, что Государь ведет себя как барышня, которая уверена, что в нее все влюблены. Откуда такая уверенность, что солдатский народ так его любит и понимает тонкости государевой обиды? Солдатский народ знает одно: провинился – наказан. А пересаливать, добивать – значит будить в человеке зверя.

Константин давно замечал в Николае эту опасную уверенность во всеобщей любви русского народа к Царю.

* * *

В селе Медведь в октябре наконец закончился суд над нижними чинами 1-го батальона преображенцев. Дело, как считал К. Р., решили раздуть, чтобы оправдать уже принятые меры. Прокурор сначала обвинял солдат в «неповиновении», а потом вдруг перескочил к обвинению в «явном восстании». Пятерых приговорили к каторге («А Совет рабочих депутатов приговорили всего лишь к лишению прав и ссылке на поселение. Каково соответствие!» – возмущенно говорил Константин Мите, не зная еще, что все эти события впрямую коснутся его), свыше 150 человек были отправлены на два года в дисциплинарный батальон, командующий дивизией генерал-майор Озеров был уволен, а «государев» батальон – расформирован.

Капитан Соловьев, офицер Киевского военного училища, раненный во время Русско-японской войны, поместил в «Новом времени» свою статью «Слово правды». Он досконально описал события в Преображенском полку и суд в селе Медведь, в продолжение которого не пропустил ни одного заседания. По его мнению, обозначилась истинная суть событий. Солдаты невиновны в государственном преступлении. Ничего политического в этом деле не было. Прокурор действовал под давлением гвардейского начальства и в обычном дисциплинарном проступке (горох не хотели есть и честь отдавать…) усмотрел едва ли не восстание 1905 года. Так

говорилось в статье капитана Соловьева.

Великий князь Николай Николаевич, назначенный с июня 1905 года главнокомандующим войсками гвардии Санкт-петербургского военного округа и председателем Совета государственной обороны, был вне себя. Он навел справки, кто этот капитан Соловьев и откуда, и обнаружил его в Главном управлении Константина Константиновича.

«Все поблажки и либерализм исходят от Константина!» – заявил он Царю, а от военного министра потребовал предать Соловьева суду или исключить из службы.

Всю ночь Константина Константиновича мучила мысль: написать Ники письмо или не писать, или выслать ему статью Соловьева и просить о смягчении наказания преображенцам…

Утром он чувствовал себя совершенно разбитым и больным. Зашел очень постаревший генерал Павел Егорович Кеппен.

– Я колеблюсь и малодушно не могу ни на что решиться, – признался ему Константин, рассказав о своих ночных терзаниях.

Павел Егорович, вглядевшись в красивое лицо Великого князя, положил сухую, в старческих пятнах руку ему на плечо и впервые назвал по имени:

– Ничего, Костя. Ничего…

Не доведется Великому князю прочесть воспоминания последнего коменданта Императорского Зимнего дворца генерал-майора Владимира Николаевича Воейкова (ближе стоявшего к событиям), где он свидетельствует, что мощная революционная пропаганда в ходе революции 1905 года «была направлена на те гвардейские части, в которых Его Величество, будучи Наследником, нес строевую службу, а именно на лейб-гвардии Преображенский, лейб-гвардии Гусарский Его Величества и на 1-ю батарею гвардейской конной артиллерии». Возможно, о многом К. Р., знай это, судил бы по-иному.

Жуткий 1906 год заканчивался. Его события словно поглотили многое из того, что имело вид, вкус, звук, запах, очарование, чем можно было пленяться: купание с сыновьями в Царской Славянке, письма красавицы-дочери, рождение Верочки, парки Стрельны и Павловска, молитвы перед усыпальницей отца, разговоры по душам с ослепшей матерью, день рождения Иоанчика, чтение прекрасных стихов, цветы от Дагмары…

Он рассеянно подошел к окну и вдруг увидел всю павловскую окрестность в полном зимнем уборе. За сутки высыпало много мягкого и, казалось, теплого, уютного снега, облепившего деревья, кусты. Они стояли в папахах, кепках, картузах, шляпах. А в начале аллеи стоял кто-то, похожий на него самого, в немецком мундире Прусского полка, шефом которого Константина

назначил германский Император. Когда-то он снялся в этом мундире, а фотографию подарил няне Ваве, написав на ней: «Твой питомец в виде супостата».

Хорошо вспоминать такие милые вещи, хорошо представлять бесшумную езду на полозьях по застланной белым чистой земле…

Падай, падай снег пушистый,
Расстилайся пеленой.
Падай, легкий, падай, чистый,
Землю зябнущую крой…
И беззвучной, и бесцветной,
И безжизненной порой
Дай природе безответной
Мир, и отдых, и покой;
Чтоб забыться ей, зимою
Усыпленной до весны,
Чтобы грезились тобою
Ей навеянные сны;
Чтоб копилася в ней сила
На иное бытие,
И с весною воскресилась
Тайна творчества ее.

(«Снег», 1906–1907) Легкие строки стихотворения будут любить младшие дети, а Татьяна станет подбирать к ним мелодию и наигрывать отцу.

ЧАСТЬ IV

ПРАЗДНИКИ

1907 год – затяжное эхо двух тяжелых предыдущих лет. И август с его днем рождения – своеобразный последний лист календаря. Когда-то в дни своего рождения он светло молился, прося Бога помочь ему быть честным человеком или не хуже, чем был до сих пор. В этот раз «с глаз как бы сползла пелена: внешняя жизнь предстает в неприглядном свете. Внутренняя жизнь души кажется не менее несовершенной. Существование теряет целенаправленность, сбивается с ритма, его начинает захлестывать хаос. Уныние, если не отчаяние, начинает завладевать душевным строем. Даже обращение к Господу – скорее, не молитва, а вопль измученного и изверившегося существа», – как пишет исследователь жизни Великого князя В. В. Петроченков.

В беспощадном самоуничижении Константин Константинович не имел себе равных. Непонятно, как бы он жил без данного ему поэтического дара – спасательного круга его жизни. Вот уж поистине – выпрямление души, подобное молитве! «… Когда лукавые сомненья/Не подрывают веры в нас, / Когда соблазна горький час / И неизбежные паденья / Нам не преграда на пути, / И мы, восстав, прах отряхая, / К вратам неведомого края / Готовы бодро вновь идти…» – писал он в эти мучительные, «отчетные» августовские дни, преломляя в себе уныние.

Пишутся стихи, возникает и утверждается мысль о написании драмы Страстей Христовых. Да и общественная жизнь, судя по письмам К. Р. другу Анатолию Федоровичу Кони, будоражит.

…

Павловск, 17 февраля 1907.

«… как не сочувствовать Вашей мысли о чествовании столетия со дня рождения покойного нашего друга И. А. Гончарова торжественным заседанием в Академии наук. Было бы очень хорошо, если бы Вы взяли на себя труд произнесения речи в память Ивана Александровича. Ввиду нескромностей, которые, вопреки определенной воле покойного, позволил себе г. Военский, [65] предав

гласности некоторые письма И. А. и выставив его в непривлекательном и ложном свете, полагаю, что его друзьям и почитателям необходимо всеми мерами восстановить истину; если для этого понадобится почерпать эти и другие подробности из находящихся в нашем распоряжении писем И. А., то, полагаю, и сам дорогой наш покойный одобрил бы такое нарушение его завета, направленное на его защиту. Знакомые Вам письма И. А. ко мне по первому востребованию будут Вам доставлены. Целиком они не могут быть напечатаны ни теперь, ни даже через много лет… Мне кажется, извлечениями из писем можно и даже должно пользоваться, но лишь поскольку они послужат опровержению недобросовестных обвинений покойного, но и в этом пользовании надо соблюдать всевозможную осторожность.

… Речь Н. А. Котляревского [66] об А. К. Толстом имела очень большой успех, большая зала Академии с трудом вмещала нахлынувшую публику…

Скоро Вы за границей будете с удвоенным нетерпением ожидать известий об открывающейся через 3 дня Г. Думе, и Ваше больное сердце забьется еще тревожнее и мучительнее. Дай Бог, чтобы ему было суждено биться не только болезненно, но и радостно».

27 апреля 1907.

«… Поздравляю Вас с праздниками. Думаю, что невесело было Вам встречать Пасху на чужбине… Перерыв занятий или, вернее, разглагольствований, и притом часто далеко не

добросовестных или прямо изменческих и преступных в нелепой нашей Г. Думе „народного невежества“, должен был и Вам доставить некоторый отдых… Благодаря отсутствию вестей о Думе, а потому и настроение духа менее подвергалось испытанию, если, впрочем, не считать безобразий, которые и при молчании Думы, но, несомненно не без содействия ее представителей, продолжают неустанно твориться.

Письма Ивана Александровича поджидают Вашего возвращения на Север. Как не согласиться с оценкой поэтического чутья, которую Вы делаете, говоря о большинстве членов Разряда изящной словесности… Я глубоко убежден, что если Буренин и виновен в нападках на личность Надсона, то т. к. писал не биографию, а критические очерки, и тысячу раз прав, отрицая в нем поэтичность. Укажу на К. К. Арсеньева, не умеющего ценить по достоинству тонкой и неподражаемой поэзии Фета…

Я не был на чествовании покойного Стасова. Еще 30 лет назад, безусым юношей, я прочел одну из статей Стасова об искусстве и помню, что пренебрежительный взгляд на Рафаэля больно оскорбил меня, как кощунственная выходка; суждение же Стасова о Пушкине как об «ничтожестве», Вами приводимое со слов Тургенева, привело меня в такое негодование, что я умышленно не присутствовал вчера в Академии на публичном чествовании нашего покойного.

Насколько переменчивы были

литературные мнения Стасова, достаточно явствует из следующего случая со мною: издав первую книжку своих стихотворений, я послал экземпляр ее и Стасову; он ответил мне письмом, в котором предостерегал от lamentoso или dolorose [67] … Прошло более 10-и лет, и тот же Стасов пишет мне в самых восторженных выражениях о моем стихотворении «Я баловень судьбы», и пишет, что Публичной библиотеке необходимо иметь черновой набросок стихов для хранения в отделе автографов. Я поблагодарил за честь и напомнил, что стихотворение напечатано в книжке, имеющейся у него, Стасова, уже давно. Считаю нескромным давать свои наброски в книгохранилища…»

11 сентября 1907. «… Должно быть, мы скоро соберемся в Академии для ознакомления с рецензиями сочинений, присланных на Пушкинскую премию. Только вчера приступил к разбору доставшегося на мою долю».

5 ноября 1907. «… Посмотрим, что будет дальше; обстоятельства, сопровождавшие открытие Гос. Думы третьего созыва, представляются мне утешительными и положительно невероятными после того, что пережито Россией за последние два-три года».

27 ноября 1907.

«… Было бы любопытно узнать мнение о „Жар-Птице“ Бальмонта. В иных стихах есть сказочная прелесть и таинственность; но эти положительные стороны „Жар-Птицы“ испорчены недостатком

искренности автора, деланностью, искусственностью…

Ваша мысль о предложении Академии дать этой книге почетный отзыв возбуждает во мне сомнение; если бы Разряд изящной словесности и признал «Жар-Птицу» достойной такого отзыва, то ради справедливости должен бы был одновременно высказать негодование и отвращение по поводу стихов Бальмонта, помещенных в книжках Красного Знамени. Некоторые из этих «Песней мстителя» (какое почтенное в устах истинного поэта заглавие!) помечены 21 июня 1906 г., следовательно, Бальмонт еще в прошлом году блуждал по «извилистым и порою грязным», как Вы выражаетесь, путям, желая вступить на свою настоящую дорогу национального, «народного поэта».

… Обратите внимание на рассказ М. Горького «Русский царь»…»

* * *

Константин Константинович хотел похвастаться в письме Анатолию Федоровичу семейным событием: приведением к присяге старших сыновей Иоанна и Константина. Это событие, которому Великий князь придавал особое значение, должно было состояться в конце 1907 года, в ноябре. Но заболела Императрица Александра Федоровна, и принятие присяги перенесли на январь.

Великий князь огорчился, потому что именно 26 ноября, в Георгиевский праздник, принимали присягу его отец и он сам. Как бы хорошо и сыновьям следовать этой традиции! Ну ничего, Георгиевский праздник не отменялся и, как всегда, был великолепен. В Зимнем состоялся парад. После парада Государь и Великие князья поехали в Народный дом на Петербургской стороне, там был дан завтрак для Георгиевских кавалеров нижних чинов. Во всех комнатах дома стояли столы, полные закусок. Царь выпил чарку за здоровье героев, а принц Ольденбургский,

который стоял во главе Народного дома, – за Государя. Вечером давался обед для Георгиевских кавалеров – офицеров. Никогда не пропускал Константин этих торжественных застолий, где чувствовалось братство людей, заслуживших честь носить высокую награду.

Подошел и день приведения сыновей, достигших совершеннолетия, к присяге. Утром мальчики, уже юноши, предстали перед родителями, выслушали добрые и серьезные слова напутствия и получили в подарок эмалевые запонки с бриллиантами. Отец достал два изящных футляра:

– Это вам подарок от бабушки.

Великий князь Гавриил Константинович вспоминал: «Отец передал нам от имени бабушки два кольца, которые носил наш дедушка. Я получил кольцо с розовым сапфиром, на внутренней стороне его было выгравировано: „Помни Анмама, служи, как Анпапа“».

Потом все поехали к Царскому дворцу. Константин Константинович видел, как волнуются сыновья, но не успокаивал их, зная, что это волнение благотворное. В церковной зале уже были выстроены взводы военно-учебных заведений и гвардейских частей. Парадом командовал Великий князь Николай Николаевич. Говорили, что на него готовят покушение революционеры, возможно, потому он был не в духе. И Константин подумал, что даже в такой день Николаша не умеет с собой совладать. Он поискал глазами жену – она с утра себя неважно чувствовала, – но нет, стоит очень красивая, в русском платье и кокошнике, среди Великих княгинь. Рядом с нею Татьяна, девочка тоже по-своему волнуется: она первый раз участвовала в выходе и первый раз надела русское платье с Екатерининской лентой и бриллиантовой звездой. Приехала и Дагмара.

Сейчас Иоанчик и Гаврилушка проследуют между взводами со знаменами и штандартами в церковном зале. После литургии они пойдут к аналою с крестом и Евангелием, чтобы дать присягу верности царствующему Государю и Отечеству и в соблюдении права наследства и фамильного распорядка.

Потом в церковь внесут штандарты лейб-гвардии Гусарского и лейб-гвардии Конного полков, и под ними сыновья дадут офицерскую присягу на верность Государю и Отечеству.

Константин Константинович, опустив глаза, слушал, как дрожат их голоса, особенно Иоанчика.

Но вот уже их поздравляют Царь и Царица, и они подписывают присяжные листы, лежащие рядом с золотой чернильницей.

«Как бы не перепутал Извольский листы двум Константиновичам», – мелькнуло в голове отца.

Как потом выяснилось, конечно, перепутал, дав Гаврилушке два листа воинской присяги, а Иоанну достались два листа присяги члена Императорского Дома.

В тот же день, после выхода на Иордань, Николай II поздравил молодых Константиновичей с флигель-адъютантами. Они были счастливы и уже видели себя в аксельбантах и с вензелями. Поглощенные торжественным событием, старшие братья все же взглянули на хоры церкви, где стояли младшие братья с няней Атей и волновались за них.

Когда все вернулись домой, новоиспеченные флигель-адъютанты долго обсуждали предстоящую свитскую службу. А Константин подумал о том, что Александр III сильно сократил свиту и ему, и брату Мите приходилось дежурить каждую неделю. У нынешнего Царя флигель-адъютантов так много, что едва ли сыновьям выпадет раз в месяц быть при особе Его Величества.

И вдруг Иоанчик достал погоны с флигель-адъютантскими вензелями:

– Я заказал их заранее, в чаянии, что Государь нас отметит. И дарю их тебе, Гаврилушка.

Наступило молчание.

– Недопустимый, самонадеянный поступок. Я недоволен тобой, Иоанн, – сказал Константин Константинович. И вдруг понял, что счастлив.

Разве не счастье – представлять Царю свою мальчишескую гвардию, вполне достойную, умную, воспитанную. Когда-то он показывал в Павловске комнаты старших и младших детей, Николай его придержал и тихо сказал:

– У тебя все мальчики, а у меня все девочки. Распорядиться бы природе посоразмерней…

– Ах, Ники, главное – нашлось бы нам место в их душах…

Как хорошо идти на лыжах с дочерью и сыном по берегу Славянки и говорить о их делах свободно, без игры самолюбий, подозрений, обид: в какой полк поступить, где жить – дома или вдали от него, как вести себя в полку, быть с офицерами на «вы» или на «ты», нести службу наравне или пользоваться привилегиями.

Как хорошо давать бал для дочери и ее подруги Великой княгини Марии Павловны, той самой Мари, которую вместе с ее братом Дмитрием воспитывала Элла. И вот теперь большой бал в Павловске. Гости из Петербурга и Царского Села. Константин идет к Императрице с букетом цветов. Гаврилушка бал открывает вальсом – танцует с Анной Танеевой (в будущем – Вырубовой). А

сам Константин Константинович с женой Елизаветой Маврикиевной танцевал кадриль. Чего не сделаешь для милой дочери, для успеха ее бала! Ярко горели свечи – в Павловских залах электричества не было, а в комнатах сохранялся таинственный полумрак вечных любовных волнений. Гости отмечали, как хороша его дочь Татьяна. Константин Константинович и сам любовался ею, как, впрочем, и всей молодежью, и страстно желал счастья для России…

Все говорили, что Павловск приносит удачу. Марии Павловне, несомненно, принес: ей сделал предложение герцог Вильгельм, сын шведского Короля Густава V. И Большой Царскосельский дворец вскоре сиял огнями, поражал красотой и богатством свадебного празднества: роскошные туалеты дам, драгоценности, парадные мундиры мужчин. После 1905 года это было первое такое торжество во дворце у Царя.

Перед тем как сесть за свадебный стол, возникло некое замешательство. Шведский пастор, приехавший венчать герцога и его невесту по лютеранскому обряду, не говорил ни на одном языке, кроме родного.

– Костя, выручай. Придумай какой-нибудь язык для общения с ним – ты же академик, – просил отец невесты Великий князь Павел Александрович. – За столом тебе сидеть рядом с ним, так все решили – другого выхода нет.

Константин Константинович весь вечер говорил с пастором на латыни. Потом свадебное торжество под названием «семейный обед» с иностранными гостями переместилось в Павловск. Обед проходил в Большой зале. Играли балалаечники любимого семьей Измайловского полка. Мария Павловна танцевала русскую, а сам Царь – польку. Такое большое общество видело его танцующим, пожалуй, в последний раз.

(Заметим в скобках, что в Павловске на «Татьянином балу», как почти всегда на балах, объявилась и роковая героиня. Была она в голубом платье и много смеялась. Гаврилушка пал жертвой этого платья и смеха. Но хорошо, что отец своих «мальчиков держал строго», – чувство не превратилось в пламень. А роковая графиня Марина Гейден, выйдя замуж за графа Мантейфеля, вскоре с ним рассталась, потому что Мантейфель убил на дуэли графа Николая Сумарокова-Эльстон (брата Феликса Юсупова), который, как оказалось, за замужней графиней ухаживал. Привыкший ко многому, Петербург был ошеломлен едва ли не меньше, чем когда-то дуэлью Пушкина. И никто не понимал, зачем судьба дает талант, молодость, богатство и красоту – и тут же приглашает смерть…)

* * *

Не успел отгреметь свадебный бал, как пришла пора готовиться К. Р. к серебряному дню и году свадьбы – 14 апреля 1909 года. Константин Константинович и Елизавета Маврикиевна прожили вместе 25 лет и родили шестерых сыновей и троих дочерей.

В сущности, К. Р. был упоен этими праздниками семейного дружества. Кажется, наступил момент, когда круг его большого дома может дать ему всё – любовь, умную беседу и взгляд, обращенный не только в прошлое, но и к будущему, к новому. В его упоении своей настоящей жизнью было столько глубокой радости зрелого пятидесятилетнего человека, что он даже мучился невыразимой прелестью этого зримого, осязаемого, пленяющего и прельщающего мира.

Празднование серебряного юбилея проходило сначала в Павловске, потом в столичном Мраморном дворце. За день до торжества великокняжеский двор Константина Константиновича начал принимать гостей. Сначала встретили на Царской ветке брата Елизаветы Маврикиевны Эрнеста Саксен-Альтенбургского. Его сопровождали флигель-адъютант Свечин и альтенбургский гофмаршал. Спешить начали уже на станции, чтобы успеть на богослужение в лютеранскую церковь Павловска, поскольку Елизавета Маврикиевна так и не перешла в православие, оставшись до конца жизни лютеранкой. Константин Константинович по своей привычке никогда никуда не спешил – и всё успевал. «Ну, если я до начала нашего праздника съездил в Тверь, Ярославль, Вольск и Воронеж и успел к сегодняшнему дню, то в церковь не успеть было бы странно», – говорил он жене.

После завтрака приехал Великий князь Андрей Владимирович и от всей Царской семьи преподнес серебряные тарелки, на обратной стороне каждой из них было выгравировано имя каждого члена Царствующего Дома.

На обед приехали Их Величества Император Николай II и Императрица Александра Федоровна. Они благословили юбиляров и преподнесли брошь с аквамарином в бриллиантах. Во время обеда играли Измайловские балалаечники, а после обеда Татьяна и братья устроили самодеятельный концерт: дули в чайники с водой и вполне узнаваемо сыграли несколько музыкальных вещей.

Всё это было накануне. А в самый день серебряной свадьбы Гаврилушка и Татьяна сели за фортепиано и встретили родителей свадебным маршем из оперы Вагнера «Лоэнгрин». Потом началось преподнесение подарков. Дети запечатлели себя в профиль на

серебре – старался ювелир Фаберже – и «подарили себя» родителям. Константин Константинович вставил в серебряную рамку фотографические изображения жены, себя, сыновей, дочерей, трех дворцов и милого Осташева – все места, где 25 лет протекала их с Лизой жизнь. А Елизавета Маврикиевна отдарилась миниатюрами – своей и детей.

Казус произошел с общим подарком от бабушки Александры Иосифовны, брата Мити, сестры Оли и сестры Веры. Как вспоминал Великий князь Гавриил Константинович, «предполагалось подарить серебряный русский самовар, но получилась вместо русского самовара заморская „бульетка“ для чая». Как это произошло – никто объяснить не мог…

Дарение закончилось помпезно: ювелир Фаберже преподнес Константину Константиновичу и Елизавете Маврикиевне по платиновому кольцу, которые они носили до конца своей жизни.

Наутро, после завтрака, вся семья в парадной форме отправилась в Мраморный дворец. В залах второго этажа, окна которого выходили на Неву, собралось очень много народу-и депутации, и отдельные поздравители. Преображенцы встретили Великого князя и Великую княгиню скульптурным бюстом Петра Первого и букетом алых роз. Звучали юбилейные речи и поздравления, в которых было больше искренности, нежели торжественности. Отмечали редкую человечность, обаяние, притягательную силу юбиляра. Его любовь к своей семье, к Дому Романовых, к России и ко всему русскому, к народу, православной церкви, армии, включая офицеров, солдат, юнкеров, кадет, к русской культуре и природе – ко всему тому, чем проникнуты стихи поэта К. Р.

Много добрых слов было сказано Елизавете Маврикиевне как жене, матери, благотворительной деятельнице, обладательнице замечательного дара – видеть прежде всего хорошее и настоящее в людях и всегда это выявлять.

«Прием этот запомнился на всю жизнь: родителям было оказано столько внимания, они увидели к себе столько любви. Тут можно было воочию убедиться, какой популярностью и каким уважением они пользовались!» Эти слова Великий князь Гавриил Константинович писал в Париже, в эмиграции, в преклонном возрасте, а память, как известно, сохраняет события, особенно тронувшие сердце.

В заключение серебряного празднества был дан детский спектакль, в котором играли 50 детей. Пьеса называлась «Свадьба солнца и весны», а среди ее персонажей были и яблоня, и солнце, и серебряный дождь, и ветер, и сирень, и жуки, и ласточки, и снежинки, и головастики, и разные цветы. На спектакль

пригласили Государя, Государыню, Наследника и Великих княжон. Дети волновались и всё спрашивали: «Приедут ли они все?» Олег важно отвечал, что приедут обязательно, потому что Государь любит разные представления. Спектакль прошел с успехом. В финале все собрались в галерее, и началось шествие яблонь, жуков, дождя, птиц, цветов… – всех героев пьесы, которые, проходя мимо Константина Константиновича и Елизаветы Маврикиевны, бросали к их ногам цветы.

Сразу после торжеств Константин Константинович отправлялся в инспекционную поездку по корпусам и училищам. На этот раз его ждали Сибирь, Дальний Восток, Омск, Иркутск и Хабаровск.

Прощаясь с женой на большом подъезде, он вдруг спросил:

– Тебе не показалось, что гостям было жалко, что сказка о весне и солнце закончилась? И детям и взрослым было грустно с ней расставаться…

– Показалось. Очень показалось. – Лиза вдруг заплакала. – Мы проживем еще двадцать пять лет?

– Как пить дать…

* * *

Он ехал по Транссибирской дороге в своем командировочном вагоне, сам командированный, и не переводил «Ифигению в Тавриде» Гёте, как было им задумано, а вспоминал их с Лизой юбилей. В душе было спокойно, умиротворенно. Как хорошо сложилась его семья… Но мог ли он это предугадать, когда, полный сомнений, с трудом пытался создать лад в душе, думая о своей будущей семье?

Казалось, так был влюблен в Елену Шереметеву! Но церковь бы не одобрила его брак с двоюродной сестрой Еленой Григорьевной. А он сочинял романсы для нее. Она так и осталась в его любовной памяти музыкальным нежным звуком…

К этому времени мать подыскала ему невесту Мэри Ганноверскую. И это была опять двоюродная сестра, к тому же на восемь лет старше Константина. И он, такой уступчивый и мягкий, написал матери жесткое письмо:

…

«1. Я не позволю себе против указаний Православной церкви

жениться на двоюродной сестре.

2. Я не хочу жениться на женщине, у которой уже теперь седые волосы.

3. Мое сердце занято».

У тридцатидвухлетней Мэри Ганноверской уже была соперница, которую выбрал сам Константин, – Елизавета Альтенбургская. В дневнике его появилось признание: «Елизавета или мечта о ней не выходят из головы».

Поскольку Константин не знал, что питает его чувство – «Елизавета или мечта о ней», он совершенно измучился колебаниями и сомнениями. Казалось, невеста его любит больше, чем он ее. На его же взгляд, это жених должен сгорать от любви, томиться, бледнеть и гаснуть, а он видит в Елизавете сестру и нежен с ней, как с сестрой. Пребывание в Альтенбурге, в доме невесты, становилось для него тяжелым сном. «Да люблю ли я ее?» – задавался он пугающим его вопросом. Потом наступали мгновения, когда казалось, что он любит ее больше всего на свете. Сомневаясь и мучаясь, он обращался с молитвой к Богу, но Бог, видимо, эту ношу сомнений доверил нести жениху самому. Тогда Константин написал письмо отцу: «Расставаться и не видать друг друга до марта месяца будет тяжело; но я хочу, чтобы моя будущая жена сразу привыкла к мысли, что я, во-первых, принадлежу служению России, а потом уж ей. Она понимает это и не жалуется на меня. Теперь моя главная забота – поскорее научить невесту русскому языку».

«Да, я был слишком, до смешного деловит для большой любви. Откуда же взяться страсти и восторгам? И эти сомнения: то я люблю невесту, то не люблю… Я человек сомнений, и в этом причина многих моих несчастий. Только чувство долга может прийти мне на помощь и сдвинуть с места. Какое счастье, что это и произошло 25 лет назад. Но Лиза… Девочка, приехавшая из крохотного герцогства в 1324 кв. км с 206 тысячами жителей, занимающихся производством пуговиц, шляп, перчаток, с двумя гимназиями, семинарией и сельскохозяйственной школой, – что ей пришлось пережить в огромном, блестящем, чопорном Петербурге? Холодными, верно, ей казались мои великолепные северные дворцы и я – „ученый муж“ с характером педанта! Что могло бы остаться в ее сердце от тех времен?! Но она добрая и смелая», – записал Великий князь.

Вспомнилось ему, как на одном из великосветских приемов безыскусно и просто она сказала о нем, своем муже: «Ах, какой он человек!» Сказала слишком лично, что не принято делать в свете.

* * *

Уже после командировки, с размягченным сердцем и благодарной душой, Константин поехал в Альтенбург, к родителям Лизы, для продолжения серебряного юбилея. Там остались довольны тем, что всегда любезный, изысканный, застегнутый на все пуговицы Великий русский князь был как никогда добросердечен.

В Германии он закончил перевод «Ифигения в Тавриде». «Узнавание» Гёте стало для него как поэта и переводчика настоящим наслаждением. Он понял, что великий поэт, раскрываясь только в совокупности своих творений, проявляет себя и в самой маленькой вещи.

К концу лета – а 10 августа у Константина Константиновича день рождения – он едет «в мой милый край», подмосковное Осташево. В это же время, окруженный провожающими – конвоем оренбургских казаков и хором оренбургских трубачей, – в салон-вагоне, к которому прикреплена платформа с автомобилем, в Осташево спешит Гавриил. Он ехал «с кумыса», где лечился от донимавших его бронхитов и воспалений легких. Приехал и сын Костя. Он уже был произведен в офицеры и вышел в любимый отцовский полк – Измайловский. В Осташево прибыли также Олег и Игорь, много друзей и знакомых…

«Но пора и честь знать, – говорил Павел Егорович Кеппен. – Гуляли весь август, пора в Петербург». В конце месяца уезжают Олег и Игорь и с ними генерал Н. Н. Ермолинский. Великий князь пишет из Осташева своему управляющему Роберту Юльевичу Минкельде:

…

«Если приедете, то, пожалуйста, привезите:

1) книги для здешней школы, о которых говорила вам Вел. княгиня;

2) по одному экземпляру моих стихотворений и перевода «Гамлета» для моей Осташевской библиотеки;

3) толстую тетрадь с 20 (двадцатью) линейками на странице в картонной твердой обложке…»

«Теперь пишу замечания о виденном в моих заведениях с

декабря прошлого года для приказа по военно-учебным заведениям. Это кропотливая и скучная работа», – рассказывает он в письме сестре Оле.

* * *

Праздники в этом году не хотели заканчиваться. 2 ноября 1909 года исполнялось 25 лет теперь уже известным и уважаемым «Измайловским досугам». «Лиру и меч мы сплетали цветами / И не гадали о том, / Как наш алтарь разгорится с годами / Светлым и жарким огнем», – поздравлял друзей бывший измайловец и поэт К. Р.

Муза не совсем его покидала во все эти счастливые дни. Он сочинил элегию «Ландыши», шестой сонет «Кадету» из цикла «Солдатские сонеты» и заключительное стихотворение к циклу «Сонеты к ночи» – «О, лунная ночная красота…»:

О, лунная ночная красота,
Я пред тобой опять благоговею.
Пред тишиной и кротостью твоею
Опять немеют грешные уста,
Так непорочна эта чистота,
Так девственна, что омовенный ею
Восторгом я томлюсь и пламенею.
Как эта ночь, будь, о, душа, чиста!..
(Осташево, 17 августа 1909)

И, конечно, значительную частицу своего «я» уже привычно передоверял Анатолию Федоровичу Кони, который отчасти заменил ему Ивана Александровича Гончарова, и их письма друг другу становились необходимостью души:

…

17 февраля 1909.
«… Меня очень обрадовало, что Вы с Онегиным [68] знакомы, что он Вам пишет и, по-видимому, склонен поддаться Вашему влиянию. И вот я

возлагаю большие надежды на Вас… Он почти intraitable в вопросах о приобретении Академией его богатого собрания Пушкина. Мы вскоре соберемся опять в комиссии по устройству Пушкинского Дома. Кончаю разбор Бунина…»

17 июля 1909. «… Отрадным впечатлением веет от письма архиепископа Антония авторам сборника „Вехи“ [69] ».

18 сентября 1909.

«… Имею вновь вышедший 2-й том писем Вл. С. Соловьева, в числе которых с удовольствием нашел и обращенные к Вам. У В. Соловьева пленяет постоянное стремление к добру и правде, неизменное благоволение к людям и незлобивость с бодростью духа и юмором.
Мой перевод Гётевой «Ифигении» окончен и подвергается теперь последней отделке».

13 октября 1909. «… Милый Анатолий Федорович… Вы, может быть, уже слышали, что выпущенная только 25 сентября в числе 15 т. экземпляров академическая книжка русского поэта Кольцова уже успела разойтись без остатка и постановлено выпустить второе ее издание, исправленное и даже дополненное, на этот раз в количестве 20 т. экземпляров. Это отрадное явление в обновленной издательской деятельности Академии. Читались Записки о Златовратском и Бунине. К. К. Арсеньев не возвращался к вопросу о поощрении Бор. Зайцева…»

24 октября 1909. «… Наконец, я нашел время прочесть Ваши воспоминания о „Совращении в

православие в балтийских провинциях“… Стыдно и обидно становится за тупость и недальновидность государственных мужей, часто вовсе не глупых и очень просвещенных (как напр. К. П. Победоносцев), которые даже в XX веке еще не додумались, что палкою, полицейскими мерами и смешно, и глупо, и бесцельно, и гадко ограждать господствующую веру, борясь с отпадающими от нее. Еще в XVIII веке Екатерина говорила сыну Павлу, что пушками нельзя бороться с идеями».

28 октября 1909. «… Эти дни меня держит взаперти ангина, что дало мне возможность прочесть только что вышедшую книгу Родионова (отставного боевого капитана, живущего в Боровичах) „Наше преступление“. Это роман из современной крестьянской жизни, дышащий неподдельной искренностью и несомненной правдой…»

Этот год затянувшегося душевного счастья Великий князь как бы разделил на две части. Одна из них была петербургско-павловской, другая – осташевской. Он все больше любил дивный уголок подмосковной земли на реке Рузе с его вольностью и здоровым климатом. «Жизнь здесь среди тишины – наслаждение. В деревне работается легко и скоро», – писал он Кони. Ему нравилось Осташево зимой, с упругим ослепительно белым снегом, розовым морозом, с парчовыми одеждами огромных елей и тонконогих елок, увязнувших в сугробах. Он ходил с сыновьями на лыжах, ложился рано спать, разомлев от здорового воздуха деревни и отсыпаясь от полуночной петербургской светской жизни. Вставал поздно, стыдясь, что народ уже несет кувшинчики со святой водой, что служба закончилась, а они с Лизой после утреннего кофе только идут в церковь. Потом приходил батюшка, кропил дом, обедали сытно и весело. К обеду приезжала врач земской больницы Дора Семеновна. Фамилии у нее словно не было, просто Дора Семеновна, на которую в осташевских местах полагались, как на Бога. Она рассказывала удивительные

истории, невероятные в Петербурге, столько в них было сердечной доброты, бескорыстности и житейского юмора.

«Приезжайте обязательно летом. Легче с местным народом сойдетесь», – советовала она. Да его и самого смущало, что, отдыхая и наслаждаясь работой в Осташеве, он был почти чужд местным жителям. Лишь однажды на байдарке покатал деревенских мальчишек, и то, влезая, упал в воду. Мальчишкам было смешно, но они крепились и не позволили себе расхохотаться. Словом, как сблизиться – не знал.

«Отрываясь от жизни людей, не заметишь, как станешь чудаком, фантазером и эгоистом», – думал он не раз.

Когда наступило лето, они не остались в Павловске, а заторопились в Осташево.

Перед выездом из Москвы Великий князь купил для осташевского дома в магазине Дациаро четыре гравюры в красках и оригинальные кустарные безделушки. Лошади ждали его в Волоколамске. Дорога в деревню испортилась, но постройка шоссе уже была решена – к 1912 году оно будет готово.

В первый же вечер в Осташеве он сел за продолжение уже начатой записки о нелепом, на его взгляд, ограничении свободы нижних чинов и запрещении солдатам появляться во многих общественных местах. Он долго не мог придумать заголовок к «Записке»: получалось то выспренно, то по-канцелярски. Оторвавшись от стола, ушел в сад, и заголовок тут же сложился, простой и ясный: «О доверии к солдату».

Эту «Записку» он предназначал для печати, втайне считая, что имеет право на слово в защиту солдата. Право на это давали собственная долголетняя служба, знание солдатской жизни. Ему знакомы были не только сады Петербурга, Лицея, Петергофа, красоты Италии, Греции, Египта, Германии, но и глубинная провинция, и глухие углы России, которую он изъездил в своем вагоне вдоль и поперек. Немало стихов он посвятил солдатской жизни. Появились на свет «Очерки полковой жизни», «Солдатские сонеты». Классический сонет, идущий от Петрарки и Ронсара, он посвящал будням строевой службы и гордился тем, что учащиеся военных учебных заведений заучивали, декламировали, пели, писали в альбомы друг другу его стихи. Он знал, что им нравится, как он воспевает культ товарищества – воспевает в самом чистом, возвышенном смысле. Ведь «товарищество» – почти синоним слова «братство»; солдат говорит: «братство по оружию», «товарищ по оружию». Великий князь Николай Николаевич возмущался, что он, командир, да еще царского рода, обращался к солдатам со словами равенства: «… Товарищи, не все ль пылаем мы любовью ко славе Родины и нашего полка?…»

А он – Великий князь, поэт, военачальник – находил самые трогательные и грустные слова для новобранцев, оторванных от своих семей, где они были кормильцами. Когда было опубликовано стихотворение «Умер», в редакцию Государственной типографии пришло письмо от солдата-измайловца: «Теплые, сердечные строки гармоничного стиха, в которых вылилось так много правды, глубоко запали в мою душу. Будучи сам солдат, я в течение трех лет моей службы мог убедиться, что человек, выражающий такую любовь, такое участие, такое соболезнование к жизни солдата, есть честной и благородной души человек. Чтобы передать такие чувства к нему, надо жить его радостью, страдать его горем, плакать его слезами. Я собрал тех, кто заслужил любовь благородного певца, и прочел им его стихотворение. О, если бы он видел, какое чудесное действие имели на них вдохновенные строки, он бы сказал: „Вот моя лучшая награда!“ Свои стихи я хочу посвятить автору:

Один ты, быть может, сердечной слезою,
Один ты почтил бедняка,
Когда его прах засыпала землею
Людская чужая рука.
Пред свежей могилой с любовию братской
Один ты, страдая, стоял,
И после рассказ нам о доле солдатской
Ты в чудных строках передал.
Прими же за это, певец незабвенный,
Привет и признанья мои,
Спасибо тебе за порыв вдохновенный,
За добрые чувства твои».

И покойный Яков Петрович Полонский однажды написал Константину: «Из всех русских поэтов Вы один еще пишете стихотворения, специально посвященные солдату и военной жизни. Все они глубоко правдивы и искренни…» Однако Полонский считал, что его стихам недостает сжатой формы, и советовал прочитать военные стихотворения какого-то французского виконта… К. Р. прочитал, но впечатления они не произвели. В его памяти отпечатывалось совсем другое – родное… На Софийском плацу темно, только фонари мелькают здесь и там. Офицеры ушли ужинать, а Константин не может

оторваться от звуков солдатских песен. Вот запевает Яковлев, совсем не присяжной запевала… Он поет московские купеческие и фабричные песни, когда настоящий запевала, Денисов, исчерпывает весь свой запас. Солдаты еще не ели, все ждут обеда – вот и поют длинные, как рассказы про свою долю, чаще несчастливую, песни. Он сидит под открытым небом при свете двух свечек, слушает и пишет.

Вот так и рождались его «длинные стихотворения» про солдатскую долю. Так родился «Бедняга», или «Умер» – он уже и сам не знает настоящего названия этого своего стихотворения. В народе бытует «Бедняга» – так тому и быть. [70] Когда-то это стихотворение изменило закон о неприглядных похоронах солдата. Всего лишь стихотворение! И сейчас он должен, обязан облегчить положение солдата, подведенного под запреты начальственных самодуров.

«Солдат есть имя общее, знаменитое». Он всегда с этих слов начинал учения с новобранцами, прибегнул к ним и в статье. И продолжил: «Взгляд на важное значение и благородство призвания солдата как был, так и доныне остается возвышенным и полным достоинства. Такой взгляд обязывает воспитывать в новобранце возвышающие и облагораживающие душу чувства и возвращать его из армии народу просвещенным и проникнутым твердыми и сильными убеждениями… Высокому взгляду на значение солдата должны, казалось бы, отвечать доверие, уважение и почет… То ли мы видим? В действительности солдат не только не окружен уважением и почетом, но и не пользуется хотя бы самым ограниченным доверием даже ближайших своих начальников…»

Он писал Кони правду, когда утверждал, что в деревне работается «скоро». Заметку «О доверии к солдату» он закончил в деревне. Но, шагая по берегу в сторону церкви, вдруг решил заметку в печать не отдавать.

– Почему? – спросила Лиза за обедом. – Твоя статья обращена к совести общества. Ты воспитываешь офицеров, и им не положено усваивать хамские привычки по отношению к солдатам.

– Я не хочу, чтобы произошел шум. Я хочу не шума и скандала, а только отмены нелепых запрещений и стеснений.

– И что же?

– Я ее отправлю Государю с фельдъегерем…

– Будет ли он ее читать?… – усомнилась Лиза.

– Узнаем, когда вернемся в Петербург.

* * *

Он явился к Государю, когда вернулся из очередной служебной командировки. Николай II принял Константина Константиновича в своем кабинете. Разговор помимо срочных дел зашел и о заметке «О доверии к солдату». Ее читал Великий князь Николай Николаевич, выразил полнейшее сочувствие мыслям автора, но тут же заявил, что ничего изменить нельзя. Спорить с ним Константин Константинович не стал, а Царю сказал, что если в течение двух столетий солдаты свободно разгуливали по Петербургу, то непонятно, почему на третьем веку существования столицы потребовалось запретить солдатам ходить по Дворцовой набережной, по солнечной стороне Невского и правой стороне Морской, в Летнем саду и Таврическом, на всем Елагином острове и ездить в трамваях.

Николай согласно кивал головой и тоже высказался в пользу отмены запрещений и ограничений. «Но я опасаюсь, что все останется по-старому…» – записал в дневнике К. Р. Как бы там ни было, оставалось ждать. А пока он занялся написанием «Статьи от переводчика» к «Ифигении в Тавриде» Гёте. Нужен был краткий очерк веймарского общества, иначе кто поймет «веймарского отшельника» – Гёте… Сидел, обложившись книгами. Константин давно за собой заметил: если он «задыхается» от недостатка знаний, то не приходит и вдохновение. Так было с переводом «Гамлета», это же происходит с Гёте.

Как-то, вернувшись после катания на байдарке, он открыл наугад том гётевских статей и не мог оторваться:

…

«Она изменяется вечно, не зная ни единой минуты покоя. Тому, кто ее не видит повсюду, она не откроется нигде. Она себялюбива и бесчисленным множеством глаз и сердец вечно прикована к себе. Она размножила себя, чтобы собой наслаждаться. Она постоянно растит новых обожателей и, ненасытная, отдается им. Ее радуют иллюзии. Того, кто их разрушает – в себе ли, в других ли, – она карает, как жестокий тиран. Того, кто доверчиво идет за ней следом, она прижимает к сердцу, как ребенка.

Действие, которое она разыгрывает, всегда ново, ибо она непрерывно поставляет себе новых зрителей. Жизнь – прекраснейшая из ее выдумок. Смерть – художественный прием для создания новых жизней. Она обволакивает человека мраком и вечно гонит его к свету. Она делает его зависимым от земли, неповоротливым и тяжелым, чтобы снова и снова поднимать его ввысь… Каждому дитяти она разрешает мудрить над ней, каждому дурню судить ее, тысячам – тупо идти по ней и ничего не видеть…

Несколькими глотками из кубка любви она вознаграждает за все тяготы трудной жизни. Она – все. Она сама себя награждает, сама наказует, сама себе радуется и сама себя мучит. Она груба и нежна, страшна и прельстительна, бессильна и всемогуща… Она добра. Я славлю ее во всех ее творениях… Она хитра, но во имя благой цели, и самое лучшее – не замечать ее хитрости… Она всегда целостна и никогда не бывает закончена… Она ввела меня в мир, она же и уведет из него. Я доверяюсь ей…»

«О, Боже! Это же гимн Природе! – взволновался К. Р. – Ее взгляд, ее дыхание я вечно ловлю для своих стихов! За ее тайной охочусь! Но ее постигли только Пушкин и Фет…»

БУДЕТ ЛИ БАЛ?

Только Константин Константинович с размягченной душой собрался сделать запись в дневнике, как вошли жена и Татьяна. «Красивая, милая и умная девочка, – подумалось ему о дочери. – Похожа больше на Лизу, и это славно».

– Пап?, у нас опять в Павловске зимой будут только серьезные спектакли и вечера? – спросила Татьяна.

– Почему только серьезные? И интересные.

– Но почему не бал, не маскарад? Моя подруга Полина говорит: «Ваш Павловск такой красивый, он создан только для веселья. А вы живете закрыто, по ранжиру». Она сказала, что Императрица Мария Федоровна вернулась из Дании и будет жить в Аничковом дворце.

«Дагмара не жила там уже пять лет», – подумал Константин Константинович и, улыбнувшись, спросил:

– Ты думаешь, возобновятся балы?

– Пап?, ну ты же знаешь, что никто в России не любил так танцевать, как…

– … Принцесса Дагмара, Императрица России Мария Федоровна, – подхватил он. – Это верно, она была неутомимой. И откуда вы с твоей Полиной всё знаете?

– Теперь вокруг всё-всё ругают: светскую жизнь, литературу, молодежь, Думу, политику, женские курсы, лекции Сеченова, врача Бокова, сестер милосердия. В лекциях для женщин одно можно, другое – нельзя… Словно женщины родились в зоопарке… Я уйду в монастырь!

– Татиана, прекрати. Ты откуда всё это взяла? – возмутилась Елизавета Маврикиевна.

– Тетя Оля говорила…

– Ну-у, это ты зря… – нахмурился отец. – Королева эллинов слывет одной из умнейших женщин.

– Татиана, оставь нас с Пап? на несколько минут.

Дочь вышла.

– Прости нашу девочку… – сказала Елизавета Маврикиевна. – Но ведь действительно говорят, что блистательный Павловск мы превратили в Академию наук. То исторические чтения, то совещания по физиологии, то по литературе. То ты зовешь к чаю надзирательниц с Пироговских курсов, то профессоров математики… Тебя пугаются, встретив в аллеях Павловска с карандашом и тетрадью.

– Но я все же поэт, – по-детски смутился Константин Константинович.

– Я знаю, милый, но кто-то подумает, что ты деревья считаешь, – пошутила Елизавета Маврикиевна.

– Павловск – это философская поэма о сути духовной жизни, а его парк – приют поэзии и искусства… И кто этого не понимает, пусть веселится на дачах! – обиделся К. Р.

– Не надо, Костя. Пойми, сейчас всё вокруг так напряжено, так сумрачно и невесело… А час молодости короток и должен быть светлым. Разумеется, Тане хочется танцевать на балу, а не слушать беседы с надзирательницами.

Елизавета Маврикиевна поцеловала его в голову и оставила одного в кабинете наедине с дневником.

Великий князь откинулся на спинку кресла и увидел себя в зеркальной двери бывшего отцовского кабинета. Когда отец был в его возрасте, а он – в возрасте Татьяны, первые балы были для него, юноши, сплошным застенчивым волнением и восторгом, без всякого понимания, что бал – всего лишь атрибут столичной светской жизни, что на балу не только танцуют и ловят влюбленные или восхищенные взгляды, но и решают дела, сплетничают, строят планы, плетут интриги, мстят, хитрят, находят богатых невест и старых состоятельных мужей. Для чистой юности это всё остается за ширмой. Волнует торжественность бала и собственная принадлежность к избранным, посвященным в законы празднества. Начало в восемь тридцать вечера. Опаздывать нельзя. Во всем свой порядок: для него, Великого князя Константина Романова, как и для всех Великих князей – Салтыковский подъезд, для придворных – подъезд Их Величества, гражданские чины направляются к Иорданскому, военные – к Комендантскому. На Дворцовой площади горят костры. Парадная мраморная лестница устлана ковром. По обе ее стороны лейб-казаки и арапы в тюрбанах. Гостей встречают лакеи в белых чулках.

Потом гром музыки, шум, блеск. В 20 лет волновали не мундиры и наряды канцлеров, тайных советников, полных генералов, иностранных дипломатов, полковников, обер-камергеров… Только молодые офицеры-танцоры достойны были ревнивого внимания: они – твои соперники в дивном «саду» дам и барышень. Дамы в сверкающих диадемах, головки барышень убраны цветами. Так полагалось по этикету на Императорском балу в Николаевском зале Зимнего дворца, где танцевало почти три тысячи человек. Приглашения рассылались не позже чем за две недели…

Константин Константинович открыл дверцу письменного стола, потом нижний ящик, достал несколько дневниковых тетрадей, полистал:

«Был бал в Большом дворце, более 2000 человек. Несмотря на тесноту, мы плясали довольно усердно. Я был в конногвардейском красном мундире – есть грех на душе, хотелось пощеголять. Танцевал мазурку с кн. Салтыковой, она такая милая!»

Это 1879 год, январь. Он прикрыл глаза. Разве вернешь этот вихрь тридцатилетней давности, когда все бриллианты, жемчуга, бальные пелерины из лебяжьего пуха, кружева, палантины, веера из страусовых перьев, горделивая девичья осанка, гибкость походки, воздушность были лишь для тебя, двадцатилетнего?!

Он не мог пожаловаться на неуспех, как когда-то Саша, еще не ставший Александром III, жаловался Саше Жуковской, что «хотел танцевать все время, но все милые дамы, и в особенности та, которую он хотел пригласить на мазурку, ему отказали, и он с носом удалился из залы».

Воодушевленный воспоминаниями, Константин Константинович взглянул в зеркало и увидел в нем мужчину пятидесяти лет. И этот мужчина должен был сознаться, что чаще всего на балах его глаза останавливались на жене Саши – принцессе Дагмаре, милой Минни, Императрице Марии Федоровне. Это всё ее имена…

Кажется, в 1883 году на Императорском балу он увидел Минни в каком-то сложном наряде: розовое платье, украшенное впереди цветами, сзади шлейф, на талии розовые перья, на голове большая алмазная диадема с перьями, на шее алмазное ожерелье, принадлежащее короне Российской империи.

– Костя, я совсем не могу танцевать – мне всё мешает, особенно перья. На кого я похожа? Наверное, на обезьянку, – шепнула Минни, скорчив милую гримаску.

В ней всегда была детская свежесть, которую она никогда не утрачивала, даже став Императрицей. «Ни положение ее, ни несчастья, которые она пережила, ни возраст не сняли с нее яркость ее детской души», – говорили знавшие ее.

Дочь датского Короля Христиана IX, она любила Россию. Он вспомнил ее на маскараде у Великого князя Владимира, где все были одеты в старинные русские костюмы, украшенные драгоценными камнями. На ней был костюм русской Царицы. Настоящий, как на старинных картинах. На голове – соболья

шапка, вся в серебре и алмазах, а наверху – огромный алмаз, стоящий вертикально. Минни было жарко, тяжело, она не могла танцевать, но терпела и несла на себе этот костюм как честь, оказанную ей великой Россией.

– Костя, костюм – настоящий! – с восторгом сказала она ему.

Он любил разговоры с ней. В них проявлялась их симпатия друг к другу, обнаруживались доверие и откровенность. Он тогда понимал из разговоров с нею, что роман Александра II с княжной Екатериной Долгорукой был для нее, невестки Императора, самым мучительным событием ее жизни в России.

И как ни кружили его балы – императорские, концертные, эрмитажные (их называли по залам, где они проходили), – и годы спустя он всегда выделял ее из толпы красавиц, хотя красавицей она не была. Блистала ее невестка Аликс, молодая Императрица. Она была восхитительна и в белом бальном платье, залитом каменьями, и в розовом с блестками и изумрудами, и в черном – на балу в Аничковом дворце бриллианты блестели еще ярче, или в Концертном белом зале, где черное смотрелось особенно выразительно. А как красива была она на эрмитажных балах, которые считались одними из самых красочных зрелищ! Зал в мавританском стиле, белый с золотом, отделен колоннами от гостиной. Над колоннами – балкон, с которого можно любоваться и танцующими на сверкающем паркете, и гуляющими по малиновому ковру гостиной; через открытую дверь в зимний сад доносились звуки «певцов зимой погоды летней» – канареек, которые соперничали с музыкой вальсов. Александра Федоровна и ее сестра Элла представляли удивительное по красоте явление.

Однако при всем этом Александра Федоровна была, как говорил князь Волконский, «ходячий портрет», «только имя», ее «нерасположение к роду человеческому» лишало ее всякой популярности. Не было в ней того обаяния, которое излучала на всех милая Дагмара, Минни, Мария Федоровна.

Пленительное время бального очарования, когда он увозил домой по 13 бантиков – знаков особого женского внимания, – давно отошло для него. Но и теперь, спокойно наблюдая с хоров вместе с женой за танцующими внизу, он всегда отмечал женщину, которая была лучше всех, – Дагмару…

Да, магия балов покинула его рановато. Быть может, виноват тот страшный бал во время Ходынки? Он не знал. Но, листая дневники, вдруг поразился своему раннему отторжению от этих «смотров» роскошных нарядов и человеческих амбиций.

…

«Вчера большой бал у Половцевых на Большой Морской, туда был зван весь наш свет. Все наше блестящее и гнусное общество – не по мне. Донельзя обнаженные грудь и плечи, вокруг увивающаяся золотая молодежь, пустые, часто нескромные речи, весь этот блеск, чад, шум меня раздражали. Отрадно лишь было глядеть на свежие цветы: на одном столе розы, на другом гиацинты, на третьем тюльпаны действовали освежающим и успокоительным образом на глаза и душу».

В дневнике все чаще мелькали записи о надоедливой части придворной жизни, о скучных обязательствах, жалобы на то, что впереди еще столько балов, что никогда на это мельтешение и эту мишуру не хватит сил, что тихая великопостная пора еще не скоро…

Встретилась поразительно сухая запись о первом придворном бале в начале царствования Николая II: «Приглашений разослано 3500, явилось 2500, толпа и давка. Ужин накрыт на 2400, осталось свободных 60 приборов. Царь не танцевал… Императрица Александра Федоровна в бледно-зеленом с рубинами. Все ею восхищены».

Статистический отчет. Ни вздоха о жизни. На балах становилось «не то весело, не то скучно». Остались, пожалуй, лишь желание видеть любимую жену красиво одетой к балу и благодарность к матери, которая проявляла нежную заботливость к его Лизе. Он дорожил теперь каждой минутой: жизнь коротка, а свои обязательства перед вечностью он исполняет медленно. И все же его Татьяне хочется танцевать на балу!

* * *

В тепле и уюте горит настольная лампа, и, когда на улицах и в переулках Петербурга воет ветер, можно долго и с удовольствием сидеть над грудой бумаг. Но он понял, что в одиночку с ними не справиться. Позвал на помощь Иоанчика и Роберта Минкельде. Втроем они резво набросились на стопки писем, полученных за многие годы по поводу стихов К. Р. Роберт

быстро разработал тактику, откуда-то зная, как это делает графиня Софья Андреевна Толстая с письмами мужа Льва Николаевича.

– Не будем всуе упоминать великие имена и сравнение здесь неуместно, – нахмурился Великий князь.

– Но я лишь о методе…

– Мы без методы отложим письма, требующие ответа. Комплиментарным – ответ под копирку, но всем, – высказал мнение Иоанчик.

– Не пропустите, где просят о помощи…

Когда стопки выросли до края стола, К. Р. сказал, что на сегодня хватит.

Большие английские часы напомнили о себе. Настроение было приподнятым, чему, признаться, способствовали письма его почитателей, как и огромный кабинет, своим удобством и уютностью придававший жизни много прелести. Великий князь не однажды благодарно говорил об этом своим домашним… Красным шариком падал на письменный стол прирученный снегирь, косил глазом, брал угощение с руки. А канарейка была уверена, что кабинет и всё в нем принадлежат ей. Не птица, а сплошное любопытство.

Любопытство не меньше мучило и Великого князя. В правом небольшом ящике стола лежал небольшой лист бумаги. Несколько поэтических строк на греческом языке с подстрочным переводом. Они были списаны с камня пирамидальной формы с просверленной дыркой. Камень нашли недалеко от Керчи. Видимо, рыбаки его использовали как грузило для сетей. Он пробежал глазами подстрочник, улыбнулся и ушел на прогулку. Трудно сказать, как и чем Русский Север с ледяным ветром, гнавшим колючий снег, помог сочинять стихи о жарком крае, зное, виноградной лозе, родниковой воде, о женщине Гликерии, но к возвращению домой перевод был готов:

Здесь, о Гликерия, здесь, о Царица, Асандра супруга,
У родника твоего выпил воды я с вином;
Жажду свою утолив, молвил я: и при жизни и в смерти,
Всем, кому гибель грозит, ты избавленье даешь.

Но кто сочинил и высек на камне эти слова? Почему лицо неведомой Гликерии всплыло из мглы веков? Так являются из прошлого многие лица, и безвестные, и ставшие символом

времени.

Константин поедет в Ревель и там увидит лицо русского Императора, присоединившего 200 лет назад к России Эстляндию. Сдернется пелена с памятника, и взорам живо предстанет мощь времени в фигуре Петра Великого. Потом начнется торжество с тостами за русского самодержца Николая II, его Наследника, за эстлянское дворянство, за его преуспевание в крепком единстве с великой Российской державой. Будут звучать песни русские, немецкие, эстляндские, латышские.

Изучая на следующий день в Доме черноголовых [71] выставку предметов и бумаг времен Петра Первого, прекрасно сохраненных в этом крае, Великий князь думал о том, что «надо проникаться Историей, ибо теряется в вечности нить, готовая всегда оборваться. Только памятью людей держится ее единство».

Оставшись в одиночестве в Губернаторском дворце, расположенном в верхней части Вышгорода, вспоминая факельные шествия, гуляние эстонцев, концерт в немецком театре, раут в Доме черноголовых и давнюю свою жизнь, когда корабль «Герцог Эдинбургский» готовился именно в Ревеле к отплытию, К. Р. думал о том, что очень важные узлы завязываются на нитях и современной жизни. Но как распознать, где узлы, а где гнилые узелки?

Когда сенатор А. Ф. Кони говорит о необходимости укрепления русского флота, когда Столыпин, заседая в Елагинском дворце в Совете министров, в конце концов соглашается с Великим князем, что на научные экспедиции необходимо выделить 35 тысяч, когда идут торжества в Симбирске в честь русского классика Ивана Александровича Гончарова, и Академия наук решает вопрос об увековечивании памяти Льва Толстого, недавно ушедшего из жизни, и тут же создается скромная читальня для села Осташева, – тогда нить истории устремляется в будущее, крепясь горячей привязанностью к родине.

Но когда Государь шесть лет из-за смутного времени не посещал ни одного военного учебного заведения, когда Дума во главе с Гучковым [72] занята взаимным злословием, а не реальными делами, когда студенчество уже несколько лет беспрепятственно ввергается в революционную смуту и никто не способен ни упредить беспорядков, ни справиться с ними, когда ограничили свободы солдат, озлобили их целым рядом запретов, – тогда нить истории под угрозой и может прерваться связь времен, и дальние потомки вынуждены будут искусственно их связывать…

Вернувшись в Петербург, Константин Константинович нашел

письмо от Кони, содержащее в себе тоже «исторический интерес». Александр Федорович просил разрешения познакомиться с дневниками отца Великого князя. Интересовали его записи, которые касались деятельности Главного комитета по устройству сельского состояния России, который возглавлял Константин Николаевич. Вместе с тем Кони понимал, что всякий дневник – это интимная жизнь человека, и был в нерешительности от своей просьбы.

Великий князь, прежде чем написать: «Действительно, в Дневнике моего покойного отца встречается много подробностей, с которыми из сыновнего почтения я не решился бы ознакомить даже Вас. Но постараюсь доставить Вам выборки мест, касающихся деятельности Комитета…» – долго и печально смотрел на зеркальную дверь напротив своего стола. Когда-то за ней была большая бильярдная, а потом кабинет его отца, Великого князя Константина Николаевича. В нем отец и умер.

Он вдруг вспомнил, что хорошо бы подтвердить приглашение Анатолию Федоровичу – хотя оно было уже послано – на Павловские литературно-музыкальные субботники, перед началом которых читались лекции по истории русского театра и музыки.

Музыкальные субботники были организованы с определенной целью: поднять культурно-образовательный уровень сыновей К. Р., Олега и Игоря, и молодежи их круга. Князь Олег пишет о возникшей идее как бы со стороны и о себе говорит в третьем лице: «Всех участников было приглашено до сорока, причем было установлено, что никто из них не может быть только слушателем или, как говорили князья, „трутнем“: все должны, присутствуя на вечере, выступить исполнителями в качестве декламаторов, пианистов или певцов, по желанию. Князья следили строго за тем, чтобы это требование выполнялось участниками, и ему действительно подчинялись все. Даже Великий князь, почти всегда удостаивавший своим посещением „субботники“, принимал участие в чтении художественных произведений, а иногда сообщал неопубликованные материалы из переписки тех или других писателей». Лучшие силы Императорских и Малого театров принимали участие в Павловских вечерах. Сам Государь Николай II не пропустил ни одного представления.

Всем участникам была разослана программа. Чтобы сегодняшний читатель мог представить размах «проекта», приведем содержание нескольких дней:

…

«День первый: Достоевский, Щедрин. Музыкально озвучивают их [произведения] – Сен-Санс, Массне, Делиб, Годар, Лакомб.

День второй: Гончаров, Писемский. Озвучивают – Спонтини, Галеви, Берлиоз.

День третий: Гоголь, Гребенка, кн. В. Ф. Одоевский, Хомяков, Аксаков, Тютчев. Озвучивают – Шуман, Мендельсон».

Константин Константинович радовался энтузиазму сыновей, их спорам, возне в его нотной библиотеке, игре на фортепиано, похожей на грохот барабанов, беседам с музыкантами. И был благодарен Николаю Николаевичу Ермолинскому [73] за то, что тот взял на себя труд всё это организовать да еще отдать мероприятию свою квартиру.

А что же балы? При той ситуации, что сложилась в стране, они умерли сами собой. Да и Татьяне вскоре пришлось заказывать не бальное платье, а подвенечное. Благодатное время в череде последних лет, принесших семье Великого князя умиротворение, неуклонно шло к концу.

За неделю до Нового, 1911 года он стал думать о завещании…

СМЕРТЬ МАТЕРИ И ГЕНЕРАЛА КЕППЕНА

Весной 1911 года у Олега и Гаврилушки были экзамены в лицее. Они переходили с первого на второй курс. И хотя братья усердно молились, чтобы Бог помог им на экзамене, – ездили в Киевское подворье и в часовню Спасителя на Петербургской стороне, – все же римское право надо было самому долбить так, чтобы отскакивало от зубов. Отец так им и сказал.

Олег сидел у него в кабинете с учебником. Было уютно, тихо, спокойно. Мешало только воспоминание о профессоре Никольском. Завтра профессор будет изумлен – их знаниями или их провалом.

Отец встал из-за стола. Олега поражали его работоспособность и методичность. Заниматься он мог часами и бывал недоволен, если ему напоминали об ужине или вечернем чае.

– Когда второй экзамен? – спросил он.

– В день твоего ангела.

– Принес бы ангел мне здоровья, а вам полный балл.

Олег подумал, но не сказал, что они с Гаврилушкой «принесут» отцу серебряный портсигар. В подарок от Фаберже. Так уж они решили. Константин Константинович прошелся по кабинету, вздохнул:

– Когда заканчиваются праздники, начинаются печали…

– Почему печали, а не просто дни? – удивился Олег, считавший, как и все в семье, что отец – оптимист.

Великий князь помолчал, потом хитро улыбнулся:

– Потому что праздники – это просто дни.

Олег не понял отца. О каких он печалях? Неважно чувствует себя бабушка Александра Иосифовна? Но такое состояние у нее давно и стало для семьи привычным.

Вчера родители вернулись из Мариинского театра возбужденные, под сильным впечатлением от постановки оперы Мусоргского «Борис Годунов» и рассказали, что там произошло.

На представлении были Государь с дочерьми, вдовствующая Императрица Мария Федоровна, члены Императорского Дома. Пел Шаляпин. Всё шло своим чередом. Но вдруг после первого акта и аплодисментов снова поднялся занавес и все увидели оперных артистов, а среди них в царском старинном одеянии Шаляпина. Повернувшись к ложе, где сидел Николай II, все они запели «Боже, царя храни». Зал встал, как один человек, и запел.

А Шаляпин и артисты опустились на колени. Раздалось оглушительное «ура». Константин Константинович и Елизавета Маврикиевна едва сдержали слезы. Но, как выяснилось, патриотический жест Шаляпина был всего лишь просьбой к Царю помочь материально хору, обиженному директором Императорских театров Теляковским.

Николай II, конечно, помог. Но петербургское общество посмеивалось, гневалось, было обескуражено этой манифестацией.

В год писания исторической драмы К. Р. был как-то особенно придирчив к современной ему литературе. И дело не в том, что раздражение порождали собственные творческие трудности. Всё, что происходило в стране – не устоявшееся, тревожное, конфликтное, – требовало, как ему казалось, успокаивающего голоса и призыва, «… нам так надо высоких примеров и совершенных образцов», – пишет он Кони. И поразительным образом не может разъединить жизнь и литературу, литературу и жизнь. А ведь К. Р. считал себя сторонником чистого искусства.

…

13 января 1911, Павловск.

«… Возвращаю Вам, милый Анатолий Федорович, „охапку навозной кучи без жемчужного зерна“ – не приберу другого названия новинкам якобы литературного творчества, которыми Вы пожелали поделиться со мною. Стихи Сологуба и безжизненны и гнусны так же, как и психопакость – виноват – психодрама В. Брюсова. А его „Последние страницы из дневника женщины“ просто чудовищны по цинизму не только порнографии, но и самых животных чувств, например, отношение к матери… А нам так надо высоких примеров и совершенных образцов…»

1 июня 1911. «… Дорогой Анатолий Федорович, у меня два Ваших письма… Приложенный № газеты с продолжением „Александра

I“ Мережковского я прочел с отвращением, вполне присоединяясь к Вашему суждению об этой вульгарной попытке создать художественное произведение, которое дает только бесцветную, но не лишенную тенденции безвкусную фельетонную болтовню… Заметили ли вы в № 12 „Русского Слова“ рассказ „православного“ Леонида Андреева под заглавием „Покой“? Это еще образчик современной литературы. Смысл этой далеко не поэтичной и тривиальной фантазии решительно мне непонятен: к умирающему сановнику входит черт „под видом священника, ладана и свечей“ и предстает кончающему жить „во всей своей святой правде“?»

13 августа 1911. «… Дорогой Анатолий Федорович… от Вас первого услышал я про „Сказание о любви“ Щепкиной-Куперник. И заглавие, и дарование этой писательницы, а главное, Ваш похвальный отзыв придают этой книге особую заманчивость…»

6 сентября 1911. «… Пишу Вам под дивными впечатлениями в Курской губернии на величавых, проникнутых неподдельным благочестием и непоколебимою верою нашего народа торжествах прославления святителя Иоасафа. Эти молитвенные дни омрачились вестью о покушении на жизнь Столыпина и его кончине. Тяжело и больно переживать мучительную тревогу за настоящее и будущее России, обреченной переносить столько испытаний. Утешает только вера в наш народ и его нравственную силу. Виденное и перечувствованное в Белгороде

только укрепляет эту веру…»

9 сентября 1911.

«… Дорогой Анатолий Федорович, позвольте перед Вашим отъездом в Ораниенбаум потревожить Вас просьбой.

Не помню, говорил ли я Вам, что академические устроители предстоящего Ломоносовского юбилея предложили мне написать слова кантаты, музыку к которой намерены заказать А. К. Глазунову или С. И. Танееву. Я не счел себя вправе отказать, хотя очень не хотелось приступать к предложенной работе. Обращаюсь к Вам как к собрату по Разряду изящной словесности, прося высказать откровенно, не будете ли Вы и другие члены Разряда краснеть за это порождение насильственного вдохновения…

Желаю Вам приятно провести время в местах, которые так любили две наши Императрицы – великая и блестящая матушка Екатерина и тихая и кроткая Елизавета Алексеевна».

21 сентября 1911.

«… Вы пишете, что Гучков смотрит чрезвычайно мрачно на ближайшее будущее. [74] Он мне не знаком, я не знаю, можно ли доверять его дальновидности, но невольно сжимается сердце и охватывает страх за возможные преступления, из которых гибель Столыпина [75] была первою по возобновлении серии жертв…»

6 октября 1911. Петербург-Оренбург, в вагоне.

«… Милый Анатолий Федорович, ‹…› пишу с дороги. „Живой труп“ и мне показался произведением слабым,

не вылежавшимся, полным неясностей и ничего не прибавляющим к славе Л. Толстого…

Отзыв о Валерии Брюсове мне понравился и еще более заставил негодовать на намерение провести этого порнографа в Почетные Академики.

Мне больно было прочесть Ваши мрачные предчувствия. Впрочем, зачем называть их мрачными? Я знаю, что Вы из тех, кому смерть представляется преддверием вечности и кто терпеливо и покорно ждет, когда Промыслу угодно будет отпереть эту дверь. Но с близорукой и себялюбивой точки зрения сына Земли мне бы так хотелось, чтобы дверь эта еще долго оставалась для Вас закрытой».

Все письма этого года к Кони написаны на фоне событий, до обидного противоречащих друг другу, но находящихся тем не менее в единстве, которое и называют человеческой жизнью.

С «близорукой и себялюбивой точки зрения сына Земли» Константину хотелось, чтобы дверь в мир иной еще долго не открывалась ни перед друзьями, ни перед близкими – матерью и родным, дорогим, близким сердцу, уму, его устремлениям Павлом Егоровичем Кеппеном.

В конце июля 1911 года умерла Великая княгиня Александра Иосифовна, любимая и уважаемая в семье мать и бабушка. Она давно ослепла, не бывала в последнее время ни в Стрельне, ни в Павловске. Мраморный дворец стал для нее, как она говорила, невыездной резиденцией.

«Бедная бабушка», – жалели ее внуки, а сыновья старались каждый день побывать в Мраморном. Рядом с Александрой Иосифовной были два генерала, всегда и везде сопровождавшие ее. При выезде за границу Александру Иосифовну сопровождал генерал А. Киреев. Любое путешествие по России немыслимо было без генерала Кеппена, управляющего двором Великой княгини. Даже в Павловск и Стрельну, когда она еще бывала там, Павел Егорович Кеппен приезжал вместе с Александрой Иосифовной. И с Киреевым, и с Кеппеном у нее были самые доверительные отношения. Продолжались они много лет.

Со смертью Великой княгини ушла в Лету целая эпоха. Она приехала в Россию в 1847 году. Чувствуя себя русской, прожила в ней 64 года. Застала конец царствования Императора Николая I, которому очень нравилась: он находил свою невестку красавицей, в духе Марии Стюарт, осмысленной, остроумной и авантюрной. «Не похожа на немку», – не стесняясь, любил ей бросить вслед. Она видела царствование Александра II и его усилия освободить Россию от рабства, что считала «очень удобным, но эпатажным». Пережила и царствование Александра III. А Николая II, будучи очень самолюбивой, заставила себя ценить.

Угасала она долго, но без мучений. Константин Константинович и вся семья сидели у ее постели до последней минуты. Сам больной раком и знавший, что его дни сочтены, Павел Егорович Кеппен попросил, чтобы его перенесли в комнаты Великой княгини. Он сидел в Малиновой гостиной рядом с ее спальней. Так получилось, что верный Александре Иосифовне генерал Киреев умер в Павловске незадолго перед ее кончиной, а Павел Егорович Кеппен – через полтора месяца.

Великую княгиню похоронили в Петропавловской крепости, рядом с мужем, Великим князем Константином Николаевичем. Как бы ни сложилась их жизнь, но начинали они ее по обоюдной страстной любви и легли в землю рядом – смерть примиряет.

Павла Егоровича отпевали в домовой церкви Мраморного дворца. Он ходил молиться в эту церковь всю свою жизнь. Сыновья Константина Константиновича осторожно несли гроб по мраморной лестнице дворца. А дальше все шли пешком до самой могилы на Волковом кладбище. Константин Константинович шел впереди, и августовский день был с теми же летними запахами, как та давняя августовская ночь, когда Павел Егорович угадал тайну честолюбивой души молодого Константина: «Вам хочется романа с вечностью, не с женщиной, а с вечностью…»

Павел Егорович завещал похоронить себя без шума, без генеральских почестей. Просил, чтобы не было венков и цветов. Но когда гроб опускали в могилу, прибыл венок от Великого князя Петра Николаевича, который в молодости знал Кеппена и не смог не подать знак своей скорби. Этот нежданный венок заставил многих заплакать…

Но жизнь продолжалась. Только что смерть унесла свою добычу из Мраморного дворца, и вот на его ступени вступает жизнь, молодая и новая, с заманчивыми обещаниями. Первый, старший сын Великого князя Иоанн влюбился и сделал предложение сербской принцессе Елене. Они познакомились в Италии при дворе итальянского Короля. Елена была родной племянницей Королевы.

Свадьба состоялась в августе в большом Петергофском дворце. Иоанна благословили Государь Николай II и Королева эллинов Ольга Константиновна. К сожалению, на этой свадьбе многое устроилось как-то не так. Императрица не присутствовала на венчании. Марии Федоровны тоже не было, что очень огорчило Константина Константиновича, хотя он знал, что Дагмара за границей. Великий князь Михаил Александрович не приехал на семейный обед, потому что другой Великий князь Николай Николаевич запретил ему отлучаться с маневров. Было меньше офицеров, чем обыкновенно бывало на придворных свадебных торжествах. Невеста была одета в русское платье, но без традиционной бриллиантовой короны – потому что Иоанчик не был Великим князем по новому закону Царствующего Дома. За все время торжеств не появились Великие князья Николаевичи – Петр и Николай. Они не хотели встречаться с сербским Королем по политическим причинам. Николай Николаевич, всегда ревниво относившийся к Константину Константиновичу, в этот раз совершенно не мог скрыть недовольства тем, что невеста взята не из германского Дома. Он считал, что это «славянские причуды нашего поэта».

В Стрельне, где не было электричества, во время обеда стали падать с люстр на пол одна за другой свечи.

Это было похоже на какое-то предзнаменование. Но так же, как никто не считал тогда строки «Колыбельной песни», посвященной отцом Иоанчику, пророческими, так и в падении свечей никто ничего плохого не усмотрел.

Теперь лишь понятно, что смерть уже сторожила Иоанна у алапаевской шахты.

ЧАСТЬ V

АФРИКАНСКОЕ СОЛНЦЕ

Все случившееся на свадьбе сына не прошло даром, и Константин Константинович чувствовал себя плохо. Недуг (почечные боли) все чаще заставлял его оставаться в постели. «Но, отмучившись», – как он говорил, – садился за стол. Главной была работа над драмой «Царь Иудейский». Весь 1911 год она не отпускала его от себя. Даже в церкви, вслушиваясь в знакомые слова молитв, он вдруг «терял время и место действия», уносился мыслями к рукописи, что-то в уме зачеркивал, что-то исправлял. Из-за плохого самочувствия пришлось лишать себя праздников, музыкальных и театральных удовольствий. В этот год отмечалось столетие Императорского Александровского лицея, [76] Государь побывал в нем, обошел все классы, и Олег смог ему вручить изданные им рукописи Пушкина. Константин Константинович хвалил Олега, но ругал Гавриила, который отличился не лучшим образом – вступил без ведома родителей в яхт-клуб – по мнению Константина Константиновича, рассадник интриг и сплетен. Но Лиза неожиданно поддержала сына, желая прежде всего успокоить мужа:

– Гавриил совершеннолетний, и если он вступил в яхт-клуб, то это его личное дело.

Отец совсем простил сына, когда Гавриил привез ему записку от Дагмары. Мария Федоровна была в Мариинском театре, по словам сына, прекрасно выглядела в вечернем черном платье с большим бриллиантом в волосах. Увидев Гавриила, тут же в аванложе написала записку для Константина Константиновича:

...

«Дорогой Костя!

Мне все хотелось самой приехать, так как очень хочется видеть тебя; я всегда думаю о тебе и рада, что ты, наконец, чувствуешь себя лучше.

Это ужасно, как ты должен был мучиться, бедняга. Может быть, смогу приехать на этой неделе – мне так хочется увидеть вас обоих.

Твой сын Гавриил принесет тебе эти строки, написанные в театре.

Целую тебя и Елизавету. Господь да благословит тебя.

Твоя любящая Минни».

Однако он продолжал болеть, и потому не был ни на Бородинских торжествах, куда приезжал Государь, ни на праздновании совершеннолетия своего любимого сына Олега. И хотя в его кабинете скопились книги, которые он просил прислать для работы: о Гёте, Шиллере, сочинения о городе Владимире – святом князе Андрее Боголюбском, об истории России XII века – «я задумал писать новую драму и нужно подготовиться чтением», – пришлось все же ему по требованию врачей ехать в Египет.

Перед отъездом Великий князь попросил управляющего его двором в должности гофмейстера Роберта Юльевича Минкельде передать в министерство двора «бумагу касательно завещания и переговорить с юрисконсультом Лебедевым для выработки текста завещания, который не допускал бы возражений».

По всевозможным документам легко восстановить жизнь Великого князя в Египте, но это будет всего лишь пересказ, где даже точки и запятые привнесут другую интонацию и иные акценты. В письмах же самого Великого князя пульсирует жизнь, – к тому же поэтически прекрасная. Итак, отправимся вслед за Великим князем в Египет начала века…

…

1 декабря 1912. Хелуан.

«Милый и дорогой Анатолий Федорович,

‹…› пришло Ваше дорогое письмо. Оно шло до Египта 11 дней… Как бы хотелось вместе с пожеланиями здоровья послать Вам в мрачный и холодный Петербург хоть немного солнечного света и тепла… По любопытному совпадению Вы напоминаете мне о жалобе детей последней, доживающей на Миллионной старческие дни грузинской царицы на отсутствие солнца, а я здесь погружен в чтение грузинской истории, литературы,

географии и археологии для будущей своей работы. Но человек так создан, что не умеет достаточно ценить настоящего: как ни наслаждаешься здесь тишиною, красками и необозримостью пустыни, пальмовыми рощами на берегу Нила, между стройными стволами которых сквозят по ту сторону реки пирамиды – царственные гробницы фараонов Мемфиса, мечтавших победить ими вечность, а невольно пугаешься при мысли, что еще полгода остается мне до возвращения на родину. Африканское солнце не зажгло во мне вдохновения… Об упоминаемой Вами законодательной импотенции думаю здесь и я, читая в Новом Времени, какими мерами различные земские собрания думают бороться с хулиганством»…

2 декабря 1912.

«Вы сожалеете о забаллотировании Гучкова при избрании его в Гос. Думу. Я не разделяю Ваших сожалений. Гучков мне не знаком, о нем и его деятельности я знаю слишком мало. Но его выступление в Думе по поводу Распутина весною текущего года произвело на меня неприятное впечатление… Мне показалось, он более бил на политический скандал, а не говорил по требованию истинного патриотизма. Его речь ничему не могла помочь и не помогла, а только сильнее разогрела страсти. Вы разочаровались в Деларове. Я, было, находился под его обаянием – он прелестный собеседник и необыкновенно сведущ в истории искусства. Но мне пришлось прекратить с ним знакомство,

несмотря на то, что он постоянный жилец Павловска и, следовательно, наш сосед. – Из Павловского дворца лет шесть-семь назад весьма искусным, загадочным образом были украдены две очень ценные картины Греза; у нас были косвенные указания на причастность Деларова к этой пропаже: он промышляет покупкой и продажей художественных предметов, и преимущественно – картин старинных мастеров.

… Наша гостиница Аль-Хаят, что по-арабски значит – жизнь, представляет собою оазис в пустыне, на краю городка Хелуана, в получасах езды по железной дороге от Каира. Хелуан возник недавно, лет 10–20 назад, состоит из нескольких пересекающихся под прямым углом улиц и расположен в 5 верстах от правого берега Нила. Из него к нам проведена вода, благодаря чему на каменисто-песчаной возвышенности, на которой стоит наш дом, много тропических растений и тени.

На одной из скал, видимой из наших окон, за загородкой заведены штук семь местных газелей, очаровательных по грациозности движений и легкости, серо-желтых с белыми брюшками, на таких тоненьких ножках, что, кажется, они должны преломиться от малейшего дуновения. Одно из этих прелестных животных, хотя робко и опасливо, но берет хлеб у меня из рук. Прилагаю вид гостиницы, причудливого здания, окруженного живописными террасами, соединенными между собою ступенями из дикого камня. В цветниках между террасами много пальм, финиковых, саговых,

кактусов, агав, сикомор, алоэ; розы в изобилии… А кругом – голая пустыня. Казалось бы, ее ровное однообразие, песок и камень должны наводить уныние, но она однообразна только на первый поверхностный взгляд. В действительности в ней встречаются и лощины, и овраги, и целые холмы и горы, по которым устроены каменоломни. Но главная прелесть пустыни – это ее тишина и яркость окраски, изменяющейся по мере движения солнца. А оно здесь царит неизменно и если скрывается за редкие тучи, то на минуты… Закаты солнца – настоящий праздник для глаз. Лишь оно скроется за одной из видных из наших окон пирамид, вырезающихся резкими треугольниками на синеве неба далеко по ту сторону Нила, который светлой и узкой полосою тянется слева направо, – небо окрашивается в бледно-желтый лимонный цвет… Над пустыней воцаряется сумрак, очень кратковременный. Бледно-желтый отлив на западе, куда обращены пять окон нашей полукруглой гостиной, превращается в ярко-оранжевый, постепенно переходящий в багрово-красный, а горы Мекатала, каменной гряды, тянущейся от Каира к Хелуану, отливают лилово-розовым оттенком. И сразу наступает ночной мрак. Заката надо остерегаться, одеваясь потеплее, в это время на несколько минут становится прохладно. Но, только погаснет вечерняя заря и сменится ночью, опять тепло. Как ярки здесь звезды!»

6 декабря 1912.

«… Здесь нельзя не любоваться местным населением. Арабы очень

живописны, когда не отказываются от своего бурнуса и чалмы, променяв их на опошливающий европейский пиджак. Они рослы, стройны, у них благородная поступь, изящные движения. Много очень смуглых и даже совсем черных, но с красивыми, тонкими чертами лица, блестящими черными глазами и ярко-белыми зубами. Черные, когда не негры – суданцы, потомки древних египтян, очень напоминающие их старинные изваяния. Эта порода людей далека от вырождения; а между тем турецкое влияние, подчинившее себе арабов, уничтожило арабскую культуру, стоявшую, бывало, на значительной высоте: арабы, давшие нам изумительные образцы зодчества, славившиеся в астрологии, географии, истории, замерли в своем развитии. Современный культурный Египет обязан англичанам или вообще европейцам…

Встретьте и проведите Рождество и Новый год в добром здоровье и поминайте иногда искренно Вас любящего почитателя».

Ассуан 1913.

«… Здесь, в Ассуане, еще теплее, чем в Нижнем Египте; наша гостиница не в 5-ти верстах от Нила, как в Хелуане, а на самом правом берегу реки Фараонов. Здесь первая гряда нильских порогов, образуемая несколькими скалистыми островами, из которых наибольший, Элефантина, заросший густой тропической зеленью и стройными перистыми пальмами, красуется перед самым моим окном. Свое он название получил, как говорят, от прибрежных, омываемых в половодье

волнами Нила гранитных глыб; в этих плоских, гладких неуклюже-округлых скалах есть, правда, что-то слоновье: точно спины, бока и плечи огромных окаменелых слонов. Цветы в изобилии, олеандры розовые и белые; желтые, пахучие шарики мимозы, хорошо знакомые по котильонам петербургских балов; только мимоза здесь – тенистое дерево, и ее шарики втрое крупнее привозимых на берег Невы. Розы во множестве, есть и гвоздика, и родные подсолнухи…

… Не знаете ли Вы нового Министра Внутренних Дел Маклакова, занявшего самый трудный, ответственный в России пост? Можно ли возлагать на него надежды? И удастся ли ему, такому молодому и едва ли опытному деятелю, внести в работу правительства единство, систему и ясное сознание цели, об отсутствии которой Вы так справедливо сокрушаетесь?

Очень, очень Вам благодарен за вырезки из различных газет и журналов с образчиками современного «пленной мысли раздражения». Действительно, разве не пленные мысли в головах гг. Философовых, Мережковских, Зинаид Гиппиус и П. Б. Струве? И понимают ли сами они, что хотят сказать? Я читал Ваши вырезки, пока наш поезд мчался берегом Нила мимо пальмовых рощ, убогих, мазанных из глины лачуг в деревушках феллахов и тучных, ярко-зеленых полей, возделываемых обнаженными земледельцами с черными или бронзовыми стройными телами.

Стихи некоего А. Конге, в

которых «солнце низится, готовое от горизонта отколоться (!!)», напомнили мне, что надо поделиться с Вами моей попыткой описать солнце не откалывающееся, а просто садящееся за одной из пирамид Дашура, видных вдали за Нилом из наших окон в Хелуане. Но предупреждаю, что это очень ничтожное стихотворение:

ВЕЧЕР В ЕГИПТЕ

Алеет Нил румяным блеском…
Длиннее тени пирамид…
Багряный вал ленивым плеском
С прибрежной пальмой говорит.
Объята заревом пустыня:
Все ниже солнце… Через миг
Надгробья царского твердыня
Сокроет пламеносный лик.
Коснувшись грани мавзолея,
Горит он кругом огневым
И закатился, пышно рдея,
За исполином вековым.

С удовольствием читаю «Житейские встречи», и мне словно слышится Ваш знакомый голос, так как некоторые из этих встреч мне известны по милым рассказам в Осташеве и Павловске».

24 февраля 1913.

«Дорогой Анатолий Федорович… проведя 5 недель в Ассуане, 12 февраля мы перебрались в Луксор и здесь пробудем 3 недели. 5/18 марта собираемся на неделю в Каир, а потом в Сицилию. За этот месяц муза меня посещала: я написал два довольно крупных стихотворения, навеянных Египтом… Мне хотелось бы, чтобы эти стихи понравились Вам более написанных тоже под южным небом Бальмонтом, в которых только и есть хорошего, по-моему, что теплое чувство к далекой родине…

Разысканный «Русским библиофилом» вариант «Моряка» Лермонтова, если и не есть важное открытие, то все-таки может быть приветствуем, как каждая строка гениального поэта. – Как я сочувствую Вашему намерению выступить в поход против засорения и коверкания русского языка; блестящий образчик такого непозволительного отношения к языку содержится в присланной Вами вырезке… как бы я хотел помогать Вам в этом «походе». Хорошо бы, если бы каждый из членов Разряда изящ.

словесности принял в Вашем походе участие…

Из Измайловского полка мне пишут о деятельной подготовке к исполнению моего «Царя Иудейского» на сцене Китайского театра; идут считки, рисуются декорации и костюмы, Глазуновым сочиняются музыкальные номера. Драма должна пойти осенью. Государь желает присутствовать на одной из последних репетиций, чтобы, ввиду исключительности содержания пьесы, решить, можно ли будет исполнить ее в Эрмитажном театре при большом собрании зрителей.

Вы упоминаете, что скончалась хорошая Ваша знакомая, жена добрейшего П. Н. Воронова. Я ее видел один раз в жизни в Красном Селе, когда командовал последний год Преображенским полком, а ее муж был начальником штаба нашей дивизии. Я только что закончил формальные и скучнейшие аттестации офицеров полка и отослал их в штаб. Но Павел Николаевич заметил, что в последней графе аттестационных списков мною не было вписано против фамилии каждого офицера слова «достоин», означавшего, что аттестуемый может быть подвигаем по службе… И вот Воронов, тогда еще полковник, отыскал меня где-то в лагере, заманил в свою квартиру и заставил 70 раз вписать в пустую графу «достоин»… Если увидите П. Н., пожалуйста, выразите ему мое сердечное соболезнование».

19 апреля 1913.

«Дорогой Анатолий Федорович, начинаю это письмо дня за три до отбытия из Греции – мы поплывем в старую столицу дожей, чтобы налюбоваться перед отъездом в Штутгарт, Альтенбург и Вильдунген ее застывшею, но все еще очаровательною мраморного грезой…

Вы упоминаете о «Жизни за царя» на парадном спектакле в один из дней празднования Романовского юбилея, и это неудачное представление наводит на грустную мысль о незадачливости многих наших современных начинаний. Куда ни посмотришь, на всем лежит отпечаток какой-то неумелости, неловкости, бессилия. Все чаще приходит на память выражение из «Гамлета», переданное в моем переводе так: «Подгнило что-то в датском королевстве»…

Быть может, не зная вполне всех обстоятельств внешней политики, мы судим с односторонностью, а потому неправильно. Например, я никак в толк не возьму, что согласие России с австрийской выдумкой Албанского герцогства вяжется с нашими старинными историческими задачами… Я спрашиваю себя, может ли быть сильно правительство, действующее наперекор общественному мнению?

Вполне присоединяюсь к Вашему мнению о желательности,

чтобы письменные доклады о премиях предварительно рассылались наличным членам Разряда для ознакомления. Значительное число и объем этих докладов не дает возможности прочтения их целиком в самом заседании. И вот мы судим в нем о том, что сами хорошенько не знаем…

Получил книгу Э. Л. Радлова о В. С. Соловьеве. Она читается с наслаждением и будто очищает душу… Здесь стоит теплая, ясная, душистая весна, часто заманивающая меня в чудесный, огромный, тенистый, весь пропитанный сладким запахом цветущих апельсиновых деревьев дворцовый сад с темными кипарисами, увитыми белыми, желтыми и красными розами; с пальмами, платанами и южными соснами. В этом саду я нашел восхитительный уголок: среди густой зелени описывает круг дорожка… и приводит к одинокой скамейке под навесом вьющихся роз всех оттенков. Здесь уселся я с книгой Радлова. В головах доверчиво щелкал, свистал и заливался соловей; какая-то птичка возилась в листве надо мной, и ко мне на колени упал малиновый лепесток розы…

Теперь скоро полночь. Пора и честь знать, а потому прерываю эту болтовню».

13 июня 1913. Вилъдунген. «… Вести Ваших писем и приносимые газетами полны печали, заставляют с тревогой смотреть в будущее. Но велик Господь, и среди нашего измельчавшего поколения ужели не найдется хотя бы горсть праведников, по молитве которых Он помилует и спасет? Не понимаю, как могла Ваша речь о допуске в университеты кадет, реалистов и семинаристов не подействовать на Государственный Совет?…»

* * *

Константин Константинович вернется поздоровевшим в милое Осташево в конце июня 1913 года. Новая его должность – генерал-инспектор военно-учебных заведений – позволяла меньше проводить времени в командировках, как-то их упорядочить и, главное, освобождала от массы бумажных, отчетных дел. Значит, можно было читать и перечитывать со строжайшим отбором стихи для своего трехтомника и, главное, шлифовать текст драмы «Царь Иудейский» для театрального воплощения, проводить репетиции, улаживать множество конфликтов, которые породила эта пьеса.

В это время он знакомится с Н. Н. Сергиевским и предлагает ему быть редактором-руководителем всех изданий драмы.

Он берется за примечания к своей драме и за сокращение пьесы по ней. В Осташеве – «в нашей деревенской глуши» – у Великого князя гостил Кони, пьесу читали, обсуждали, и в результате К. Р. превратил ее из пятиактной в четырехактную, считая, что это хорошо отзовется на драме, освободившейся от излишних подробностей и повторений, от скучных для зрителей задержек и пауз. Приходили в Осташево и сообщения о том, что музыка, которую к драме пишет А. К. Глазунов, обещает быть удачной. Он представлял – нет, будто слышал – и увертюру, и музыкальный антракт, трубные звуки, а может быть, нужна и скрипка?…

Но уйти с головой в составление примечаний к драме – труднейшую, пространную, кропотливую работу – не давали служебные дела и обязанности члена Царской семьи – год был юбилейным, отмечалось 300-летие Дома Романовых. Пришлось срочно выехать в Петербург на праздник Преображения Господня, в день которого на торжественном богослужении был Государь. Из Петербурга заехал в Павловск.

«В Павловске вчера и третьего дня принимал многочисленную толпу вновь произведенных офицеров, бывших моих милых питомцев, из которых многих помню еще малыми детьми. И радостно было разделить их радость при вступлении в самостоятельную жизнь, и жаль отпускать на волю этих оперившихся птенцов, с иными из которых, быть может, никогда уже не придется свидеться. Храни их Господь…» – записал К. Р.

Наконец вернулся в Осташево. Но и сюда прибыли гости – юнкера Виленского училища.

ОДИН ДЕНЬ В ОСТАШЕВЕ В 1913 ГОДУ

Попробуем представить себе летний августовский день на берегу Рузы под Москвой в 1913 году…

Весь 1913 год протекал в празднествах и торжествах по случаю 300-летия со дня воцарения династии Романовых. [77]

Военно-учебным заведениям было указано совершить во время летних каникул экскурсии с юнкерами и кадетами в Москву, Троице-Сергиеву лавру, Ярославль, Ипатьевский монастырь, Кострому, Углич и Нижний Новгород. Летние каникулы в военных училищах приходились на 6 августа – 1 сентября, то есть со дня праздника Преображения Господня и до начала нового учебного года.

В Виленском училище на время каникул оставались 20–25 юнкеров. Всё уже было готово к поездке: экскурсия составлена, собрана экскурсионная библиотека, отвечающая теме и маршруту, юнкерам розданы юбилейные издания на память. Вагон отделан, в нем оборудованы походная спальня, столовая и читальня, украшенная портретами выдающихся сынов отечества, географическими картами, планами городов, иллюстрациями памятных мест и событий; имелся даже фотографический аппарат.

Великий князь инспектировал Виленское училище и жил в Оранском лагере три дня. Многое понравилось Константину Константиновичу, но больше всего – прогулка с юнкерами на озеро, юнкерское пение и иллюминация на воде и в лесу. Тогда же он поинтересовался, будет ли экскурсия по Подмосковью.

И вот за день до отправления поезда в училище приходит телеграмма: «Когда выезжает экскурсия? Хотели бы видеть вас всех по пути у себя в Осташево… Вышлем в Волоколамск лошадей. Ночлег приготовим… Константин».

После обмена несколькими телеграммами, из которых выяснилось, между прочим, что Великий князь надеялся услышать за обедней в своей церкви юнкерский хор (увы, на каникулы остались одни безголосые), всё было условлено и улажено. Одно только не было готово: выпускной альбом 1913 года. Но и то дело уладилось – его выслали вдогонку скорым поездом. О дальнейшем любил вспоминать генерал-лейтенант Борис Викторович Адамович:

...

«Я присоединился к экскурсии, и мы выехали 13 или 14 августа. Вместе с нами ехали еще два молодых офицера, только что выпущенные в полки Московского военного округа. Настроение, как всегда в экскурсиях, бодрое и объединенное, было еще приподнято нежданной радостью и честью приглашения в Осташево. Почти все должны были впервые войти в великокняжеский дом и семью, и потому понятно, что были некоторые волнения по вопросам этикета. И тут же в вагоне началась теоретическая и практическая подготовка для правильного их разрешения. Впрочем, облегчение в таких затруднениях обычно очень охотно и неприметно принимают на себя хозяева, оставляя наивных гостей в уверенности, что „никакого этикета почти что и нет“.

Ранним утром мы прибыли на ст. Волоколамск. Наш вагон отвели на запасной путь. В нем остались два наших молодых офицера в ожидании, что и они удостоятся приглашения, когда хозяева узнают об их приезде с экскурсией, и обязательством привезти с собой альбом, догоняющий скорым поездом.

На вокзале встречает кто-то вроде приказчика из экономии: «Лошади ждут». За нами высланы 6–7 четверок, с колокольчиками и бубенцами, запряженными в старомодные ландо и коляски с гербами на кузовах и дверцах; кучера в черных бархатных безрукавках, с красными рукавами и воротами шелковых рубашек и в круглых шапочках с павлиньими перьями – все по традициям старого усадебного барства.

Утро дивное. Природа – наша истая великороссийская, центральная, московская – открытая, привольная, богатая и красивая: золотые поля, горизонт заслонен, а небо все открыто, солнце светит и греет с минуты восхода, сквозя через траву косыми лучами и играя росой… Из трав кричат коростели, над

лошадьми уже мухи… Четверки бегут по проселку, то пыльному в поле, то колеистому в лесу.

Всего пути от станции до Осташево – верст восемнадцать. Верст за пять до усадьбы мы остановились на полянке леса, чтоб поразмяться, отряхнуть пыль и приготовиться к встрече.

Оставалось версты две, как по дороге навстречу показались всадники: Великий князь с сыном, князем Георгием Константиновичем и с берейтором позади. Великий князь был в сюртуке, князь Георгий – в кадетской белой рубашке с погонами Аракчеевского корпуса.

Мы остановились и вышли из экипажей навстречу. Великий князь поднял лошадь галопом.

– Добро пожаловать! Здравствуйте, дорогие виленцы!

После первых приветствий я представил Великому князю офицеров. Великий князь представил нам сына, шепнув мне сейчас же: «Пожалуйста, без титула – Георгий Константинович», а я представил Его Высочеству каждого юнкера.

Сейчас же тронулись дальше. Великий князь ехал сначала рядом с экипажами, разговаривая, но скоро пошел рысью вперед, спасаясь от пыли.

Вот и дворец – «приют уединенный», как назвал поэт-хозяин в своем стихотворении «Осташево».

Осташево – из подмосковных усадеб средней руки. Въездная дорога подвела нас к заднему фасаду двухэтажного, не очень большого, незатейливого барского дома с двумя небольшими крыльями, с куполом и на нем флагштоком и с широким, но низким подъездом. Вправо темнел старинный парк, за дворцом проглянули пруды. На подъезде нас встречала княжна Верочка, тогда ребенок лет семи-восьми, в больших круглых очках, которые она обречена носить до зрелого возраста, окруженная домочадцами: гувернанткой, управляющим двором, учителями князя Георгия и кем-то из гостей, проводящих в Осташево все лето. Едва поздоровались, Великий князь повел нас в комнаты, отведенные для юнкеров. Несмотря на то, что еще телеграммами выяснилось, что мы не можем остаться на ночь, для каждого юнкера была приготовлена, хотя и на полу, но манившая белизной и пышностью постель (я позже узнал, что многие после обеда все-таки повалялись на них, якобы отдыхая, чтобы использовать все, что предоставлено гостеприимством); для офицеров были отведены комнаты рядом, а меня Великий князь провел на половину Великой княгини и оставил в комнате, в которой уже лежали мои дорожные вещи, сказав:

– А вам, Борис Викторович, мы отвели «жениховую». Она так называется потому, что здесь у нас жил Багратион, когда был

женихом Татьяны. Приходите вниз к чаю!

За чаем внизу, в большой столовой, выходящей окнами на веранду и пруды, собрались все, кроме Великой княгини, которая еще не выходила. Великий князь сел за самовар и сам разлил на всех до последнего, каждого спрашивая, кому чай, кому кофе, да еще, если чай, то «покрепче или средний». С непривычки к обстановке и к сервировке «утреннего чая» у юнкеров глаза разбегались: что за чай, когда тут же и кофе, и булочки с тмином, печенье и масло, и липовый мед, и сливки, да еще «почему-то» и простокваша в порциональных баночках!.. Однако понемногу освоились и во всем хорошо разобрались…

После чая Великий князь провел нас по всему дому. После таких же прогулок по Мраморному или Павловскому дворцам, здесь Августейшему хозяину, знатоку и любителю старины и художества, почти что не на чем было останавливаться. Я помню, что более всего именно здесь была оригинальна и любопытна галерея портретов шаржей, вырезанных из выходивших когда-то приложений к «Новому времени», окантованных в стекла и развешанных по обе стороны светлого перехода из центрального здания в одно из крыльев.

Обойдя с нами дом и отпустив юнкеров с офицерами в церковь, Великий князь поднялся со мною наверх и провел меня в будуар Великой княгини. Елизавета Маврикиевна оканчивала кофе за маленьким столиком; я уже знаком с Великой княгиней; мы присели на минуту и обменялись лишь немногими фразами о дороге.

– Итак, мы сейчас встретимся в церкви; из-за меня все опаздывают. Услышим хорошее пение? Великий князь так много говорил о вашем хоре…

К сожалению, пришлось огорчить хозяев и даже разуверить, что не каждые 25 виленцев могут петь так, как пели 26 июля 1911 года вызванные на царский смотр виленцы-гимнасты, катая Великого князя вечером по Дудергофскому озеру, или как пели недавно поочередно 12 взводов в Оранах, на берегу озера Глух.

– Так вы идете, а то мы все опоздаем!

Мы отправились в церковь втроем – Великий князь с сыном и я – и вышли на дорогу к ней через веранду со стороны фасада дворца.

Немного скромно автор назвал просто лугом тот великолепный, многоцветный «мавританский ковер», одну из самых дорогих садовых затей, который расстилался от дворца до прудов.

В церкви пришлось пожалеть, что мы не могли составить хора: пели 5–7 дворовых, Георгий Константинович и два юнкера,

но у них «что-то не ладилось»…

Во время заупокойной ектений священник поминал скончавшуюся матушку Великого князя Александру Иосифовну. Великий князь и подошедшие уже Великая княгиня с дочкой опускались на колени.

По окончании службы, когда вышли за ограду церкви, я представил Великой княгине всех офицеров и каждого юнкера. Вот здесь юнкерам пригодились «практические» занятия по этикету… Здесь у ограды мы снялись общею группой. Из церкви возвращались порознь: я провожал во дворец Великую княгиню с Верой Константиновной, и мы отправились коротким путем на паром, а Великий князь с князем Георгием и с юнкерами отправились на купанье.

Когда я вернулся к ним, купание уже закончилось: юнкера шумно одевались, камердинер вытирал князя Георгия большой мохнатой простыней, а Великий князь старался выбраться на каблуках на берег по затопленным мосткам. Осташевская купальня не была рассчитана на взвод юнкеров.

С купанья мы прошли к кегельбану. Пока юнкера играли с Георгием Константиновичем или отдыхали в парке, Великий князь выслушал мой служебный доклад о жизни училища: о закончившем лагерь подвижном сборе в Либаве с выходом на шести миноносцах в море, о производстве и прощании с выпуском. Как всегда, мы перебрали попутно целый ряд юнкеров, заинтересовавших Великого князя и оставивших след в его удивительной памяти, чрезвычайно внимательной к людям. Помню, например, что мы говорили тогда о характере фельдфебеля третьей роты Сергея Карпувича. Гонг позвал нас к столу. Великому князю в этот период уже предписан был врачами особый режим: он не завтракал, не обедал, не ужинал, а «ел», как он говорил о себе, понемногу, но много раз в день; и его легкий завтрак не отличался от обеда, как и обед от ужина.

Но для нас в этот день, как для представителей «военно-учебных заведений», имеющих свою, особую репутацию в пищевом режиме, было приготовлено два сытных обеда – один около полудня и другой под вечер, и тоже не отличавшихся один от другого.

В той же столовой стол на 40 персон был накрыт покоем и убран гирляндочками зелени и цветами. С минуту мы ожидали выхода Великой княгини. Георгий Константинович, по обычаю семьи, читал молитву. Великий князь удивительно умел и любил создавать за столом общую беседу. Он чутко слышал и вслушивался, подхватывал тему, затронутую на одном конце стола, передавал темы из середины к концам, ободрял говорящих,

вызывал на реплики молчаливых и быстро всех вовлекал в непринужденную беседу, будучи ее душой и руководителем. Юнкера и в этом застольном испытании, сидя вперемешку среди членов семьи, домочадцев, чувствовали себя спокойно, хотя потом и признавались кой в каких курьезных, но несерьезных промахах…

… От юнкера к юнкеру, зигзагами, минуя посторонних, до середины стола доходит шепотом «передача»: «Князь Георгий Константинович пьет квасом за здоровье начальника училища». Обратно, тем же способом, в котором изощрились виленцы, доходит ответ: «Начальник училища благодарит и пьет вином за здоровье Георгия Константиновича».

После «первого» обеда пили кофе в гостиной и курили на веранде и в большом фюрмуаре, там же играли на китайском бильярде. А на веранде сняли княжну Верочку, когда она завладела чьим-то штыком и не хотела его выпустить из ручек.

Великий князь, имевший привычку после обеда крепко поспать буквально 10 минут, уже дремал и скоро ушел, сознавшись, что «и хотел бы», но не может себя пересилить. И все, кроме детей и юнкеров, разошлись по комнатам.

Княжна Верочка в тот период имела весьма «милитаристские» наклонности: у нее была в парке своя высокая походная палатка с целым арсеналом оружия и воинских доспехов, и еще до обеда маленькая Минерва появилась перед юнкерами на часах у своей палатки в серебряных латах и шлеме и с каким-то арбалетом на плече. Брат княжны Георгий Константинович, как кадет IV или V класса, «сердцем сознавая родство с великой воинской семьей», был, конечно, более милитаристичен в ту пору, чем сам Марс, и располагал еще большим арсеналом, обращая в оружие все, что попадало под руку. Понятно, что послеобеденная встреча так настроенных детей с юнкерами повела к немедленному разделению их на две армии: одна под командой князя Георгия, другая под командой княжны Верочки, к вооружению их «до зубов» оружием и садовыми орудиями, к защите и осаде крепости-палатки. В разгар сражения, когда «армия» князя Георгия, закончив обходное движение, бросилась «на ура» на штурм, а защитники палатки готовы были лучше погибнуть, чем выдать коменданта, появился Великий князь, и нас позвали к чаю.

Чай проходил быстро: было объявлено, что сейчас же все идем в лес по грибы. При сходе с веранды Великой княгине и нам подали корзины, большие размеры которых показывали и то, что здесь много грибов, и то, что собирать их привыкли тщательно.

Дорога шла направо с веранды через великолепный старинный сосновый парк, со сводами ветвей над заросшими

травой дорожками, полный аромата горячей хвои, и переходила неприметно в черный лес…

Недалеко от дома Великий князь указал мне на удивительно красивое местечко: крутой спуск парка налево к низине реки пересекали два овражка, образуя между собой холм, покрытый соснами, с великолепным видом на долину…

– Мы называем этот холм – холмом Олега: это его любимое место, – сказал Великий князь.

Мне вспомнилось, как когда-то, когда я сам еще был юнкером, мне случилось, делая съемку около Красносельского лагеря, увидеть в спину Великого князя, тогда еще молодого измайловца, одиноко и задумчиво сидевшего на таком же месте на Дудергофской горе с записной книжкой в руке…

Перейдя в березовый лес, мы разделились на две группы. Одну повел Великий князь, я присоединился к Великой княгине. Большие корзинки были взяты не напрасно и не напрасно сказана строка – «И белый гриб украдкой дразнит взор» – в поэтическом описании Осташева. Возгласы – «Ах, гриб!» – начались сразу. Великая княгиня восторженно радовалась своим находкам, но плохо видела. Мы шли рядом, и я, завидя гриб, «дразнящий взор», приостанавливался и начинал вслух догадки, что на таком месте должен быть гриб. Несколько раз мне удалось обрадовать Великую княгиню, но вскоре я был разгадан. Тем не менее, корзиночка Великой княгини наполнялась быстрее моей: юнкера подносили ей свои лучшие находки.

Гуляя по лесу, время от времени аукаясь между собой и с отделившейся группой, мы заговорили с Великой княгиней о «собирании грибов в Павловске» – так Елизавета Маврикиевна называла любимые Великим князем прогулки с сыновьями в Павловском парке для «собирания» и привода во дворец повстречавшихся кадет. С этой темы перешли на разговор о князе Олеге и обо всех детях. Я помню, как меня удивила совершенно тогда непонятная и странная тревога, с которой мать говорила о них. Казалось бы, где же и кому быть спокойнее, чем ей, за будущее своих сыновей и дочерей!..

Когда мы вышли на какую-то опушку, я спросил Великую княгиню, принадлежит ли это поле к их имению? Она отвечала, что не знает ни границ, ни дороги к дому. В это время навстречу нам с противоположной опушки показался Великий князь со своими спутниками. Мы сошлись на середине поляны; корзины были полны белыми грибами! Великий князь повел нас домой своей любимою дорогой. К нам вышли навстречу наши два молодые офицера, доставленные на тройке в Осташево после того, как прошел скорый поезд и привез наш альбом. Альбом был

с ними и тотчас же поднесен Великому князю. Великая княгиня опустилась на скамейку, юнкера сели вокруг и начали рассматривание, страница за страницей, нашей жизни и бесконечные воспоминания, вызываемые каждым запечатленным мгновением. Мы остановились дольше на страницах последнего приезда Великого князя: вот его вагон с ординарцами у входа, вот обход палаток, смотр пулеметного ученья, состязание в применении к местности, группа на сломанном дубе, отъезд… К концу разглядывания альбома юнкера поднесли Великой княгине целый сноп осташевских полевых цветов.

Мы возвратились в сумерках к ужину, или ко второму обеду. Еще где-то во время прогулки было замечено исчезновение Георгия Константиновича. Когда его не оказалось и дома, поднялась тревога. Я приказал, не делая шума, проверить и своих: не оказалось юнкера Алдатова, кавказца из православных осетин, будущего моего конного ординарца. Это был юнкер из тех, которых определили строки сонета «Юнкеру» Великого князя:

Как утра блеск, твое сияет око,
Решимостью и удалью горя.
Мир тесен для тебя: вдаль за моря
Стремишься ты, за облака высоко…

Но тем тревожнее было исчезновение именно с ним маленького князя. Тревога рассеялась к ужину: лихой кадет воспылал дружбой к лихому юнкеру и склонил его бежать вместе из узких пределов поднадзорной прогулки «по грибы» на рыбную ловлю с лодки. Вернулись оба сконфуженные, кажется, скрывая промоченные части обмундирования.

Несколько слов о судьбе Алдатова. К нему относятся и последние две строчки сонета «Юнкеру» Великого князя:

И рад сражаться с недругом жестоко
За родину, за веру, за Царя.

В самом начале I Мировой войны он был ранен и захвачен немцами в плен. В то время немцы занимались разложением наших пленных и выискивали, между прочим, магометан, которые могли бы пригодиться при выступлении Турции. Алдатов – православный осетин, знавший какое-то турецкое наречие и магометанские молитвенные обряды, – сумел так ловко выдать себя за магометанина-турка, ненавидящего Россию и фанатически

преданного падишаху, что немцы дали ему полную экипировку, снабдили «суточными» и отправили со своим военным агента в Константинополь в расположение турецкого правительства. По дороге, в Бухаресте, когда военный агент разговаривал у задней площадки спального вагона с приятелями из Германского посольства, Алдатов с саквояжем в руках стоял на передней площадке. А когда поезд тронулся, он сошел на платформу, раскланялся со своим «попутчиком» и его приятелем и отправился в русское посольство. Все это он сам мне рассказывал, будучи уже снова раненным, в лазарете лейб-гвардии Конного полка. Кончил он как суждено было кончить многим русским героям на войне.

Ко «второму» обеду среди прочих блюд были поданы и белые грибы в сметане. В чем тут проявилась ловкость повара – в быстроте или в смекалке – осталось тайной его и дворецкого. После обеда я был приглашен наверх к Великой княгине и Великому князю. Когда совершенно стемнело за окнами, по очертаниям прудов и островков, на пристани парома, и на деревьях стали загораться разноцветные фонарики и изукрасили вид сотнями огней иллюминации. Мы спустились вниз к собравшимся в цветнике у веранды детям со всеми «своими» и со всеми гостями. Влево от нас, не выдвигаясь вперед, но свободно разговаривая, вытянулась вся дворня барского дома и толпа крестьян. Все уже знали, что в честь гостей сегодня зажигается не только иллюминация, но и фейерверк. Полетели ракеты, римские свечи, жаворонки, шутихи, забили фонтаны, завертелись солнца. Раздавались «ахи» и восторги… Но помимо обычной красоты в этих «потешных огнях» была и другая красота: соблюдение традиции старого подмосковного приема гостей в барской усадьбе. По тем же традициям и заканчивался вечер. Мы перешли в зал и расселись под стенами, как перед балом; появились лакеи с подносами и начали обносить нас вареньями, мармеладами, пастилой, засахаренными фруктами, изюмом – вообще нашим старым, памятным с давнего детства «домашним десертом». Затем стулья сдвинули на середину, в круг, и начались игры. Первой игрой Великий князь выбрал шарады и сам вышел в другую комнату разгадчиком. Сговаривались недолго. Предложенная юнкерами фраза была одобрена Великой княгиней. Но недолго длилось и разгадывание: уже второго юнкера, выпутывающегося из какого-то длинного рассказа о «полевых» занятиях, Великий князь остановил словами:

…

«Постой, брат, постой, ты меня уже теперь не запутаешь, это девиз вашего училища: „Один в поле и тот – воин“.

Играли в «Рубль», «Веревочку», «Окончания слов» и, наконец, в «Довольны ли вы своим соседом?». Князь и княжна носились взапуски с юнкерами. Великий князь подавал пример «педагогическому составу». И даже Великая княгиня, участвовавшая во всех играх, время от времени шумно менялась со мною местами, «чтобы дети не подумали, что мы не играем». В шуме последней игры появились лакеи, опять с подносами, на этот раз с коробками конфет, которые все члены августейшей семьи раздали нам в дорогу. Георгий Константинович поднес коробку Алдатову. Мне же добрая хозяйка вручила не только конфеты, но еще и какой-то бинтик карлсбадской целебной грязи для прикладывания к суставам от ревматизма, который я получил, вернувшись в Вильну.

– Вы увидите, как это помогает, я только этим и спасаюсь, – говорила Великая княгиня.

Все вышли нас провожать в вестибюль; перед подъездом звенели тройки, освещенные факелами. Прощание было и шумным, и душевным. Наша благодарность не выражалась словами… Князь Георгий Константинович обнял Алдатова около экипажа… Великий князь сказал: «С Богом!..» Дворецкий крикнул: «Пошел!» кучеру моей тройки. И поезд тронулся.

Кто из нас не оглянулся на «приют уединенный», чтобы увидеть еще раз – а для многих это было и в последний раз – Великого князя, так отдыхавшего от официальной жизни, от двора, этикета, лести и фальши. Но освещенный подъезд быстро заслонили кусты и деревья. Была темная ночь. Мы ехали, мало переговариваясь, перебирая и запечатлевая в памяти виденное, слышанное и воспринятое.

Утром мы проснулись в Москве. Соблюли мы и старый московский обычай: с Брестского вокзала прошли пешком мимо Триумфальных ворот, Страстного монастыря, памятников Пушкину и Скобелеву, по Тверской прямо к Иверской и отслужили молебен, помянув всех Романовых, в семье которых виленцы начали экскурсию юбилейного романовского года.

Тот день, который мы провели в августе тринадцатого года, был одним из последних старобарских русских усадебных дней и, быть может, последним таким днем Осташева: то лето кончилось. Великий князь скоро уехал в Египет и вспоминал в письмах оттуда об этой встрече, а в следующем году они там уже не были.

Пусть та жизнь замерла навсегда, пусть то наше прошлое, что связано с барскими усадьбами, никогда не вернется… Я понимаю, это естественно. Но так же естественна была в свое время и наша прошлая жизнь, общая и господам, и домочадцам, и дворне, и крестьянам. На перемоле старой жизни вырастет новая, не будет и она чужою отошедшим».

ПЕРЕД СУДОМ МОЛВЫ

Но даже прекрасный день в Осташеве, полный светлой радости, которая, известно, лечит, не мог помочь Константину Константиновичу. Врачи опять настаивали на лечении в Египте. Константин Константинович прощался с задушевным другом:

...

«Дорогой Анатолий Федорович, эти строки – благодарственные и вместе прощальные: сегодня мы с моей Великой княгиней и сыном Гавриилом уезжаем в Египет. Заранее поздравляю Вас с приближающимся вступлением в 8-й десяток жизни. В этот день – 28 января – вспомню Вас в озаренном солнцем Ассуане, у самых нильских порогов. „Царь Иудейский“ едва ли будет поставлен на общественной сцене. Но жаловаться я не могу: постигшее его запрещение только окружило его некоторой таинственностью и служит его успеху. О нем много говорят и пишут, он переводится на языки немецкий, французский, латышский, чешский…

До свидания, надеюсь, в Осташево будущим летом»

(14 января 1914).

Вещи были собраны, младшие дети, Вера и Георгий, поручены заботам Императрицы, которая забирала их к себе в Царское Село. Проехали Варшаву, где в губернаторском замке Гавриил, к огромному удивлению, увидел портрет своего деда Великого князя Константина Николаевича, наместника Царства Польского в 1862–1863 годах. Проехали Венецию – здесь дрогнуло сердце Константина Константиновича. Его молодость и его поэзия где-то витают в волшебном воздухе созданного людьми и природой полуфантастического города. Поезд стоял

долго, и Великий князь успел взглянуть на освещенный луной Большой канал. Добрались до Каира, потом в белых вагонах (красили так из-за жары) поехали в Ассуан на юг. Гостиница была большой и удобной. После утреннего кофе все втроем – родители и Гавриил – шли гулять. Иногда гуляние заменялось катанием на лодках. Константину Константиновичу и Елизавете Маврикиевне очень нравились эти прогулки по воде – на веслах молодые арабы, а Нил – спокойный, полноводный. Взрослый сын был рад видеть счастливыми родителей. Гавриил вспоминал: «Родители были очень в духе, в особенности матушка. Она была счастлива быть все время с отцом и тем, что никто им не мешал, как это зачастую бывало дома. Обычно, живя в Павловске, отец часто ездил в Петербург и не всегда знал, вернется ли обратно в тот же день или будет принужден ночевать в Мраморном дворце. Матушке была очень неприятна эта постоянная неизвестность, и она тоже старалась выезжать в Петербург, когда отец там оставался. По правде говоря, это был их медовый месяц, свадебное путешествие…»

Гавриил, стоя вечерами на балконе и глядя на медленные воды Нила, тосковал о своей милой А. Н., которая «сидела в это время в холодном Петербурге, среди снегов, на берегу замерзшей Невы». Отец его тоже думал о Петербурге, но совсем по другим причинам. Мучили трудности, связанные с начавшейся самостоятельной «жизнью» его драмы «Царь Иудейский» – в театре, в издательствах, в публике. Гавриил уносился в мечтах к балерине Антонине Нестеровской, а Великий князь вечерами писал Анатолию Федоровичу:

…

28 января 1914. Ассуан.

«Дорогой Анатолий Федорович, не могу не вспомнить Вас сегодня, в день Вашего 70-летия… Да пошлет Вам Господь „старость покойную“. Как говорит Лермонтов, молясь перед иконой Матери Божией, „теплой Заступницы мира холодного“, за „душу достойную“. Надеюсь, Вы уже получили именной экземпляр моего „Царя Иудейского“… Хотелось бы приступить к новому драматическому произведению, но

нужно еще много прочесть, чтобы изучить эпоху. Задумываю показать в ней соприкосновение русской истории с грузинской в век царицы Тамары. Но у меня еще далеко нет убеждения, что мой план удастся».

23 февраля 1914. Ассуан. «Дорогой Анатолий Федорович… как бы хотелось без помощи чернил и бумаги поговорить с Вами о совершившихся правительственных переменах, о Вашей работе по борьбе с пьянством, о литературных Ваших занятиях, о биографии В[еликой] Княгини Елены Павловны. Вы опасаетесь, что у Вас не хватит сил и, главное, времени на окончание этого последнего труда. Вы тщетно перебрали всех, кто мог бы заняться этой работой. И вот мне пришла в голову дерзкая мысль предложить свои услуги… Надеюсь, что не погрешу ни односторонностью, ни недостатком художественности, ни тенденциозностью… Взвесьте хорошенько все доводы за и против моего предложения…»

9 апреля 1914. Харакс. «Христос Воскресе! Дорогой Анатолий Федорович, успех „Царя Иудейского“ (20-я тысяча которого уже разошлась без остатка) побуждает меня писать опять для театра. Уже более года обдумываю план пьесы и только в самое последнее время набросал его начерно. Очень долго и медленно зреют у меня в голове мои создания… У меня задумана драма на любопытный случай, упоминаемый еще Карамзиным в примечаниях к „Истории Государства Российского“, привлекший мое внимание лет 25 назад. Это появление младшего сына Андрея Боголюбского, Юрия, в Иверии

и его брак с царицей Тамарой. Мне кажется, это сюжет весьма оригинальный, живописный, картинный и никем не тронутый».

В Ассуан тем временем приехала из Афин сестра Оля. С ее приездом паршивенький городишко с пыльной дорогой, лавчонками и неказистыми домами, со страшным ветром, когда в небо поднималась, казалось, вся Сахара, стал будто другим – живым, многолюдным, загадочным. Константин Константинович нежно любил сестру и был ей рад несказанно. Начались поездки на остров Элефантин с его тайнами древней жизни. Поплыли вверх по Нилу к плотине, выстроенной англичанами. Посмотрели храм Изиды, стоявший в воде из-за этой плотины. Потом переехали в Луксор. Ну а уж там было на что смотреть каждый день. Великий князь видел раньше и Долину царей, и сфинксов, и храмы, но живущий в нем экскурсовод вдохновенно просвещал теперь жену, сестру и сына с такой же страстью, как гостей в Павловске или Мраморном дворце.

В Луксоре стояла страшная жара, арабы говорили, что не меньше 50 градусов. Константин Константинович смеялся: мол, цифры завышены. Однако все жаловались на раскаленный воздух, на недомогание, на головную боль, на сердце. А он гулял по Луксору в самое пекло перед завтраком в пробковом шлеме, пот катился по лицу, но он наслаждался жарой и на сердце не жаловался.

Что же случилось с его сердцем потом?…

Незадолго до отъезда из Египта Великий князь застал сына с книгой в руках.

– Что ты читаешь?

– Это военная книга.

– И интересно?

– Не очень, просто я думаю, что будет война.

Без всякой интонации отец сказал:

– Слухи о войне ходят несколько лет. Кто-то взбадривает себя…

Для Гавриила заканчивались те два месяца, на которые отец взял его с собой в Египет. Возвращался он тем самым пароходом, на котором прибыл в Александрию. Во время плавания познакомился с немецким принцем, и тот задал тот же вопрос:

– Что вы читаете?

– Это военная книга, – ответил Гавриил.

И немецкий принц Рейс, и русский князь Гавриил Константинович стали говорить на военные темы и о возможной

войне – каждый о своей войне…

* * *

А Великий князь продолжал размышлять над трудной судьбой своей драмы «Царь Иудейский».

Созданная на евангельский сюжет драма представляет последние дни земной жизни Иисуса Христа. В ней нет образа самого Спасителя, но именно Иисус Христос и его учение составляют содержание драмы, в которой разворачиваются основные евангельские события: торжественный вход Господень в Иерусалим, замысел убийства Христа, рев толпы, требующей казни Мессии, Крестный путь на Голгофу, Пилат, потрясенный страданиями Христа, люди, принявшие заповеди Спасителя и тем самым очистившиеся и преображенные… Вместе с тем на пути «Царя Иудейского» к зрителю возникали препоны, и здесь самое время рассказать историю создания драмы и ее постановки на сцене.

Константин Константинович мечтал о серьезном литературном труде. 26 сентября 1888 года в дневнике появляется запись: «Что же делать, когда я не могу создать драму. Неужели же я никогда не смогу этого? Может быть, я рожден лириком, а во что бы то ни стало хочу попасть в драматурги? Я не знаю, как расположить сцены. Как выставить характеры и найти наиболее сценичные сопоставления. Надо проникнуться и духом языка того времени. Все это представляет мне немало трудностей. Но работа меня увлекает… хочется избежать однообразия и недостатка действия, что так утомительно и скучно в театральных пьесах. Я еще очень неопытен даже в подготовительной работе».

Несмотря на ссылки на неопытность, в этом же году критикой была отмечена пьеса К. Р. «На страстной неделе», полная религиозного пафоса.

И все-таки к своей значительной драматургической удаче Великий князь пришел необычным путем. Он увлекся переводами драматических шедевров, в том числе «Гамлета» Шекспира. Можно смело сказать: с его именем связано становление русской переводческой школы. Интересно было бы сегодня подержать в руках книгу о Датском принце в переводе К. Р., чтобы самолично увериться: везде ли в ней «чувствуется веяние шекспировского духа», как пишет Кони, и так ли «благозвучны, ясны и отличаются изысканной простотой» стихи, рожденные даром переводчика, как это утверждал известный театровед А. Р. Кугель. Работа над

Шекспиром придала Великому князю смелости, чтобы обратиться к собственной драме. Тему подсказало само его мировосприятие.

Он был человеком глубоко верующим. Детство, взросление проходили в русле православной традиции. Зрелость питалась общехристианскими духовными сокровищами. Церковь – Дом Господа на земле, и молитва – стала первостепенной важностью в его жизни: он «с умилением вслушивался в богослужение… каждое слово проникало глубоко в сердце».

К 1884 году К. Р. создал цикл из шести стихотворений под названием «Библейские песни» и вошел в литературу знаменательными строками из первого стиха этого цикла «Псалмовец Давид» (1881): «… Не от себя пою я: /Те песни мне внушает Бог, / Не петь их не могу я!» Он хорошо знал Ветхий и Новый Заветы, житийные сюжеты, молитвы, апокрифические истории, исследования исторические, историю средневековых христианских мистерий.

«Наступила полная вера и умиленное отношение к Христу, Учителю любви к людям, затем явилось, как всегда бывает у человека… желание пропаганды, желание поделиться с другими, и в той форме, которая наиболее доступна человеку, – драматической форме. Но как поделиться, каким образом передать свою веру в Христа, в искупление, в лучшую жизнь, в награду за земные страдания? ‹…› Можно обратиться к народному эпосу, к народной легенде, к тому, как представляет себе народ праведную жизнь на Земле, состоящую в умении жертвовать собой для других, и страдать с твердой верою, и перейти затем в то иконописное царство небесное, которое себе представляет народ, – и тогда это будет „Град Китеж“ с чудною музыкой Римского-Корсакова и чудесным либретто Вельского. Наконец, можно обратиться прямо к Христу и изложить эпизоды из его жизни таким образом, чтобы величие и высота Его учения, прелесть и чистота того аромата, который истекает из того учения среди толпы невежд, враждебных людей, лицемеров, фарисеев, трусов и ожесточенных людей, являлись бы с особенной силой. Этот последний путь избрал Великий князь», [78] – говорил Анатолий Федорович Кони, в подробностях знавший от К. Р. историю написания драмы «Царь Иудейский».

Однако Иван Александрович Гончаров почти за четверть века до этого остерегал молодого К. Р., которому евангельское повествование о Страстях Господних «внушало пламенное желание воспроизвести его в форме рассказа, поэмы или драмы», от этой непосильной ноши. Возвращаясь из Мраморного дворца домой пешком по набережной, Гончаров размышлял о грандиозном плане молодого поэта. И вот что он ему написал 3

ноября 1886 года:

...

«Если, думалось мне, план зреет в душе поэта, развивается, манит и увлекает в даль и в глубь беспредельно вечного сюжета – значит, надо следовать влеченью и – творить. Но как и что творить? (думалось далее). Творчеству в истории Спасителя почти нет простора. Все Его действия, слова, каждый взгляд и шаг начертаны и сжаты в строгих пределах Евангелия, и прибавить к этому, оставаясь в строгих границах христианского учения, нечего, если только не идти по следам Renan: [79] т. е. отнять от Иисуса Христа Его божественность и описывать Его как «charmant docteur, entoure de disciples, servi par des femmes» (милого учителя, окруженного учениками, обслуживаемого женщинами), проповедующего Свое учение среди кроткой природы, на берегах прелестных озер и т. д., словом, писать о Нем роман, как и сделал Renan в своей книге «La vie de Jesus Christe» («Жизнь Иисуса Христа». – Э. М., Э. Г.). [80] Следовательно, художнику-поэту остается на долю дать волю кисти и лирическому пафосу, что и делали и делают живописцы и поэты разных наций. Даже жиды, и те в звонких стихах воспевают (разумеется, без убеждения, без веры и, следовательно, без чувств) страдания Христа, Голгофу и проч.

Всем этим я хочу только сказать, какие трудности ожидают

Ваше Высочество в исполнении предпринятого Вами высокого замысла. Но как Вы проникнуты глубокою верою, убеждением, а искренность чувства дана Вам природою, то тем более славы Вам, когда Вы силою этой веры и поэтического ясновидения дадите новые и сильные образы чувства и картины – и только это, ибо ни психологу, ни мыслителю-художнику тут делать нечего»

(3 ноября 1886).

Между тем Петр Ильич Чайковский, не задумываясь, воодушевлял К. Р. на создание «крупного произведения», словно подслушав желание поэта: «Так как Вы имеете счастье обладать живым, теплым религиозным чувством (это отразилось во многих стихотворениях Ваших), то не выбрать ли Вам евангельскую тему для Вашего ближайшего крупного произведения? А что, если бы, например, всю жизнь Иисуса Христа рассказать стихами? Нельзя себе представить более колоссального, но вместе с тем и более благодарного сюжета для эпопеи. Если же Вас пугает грандиозность задачи, то можно удовольствоваться одним из эпизодов жизни Христа, например, хотя бы Страстями Господними. Мне кажется, что если с Евангельской простотой и почти буквально, придерживаясь текста, например, евангелиста Матфея, изложить эту трогательнейшую из всех историй стихами, то впечатление будет подавляющее» (15 октября 1889).

К. Р. – 31 год. Он по-прежнему хочет написать драму, но по-прежнему не решается взяться за столь сложную тему. Он чувствует, что слаб для нее внутренне, духовно и по жизненному опыту. Мысль останавливается на событиях более локальных, из русской истории – время царевны Софьи, Василия III. И он пишет Чайковскому, что, если Бог даст, он выполнит эту задачу – стихи о Страстях Христовых, но «теперь я еще не дозрел до такого великого труда».

Шли годы. Потаенный замысел «взрослел», определялся, сопрягаясь с личной жизнью Константина Романова, желание осуществить его становилось потребностью. Правы те, кто считает, что «осуществление этого замысла равно предназначению, а это значит – жизни».

Поразительно, что мысль, высказанная Великим князем в 18 лет, по сути осталась в нем на всю жизнь: «Я так люблю Господа,

так мне хотелось бы изъявить свою любовь. Тут внутренний голос говорит: „Занимайся астрономией, исполняй свой долг…“ Неужели в астрономии долг? Ах, если бы я был учеником Спасителя! Как бы я тогда ходил за ним, как бы я хотел быть на месте ученика „его же любляще Иисус“, который возлежал у Его Груди. О, как бы я слушал все Его слова! Чего бы я не сделал для него».

Все, знавшие Константина Константиновича Романова, говорили, что он был прекрасным человеком, потому что носил в сердце Христа: «Это ключ к его обаянию».

И все же понадобилось 20 лет, чтобы найти в себе мужество и решимость взяться за написание драмы. Назвать ее он хотел «Что есть истина?». И писать начал в порыве души, без обдумывания и составления плана. В Страстную пятницу 27 марта 1909 года он написал 20 стихов первого действия. Вернулся к драме только в 1910 году в Осташеве.

Ему казалось, что все сошлось в начале этого года как-то удачно. Они всей семьей уехали в Осташево – там и встречали новый, 1910 год. Осташево лежало в белых снегах, сверкавших на морозном солнце, голубевших под вечерними звездами, и казалось волшебным. Константин Константинович звал гостей, объясняя, что в имение на берегу Рузы надо ехать по Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороге до Волоколамска, а там будут высланы лошади, чтобы сделать еще верст 20. Обещал приволье и тишину. Но больше всего этой тишине радовался сам. Не так много времени было у него для отдыха в Осташеве, но уже в первые два дня нового года он сидел над рукописью своего «дерзкого начинания» – «над драмой „Царь Иудейский“«. Скрипел снегом в аллеях осташевского парка, смотрел на синий, припорошенный лед Рузы, а думал о диалоге Никодима и Иисуса из третьей главы Евангелия от Иоанна:

…

«Между фарисеями был некто, именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно

говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия. Никодим говорит Ему: как может человек родиться, будучи стар? неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться? Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух. Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит: так бывает со всяким, рожденным от Духа…»

Потом, уже в Павловске, в апреле 1911 года с жаром писал в стихах монолог Никодима, в котором тот передает свой разговор с Иисусом.

Никодим

… Уже тогда я тайно ночью темной
К нему пошел, и дивные глаголы
Услышал от Него. Он говорил,
Что Царства Божия тот не увидит,
Кто не родится свыше от воды
И Духа.

Иосиф

Но как же может это быть?

Никодим

Он говорил со мной о том, что знает,
Свидетельство давал о том, что видит.
Незлобивый, Он кротко укорял,
Что земнородные не принимают

Свидетельства Его. Он о земном
Вещал, но не смогли мы верить, – как же
Уверуем, когда заговорит
Нам о небесном Он? Свет в мир явился.
Но в мире тьма была милее людям,
Чем свет затем, что злы дела их были.
Творящий злое ненавидит свет
И не идет ко свету, полный страха,
Что свет деянья злые обличит…

Тема драмы не выходила у него из головы, под ее знаком он воспринимал всё происходившее с ним и вокруг него. В Академии наук открыл благотворительную выставку произведений, созданных офицерами и матросами, служившими во флоте, а вырученные средства направлял на строительство храма в память моряков, погибших в войне с Японией. От Бахрушина в дар Академии наук принял ценнейшую литературную и театральную коллекцию. Был в Курской губернии на «величавых, проникнутых неподдельным благочестием и непоколебимою верою народа торжествах прославления святителя Иосифа. „Виденное и перечувствованное укрепляет веру в наш народ“, – сказал он Анатолию Федоровичу Кони.

Наконец, в Кореизе летом 1911 года был закончен первый акт драмы. Но уверенности в себе как драматурге не было. Состояние то же, что в Осташеве, когда записывал: «… Опасаюсь, что это будет слабое, неудачное произведение… Так хочется справиться со своей драмой, чтобы она была и порядочным художественным произведением, и в то же время сценической пьесой, т. е. смотрелась без скуки. Не имея опыта, руководствуюсь знатоком сцены Ростаном, стараюсь приноровиться к „Принцессе Грез“, конечно же не в содержании, а в чередовании выходов действующих лиц и в продолжительности речей».

Когда первое действие было закончено и прочитано первым слушателям, с кем возвращался из Крыма на пароходе, он послал рукопись А. Ф. Кони.

«Дорогой Анатолий Федорович, ценя Ваш художественный вкус, я бы очень желал знать Ваше мнение о новом моем литературном труде. Издавна мечталось мне попытать силы на драматическом произведении, и года два назад я, наконец,

решился приступить к 1-му действию „Царя Иудейского“, в котором главное действующее лицо – Христос – ни разу не должен появиться, а между тем вся драма создается только ради Него. Пока у меня готово только это 1-е действие, и раньше, чем приняться за продолжение, я хотел бы узнать Ваше веское мнение: стоит ли продолжать этот плод долгого, четверть векового обдумыванья. Рукопись, хотя и не черновая, полна вставок, выпусков, перекосов и помарок и представляет некоторые затруднения в чтении… Если Вы не одобрите дерзкого моего начинания, то не стоит и переписывать набело!» (8 июля 1911).

Кони и Ермолинский, человек очень образованный, умный, тоже познакомившийся с началом драмы, одобрили первое действие и саму мысль создания «Царя Иудейского».

Лето и осень в Стрельне прошли в подготовке к написанию следующего действия. «… Раньше, чем приступить ко 2-му действию своей драмы, в котором привожу в дом Пилата нескольких римлян, я погружен в чтение Светония, Тацита, Фридлендера, Флавия, Людвига и других. Надо проникнуться римскими веяниями».

Действительно, в этом действии на сцену он выводит главных героев: Пилата, его жену, префекта, трибунов. Чтобы всё выглядело достоверно и живо, следовало знать римский быт, обычаи, нравы, одежду и, главное, характеры персонажей. Целыми днями он сидел за изучением книг и только поздней осенью в Павловске начал писать второе действие. Работу прерывали поездка в Альтенбург, потом болезнь, но, странно, работа не задерживалась, а будто ускорялась. Хотя Великий князь болел очень тяжело, – четыре молитвы для персонажей он написал, лежа в постели, а сцену, где приходит весть о том, что схвачен Иисус, – в вагоне поезда после случившегося сердечного приступа.

Кони восторженно пишет ему: «Если бы дать эту драму для исполнения мейнингемцам или труппе Станиславского, этот конец мог бы потрясти всю зрительную залу». Речь шла о конце третьего (после переделок – второго) действия. Но, несмотря на радость от высокой оценки друга, К. Р. не давалось четвертое действие, которое должно было начинаться беседой Никодима и Иосифа, «мужа блага и праведна». Иосиф Аримафейский был богатым учеником Христа; [81] он уступил гробницу, приготовленную для себя, Спасителю.

Беседа не получалась, что-то не выстраивалось, и К. Р. обратился за помощью к Ермолинскому, попросив набросать текст их разговора. Заметки Ермолинского помогли, и беседа

легко укладывалась в пятистопные ямбы. К. Р. брал тетрадь в 20 линеек, карандаши и уходил в сад на Еленинский островок, возле храма Дружбы в Павловске. Представлял прочитанное, увиденное и услышанное на Святой земле… «С сердечным трепетом и слезами восторга сочинялись покаянный монолог Никодима… и заключительный псалом Иосифа», – вспоминал К. Р.
Анатолию Федоровичу Кони он писал из Павловска 30 марта 1912 года:

…

«Воистинно Христос воскрес!

… Вскоре надеюсь прислать Вам рукопись еще незнакомого Вам 4-го акта моей драмы. Теперь с увлечением работаю над 5-м, и, кажется, труд близок к окончанию. Он, Вы верно угадали, тот самый, о котором мы говорили с Иваном Александровичем (Гончаровым. – Э. М., Э. Г.) 26 лет назад. Долго же пришлось ему вынашиваться в голове и в сердце. Мне пламенно хотелось бы дать посетителям театра, особенно народного, здоровую пищу, удовлетворить их потребность в зрелищах, душу возвышающих, а не щекочущих низменные поползновения, которым, к прискорбию, потворствует многое из современного репертуара. Хочется верить, что проповедь добра, правды и красоты в художественной форме восторжествует над гнусностями корифеев литературы…»

С черновой работой были знакомы жена, дети, принцесса Елена, невестка Великого князя, а также Н. Н. Ермолинский, А. Ф. Кони, А. А. Майкова и баронесса С. Н. Корф. Весной в Мраморном дворце был устроен вечер, на котором Великий князь читал драму не только семейному кругу. Присутствовали: поэт А. А. Голенищев-Кутузов, профессора Н. К. Кульман, Ю. Ю. Бальи-Конт, режиссер Суворинского театра Н. Н. Арбатов. «Драма была

одобрена, – записывает Великий князь. – Но выслушанные замечания побудили меня раза два или три собираться с Ермолинским, Кульманом, Бальи-Контом и Арбатовым, чтобы по их указаниям внести в драму кое-какие изменения и исправления и подвергнуть ее необходимым сокращениям». После этого автор прочел драму на «Измайловских досугах».

Работа над «Царем Иудейским» продолжалась и во время лечения в Вильдунгене.

«… Увлечение своими литературными занятиями вполне овладело мною, – пишет он оттуда Кони 13 июня 1913 года, – во время лечения здешними водами и ваннами… В одной со мною гостинице живет очень привлекательная особа – Ольга Владимировна Гзовская, известная артистка сперва Московского Малого Театра, а теперь труппы Станиславского. Она… нисколько не похожа на актрису: ни цвет лица, ни привычка держаться, ни наряды, всегда изящные и безукоризненно скромные, не носят отпечатка крикливости и задора. Я не мог упустить случая и не ознакомить ее с „Царем Иудейским“ – мнение даровитой артистки так дорого драматическому автору. И я не раскаялся: она дала мне немало полезных и очень тонких указаний. Одновременно пришло письмо с замечаниями академ. Корша, весьма ценными. Я был с ним в оживленной переписке относительно как „Мессинской невесты“, так и „Царя Иудейского“. Уйдя с головою в исправление обоих этих трудов, я теперь покончил с ними…»

Оказалось, не «покончил»: Николай Николаевич Ермолинский, гостивший в Осташеве, предложил сократить «в интересах интереса» второе действие. Пришлось второе и третье действия сжать в один акт. После этого новое второе действие послали на прочтение артистке Императорских театров В. В. Пушкаревой. Она тоже внесла замечания. Наконец пьеса показалась автору вполне законченной.

В поэте К. Р. все же жил историк, архивист и до необъяснимости жадный до знания человек. Казалось бы, его поэтическое вдохновение рассказало всё, по силе своего дара, о последних днях земной жизни Христа, вылепило драму событий, характеров, отношений, интриг, трусости, предательства. Но нет, автор пишет примечания к пьесе, и они дают дополнительные краски тому или иному образу, вещи, слову, событию, оживляя их для нас. Вот некоторые выдержки из примечаний К. Р. к пьесе:

«ПИЛАТ … Личность Пилата уже с первых веков христианства и до наших дней привлекает к себе внимание историков и исследователей; Пилат является героем многих легенд. Встречается такой любопытный рассказ: Пилат велел

изготовить живописное изображение Христа. По позднейшей легенде это изображение было послано другом Пилата, Публием Лентулом, римскому сенату вместе с описанием внешности Спасителя. Вот извлечение из этого описания, в переводе с латинского: «Человек, выделяющийся из многих, высокого роста, видный, с лицом, внушающим к себе почитание. Глядя на Его лицо, можно полюбить Его и преклониться. Волоса имел Он кудрявые и густые, белокурые и лоснящиеся, ниспадающие на плечи; по средине головы, по обычаю назареев, был пробор. Лоб открытый, ровный. Лицо без морщин и каких-либо пятен, украшенное легким румянцем. Нос и рот безукоризненного очертания. Борода рыжеватая, цвета волос, не длинная и раздвоенная. Глаза с ясным и меняющимся взором». Как ни сомнителен источник этого описания, оно совпадает с древнейшими христианскими преданиями и искусством… Распространено много сказаний о Пилате, и некоторые из них напоминают легенду о Вечном Жиде. Как тот, неспособный умереть, беспокойно блуждает по миру и, в особенности, на Страстной неделе появляется здесь и там под видом утомленного жизнью старца, так и тело Пилата ежегодно в Страстную пятницу вытаскивается на скалу дьяволом; он обмывает труп, но не может очистить от запятнавшего его стыда, и так будет до Страшного суда…

ПРОКУЛА Жена Пилата видела сон о Христе в ночь, предшествовавшую осуждению его на смерть Пилатом. Нет сомнения, что душа ее была доступна для истинного и доброго, почему и была достойна того, чтобы Бог открыл ей Свою волю…

ОДЕЖДА ХРИСТА *Соткана руками Матери Его.* Между прочим, видно, что она была полна и прилична, и что между вещами, Ему принадлежащими, не было ни одной, которая бы не стоила чего-либо. Тканый хитон показывает даже избыток и изящество и, как повествует предание, был плод трудов Его Матери. Если сравнить одеяние Иисуса Христа с суровою, пустынническою одеждой Иоанна Крестителя, то усматривается значительная противоположность, которая простиралась и на весь внешний образ жизни Иисуса и Его Предтечи.

ВЕНЕЦ ХРИСТА

На соплетение сего венца употреблены были тернистые ветви; но какого именно дерева или травы (ибо тернистых пород много) – сего, по одному значению подлинных слов Евангелия, определить невозможно… Отцы Церкви, начиная с Климента Александрийского, разумеют терн в собственном смысле сего слова. В самом деле, хотя венец придуман не столько для увеличения мук, сколько в насмешку, однако бесчеловечная

прихотливость воинов, без сомнения, не усомнилась употребить самое колючее растение, какое только могло найтись на дворе прокураторском. А посему название венца Иисуса Христа «Терновым» соответствует и значению слова…

И все-таки неизвестно, из какого, собственно, растения сделан был этот колючий венец. Нубк (путешественникам) показался наиболее подходящим как для издевательства, так и для причинения боли, так как листья у него широки и шипы особенно остры и крепки; но хотя нубк очень распространен на берегах Галилейского озера, его нет вблизи Иерусалима. Но он мог быть в саду дворца Иродова. И солдаты, конечно, не много беспокоились о выборе и воспользовались первым растением, какое только попало им под руку… Есть и другое мнение. Венец, надетый на голову Господа, был сделан из тростника с вплетенными в него иглами zizyphus\'a. Самый венец хранится в соборе Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris). Пиза владеет одною ветвью zizyphus\'a, хранящейся в миловидной церкви Spina. Тростниковый венец – эта знаменитая реликвия, благодаря своей относительной целости, быть может, самая замечательная из всех, которыми обладает христианский мир, – бесспорно вывезен святым королем Людовиком IX. Он представляет собою кольцо, сплетенное из небольших пучков тростника. Что касается игл, то, без сомнения, это rhamnus – родовое название трех растений, вполне приближающихся к ветви, хранимой в Пизе. В венце Спасителя ветки его, изломанные и согнутые по направлению к середине, чтобы придать вид головной повязки, были прикреплены концами частью ко внутренней, частью к наружной стороне венца. Тростниковое кольцо должно было быть больше окружности головы, чтобы она могла войти в отверстие кольца, иначе вплетенные иглы не позволили бы его надеть. И, действительно, тростниковый венец в Notre-Dame настолько широк, что, возложенный на голову, непременно упал бы на плечи. Не нужно было даже других связей для прикрепления веток с иглами к тростниковому кольцу: стоило только пропустить их сквозь прутья тростника сверху вниз и снизу вверх, и они держались сами собою достаточно прочно. Вероятно, эту-то работу по укреплению веток с иглами евангелисты и называют плетением. Воины, без сомнения, избегали прикасаться к этим ужасным иглам, более острым, чем львиные когти, и причиняющим обильное кровотечение.

ХЛАМИДА Заставляя измученного Страдальца на потеху себе играть роль претендента на царское звание, грубые солдаты облекли Его, конечно, не в paludamentum [82] полководцев и царей и не в какой-нибудь заброшенный военный плащ с

пурпурными нашивками. Накинутая на истерзанное тело Господа багряная хламида была обыкновенным солдатским плащом из довольно грубой материи, окрашенной в красный цвет.

КРЕСТ ХРИСТА

Было время, когда особенно интересовались вопросом о древе креста Господня. Это период крестовых походов, эпоха религиозного возбуждения, когда массы народа хлынули с запада на восток для освобождения гроба Господня. В это время зародилось желание иметь историю того дерева, которое после сделалось орудием страданий и смерти Сына Божия. Появляются одна за другой легенды, в которых на различные лады варьируется одна и та же тема.

Во времена Давида один иудей случайно нашел в лесу дерево, ветви которого были покрыты тремя родами листьев. Пораженный таким видом дерева, еврей срубил его и принес к царю. Давид знает, что будет с этим деревом, и потому до самой смерти своей не перестает почитать его. То же делает и Соломон, из благоговения к дереву обкладывающий его золотом… Но вот послушать Соломона приходит царица Austi и говорит, что, если царю была бы известна будущая судьба этого дерева, он не относился бы к нему с таким благоговением. Услышав об этом, Соломон старается узнать недосказанное царицею, что ему и удается путем подкупа приближенного к ней. На этом дереве, узнает он, будет повешен такой человек, от которого падет все царство иудеев. Тогда, сорвав золото, Соломон бросает дерево на дно цистерны, вода которой с тех пор получает целебную силу. Так проходят многие годы до времени страданий Господа, когда цистерна была осушена и из дерева сделали крест, который понес Христос на своих плечах…

В эту древнейшую сагу после вошли новые элементы. Так, по одной вариации, происхождение дерева креста уже относится ко времени Адама. Оно вырастает из того зерна древа жизни, которое ангел вложил в уста умершего Адама. Под этим деревом Соломон после производит суд над своим народом. Другая вариация говорит, что из рая взяты были сыном Ноя, Ионитом (Ionitus) три отростка, которые потом чудесным образом срослись вместе. При Давиде дерево является на Ливане, и царственный пророк в трех составных частях его (ель, пальма и кипарис) узнает символ единосущной Троицы. Не Давид, муж крови, а Соломон, мирный царь, строит храм Иегове и хочет употребить в дело и это дерево. Но последнее является то слишком длинным, то слишком коротким. Тогда царь ставит его пред храмом для всеобщего почитания. Наконец, на этом же дереве на Кальварии был распят Иисус Христос…

Все эти фантастические, с библейскою окраскою легенды о чудесном трехсоставном дереве, интересные сами по себе, конечно, не могут дать ответа на вопрос: из какого дерева был сделан крест Иисуса Христа. Но также по одному разнообразию своему не имеют почти никакого значения. Так, нидерландец Липсисус утверждал, что таким деревом был дуб. Другие указывали на четыре рода деревьев: пальму, кедр, кипарис и оливу. Из отцов церкви Киприан называет только пальму, в то время как греческие писатели – кипарис, сосну и кедр. При решении этого вопроса прежде всего нужно принять во внимание, что крест Господа был самым обыкновенным орудием распятия, ничем не отличавшимся от других крестов, на которых часто приходилось римлянам казнить рабов и важных общественных преступников. Но для таких орудий позорной казни римляне не могли употреблять первое попавшееся под руку дерево. Некоторые из лучших родов деревьев у них были посвящены богам. Так, дуб был посвящен Юпитеру, тополь – Геркулесу, лавровое дерево – Аполлону, олива – Минерве и проч. Из таких же деревьев, как персиковое и кедровое, искусная рука резчика вырезывала фигуры тех же богов. Уже такое высокое назначение этих деревьев не дозволяло римлянину употреблять их на орудие казни… Возможно, что и род дерева брали подходящий – какое-нибудь из деревьев, одичавших и не приносивших никаких плодов…

ВИД КРЕСТА Тот, кто сам стоял на Голгофе и был свидетелем страданий и смерти Спасителя мира, мог бы более, чем кто-нибудь другой, сказать о внешнем виде креста Господня. Но ученик св. Евангелист Иоанн ничего не говорит нам об этом. Таким же молчанием обходят это и другие Евангелисты. Только у одного из них мы находим краткое замечание, имеющее для нас, при отсутствии других данных, большое значение: «И поставили над головою его надпись, означающую вину Его», – говорит Евангелист Матфей. Для того чтобы поместить здесь такую дощечку, необходимо, чтобы вертикальный, основной столб креста имел продолжение свое вверху над поперечным брусом, а в таком случае уже получится крест четырехконечный.

ВРЕМЯ КАЗНИ ХРИСТА

Историческая наука доныне не может с точностью определить года, в который совершилась крестная казнь Христа Спасителя. Если принять, согласно церковному мнению, что Богочеловек умер и воскрес в возрасте 33-х лет, то годом крестной смерти следовало бы признать 33-й год по Р. ХР. Но, по свидетельству профессора С. – Петербургской Духовной Академии Н. Н. Глубоковского, год рождения Христова неизвестен и определяется

ныне весьма различно.
Тем не менее, вопрос о точности определения года рождества Христова еще остается открытым. Та же неопределенность, следовательно, существует и относительно года крестной смерти Иисуса Христа. Замысел драмы побудил меня отнести рождество Христово к 1-му году до нашей эры, а крестную смерть – к 32-му году, поставив смертный приговор, произнесенный прокуратором над Христом, в зависимость от получения Пилатом вести о гибели Сеяна. Правда, и тут есть некоторая натяжка: Сеян погиб 18 октября 31 года по Р. Хр., и весть об этом должна была достичь Иерусалима несколькими месяцами ранее распятия Спасителя, совершившегося, как положительно известно, в марте месяце. Но автор драмы имел в виду не историческое исследование, а поэтическое произведение, и да будет прощена ему эта вольность».

* * *

Николай Николаевич Ермолинский приехал к Анатолию Федоровичу Кони посоветоваться о сложившейся ситуации вокруг драмы Великого князя, само положение которого, казалось бы, не должно было создавать вообще никаких «ситуаций».

– Анатолий Федорович, вы же знаете, что Его Императорское Высочество надеется поставить драму на большой общественной сцене. Но что происходит?

– Происходит грустная история – многими высказываются опасения, что пьеса не пройдет духовную цензуру.

– Но она уже прошла театральную цензуру… И потом, вы же знаете, да и все, кто ее слышал или читал, что драма написана с глубочайшим благоговением.

– Все так. Но есть затруднение в выведении на сцену главным героем Христа. Я думаю, что это тоже смущало Его Высочество. Ведь как было раньше? В средние века существовали мистерии, когда действующим лицом являлся Христос, но это были особые духовные представления, религиозные, которые давались с возвышенной целью и в известной особой обстановке. Надо заметить, что и ныне в «Страстях Господних» обстановка особенная, там люди готовятся в течение семи лет, там роли наследственные, в известной семье. Они в обыкновенное время уже ничего не играют, готовятся постом и молитвой и причащаются перед тем, как начать представление. Это своего рода священнодействие. Но допустить на обыкновенном театре представление с выведением на сцену Христа, причем накануне

будет даваться какая-нибудь модная пьеса о «получении пощечин» или «о законе дикаря», или тот же самый актер, который накануне произносил злостные монологи Франца Моора, на другой день будет благовествовать словами Иисуса Христа, – довольно рискованно… В Западной Европе существуют пьесы, в которых выведен Христос, например, «Дочь Пилата», но в ней Христос – не главное действующее лицо. Он едва обозначен.

– Но Великий князь тоже, вы же это знаете, не выводит на сцену Спасителя!

– Вот на этом и надо настаивать. Следует подчеркивать, что Великий князь остановился на таком приеме: он решил не выводить на сцену Христа, а передать дух Его божественного учения, захватывающего восторженного Иосифа Аримафейского и сомневающегося Никодима, жену Пилата, других женщин, проникающего сквозь трусость и злобу людскую. И он выполнил эту задачу более чем удачно. Во-первых, действие развивается естественно и жизненно, и интерес к нему не ослабевает ни на минуту… В этой трагедии помещены такие глубокие контрасты, которые придают действию чрезвычайную силу.

Ермолинский задумался, потом, как-то не соответствуя своей энергичной натуре, вяло сказал:

– Быть может, надо было бы остановиться на публикации пьесы? Издать «Царя Иудейского», написанного известным в России поэтом К. Р. Успех бы книга имела… Я уверен…

– Нет и нет. Пьеса живет, когда ее играют. И потом, в самом Константине Константиновиче столько артистизма. Он любит театр, музыку, сцену. Выступал как пианист, виолончелист, играл в «Гамлете», «Мессинской невесте». Я думаю, что Великий князь, конечно, думает о сценическом воплощении драмы. У него это – всепоглощающая идея.

– Сознаюсь, Анатолий Федорович, я сам больше всего хочу ее увидеть на сцене, будто я – автор, – смущенно улыбнулся Ермолинский. – Но чужие мнения… Бальи-Конт считает положение пьесы непреодолимым, Кульман говорит о сценической непригодности, дамы пугают цензурой.

– А именно, что их волнует – скажем, Татищеву?

– Слишком осязательна близость невидимого Спасителя… Так им кажется.

– Вот, вот… Это и может быть аргументом для цензуры. А о сценической непригодности пусть судит Арбатов. Он – режиссер, ему и карты в руки.

– Он говорит, что драма превзошла все его ожидания, и он видит ее на сцене. Кстати, он был на «Измайловских досугах», где состоялось чтение «Царя Иудейского».

– И что офицеры?

– Думали, что будет скучно, не ожидали, что драма захватит, взволнует, хотя кому-то, видимо, хотелось послушать что-то из военной истории…

– Но в драме ведь тоже война. За великое учение Спасителя. Кто сегодня может спасти Россию с ее внешними и внутренними врагами? Поверьте мне: только Учитель любви к людям.

Анатолий Федорович тяжело встал:

– Николай Николаевич, мое слово – за драму надо бороться. Вы рядом с Великим князем, вот и помогайте ему. Простите меня, едва стою. Прощайте.

* * *

Далее события развиваются странным образом. Ермолинский едет с рукописью драмы и письмом Великого князя к обер-прокурору Святейшего синода Саблеру. Саблер соглашается взять ее с собой в командировку в Варшаву, чтобы прочитать, но, качая головой, заведомо повторяет давно устоявшуюся фразу: «Изображение евангельских идей в театре – вещь непозволяемая».

В близком кругу возникает все больше сомнений. Константин Константинович сидит в кабинете над письмом воспитанницы Павла Егоровича Кеппена, которого, увы, уже нет в живых. Настенька, так зовут воспитанницу, хранит все томики его стихов, многое знает наизусть, поет знаменитые романсы Чайковского на его слова: «Растворил я окно», «Уж гасли в комнатах огни», «Серенада». Заметим, что среди русских образованных женщин поэт К. Р. был очень популярен. Настенька, конечно, знала драму и восхищалась ею, но все же написала Великому князю так: «Трепет и ужас берут, как подумаешь, что эта чудная молитвенная симфония предназначается для сцены… Шествие на Голгофу, Крестный путь Христов, да и многое другое – не могу себе представить на тех же подмостках, где исполняются обыкновенные театральные пьесы».

«Я не согласен с этим взглядом, – записывает К. Р., – но все же он заставляет задуматься».

Ермолинский предпринимает еще один шаг: передает рукопись драмы графу Татищеву, который возглавляет Главное управление по делам печати. Татищев прямо говорит, что бессилен перед Синодом, слово которого будет главным.

Однако режиссер Н. Н. Арбатов присутствия духа не теряет. Он обдумывает и готовит постановку пьесы, считая, что «в хоре нынешних авторов сцены – голос К. Р. своеобычный». Приезжает к

Константину Константиновичу и привозит макет декораций. Они автору нравятся, кажутся оригинальными. Арбатов уверен, что драма предстанет перед зрителем.

Тем временем Саблер рукопись прочитал и уверен, что «запрещение – несомненно», но, будучи ответственным человеком, передал ее в Синод на рассмотрение.

В июле 1912 года Константин Константинович пишет из Осташева Кони – немного грустно, немного раздраженно, немного обреченно: «… Драма моя „Царь Иудейский“ с внесенными в нее некоторыми поправками и изменениями побывала как в театральной, так и в духовной цензуре. Первая, ввиду содержания драмы, заимствованного из евангельского повествования, не встречая со своей стороны препятствий, ожидает решения второй. А эта последняя по указанию В. К. Саблера внесла вопрос о допущении драмы на сцену в Св. Синод. Архиепископ Финляндский Сергий пожелал ознакомиться с драмой, и Синод поручил ему дать о ней заключение. Я написал преосвященному Сергию и изложил ему побуждения, руководимые мною при создании „Царя Иудейского“, но еще не получил ответа. Как бы Синод ни решил, я не намерен отдавать своей драмы никакому театру, пока не поставлю ее сам в любительском спектакле… Только во время репетиций может выясниться, что подлежит сокращению или изменению…»

И вдруг 27 июля – телеграмма: «Ответ архиепископа готов». 1 августа К. Р. уже читает ответ, «с биением сердца и замиранием дыхания». В дневнике записывает: «Синод не встречает препятствий к напечатанию „Царя Иудейского“. Еще бы! Как будто я об этом спрашивал. Но постановка драмы на сцене признается невозможной, несмотря на то, что она произвела бы на зрителя еще более сильное впечатление, чем в чтении. Синод опасается, что благотворное влияние драмы будет с излишком покрыто несомненным вредом. Надеяться, что введением пьес, подобных „Царю Иудейскому“, облагородить театр невозможно, т. к. для этого необходимо было бы удалить все пьесы иного характера, а также и актеров из обычных профессиональных лицедеев превратить в своего рода *духовную корпорацию*. Все это немыслимо до той поры, пока театр остается театром; скорее наоборот: драма, отданная на современные театральные подмостки и в руки современных актеров, сама утратит свой возвышенный духовный характер, превратившись в обычное лицедейство, при котором главный интерес не в содержании, а в том, насколько искусно играет актер. Но если религиозное чувство оскорбляется театральным чтением и пением в церкви, то тем более оно должно будет возмущаться, когда наивысший

предмет его благоговения сделается материалом для сценических опытов заведомых лицедеев. Щадя религиозную совесть зрителя, ныне старательно удаляют со сцены все относящиеся к богослужению, например, иконы, церковные облачения и под‹обное›, – тем более не должна быть низводима до степени предмета суетного развлечения евангельская история».

Поскольку это была эпистолярная эпоха, то немедленно приводим письмо К. Р., адресованное Кони: «Дорогой Анатолий Федорович, посылаю Вам копию с письма архиепископа Финляндского по поводу „Царя Иудейского“. Как и можно было ожидать от близорукости наших современных иерархов, Синод, хотя и признает благотворное влияние моей драмы, могущее умилять душу верующих еще сильнее при сценическом представлении, чем в чтении, все же не желает воспользоваться этим добрым воздействием и запрещает постановку драмы на сцене ради второстепенных и пустоватых соображений.

Пишу Государю, приводя выписки из Письма Владыки Сергия и прося разрешить представление, если не в общественных театрах, то в Эрмитажном или Китайском, в исполнении любителей. Не знаю, пожелает ли Государь по примеру своего Прадеда, повелевшего, несмотря на запрещение цензуры, поставить «Ревизора», дать мне очутиться в положении Гоголя».

* * *

Изложив в письме Царю контраргументы на доводы Синода и вложив в конверт рукопись драмы, К. Р. всё отправляет в заказном порядке в Петергоф. Он оставляет себе слабую надежду, но при этом говорит актрисе Вере Васильевне Пушкаревой, что в жизни надо верить, что всё к лучшему, но в то же время ожидать худшего. «Видимо, Государь не пожелает идти против Синода, и тогда у него, автора, останется лишь один выход из положения: перевести на иностранный язык драму и поставить где-нибудь за границей».

За два дня до получения ответа от Царя он делает запись в дневнике достаточно нервного свойства: «Читает ли Государь мою драму? Какое впечатление произведет на него мое письмо? Как он взглянет на Синодское запрещение? Будь у него сильная воля и не согласись он со взглядами Синода, я бы мог надеяться, что царское слово откроет „Царю Иудейскому“ сцену, если не общественных театров, то Эрмитажного или Китайского. Но твердость не есть отличительная черта Государя. Возможно, если он и согласится со мной, то… другие убедят его во вреде

появления моей драмы на подмостках…»

Постановление Синода было получено Николаем II раньше письма Константина Константиновича. Царь оказался в трудном положении, но умно и спокойно вышел из него. Он прочитал драму, и она ему понравилась. Но идти против Синода он не хотел и поступил так: позволил сыграть драму на сцене придворного театра в исполнении любителей из «Измайловских досугов» с привлечением профессиональных актеров, дал указание директору Императорских театров содействовать постановке, решил финансовые вопросы и предоставил полную творческую свободу автору. Кроме того, Государь сам побывал на репетиции и был взволнован увиденным.

И все же личное письмо бывшему отцу-командиру Преображенского полка он тоже написал:

…

«Дорогой Костя.

Давно уже собирался написать тебе после прочтения вслух Аликс твоей драмы «Царь Иудейский». Она произвела на нас весьма глубокое впечатление – у меня не раз навертывались слезы и щемило в горле. Я уверен, что видеть твою драму на сцене, слышать в красивой перефразировке то, что каждый знает из Евангелия, – все это должно вызывать в зрителях прямо потрясающие чувства!

Поэтому я всецело разделяю мнение Св. Синода о недопустимости постановки ее на публичной сцене.

Но двери Эрмитажного или Китайского театров могут быть ей открыты для исполнения участниками «Измайловских Досугов».

Я высказал в разговоре с твоей женой, что при чтении твоей драмы, кроме тех высоких чувств, которые она вызывает, у меня вскипала злоба на евреев, распявших Христа. Думаю,

что у простого русского человека возникло бы то же самое чувство, если бы он увидел драму на сцене, а отсюда до возможности погрома недалеко.

Вот впечатление, навеянное силою драматизма и художественности твоего последнего произведения.

Желаю тебе, милый Костя, счастливого пути и полного поправления здоровья в Египте.

Целую твою жену и сестру.

Аликс тебе сердечно кланяется.

Всей душой твой Ники».

* * *

В октябре 1913 года начались, наконец, репетиции на сцене Эрмитажного театра. Автору нравилось, что декорации соответствуют его сценарию, хотя немного громоздкие. Еще играя с помощью суфлера, Константин Константинович уже очень волновался. Его роль – Иосифа Аримафейского – должна была вызвать доверие у зрителей: Иосиф – человек богатый, но понимающий суть учения Христа и сочувствующий ему. В спектакле были заняты и сыновья Великого князя – Константин и Игорь, а Иоанн принимал косвенное участие – выступал его хор певчих. Музыкальные антракты, хоры, музыку к пляскам написал композитор А. К. Глазунов. В дневнике К. Р. о сотрудничестве с Глазуновым есть забавная запись: «Композитор Рахманинов, которому, за первоначальным отказом Глазунова, предложено было написать музыку к „Царю Иудейскому“, тоже отклонил от себя эту задачу. Тем временем Глазунов, когда прошли дни запоя, под влиянием которого он, было, отказался, сам вызвался сочинить… музыку, если бы Рахманинов не взял этого на себя».

Глазунов сочинил прекрасную музыку, но иногда так увлекался, что забывал ее вспомогательную, подчиненную роль. Актеры уже репетировали в костюмах, на репетициях собиралось все больше зрителей – знакомые, сослуживцы, родственники. Репетиции все более походили на готовый спектакль. В зале был аншлаг, потому что весь Петербург полнился слухами о необычности и скандальности пьесы. Генеральная репетиция

вообще стала событием, на которое стремились попасть министры, члены Государственной думы, художественная интеллигенция Петербурга, журналисты.

* * *

Константин Константинович в те дни говорил: «В голове у меня почти исключительно мой „Царь Иудейский“«, однако он не мог не навестить в Аничковом дворце Дагмару, вернувшуюся из-за границы. Дагмара пригласила его с женой и сыновьями на завтрак. Швейцар и прислуга, ожидавшие на подъезде, были очень ласковы. И вот та же передняя, та же раскрашенная фотография Прусского Гвардейского гренадерского Императора Александра I полка. Подъемная машина подняла гостей на второй этаж. В гостиной на окне стояла фотография графа Иллариона Ивановича Воронцова-Дашкова. Всё царствование Александра III он был министром Императорского двора. Вдовствующей Императрице эта фотография напоминала о лучшем времени ее жизни. Мария Федоровна сказала это печальным голосом с милой хрипотцой.

Завтрак был накрыт в столовой рядом с кабинетом покойного Александра III. В этом кабинете он принимал доклады министров, а работать любил наверху, в маленьких комнатах с низкими потолками. Никто не понимал такого предпочтения большого и высокого человека, каким был Император. Все его комнаты Дагмара оставила в неприкосновенности. В одной из них стояла вешалка с его сюртуком.

В кабинете Александра III было много портретов. Портрет Александра II почему-то висел между портретами Павла I и Петра III.

После завтрака разговор зашел о положении России, об убитом Столыпине. «Вот кто должен был обуздать революцию», – сказала по-французски Дагмара. О предстоящей войне говорили как о деле очевидном, но почему-то совершенно спокойно.

Когда возвращались домой, Гавриил, со слов князя Шервашидзе, бывшего за столом, рассказал, что Император Александр II несколько раз просил перевесить свой портрет – не хотел висеть между двух убиенных царей Павла I и Петра III, но этого не сделали. И вот Александра II тоже убили… А Константин Константинович думал о печальной участи императорских вдов. Дагмару эта участь не миновала. Сладить с непопулярной в России, но властной Аликс ей не удавалось.

Перед глазами стояли престарелые официанты в синих

фраках… Одного из них Гавриил окрестил мумией. Приедет ли Дагмара на премьеру «Царя Иудейского»? Она ведь всегда любила театр…

* * *

Девятого января 1914 года на сцене Эрмитажного театра состоялась премьера драмы «Царь Иудейский». Начало было назначено на восемь часов вечера. Но публика, придворная, великосветская, роскошно одетая, сановная, с громкими именами, с репутацией «деятелей России», заполнила околотеатральные залы уже в семь часов. Многие из присутствующих, а позже и газеты, объясняли это тем, что впервые зрители смогли осмотреть обычно закрытые залы дворца. На самом деле имя и положение августейшего автора, борьба за возможность пьесы появиться на подмостках, необычная постановка и содержание ее – всё интриговало элиту Петербурга. Накаляло атмосферу ожидание высочайших особ. Открылись двери, и прекрасный Эрмитажный театр пригласил зрителей. Амфитеатром с бархатными сиденьями зал. Внизу кресла. Государь приехал из Царского Села с Великими княжнами. Он не забыл (а это в сложившейся ситуации важно) надеть жетон «Измайловских досугов», который вручил ему Константин в давние времена, когда они были молоды: Государь – еще Наследник, а Константин – командир Измайловской роты. Кстати, программу спектакля тоже украшал знак «Измайловских досугов» с девизом «Во имя доблести, добра и красоты».

В зале, как никогда, царила приподнятая, торжественная, в чем-то даже величественная атмосфера. Все двигались в замедленном ритме, будто готовили себя к священной теме предстоящей мистерии.

Раздалась увертюра. Благозвучная, широкая. Как гимн, торжественная. Ее звуки усилила хоровая стихия. Медленно начал подниматься занавес Эрмитажного театра, за ним открылся другой, созданный в теме мистерии. Даже сегодня сказали бы, что это чистый модерн! На густо-красном мрачном фоне занавеса, как молнии или тернии того жуткого венца, который описывал К. Р. в своих примечаниях, змеились зигзаги и изломы черного, как запекшаяся кровь, цвета. За этим занавесом, предвестником трагедии, слышались шум, крики, возгласы. Они были радостными – народ Иерусалима встречает Христа Спасителя!

Занавес, мрачный и тревожный, вдруг ушел в землю (находка Арбатова: занавес не раздвигался и не поднимался – он падал). И

зритель ослеплен югом, солнцем, синевой небес, красками нарядов толпы. «Стены иерусалимских домов из крупных серых камней, крутые изгибы улиц, зелень растений – словно бы сошли со страниц старинных альбомов, – передавали увиденное рецензенты. – Картина была жизненной и пленяла художественной достоверностью. Зал чувствовал, что за этой толпой, уже совсем рядом в Иерусалим вступает Христос».

1-й из народа

Благословен Давидов сын!

2-й

Осанна!

1-й

Осанна! Царь Израилев, грядущий
Во имя Господа!

3-й

Кто это?

4-й (презрительно)

Галилеянин!

5-й (с верою)

Пророк!

1-й

То Иисус, Пророк из Назарета…

Когда рассеется толпа, на сцене останутся сторонники и враги Иисуса. И среди них – Иосиф Аримафейский. Начнется спор, который закончится для Сына Божия Голгофой. Зритель запомнит мягкий, грустный голос, величавые неспешные движения, раздумья о предстоящем и силу веры в слова казненного Учителя – так играл автор драмы, Константин Романов, своего героя Иосифа Аримафейского.

Иосиф

Пускай навек Твои сомкнулись
очи,

И плотию уснул Ты, как мертвец,
Но светит жизнь из тьмы могильной ночи,
Сияя солнцем в глубине сердец.
Живительно, и действенно, и ново
В сердцах у нас Твое бессмертно слово:
Любви к Тебе душа у нас полна,
А где любовь, там смерть побеждена!

Спектакль закончился в час ночи. Занавес упал последний раз, но зал молчал. Казалось, еще доносятся звуки бичевания Христа – Глазунов соединил симфоничность с ясностью и доступностью музыкального восприятия. Аплодисментов не было – все почувствовали, что театр в это вечер стал храмом, а в храме нет места аплодисментам.

Многие говорили, что почувствовали себя так, словно прожили часть жизни в земное время Христа. Это же чувствовал и Николай II, человек религиозный и впечатлительный.

Конечно, нельзя здесь не сослаться на впечатление о спектакле верного и надежного Анатолия Федоровича Кони:

...

«Все, кто присутствовал на представлении, подтвердят, что в некоторых местах невозможно удержаться от волнения… таковы, например, сцены с Пилатом. Пилат – это, в сущности, губернатор, которому хочется показать лицом свою губернию, свою Иудею. Приезжает ревизор-префект из Рима, а в это время евреи кричат, шумят, требуют, чтобы им отдали того человека, которого Пилат совсем не знает, который ему представляется полусумасшедшим… Грозящие возмущением вопли надо утолить, иначе это может быть понято как

бездействие власти, как неумение управлять губернией и народом, соблюдать возможность сказать, что „все обстоит благополучно“. Префект приедет в Рим и скажет, что в губернии не все обстоит благополучно, и Пилат пострадает. И вот является сцена, в которой Пилат старается быть любезным со своим гостем и тревожится криками толпы, и жена Пилата, которая втайне следует Христу, но которая все-таки должна занимать гостя, говорить с ним о скачках в Риме, и новостях, и модах, когда у нее сердце не на месте. Это волнует зрителя. Затем Пилат несколько раз оставляет гостя, выходит на балкон, говорит с народом, а народ требует распятия Христа. Наконец, народ говорит ему жестокое для труса слово: „Еси не казнишь, не друг еси Кесарю“. Это окончательно грозит опалой Тиверия… И в то время, когда идет светский разговор, приходит на сцену раб, цедит из фонтана кувшин и уходит с этим кувшином, не произнося ни слова. Зритель понимает, что Пилат решил УМЫТЬ РУКИ.

Помимо поэтических достоинств «Царя Иудейского», впечатление от него таково, что можно с уверенностью думать, что многие, которые пришли на это представление как на светское удовольствие, больше заботясь о своем наряде и о том впечатлении, которое они произведут на окружающих, ушли с расстроенным, взволнованным, потрясенным и умиленным сердцем и, быть может, повторили слова Филарета в ответе Пушкину: «Вспомнись мне – забытый

мною!» [83]

В этом состояла общественная заслуга автора этой драмы. Она была поставлена на сцене, когда наше общество чрезвычайно предалось разным суетным удовольствиям, когда все время у светского общества проходило в забавах, на скачках, в кинематографах, в игре на тотализаторе, в созерцании танго, в утонченных мечтах, поливаемых реками шампанского.

Великому князю пришлось, однако, испытать много тревог и волнений по поводу своего произведения. Не все его понимали, сыпались осуждения, неосновательные, поверхностные. Я имел случай слышать от одной дамы, супруги довольно высокопоставленного лица, нападения на это произведение, причем она негодовала, что на сцене выведен Христос и Божия Матерь, а также Апостолы. На мои уверения, что нет ничего подобного, я получил ответ: «Помилуйте, ведь мой муж был в Эрмитаже и сам это видел и возмущался». Пришлось снова подтвердить, что на сцене Христоса нет, и 11 Апостолов тоже нет. Но почему же 11, – спросила меня дама, – а не 12? И, каюсь в том, сказал, что двенадцатый – Иуда – сидит в зале среди публики».

* * *

Рецензенты спектакль хвалили. Он был необычен – ни на спектакли Малого театра, ни на современный театр Станиславского – МХТ, где была полная иллюзия жизни,

спектакль не был похож. Скорее, это была эпическая поэма в картинах. И каждая картина – как отдельная законченная глава. Отмечалась в рецензиях музыка Глазунова, выше всяких похвал был хор князя Иоанна. Не побоялись критики похвалить профессиональных актеров, хотя рядом играли любители. Хвалили и их. И правильно делали – многие падут на фронтах спешащей в Россию войны…

Конечно, невозможно было не отметить декорации, их роскошь, гирлянды живых цветов, красоту костюмов и находки режиссера Н. Арбатова.

Казалось бы, дорога на сцены театров России драме открыта. Ее так ждали в провинции, ею заинтересовался театральный мир за рубежом. Предполагались гастроли в Австро-Венгрии, Франции, Германии, Англии. Однако борьба «за» и «против» продолжалась.

* * *

Императрица Александра Федоровна отказалась быть на спектакле. Говорили, что по совету Распутина. Не был в театре Великий князь Петр Николаевич с женой. «Должно быть, был одного мнения с Синодом», – иронически заметил Гавриил Константинович. Великая княгиня Мария Павловна, прежде чем ехать на спектакль, спрашивала разрешения у священника, зная, что Синод был против постановки пьесы.

Великий князь Николай Николаевич, человек резкий, часто грубый и даже жестокий, взбалмошный и неуравновешенный, был тоже приглашен на спектакль, но не поехал в театр. Жил он тогда в Отрадном, в шести верстах от Стрельны. Пригласив к себе протопресвитера русской армии и флота отца Георгия Шавельского, Николай Николаевич сказал:

– Очень рад с вами познакомиться. После вашего назначения я внимательно следил за всеми газетами. Ни одна не отозвалась о вас худо.

Отец Георгий совершил литургию в церкви Великого князя. Церковь стояла в парке. Построенная в стиле XVI века, она была украшена древними иконами, состояние в ней было благостное. В хорошем настроении сели за завтрак.

Николай Николаевич сказал отцу Георгию, что хотел бы посоветоваться с ним по близкому ему вопросу:

– Каково ваше мнение о пьесе Великого князя Константина Константиновича «Царь Иудейский»?

– Мне она не понравилась.

– Отчего же? Мнение Синода?

– По прочтении у меня создалось впечатление, что к святыне прикоснулись неосторожными руками. Особенно мне не понравился любовный элемент, сцена во дворце Пилата, когда воины ухаживают за служанкой.

– Ну, это мелочи жизни. – Николай Николаевич помолчал и твердо сказал: – Очень рад, что вы думаете так же, как я.

По тону чувствовалось, что Великий князь очень сдержанно относится к своему двоюродному брату Константину Константиновичу.

От Николая Николаевича протопресвитер возвращался с герцогом Сергеем Георгиевичем Лейхтенбергским.

Когда поезд тронулся и разговор за шумом не мог быть слышен ни в коридоре, ни в соседнем купе, герцог вдруг спросил:

– Батюшка, что вы думаете об Императорской фамилии?

Вопрос был настолько прямолинеен, остр и неожидан, что протопресвитер смутился.

– Я только начинаю знакомиться с высочайшими особами, большинство из них я лишь мельком видел… Трудно мне ответить на ваш вопрос, – сказал он с удивлением.

– Я буду с вами откровенен, – продолжал герцог. – Познакомитесь с ними – убедитесь, что я прав. Среди всей фамилии только и есть честные, любящие Россию и Государя и верой служащие им – это великий князь Николай Николаевич и его брат Петр Николаевич. А прочие… Владимировичи – шалопаи и кутилы, Михайловичи – стяжатели, Константиновичи – в большинстве какие-то несуразные. Все они обманывают Государя и прокучивают российское добро, не подозревая о той опасности, которая собирается над ними. Я, переодевшись, бываю на петербургских фабриках и заводах, забираюсь в толпу, беседую с рабочими, я знаю их настроение. Там ненависть всё распространяется. Вспомните меня: недалеко то время, когда так махнут всех, что многие из них и ног из России не унесут…

Батюшка с удивлением и ужасом слушал эти речи, лившиеся из уст все же члена Императорской фамилии.

В такой атмосфере ставился «Царь Иудейский», а его автору казалось, что светлой молитвой можно остановить грядущую катастрофу и продолжать в любви нести службу любезному отечеству.

* * *

Противники постановки драмы были не только в Царской

семье – о Синоде не говорим. Борьбу против спектакля возглавила фракция правых Государственной думы и члены «Союза Михаила Архангела» во главе с В. М. Пуришкевичем. Одна из черносотенных газет буквально на следующий день после премьеры откликнулась на спектакль циничным пасквилем. «Если при мне, – говорилось в нем, – кто-нибудь будет мазать помелом по лику Божественного изображения на образе, то с каким ни делай он это „благоговением“, я сочту своим долгом сына Православной церкви протестовать против такого „благоговения“. А выводить на театральные подмостки евангельские события, заменяя сокровенно прекрасные светлые слова Божественного благовествования „неловкими стихотворными оборотами“, и выставлять „балетный номер“ у Пилата – это хуже, чем замазывать лик на образе».

Несмотря на поход Пуришкевича и К0на «Царя Иудейского», или, может быть, именно благодаря этому походу, десять тысяч экземпляров первого издания были распроданы без остатка через две с половиной недели.

Драма широко разошлась по России. Она была издана тиражом более чем 25 тысяч экземпляров, немедленно переведена на многие европейские языки, успешно ставилась за границей. Да и многие российские театры и антрепризы включали ее фрагменты в свой репертуар. Правительству пришлось пойти на компромисс, и в мае 1914 года циркуляром министра внутренних дел было разрешено «чтение ее как целиком, так и отдельными местами, но без сценических костюмов…». Однако этого показалось мало, и вскоре было выработано новое условие – читать драму мог только один человек. И актеры шли на этот компромисс: знаменитый Мамонт Дальский, И. Судьбин объездили с чтением драмы всю провинцию, имея всюду оглушительный успех. В театральной хронике столичных газет ежедневно мелькали сообщения о подобных чтениях во всех российских губерниях. А с началом войны, когда сборы в театрах резко упали, многие антрепренеры буквально спасали свои театры, объявляя чтение «Царя Иудейского».

Всё это, конечно, было известно Великому князю. Но радоваться ему или печалиться – он не знал. И писал из Египта Анатолию Федоровичу:

…

«На днях узнал я, что в Урюпине

(войска Донского) один податной инспектор взялся прочесть в клубе без платы за вход моего „Ц. И.“ перед публикой. Хоперский окружной атаман чтение разрешил. Напечатали и расклеили афишу, но на третий день помощник пристава взял с чтеца подписку, что он читать не будет, т. к. чтение пьесы запрещено Синодом. Податный инспектор написал частное письмо окружному Атаману, указывая, что едва ли удобно запрещение, т. к. всем известно, кто такой К. Р… Чтение разрешили… но директор Реального училища запретил на общей молитве ученикам быть на чтении. То же сделали в Женской гимназии. Зато эту молодежь пустили в вечер чтения в кинематограф, где показывалась порнографическая драма „На дне полусвета“. Как это умно! Подобные запрещения чтения напечатанной книги имеют место по всей России и даже в Петербурге»

(9 апреля 1914. Харакс).

Драма имела оглушительный успех во всей России, но полноценной театральной жизни у нее не было, несмотря на царственную принадлежность автора.

Вновь собрались члены Синода, чтобы обсудить драму, и категорически высказались против постановки пьесы на сценах русских театров. Причина была все та же: упоминается имя Господа, выведены на сцену исторические личности, а Церковь их чтит как святых. Подливал масла в огонь «Союз русского народа». В его печатном органе «Русское знамя» ежедневно выходила афишным шрифтом следующая прокламация: «Во имя православия, во имя незыблемых основ бытия православной самодержавной России недопустимо публичное поругание Господа нашего Иисуса Христа в пьесе „Царь Иудейский“».

* * *

В один из счастливых дней Константин Константинович записал в дневнике не свойственные его природной скромности слова: «О драме говорят, что это большое произведение, которому суждено сыграть роль в истории театра». Заметим, что не только в истории театра. После «Царя Иудейского» именно К. Р. считают зачинателем ренессанса религиозной темы в России. В дальнейшем к мотивам евангельского сказания обратятся и Дмитрий Мережковский, и Вячеслав Иванов, и Николай Бердяев, и Михаил Булгаков… «Но в пору борьбы за постановку пьесы, – как писал умный и талантливый театровед А. Кугель, – драма выдвинула на очередь важный вопрос об отношении церковных сфер к театру, о предрассудках, которыми до сих пор питается отсталая мысль… Именно в этом смысле я считаю постановку драмы К. Р. крупнейшим событием. Она обострила старые, вековые противоречия и обнаружила истинную подкладку гонений на театр».

* * *

– Ваше Высочество, разрешите представить прекрасного, опытного издателя и вашего поклонника – Николая Николаевича Сергиевского, – сказал руководитель постановки «Царя Иудейского» на Эрмитажной сцене Петр Васильевич Данильченко, подводя к Великому князю человека среднего роста и довольно уверенного вида.

– Очень приятно. Мне как раз нужен издатель для намеченного мною издания «Царя Иудейского». Как вы на это предложение смотрите?

– С радостью. Готов начать дело завтра.

Так у Константина Константиновича появился свой издатель.

Сергиевский действительно «дело начал завтра»: как только он получил драгоценный экземпляр драмы с пометками, вставками августейшего автора, явился в типографию, с которой имел давние отношения, и поставил условие – набрать книгу в четыре-пять дней. В типографии согласились.

Это случилось еще до премьеры «Царя Иудейского» в Эрмитажном театре, и автора мучила совесть. Всем и повсюду он говорил, что не начнет печатать драму, пока не «обкатает» ее на сцене, дабы увидеть недостатки. Так сложилось, что «Царь Иудейский» раньше зимы 1914 года на сцене появиться не мог, а сейчас лишь ноябрь 1913 года. Значит, он, Великий князь Константин Константинович, «человек христианского смирения», как о нем говорят, лукавит и бунтует?

Он нервно прошелся по кабинету, ничего не придумал и пошел к жене.

Лиза на своей половине пила чай.

– Я не могу свести концы с концами! – почти трагически сказал он.

– А ты расскажи о каждом конце отдельно, – спокойно ответила Лиза.

– Один конец – театр. Другой – типография…

Он, как всегда, был немногословен, но она выспросила всё и, наливая в чашечку чай, сказала практично и определенно:

– Тебя же вынудили так поступить. Публика желает читать и видеть драму. Как и где ей это сделать? Способ один: взять в руки ее издание… Издавай и побыстрей.

Ах, Лиза! «Две незабудки, два сапфира… ее кудрей руно златое…», как сказал Фет.

Типография так спешила, что через несколько дней уже были готовы гранки. Сергиевский поехал в театр и показал гранки Данильченко. Они были с опечатками, без корректурной читки, но Данильченко стал их просить, а Сергиевский не давал, боясь, что «грязный» набор попадет в руки Великого князя. Петр Васильевич Данильченко неспроста был секретарем «Измайловских досугов» – он умел упрашивать, настаивать, уговаривать. И в этот раз уговорил отдать ему гранки, обещал не показывать их Великому князю.

Но не успел Сергиевский спуститься в артистическую комнату Эрмитажного театра, где готовились к репетиции, как Великий князь спросил:

– Правда, что рукопись набрана? Мне Данильченко сказал. Невероятно, непостижимо! Вы – волшебник, маг. Вы мне дадите набор?

– Нет, нет! Он не читан, оттиск грязный, – нервно замахал руками Сергиевский перед библейско-величавым Великим князем, уже облаченным в костюм Иосифа Аримафейского. – Через два-три дня я представлю окончательно выверенную и исправленную корректуру. Александра Алексеевна Майкова сама прочитает… Лучше ее никого нет…

За ужином, после репетиции, Сергиевский сидел за столом против Его Императорского Высочества и, как вспоминал потом, «служил предметом особого внимания».

Через два дня он получил от Данильченко гранки, полные корректурных исправлений, изменений, дописок, и узнал руку Великого князя. Получалось, что в ночь с 7 на 8 декабря К. Р. выправил 15 с лишком авторских листов! «И для заправского корректора работа нелегкая, – в отчаянии думал Сергиевский. –

Но я-то теперь в каком виде?! Что можно подумать обо мне как об издателе?!» Он пишет извинительное письмо: «… не имел в виду, что Ваше Высочество изволит читать»…

В тот же день ему пришла телеграмма: «Очень прошу, не огорчайтесь. Увидев корректуру у Петра Васильевича, насильно отобрал ее. Не устоял перед удовольствием выправить ее. Нашел в ней сравнительно мало погрешностей. Константин».

«Мало погрешностей…» Их имелось слишком много, но деликатность и доброта Великого князя, как всегда, были безграничны…

В ближайшее время в продаже появились общедоступные издания драмы – рублевые и стоимостью в 75 копеек. Вслед за общедоступными – вышло иллюстрированное, за 4 рубля, а затем роскошное дорогостоящее, с примечаниями и сценами из спектакля.

Большой спрос имели почтовые открытки с героями драмы и сценами из нее.

Естественно, в печати появились и отзывы на издания, в большинстве своем глубокие и развернутые. Один из рецензентов высказал интересную мысль, что «Царь Иудейский» – это не мистерия, а историческая драма, в которой много жизненного, реального, бытового, и потому грандиозное трагическое событие переживается людьми как личное.

Однако лучшим комплиментом критики для Великого князя стало замечание о том, что «Царь Иудейский» напомнил о чистом воздухе пушкинской поры, что вся пьеса – «в тонах пушкинской школы».

Возможно, читая эти строки, Константин Константинович видел перед собой милых его сердцу великих стариков – Гончарова, Фета, Полонского, Майкова, Страхова, а себя – молодым, постигающим у них науку пушкинской школы и мечтающим о романе с вечностью.

* * *

Роберт Юльевич Минкельде вошел в кабинет Великого князя с бумагами:

– Ваше Высочество, на февраль 1914-го драма переведена на французский, немецкий, английский, чешский, румынский, латышский, грузинский и армянский языки. Есть еще заявки на переводы, их число стремительно растет…

– Ну что делать? Подобно тому, как вы разрешили госпоже Парзян перевод на армянский язык, разрешайте переводы на

любые языки… [84]

Великий князь понимал, что на общественной сцене его пьесе не бывать, и был благодарен Николаю II, который дал согласие на повторный спектакль в следующем, 1915 году. Но как грустно звучат строки его письма глубоко любимой им молодой актрисе Вере Васильевне Пушкаревой: «Хотелось порадовать вас вестью… что последовало высочайшее соизволение на возобновление „Царя Иудейского“ в Эрмитажном театре. Можно ли было думать… при получении этой приятной вести, что не пройдет и двух недель, как война охватит всю Европу?»… [85]

СЫНОВЬЯ УШЛИ НА ВОЙНУ

Несмотря ни на какие события тревожного свойства, и в Германии, и в России стояло дивное лето с перемежающимися грозами, ливнями, солнцем. Пар шел от мощеных тротуаров, над травами в парках висела кисея тумана, и всё цвело, настаивая ароматами теплый влажный воздух. В Германии о неотвратимости войны говорили чаще и увереннее, чем в России. Но в кругу светлого мира летней природы в это не верилось. И вдруг в Германию К. Р. приходит телеграмма от брата Дмитрия, который сообщает о мобилизации.

Константин Константинович в это время лечился в Наугейме, а жена с двумя детьми гостила в Бад-Либенштейне у своей матери. Он немедленно выехал в Бад-Либенштейн, чтобы забрать семью и вернуться в Россию. Это горькое путешествие на всю жизнь запомнила княжна Вера Константиновна.

...

> *«В те дни Германия была охвачена военной истерией. Всем чудились русские шпионы и автомобили с русским золотом. Наш автомобиль также был принят за шпионский. На станции, где мы ожидали поезда, кто-то грубо заметил, указывая на брата, что мальчик мог бы, по крайней мере, снять русскую шапку: брат носил матросскую фуражку с надписью „Потешный“.*

У русской границы в Эйдткунене поезд остановился. Нам приказали не закрывать окон и дверей вагона. Лишь в отделении детей разрешили затянуть занавески. Мне было тогда восемь лет, брату – одиннадцать. Помню, как нас накормили молоком и черным хлебом. Помню часовых, стоявших у вагона, в остроконечных касках в защитных чехлах и крупной цифрой «33» на них. Утром нас погрузили в автомобили. Лейтенант Миллер, командовавший нашей охраной, до того весьма вежливый и корректный, вдруг сделался грубым и стал называть мою мать «сударыня», боясь, видимо, титуловать ее по сану.

Адъютанта отца Сипягина и камердинеров задержали, объявив, что они приедут позже с багажом. Вначале хотели задержать и отца. Однако моя мать решила не покидать его. Была послана телеграмма в Берлин. Насколько я помню, за нас заступилась германская Императрица Августа-Виктория, и нас пропустили.

Из Эйдткунена мы ехали на двух автомобилях. В первом – родители, брат и я, во втором – все остальные. Рядом с шофером сидел солдат с винтовкой. Шторы были спущены, и нам объявили о том, что мы не должны смотреть в окна, иначе будут стрелять. Мы с братом, сидя на передних откидных скамейках, все время старались подсматривать в щели между занавесками, это очень волновало мать.

Неожиданно машина резко остановилась. Дверь распахнулась, и наш часовой испуганным голосом закричал: «Казаки идут!» Нас немедленно высадили буквально в канаву у обочины шоссе, ведущего к Вержболову. Но адъютанта с камердинерами не было. Нам сказали, что они последуют минут через двадцать. Однако прошло двадцать минут, час, два часа. Машина не показывалась. Мы продолжали ждать. (В итоге Сипягин провел в плену всю войну, а Фокин вернулся в Россию и не мог нести военной службы.) Проехали повозки с беженцами. На другой стороне шоссе, как раз напротив нас, стоявший перед своим домиком крестьянин посоветовал нам поскорее уходить от казаков. Я подумала тогда: «Если бы ты знал, что мы и казаки – одно!» Показался русский разъезд – два всадника с пиками. На вопросы не отвечали. Когда подошла главная часть, адъютант отца, князь Шаховской, пошел ей навстречу с визитной карточкой отца. С большим недоумением смотрел офицер на эту карточку. Каким образом, вероятно думал он, русский Великий князь мог очутиться в первый день войны в канаве на прусской границе? Однако, взглянув на отца, которого он видел лишь год назад в юнкерском училище, убедился в том, что это действительно он.

В Вержболове на вокзале, который был подожжен начальником станции, мы расположились в царских покоях и стали ждать дальнейшего. Выяснилось, что в Ковно стоял поезд Императрицы Марии Федоровны, которая возвращалась в Россию через Данию, а не через Вержболово, как первоначально предполагалось. По телефону отец снесся с Царским Селом и с Павловском. Было получено разрешение ехать нам в царском поезде. До Ковно довезли нас в поезде, состоявшем из паровоза и третьеклассного вагона. Отец чувствовал себя очень утомленным всем происшедшим. И когда мы с братом начали бегать по вагону и шуметь, нас быстро усмирили».

Вера Константиновна в «Воспоминаниях об отце» не говорит о том, что отцом были утрачены очень важные для него бумаги, которые остались у немцев. Там была рукопись драмы об Андрее Боголюбском, весь черновой и подготовительный к ней материал, бумаги, связанные с постановкой «Царя Иудейского», и тетрадь дневника. Получалось так, что с 19 по 26 июля он ничего не записывал. Но у Константина Константиновича была прекрасная память, и он решил, что все события «утраченной» недели сможет восстановить. Его дневник 1914–1915 годов (в извлечениях) дополняет и уточняет рассказанное дочерью в «Воспоминаниях…» спустя много лет. Он дает картину первых одиннадцати месяцев мировой войны, когда эйфорию сменила жестокая реальность, каждый день казался вечностью, смена событий политических, военных, общественных развертывалась с нереальной, калейдоскопической быстротой.

…

«1914 г.

Суббота, 19 июля – 1 августа. Либенштейн.

(Павловск, 26 июня 1914).

Сегодня ровно неделя, как я уехал из Вильдунгена; за этот срок не писал дневника, да и тетрадь осталась в плену у немцев… Погода была прекрасная, теплая. Ничто не давало заметить тревожных событий, о которых сообщили газеты. Жители казались вполне спокойны, а население деревень занималось своим обычным трудом. Жена показалась мне взволнованной. Еще накануне ее двоюродный брат, герцог Саксен-Мейнингенский Бернард напугал ее, говоря, что по причинам мобилизации нам не доехать до границы, и предложил приют у себя».

«(Павловск, 28 июля).

Воскресенье, 20 июля. Гумбиннен. 1914.

В Гумбиннен прибыли в начале 8-го часа вечера, еще засветло. Я с

Шаховским и Сипягиным вышел походить по платформе. Тут было несколько солдат 33 пехотного полка. Говорили, что поезд дальше не пойдет. Шаховской с Сипягиным пошли на станцию отыскать ее коменданта и пригласить его ко мне. Он долго не появлялся. Между тем смеркалось. Нас загнали в вагон и запретили выходить. Ввели в вагон солдат с ружьями… Мы узнали, что офицер, комендант станции, пошел по всем вагонам проверить паспорта. В ожидании, когда он доберется до нашего вагона, я подал мысль жене написать телеграмму Германской императрице, прося ее распорядиться доставлением нас на родину. Я считал ниже своего достоинства обратиться с такой просьбой к императору Вильгельму… Наконец, пришел в вагон комендант станции, безусый, розовый лейтенант в очках; надо отдать ему справедливость: он был не только вежлив, но и почтителен и правильно титуловал жену и меня. Я обратился к нему с просьбой как-нибудь доставить нас на границу. Он высказал предположение, что нас можно с рассветом довести до станции Сталупяны, а там в 3-х моторах отправить на границу…»

«Понедельник, 21 июля.

К 5-ти утра все были на ногах… Наш вагон прицепили к паровозу и повезли на следующую станцию Сталупяны, отстоящую от нашей границы в 10 верстах. Тут мы вышли из вагона. Миллер более чем учтиво предупредил нас не выглядывать из окон автомобилей, чтобы нас не застрелили. Все мы – я с женой и двумя детьми… – с ручным багажом

тронулись на станцию; впереди, с боков и сзади шли солдаты с ружьями; бывшие тут немцы смотрели на нас враждебно. Было приготовлено три мотора. На козлы переднего, где поместились мы с женой и детьми, сел обер-лейтенант с пропуском в руках. Дорогой нас остановил сторожевой пост, но не задержал. Далее, когда мы проехали с 1/4 часа от станции, один поселянин закричал обер-лейтенанту, что близко русские разъезды. Остановились. Миллер не слишком вежливо приказал выходить из автомобиля и объявил, что дальше не поедет (хотя автомобиль был под белым флагом). Более двух часов пробыли мы здесь посреди большой дороги, и за это время никаких разъездов, не только что войск, не показалось. По дороге мимо нас то и дело проходили телеги, доверху нагруженные всяким домашним скарбом, с привязанной сзади коровой, лошадью или свиньей. Это жители выселялись из Эйдткунена. Проходили пешие, проезжали на велосипедах. Враждебности среди этого населения не замечалось.

… Вот вдали, в стороне Эйдткунена показались отдельные всадники. Нельзя еще было разобрать, немцы это или русские. Но вот всадники приблизились; трое из них проехали мимо нас по дороге к Сталупянам. Мы в них узнали Смоленских улан… С особо восторженным чувством перекрестился я на пограничном мосту…»

«Ковна. Узнаем, что накануне был Высочайший выход в Зимнем дворце и что Государь в чудесной речи сказал, что не положит оружия,

пока хотя один неприятель не будет изгнан из пределов России. Созваны Государственный Совет и Дума. Беспорядки, стачки и забастовки как рукой сняло, единение общее, подъем духа небывалый, все партии позабыты».

«Павловск. Вторник, 22 июля.

День серый и теплый… Отъезд Иоанчика был назначен вечером того же дня, а три наши гусара должны были отправиться на другой день. – Заехали в Гусарский полк, где Игорь дежурил. Увидали его, произведенного 10-ю днями раньше в корнеты… ‹…› Здесь никто не понимал императора Вильгельма. Узнав о нашей мобилизации, он принял ее за угрозу и, несмотря на слово, данное ему Государем, не начинать неприятельских действий, резко требовал отмены мобилизации, а не добившись этого, объявил нам войну вечером 19 июля.

Вечером мы благословили Иоанчика и проводили на нашем подъезде. Нечего и говорить, как сжималось сердце.

Елена (сербская принцесса, жена Иоанна. – Э. М., Э. Г.) придумала, чтобы все мы, Оля, Митя и дети, сложились и на общие средства устроили подвижной лазарет в 1-ю армию, в котором Елена с Марией Павловной-младшей будут сестрами милосердия…»

«Павловск. Среда, 23 июля. Провожали по очереди Гаврилушку, Игоря и Олега. Каждого ставили на колени перед иконами в моем кабинете. Не обходилось, конечно, без слез, хотя и сдержанных…»

«Александрия. Четверг, 24. Меня с женой повезли в Петергоф к Их

Величествам, в Александрию, в приморский дворец. Государь сосредоточен, но ясен, как всегда. Он много расспрашивал о наших дорожных невзгодах. После завтрака он долго рассказывал мне о последних событиях. Вот что я от него услышал. Если не ошибаюсь, 17-го или 18-го под его председательством в фермерском дворце был Совет министров. Во время заседания входит дежурный флигель-адъютант Цвицинский и докладывает, что германский посол Пурталес неоднократно вызывает министра иностранных дел Сазонова. Государь отпустил его. Сазонов вернулся с известием, что Германия требует отмены нашей мобилизации и ждет ответа через 12 часов. Позднее Государь принял Пурталеса, прибывшего по собственному почину, а не по поручению своего императора, за что Государь похвалил его… Посол умолял об отмене мобилизации. Государь ответил, что послу, как служившему в войсках, должно быть понятно, что объявленная мобилизация при громадных в России расстояниях не может быть сразу прекращена, даже при угрозе смертной казни военному министру. Но, прибавил Государь, мобилизация не есть война, и он дал Вильгельму честное слово, что ни один русский солдат не перейдет границы, пока будут происходить переговоры между Берлином и Веной. – 19 июля, в день Св. Серафима, столь почитаемого Государем, выходя от всенощной, он узнал от гр. Фредерикса, с которым для скорости говорил Сазонов, что у последнего был Пурталес с объявлением войны России Германией.

При этом Пурталес вручил Сазонову бумагу, в которой содержались оба ответа германского правительства, как на случай благоприятного, так и не благоприятного ответа России относительно прекращения мобилизации. Не знаю, что руководило послом – растерянность или рассеянность. Итак, нам была объявлена война. Государь вызвал к себе английского посла Бьюкенена и работал с ним с 11 вечера до 1 ч. ночи. Государь совершенно свободно, как сам он выразился мне, пишет по-английски, но должны были встретиться некоторые технические термины, в которых он не был уверен. Бьюкенен тяжкодум и медлителен. С ним сообща Государь сочинил длиннейшую телеграмму Английскому королю. Усталый, во 2-м часу ночи зашел Он к ждавшей его Императрице выпить чаю, потом разделся, принял ванну и пошел в опочивальню. Рука его была уже на ручке двери, когда нагнал его камердинер Тетерятников с телеграммой. Она была от императора Вильгельма: он еще раз (уже сам объявив нам войну) взывал к миролюбию Государя, прося о прекращении военных действий. Ответа не последовало».

«Павловск. Пятница, 25 июля. События развертываются с необычайной быстротой. Франция объявила войну Германии. Англия, в политике которой у нас не были уверены, объявила войну Германии. Германия встретила неожиданное сопротивление Бельгии, когда, нарушив ее нейтралитет, бросила свои войска на Францию через Бельгийские земли».

«Пятница, 1 августа. Управитель дел, генерал инспекции Полторацкий приготовил мне к подписи бумагу на имя Военного министра с протестом против распоряжения, которым офицерам воен. – учебн. заведений запрещен перевод в действующую армию, и с указанием, что офицеров, имеющих боевой опыт и, стало быть, необходимых на войне, могут заменить в заведениях прапорщики запаса. Я бумаги этой не подписал, а сделал на ней длинную резолюцию: имеющие боевой опыт офицеры высших учебных заведений составят в армии совсем ничтожный процент, а прапорщики запаса едва ли явятся желательными воспитателями».

«Павловск. Понедельник, 18. (19 августа). Вечером жена получила телеграмму от Буксгевдена из Копенгагена; в тамошних газетах сказано, будто наш Костя в плену у немцев. А он только что писал матери из-под Варшавы, правда, число отправления письмеца не было означено».

«Вторник, 19. Сегодня утром в «Новом Времени» как громом поразило сообщение Верховн. Главнокомандующего: неприятель стянул большие силы, от его артиллерии мы понесли большие потери. Погиб генерал Самсонов (командующий 2-й армией). Бедный Самсонов, мой подчиненный по Елисаветградскому училищу, а потом Туркестанский генерал-губернатор! Я его и любил и ценил. Пожалуй, если убит Самсонов, то верна и весть о пленении Кости».

«Четверг, 21. (22-го). На этих днях Высочайше поведено

переименовать Петербург в Петроград».

«Павловск. Среда, 27. (28-го). Солнечно. Парк уже в осеннем уборе, жадно читаешь газеты трижды в день. Лазарет, устроенный женой в казармах Сводно-Казачьего полка, готов и освящен. Скоро туда привезут раненых… Бедный летчик Нестеров погиб под Львовом, сражаясь в воздухе с австрийским аэропланом».

«Павловск. Четверг, 28. (29-го)… … Непонятное творится с нацией, давшей миру Гёте, Шиллера, Канта, Вагнера; куда девался ее идеализм, что сталось с ее нравственностью! Парламентеров забирают в плен, выкидывают белый флаг, а потом вероломно стреляют, бросают с аэропланов бомбы на неукрепленные города, пристреливают раненых. Навестил А. А. Майкову на новой квартире по 18 линии № 7, получил от нее последние корректурные листы 2-го тома нового издания моих стихов».

«Павловск. Суббота, 30. Погода как летом. Гулял без верхнего платья. Листва окрасилась во всевозможные осенние цвета. Один вяз над круглым озером, близ старого шалэ, весь лиловый… пришло известие, что убит Чигаев, измайловец, игравший Никодима в «Царе Иудейском». Убиты также измайловцы Лялин и Кучевский. Последний играл Трибуна в моей драме».

«Павловск. Пятница, 5 сентября. Когда Елена была в действующей армии, то обедала в вагоне у Ренненкампфа и видела у него начальника штаба Янушкевича,

который производил наилучшее впечатление. Он хорошо осведомлен о крупных неладах между главнокомандующим армиями Северо-Западного фронта Жилинским и подчиненным ему командующим 1-ой армией Ренненкампфом. Эта рознь стоила жизни многим воинам».

«Суббота, 7. (Павловск, 8 сентября). Несколько дней назад вышло издание Сергиевского «В строю». Это мои военные стихотворения, украшенные иллюстрациями. Есть книжки по 40 коп., есть и по 25, приложены мой портрет и автограф, а также краткая биография. Теперь вышло и роскошное (20-рублевое), иллюстрированное в красках издание моего «Царя Иудейского», первую книгу которого я послал Государю…»

В этот же вечер Константин Константинович отправляет письмо своему другу:

…

«Дорогой Анатолий Федорович, жена очень сердечно благодарит Вас за… сочувствие ее материнской тревоге. До сих пор, благодарение Богу, у нас хорошие вести о всех пятерых сыновьях и зяте. Вы, конечно, приняли к сердцу, притом больному… утрату нашей милой старушкой Ю. Ф. Абаза ее внука, павшего на поле брани среди Преображенцев, понесших крупные потери, а также гибель знакомых Вам Измайловцев. Моя муза упорно молчит уже более года. В переживаемое нами время требуется исключительное вдохновение; есть

вещи, о которых лучше молчать, если не находишь силы сказать что-либо веское и важное».

* * *

Шла война. А в памяти все еще были мирные картины: играет юнкерский марш, весело бьется сердце при виде юнкеров в белых рубахах с голубыми, обшитыми серебряным галуном погонами, в фуражках с красными околышами и козырьками. Он входит в их толпу, и пошли расспросы – кто такой, откуда, или, если попадалось знакомое лицо, он угадывал фамилию и корпус. Вспоминалось, как в Осташево приходил проситься в училище студент Киевского политехникума, а камердинер наблюдал за ним в стеклянную дверь, опасаясь, как бы студент не вздумал посягнуть на жизнь Великого князя. Помнился и Федор Прокофьев, реалист из костромских крестьян, появившийся у него в приемной холодной осенью, бедный и жалкий, умолявший его принять в корпус, так как ему некуда было деваться. А потом он видел этого Прокофьева в форме кадета, молодцеватого, стройного.

Где они сейчас, эти молодые ребята?…

Сын Олег тяжело болел, но с появлением первых слухов о войне немедленно вернулся в полк. «По мобилизацией ному плану все, что нужно было делать для приведения полка в боевую готовность, было рассчитано по часам и минутам. Я был счастлив, что иду на войну… Мне сшили в полку солдатскую шинель, но погоны на шинелях мы носили в начале войны золотые», – писал Олег в полковом дневнике.

Братья Олег, Гавриил и Игорь Константинович еще 29 июля получили повестку явиться в Зимний дворец на молебен. Они вошли в Николаевский зал, который был полон в основном офицерами, следом за Николаем П. По окончании молебна Царь объявил о начале войны и вышел с Царицей на балкон. Огромная толпа людей, собравшихся на Дворцовой площади, опустилась на колени…

Из Зимнего дворца братья поехали в часовню Спасителя на Петербургской стороне, оттуда – в Петропавловскую крепость, чтобы помолиться у могил предков и попросить «помочь быть их достойными на поле брани». Они побывали и на Смоленском кладбище на могиле Ксении Блаженной. В семье Великого князя все чтили святую Ксению, неотъемлемую часть души Северной

строгой столицы. Дома старший брат Иоанн предложил всем причаститься перед отъездом на фронт. В Павловской дворцовой церкви было пусто, служил архимандрит Сергий, и только какая-то простая женщина плакала и причитала в углу.

В субботу 2 августа Константин Константинович простился с последним из пятерых сыновей. Все ушли на войну. Иоанну было 28 лет, Гавриилу – 27, Константину – 24, Олегу – 22, Игорю – 20.

На войне как на войне. Грузились в эшелоны эскадроны, изучались карты местности, где предстояло действовать, ночи наполнялись грохотом колес орудий, глинистая почва превращалась в жижу, взрывались станции, железные дороги, тянулись из городов и городков испуганные жители… Молодые князья, августейшие Константиновичи, щегольские «личные» сапоги, негодные для бездорожья, сменили на простые, грубые, но добротные, сшитые в Экономическом обществе; белье носили по две-три недели, самолично резали кур для проголодавшихся людей, спали на земле, плакали над любимыми лошадьми, которые по три дня не ели овса, прыгали в день через сотню канав и пробегали версты и версты по вражеской земле.

Великому князю Дмитрию Константиновичу, их дяде, братья послали однажды телеграмму, в которой писали, что с благодарностью вспоминают о нем, о его советах и уроках: ведь два года подряд, живя в Павловске, они ежедневно ездили верхом в любую погоду под его надзором, и теперь ему обязаны тем, что еще не ранены и не убиты. Жестокая обыденность войны не лишала молодых людей наблюдательности. Они отмечали с горечью, какими грязными, некрасивыми выглядят русские пограничные города по сравнению с немецкими, где ухожены дороги, красивы дома и очень чисто в парках, садах, на улицах. Они хвалили немецкие порядок, культуру в быту и ругали русских за грязь и лень, но их сердце смягчалось, когда они видели, с каким уважением русский солдат относится к чужой религии, как степенно, тихо, снимая фуражку, входит он в чужой храм и крестится.

И это в то время, когда австрийцы, с их бытовой культурой, кощунственно надругались – растоптали ногами – Святые Дары в боснийской православной церкви.

«Но почему форма и содержание всегда входят в противоречие?» – спрашивал в письмах отца Гавриил… И он, оказываясь в захваченном немецком городе и наблюдая недружелюбие местных жителей, старался быть любезным, «чтобы оставить о нас, русских, хорошее впечатление». (Так объяснял он свое поведение.) А иногда перепуганному насмерть немецкому крестьянину объяснял, что его мать – урожденная немецкая

принцесса, что его дядя – герцог Саксен-Альтенбургский и что германская кронпринцесса Цецилия приходится ему троюродной сестрой. «Мы, все люди – родственники, – говорил он по-немецки, – а почему-то убиваем друг друга». Крестьянин молчал.

Фронтовая судьба сталкивала братьев и разводила их. Встретился на фронтовых дорогах с Гавриилом Иоанн, пересеклись их пути с князем Костей Багратионом, мужем сестры Татьяны, Игорь оказался в бою рядом с Олегом. И у каждого из них было свое «крещение». Гавриилу запомнился бой русской Гвардейской конницы под Каушеном. Это тогда командир 3-го эскадрона Конной гвардии барон Врангель – будущий главнокомандующий Добровольческой белой армией – во главе своего эскадрона атаковал немецкую батарею. И в рядах русских весело говорилось: «Конная гвардия, как всегда, побеждает». Но к концу дня в наступивших сумерках пополз слух о гибели Врангеля. После боя собравшиеся у палаток офицеры хвалили храброго Врангеля и сожалели о его смерти. И вдруг в подсвеченной взрывами темноте возник всадник на коне. Он казался огромным из-за теней и шевеления высокого кустарника. То был живой и невредимый Врангель.

Все сочли это чудом, игрой воинственных сил.

Чудом, спасшим жизнь Игорю и Гавриилу, стала память о Суворове. Эскадрон подходил к лесу, где по русским разведданным неприятеля не было. И вдруг раздался шквальный огонь. Наши гусары остановились, спешились, рассыпались в цепь, начали отступать. И тогда князь Игорь, вспомнив, как подбадривал солдат Суворов, стал кричать: «Заманивай! Заманивай!» – а за ним еще громче Гавриил. И это подействовало. Гусары двинулись вперед и скоро нашли свежие окопы, брошенные врагом, отступившим к Тапиау.

Игорю пришлось тонуть в Мазурских болотах. Эскадрон окружили немцы, оставалась одна дорога – через топь. Когда товарищи бросились выручать князя, над топью видны были лишь голова и руки. Игорь, забыв о себе, крестил уходящую в болото с отчаянным взглядом свою любимую рыжую лошадь.

На короткую побывку приехал к отцу и матери юный князь Константин. О нем с восхищением говорили в Петербурге, что он спас полковое знамя и был награжден орденом Святого Георгия 4-й степени. Восьмилетняя Верочка бегала следом за братом и крестным отцом и радостно повторяла: «У Кости – Георгий!»

Гавриил был приглашен к высочайшему обеду в царском поезде. Николай II принял его в отделении своего вагона, служившем ему кабинетом. Он вручил Гавриилу георгиевский темляк и маленький Георгиевский крестик на эфес шашки, а

также орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. «Этот орден, – писал в эмиграции Великий князь Гавриил, – и теперь со мной. Вручая мне орден, Государь сказал, что дает мне ордена, которые я заслужил. Как я был счастлив! И я поцеловал Государя в плечо» (так делали еще во времена Александра II).

Георгиевский крест засветится 29 сентября 1914 года и на груди князя Олега…

ОЛЕГ

Олег был пятым ребенком в семье. Родился он поздней осенью, 15 ноября 1892 года, впереди была зима с хмурым небом, темными короткими днями, потом холодная весна, так что восприемники князя Императрица Мария Федоровна и Наследник престола, будущий царь Николай II, увидели летом бледного, тоненького, очень миловидного, но задумчивого мальчика. Он был впечатлителен и очень серьезен.

Так же серьезно относился он к бесконечно длинной истории о какой-то выдуманной девочке Вере, которую рассказывала няня Екатерина Федоровна. Няня была дама с большим воображением, а ее Вера – весьма добродетельной. Но всё это было не скучно, потому что эта Вера, как волшебник, открывала Олегу каждый день что-то новое, и тогда с ответами на его вопросы няне приходилось туговато.

Когда Олегу исполнилось шесть лет, няня Екатерина Федоровна вместе со своей Верой перешла к меньшим детям, а у Олега появились учителя. Это была школа для одного ребенка. Руководил ею академик А. С. Лаппо-Данилевский, историк и археолог. Надо сказать, что он был несколько озадачен серьезностью и впечатлительностью подопечного ученика. Впрочем, и отец записал с изумлением в дневнике: «Эти дни наш Олег в первый раз говел. Несмотря на то, что ему только 7 лет, он приступил к таинству покаяния вполне сознательно и прекрасно подготовленный… Весь в слезах приходил к нам просить прощения. Чтобы не думали, будто это слезы от капризов, он говорит, что плачет „от грехов“! Не слишком ли это серьезно?»

В мае 1901 года Константин Константинович снял усадьбу в селе Нижние Прыски возле Оптиной пустыни. Не повез детей ни в Крым, ни в Ореанду, ни за границу, а в русскую деревню. Дом был большой, окруженный парком, рядом храм, река Жиздра, лес. Из усадьбы был виден белый монастырь, позади вековой бор. Константин Константинович водил детей в Оптину пустынь. Встречать Великих князей в монастырях положено колокольным звоном, но Константин Константинович просил настоятеля обойтись без церемоний. Колокола все же звонили. Олег стоял на оптинских службах, видел монашеский постриг, был благословлен старцем Иосифом.

Несколько раз дети посетили Шамординский монастырь. Игуменьей там была мать Евфросиния, слепая, но весьма деятельная. Слепая игуменья как-то спросила разрешения потрогать руками лица детей Великого князя. Коснувшись лица

Олега, сказала: «Особенный».

В Нижних Прысках великокняжеским детям дали немного свободы: сшили ситцевые, как у сельских ребят, рубашки и позволили ходить босиком. Это внешнее сближение с крестьянским укладом не скрыло от Олега бедный быт его прыскинских друзей. Одному из них, Капитону – мальчишке, сопровождавшему княжескую семью в лесных и речных походах, – года через два, в ответ на его письмо о бедственном состоянии семьи, Олег пошлет свои карманные сбережения и попросит отца выделить некоторую сумму для семьи деревенского друга.

Нижние Прыски – не единственное место знакомства с русской деревней. Было Осташево на Рузе. Было Ильинское – усадьба близкого друга отца Великого князя Сергея Александровича. Его вдова, тетя Элла, была рада видеть у себя всех Константиновичей. Дом стоял над Москвой-рекой. Здесь, в день престольного праздника, 20 июля устраивалась традиционная ярмарка. Олег, привыкший к классической живописи, мраморным скульптурам, мозаичным паркетам великокняжеских и царских дворцов, на ярмарке не мог отвести глаз от календарей, копеечных житий святых, дешевых иконок, смешных разукрашенных книжек, написанных неведомо кем. Душа его отзывалась с симпатией и интересом на это наивное творчество.

Шире и образнее он увидел Россию в старинных русских городах. Владимир – середина земли Русской, его Успенский собор – единственный храм, уцелевший после древних погромов. Олег стоял на хорах, представляя себя на месте великокняжеской семьи, которую татары задушили огнем и дымом.

– Пап?, это здесь Андрей Боголюбский «заложил на южнорусских именах и костях великокняжескую господственную силу»? – спрашивал он отца, глядя на Золотые ворота Владимирские.

– Здесь. Видишь, как огромное небо, бескрайние земли, луга, поля, река – вся наша северная русская красота соединяется, переходит в южнорусскую. Золотые ворота не разъединяют земли севера и юга, а соединяют. Здесь вся старая Русь нам смотрит в глаза…

Юный, романтичный, очень строгий к себе Олег сочинял свои первые стихотворные строки:

О, дай мне, Боже, вдохновенье,
Поэта пламенную кровь.
О, дай мне кротость и смиренье,
Восторги, песни и любовь.

О, дай мне смелый взгляд орлиный,
Свободных песен соловья,
О, дай полет мне лебединый,
Пророка вещие слова.
О, дай мне прежних мук забвенье
И тихий, грустный, зимний сон.
О, дай мне силу всепрощенья
И лиры струн печальный звон.
О, дай волнующую радость,
Любовь всем сердцем, всей душой…
Пошли мне ветреную младость,
Пошли мне в старости покой.

Были путешествия и заграничные: Константинополь, София, Старая Затора, гора Святого Николая, Плевна, опять София, Белград, Триест, Далматинское побережье, Цетинье – и затем обратно в Россию через Мюнхен и Берлин. Маршрут этот о многом говорит: в основном славянские земли, воспоминания о героической Балканской войне, православные святыни Царьграда. В этом путешествии Олег увидел переделанный в мечеть храм Святой Софии. «Невольно переносишься в те времена величественной Византии, – пишет князь Олег в дневнике, – когда тут шло торжественное богослужение и пел громадный, великолепный хор… Стены сейчас варварски замазаны…» А посещение султана, необходимое по требованию дипломатического этикета, оставило в дневнике четыре слова: «Кофе был отлично сварен». Вот и всё, что отметил князь Олег.

Он пишет стихи под явным впечатлением «от свидетельств былого»:

… Воспряньте, греки и славяне!
Святыню вырвем у врагов,
Пусть царьградские христиане,
Разбив языческих богов,
Поднимут крест Святой Софии,
И слава древней Византии
Да устрашит еретиков.

В 1910 году Олег закончил седьмой класс Кадетского корпуса. Чтобы стать офицером, надо было ехать в Полоцк и в стенах корпуса проучиться еще два года. Олег не хотел быть военным: «… стать писателем – моя самая большая мечта, и я уверен, убежден, что я никогда не потеряю желания писать». Он

мечтал о поступлении в Лицей.

Впервые среди воспитанников Лицея появился представитель Императорского Дома, хотя учебное заведение было когда-то основано Александром I для собственных младших братьев – Николая (Николая I) и Михаила. Но царственным братьям категорически было запрещено нарушать закон: если ты Романов из Царского Дома – будь готов идти только в военную службу.

Князь Олег был разнообразно одарен. Он сочинял стихи, рисовал и, как отец, был очень музыкален. «Все, что касается музыки, народных песен, и в особенности русской музыки и русской народной песни, меня очень интересует, – говорил он. – Когда я чувствую себя несчастным – сажусь за рояль и обо всем забываю. Как жаль, что у меня столько всяких обязанностей, что я не могу отдаться музыке всецело». Олег часто вполне профессионально, как пианист, выступал на литературно-музыкальных субботниках в Павловске и имел успех.

Но главной была учеба в Лицее, куда он первый и пока единственный из Царской семьи поступил «изучать юридические и политические науки». Работоспособность тонкого, нежного, красивого юноши была поразительной. Программа обучения ему казалась недостаточной, он добывал редкие книги, словари; преподавателей изумлял обширными сведениями и знаниями.

Олег с ранних лет привык серьезно относиться к своей духовной жизни – достаточно заглянуть в его дневник: «Я слишком высокого мнения о себе. Гордым быть нехорошо. Я напишу тут, что я про себя думаю. Я умный, по душе хороший, но слишком о себе высокого мнения. У меня талант писать сочинения, талант к музыке, талант к рисованию. Иногда я сам себя обманываю, и даже часто. Я иногда закрываю себе руками правду. Я нервный, вспыльчивый, самолюбивый, часто бываю дерзок от вспыльчивости. Я эгоист. Я сердит иногда из-за совсем маленького пустяка. Хочется быть хорошим. У меня есть совесть. Она меня спасает. Я должен ее любить, слушать, а между тем я часто ее заглушаю. Можно заглушить совесть навеки».

С возрастом пришло осознание своей принадлежности к Царской фамилии. Требования к себе расширились. Олег пишет отцу о своей решимости «сделать много добра Родине, не запятнать своего имени и быть во всех отношениях тем, чем должен быть русский князь». Он упомянет в дневнике, как пример для подражания, слова своего прадеда, Императора Николая I: «Мы должны высоко нести свой стяг, должны оправдать в глазах народа свое происхождение». И дальше: «Мне вспоминается крест, который мне подарили на совершеннолетие. Да, моя жизнь – не удовольствие, не развлечение, а крест. Как мне хочется работать

на благо России».

Народная Россия видится ему в любимом Осташеве. Побывав в Париже, в Испании – в Севилье, Гренаде, Барселоне, Мадриде, – он с тоской пишет отцу: «У меня тоска по родине и Осташеву увеличивается с каждым днем». Вспоминались ему запахи полей и осташевских лугов, когда косили, гребли, возили сено, устраивали пикники в лесу, отправлялись на лодках по Рузе, у костров слушали пение крестьянских девушек и парней. Длинной вереницей растягивались Константиновичи вперемежку с сельскими Степанами, Иванами, Аксиньями. По склону холма над рекой тащили узлы с провизией, щепки для самовара и сам самовар, трубу от него, посуду. В лодки садились шумно, падали в воду, спорили из-за мест – кто на носу, кто на корме, теряли весла. И наконец отплывали под выкрики строгих советов осташевских крестьян. Олега в Осташеве знали все. Он бывал всегда в храме, выстаивал службы, принимал участие в богослужении: выносил свечу, аналой, читал шестопсалмие и Апостол.

– Ваше Высочество, будете сегодня молитву творить? – спрашивал Олега какой-нибудь осташевский дед. И, услышав «буду», хвалил за звонкий чистый голос и «понимание молитвенных слов».

Именно в Осташеве Олег прочитал «Юношеские годы Пушкина» Авенариуса, а следом, совсем по-новому, и сочинения поэта. В нем вспыхнула настоящая познавательская страсть ко всему, что касалось Пушкина. Он начал собирать книги о нем, записывал всё, что слышал о поэте, изучал документы, подражая Пушкину, сочинял стихи и задумал большую работу о нем…

В преддверии столетнего юбилея Лицея Олег стал думать, какой подарок сделать своему учебному заведению. И вот пришла очень счастливая мысль – факсимильно издать рукописи Пушкина, ту их часть, что хранилась в Лицее. Издать изысканно, передать текст, особенности цвета и бумаги рукописей с максимальной точностью. По просьбе князя Царский двор отпустил ему на это средства. К работе над книгой он привлек пушкинистов В. И. Саитова и П. Е. Щеголева, а также своего учителя литературы профессора Н. К. Кульмана. Была выбрана типография «Голике и Вильборг», постоянно выполнявшая дворцовые заказы.

Когда В. И. Саитов прислал Олегу Константиновичу в подарок автограф Пушкина, князь ответил: «Не знаю, как выразить Вам мою радость, восторг и самую горячую благодарность за Ваш неоценимый подарок. Он удесятерит мою любовь к Пушкину».

Уже начав работу, князь Олег решил не ограничиваться

изданием только лицейских рукописей: он стал думать о факсимильном издании всех рукописей Пушкина. «Будь выполнен до конца этот замысел, – писал впоследствии Щеголев, – мы имели бы монументальное издание факсимиле подлинных рукописей поэта… Такой труд можно было бы сопоставить с изданием факсимиле шекспировских рукописей или рукописей Леонардо да Винчи… Вышел только первый выпуск первой очереди – воспроизведение рукописей стихотворений Пушкина из Лицейского собрания. По этому выпуску можно судить, каким изысканно-образцовым должно было быть издание князя Олега Константиновича. Оно удовлетворяет самым строгим требованиям и самым тонким вкусам».

В начале зимы 1912 года, по первому снегу молодой князь с тюками книг и тетрадей приехал в любимое Осташево. Учеба в Лицее подходила к концу, и следовало представить преподавателям выпускное сочинение «Феофан Прокопович как юрист», а потом сдать выпускные экзамены. Утром его будили в шесть часов. Против обыкновения он вскакивал сразу. Незаметно за занятиями пришло предвесенье, а за ним и весна. Он опишет в «Сценах из моей жизни» это молодое, свежее, полное надежд время: «Наступила Страстная неделя Великого поста и неделя чудных Богослужений, время говения. На дворе весело сияло солнце, обращая снег в хрупкий лед. Везде журчали ручьи, поле чернело, появилось много проталин. По утрам однообразно гудели мерные удары великопостного колокола. Я опять начал „гореть“ над ожиданием предстоящей исповеди, но теперь горел ровнее, спокойнее. Жгучие вопросы, которые когда-то волновали, поулеглись, поуспокоились. Но зато появились другие вопросы, которые заставляли меня гореть вдвое-втрое сильнее обыкновенного».

Перед экзаменом он пришел в храм. «Трое певчих, откашлявшись, начинают старательно выводить: „Да исправится…“ Сперва это плохо удается… Стараешься не обращать на это внимания, вникнуть в слова молитвы, к которой так давно привык и которую так любишь! Я делаю земной поклон и долго остаюсь в этом положении. Я заметил, что так легче молиться… „Положи, Господи, хранение устам моим…“ – поют певчие, уже став на колени, а мне делается отчего-то так тепло, хорошо. На глаза навертываются слезы».

Олег Константинович окончил Лицей с серебряной медалью, а за выпускное сочинение об архиепископе Феофане Прокоповиче был награжден Пушкинской медалью, что князя особенно порадовало, так как эта награда давалась за художественные достоинства в сочинении.

Указами Государя князь Олег Константинович был произведен в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка и в титулярные советники, то есть получил сразу военный и гражданский чин.

Казалось бы, он добился того, чего так страстно хотел. И все-таки планы его были много шире, он продолжал искать себя. Перед окончанием Лицея он написал письмо матери, очень серьезное письмо – таковы были отношения в этой семье между детьми и родителями, ясные и искренние: «Радуюсь и вместе с тем жалею, что вскоре оставлю Лицей, с которым так свыкся. Радуюсь потому, что пытка экзаменов и репетиций, пытка самая ужасная, пройдет. У меня все больше и больше укрепляется желание сдать государственные экзамены в Университете, только, конечно, не в этом году, а через несколько лет. Когда я кончу Лицей, то думаю серьезно заняться юридическими науками и добиться того, чтобы экзамены в Университете для меня ничего не значили. После них надо было бы добиться магистра и профессора… Иногда, кроме того, мне кажется, что я лучше бы сделал, если бы занялся исключительно литературой, что меня гораздо больше влечет. Тогда надо было бы сдавать экзамены по филологическому факультету. Это все планы… Мне очень хочется работать и работать, но какая работа? – вот вопросы, которые меня волнуют».

Князь Олег Константинович получил первое государственное поручение. Императорское Православное общество, членом которого он состоял, послало его в город Бари, в Италию, где строились русский храм и странноприимный дом. Нужно было осмотреть строительные работы, выслушать отчет архитектора и подрядчиков. В нечеловеческую жару Олег не слезал со строительных лесов, забывал обедать, разбирался с делами до вечера, когда даже солнце уставало жечь всё своим немилосердным огнем. И только когда все вопросы были приведены в ясность, князь Олег собрался в Россию.

По дороге домой, в Австрии, он увидел странную картину: страна была в каком-то военном экстазе – мундиры, пушки, военные марши… Мелькнула мысль: война?! С кем? Россия несколько лет назад отвоевалась – проиграла войну с Японией. «Бедный Государь, бедная Россия», – повторял он тогда, когда дальневосточные телеграммы приносили известия одно печальнее другого. «Сегодня за завтраком, – записывал Олег в дневнике, – говорили, что в Порт-Артуре осталось только 10 000 войск, что Порт-Артур не выдержит. В 6 часов вечера я заперся в комнате и стал просить Всевышнего о помощи Порт-Артуру. Потом я взял молитвенник, хотел по нему прочитать молитвы и

подумал: я открою, не ища, молитвы, какие попадутся – те и прочту. Может быть, будут как раз те, которые на войну, – это воля Бога. Разворачиваю молитвенник – попадаются молитвы на войну. Господи! Воздвигни силу Твою… И дай Ты нам помощь. Одушевление подай Ты войскам!»

Когда пришло известие о падении Порт-Артура, положив голову на обе руки, Олег плакал. Он записал в дневнике:

…

«До чего мы дожили! Стессель [86] сдал Порт-Артур. Не было возможности держаться… Да, много героев пало под Порт-Артуром. Кто во всем виноват? Русская халатность. Мы, русские, живем «на авось». Это «авось» нас делает виноватыми».

«Вот и сейчас, – думал он, – мы не готовы к войне. России не следует участвовать во всех раздорах Европы. Пап? говорит, что у нас полно внутренних дел. Значит, не будет войны».

Олег успокоился и на границе России стал представлять, как он въезжает в Осташево, где ждет его семья и на письменном столе лежит начатый роман…

«В сценах из моей жизни» он расскажет лишь об одном из своих возвращений, но каждый раз, возвращаясь домой, он будет испытывать такое же счастливое чувство:

…

«Ну, милые!» – прикрикнул старый ямщик Иван на лошадей, и тройка понеслась… Галки, вороны, дотоле невозмутимо разгуливавшие по дороге, шумно отлетели в сторону.

Мужик, шедший навстречу, остановился, провожая глазами скачущих коней. Мелькнул направо трактир под названием «Стрельна» и еще несколько построек. За ними

тянулась нарядная рощица, состоящая преимущественно из молодых берез, между стволами которых виднелась река – один из притоков Рузы. Но вот Иван стал придерживать лошадей.

Он осторожно завернул влево на бревенчатый мостик, экипаж два раза тряхнуло, и вслед за этим сразу прекратилось дребезжание коляски и звон копыт: мы очутились на проселочной дороге. Наступила невозмутимая тишина. В первый раз после упорной зимней работы и треволнений последних дней я вздохнул свободно. Вся грудь дышала и наслаждалась деревенским воздухом. «Вот, наконец, – думал я, – настала желанная минута. Трамваи, автомобили, телефоны – все, чем мы болеем в городе, все осталось позади. Ни гудков, ни звонков – ничего! Экзамены, профессора, Лицей, полк, все волнения – все, все теперь позади, никто и ничто меня не догонит. Боже, как хорошо!..» Мы въезжали в наш лес. Налево стоял пограничный столб, мой старый приятель, увидеть который после долгой разлуки всегда так приятно. Я снял фуражку и перекрестился: «Слава Богу – дома!»… Я бросился в свою комнату и оттуда на балкон, чтобы поскорее увидать мой любимый вид на реку. Вот она, вот она, красавица! Как тихо течет она между зелеными берегами, делая изгибы вправо и влево. А там, за ней, на холме мирно спит деревня Жулино. Направо большой обрыв, покрытый елками, спускается к реке и как будто любуется своим отражением в ней. Дальше идут заливные луга, кое-где поросшие кустами, а там, за ними,

виднеется лишь узенькая полоска Рузы, но уже не голубая, а темно-синяя на фоне подернутого дымкой леса. Тихо кругом, совсем тихо!» Тишину в 1914 году нарушила телеграмма брата Игоря: «Мобилизация. Выезжай немедленно».

* * *

Олег прибыл в Петербург. «Мы все, пять братьев, идем на войну со своими полками, – писал Олег. – Мне это страшно нравится, так как это показывает, что в трудную минуту Царская семья держит себя на высоте положения. Пишу и подчеркиваю это, вовсе не желая хвастаться. Мне приятно, мне только радостно, что мы, Константиновичи, все впятером на войне». 25 июля его Гусарский полк прибыл к месту военных действий. Князь Олег, прикомандированный к штабу и обязанный заниматься бумагами, участвовал в большом сражении под Каушеном.

Сохранилось воспоминание выпускника Полоцкого кадетского корпуса Александра Лепехи о случайной встрече с князем Олегом на фронте:

…

«Во время трагической гибели армий генералов Самсонова и Ренненкампфа я с моим разъездом Новороссийских драгун оказался отрезан от своих частей и, блуждая без карт, как затравленный зверь, пробирался по лесам на восток. Недалеко от г. Гольдапа я встретил лейб-гусарский разъезд в таком же растрепанном виде, как и мой. Офицер сидел на пегой, обывательского типа лошади. Мы друг другу очень обрадовались. Молодой гусар, миловидный симпатичный корнет, загорелый,

запыленный, много дней не мытый, первым делом заявил, что они все страшно голодны. Мой вестовой извлек из седельного вьюка кусок сухого хлеба, обернутого в сомнительной чистоты тряпку – вероятно, по обыкновению хранил для меня – и предложил офицеру. Тот отломал кусок, а остальное передал своему вестовому. Пока он с видимым наслаждением грыз этот сухарь, мы делились впечатлениями пережитого и со всеми возможными предосторожностями двигались дальше. Его лошадь была убита, и он воспользовался „обывательской“. На мое замечание, что он мог бы взять лошадь у своего вестового или иного разведчика, так как ему, как начальнику разъезда, нужна резвая лошадь, он ответил: „Как я могу отнимать у своих разведчиков самого верного и лучшего друга?“

Этот ответ произвел на меня впечатление, и я проникся глубоким уважением к молодому гусару. Тут же я обратил внимание, что и его подчиненные смотрели на него с какой-то особенной любовью. В его лице и манере говорить было что-то для меня необыкновенно знакомое и близкое, но я не мог припомнить, да и некогда было в этой сложной обстановке предаваться размышлениям.

Вскоре в деревне Ласкендорф мы присоединились к нашей отступающей, сильно потрепанной пехоте. Начальник штаба, куда мы немедленно явились, заинтересовался привезенными нами данными и стал записывать наши фамилии:

– Князь Олег Константинович, – ответил на вопрос мой спутник.

Я был ошеломлен и сконфужен. Сколько раз видал я его, Князя Императорской крови, – и не узнал.

Отдохнув 2–3 часа, подкормившись, чем Бог послал, мы разъехались, нагоняя каждый свою дивизию».

* * *

Русские подошли к германской границе. 11 сентября Олег написал родителям письмо: «Не знаю, как и благодарить вас, наши милые, за все, что вы для нас делаете. Вы себе не можете представить, какая радость бывает у нас, когда привозят сюда посылки с теплыми вещами и с разной едой. Все моментально делится, потому что каждому стыдно забрать больше, чем другому. Офицеры трогательны… Мы живем надеждой, что на нашем фронте немцы скоро побегут, тогда дело пойдет к концу. Так хочется их разбить в пух и со спокойной совестью вернуться к вам. А иногда к вам очень тянет! Часто, сидя верхом, я вспоминаю вас и думаю, что вот теперь вы ужинаете, или что ты читаешь газету, или мама вышивает. Все это тут же поверяется взводному, который едет рядом. Взводный мечтает в это время, когда и он, наконец, увидит семью. Такие разговоры с солдатами происходят часто. Иногда очень хочется увидеть вас, побыть с вами! Я теперь так сильно чувствую это, и думаю, и знаю, что вы так далеко вспоминаете нас, стараетесь нам помочь. Это очень нас всех ободряет… Были дни очень тяжелые. Одну ночь мы шли сплошь до утра, напролет. Солдаты засыпали на ходу. Я несколько раз совсем валился набок, но просыпался, к счастью, всегда вовремя. Самое неприятное – это дождь. Очень нужны бурки, которые греют больше, чем пальто… Все в это время сделались гораздо набожнее, чем раньше. К обедне или к всенощной ходят все. Церковь полна… Часто во время похода ложимся на землю, засыпаем минут на пять. Вдруг команда: „По коням!“ Ничего не понимаешь, вскарабкиваешься на несчастную лошадь, которая, может быть, уже три дня не ела овса, и катишься дальше… Диана сделала подо мною около 1000 верст по Германии… Молитесь за нас! Да поможет Бог нашим войскам поскорее одержать победу!»

Двадцать седьмого сентября около трех часов дня одна из походных застав в составе третьего взвода второго эскадрона под командой Его Высочества, увидав противника, пошла ему навстречу. Немцы отстреливались. Олег, опередив далеко свой взвод, помчался на врага и врубился в разъезд. Гусары доскакали до неприятеля, когда князь, уже раненный, покачнулся в седле и упал на землю. Была ранена и его лошадь. Пять немцев было зарублено, остальные взяты в плен. Князь Гавриил, брат Олега, служивший в том же полку и бывший со своим отрядом неподалеку, поскакал на выстрелы, застал брата еще в сознании и услышал его слова: «Перекрести меня…»

Тридцатого сентября 1914 года в петроградской газете «Русский инвалид», органе военного министерства, на первой странице среди сводок «От Штаба Верховного Главнокомандующего» было помещено сообщение: «Сегодня, при

следовании застав нашей передовой кавалерии, были атакованы и уничтожены германские разъезды. Частью немцы были изрублены, частью взяты в плен, причем, доскакавши первым до неприятеля, корнет Его Высочество Князь Олег Константинович ранен легко в ногу навылет».

* * *

Двадцать восьмого сентября в Павловске у Великого князя и Великой княгини были гости. За столом старались не касаться «банальной» темы – войны, но это было невозможно. Разговор скатывался только к ней. Когда Константин Константинович провожал гостей, на лестнице ему передали, что был звонок генеральше Шевич, жене командира лейб-гусар, будто Олег легко ранен в верхнюю часть ноги. Великий князь вздрогнул, потом сознание остановилось на слове «легко». Слово утешало, и Великий князь даже поймал себя на мысли, что готов смириться с тем, что кто-то из сыновей легко ранен: это его вернуло бы домой и заодно показало, что сын служил в строю добросовестно.

Константин Константинович спустился к себе в кабинет и нашел в конверте три телеграммы. Они были о том же.

Лиза уже отдыхала, он не стал ее будить. А когда проснулась, прочитал ей все три известия, скрывая волнение. Лиза побледнела и сказала, что надо немедленно ехать в Вильну.

Константин Константинович так рассказывал о дальнейшем:

…

«Взял с собою для Олега Георгиевский крест, принадлежавший отцу и подаренный им мне. Засыпал в вагоне счастливый, полный уверенности, что Олег поправляется. Настолько было сладко заснуть под отрадным впечатлением и насколько стало горько при пробуждении от новых известий. Генерал Адамович не мог меня дождаться в Вильне и написал мне карандашом из Корсовки. „Его Высочество шел в атаку, но лошадь, по его словам, слишком вынесла. Его Высочество видел

человека, который прицелился… Я был допущен к Олегу Константиновичу врачами. Его Высочество встретил меня как бы \'нетяжелый\' больной. Приветливо, даже весело улыбнулся, протянул руку и взглянул Вашим взглядом. Войдя, я поздравил князя с пролитием Крови за Родину. Его Высочество перекрестился и сказал спокойно, без трепета: \'Я так счастлив, так счастлив! Это нужно было. Это поддержит дух, в войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита Кровь Царского Дома. Это поддерживает Династию. Оба князя сказали мне несколько восторженных слов о поведении солдат с ними вместе в боях".

Наш поезд двигался неимоверно медленно и опоздал в Вильну на целый час… В большой угловой комнате, ярко освещенной, направо, ближе к окнам Олег лежал на кровати… Он был очень бледен, но мало изменился. У встретившего нас на пороге этой комнаты Игоря (брат Олега, сын К. Р. – *Э. М., Э. Г.)* были расширенные, заплаканные глаза. Олег узнал нас, у него было сияющее выражение. Я поднес к его губам Георгиевский крест и вложил его ему в руку. По-видимому, он не совсем понимал… Я стоял у его изголовья на коленях, моя голова приходилась рядом с его головой. Смотря в упор мне в глаза, он спросил: «Паскин, ты здесь?» и попросил обойти по другую сторону кровати. Я это сделал и приколол Георгиевский крест к его рубашке с правой стороны груди.

В первые минуты, пока он был еще в сознании, как трогательно выразилась его радость свидания, которого он ждал с нетерпением. С 4-х часов его искусственно поддерживали подкожными вспрыскиваниями камфары и глотками шампанского, чтобы он дожил до нашего приезда. И Господь подарил нам это утешение. С какою нежностью обвивал он руками за шею мать и меня, сколько говорил нежных слов! Но сознание заметно угасало… Я то поддерживал его голову, то гладил по волосам и по лбу, или закрывал ему глаза. Одно из последних его слов было «Пойдем спать». Он постепенно

успокаивался, переставал метаться, становился неподвижнее, дыхание делалось все ровнее и тише. Наконец, он совсем затих, и нельзя было уловить последнего вздоха. Когда наступила кончина, было 8 ч. 22 м. вечера. И не стало нашего Олега!

Приехали в Осташево часа за полтора до прибытия гроба. Вышли мы ему навстречу на село. На площади, между часовенкой и памятником Александру Освободителю служили литию. Гроб отвязали от лафета, осташковские крестьяне подняли его на руки и понесли по липовой аллее, направо на птичий двор, мимо окон Олега в сад и направо вдоль реки. На холмике, возвышающемся над заливным берегом Рузы, под деревьями расположено «Натусино место». Так мы назвали этот холмик, где есть скамейка: 9 лет назад, когда заболела наша Натуся, мы ждали тут телеграммы с известиями. Вместо крытого берестой круглого стола со скамейкой вырыли глубокую могилу, обделав ее деревянными досками. Здесь Осташевский батюшка Малинин с нарочно прибывшими духовником Олега иеромонахом Сергием и Павловским диаконом Александром отслужили последнюю литию. Георгиевский крест на подушке из материи георгиевских цветов держал Георгий. Осташевский батюшка перед опусканием гроба в могилу прочел по бумажке слово; оно было немудреное, но чтение прерывалось такими искренними рыданиями батюшки, что нельзя было слушать без слез. Мы отцепили от крышки гроба защитную фуражку и шашку; кто-то из крестьян попросил поцеловать ее. Опустили гроб в могилу. Все по очереди стали сыпать горсть земли, и все было кончено».

На столе в осташевском кабинете остался дневник Олега: «Вообще я довольно много думал, думаю и, дай Бог, всегда буду думать о том, как мне лучше достигнуть моей цели – сделать много добра Родине…»

* * *

Константин Константинович только в октябре собрался с силами написать о своем горе Анатолию Федоровичу Кони, близкой, родственной душе:

…

«Дорогой, сердечно любимый Анатолий Федорович, в тяжкие, горестные дни, последовавшие за 29-

м сентября, когда не стало нашего сына, „новопреставленного воина, за веру, Царя, Отечество на поле брани живот свой положившего“, моя мысль не раз обращалась к Вам в уверенности, что найдет Вас плачущим и сочувствующим нашей незаменимой потере. И строки Ваши от 30-го IX подтверждают, что я не ошибся. По желанию, неоднократно выраженному нашим незабвенным усопшим, мы похоронили его в Осташеве. Если выйти из комнаты, в которой Вы здесь гостили, и направиться вправо, вдоль реки, там, где начинается лес, есть дорожка, ведущая на небольшой холмик, возвышающийся над берегом, совсем близко от дома, минутах в 3-х ходьбы. Быть может, Вы помните там круглый, крытый берестой стол и скамейку. Тут нашел наш дорогой сын Олег последнее пристанище. Тут же 9 лет назад мы часто сидели с женой, оплакивая покойную дочь Наталью, которая родилась и прожила свою двухмесячную жизнь, пока ее старшие братья были в Крыму. Таким образом, они ее не знали и никогда не видели, но одному из них было суждено теперь встретиться с нею там, „идеже несть болезнь ни воздыхание“. Олег любил Вас, любил бывать у Вас, любил Вас слушать.

Господу угодно было взять у меня того из сыновей, который по умственному складу был наиболее мне близок. Да будет Его Господняя воля»

(5 октября 1914).

* * *

Смерть на войне, тем более такой страшной, как Первая мировая, не редкость. Но слишком уж юн был князь Олег. Что можно рассказать о такой короткой жизни? Оказалось, можно: появились стихи, воспоминания, статьи и, главное, размышления. Камертоном во всех публикациях было слово «светлый». Так и остался в отечественной истории этот юноша под именем «Светлый Князь Олег».

В 1915 году в журнале «Нива», который читала вся Россия, было опубликовано эссе публициста Б. Лазаревского.

...

«Люди не ангелы, а война не забава. И глядеть безучастно или только рассудочно на все, что переживает Россия, нелегко и взрослому человеку. Забота о собственном благополучии делается противной и стыдной, и хочется подвига, но далеко не все могут совершить не только подвиг, но даже просто оказаться полезными на грандиозном пожаре.

Как видно из дневников князя Олега, вечная жажда подвига была его характерной чертой, и когда настал час, Князь Олег меньше всего думал о себе и совершил этот подвиг в большей степени, чем кто-либо другой.

В 1914 году, т. е. уже в год своей смерти, он собирается написать биографию своего Августейшего деда Великого князя Константина Николаевича, который, как человек и государственный деятель, всегда был его идеалом, был тем, кто осуществил завет – «высоко держать свой стяг» – и многое передумал над судьбами горячо любимой России.

В Ореанде, построенной дедом, думали о дорогих отношениях, о судьбах Родины Августейшие и дед, и

сын, и внук, каждый по-своему…

Часть последней зимы Олег Константинович провел, разбирая дневники и рукописи Великого князя Константина Николаевича. Материал был богатейший, и будущий автор горел желанием приступить к работе.

Но это был уже 1914 год».

* * *

Константин Константинович мог гордиться своими сыновьями. Они хорошо запомнили, как отец, отправляя их на фронт, ставил на колени в углу перед образами в своем кабинете и благословлял. Он просил их помнить, кто они, и соответственно этому себя держать и добросовестно служить. И добавлял, что дед их, его отец, говорил ему то же самое, когда отправлял на турецкую войну 1877 года.

… Пусть война – экстремальный случай в жизни любой семьи. Но привитые воспитанием сила духа, нравственность, понятие о чести и развитые физические способности суть солдаты, находящиеся в резерве для такого случая, как война.

СТЫДНО ПОКАЗАТЬСЯ НА ЛЮДИ…

В один из дней управляющему двором Великого князя позвонил и спросил позволения побывать у Его Императорского Высочества С. Ю. Витте. Сергею Юльевичу хотелось изложить некоторые мысли государственного плана и привлечь Великого князя к деятельности, которая по окончании войны будет иметь немаловажное значение. Константин Константинович поручил передать Витте, что, поглощенный своим горем, стесняется принимать. Анатолию Федоровичу Кони он написал 18 октября 1914 года: «Было время, когда я питал доверие к С. Ю. и охотно беседовал и переписывался с ним. Но после 1905 года по понятным Вам причинам я разочаровался в графе, прекратил с ним всякое общение и всячески его избегаю… Иностранной политикой я не занимаюсь и не могу себе представить рода деятельности, при помощи которой можно было бы предотвратить беду, если она действительно надвигается. Может быть, Вы растолкуете мне эту загадку?»

В эти печальные дни единственный его собеседник – дневник:

…

4 октября 1914 года. Осташево.

«Временами нападает на меня тоска, и я легко плачу. Ужас и трепет берут, когда подумаешь, что с четырьмя сыновьями, которым вскоре нужно вернуться в действующую армию, может случиться то же, что и с Олегом. Вспоминается миф о Ниобее, которая должна была лишиться всех своих детей. Ужели и нам суждено это? И я стану твердить: „Да будет воля Твоя“».

Воскресенье, 5 октября. «… Чудные октябрьские дни. С утра морозит, на траве иней, на реке сало, а днем на солнце тепло. Приехал по нашей просьбе всеми нами любимый инженер Сергей Николаевич Смирнов. Мы хотим, согласно желанию Олега,

выстроить над его могилой церквушку во имя преподобных князя Олега и Серафима Саровского. Смирнов охотно за это берется».

Вторник, 15 октября. «Был у меня мой издатель Ник. Ник. Сергиевский, просидевший 3 месяца в Ростоке, в плену у немцев… Он вскоре выпускает (своим, а не моим изданием) сборник избранных моих стихотворений. Туда будет включена и не печатавшаяся до сих пор моя „Черногория“… Говорили о напечатании отдельным томом всех моих статей в прозе. Многие из германских и австрийских подданных обращаются ко мне с просьбой о разрешении им не подвергаться высылке из России. Эта высылка требуется для всех часто без разбора».

Воскресенье, 16 октября. Павловск.

«Были на освящении церкви во имя Святых Константина и Елены, устроенной в Царскосельском придворном госпитале. Она строго выдержана в византийском стиле IV–VI веков. Императрица Александра Федоровна и старшие ее дочери присутствовали, одетые сестрами милосердия. Я не совсем понимаю, к чему этот наряд?

Во время обедни приехал в новую церковь Игорь. Он с Гаврилушкой отпущен домой на некоторое время. К Игорю я чувствую большую нежность, особенно после смерти Олега, больше, чем к трем старшим сыновьям. К ужину были Гаврилушка, Костя, Игорь».

Великому князю предстояли командировки в Полтаву, Орел и Москву. В Москве увиденное огорчило. По причине войны из

Варшавы в казармы гренадерского саперного батальона перебрался Суворовский кадетский корпус. Помещение было довольно убогое… Первый Московский корпус был, опять же из-за войны, переведен из Полоцка в Москву, Владикавказ, Сумы. Великий князь побывал за тощим обедом у кадет. Ходил к раненым нижним чинам, их немало приютили в корпусе. Изрядно устал. В 10 уехал в Орел. В поезде думал о том, что ему стыдно показаться на люди: еще не стар, а не находится на войне. А ведь всем не растолкуешь, что за 24 года успел отстать от строя, что в чине полного генерала не найти подходящей должности в действующей армии и что легко изменяет здоровье…

* * *

Как ни странно, но, даже когда идет война, Новый год все равно бывает таким же, как и положено этому единственному в своем роде празднику. Не по устроению праздника, а по ощущениям, в которых главное – надежда. 1 января милая Дагмара пригласила семью Константиновичей на вечерний обед в Аничков дворец. Ехали из Павловска в Петроград в зимних сумерках. Порхал снег, на дорогах было бело, мороз не был крепким, но чувствовался из-за обычной петербургской сырости. Но для Константина Константиновича обед не состоялся.

«… В самый Новый год началось у меня удушье и затруднение дыхания… – жаловался он Анатолию Федоровичу в письме 24 января 1915 года. – Вместо обеда я попал в кровать, в которой меня продержали дней шесть… Чувствуя свое сердце, которое доныне никогда не давало себя знать, я невольно обращался мыслями к Вам, издавна испытывающему это неприятное ощущение… В данное время из наших сыновей только Измайловец Константин находится в действующей армии под Радомом, где его полк на отдыхе считает раны и обречен, по выражению Лермонтова, „товарищей считать“. Много уже пало этих товарищей! Дочь Татьяна… вчера вернулась, украшенная Георгиевской медалью за раздачу подарков офицерам Кавказского Лейб-Эриванского полка в „сфере артиллерийского огня“…»

Из-за сильных морозов, которые вдруг грянули в январе, Великому князю пришлось оставаться в Мраморном дворце. Елизавета Маврикиевна не отлучалась от мужа ни на один день. Ей казалось, что в Павловске, на природе, Константину будет лучше, но врачи не позволяли предпринять даже это маленькое путешествие. Гавриил же, которому из-за его хрипов в легких не

разрешили временно возвращаться в полк, был несказанно рад видеть родителей в Мраморном. Ему это напоминало детство, когда они всей семьей собирались в столовой на завтрак и висела эта вечная картина – шведская гвардия несет Карла XII на носилках. Снова он ходил по тем же милым комнатам и видел все те вещи, которые видели бабушка, генерал Кеппен, его друзья, которые где-то воюют и погибают.

В один из дней в Мраморном вдруг появилась старая няня Атя, которая растила Гавриила и братьев. Она долго и тихо разговаривала с Великим князем. Он проводил ее до передней и просил молиться за него.

Возможно, ее молитвы помогли, потому что Константину Константиновичу стало лучше. В день рождения жены и именин дочери Татьяны, 12 января, они с Елизаветой Маврикиевной пили кофе в его кабинете, сидя возле ярко горящего камина, где «сбросил» с себя шкуру белый медведь, через которого, пугаясь, переступал в детстве опасливый Иоанчик.

Они были в добром настроении. И хотя доктор отругал Константина Константиновича за «будоражащий кофеин», маленькое счастье быть вдвоем коснулось их в то утро.

В феврале Константин Константинович вернулся в Павловск, взялся за работу над «Заметками к „Царю Иудейскому“„. Однако весь февраль его мучили сердечные приступы. „Удушье и перебои сердца мучили меня ночью до 4-х утра, к утру прошло. С тех пор я проводил дни, сидя на большом кресле в своей приемной, и никуда не ходил… Раз посетил Государь и привез мне пряжку за 40 лет службы в офицерских чинах. Я бы должен был получить ее 10 августа 1914 года, но это было забыто“, – записал он 2 февраля. Он очень плохо выглядел и едва держался на ногах в церкви на первой неделе Великого поста. Не смог он поехать с сыновьями и в Осташево на могилу Олега – исполнялось полгода со дня его смерти. Но сыновья Гавриил, Костя и Игорь добрались поездом на панихиду. Отцу они рассказывали, как хорошо и уютно было в детском флигеле осташевской усадьбы, как много и долго они говорили с Макаровым, бывшим камердинером Олега. Макаров никуда не хотел уезжать от «дорогого мальчика“, как он говорил.

К. Р. часто навещала вдовствующая Императрица Мария Федоровна. Умная, чуткая, ласковая Дагмара не мучила его разговорами о войне и болезни. Напоминая ему о милых вещах из прошлой жизни, она как бы отзывалась на его давние стихи: «И тайною меня обвеяв чудной, / Дай отдохнуть от жизни многотрудной, /Ив сердце мир и тишину вдохни».

При каждом улучшении своего состояния он брался за

работу. В фуражке и серой накидке выходил в сад с бумагами. Он сопротивлялся болезни.

Планы его не оставляли, он много читал, и восторг перед чудом ума и таланта не угасал, голова была полна идей. Может быть, вспоминая Афанасия Афанасьевича Фета и его слова о «восторженных трупах», он и себя причислял к таковым. Но вслух в этом не сознавался.

Не угасала и его переписка с бесценным другом.

...

Павловск, Вербное воскресенье, 15 марта 1915.

«Дорогой мой Анатолий Федорович, если беда никогда не приходит одна, то, по счастью, это иногда может быть сказано и о радости. Я испытал это 9 марта, подарившем всех нас вестью о падении Перемышля, а лично мне принесшем Ваше милое письмо. Незадолго перед тем, только успел я перед Вами похвастаться восстановлением здоровья, как вновь испытал две неприятности: 6 марта потерю памяти, длившуюся целое утро… а 8 марта – обморочное состояние с усиленным сердцебиением… Теперь выздоровление опять наладилось. Не сумею выразить, как Ваши строки тронули меня своей заботливостью. Будьте уверены, что я плачу Вам тревогой не меньшей, чем Вы обо мне, узнав о Вашем падении на рельсах, ушибах и костылях.

А как умел писать Ф. И. Тютчев! Его письма жене, которые он, конечно, не предназначал для печати, так и искрятся остроумием, глубиною мысли и неординарными ее оборотами…»

31 марта 1915.

«Милый и дорогой Анатолий Федорович ‹…› В последнем Вашем письме, начинающемся радостным пасхальным приветствием „Христос Воскресе“, Вы затрагиваете струну, на которую чутко отзывается моя душа, а именно, Вы говорите о неудовлетворенности русского перевода Евангелия.

Этот перевод отзывается какой-то канцелярщиной, и неудивительно, что он уже дважды вызывал попытки «художников слова» дать новый, более приближающийся к церковнославянскому тексту перевод. Это переводы В. Жуковского и К. Победоносцева. Известны ли они вам?…»

31 марта 1915. «… Возвращаю Вам статью Валерия Брюсова „Маленькие драмы Пушкина“. Она, мне кажется, не лишена справедливости и подкупает почтительным отношением к „Солнцу нашей словесности“. Тем не менее, я не хотел бы видеть В. Брюсова облеченным званием Почетного академика. Есть грехи не прощаемые, и он, как мне кажется, не свободен от них. Мне не забыть его прежнего гаерства».

Павловск, 8 апреля 1915.

«Дорогой и сердечно любимый Анатолий Федорович ‹…› в моей библиотеке нашелся перевод 4-х евангелистов, исполненный Победоносцевым, и я смогу послать Вам эти книги. Обратите внимание на предисловие к переводу Евангелия от Иоанна. Я бы пошел еще дальше Победоносцева, приближаясь в переводе к церковно-славянскому тексту: напр., слово искони в первых же стихах 1-й главы от Иоанна

вполне могло бы быть сохранено без изменения. Перевода Жуковского у меня еще не отыскали.

Вы упоминаете Б. Садовского, а незадолго до получения Вашего письма мне прислали его книжку ‹…› под заглавием «Озимь». В книжке есть дельные мысли, как, например, изобличения Валерия Брюсова в отсутствии поэзии его «простыночных» стихов якобы о любви. Но не могу не согласиться с мнением автора о лиризме А. Блока, признаваемого первым в наше время лириком, «последователем» или, по крайней мере, преемником Фета…»

* * *

Борьба с болезнью, вернее, принципиальное нежелание думать о ней, иногда приводит к победе. Жизнь начала входить в обычную колею. Наконец убрали кровать из кабинета и заменили диваном. К. Р. решил в своем кабинете переставить мебель, то есть руководил он, а сыновья расставляли. Было это перед приездом молодого поэта князя Владимира Палея, которому одни обещали будущее Лермонтова, другие – Пушкина. Палей был красив, изыскан и талантлив. Он писал стихи на русском и французском языках. Перевел он на французский язык и первые два действия «Царя Иудейского». Решил показать перевод автору. Как вспоминал Гавриил Константинович: «Перевод превзошел все ожидания моего отца, он был в восторге и даже прослезился».

Когда-то поэт Полонский в своем письме Великому князю Константину предсказывал: «Мое сердце говорит мне, что, чем бы Вы ни были, Вы всегда и везде будете любимы и полезны для нашего дорогого отечества». И еще: «Вас нельзя не любить».

Великого князя Константина Константиновича в России знали, поэта К. Р. – любили. Неудивительны желания многих помочь ему в тяжелые его дни. Николай Николаевич Сергиевский, чтобы поддержать Великого князя, решает провести «Вечер поэзии К. Р.».

«Мысль о вечере очень его оживила, – вспоминал Сергиевский. – Мы обсуждали подробности, он высказал надежду

приезжать на генеральную репетицию, если доктора ему позволят, с условием, что я посажу его в укромном месте, скрыв от взглядов посторонних. Проведя несколько часов в Павловске за беседой в его кабинете, за завтраком в кругу его семьи и гуляя с ним по обширной картинной галерее дворца, я уехал, унося впечатление, что здоровье его не так уж плохо, как мне говорили. Я поторопился приступить к организации „Вечера поэзии“, получив для него огромный „Зал армии и флота“ на углу Литейного и Кирочной. Вечер должен был состояться с обычной благотворительной целью, с участием лучших столичных артистов, артисток, певцов и певиц и оригинального оркестра старинных русских инструментов – дудок, свирелей, сопелок, балалаек и т. д. – знатока старинной русской музыки Привалова; он сам напросился участвовать в моем вечере, и я придумал для него инсценировку стихотворения К. Р. „Родного севера картины“. В программу вечера входили другие инсценировки, декламация и мелодекламация стихов К. Р., романсы на его слова Чайковского и других известных композиторов и самого К. Р., который был хорошим музыкантом. Приехать на генеральную репетицию вечера доктора ему не разрешили. А случившаяся на следующий день ужасная катастрофа на Охтинских пороховых заводах со множеством убитых и раненых рабочих, в чем подозревалась рука немцев, вызвала новый сердечный припадок у К. Р., справившись с которым, он прислал мне телеграмму, прося изменить благотворительную цель вечера, предназначив весь доход на помощь семьям пострадавших охтинских рабочих. Поместить об этом сообщения в газетах было поздно, и в день концерта… по Невскому с утра расхаживали нанятые мною люди, раздавая прохожим печатное объявление об этом событии.

«Вечер поэзии» имел огромный успех, сбор за проданные билеты был, что называется, битковый. Все газеты поместили прекрасные рецензии, и музыкальный критик «Нового времени» назвал мой вечер «праздником чистого искусства». Понимая, как, читая их, К. Р. должно было взгрустнуться, я надумал свезти наиболее красивые номера программы к нему в Павловск на «музыкальное утро». Он с радостью согласился, «утро» было назначено на 30 апреля. Накануне его он писал мне: «Признаюсь Вам, что, как мальчик, радуюсь повторению главнейших номеров \'вечера\' у нас в Павловске. Думаю, Вы останетесь довольны классической и в то же время уютной обстановкой литературного утра. Ждем на него двух старших царских дочек. Зала, где будут происходить чтения, и все ее убранство остались неприкосновенными с 80-х годов XVIII века, когда она была устроена моей прабабкой императрицей Марией Федоровной»».

В дневнике К. Р. об этом событии сохранилась запись от 30 апреля 1915 года:

...

«Вчера для меня был праздник, в 4 ч. в Греческом зале состоялось повторение главнейших номеров устроенного Н. Н. Сергиевским в собрании Армии и Флота „Вечера поэзии К. Р.“. Мы пригласили двух старших царских дочек, Зизи Нарышкину, Изу Буксгевден, Кони и всех наших домашних с женами и дочерьми. Всего гостей было человек 30 с небольшим. Греческую залу устроили красиво и уютно с помощью кресел, диванов, кушеток, столиков. Исполнителями были: Ведринская, Тиме, Студенцов, Ходотов, Андреева-Дельмас, Райчев и др. Исполнялись мои стихи и романсы. Было удачно».

* * *

В воскресенье, 3 мая 1915 года, в Павловск приехали Николай II и Императрица Александра Федоровна. Разговор шел о положении на фронтах. И Император Николай Александрович был со своим бывшим отцом-командиром вполне откровенным.

В эти дни мысль К. Р. обращается к деятельности личностей, которые стремились к переустройству России, ее благоденствию. Константин Константинович видел ее мирной, идеальной, просвещенной монархией.

Но пока всё пронизывает война. Сжимается болью и опасениями сердце в ожидании плохих известий. Приехал Костя, а с ним молодой безрукий Измайловский командир Кругловский. Знак войны. Появился с отмороженными ногами Данильченко – тоже знак войны. Да и сам Константин Константинович в праздник Святой Троицы послал лишь телеграмму измайловцам в действующую армию и в запасной батальон в лагерях. Ехать в

Красное Село он не мог – плохо себя чувствовал. В этот день, 10 мая, записал: «Обедню и вечерню я стоял дома с букетом розовых роз. Потом сидел на берегу Славянки в старой роще»…

* * *

А 20 мая генерал Брусилов сообщил о гибели мужа дочери Татьяны – князя Багратиона. Он пал смертью храбрых 19 мая 1915 года под Львовом. Ему было 25 лет.

У Константина Константиновича в тот день случилось несколько приступов спазматических болей за грудиной, мучило удушье, удручающим образом действующее на общее состояние. Он лежал в малиновой стрелковой рубашке с Георгиевским крестом на груди. Лежал и ждал, когда ему станет лучше, чтобы поехать с сестрой Олей в Павловские аллеи и в тихой беседе или в молчании немного справиться с очередным семейным горем.

ЧАСТЬ VI

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЗЫВ

Сестра Ольга была для него загадкой. Но он ничего в ней разгадывать не хотел. Нежно любил, восхищался, полагался на нее.

Старше его на семь лет, она была как полноводная река. У всех братьев – по одной страсти. У Николая – женщины. У Дмитрия – лошади. У него, Константина, – поэзия. А у нее… Бог глянул на нее с небес и сразу отпустил пригоршню добродетелей и талантов.

Странно, отец-адмирал, морской министр, мечтал о сыновьях-адмиралах, что полюбят они море, продолжат его трудное дело – реформирование русского флота, укрепят морскую династию Константиновичей. Но нет, море полюбила дочь и ее потомки. Ее сын Константин, будущий Король Греции, стал блестящим морским полководцем. Сын Георгий служил на русском крейсере «Память Азова». Каждый русский корабль, прибывавший в греческие порты, вызывал у нее слезы. Поднявшись на его палубу, она становилась на колени и целовала ее, как, истосковавшись, целуют родную землю. «Я не могу и не хочу представить себя не русской и не православной. Я только этим и горжусь на земле». Сколько раз сестра говорила об этом с Константином!

Александр II назначил Ольгу шефом одного из флотских экипажей. Потом она стала шефом команды крейсера «Адмирал Макаров». Пожаловала для нижних чинов своей части 10 тысяч рублей. Покровительствовала русским и греческим судам. Королева эллинов построила в Пирее госпиталь, где бесплатно лечились моряки с российских военных кораблей Средиземного моря. Однажды Оля познакомила брата с молодым офицером. Это был М. Ю. Гаршин, племянник писателя Всеволода Гаршина, но, главное, он был героем Порт-Артура. «Гаршин для меня святыня», – сказала всем Ольга. Повезла его в госпиталь в Пирее, потом в Афины, где ему сделали сложную операцию после ранения в голову. Сама Королева в качестве сестры милосердия присутствовала на ней. «Милая, смешная, – думал Константин, – закончив в Греции школу сестер милосердия, которую она сама и основала, она считает себя крупным медиком и обещает меня вылечить. Но Гаршина она все-таки вылечила…»

Забинтованным, но здоровым Константин Константинович его видел сидящим в кресле в библиотеке Пирейского госпиталя, где Гаршин был на «доздоровлении». Эту библиотеку на русском языке сестра собрала сама. Константин поддразнивал ее, что без

акцента она уже не может простого русского слова сказать.

– Скажи «вода», «хлеб», ну скажи – «Россия», – смеялся он.

Ей было не до смеха, она боялась забыть правильный отчий язык. И спешила на каждый русский корабль, чтобы посидеть в кают-компании, поговорить с матросами на родном языке. Интересно, что в ее семье, где говорили на греческом, немецком, английском, французском, русском языках, сын Андрей принципиально говорил только по-русски.

В Греции она собрала прах русских моряков, сражавшихся за освобождение этой древней и прекрасной страны, и создала кладбище недалеко от Афин.

Она была инициатором и председателем Комитета по строительству храма-памятника Спас-на-Водах в Петербурге. Здесь было увековечено 12 тысяч моряков, погибших в Цусимском бою и в других битвах и крушениях на море. Ей хотелось, чтобы храм был похож на Покров на Нерли: нежная, но несгибаемая красота в водном зеркале. Доброте Ольги не однажды приходилось сталкиваться с рутиной жизни. Она предложила назначить в храм священником иеромонаха Алексея. Раньше он служил на крейсере «Рюрик», попал во время Русско-японской войны в плен и вывез из плена знамя, за что был награжден Государем наперсным крестом на Георгиевской ленте.

Но ведомство военного духовенства сначала не устроило то, что иеромонах имеет лицо калмыка, без усов и косоглаз.

– У нас в России лицо калмыка или татарина – уже свойство нации. Вы ведь не различаете разрез глаз, когда посылаете человека на фронт?… – настаивала Ольга.

Тогда ведомство не устроило, что иеромонах до принятия монашества был лишь сельским учителем.

– Значит, знает жизнь народа – легче будет ему служить. Господь тоже был с народом.

Королева настояла на своем. Потому и слыла справедливой для одних, странной для других.

Она любила фотографировать корабли. Ее коллекция снимков стала достоянием музеев. Где бы она ни была, всегда получала две флотские газеты: «Кронштадтский вестник» и «Котлин».

– Адмирал, для вас газеты! – кричали ей дома братья Константин и Дмитрий.

За шуткой сквозили некое смущение и чувство вины. Отец хотел видеть адмиралами сыновей, а называют так дочь, потому что именно она была наследницей любви отца к морю. Причем деятельной любви. Однако когда он, ее любимый брат Константин, не смог полюбить море и «служить» ему, вопреки

воле отца, она всё поняла, поддержала, позвала к себе в Грецию и избавила от душевной смуты. Сказала: «Ты будешь поэтом».

«Оля для меня значит больше, чем родители, жена, даже дети, – записал К. Р. однажды в дневнике. – Пусть Бог простит меня, и мой отец тоже. Но он и сам так любил свою сестру Александру и просил похоронить себя подле нее».

Ольга приехала в Россию после смерти мужа Короля Георга I. На греческий престол взошел ее сын Константин, женатый на дочери германского Императора Вильгельма. Невестка сумела выселить вдову Королеву из лучших комнат Афинского дворца, несмотря на завещание бывшего Короля. Ольге было одиноко и неуютно. Трудно было одолеть мыслью и чувством, что время ее закончилось, ушло, что в ней не нуждается Греция, на землю которой она приехала в 16 лет. Муж ее, король Георг, был необычайно красив и очень любил Ольгу, которая родила ему пятерых сыновей и троих дочерей. Но что она тогда увидела в бедной, бедной Греции с ее ослепительной южной природой?! Четыреста лет владычества Турции всё превратили в руины, народ был нищий, культура заглохла. В Парфеноне бродили козы. Знаменитые руины Акрополя уныло смотрели на пыльные, почти деревенские улицы Афин.

– Но мне всё здесь близко и знакомо. Я ведь родилась в Павловске, который дышит образами древней Эллады, – говорила она Константину, когда он навещал ее в королевской резиденции Татой близ Афин.

На греческой земле она возвращала к жизни музеи, создала Археологическое общество – Константин знал, сколько на него положено сил. «Греция без археологии?! – смеялась Ольга. – Немыслимо!» Не все понимали это и подсчитывали деньги, которые тратились, к примеру, на восстановление древнего стадиона на 70 тысяч мест, который принял в 1894 году участников Олимпийских игр.

Так она пыталась вписать в современную жизнь греческий античный мир, ожидая от него духовной и материальной прибыли.

Она считала нужным переложить Священное Писание на современный греческий язык, чтобы «тысячи народа читали Евангелие дома и понимали бы его в церквах».

Как и Константин, она любила и знала литературу. Сама не сочиняла, но, любя поэзию, составила «Хрестоматию на каждый день». Это были извлечения из стихов и прозы Лермонтова. Константин с интересом следил за тем, что и как сестра отбирала в этот объемный том в 365 страниц. В отобранном видел их духовное единство. Константин любил и хотел посвящать сестре

стихи. Ольге нравились «Письма про алые цветы». Она часто просила его их читать. Немного актерствуя, он начинал: «Ты помнишь ли те алые цветы?…»

Когда-то шестнадцатилетней русской девочкой она пленила жителей Греции юной прелестью и красотой. Сейчас о ней говорили, что она старомодная Королева: милостивая, сердобольная, боголюбивая. Она помогала больницам, школам, сиротским домам, отдельным людям. То же самое она делала в России. Она приехала в Россию летом четырнадцатого года. Жила у братьев то в Стрельне, то в Павловске или в Мраморном дворце. В селе Выбуты под Псковом, куда она поехала на закладку храма Святой Ольги, ее застало известие о войне. «Я остаюсь в России, я должна быть на службе у нее», – сказала она и занялась благотворительной деятельностью. Ее имя, ее опыт в открытии медицинских учреждений и особый авторитет в семье Романовых этому помогали.

Константин, который всегда так ждал ее, радовался ее приезду, понимал, что теперь видеть сестру будет редко. Он так и сказал ей. Только стихами: «И на действительность я раскрываю снова слезами обожженные глаза…»

В Мраморном дворце она стала организовывать склад «для сбора пожертвований», потом «Летучий лазарет», который вскоре отправился на фронт. А с ним – жена Иоанчика, принцесса сербская Елена, и Мария Павловна, Великая княжна, воспитанница Эллы.

– Не Каляев, так война, – ворчал Константин Константинович, узнав, что на фронт едет Мари, не убитая когда-то вместе с Эллой бомбой Каляева.

В Стрельне Ольга подготавливала к открытию «Лазарет-2» имени Великой княгини Елизаветы Маврикиевны, а были еще лазарет для раненых и больных на Галерной, Общество Красного Креста, больница, где она была перевязочной сестрой…

Прошли первоначальные пафос и эйфория. Осталась война. Подруга Королевы Вера Васильевна Бутакова, в доме которой Константин когда-то познакомился с Чайковским, писала Ольге: «Конечно, Россия нуждается во всех своих чистых и способных сынах, и жаловаться на это нельзя. Я и не жалуюсь, но не могу не дрожать за любимого сына и отца 4-х малых детей». Вскоре погиб ее муж, адмирал Александр Григорьевич Бутаков, служивший на крейсере «Паллада».

Ушел в действующую армию и однажды спасенный Королевой Гаршин…

* * *

– Королева, ты уходишь?

– Ты же знаешь, что я должна уйти.

– И что у тебя сегодня в лазарете?

– Операция, и очень сложная.

– Но ты же не хирург.

– Конечно, но я – хирургическая сестра. Не волнуйся, моя прелесть, я скоро вернусь. А ты думай о русских классиках для Верочки – кого сегодня будем ей читать?

– Зачем мне думать… ты сама всегда говорила, что мы думаем одинаково. И потом, я не прелесть, а селедка…

– О Господи! Ты хоть сейчас и болеешь, но совсем не похудел…

– А чьи это слова: «Собственная моя селедка»? Твои. Даже помню, когда ты мне их написала.

– Я не могла их написать. Я бы написала так: «Собственная моя селедка, прелесть моя! Радость моя ненаглядная!» Вот так бы!..

Ольга Константиновна приколола жемчужной булавкой к своим светлым, пышным волосам шляпу, поцеловала брата и ушла, пообещав быть скоро. То, что сестра вернется в Павловск, а не останется в Петрограде, было уже само по себе праздником. Он лег, оглядел свой уютный кабинет в три окна, который находился в нижнем этаже дворца. Девятилетняя Верочка тихо сидела на диванчике у рояля и читала «Хитролис». Он стал думать о предстоящей поездке в Осташево, смотрел в окно: там шумело лето, куда-то неслись облака.

Он ждал Олю. Перебирал в памяти строки: «Измученный в жизни тревоги и зол / Опять, моя радость, я душу отвел / С тобою…» В них все их встречи и расставания. «Смеркалось; мы в саду сидели, свеча горела на столе… [87] » А здесь все их вечерние разговоры в Павловске, Стрельне, Осташеве, в Татое, Афинах…

Вошел камердинер и доложил, что Королева Ольга Константиновна задерживается на операции и опять дежурить будет только пятнадцатого.

«Значит, пятнадцатого в пятнадцатом году я буду снова один…» Он не любил число 15, особенно цифру 5 в нем. «Я боялся за Олю весь этот день. Пятнадцатое число я считаю роковым. 15-го умер Eugene, 15-го – Гавришев, Вячеслав – тоже 15-го…» – записал он в дневнике. И в подсознании этот страх жил всегда, особенно когда всплывало в сознании, что Олег родился 15-го и его нет. А в 5-м году убит Сергей, 5-го умер Кеппен, в 5-м году умерла Натуся. Роковая пятерка…

Верочка услышала тяжелое дыхание отца. Соскочив с дивана,

побежала к матери. Вбежала в спальню с криком: «Пап? не может дышать!» Великая княгиня бросилась к мужу, а Вера к камердинеру: «Скорей, Аркчеев, Пап? плохо, доктора!» Она прыгала на месте, топала ногами, но Аркчеев, испугавшись, растерялся, никуда не шел и не бежал.

Впрочем, уже было поздно.

Английские часы пробили 7 вечера, было 2 июня 1915 года, по новому стилю – 15 июня 15 года, когда Великого князя Константина Константиновича, поэта К. Р. не стало.

* * *

Пусть числа играют в свою роковую игру. Мужественный и спокойный человек – над ними. Уходя, он одаряет всех оставшихся светлой энергией, помогая накапливать ее на земле. Оснащенный ясностью духовного зрения, он даже у последней черты – спокоен.

Не об этом ли последнее письмо Великого князя своему другу Анатолию Федоровичу Кони?

…

Павловск, 25 апреля 1915.

«Милый, дорогой Анатолий Федорович!

… Я глубоко верю, что и волос с головы нашей не спадает без Его воли, и, следов«ательно», верю, что эта всеблагая воля вовремя отрывает нас от здешних наших дел. Поэтому ходячее выражение безвременная кончина для меня звук пустой… Эта всеблагая воля лучше нас знает, когда должен последовать последний призыв…

До свидания, дорогой Анатолий Федорович».

* * *

Гавриил Константинович в своей книге воспоминаний

грустно и просто писал, что отца похоронили в новой усыпальнице, там, где были похоронены дедушка и бабушка. Гроб опускали в узкий и глубокий колодец. Камердинер Константина Константиновича Фокин – он был при Великом князе со времен Русско-турецкой войны – вспомнил, что Его Высочество всегда носил с собой коробочку с землей из Стрельны, где он родился в Константинове ком дворце. Он достал коробочку и высыпал землю на крышку гроба. На крышке коробочки почерком Елизаветы Маврикиевны были выгравированы слова Лермонтова: «О родине можно ль не помнить своей?». Гавриила Константиновича огорчило, что узкий, глубокий колодец закрывается не надгробием, а плитой: «У высокого мраморного надгробия можно было опуститься на колени, опереться на него и помолиться. А в усыпальнице дорогие вам милые люди где-то под ногами. Как к ним подойти и как почувствовать себя вблизи их?»

Великого князя хоронили торжественно, соблюдая во всем ритуал великокняжеских похорон. Это было последнее великое погребение в роду Романовых. На фоне войны и разрушения монархии.

Великий князь навсегда покидал дорогой его сердцу Павловск. Над дворцом – приспущен флаг. Утром у тела усопшего служили панихиду, на которой присутствовал весь лейб-гвардии Преображенский полк. Толпы народа на Садовой улице ждали печального шествия. От дворца до вокзала в пешем строю стояли войска.

После бальзамирования брат Дмитрий и сыновья Великого князя положили его тело в гроб. Доктора сказали, что в сердце покойного была язва. Он и сам, бывало, говорил, что чувствует там рану…

Из кабинета гроб перенесли в ротонду, всю в зелени высоких пальм, где год назад был семейный праздничный обед. В два часа прибыли Царь с дочерьми и Великие князья. Император, Великие князья и сыновья вынесли гроб из дворца и поставили на артиллерийский лафет, запряженный в шесть лошадей цугом. Ездовыми были юнкера. Генералы накрыли гроб покрывалом, а адмиралы – кормовым флагом.

По зеленым аллеям процессия двинулась к Павловскому вокзалу. Звонили колокола. Впереди ехал церемониймейстер с траурным шарфом через плечо, в траурном мундире – конюшенный офицер, шли придворные великокняжеского двора. Под уздцы вели верхового коня Великого князя. По обе стороны лафета шли адъютанты, состоявшие при его Императорском Высочестве. За лафетом следовали Государь с дочерьми и августейшие особы.

В Петрограде навстречу печальному поезду вышел митрополит Петроградский Владимир с архиереями. На вокзале были Государь, Государыня Александра Федоровна и вдовствующая Императрица Мария Федоровна. На Императрицах – черный креп и Андреевские ленты.

Раздался звон колоколов, зазвучало «Коль славен». Генерал с двумя полковниками несли Российский герб. Дальше двигалась вереница депутаций от обществ и учреждений, в которых Великий князь состоял президентом, попечителем, покровителем или членом. За депутациями, по два в ряд, в форме военного времени шли генералы и адмиралы, находящиеся в Петрограде, и три взвода Николаевского кавалерийского училища на конях. За ними высились белые с синим крестом флаги и мелькал огонь факелов. Адмиралы с ассистентами-капитанами флота несли один за другим контрадмиральский, вице-адмиральский и адмиральский флаги. На двадцати девяти подушках несли знаки отличия и ордена Великого князя, впереди – иностранные. По сторонам процессии шли редкой цепью пажи в парадной форме, в касках с белыми султанами, с пылающими факелами в руках.

С крестами и хоругвями двигалась духовная процессия. Диакон держал крест, по сторонам несли две хоругви. Белой лентой двигались причетники, синей полосой шли певчие, митрополичьи и Исаакиевского собора, за ними тянулась серебряная полоса городских священников с возжженными свечами в руках, придворные певчие в малиновых мундирах и кафтанах, дальше – придворное духовенство, архимандриты и архиереи в митрах и Владыка митрополит. Перед лафетом шел с иконой в руках духовник почившего – архимандрит Макарий, по сторонам – адъютанты и генералы, состоявшие при Великом князе. Юнкера-артиллеристы Константиновского артиллерийского училища везли лафет, запряженный в шесть лошадей, с гробом августейшего своего генерал-инспектора.

За лафетом всю дорогу следовал Государь Император с Великими князьями и сыновьями почившего. За Его Величеством – министр Императорского двора, генерал-адъютант граф Фредерикс, министры, представители Государственной думы. Ехали в каретах августейшие особы, придворные дамы, фрейлины, кареты с первыми чинами Высочайшего двора. За каретами – взводы дворцовых гренадер. Потом – все ближайшие служители Константина Константиновича.

Процессия вышла на Загородный проспект, двинулась к Гороховой улице, потом – до набережной Фонтанки через Марсово поле на Суворовскую площадь.

Решетка моста была убрана гирляндами зелени, сквозь нее

грустно светили огоньки электричества.
Шествие вступило в Петропавловскую крепость, крепостной флаг был приспущен до половины.

* * *

Четыре генерала сняли с гроба покров, четыре адмирала – Андреевский флаг, и Император с Великими князьями внесли гроб в собор.

Торжественно печален был вид собора. Среди его высоких, покрытых множеством серебряных венков колонн высился на красном помосте балдахин с золотой пирамидальной крышей, увенчанной великокняжеской короной и по борту украшенный шестью группами белых страусовых, опущенных вниз, перьев. Купол балдахина поддерживали четыре витые золоченые колонны. Спускались серебряная драпировка и подзоры. Под балдахином на бархатном массивном катафалке стоял гроб с телом Великого князя. В головах – дворцовые гренадеры, в ногах – юнкера военных училищ. Перед балдахином – аналой, и за ним священник с диаконами читал Евангелие. Всё пространство до алтарной солеи было занято в три ряда двадцатью парчовыми табуретами, на которых лежали ордена и знаки отличия почившего. Средний из табуретов вмещал ордена Святого Владимира, Георгия Победоносца и Андрея Первозванного.

Вечером 6 июня приехали из Грузии, с похорон павшего в бою мужа, княгиня Татьяна Константиновна Багратион-Мухранская, а также князь Игорь Константинович.

Прямо с поезда они направились в Петропавловскую крепость.

Утром 8 июня должны были состояться отпевание и погребение Великого князя Константина Константиновича. К Божественной литургии собрались дипломатический корпус, председатель и члены Совета министров, члены Думы, сенаторы, чины Высочайшего двора, свита Государя, генералитет, градоначальник и губернатор Петрограда…

В собор прибыли Ее Величество Королева эллинов, семья Константина Константиновича, Великие княгини Мария Федоровна, Елизавета Федоровна, Виктория Федоровна, Ксения Александровна, Мария Павловна Младшая, принцесса Елена Георгиевна Саксен-Альтенбургская, Великие князья Кирилл Владимирович, Борис Владимирович, Андрей Владимирович, Павел Александрович, Дмитрий Павлович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович и Георгий Михайлович,

принц Александр Петрович Ольденбургский. К исходу одиннадцатого часа прибыли Государь Император с Великими княжнами Ольгой Николаевной, Татьяной Николаевной и Марией Николаевной и Государыня Императрица Александра Федоровна. По прибытии Их Величеств началась Божественная литургия, за ней – отпевание. Богослужение совершали высокопреосвященный Владимир, митрополит Петроградский и Ладожский, члены Святейшего синода и придворное духовенство, пела придворная капелла. Высочайшие особы отдали последнее поклонение телу Великого князя. Государь Император вместе с особами Императорской фамилии подняли гроб, который был отнесен в предшествии митрополита и духовенства к могиле в новую усыпальницу при соборе. Здесь была отслужена лития и гроб опущен в могилу дворцовыми гренадерами.
Всеми войсками, находящимися в строю и в Петропавловской крепости, был дан салют. Осталось последнее дежурство при Великом князе Константине Романове.

Вряд ли будет преувеличением сказать, что прощание с его Императорским Высочеством Великим князем Константином Константиновичем было великим прощанием с Монархией. Шла война, жизнь в России всё более походила на страшный оползень. Но это погребение продемонстрировало последние мощь, силу и достоинство традиций великого государства. Россия, страшно болея, продолжала быть.

* * *

Годы спустя Великая княгиня Елизавета Маврикиевна, тоскуя, писала генерал-лейтенанту Адамовичу: «Помните, как Вы были в Осташево с юнкерами? Как раз вчера думала об этом! Нельзя верить, что уже 10 лет Его нет, но надо благодарить Бога, что он весь этот ужас не видел земными глазами. Он, наверное, молится там за своих кадет. Как он их любил!»

Елизавета Маврикиевна пишет только о кадетах… Остальное – страшная, нечеловеческая рана, которой невозможно коснуться. Гибель сына Олега, гибель мужа дочери Константина Багратиона, сброшенные живыми в шахту три сына – Иоанн, Константин и Игорь. Унижения и лишения других детей, оставшихся в живых. [88] Гибель жизни, которую любили.

«Земные глаза» Константина Константиновича этого не видели. Достойно и спокойно он спит в гробнице. Бог пожалел его добрую душу.

Однажды в молодости он был на Афоне, в обители Святого

великомученика Пантелеймона. Прощаясь с молодым человеком, старец Иероним благословил его и вдруг поклонился до земли. Константину Константиновичу вспомнился поклон старца Зосимы перед будущими страданиями Дмитрия Карамазова. «И мне, быть может, предстоят великие страдания», – записал тогда в дневнике Великий князь.

А быть может, афонский старец, прозревая грядущие страдания, призывал к юноше милость Всевышнего?

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОГО КНЯЗЯ КОНСТАНТИНА КОНСТАНТИНОВИЧА РОМАНОВА

1858

10 августа – в Константиновском дворце в Стрельне под Санкт-Петербургом родился Великий князь Константин Константинович Романов. Второй сын Великого князя Константина Николаевича и Великой княгини Александры Иосифовны (урожденной принцессы Александры Фредерики Саксен-Альтенбургской), правнук Императора Павла I, внук Императора Николая I, племянник Императора Александра II, двоюродный брат Императора Александра III, двоюродный дядя Императора Николая II; по линии Великой княгини Александры Иосифовны – потомок шотландского Короля Роберта Брюса (1274–1329).

26 сентября – крещение младенца. Восприемники – Император Александр II и Императрица Мария Александровна. С рождения Константин Константинович назначен шефом 15-го Тифлисского гренадерского полка (которому с этого времени присвоено его имя), зачислен в лейб-гвардии Конный и Измайловский полки, 3-ю гвардейскую и артиллерийскую бригады, Гвардейский экипаж, Гвардейскую пешую артиллерию.

1865

11 июня – назначен в лейб-гвардии 4-й стрелковый Императорской фамилии батальон. Как сын генерал-адмирала, с детства предназначен к службе в Российском Императорском флоте. С семилетнего возраста и до совершеннолетия воспитатель Великого князя – капитан 1-го ранга И. А. Зеленой. Домашние преподаватели: историки С. М. Соловьев и К. Н. Бестужев-Рюмин, писатель И. А. Гончаров (словесность), профессора консерватории, композиторы: пианист Р. В. Кюндингер и виолончелист И. И. Зейферт, профессор теории и истории музыки Г. А. Ларош; английский язык – англичанин К. И. Хит, история государственного права – профессор И. Е. Андреевский, русская словесность – Н. А. Соколов, всеобщая история – В. В. Бауэр, политическая экономия – В. П. Безобразов.

1870

12 июня – начало службы на морском флоте. Ежегодные внутренние плавания на судах Морского училища: фрегатах «Громобой» и «Пересвет», корветах «Гиляк» и «Жемчуг». Руководитель практики – начальник Морского училища контр-адмирал В. А. Римский-Корсаков, брат композитора Н. А. Римского-Корсакова.

1874

Великий князь произведен в гардемарины.

1875

Константин Романов отправляется в дальнее плавание на фрегате «Светлана», которым командует его двоюродный брат Великий князь Алексей Александрович.

1876

август – после сдачи экзамена по программе Морского училища Константин Константинович в день 18-летия призван в Зимний дворец, где произведен в мичманы (первый офицерский чин).

1877

19 июня – фрегат «Светлана» возвращается из дальнего плавания, и его экипаж начинает готовиться к военному походу.

4 июля – Великий князь отбывает на театр военных действий начавшейся Русско-турецкой войны. Император Александр II сообщает телеграммой, что «радуется увидеть Константина на берегах Дуная».

3 октября – в ночь на 3 октября под Силистрией Великий князь совершает подвиг – лично спускает брандер (поджигающее устройство) против вооруженного турецкого парохода у острова Гоппо на Дунае.

17 октября – за проявленную храбрость награжден орденом Святого Георгия 4-й степени («Оценивая каждого из офицеров, большинство которых было первый раз под неприятельским огнем, я считаю долгом упомянуть об Его Императорском Высочестве Великом князе Константине Константиновиче, хладнокровие и распорядительность которого несомненно гораздо выше его лет и опытности…» – из рапорта лейтенанта Дубасова).

1879

пребывание в Крыму. Константин Константинович сопровождает отца, генерал-адмирала, воссоздателя Российского флота после Крымской войны, ближайшего сподвижника реформатора Александра II, при испытании в Черном море круглых броненосцев «Поповки». Они посещают Севастополь, Батум, Новороссийск, Николаев. Молодой офицер сознается себе, что «вопросы государственные его занимают больше, чем морские

и что он не хочет быть моряком». Его интересуют литература, музыка, живопись. Самое сильное впечатление этого времени – произведения Ф. М. Достоевского и личное знакомство с ним. Следуя острому желанию юности ответить на вечный вопрос: «В чем смысл жизни», Великий князь прочитывает полное собрание писем А. С. Пушкина.

Май – Константин Константинович Романов пишет первое стихотворение «Задремали волны…», но не оно будет опубликовано под криптонимом «К. Р.».

11 мая – становится действительным членом Императорского Общества поощрения художников.

Первое посещение Москвы. «Я испытываю замирание сердца и радость, видя Красную Площадь, лобное место, Василия Блаженного, и тогда, когда под Спасскими воротами мы сняли фуражки…»

1880

командование ротой Его Высочества Гвардейского экипажа.

Ожидание очередного плавания; пока готовят фрегат «Герцог Эдинбургский», Великий князь ведет напряженную духовную жизнь, углубляя отношения с литераторами, композиторами, художниками, посещает выставки, концерты, театральные премьеры, пишет музыку, втайне набрасывает стихотворные строки. На одном из вечеров встречается с И. С. Тургеневым, от него он узнает о последней «необъяснимо прекрасной» картине художника А. И. Куинджи «Ночь над Днепром», покупает ее.

19 марта – знакомится с П. И. Чайковским, зовет его с собой в кругосветное плавание, обещая композитору избавление от депрессии. Возникает долгая, высоко духовная дружба между композитором и поэтом, оставившая нам музыкально-поэтические шедевры и интереснейшую переписку.

22 марта и 8 мая – Великий князь устраивает вечера с Ф. М. Достоевским.

28 марта – Константин Константинович избирается почетным членом Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии – «… москвичи, вероятно, почувствовали, что я питаю нежные чувства к Москве».

22 мая – смерть Императрицы Марии Александровны. Роман Александра II с Екатериной Долгорукой («нарушение нравственного порядка»), предстоящее плавание, нелюбимая морская служба – всё это ведет к печальным, кризисным мыслям. Великий князь сдает роту Его Величества и 8 декабря уходит в кругосветное плавание на «Герцоге Эдинбургском».

1881

кругосветное плавание на фрегате «Герцог Эдинбургский»

(длилось два года – до января 1882-го): посещение Неаполя, Алжира, Африки, поездки в Афины (к сестре Ольге, греческой Королеве), по Святой земле, в Иерусалим. В плавании узнает об убийстве Александра II и о смерти Ф. М. Достоевского; посылает телеграмму вдове писателя. Кругосветному путешествию сопутствует поэтическое вдохновение.

30 июня – под впечатлением от роскоши неаполитанского юга пишет стихотворение «Прощание с Неаполем».

Сентябрь – в Татое (близ Афин), резиденции сестры Ольги, греческой Королевы, пишет магистральное для своего творчества стихотворение «Псалмопевец Давид»: «… Не от себя пою я: /Те песни мне внушает Бог, / Не петь их не могу я!..», открывающее цикл стихов на библейские темы. Константин окончательно решает уйти со службы во флоте и втайне мечтает, не покидая военной карьеры, заняться литературой.

1882

возвращение из кругосветного плавания в Петербург.

Май – избран почетным членом Православного Палестинского общества.

30 августа – переходит на службу в военное ведомство в должности лейб-гвардии штабс-капитана. Мечты о семье, собственном доме в русском духе – от обстановки до устоев. Первая поэтическая публикация – в восьмой книжке «Вестника Европы» выходит стихотворение «Псалмопевец Давид», подписанное никому не известным криптонимом «К. Р.». Год становится стартом долгого и счастливого девятилетнего вдохновения.

Декабрь – в «Вестнике Европы» опубликован цикл стихов «Венеция».

1883

15 мая – коронация Александра III в Москве. Отец К. Р. – Великий князь Константин Николаевич, отстраненный при новом Царе от дел, присутствует на торжествах не как государственный человек, а как член Царской семьи. К. Р. просит Александра III отпустить его в монастырь и получает отказ. Посещает Оптину пустынь, беседует со старцем Амвросием. Знакомится в Альтенбурге со своей будущей женой Елизаветой (урожденная принцесса Саксен-Альтенбургская, герцогиня Саксонская Елизавета Августа Мария Агнесса (13 января 1865 года – 24 марта 1927 года), дочь герцога Морица Саксен-Альтенбургского и герцогини Августы).

4 апреля – в Афинах написано самое знаменитое, программное, стихотворение К. Р. «Я баловень судьбы…». Он всё более определяется как поэт: в 1882–1883 годах им написано

около сорока стихотворений.

15 декабря – Великий князь прибывает для несения службы в лейб-гвардии Измайловский полк, где прослужит 7 лет.

1884

15 февраля – становится командиром роты Его Величества – Государевой роты.

14 апреля – женитьба на принцессе Саксен-Альтенбургской Елизавете (русское имя Елизавета Маврикиевна; православия не принимала, оставшись лютеранкой). Их Императорские Высочества Великий князь Константин Константинович и Великая княгиня Елизавета Маврикиевна имели девятерых детей: Иоанн (23 июня 1886 года– 18 июля 1918 года), Гавриил (3 июля 1887 года – 28 февраля 1955 года), Татьяна (11 января 1890 года – 28 августа 1979 года), Константин (20 декабря 1891 года – 18 июля 1918 года), Олег (15 ноября 1892 года– 29 сентября 1914 года), Игорь (29 мая 1894 года – 18 июля 1918 года), Георгий (23 апреля 1903 года – 7 ноября 1938 года), Наталья (10 марта – 10 мая 1905 года), Вера (11 апреля 1906 года – 12 января 2001 года).

2 ноября – первое собрание литературно-художественного кружка «Измайловские досуги», основанного К. Р. «во имя доблести, добра и красоты», где читали и слушали произведения полковых и известных поэтов, музицировали, ставили пьесы, здесь впервые были поставлены «Гамлет» в переводе К. Р. и его драма «Царь Иудейский» (всего «Досугов» было 223).

К. Р. получает от И. А. Гончарова первое письмо – отзыв на свои стихи, посланные писателю.

1885

переписка с И. А. Гончаровым продолжается (сохранилось 24 письма Гончарова и 22 письма К. Р. за время с 1884 по 1890 год).

В этом году появляются два шедевра К. Р.: «Растворил я окно – стало сердцу невмочь…» (музыку к стихам написал П. И. Чайковский) и стихотворение «Умер», ставшее народной песней (после публикации стихотворения было пересмотрено положение о солдатском погребении и утверждены новые правила похорон нижних чинов).

1886

23 июня – рождение первенца Иоанна. Выходит в свет первая книга «Стихотворения К. Р.» (СПб.).

2 июля – издается закон, согласно которому внуки Императора должны именоваться высочествами, то есть князьями императорской крови. Сыну К. Р. первому из великокняжеских детей присвоили титул просто князя. Чтение дневника Н. И. Пирогова «Вопросы жизни». Размышления о собственном дневнике и будущем читателе. Разговор с отцом Иоанном

(Янышевым), духовником Николая II и его семьи, о воспитании детей.

16 августа – письмо от А. Н. Апухтина с отзывом на первую книгу К. Р.

16 сентября – отзыв И. А. Гончарова на книгу К. Р. («два больших листа», – отмечает К. Р.).

20 сентября – А. Н. Майков присылает свой отзыв на сборник К. Р.

24 сентября – критик В. Величко в «Еженедельном обозрении» помещает разбор первой поэтической книги К. Р.

3 октября – в «Новом времени» появляется фельетон «известного» В. П. Буренина о книге К. Р. (не обругал).

4 октября – письмо филолога, академика Я. К. Грота К. Р. о его вышедшей книге. Детские комнаты в русском стиле – «руки развести, рот растянуть и ахнуть». Два последних сборника А. А. Фета «Вечерние огни» («Я люблю стихи Фета, он – Бог…»).

Обучение новобранцев, съехавшихся со всех концов России («От солдата пахнет русским сукном, сапогами, махоркой и черным хлебом – этот особенный, свойственный только солдатам запах мне даже очень мил»). Возникает намерение создать драму о Страстях Христовых.

2 декабря – К. Р. посылает свою первую книгу стихов «божественному» Фету.

5 декабря – А. А. Фет отвечает К. Р.: «Я давно забыл ждать того, „Чья благосклонная рука / Потреплет лавры старика“«(переписка с А. А. Фетом продолжалась с 1886 по 1892 год и насчитывает 111 писем поэта и 92 письма К. Р.).

1887

21 января – письмо от Я. П. Полонского о первой книге стихов К. Р. (их переписка длилась с 1887 по 1898 год).

8 февраля – приходит отзыв от критика Н. Н. Страхова на первую книгу К. Р. (критик особо подчеркивает стихи, посвященные солдатам и офицерам Измайловского полка; в сборнике их шесть. Их переписка длилась с 1887 по 1894 год. Именно Страхов отметил деятельный интерес К. Р. к выдающимся представителям уходящей классической культуры: «В Вашей судьбе есть одна черта, которая вместе и прекрасна, и печальна. Вы стоите во главе целой толпы стариков и Вы расположены относиться к иным из них не с простым, а с сердечным чувством. И вот им придется постоянно печалить Вас: на Ваших глазах они будут один за другим сходить в землю». Натура К. Р. была притягательна для Ф. М. Достоевского, И. А. Гончарова, А. А. Фета, П. И. Чайковского, А. Н. Майкова, Я. П. Полонского, А. Г. Рубинштейна…).

4 марта – К. Р. пишет «Колыбельную песенку» для сына Иоанна (невольно предсказывая его судьбу).

3 июля – рождается второй сын К. Р. Гавриил.

22 августа – заканчивает первую поэму «Севастиан-мученик», посвящает ее сестре Ольге Константиновне, греческой Королеве. Заносит в дневник мысли о желании создать драму на тему русской истории. Читает труды Н. М. Карамзина, С. М. Соловьева, К. Ф. Валишевского.

Сентябрь – едет в отпуск на родину жены в Германию. Пишет там стихотворение, многократно переложенное на музыку, – «Колокола» («Я вижу север мой с его равниной снежной, / И словно слышится мне нашего села / Знакомый благовест: и ласково, и нежно / С далекой родины гудят колокола»), *13 декабря* – личное знакомство с А. А. Фетом.

1888

3 января – в Мраморном дворце И. А. Гончаров читает свои очерки «Слуги старого века». Переписка с «великими стариками» продолжается. Летом начинаются большие маневры. Беседы с солдатом Рябининым, который тоскует по дому. На походе К. Р. устанавливает с солдатами товарищеские отношения, стоя с ними в церкви, «молится усерднее».

Август – читает роман «Идиот» Ф. М. Достоевского на французском языке, произведения Н. С. Лескова («… умиляет душу и с жизнью мирит»), У. Шекспира («не нравится»).

8 августа – участие роты К. Р. в маневрах, куда прибывает Александр III.

10 августа – день тридцатилетия К. Р. («Я уже не юноша, а взрослый мужчина. Для других я военный… Для себя же я поэт… Сам я себя считаю даровитым и многого жду от себя, но, кажется, это только самолюбие, и я сойду в могилу заурядным стихотворцем»).

С сыном Иоанном посещает свою роту. Читает воспоминания И. Е. Репина о И. Н. Крамском (снова мысли о драме: «Смертельно хотелось бы… написать драму в стихах из русской истории и видеть на сцене» и сомнения: «Иногда просто руки опускаются, как вдумаешься в свою несостоятельность»).

18 октября – сообщение о крушении царского поезда, в котором ехал Александр III с семьей, чудом спасшиеся.

20 октября – едет встречать Государя («словно с войны возвращались»).

5 ноября – разговор о музыке с П. И. Чайковским. Вечером в полку «Досуг», посвященный М. Ю. Лермонтову.

6 ноября – слушает 5-ю симфонию П. И. Чайковского.

19 ноября – присутствует на исполнении 1-й симфонии А. П.

Бородина оркестром под управлением Н. А. Римского-Корсакова (остается в почти пустом зале до конца – «из внимания к русской музыке. И я не раскаялся…»). Написано за год около двадцати стихотворений.

1889

год начинается с размышлений о совести, с которой «надо быть в ладу».

7 января – слушает оперу А. Г. Рубинштейна «Купец Калашников» («… лучше оперу не разрешать. Больно за наше прошлое»),

8 января – хлопоты о пожаловании А. А. Фету звания камергера.

25 января – читает неизданные письма Н. В. Гоголя и «Домострой» Сильвестра.

28 января – 50-летие писательской деятельности А. А. Фета.

Январь – тяжкая для К. Р. пора балов, вечеров, праздников.

16 февраля – посещает больного И. А. Гончарова.

5 марта – концертное исполнение Константином Романовым произведений Моцарта в присутствии А. Г. Рубинштейна.

8 марта – проводит вечер у А. А. Фета в его доме на Плющихе в Москве.

2 мая – получает предложение принять пост президента Императорской Академии наук («Великий князь может стать выше всех интриг», – Александр III). Выходит Высочайший указ Правительствующему сенату: «Его Императорскому Высочеству Государю Великому Князю Константину Константиновичу Всемилостивейше повелеваем быть президентом Императорской Академии Наук». Эту должность К. Р. исполняет 25 лет – до кончины.

В этом году выходит книга «Новые стихи К. Р. 1886–1888» (СПб.).

1890

выступает на Восьмом съезде естествоиспытателей и врачей. Находит в своих бумагах две бесценные записки Ф. М. Достоевского.

7 января – заседание комиссии «Измайловских досугов» по вопросам библиотеки «Досугов» и чтения лекций по истории русской словесности. На «Досуги» приглашен Я. Полонский.

11 января – рождение дочери Татьяны.

Борьба в Академии наук за реформы, обновление состава за счет молодых русских ученых, отодвигаемых засильем немцев в тень. Русская или только Императорская Академия наук? Борьба К. Р. за избрание А. О. Ковалевского и Д. И. Менделеева в академики.

13 февраля – передвижная выставка в Академии наук, которую посещает Александр III.

19 февраля – К. Р. читает «Записки из Мертвого дома» Ф. М. Достоевского.

Март – встреча с актером и режиссером князем А. И. Сумбатовым-Южиным: разговор о «Гамлете» и его постановке в театре.

Ноябрь – тяжелая болезнь сына Гавриила.

Положение президента Императорской Петербургской Академии наук повлекло за собой избрание Великого князя почетным членом и попечителем ряда научных учреждений и обществ. Он являлся почетным членом Императорской Санкт-Петербургской Академии наук, Стокгольмской Академии наук, Чешской Академии наук, Императорской Санкт-Петербургской Академии художеств, Императорской военно-медицинской академии, Михайловской артиллерийской академии, Николаевской инженерной академии. Занимал должности председателя Императорского Русского археологического общества, вице-председателя Императорского Русского музыкального общества. Являлся действительным членом Императорского общества поощрения художеств. Почетный член Императорского общества антропологии и этнографии, Императорского Православного Палестинского общества, Императорского минералогического общества, Императорского Одесского общества истории и древностей, Императорского географического общества, Императорского Московского общества испытателей природы, Императорского Русского исторического общества, Императорского Русского астрономического общества, Императорского общества содействия русскому торговому мореходству, Императорского общества ревнителей истории, Императорского Русского театрального общества, Императорского Санкт-Петербургского университета, Императорского Казанского университета, Императорского Московского университета, Императорского университета Святого Владимира в Киеве. А также попечитель Императорского Женского педагогического института и Константиновской при нем женской гимназии; почетный член Императорского института экспериментальной медицины, Русского археологического института в Константинополе, Московского археологического института; почетный покровитель Мариинской учительской семинарии принца Петра Ольденбургского в Павловске; почетный попечитель Педагогических курсов при Санкт-Петербургских женских гимназиях; покровитель Комиссаровского технического училища

в Москве, Павловского Санкт-Петербургской губернии городского 4-классного училища, Одесского кадетского корпуса; попечитель школы Императора Александра II; покровитель школ Императорского Русского технического общества, Порт-Артурской Пушкинской городской школы, церковно-приходской школы в Клименецком монастыре Олонецкой епархии, Попечительного комитета курсов учебно-воспитательных занятий по сельскому хозяйству и природоведению в Мраморном дворце; почетный член Ташкентского педагогического кружка, Владимирской губернской ученой архивной комиссии; покровитель и почетный член Рязанской ученой архивной комиссии; почетный член Витебской ученой архивной комиссии, покровитель Саратовской ученой архивной комиссии; почетный член Тульской ученой архивной комиссии, Общества любителей российской словесности при Московском университете, Московского археологического общества; член Англо-русского литературного общества; почетный член Парижского общества истории и дипломатии; покровитель Русского общества деятелей печатного дела; почетный член Общества содействия женскому сельскохозяйственному образованию, Московского общества распространения коммерческого образования, Уральского общества любителей естествознания; покровитель Южно-Русского общества акклиматизации; почетный член Одесского общества вспомоществования литераторам и ученым, Пушкинского лицейского общества, Московского публичного Румянцевского музея, Орловского церковного историко-археологического общества; покровитель русского общественного собрания «Гусли» в Ревеле (Таллин), Харьковского публичного аквария; почетный член Общества русских изящных книг, Санкт-Петербургского речного яхт-клуба, Общества спасания на водах, Санкт-Петербургского общества пособия потерпевшим от пожарного бедствия в Санкт-Петербурге; покровитель Козельского пожарного общества, Всероссийского трудового союза христиан-трезвенников, Всероссийского союза по увековечиванию памяти героев войны и устройству приютов-школ для сирот воинов, Общества вспомоществования учащимся в Женском педагогическом институте и Константиновской при нем гимназии, Общества взаимного вспомоществования бывшим воспитанникам Комиссаровского технического училища в Москве; почетный член Общества вспомоществования бывшим воспитанникам Петровского Полтавского кадетского корпуса и Петровской Полтавской военной гимназии, Общества вспомоществования бывшим воспитанникам 2-го Московского кадетского корпуса и 2-й Московской военной гимназии;

покровитель Общества вспомоществования бывшим воспитанникам 1-го Московского кадетского корпуса и 1-й Московской военной гимназии, Общества вспомоществования бывшим кадетам Ярославского кадетского корпуса и лицам, служившим в нем, Общества взаимопомощи неплюевцев (благотворительное общество при Оренбургском Неплюевском кадетском корпусе), Общества вспомоществования нуждающимся суворовцам, Общества вспомоществования бывшим юнкерам Александровского военного училища; почетный член Комитета общества взаимопомощи пажей; покровитель Омского общества хоругвеносцев; почетный член Санкт-Петербургского совета детских приютов, Попечительства Императрицы Марии Федоровны о глухонемых, Российского общества Красного Креста; почетный попечитель Благовещенского имени Ее Императорского Высочества Великой княгини Александры Иосифовны офицерского отделения усиленного лазарета лейб-гвардии Конного полка; покровитель Владимирско-Волынского братства, Полоцкого церковного братства во имя Святителя Николая и преподобной Евфросинии, княжны Полоцкой, Осташковского общества хоругвеносцев преподобного Нила Столобенского Чудотворца, Общества вспоможения бедным в приходе Преображенского всей гвардии собора; почетный член Французского благотворительного общества и др.

1891

10 января – в Географическом обществе слушает сообщение капитана Громбгевского об экспедиции на Памир, в Тибет и в Кашарию.

15 января – разговор с Александром III о необходимости отправить в Каракорум археологическую экспедицию.

4 февраля – разговор с Государем о формировании новых флотских экипажей.

5 февраля – принимает строителя Закаспийской железной дороги генерал-лейтенанта Анненкова, который излагает свои взгляды на постройку Сибирской железнодорожной магистрали.

21 апреля – К. Р. произведен в полковники.

23 апреля – назначен командующим лейб-гвардии Преображенским полком.

12 марта – встреча с преосвященным Амвросием, архиепископом Харьковским: разговор об «отчуждении образованного общества от Церкви».

13 марта – покупает на 19-й передвижной выставке картину Н. П. Богданова-Бельского «Тайная молитва».

Апрель – прощание с Измайловским полком и Государевой ротой. Тягостные мысли о своем творческом бессилии.

15 сентября – умирает И. А. Гончаров. Переживает чувство осиротелости. Вспоминает Ф. М. Достоевского, предрекавшего ему великую будущность.

31 октября – знакомство с юристом, сенатором и писателем А. Ф. Кони, перешедшее в долголетнюю дружбу. Несмотря на переход в Преображенский полк, К. Р. остается председателем комитета «Измайловских досугов».

1892

13 января – смерть отца, Великого князя Константина Николаевича. Мраморный и Павловский дворцы переходят по завещанию К. Р. По поручению Государя К. Р. едет в Нанси, где встречается с президентом Французской Республики Сади Кар но.

15 ноября – рождение сына Олега.

21 ноября – умирает А. А. Фет.

1893

1 января – работа над переводом «Короля Генриха IV» Шекспира.

Подготовка приказа о службе Цесаревича, будущего Императора Николая II, в Преображенском полку под командой К. Р. (Цесаревич будет командовать батальоном).

3 января – крещение сына Олега.

22 января – К. Р. и Н. Н. Страхов с согласия М. П. Шеншиной-Фет приступают к подготовке посмертного издания стихов А. А. Фета (вышли в свет в двух частях в 1894 году в Петербурге). Встреча с вдовой Фета Марией Петровной Шеншиной в Мраморном дворце.

На передвижной выставке представлен портрет К. Р., написанный И. Е. Репиным.

5 марта – прибывает в командировку в Веймар.

24 сентября – К. Р. получает телеграмму от М. И. Чайковского о смерти его брата композитора П. И. Чайковского.

28 октября – К. Р. присутствует в Казанском соборе на заупокойной литургии и отпевании П. И. Чайковского.

1894

весна – пожар в Стрельне, в Константиновском дворце.

Октябрь – К. Р. собирается в Венецию. Тревожные вести о болезни Александра III заставляют его вернуться в Россию.

21 октября – скончался Император Александр III. К. Р. как командир Преображенского полка дежурит у гроба Императора до погребения.

К. Р. переживает творческий кризис: в этом году «совершенно утратил способность сочинять стихи».

Переводит четыре сцены из «Гамлета», отдает на просмотр профессору русской истории К. Н. Бестужеву-Рюмину.

В Академии наук создана Комиссия по пособиям нуждающимся литераторам, ученым, публицистам, их вдовам и детям.

6 декабря – К. Р. произведен в чин генерал-майора с утверждением в должности командира лейб-гвардии Преображенского полка.

1895

сентябрь – в Академии наук проходят заседания: отделения исторических наук, филологии, отделения русского языка и словесности, отделения физико-математических наук.

Октябрь – К. Р. посещает в Париже заседание Академии Франции.

Конец сентября – начало октября – едет из «суетливого» Парижа в Геную, где впервые за два года ощущает вдохновение (результат невеселый: два стихотворения штампов и общих мест).

1896

1 января – К. Р. посещает вдовствующую Императрицу Марию Федоровну.

3 января – встреча с Николаем II в Зимнем дворце. Разговор о двухвековом привилегированном положении Преображенского полка.

5 января – Д. В. Григорович в присутствии К. Р. читает свою повесть «Пикник» («Растянуто и грубо»),

6 января – в Мраморном дворце устроено чаепитие для надзирательниц Педагогических курсов.

7 января – К. Р. в Москве молится у Иверской иконы. Посещает генерал-губернатора Москвы Великого князя Сергея Александровича и Елизавету Федоровну в их доме на Тверской. Присутствует на собрании II съезда русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.

9 января – посещает Комиссарское техническое училище, находящееся под покровительством К. Р.

В галерее Третьякова смотрит картины В. М. Васнецова («Мощь и благоговение»).

10 января – возвращается из Москвы в Петербург. Присутствует на выставке новых картин 80-летнего И. К. Айвазовского.

17 января – ходатайствует об учреждении в Риме Комиссии по занятиям в области классической и восточной археологии.

25 января – умирает Н. Н. Страхов. К. Р. присутствует на панихиде по писателю и другу.

10 февраля – беседа с Царем о книге сенатора Н. П. Семенова «Освобождение крестьян в царствование Александра II», об общине и неотчуждаемости крестьянских земель и о записке С. Ю.

Витте на эту тему.

21 марта – Николай II «высочайше повелел» К. Р. присутствовать в заседаниях Государственного совета при рассмотрении вопроса об исправлении финансового положения в стране.

14 мая – коронация Императора Николая П.

18 мая – ходынская катастрофа. К. Р. выступает за отмену всех торжеств, немедленное расследование случившегося и придания ему гласности. Пишет письмо Николаю II, в котором советует Царю на девятый день по кончине погибших отслужить панихиду. Царь не отвечает.

1897

работа над переводом «Гамлета» и комментариями к переводу. По многим сложным юридическим вопросам при комментировании К. Р. помогает А. Ф. Кони.

17 января – спектакль по переводу К. Р. «Трагедия о Гамлете» в «Измайловских досугах».

8 марта – скончался А. Н. Майков («личное мое горе»), *28 сентября* – в Академии наук обсуждается вопрос об издании сборника, посвященного В. Г. Белинскому, доход от которого пойдет на памятник великому критику в Пензе.

30 октября – «с жадностью проглотил I том Шильдера об Александре I».

Перевод «Гамлета» «вчерне доведен до конца».

За весь год написано одно стихотворение «Зарумянились клен и рябина…» («Другие пишут стихи, в которых преобладают глубина мысли и сила чувства. У меня – мысль заменяют легкие, ничтожные впечатления, а чувство – бессодержательные ощущения… Избитые, испетые и перепетые сетования на то, что „блекнет лист, проходит лето“«).

Декабрь – обсуждается вопрос о памятнике И. С. Тургеневу в Орле.

1898

закончен перевод «Гамлета» (К. Р. работал над ним с 1889 по 1898 год; первое издание перевода выйдет в свет в 1901 году).

Февраль – К. Р. в Германии («жизнь при маленьком немецком дворе меня тяготит своей мелочностью и отсутствием всего возвышающего ум и сердце…»). Заботы об устройстве академической типографии.

Апрель – К. Р. зачислен в свиту Императора Николая II генерал-майором.

Сентябрь – разрабатываются предложения по празднованию 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина (К. Р. считает, что Академии наук следует взять почин празднования в свои руки «и

устроить по всей России истинное всенародное торжество, в котором приняли бы участие все возрасты и сословия»).

1899

10 января – учреждение в Академии наук Разряда изящной словесности при отделении русского языка и словесности.

Утверждена программа празднования 100-летия со дня рождения А. С. Пушкина, создан комитет из старейших лицеистов.

Февраль – дочь поэта И. И. Козлова передает К. Р. автограф Пушкина. К. Р. пишет кантату к 100-летию Пушкина.

Май – Шпицбергенская экспедиция по градусному измерению под руководством академиков О. Баклунда и Ф. Чернышева отправилась к Шпицбергену (успешно возвратится в октябре 1900 года).

Постановка «Гамлета» в Мраморном дворце в присутствии Царя; роль принца Гамлета играет К. Р. Николай II дает согласие на постановку «Гамлета» в Эрмитажном театре.

26 мая – богослужение в честь А. С. Пушкина в Казанском соборе Петербурга. К. Р. произносит речь на торжественном пушкинском празднике в консерватории. Дома для детей устроено «прелестное пушкинское утро».

Июль – по приказанию Государя К. Р. едет в Черногорию на бракосочетание Наследника, сына Князя Черногории Николая I.

Декабрь – на острове Шпицберген появился поселок Константиновский (в честь К. Р.).

Готовится экспедиция на Землю Санникова. В этом году К. Р. написано семь стихотворений, среди них – «Черногория».

1900

2 января – К. Р. сообщает вице-президенту Академии наук Л. Н. Майкову о получении им хранящихся в неаполитанском архиве русских документов эпохи Петра Великого (среди них реляции о сражениях под Полтавой и Переволочной). К. Р. заказывает их копии для Российской Академии наук.

8 января – первые выборы «пушкинских» академиков, которыми становятся Л. Толстой, А. Потехин, А. Кони, А. Жемчужников, А. Голенищев-Кутузов, В. Соловьев, А. Чехов, В. Короленко и К. Р. Он как президент Академии наук произносит речь: «… От души выражаю пожелания, чтобы доблестный круг ваш расширялся не по веянию партийного духа, а под влиянием строгой и осмотрительной разборчивости, в силу уважения к нравственному облику избираемого и всегда согласно с чуткою художественною совестью».

24 января – при Александровском лицее учреждено Пушкинское литературное общество, «посвящающее себя

изучению времени Пушкина»; К. Р. становится его почетным членом.

4 марта – приказом по военному ведомству К. Р. назначается главным начальником военно-учебных заведений Российской империи.

11 апреля – умирает вице-президент Академии наук Л. Н. Майков («Это для всей Академии и лично для меня тяжкая утрата»), *22 апреля* – пишет сестре Ольге: «Я всегда любил учебные заведения».

1 июля – выходит «Третий сборник стихотворений К. Р. 1889–1899» (СПб.).

Старшие сыновья Иоанн и Гавриил поступают в кадетские корпуса.

1901

январь – К. Р. произведен в генерал-лейтенанты и назначен генерал-адъютантом.

4 февраля – пишет приказ о воспитании молодежи: «… бережно устранять все то, что может оскорбить или унизить достоинство воспитанника».

Лето – семья проводит летние месяцы в имении Прыски Козельского уезда. Рядом Оптина пустынь и Шамординский женский монастырь; беседы К. Р. со старцем Иосифом и игуменьей Евфросинией.

Осень – написано стихотворение «Летели журавли…», навеянное «Листопадом» И. А. Бунина. В этом году К. Р. представил Бунина за сборник стихов «Листопад» к Пушкинской премии Академии наук.

К. Р. начинает работать над драмой «Царь Иудейский».

1902

инспекционные поездки К. Р. по военным учебным заведениям России. В стране усиливается революционный террор. Великая княгиня Елизавета Федоровна пишет Царю: «Покончи сейчас же с этим разгулом террора… Каждый день, который ты теряешь, только усугубляет положение».

1903

покупка усадьбы «Осташево» под Москвой. К. Р. опять переживает творческий кризис: «За весь 1903 год ‹муза› совсем не дарила меня своими улыбками; я не хозяин своего вдохновения и вызывать насильно его не умею».

2 января – К. Р. благодарит А. Ф. Кони за подаренный автограф Ф. И. Тютчева; он обогащает собрание редких автографов Великого князя (будет завещан Пушкинскому Дому).

Депрессия К. Р. усугубляется хаосом в стране. В это время он берет под свое покровительство Полоцкое церковное братство,

церковно-приходскую школу в Клименецком монастыре Олонецкой епархии, Осташковское общество преподобного Нила Столобенского Чудотворца.

Главное событие года – прославление преподобного Серафима Саровского.

1904

12 января – написано стихотворение «Поэту».

27 января – нападение японцев на военно-морскую крепость Порт-Артур; начало Русско-японской войны.

31 марта – гибель вице-адмирала С. О. Макарова и художника В. В. Верещагина на броненосце «Петропавловск» в Порт-Артуре.

6 апреля – заведующий сооружением храма Воскресения Христова на Екатерининском канале в Петербурге граф И. Д. Татищев просит К. Р. высказать мнение о проектах надписей на гранитных досках наружных стен храма по увековечению деяний Александра II.

8 декабря – во время пребывания в Пскове К. Р. пишет стихотворение «Порт-артурцам» («России слава, гордость и любовь»),

1905

идет неудачная для России Русско-японская война. Великая княгиня Елизавета Федоровна устраивает мастерские в помощь фронту (во всех залах Кремлевского дворца, кроме Тронного, сотни женщин трудятся за швейными машинками, шьют обмундирование для солдат), собирает пожертвования в столице и провинции, отправляет на фронт продовольствие, лекарства, одежду и подарки для солдат, на свои средства формирует несколько санитарных поездов, в Москве устраивает госпиталь для раненых.

4 февраля – приходит известие об убийстве в Москве московского генерал-губернатора Великого князя Сергея Александровича эсером Каляевым. К. Р. – один из Царской семьи – едет на похороны (передвижение членов Царской фамилии ограничено из-за охоты на них террористов).

10 марта – рождение дочери Натальи.

10 мая – Наталья умирает. (Стихи на смерть дочери К. Р. сможет написать через год, во время Великого поста, – «Угасло дитя наше бедное…».)

Начинается первая русская революция.

1906

11 апреля – рождение дочери Веры.

14 апреля – К. Р. открывает в Павловске курсы для учителей и учительниц низшей школы.

19 апреля – Императрица сочиняет церемониал открытия Государственной думы.

25 апреля – переносятся торжественные крестины дочери Веры в связи с тревожным временем и открытием Государственной думы.

27 апреля – К. Р. и старшие дети – Иоанн, Гавриил, Константин, Татьяна, Олег и Игорь – присутствуют на открытии Государственной думы. К. Р. считает Думу очагом революции («она не вносит примирения в стране»). В России идут политические убийства, усиливаются беспорядки.

15 июля – бунт в Преображенском полку. К. Р. едет в Москву на погребение Великого князя Сергея Александровича в склепе специально построенной церкви Святого Сергия Радонежского.

30 июля – Великий князь посещает юнкерские училища в Орле, Киеве, Елизаветграде. Царь предлагает Великим князьям «встать во главе уступок земли неимущим крестьянам». К. Р. склоняется к мысли, что «уступки никого не удовлетворят». Организует лекции в военных училищах о законодательстве, правах монарха, земельном вопросе, социалистических учениях.

1907

1 января – читает «Очерки и воспоминания» А. Ф. Кони.

17 февраля – подготовка к «чествованию столетия со дня рождения И. А. Гончарова».

К. Р. отказался присутствовать на публичном чествовании покойного историка искусств В. В. Стасова, возмущенный его пренебрежительным суждением о Пушкине «как о ничтожестве».

11 сентября – читает рецензии на сочинения, выдвинутые на Пушкинскую премию.

Утверждено положение о Пушкинском Доме.

27 ноября – высказывает сомнение в возможности дать «почетный отзыв» книге К. Бальмонта «Жар-птица» (так как одновременно в книжках «Красного знамени» публиковал «Песни мстителя»: «… какое почтенное в устах истинного поэта заглавие!»).

5 ноября – «утешительные и положительные» надежды на Государственную думу третьего созыва.

6 декабря – произведен в генералы от инфантерии с оставлением звания генерал-адъютанта. За год написаны два лирических пейзажных стихотворения: «Снег», «К осени» и три философско-религиозных: «Блаженны мы, когда идем…», «На Иматре», «О, если б совесть уберечь…».

1908

6 января – крупное семейное событие: приведение к присяге старших сыновей Иоанна и Гавриила.

Февраль – К. Р. берется за перевод драмы Гёте «Ифигения в Тавриде». Параллельно идет работа источниковедческая, историческая, лингвистическая.

Лето – путешествие с детьми по Волге «для осмотра русских древностей» в сопровождении знатока русской старины В. Т. Георгиевского. Путешествие возвращает К. Р. к мысли о создании русской исторической драмы.

18 октября – начало цикла исторических вечеров в Павловске с целью поднять образовательный уровень детей и их окружения.

8 этот год написана первая из четырех элегий К. Р. («Ореанда», «Осташево», «В Крым», «Из Крыма»).

1909

февраль – поездка в Тверь, Ярославль, Вольск, Воронеж с инспекцией кадетских корпусов; в поезде работает над переводом «Ифигении в Тавриде» Гёте.

15 апреля – празднование серебряной свадьбы К. Р. и Елизаветы Маврикиевны.

Июнь – чтение открытого письма архиепископа Антония, обращенного к авторам сборника «Вехи».

18 сентября – окончен перевод Гёте. Читает письма В. С. Соловьева («стремление к добру, и правде… благоволение к людям»), *24 октября* – К. Р. читает работу А. Ф. Кони о «Совращениях в православие в Балтийских провинциях» (замечает в дневнике: «Еще в XVIII веке Екатерина говорила сыну Павлу, что пушками нельзя бороться с идеями»).

2 ноября – исполняется 25 лет офицерскому обществу любителей литературы и искусства «Измайловские досуги». Событию посвящено стихотворение К. Р. «Робко мы в храме огонь возжигаем…». Написаны стихотворение «Ландыши» и заключительный сонет из цикла «Сонеты к ночи» – «О, лунная ночная красота…».

1910

1 января – пребывание в Осташеве («Жизнь здесь среди тишины – наслаждение»).

2 января – «Первые два дня подвинул немного „Царя Иудейского“. Но очень опасаюсь, что это будет слабое, неудачное произведение».

9 января – общее собрание в Академии наук. Доклад о пожертвовании А. Бахрушиным Академии его театральной коллекции.

16 января – разбирает письма, полученные за многие годы по поводу его стихов.

17 января – К. Р. в разговорах о сибирском «старце» не желает касаться «проблемы Григория Распутина» (здесь трудно

«разграничить, где кончается правда и где начинаются сплетни»).

26 января – сын Олег получает разрешение Царя после окончания кадетского корпуса в течение трех лет пройти курс Лицея.

14 февраля – К. Р. получает приказ, подписанный Государем, о назначении его генерал-инспектором военно-учебных заведений.

3 марта – К. Р. готовит представление «Гамлета» и «Генриха IV» на сцене Павловска.

13 мая – в память 200-летия со дня Полтавской битвы Преображенский полк открывает памятник своему основателю Петру Великому на Кирочной улице в Петербурге.

15 июля – К. Р. навещает Великую княгиню Елизавету Федоровну в основанной ею Марфо-Мариинской обители в Замоскворечье.

На Воробьевых горах в ресторане К. Р. впервые слышит, как хор исполняет песню на слова его стихотворения «Умер бедняга».

Директор Московского Художественного театра К. С. Станиславского – А. Стахович сообщает К. Р., что со 2 августа начинаются репетиции «Гамлета» в его переводе; Качалов играет главную роль.

24 сентября – К. Р. посещает П. А. Столыпина в Елагинском дворце (в Совете министров): обсуждаются новые штаты Академии наук и субсидирование ученых экспедиций физико-математического отделения.

29 сентября – К. Р. присутствует на торжествах в Ревеле по случаю 200-летия присоединения Эстляндии к России.

8 октября – посылает Царю свою статью «Недоверие к солдату».

29 ноября – К. Р. получает для Академии наук от врача Бартенсона подаренное ему дочерью Пушкина, графиней Меренберг, письмо поэта невесте Н. Н. Гончаровой.

20 декабря – совершеннолетие сына Константина. Заседание Разряда изящной словесности по вопросу увековечивания памяти Л. Н. Толстого; К. Р. пишет письмо П. А. Столыпину об изыскании средств.

28 декабря – итальянский посол Мелегари просит для выставки портретов во Флоренции работы Лампи, имеющиеся в Павловске; К. Р. отказывает, объяснив, что не считает себя собственником павловских сокровищ.

31 декабря – К. Р. посещает мысль о том, что пора составлять завещание.

1911

К. Р. назначен сенатором.

Продолжается усиленная работа над драмой «Царь Иудейский»; изучаются исторические труды о времени земной жизни Иисуса Христа и Ветхий Завет.

Начало года – К. Р. присутствует на представлении оперы Мусоргского «Борис Годунов» в Мариинском театре с Федором Шаляпиным в главной роли.

Начало июня – К. Р. заканчивает первый акт «Царя Иудейского».

23 июня – умирает мать К. Р. Великая княгиня Александра Иосифовна.

9 июля – К. Р. приглашает в Осташево А. Ф. Кони.

5 августа – умирает управляющий двором матери генерал П. Е. Кеппен, который был наставником и другом К. Р.

3 сентября – К. Р. едет в Альтенбург, работает над драмой «Царь Иудейский».

В этом году написана «Кантата на 200-летие со дня рождения М. В. Ломоносова», издана книга «Стихотворения К. Р. 1900–1910» (СПб.).

1912

16 февраля – К. Р. зачислен в Оренбургское казачье войско.

30 марта – посылает А. Ф. Кони на его суд четвертый акт (потом и пятый) драмы «Царь Иудейский».

Июнь – в Вильдунгене закончен перевод «Мессинской невесты» Шиллера.

9 июля – приглашает А. Ф. Кони в Осташево, благодарит за описание гончаровских торжеств в Симбирске.

17 июля – духовная цензура выносит вопрос о допущении драмы «Царь Иудейский» на сцену в Святейший синод.

9 августа – К. Р. просит Царя разрешить постановку драмы «Царь Иудейский» если не в общественных театрах, то хотя бы в Эрмитажном или Китайском театре.

13 октября – К. Р. открывает Осташевскую читальню.

15 ноября – самый близкий по духу сын Олег достигает совершеннолетия. К. Р. в это время лечится в Египте.

Декабрь – К. Р. ведет из Египта переписку с А. Ф. Кони; письма идут в Петербург из Хелуана, Ассуана, Луксора, Каира («Невольно пугаешься при мысли, что еще полгода остается до возвращения на родину»).

31 декабря – написано единственное за год стихотворение «Вечер в Египте».

1913

плохое состояние здоровья заставляет К. Р. оставаться в Египте. Из писем узнаёт, как готовят к постановке драму «Царь Иудейский» для сцены Эрмитажного театра.

Февраль – в Египет приходит телеграмма о кончине поэта графа А. А. Голенищева-Кутузова. К. Р. пишет стихи памяти покойного.

В России идут торжества по случаю трехсотлетия Дома Романовых.

19 апреля – К. Р. прибывает в Афины из Египта.

23 апреля – отплывает из Афин на канонерской лодке «Уралец» в Венецию.

13 июня – прибывает в Вильдунген на лечение водами и ваннами.

28 июня – приезжает в Осташево. Пишет статью о поэзии графа Голенищева-Кутузова.

31 августа – 15 сентября – К. Р. посещает военно-учебные заведения, знакомится со вновь поступившими кадетами.

К. Р. приглашает издателя Н. Н. Сергиевского быть ответственным редактором всех изданий драмы «Царь Иудейский». Готовит издание своих стихотворений в трех томах.

Сентябрь – в «Ниве» публикуются «Египетские стихи К. Р.».

1914

9 января – представление «Царя Иудейского» на сцене Эрмитажного театра. Одновременно выходит изданная Н. Н. Сергиевским книга «Царь Иудейский».

Январь – К. Р. по настоянию врачей едет в Египет на лечение, его сопровождают жена и сын Гавриил. В Египет приезжает встретиться с братом греческая Королева Ольга Константиновна.

23 февраля – К. Р. узнает, что десять тысяч экземпляров первого издания драмы «Царь Иудейский» разошлись через две с половиной недели.

15 июня – в Сараеве убит Наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. Усиливаются слухи о возможной войне.

19 июля – Германия объявляет войну России. К. Р. покидает Германию, где лечился, и возвращается с семьей на родину, где идет всеобщая мобилизация. На границе немцы отбирают у К. Р. рукописи и дневник (с 19 до 26 июля он дневник не вел).

Россия вступает в Первую мировую войну.

24 июля – К. Р. провожает пятерых старших сыновей на фронт («Не обходилось без слез, хотя и сдержанных»).

7 августа – приходит телеграмма из действующей армии: «После вчерашнего кавалерийского боя Их высочества живы…» Петербург переименован в Петроград. Телеграмма из Копенгагена: газеты сообщают, что сын К. Р. – Константин в плену у немцев.

31 августа – сообщение о гибели офицеров-измайловцев,

игравших в драме «Царь Иудейский».

Сентябрь – выходит в свет книга военных стихов К. Р. «В строю» (издание Н. Н. Сергиевского).

Начинается двадцать шестой год службы К. Р. в должности президента Академии наук; большой конференц-зал Академии превращен в лазарет для раненых воинов.

29 сентября – в атаке на неприятельский разъезд ранен сын К. Р. князь Олег. В тот же день 22-летний Олег скончался.

Октябрь – К. Р. обсуждает с Н. Н. Сергиевским проект издания своих статей и отзывов на литературные произведения отдельным томом.

Ноябрь – К. Р. получает предложение от издателя П. С. Пороховщикова переиздать в одном томе убористым шрифтом перевод «Гамлета» с примечаниями.

3 декабря – К. Р. приступает к написанию «Заметок к Царю Иудейскому».

6 декабря – приходит корректура второго тома «Стихотворения К. Р. 1879–1912» (издание в трех томах).

10 декабря – К. Р. едет в Москву с инспекцией корпусов. Перед отъездом Н. Н. Сергиевский присылает К. Р. книгу, только что вышедшую из типографии: «К. Р. Избранные лирические произведения».

30 декабря – неожиданный приезд в отпуск на несколько дней из действующей армии сына Константина, Георгиевского кавалера.

1915

в Новый год на царском приеме у К. Р. начинается сердечный приступ. В течение месяца болеет. В Мраморном дворце его часто навещает вдовствующая Императрица Мария Федоровна (Дагмара). Со 2 февраля до 2 марта К. Р. из-за болезни не ведет дневник.

29 апреля – в Павловске «Вечер поэзии К. Р.»: исполняются стихи и романсы.

11 мая – читая дневники баронессы Э. Ф. Раден за 1853 год, думает о своем отце как о крупном государственном деятеле.

2 июня – Великий князь Константин Константинович Романов, поэт К. Р., скончался в Павловске. Погребен в великокняжеской усыпальнице Петропавловского собора.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Стихотворения К. Р. (1879–1885). СПб., 1886.

Севастиан-мученик. Стихотворение К. Р. СПб., 1888.

Новые стихотворения К. Р. (1886–1888). СПб., 1889.

Третий сборник стихотворений К. Р. (1889–1899). СПб., 1900.

К. Р. Царь Иудейский. Драма в 4 действиях и 5 картинах. СПб., 1914.

К. Р. Критические отзывы. Пг., 1915.

Стихотворения К. Р. (1879–1912). СПб. – Пг., 1913–1915. Т. 1–3.

Недоверие к солдату (из завещания Великого князя Константина Константиновича)//Новый журнал. 1995. № 2.

К. Р. Стихотворения. М., 1991.

Константин Романов. Избранное: стихотворения, переводы, драма. М., 1991.

К. Р. Времена года: Избранное. СПб., 1994.

К. Р. Избранная переписка. СПб., 1994.

В вагоне августейшего главного начальника военно-учебных заведений. Пг., 1915.

Витте С. Ю. Воспоминания. М., 1960.

Великий князь Гавриил Константинович. В Мраморном дворце. Из хроники нашей семьи. СПб.; Дюссельдорф, 1993.

Великий князь Александр Михайлович. Воспоминания. М., 2004.

Вера Константиновна, княжна. Отрывки из семейных воспоминаний. Сборник памяти Великого князя Константина Константиновича. Париж, 1962.

Волгин И. Колеблясь над бездной. Достоевский и Императорский дом. М., 1998.

Вострышев М. И. Августейшее семейство. Россия глазами Великого князя Константина Константиновича. М., 2001.

Данилов Ю. Н. Великий князь Николай Николаевич. Париж, 1930.

Дни и годы П. И. Чайковского. М.; Л., 1940.

Епанчин Н. А. На службе трех императоров. М., 1996.

Ирошников М., Процай Л., Шелаев Ю. Николай II. Последний российский император. СПб., 1992.

Исторический сборник. Приложение к журналу «Кадетская перекличка». Нью-Йорк, 1996.

Кадетская перекличка. Периодический журнал. Нью-Йорк, 1971–2005. № 1-76.

Калинин Н. Н., Земляниченко М. А. Романовы и Крым.

Симферополь, 2005.

Керенский А. Ф. Трагедия династии Романовых. М., 2005.

Княгиня Юрьевская (под псевдонимом Виктор Лаферте). Александр II. С приложением биографического очерка Мориса Палеолога «Александр II и Екатерина Юрьевская». М., 2004.

К. Р. Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма.// Сост. Э. Е. Матонина. М., 1998.

Кузьмина Л. И. Августейший поэт. СПб., 1995.

Кучмаева И. К. Жизнь и подвиг Великой княгини Елизаветы Федоровны. М., 2004.

Любош С. Последние Романовы. Л.; М., 1924.

Матонина Э. Е. Драматург из рода Романовых//Театр. 1992. № 12.

Матонина Э. Е. Загадка К. Р.// Роман-газета. 1994. № 1.

Матонина Э. Е. Баловень судьбы. Великий князь Константин Константинович в письмах и воспоминаниях//Новый мир. 1994. № 4.

Миллер Л. Святая мученица российская Великая княгиня Елизавета Федоровна. М., 1994.

Моцардо В. И. Великий князь Константин Николаевич Романов. Самара, 2004.

Моцардо В. И. Великий князь Константин Константинович Романов. Самара, 2005.

Мосолов А. А. При дворе последнего императора. СПб., 1992.

Нелюбин Г. К. Р. Критико-биографический этюд. СПб., 1902.

Петроченков В. В. Драма страстей Христовых. К. Р. «Царь Иудейский». СПб., 2002.

Пчелов Е. Романовы. История династии. М., 2001.

Соболев В. С. Августейший президент: Великий князь Константин Константинович во главе Императорской Академии наук. СПб., 1993.

Радзинский Э. Николай II. Жизнь и смерть. М., 2003.

Феоктистов Е. М. Воспоминания. За кулисами политики и литературы. 1848–1896. Л., 1929.

Иллюстрации

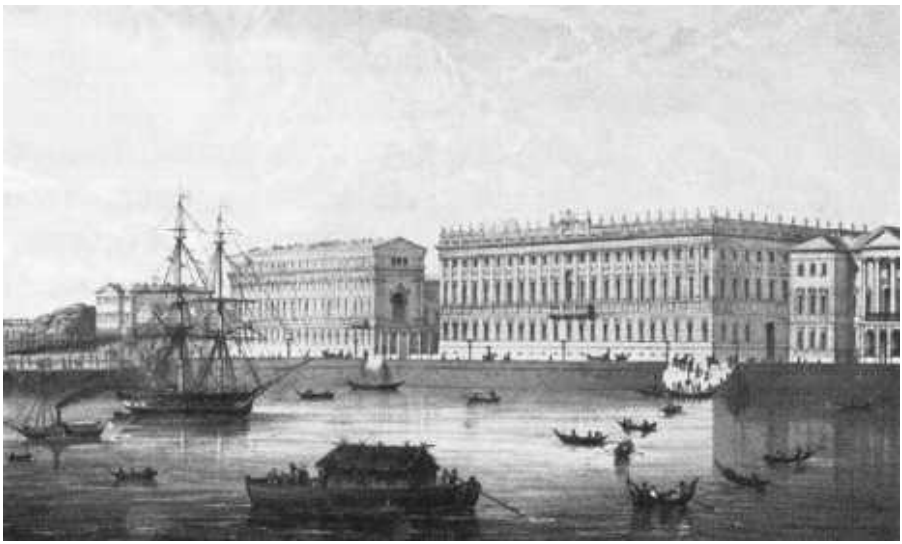
Великая княгиня Александра Иосифовна, мать К. Р.

Великий князь Константин Николаевич Романов, отец К. Р.

Большой дворец в Стрельне, где родился К. Р. *Акварель И. Мейера. 1840-е гг.*

Великий князь Константин Константинович, будущий поэт К. Р., в отрочестве

Великая княжна Ольга Константиновна, сестра К. Р. *1870-е гг.*



Мраморный дворец Великого князя Константина Константиновича. *Построен по проекту А. Ринальди. Санкт-Петербург*

Император Александр II. *Фото С. Л. Левицкого. 1866 г.*

Императрица Мария Александровна. *1860-е гг.*

Петр Чайковский

Антон Рубинштейн

Великий князь Константин Константинович

Цесаревич Александр Александрович и датская принцесса Дагмара. *Июнь 1866 г.*

Великий князь Сергей Александрович

Великий князь Константин Константинович в парадной форме

офицера Преображенского полка

Часовня у Летнего сада. *Санкт-Петербург. Фото К. К. Буллы. 1890-е гг.*

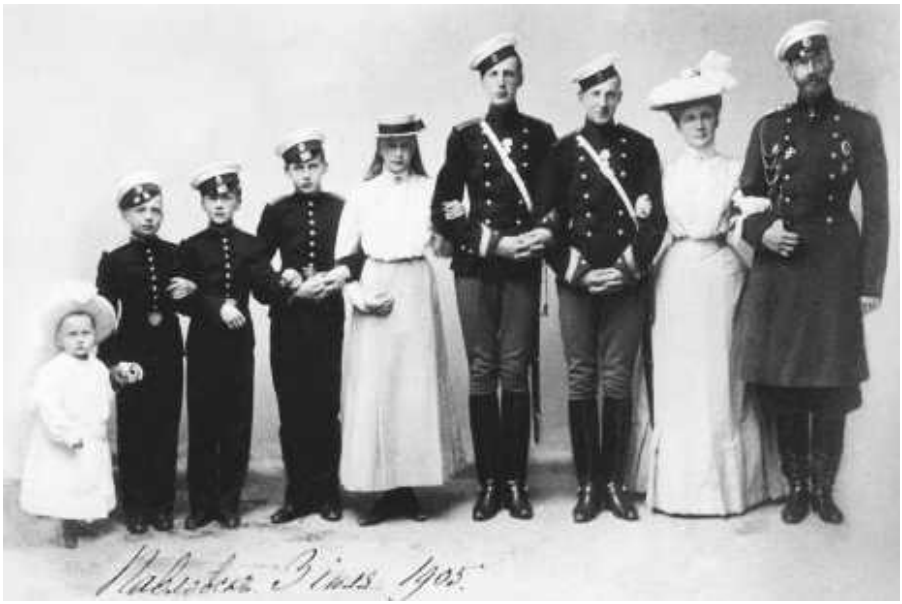
Принцесса Елизавета Саксен Альтенбургская, невеста К. Р. *1884 г.*

Король Греции Георг I, супруг Ольги Константиновны, сестры К. Р.

Семья Великого князя Константина Константиновича.

Верхний ряд: князь Гавриил, Великий князь Дмитрий Константинович, князь Иоанн, принц Христофор Греческий; средний ряд: К. Р., Великая княгиня Елизавета Маврикиевна, князь Константин, Ольга Константиновна – Королева эллинов, княжна Татьяна; нижний ряд: князь Олег, князь Игорь. *1900 г.*

Великая княгиня Елизавета Маврикиевна (крайняя справа) с сестрами

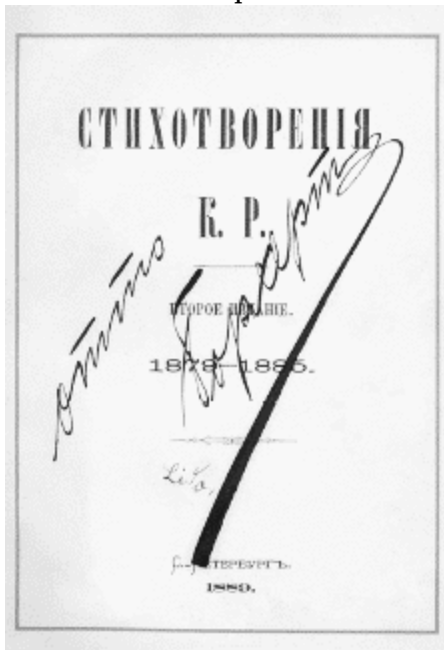


Семейство Великого князя Константина Константиновича:

Георгий, Игорь, Олег, Константин, Татьяна, Гавриил, Иоанн, Елизавета Маврикиевна и Константин Константинович. На фото автограф К. Р.: «Павловск. 3 июля 1905»

Н. И. Пирогов. *Фото Везенберга и К0. Конец 1870-х – начало 1880-х гг.*

Яков Полонский и Афанасий Фет. *Конец 1880-х гг.*

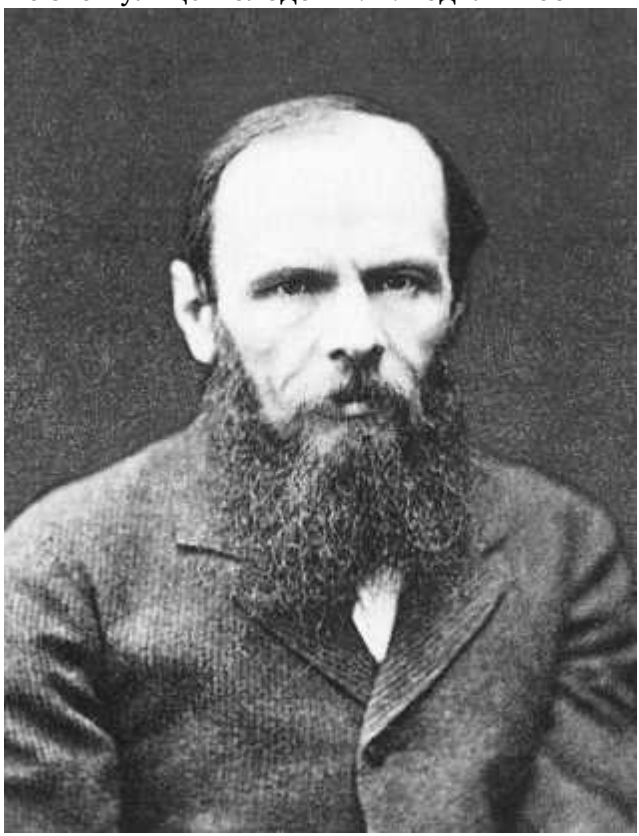


Обложка второго издания сборника стихотворений К. Р.

А. Н. Островский, И. Ф. Горбунов, А. Н. Майков. *Фото С. Л. Левицкого. Середина 1950-х гг.*

Гороховая улица у Адмиралтейства. *Санкт-Петербург. Фото К. К. Буллы. 1890-е гг.*

По этой улице молодой К. Р. ходил в гости к И. А. Гончарову



Воронцовский дворец (Пажеский корпус) на Садовой улице. *Санкт-Петербург. 1860-е гг.*

Портрет З. Н. Юсуповой. *Фото К. И. Бергамаско. Конец 1870-х гг.*

К. Р. музицирует. *1880-е гг.*

Император Александр III, датская принцесса Тира, сестра Императрицы, и Императрица Мария Федоровна. *1890-е гг.*

Великий князь Константин Константинович Романов: «Я – человек военный…»

Королева эллинов Ольга Константиновна

Великая княгиня Елизавета Федоровна. *1898 г.* Основательница Марфо-Мариинской обители в Москве.

И всякий, увидав тебя, прославит Бога,
Создавшего такую красоту!
(К. Р.)

В 1918 году сброшена в шахту под Алапаевском; причислена к лику святых

Я без молитв, без чувств, без сострадания...
Да, это высшее чудо из всех чудес,
И без порывов исковерканной души
Любить за свои оскорбления...

Торжественное заседание Академии наук и Попечительного совета Театрального музея под председательством Его Императорского Высочества Великого князя Константина Константиновича Романова.

Присутствуют: М. Н. Ермолова, А. А. Яблочкина, А. Н. Веселовский, Ф. Е. Корш, А. Д. Алферов, В. В. Бахрушина, Вл. И. Немирович-Данченко, К. С. Станиславский, В. К. Трутовский, Н. С. Щербатов, И. А. Бунин, А. И. Южин, И. В. Давыдов, Ф. А. Корш, А. И. Чарин, К. Н. Незлобии, С. И. Зимин, В. А. Рыжков, Н. М. Миронов, Н. И. Попов, Н. В. Салина, А. А. Бахрушин; в стороне сидит В. А. Михайловский, хранитель музея

Президент Академии наук

Академическое заседание корифеев русской словесности под председательством Великого князя Константина Константиновича Романова.

Среди присутствующих: А. А. Шахматов, И. М. Гревс, А. Ф. Бычков, А. Н. Веселовский, А. Н. Пыпин. *1900 г.*

Петр Аркадьевич Столыпин. *1904 г.*

Сергей Юльевич Витте. *1880-е гг.*

С. В. Ковалевская. *Фото Везенберга и К0. 1880-е гг.*

Группа офицеров, выпускников Первого кадетского (бывшего Пажеского) корпуса. *Фото К. К. Буллы. 1910-е гг.*

Великий князь Константин Константинович в роли Гамлета в спектакле по его переводу «Трагедия о Гамлете, принце Датском» на сцене Эрмитажного театра. *1899 г.*

Великий князь Константин Константинович – «отец всех кадет». *1900-е гг.*

К. Р. открывает панихиду по случаю 50-летия со дня смерти Михаила Глинки у могилы композитора на Тихвинском кладбище Александро-Невской лавры. *Санкт-Петербург. 1907 г.*

К. Р.: «Поэзии святого вдохновенья / Я пережил блаженные мгновенья»

Великий князь Константин Константинович и Император Николай II (в центре второго ряда) в Преображенском полку

Памятник Петру I на Кирочной улице. На постаменте надпись: «Державному основателю преображенцы». *Фото К. К. Буллы. Санкт-Петербург. 1910 г.*

К. Р. (пятый справа), Император Николай II (седьмой справа), Императрица Александра Федоровна (вторая слева) среди Великих князей в Ливадии. *1898 г.*

Великий князь Константин Константинович среди кадет

ПОЛУЧЕНО 17 марта 1900 г.
гл. упр. воен.-учеб. зав. № 5630

ПРИКАЗЪ

ПО ВОЕННОМУ МИНИСТЕРСТВУ

17 Марта 1900 года.

№ 5.

Его Императорское Высочество Великій Князь Константинъ Константиновичъ сего числа вступилъ въ должность Главнаго Начальника Военно-Учебныхъ Заведеній.

Объявляется о семъ по Военному Министерству.

Подписалъ: Военный Министръ, Генералъ-Лейтенантъ Куропаткинъ.

Вѣрно: Помощникъ Начальника Канцеляріи, Генералъ-Маіоръ Забѣлинъ.

Сварилъ: за Дѣлопроизводителя Федоровъ.

Въ Главномъ Управленіи Военно-Учебныхъ Заведеній.

Н. Н. Сергиевский, издатель драмы К. Р. «Царь Иудейский»

Композитор А. К. Глазунов, автор музыки к драме К. Р. «Царь Иудейский»

Иосиф Аримафейский в исполнении К. Р. при постановке драмы

Понтий Пилат в исполнении актера А. Л. Герхена

Князь Олег, сын К. Р. Погиб на фронте в 1914 году

Князь Иоанн, сын К. Р. *1914 г.*

В 1918 году сброшен в шахту под Алапаевском

Князь Игорь, сын К. Р. *1914 г.*

В 1918 году сброшен в шахту под Алапаевском

Князь Константин, сын К. Р. *1914 г.*

В 1918 году сброшен в шахту под Алапаевском

Князь Гавриил, сын К. Р. *1908 г.*

Княжна Татьяна, дочь К. Р.

Лазарет в особняке Юсуповых, открытый с началом войны. *Фото Оцупа. 1914 г.*

Проводы на фронт. *Фото Д. Карновского. 1914 г.*

Кабинет Великого князя Константина Константиновича в восстановленном Константиновском дворце в Стрельне. *2003 г.*

Мраморный зал Константиновского дворца. *2003 г.*

Истлеет плоть, остынет кровь,

Угаснет в срок определенный
Наш мир, а с ним и тьмы миров,
Но пламень тот,
Творцом возжженный,
Пребудет в вечности веков.
К. Р.

Примечания

1

Ники – домашнее имя Николая II.

2

В цитатах может встречаться старое написание – Орианда.

3

Крымская война с Турцией и ее союзниками Великобританией, Францией, Сардинским королевством (1853–1856) закончилась для России поражением и унизительным Парижским трактатом, по которому России (наряду с Турцией) запрещалось держать военный флот в Черном море. Турция нарушала этот договор, о чем в 1870 году сообщал министр иностранных дел России А. М. Горчаков в Циркулярной депеше представителям России при дворах держав, подписавших Парижский трактат 1856 года. – *Прим. ред.*

4

Михаил Тариелович Лорис-Меликов (1825–1888) вскоре, 6 августа 1880 года, будет назначен министром внутренних дел и шефом жандармов. – *Прим. ред.*

5

Лектриса (фр. lectrice) – женщина, профессионально занимающаяся чтением вслух, чтица. – *Прим. ред.*

6

Елена Павловна (урожд. принцесса Вюртембергская Фредерика Шарлотта Мария; 1806–1873) – Великая княгиня, жена Великого князя Михаила Павловича (1798–1849), младшего сына Павла I. С конца 1840-х в ее литературно-политическом салоне обсуждались планы государственных преобразований (в том числе отмена крепостного права), осуществленные в ходе реформ 1860–1870 годов. Занималась благотворительной деятельностью, основала Крестовоздвиженскую общину сестер милосердия в Русско-турецкую войну 1853–1856 годов, ряд больниц, приютов, просветительских учреждений. Покровительствовала К. Брюллову, И. Айвазовскому, А. Рубинштейну. – *Прим. ред.*

7

Александра Валерьяновна Панаева, по мужу Карцева (1853–1942) – оперная и концертная певица, ученица Полины Виардо. – *Прим. ред.*

8

Мария Александровна родила Императору восьмерых детей: Александру (1842–1849), Николая (1843–1865), Александра (1845–1894), Владимира (1847–1909), Алексея (1850–1908), Марию (1853–1920), Сергея (1857–1905), Павла (1860–1919). – *Прим. ред.*

9

Император Александр I (1777–1825) составил тайный манифест, назначавший Наследником брата Николая, в 1823 году; о манифесте знали только три человека: митрополит Филарет, А. А. Аракчеев и А. Н. Голицын, переписавший документ и оставивший его на хранение в Государственном совете, Сенате и Синоде. – *Прим. ред.*

10

Еженедельную газету «День» издавал в Москве один из лидеров славянофильства Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886); газета выходила с 15 октября 1861 года до конца 1865-го. – *Прим. ред.*

11

Адмирал Степан Степанович Лесовский (1817–1884) в 1863–1864 годах командовал эскадрой, направленной в США с целью не допустить вмешательства Великобритании и Франции в Гражданскую войну Севера и Юга (1861–1865). – *Прим. ред.*

12

Мировой съезд – съезд мировых судей, апелляционная инстанция для мирового суда. – *Прим. ред.*

13

Основные положения проекта введения представителей земских и городских учреждений в состав правительственных комиссий по разработке законопроектов изложены М. Т. Лорис-Меликовым во Всеподданнейшем докладе 28 января 1881 года. – *Прим. ред.*

14

В день 145-летия со дня основания Императорского русского музыкального общества в Большом зале Московской консерватории Большой симфонический оркестр «Глобалис» наряду с произведениями Чайковского, Глинки, Рахманинова, Лядова исполнял и музыку, написанную двумя председателями Императорского русского музыкального общества, матерью и сыном – Александрой Иосифовной и Константином Константиновичем.

15

Не мог и предположить увлеченный морем и не сумевший довести Стрельну до ума Константин Николаевич, что она будет

окончательно достроена и отреставрирована спустя более века после его смерти – к 300-летию Санкт-Петербурга (31 мая 2003 года) под патронажем российского президента, что возрождение Стрельны станет символическим окончанием «войны дворцам» и их владельцам, тратившим громадные средства на якобы никому не нужные роскошные постройки.

16

У Матильды Феликсовны Кшесинской (1872–1971), звезды русского балета, была недолгая романтическая история с Николаем II в бытность его Наследником, затем ей покровительствовал Великий князь Сергей Михайлович, которого сменил кузен Николая II Великий князь Андрей Владимирович, кому в 1902 году она родила сына Владимира; в 1921 году, уже в эмиграции, они обвенчались, и Матильда Кшесинская получила титул княгини Красинской. – *Прим. ред.*

17

Великий князь Алексей Александрович (1850–1908) – четвертый сын Александра II, генерал-адъютант, член Государственного совета – в мае 1881 года был назначен Главнокомандующим Флота и Морского ведомства (вместо вынужденного подать в отставку Константина Николаевича) и оставался им до июня 1905 года; чин генерал-адмирала он получил в 1883 году. – *Прим. ред.*

18

В замешательстве (фр).

19

Марии Александровны, матери Александра III. – *Прим. ред.*

20

Дочери Великого князя Константина Николаевича и Великой княгини Александры Иосифовны: Ольга – жена греческого короля Георга I, Вера – герцогиня Вюртембергская.

21

Мария Павловна – жена Великого князя Владимира Александровича; Евгения Максимилиановна – урожденная герцогиня Лейхтембергская, княгиня Романовская.

22

Великий князь Константин Николаевич прибыл на коронацию с законной супругой Александрой Иосифовной.

23

Анна Васильевна Кузнецова-Князева оставила особняк на Английском проспекте сразу же после смерти Константина Николаевича в 1892 году. Одно время жила за границей, потом вернулась в Россию, где скончалась в 1922 году в возрасте 75 лет. Судьба их детей, внуков и правнуков сложилась по-разному.

Анна, младшая дочь Константина Николаевича и Анны Васильевны, вышла замуж за полковника Н. Н. Лялина. После революции семья бежала от большевиков в Харьков, где всех, за исключением сыновей Льва и Константина, скосил тиф. Лев и Константин, как и другие Романовы, оставшиеся в живых после большевистских репрессий, стали изгнанниками – их удалось переправить в Бельгию. Лев стал профессором химии, преподавателем Брюссельского университета, его сын Бернар, родившийся в 1953 году, – историк. Константин принял сан священника и стал монахом-доминиканцем Клементом, известным на Западе теологом.

Старшая дочь Константина Николаевича и Анны Васильевны Марина вышла замуж за генерала А. Ершова, который по матери был племянником вице-адмирала А. А. Попова, создателя круглых броненосцев «Поповок».

У Ершовых родилось девять детей, восемь из них завели свои семьи и имели продолжение рода в России.

Первая дочь Марина вышла замуж за режиссера Малого театра Н. Николаевского. Ее семья дружила с Рихардом Зорге.

Анна, в замужестве Арсеньева, была сослана, муж – репрессирован.

Татьяна вышла замуж за бывшего крупного землевладельца Матвеева; одно время работала в Библиотеке иностранной литературы.

Константин Ершов был расстрелян в 1938 году. Его жена Татьяна, из древнего княжеского рода Урусовых, в 1941 году ушла на фронт, надеясь, что таким образом сможет спасти мужа, и погибла, не зная, что того уже нет в живых.

Елена воспитала двух детей расстрелянного брата.

Игорь воевал против фашистов, побывал в плену, спасло его знание немецкого языка, и стал героем книги князя А. Трубецкого «Пути неисповедимые».

Андрей был гардемарином, потом инженером. Обладал уникальной памятью, хорошо знал историю музыки и живописи, преподавал в Политехническом институте. Андрей Ершов, внук Великого князя Константина Николаевича, является дедом Татьяны Юрьевны Карнаковой, у которой сохранились письма прапрадеда и послереволюционная история его внебрачного семейства.

24

Александр Васильевич Головнин (1821–1886) – государственный и общественный деятель. С 1843 года служил в Министерстве внутренних дел (занимался составлением историко-географических трудов), в 1848 году перешел в Морское

ведомство, с 1850-го был прикомандирован к Великому князю Константину Николаевичу для работы в Комитете пересмотра морских уставов, с 1856-го – камергер при Великом князе, его ближайший помощник и советник в реформаторской деятельности, фактический руководитель журнала либерального направления «Морской сборник», в 1862–1866 годах – министр народного просвещения. Биограф Великого князя, большой интерес представляют собранные им «Материалы для жизнеописания Вел. Кн. Константина Николаевича». – *Прим. ред.*

25

Двадцать девятого апреля 1881 года, через два месяца после гибели отца, Александр III издал Высочайший манифест «О незыблемости самодержавия», в котором призывал всех верных подданных к «искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую, к утверждению веры и нравственности, к доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений, дарованных России Благодетелем ее, Возлюбленным Нашим Родителем». – *Прим. ред.*

26

В поэтических сборниках К. Р. стихотворение обычно печатается под названием «Умер». – *Прим. ред.*

27

Правительство Болгарии, ориентируясь на Австро-Венгрию и Германию, стало проводить враждебную политику по отношению к России, что привело к разрыву русско-болгарских отношений.

28

У души нет возраста (фр).

29

Иван Николаевич Дурново (1834–1903) – министр внутренних дел в 1889–1895 годах. – *Прим. ред.*

30

Джордж Гордон Байрон (1788–1824) написал драматическую поэму «Манфред» в 1817 году. – *Прим. ред.*

31

В критике часто сравнивают байроновского Манфреда и гётевского Фауста. Да и сам Гёте (1749–1832) по выходе в свет поэмы Байрона писал: «Этот своеобразный талантливый поэт воспринял моего „Фауста“ и, в состоянии ипохондрии, извлек из него особенную пищу…» Близость героев Байрона и Гёте отметил, в частности, В. Г. Белинский (1811–1848): «Байронов „Манфред“ и Гётев „Фауст“ – ‹…› поэтические апофеозы распавшейся натуры внутреннего человека, через рефлексию стремящегося к утраченной полноте жизни…» – Прим. ред.

32

Четкие границы серебряного века пока не обозначены, поскольку тема только разрабатывается. Некоторые исследователи считают, что начальная его дата совпадает с годом смерти философа и поэта Владимира Соловьева (1853–1900), а конечная – с высылкой из Советской России большой группы философов, богословов, других деятелей культуры в 1922 году (так называемый «философский пароход»). Другие полагают, что серебряный век поместился в короткий промежуток времени между двумя революциями – 1905 и 1917 годов. Также пока остается открытым и вопрос, кто первым ввел термин Гесиода и Овидия «серебряный век» в русский культурный оборот. – *Прим. ред.*

33

Александр Онуфриевич Ковалевский (1840–1901) – зоолог, основоположник эволюционной палеонтологии; брат В. О. Ковалевского, мужа С. В. Ковалевской. – *Прим. ред.*

34

С подробностями этого «академического скандала» можно познакомиться в статье И. С. Дмитриева «Скучная история. О неизбрании Д. И. Менделеева в Императорскую академию наук в 1880 г.» (Вопросы истории естествознания и техники. 2002. № 1–2). – *Прим. ред.*

35

Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ (1845–1929), происхождением из переселившейся в Польшу ветви древнего французского дворянского рода, – крупный русский и польский языковед (ему, в частности, принадлежат третья и четвертая редакции Словаря В. И. Даля); начинал научную деятельность в России под руководством И. И. Срезневского, в 1897 году стал членом-корреспондентом Академии наук. С 1910 года, увлекшись политикой, активно выступал за культурную самостоятельность Польши и равноправие польского языка с русским. После революции и отделения Польши поселился в Варшаве, где вновь боролся за права национальных меньшинств, на этот раз уже и русских, и даже выдвигался представителями этих меньшинств в 1922 году на пост президента Польши. – *Прим. ред.*

36

Мотивы покушения так и остались непроясненными. По некоторым сведениям, у Сандзо Цуда были проблемы с психикой. Его приговорили к пожизненному заключению, и довольно скоро он умер в японской тюрьме от пневмонии. В русских колониях, образовавшихся после революции в Харбине, Шанхае, Нагасаки, ходила упорная молва о романтической подоплеке этой истории.

Якобы молодой Наследник мог неосторожно флиртовать где-нибудь с гейшей (в его дневнике действительно есть запись за день до покушения: «… В девять отправились с Джорджи в чайный домик. Джорджи танцевал, вызывая визги смеха у гейш») и тем самым возбудить ревность самурая. Когда Сандзо вязали, он выкрикивал только два слова: «Я – самурай! Я – самурай!» А самураи обид не прощают. Но всё это пока из области догадок и легенд. – *Прим. ред.*

37

Александр Иванович Герцен (1812–1870), издавая в Лондоне альманах «Полярная звезда» (1855–1868) и газету «Колокол» (1857–1867), получал обширную корреспонденцию из России, которая выборочно публиковалась в сборниках «Голоса из России» (1856–1860). Большинство корреспонденции были анонимными, из них выделялись два письма. Первое, с детальной характеристикой плачевного положения судопроизводства и саркастическим анализом деятельности Министерства юстиции и его главы В. Н. Панина, было опубликовано в 4-м выпуске «Голосов…» (1857), второе, содержащее памфлет на Панина, – в 7-м выпуске (1859). Позднейшие комментаторы сборников предположили, что автором писем был К. П. Победоносцев, тогда молодой чиновник Министерства юстиции. Упорные слухи об этом циркулировали среди сановников и при Николае П. Государственный секретарь и сенатор А. А. Половцов оставил в дневнике запись от 21 февраля 1901 года о беседе с Николаем II:

«Я: Кто в молодости не был либералом? Ведь сам Победоносцев писал статьи Герцену в „Колокол“.

Государь (вполголоса): Да, я это слышал.

Я: Он сам мне это говорил. Он написал памфлет на графа Панина».

Как полагают исследователи, многие видные деятели, либерально настроенные в 1850-1860-х годах, после восстания 1863 года и особенно после убийства Александра II в 1881-м совершили резкий разворот вправо, среди них и Победоносцев (более подробно см.: Степанов Ю. Г. К. П. Победоносцев – корреспондент А. И. Герцена // Освободительное движение в России: Сборник. 1999. Вып. 17). – *Прим. ред.*

38

Сарданапал – герой одноименной пьесы Дж. Г. Байрона, слабый ассирийский правитель, по убеждению не проявляющий власти над подданными, считающий, что человек рожден для радости и любовных утех; даже узнав о заговоре приближенных, не пытается предотвратить мятеж, а демонстративно отправляется на пир. – *Прим. ред.*

39

Григорий Антонович Захарьин (1829–1897) – выдающийся московский врач, основоположник московской терапевтической школы, профессор и директор факультетской терапевтической клиники Московского университета, лейб-медик Императора Александра III, лечащий врач семьи Л. Н. Толстого, учитель А. П. Чехова (который писал: «В русской литературе я знал одно имя – Л. Н. Толстой, в русской медицине – Г. А. Захарьин»), меценат. – *Прим. ред.*

40

Ни высокие гости, ни Великий князь – создатель высшего женского учебного заведения, оборудованного по последнему слову науки, с прекрасным преподавательским составом, с новым современным общежитием, с филиалом Опытной Константиновской гимназии – не узнают, что после Октябрьской революции курсы будут переименованы в Первый педагогический институт, что деканом его станет академик Платонов, а потом знаменитый физиолог Тур. И этот, с мировым именем, ученый в 1922 году (не лучшее время для воспоминаний о Царской семье) на выпускном акте пригласит присутствующих почтить память августейшего основателя Института Великого князя Константина Константиновича.

Иногда и пожар революции бледнеет ввиду всеблагого дела…

41

Институт Франции (L\'Institut de France) – основное официальное научное учреждение Франции, объединяющее выдающихся представителей науки и искусства. В Институт входят пять академий: Французская академия, Академия надписей и изящной словесности, Академия наук, Академия искусств, Академия моральных и политических наук. – *Прим. ред.*

42

Разряд изящной словесности существовал при Екатерине П. – *Прим. ред.*

43

Статья Л. Н. Толстого «О голоде» («Пишу теперь не о голоде, а о нашем грехе разделения с братьями. И статья разрастается, очень занимает меня и становится нецензурной», – признавался Толстой) была помещена в ноябрьском номере «Вопросов философии и психологии» за 1891 год, однако 24 октября номер был арестован. Вышла статья, сильно переделанная и смягченная самим Толстым, в «Книжках недели» (январь 1992 года) под названием «Помощь голодным». – *Прим. ред.*

44

Записку измученный Фет продиктовал секретарю Екатерине

Владимировне, после чего разразилась трагедия. Подписав записку, он схватил стальной стилет, служивший для разрезания бумаг… Стилет Екатерина Владимировна у него вырвала, тогда Фет бросился в столовую и едва взялся за ручку ящика, где хранились ножи, как внезапно упал и умер, будто сам Господь избавил поэта от греха самоубийства. – *Прим. ред.*

45

Анатолий Николаевич Куломзин (1838–1923) – управляющий делами Комитета министров в 1883–1902 годах; одновременно с 1893 года занимал пост управляющего делами Комитета Сибирской железной дороги, фактически возглавляя строительство этой крупнейшей в мире железнодорожной магистрали; автор ряда научных трудов, в том числе по истории финансов в России. – *Прим. ред.*

46

Александр Ефимович Котомкин– Савинский (1885–1964) – поэт (называл себя «крестьянин-поэт»), фольклорист. Во время Гражданской войны воевал офицером в армии Колчака, эмигрировал, жил в Чехословакии, Германии, Франции. Автор исторической поэмы из эпохи войн XIII столетия «Князь Вячко и меченосцы» и других произведений. На смерть К. Р. выпустил «Песни, посвященные августейшему поэту К. Р., Его Императорскому Высочеству Великому Князю Константину Константиновичу 2 июня 1915 года». – *Прим. ред.*

47

Имеются в виду железнодорожная катастрофа, в которую попала Царская семья, и покушение на Цесаревича Николая в Японии.

48

Старшего брата Александра III – Николая, умершего в 21 год, вскоре после его помолвки с Дагмарой (Дагмар), от скоротечного туберкулезного менингита; через год Дагмара стала женой Александра, в ту пору Цесаревича. – *Прим. ред.*

49

История эта началась в древние времена, когда за веру в Христа наказывали, а иконы уничтожали. Однажды, в IX веке, иконоборцы обнаружили образ Божией Матери в доме у одной благочестивой вдовы и потребовали отдать икону, чтобы уничтожить ее или откупиться… Вдова попросила подождать до утра, пока она соберет деньги у соседей, а сама пошла на берег моря и опустила икону в воду, потому что знала – денег ей не найти. И тут случилось чудо: икона, встав вертикально, быстро-быстро уплыла по волнам от опасного места и тем самым спаслась…

Сын этой вдовы потом стал монахом Иверского монастыря на горе Афон в Греции и поведал монахам о чудесном спасении Богородицы. А через 200 лет икона появилась в море перед монастырем, возвестив о себе огненным столбом. Ночью монах Гавриил увидел во сне Богородицу, которая велела ему идти по волнам и взять икону в монастырь. Так и вышло. Монахи повесили ее в храме и долго молились пред ней. А потом вдруг она оказалась на стене перед воротами. Несколько раз возвращали ее в храм, но утром снова находили перед воротами. Божия Матерь опять привиделась во сне Гавриилу и сказала: «Не желаю быть охраняемой вами, а хочу быть вашей хранительницей не только в настоящей жизни, но и в будущей…» Тогда монахи построили церковь во имя Божией Матери и поместили в ней чудотворный образ. Он сталназываться Иверской иконой Божией Матери Портатиссы (Вратарницы). С тех пор она охраняет храм от врагов, исцеляет монахов и всех поклоняющихся ей от болезней, а в неурожайные годы наполняет монастырские хранилища мукой…

Согласно легенде, царь Алексей Михайлович и архимандрит Никон очень просили передать икону в Россию, но монахи не соглашались, уповая на то, что Божия Матерь сама определила для себя место. Для Валдайского монастыря был сделан точный список (копия) иверским иконописцем, позже такой же был написан и для Москвы. Если список творится по канону, новому образу передаются все чудодейственные свойства оригинала.

50

Войт (нем. voigt) – в Польше, Малороссии и некоторых юго-западных местностях России – городской старшина, старшина в сельском округе, выборный староста. – *Прим. ред.*

51

Михаил Иванович Драгомиров (1830–1905) – военачальник в Русско-турецкую войну, генерал от инфантерии, начальник Академии Генерального штаба, военный теоретик, историк и писатель. Восхищаясь Л. Н. Толстым как художником, считал, что он нередко заблуждается как мыслитель, в частности по отношению к армии (утверждая, будто народы воюют потому, что имеют армии, а значит, их надо саботировать), и тем самым наносит непоправимый вред общественному сознанию, вырабатывая нигилистический взгляд на армию и оборону страны. Бурная полемика о природе войны и об армии вспыхнула после того, как Драгомиров опубликовал «Разбор „Войны и мира“„с точки зрения военного специалиста (1898), найдя в романе наряду с блестящими военными сценами много несуразностей. Толстого поддерживали не только пацифистски

настроенные круги интеллигенции, но и значительная часть предпринимателей, не желавших тратить часть прибыли на оборону. Банкир и владелец железных дорог И. С. Блиох в шеститомном сочинении „Будущая война в техническом, экономическом и политическом отношениях“ доказывал, что война себя изжила, Драгомиров ему отвечал: „… Я первый говорю, что война дело отвратительное, бесчеловечное, жестокое; утверждаю только, что вместе с тем и неизбежное. Человечество, по примеру своего Божественного Учителя, может молить: „Господи, да мимо мене идет чаша сия“, но пусть не забывает и окончания этой мольбы: «но не якоже аз хощу, но якоже Ты; ибо когда свершаются времена, чаши избежать не может“. Дело вовсе не в том, скверное или хорошее дело война, а в том, устранимое ли?“ Драгомиров считал, что пока неустранимое, и, следовательно, надо укреплять боевой дух армии и ее авторитет в обществе. Кто прав – художник Толстой или генерал Драгомиров – показали Русско-японская и Первая мировая войны. – *Прим. ред.*

52

Софья Николаевна де Торби (1868–1927) – графиня, дочь старшей дочери А. С. Пушкина Натальи Александровны от ее брака с принцем Дома Нассау Николаем Вильгельмом. Брак был морганатическим, и Наталья Александровна получила для себя и своих потомков титул графов Меренберг. Их дочь Софья Николаевна Меренберг в 1891 году вышла замуж за Великого князя Михаила Михайловича (1861–1929), внука Николая I, тоже морганатическим браком, и Великий герцог Люксембургский, приходившийся Софье Николаевне дядей, дал ей титул графини де Торби. Бракосочетались внук царя и внучка поэта в Италии, городе Сан-Ремо, не испросив согласие родителей Великого князя и Императора Александра III (чего требовал закон), брак был не признан в России, и супруги вынуждены были жить за границей, в основном в Великобритании и Франции (в 1908 году Великий князь издал в Лондоне посвященный жене автобиографический роман «Не унывай», где осудил брачные законы для лиц царской крови). – *Прим. ред.*

53

Жан Муне-Сюлли (1841–1916) – известный французский актер, яркий последователь так называемого «искусства представления». Много гастролировал по миру, в том числе в России в 1894 и 1899 годах. По оценкам некоторых критиков, Гамлет в его исполнении был «не гуманистом, вступившим в борьбу с социальным злом», а наследным принцем, стремящимся восстановить свое попранное право на престол. – *Прим. ред.*

54

Котор, Которский залив (серб. Бока Которска) – крупнейшая бухта в Адриатическом море, окруженная территорией Черногории, а также Хорватии. В 1815 году согласно заключительному акту Венского конгресса (который подвел итоги войны европейских коалиций с Наполеоном) регион отошел к Австрийской империи (с 1867 года – Австро-Венгрия), став частью Далматинского королевства. – *Прим. ред.*

55

Ютта, урожденная герцогиня Мекленбургская, – невеста Наследника Черногорского княжича Данило (К. Р. называет его в дневниковых записях Дано, Даниил). – *Прим. ред.*

56

Стихотворение было опубликовано только во время Первой мировой войны в журнале «Наша старина» (1914. № 11).

57

Соляной городок – место в Санкт-Петербурге (ныне улица Гангутская – Соляной переулок – часть улицы Пестеля), где в 1782 году были построены винные и соляные корпуса, с тех пор эта территория именуется Соляным городком. – *Прим. ред.*

58

«Звериада» – богато отделанный и украшенный альбом со стихами об основании всех корпусов, а также со стихотворными прощаниями выпускников со «зверями» – офицерами-воспитателями и преподавателями, отмечавшими их недостатки и слабости. «Звериады» были в каждом корпусе и хранились у кадет 7-го класса, а по окончании корпуса передавались следующему выпуску.

В ответе на благодарность отца Александра, капитана Грейца, Великий князь коротко написал: «Кадет, поставивший честь своих погон выше своей будущности, заслуживает не только права сохранить их за собой, но и похвалы».

59

Елизавета Федоровна и Сергей Александрович воспитывали детей Великого князя Павла Александровича (Марию и Дмитрия) от первой жены, которая умерла. – *Прим. ред.*

60

Памятник был снесен весной 1918 года. А в 1985 году во время ремонтных работ на Ивановской площади Кремля рабочие нашли склеп с останками Сергея Александровича. Сотрудники музеев Кремля изъяли из захоронения все предметы из драгоценных металлов: кольца, цепочки, медальоны, иконы, Георгиевский крест – и направили их в «фондовую комиссию музеев Кремля для определения их художественной ценности и места их дальнейшего хранения», как записано в акте изъятия. На

месте захоронения Сергея Александровича была устроена автостоянка. В девяностую годовщину убийства, 18 февраля 1995 года, Святейший Патриарх Алексий II отслужил панихиду в Архангельском соборе Кремля и сказал в проповеди: «Мы считаем справедливым перенести останки Великого князя Сергея Александровича в Романовскую усыпальницу под собором Новоспасского монастыря. Вознесем же молитву, чтобы Господь упокоил его душу в обителях небесных».

61

Великая княгиня Елизавета Федоровна была арестована в апреле 1918 года прямо в Марфо-Мариинской обители. За месяц до этого, после заключения Брестского мира (3 марта 1918 года), германское правительство добилось от большевиков согласия на выезд Великой княгини за границу, с ней дважды пытался увидеться посол Германии граф Мирбах, но она его не приняла и уезжать наотрез отказалась. После ареста Великую княгиню отправили в Екатеринбург, затем перевезли в близлежащий Алапаевск, где вместе с другими узниками (ее верной келейницей Варварой Яковлевой, Великим князем Сергеем Михайловичем, его секретарем Федором Михайловичем Ремезом, тремя сыновьями К. Р. – Иоанном, Константином, Игорем и князем Владимиром Палеем) содержали в здании школы. – *Прим. ред.*

62

Иван Логгинович Горемыкин (1839–1917) – председатель Совета министров в апреле – июле 1906 года и с января 1914-го по январь 1916 года. Не пользовался доверием министров, являясь по сути номинальным главой правительства: в первом его кабинете ведущую роль играл П. А. Столыпин, в то время министр внутренних дел, во втором – А. В. Кривошеий. – *Прим. ред.*

63

А. Ф. Аладьин – депутат Думы от Симбирской губернии, Т. И. Седельников – от Оренбургской. При разгоне митинга Седельников был избит полицейскими, обнаружившими у него револьвер. Аладьин, лидер трудовиков, выступил в Думе в его защиту, угрожая министрам («… если дотронутся до одного из наших товарищей-депутатов… пусть ни один из министров не является сюда! Мы слагаем ответственность за их неприкосновенность!..») и требуя «раскассировать всю полицию» («Новое время». 1906. 22 июня).

Замечание К. Р. выказывает его прозорливость, тем более что он не мог знать судьбу одного из фигурантов, а она как сомнительна, так и показательна. Аладьин, из крестьян, отчисленный в 1896 году из Казанского университета за

антиправительственную деятельность, бежал от суда за границу, жил в Париже, Лондоне. В 1905-м, благодаря политической амнистии, вернулся и был избран в Первую Государственную думу (где его опекал и продвигал В. Д. Набоков, отец писателя). Не пройдя во Вторую думу, развернул в США политическую кампанию, гастролируя по городам с лекциями о деятельности Думы, убеждал американцев не давать займы царскому правительству. Жил в Великобритании. В Первую мировую регулярно посещал британские войска во Франции как корреспондент английских газет и даже получил звание лейтенанта армии Ее Величества Королевы, а в 1916-м с делегацией русской творческой интеллигенции (А. Н. Толстой, К. И. Чуковский, В. И. Немирович-Данченко, В. Д. Набоков) был принят Королем. Вернувшись в Россию летом 1917 года, сблизился с Л. Г. Корниловым и участвовал в его вооруженном выступлении против Временного правительства. После подавления мятежа попал в тюрьму, после Октябрьского переворота был выпущен. В Гражданскую примкнул к Белому движению, установил контакты с британской миссией на Юге России, принимал войска и грузы из Великобритании, занимался эвакуацией войск из Крыма. Умер в Англии в 1927 году. Во всем этом было бы трудно найти логику, если бы не один комментарий к книге П. Н. Милюкова «История второй русской революции» (М., 2001), где об А. Ф. Аладьине сказано: «После Октябрьской революции в архиве Министерства иностранных дел были найдены документы о его связях с английской разведкой» (см. подробнее: Александр Алешкин. Фрак для крестьянского сына// Парламентская газета. 2001. 10 марта). – *Прим. ред.*

64

Первая Государственная дума (27 апреля 1906 года – 8 июля 1906 года) продемонстрировала полную неспособность вести законодательную работу. 72 дня ее существования заполнились скандалами, нападками на правительство, политической демагогией и пустыми спекуляциями на больных вопросах. 19 мая депутаты Трудовой группы выдвинули проект земельной реформы («проект 104-х»), который сводился к конфискации помещичьих земель и национализации всей земли. 6 июня появился еще более радикальный эсеровский «проект 33-х», требующий немедленного и полного уничтожения частной собственности на землю и объявления ее со всеми недрами и водами общей собственностью населения России. Дума была распущена указом Николая II от 8 июля 1906 года. – *Прим. ред.*

65

Константин Адамович Военский (1860–1928) – историк, автор

ряда исторических работ; с 1906 года – начальник Архива Министерства народного просвещения. Выпустил книгу «И. А. Гончаров в неизданных письмах к графу П. А. Валуеву» (СПб., 1906). – *Прим. ред.*

66

Нестор Александрович Котляревский (1863–1925) – историк литературы. 8 ноября 1906 года, по представлению А. Ф. Кони, был избран в почетные академики по Разряду изящной словесности. Первым выступлением в новом звании была его речь памяти графа А. К. Толстого, произнесенная в публичном собрании Разряда 21 января 1907 года и заслужившая ему Пушкинскую золотую медаль. – *Прим. ред.*

67

Жалобные, нежные.

68

Александр Федорович Онегин (1844–1925) – выдающийся коллекционер, историк литературы. По устойчивой версии, он, по паспорту «петербургский мещанин», был незаконнорожденным отпрыском династической фамилии; воспитывался крестной матерью и носил ее фамилию – Отто, но с двадцати двух лет стал подписываться фамилией любимого пушкинского героя – Онегин (в 1890-м Александр III утвердил его право официально именоваться Онегиным). В 1879 году, навсегда уехав из России, посвятил жизнь созданию пушкинского музея в своей парижской квартире. В начале 1880-х друг Онегина – Павел Васильевич Жуковский, сын поэта, подарил ему 60 пушкинских рукописей, позднее передал документы, касающиеся дуэли и смерти А. С. Пушкина, а также архив и 400 томов библиотеки отца, В. А. Жуковского. Сам Онегин приобретал буквально всё, связанное с Пушкиным, и в конце концов сложилась уникальная коллекция. В 1907 году министр финансов В. Н. Коковцов начал с Онегиным переговоры о приобретении его собрания-музея для Императорской Академии наук. В итоге Онегин выговорил себе право пользоваться собранием до конца жизни и по заключенному договору получал 10 тысяч золотых рублей единовременно и по 6 тысяч ежегодно на пополнение коллекции. Связи с ним были прерваны революцией 1917 года, но в 1919-м возобновлены. В 1928 году, через три года после его смерти (ушедшие на юридические согласования), коллекция стала поступать в Пушкинский Дом Академии наук в десятках контейнеров, а пушкинские рукописи отправлялись с дипкурьерами. В настоящее время часть мемориальных и изобразительных экспонатов из онегинского собрания находится во Всероссийском музее А. С. Пушкина, коллекция монет – в

Эрмитаже, рукописное собрание и библиотека – в Пушкинском Доме. – *Прим. ред.*

69

«Вехи. Сборник статей о русской интеллигенции» (1909) включал работы бывших «легальных марксистов» (переживших искус революционности) Н. А. Бердяева, С. Н. Булгакова, П. Б. Струве, С. Л. Франка, а также М. О. Гершензона, Б. Н. Кистяковского и А. С. Изгоева (Ланде). Охарактеризовав современную интеллигенцию – утратившую религию и нравственность, порвавшую связи с народом и государством, усвоившую учения нигилизма, космополитизма, анархизма, – авторы указывали вехи ее духовного перерождения: возрождение религиозной духовности, государственное мышление, личная ответственность за «устроение жизни» народа. «Диагноз», поставленный в «Вехах» интеллигенции, вызвал резкую полемику со стороны той же «прогрессивной интеллигенции». Одним из немногих положительных отзывов явилось «Открытое письмо авторам сборника „Вехи“„архиепископа Антония Волынского, напечатанное в газете „Слово“. Архиепископ восхищался „суворовской храбростью“ веховцев, которые „обратились к обществу с призывом покаяния, с призывом верить, с призывом к труду и науке, к соединению с народом, к завещаниям Достоевского и славянофилов“. Антонию ответили Струве и Бердяев, также открытыми письмами, в которых, как пишет И. И. Петрункевич (в книге „Интеллигенция в России“. СПб., 1910): «… ни г. Струве, ни г. Бердяев не нашли нужным оценить сочувствие своего корреспондента с политической точки зрения“. – *Прим. ред.*

70

Когда зародился Великий немой, стихотворение «Умер» стало сюжетом нескольких кинолент, шли они и в родимой русской провинции, и в Москве, Питере, Киеве. После Второй мировой войны калеки и нищие в электричках, на базарах пели песню «Умер, бедняга» на слова августейшего поэта-академика.

71

Дом Братства черноголовых; существует в Таллине (Ревеле) с XVI века. Братство черноголовых, известное с 1399 года и объединявшее молодых, еще неженатых купцов, а также иностранных торговцев, временно живших в Ревеле, своим названием обязано святому Маврикию (который, по преданию, был чернокожим христианином-мавром); его изображение – «черная голова» – помещено на гербе Братства. Ставшие богатыми и могущественными, черноголовые, помимо торговли, покровительствовали искусствам, и постепенно принадлежавшее

им здание превращалось в своего рода культурный центр. Дом черноголовых имеется также в Риге. – *Прим. ред.*

72

Александр Иванович Гучков (1862–1936) – председатель Третьей Государственной думы в марте 1910-го – апреле 1911 года. – *Прим. ред.*

73

Н. Н. Ермолинский – генерал-майор по гвардейской пехоте, воспитатель князей Олега и Игоря Константиновичей; с июня 1916 года– шталмейстер двора Ее Императорского Высочества, Великой княгини Елизаветы Маврикиевны. – *Прим. ред.*

74

В апреле 1911 года А. И. Гучков подал в отставку с поста председателя Государственной думы в знак протеста против проведения закона о земстве в западных губерниях в обход Думы. – *Прим. ред.*

75

Петр Аркадьевич Столыпин (1862–1911) – председатель Совета министров, был смертельно ранен 1 сентября 1911 года в городском оперном театре Киева во время антракта спектакля «Сказание о царе Салтане»; 5 сентября 1911 года скончался в частной клинике Маковского. Стрелял в Столыпина Дмитрий Григорьевич (Мордехай Гершкович) Богров (1887–1911), добровольный агент охранки, отсюда существует версия, будто покушение было организовано охранным отделением. В конце августа, перед приездом в Киев Николая II со свитой на торжества по случаю открытия памятника Александру III, Богров явился в Киевское охранное отделение с сообщением о якобы готовящемся покушении на одного из сановников и получил от начальника отделения П. Г. Курлова билет в театр. После покушения был схвачен на месте, по приговору военно-окружного суда повешен в ночь на 12 сентября 1911 года в Лысогорском форте. – *Прим. ред.*

76

Александровский лицей (1811–1917) до 1844 года назывался Царскосельским; был переименован в честь Императора Александра I. – *Прим. ред.*

77

21 февраля 1613 года (через четыре месяца после освобождения Москвы К. М. Мининым и Д. М. Пожарским от поляков) Земский собор избрал царем Михаила Федоровича Романова (1596–1645) – сына Патриарха Московского и всея Руси Филарета (в миру боярин Федор Никитич Романов) и инокини Марфы (в миру К. И. Шестова). 11 июля 1613 года Михаил Федорович венчался на царство. – *Прим. ред.*

78

Из выступления А. Ф. Кони «Слово о К. Р.» в Академии наук в 1915 году.

79

Жозеф Эрнест Ренан (1823–1892) – французский семитолог, историк, писатель. Выходец из католической семьи, готовившей его к духовной карьере, в молодости порвал с Церковью и посвятил себя критике христианства. Помимо прочих трудов автор восьмитомной «Истории происхождения христианства», написанной с позиции рационалистического скепсиса, особенно резко выраженного в первой книге «Истории…» – «Жизнь Иисуса» (1863), где Спаситель изображен простым проповедником, впоследствии идеализированным. Книга вызвала громкий протест со стороны французских католиков. Тем не менее ренановская «Жизнь Иисуса» была переведена на многие языки и оказала большое влияние на поколение 1870-х годов, как и на последующие, в том числе в России. – *Прим. ред.*

80

Такое название – скорее всего издержки переводов и переизданий. В оригинале книга названа «Жизнь Иисуса» (Vie de Jesus), что не одно и то же, если принимать во внимание позицию автора. – *Прим. ред.*

81

Святой Иосиф Аримафейский был знатным членом синедриона и являлся тайным учеником Иисуса Христа. Как член синедриона не участвовал в вынесении смертного приговора Иисусу Христу. После распятия и смерти Спасителя дерзнул пойти к Пилату и просил у него Тело Господа. Вместе с Никодимом (тоже ставшим тайным учеником Господа) они сняли с Креста Тело Спасителя, обернули плащаницей и положили в новом гробе, который Иосиф приготовил заранее для себя. Считается, что тем самым исполнилось пророчество Исайи о Мессии (Ис. 53, 9): «Ему назначили гроб со злодеями, но Он погребен у богатого». Иосиф скончался мирно в Британии. – *Прим. ред.*

82

Хитон.

83

В 1828 году Александр Сергеевич Пушкин написал, по его выражению, «скептические куплеты»:

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?
Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал,
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?…
Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум,
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

На эти пушкинские стихи ответил митрополит Московский и Коломенский Филарет (Дроздов):

Не напрасно, не случайно
Жизнь от Бога нам дана,
Не без воли Бога тайной
И на казнь осуждена.
Сам я своенравной властью
Зло из темных бездн воззвал,
Сам наполнил душу страстью,
Ум сомненьем взволновал.
Вспомнись мне, забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, —
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Стихотворение Пушкина было помечено днем его рождения – 26 мая (по ст. ст.); дата будто подчеркивала тщетность рождения. Возможно, именно это подвигло занятого митрополита, члена Святейшего синода, поддержать поэта напоминанием о высшей истине. – *Прим. ред.*

84

Капитан П. В. Данильченко и издатель Н. Н. Сергиевский совершили подвиг, дав реальную жизнь драме «Царь Иудейский» поэта К. Р. Невозможно не сказать о них нескольких отдельных слов. Капитан П. В. Данильченко был секретарем «Измайловских досугов». Кульминацией деятельности «Досугов» стала постановка «Царя Иудейского» перед Первой мировой войной. Последний «Измайловский досуг» состоялся на фронте и был посвящен Великому князю, основателю этого творческого содружества. С фронта Данильченко вернулся с отмороженными ногами. В изгнании старейший измайловец полковник Данильченко, несмотря на тяжелую работу на чужбине и материальные затруднения, провел в Нью-Йорке несколько «Досугов». Издатель Н. Н. Сергиевский в июле 1917 года выехал в

Вашингтон как член Чрезвычайной миссии и представитель русской печати. В Россию он не вернулся. Написал воспоминания, которые вышли в Нью-Йорке в 1957 году.

85

В 1916 году в Театре С. Зимина состоялся благотворительный вечер в пользу русских воинов, собравший цвет российской интеллигенции. Лучшие артисты вновь обратились к «Царю Иудейскому». Роль Пилата читал А. Южин, Иосифа Аримафейского – В. Максимов, прозревшего слепца – О. Правдин, Никодима – Н. Яковлев, Прокулы – А. Яблочкина, Иоанны – О. Гзовская. Оркестр зиминской оперетты сопровождал чтение актеров, исполняя глазуновскую партитуру. Летом 1918 года «Царя Иудейского» поставил Частный театр К. Цезлобина, приобретя полностью материальную часть Эрмитажного спектакля. Но несмотря на то, что в нем были заняты известные актеры В. Юренева, Н. Волохова, Г. Нелидов, И. Рутковская и сам К. Незлобии, спектакль не имел такого громкого успеха, как его первая постановка. «Красная эра» уже не нуждалась в подобных произведениях, и «Царь Иудейский» на долгие десятилетия был похоронен в театральных архивах. Только в 1992 году драма появилась на подмостках Малого театра.

86

Анатолий Михайлович Стессель (1848–1915) – генерал-лейтенант, в Русско-японскую войну начальник Квантунского укрепления; проявив трусость, сдал Порт-Артур противнику, был приговорен военным судом к смертной казни, но помилован Царем. – *Прим. ред.*

87

Вот откуда у Пастернака знаменитая строка: «Свеча горела на столе…»!

88

Вдова К. Р. Великая княгиня Елизавета Маврикиевна в начале революции жила в Мраморном дворце с младшими детьми Георгием и Верой и внуками (детьми Иоанна) Всеволодом и Екатериной. С победой большевиков принуждена была покинуть дворец и поселилась в доме Жеребцова на Дворцовой набережной. В ноябре 1918 года ей удалось с детьми и внуками добраться на пароходе до Стокгольма, где их приютила шведская королевская семья. Оттуда Елизавета Маврикиевна с Георгием и Верой переехала в свой родной город Альтенбург. Там она и скончалась 24 марта 1927 года.

Внуков в 1919 году забрала невестка, княгиня Елена Петровна, добровольно сопровождавшая князя Иоанна Константиновича в ссылку. За несколько дней до убийства

алапаевских узников она уехала в Петроград навестить детей, по дороге была арестована и заключена в тюрьму в Перми. Освободившись только в 1919 году, с большими трудностями выехала в Швецию (где в то время находилась Елизавета Маврикиевна), оттуда вместе с Всеволодом и Екатериной уехала на родину в Сербию, затем во Францию и, наконец, в Англию, где дети получили образование. – *Прим. ред.*